АХАВНИ

Ширак

АХАВНИ

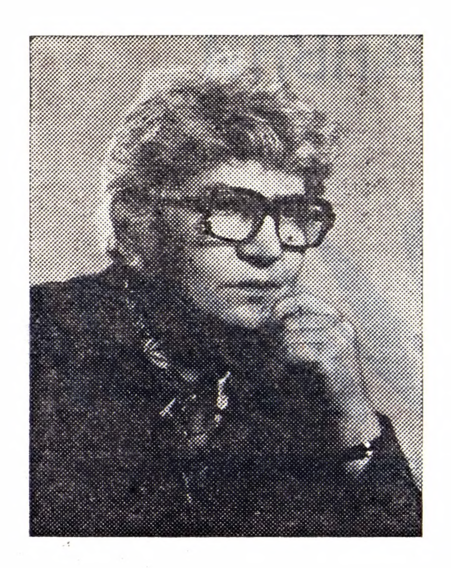


РОМАН

Авторизованный перевод
с армянского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

С(Арм)2
А 95



Роман-дилогия «Ширак» — крупное историческое полотно старейшей армянской писательницы Ахавни. Он рассказывает о людях, подготовивших революцию, о знаменательных переменах, которые и сегодня вершатся в быту и психологии людей древнего горного края.

Юная героиня книги Арцвнак мечтает пробежать под радугой и стать мальчишкой. Это народное поверье имело социальную подоплеку: сын был работником в семье, только он мог сохранить в неприкосновенности дедовский дом, очаг. Этот мотив превращается у Ахавни в тему борьбы за счастье.

Роман неоднократно издавался на армянском и русском языках. Перевод дилогии осуществлен известными русскими переводчиками А. Садовским и В. Дудинцевым.

Художник *Владимир* ***ФАТЕХОВ***

А $\frac{4702080200—040}{083(02)—83}$ 258—83

Книга первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МОЙ БРАТИК

В люльке лежит мой новорожденный братик. Он еще очень мал, так мал, что я просто диву даюсь, как может жить на свете такой маленький мужчина. То есть так называют его наши домашние: мужчина, хозяин дома... И этот мужчина, мужчинка с ноготок, сразу стал любимцем всей нашей семьи.

Все так дрожат над ним, что нам, детям, не разрешают даже подходить к его люльке. И сколько бы я и Асмик ни просили бабушку дать нам понянчить братика, та заладила свое:

— Нет, нельзя, мал еще Артик. Вот подрастет немного, тогда и будете нянчить, сколько вам захочется.

А этот Артик, которому едва минуло две недели от роду, будто понимает, какой он важный человек в нашем доме, и не обращает на нас никакого внимания. Он даже не замечает нас.

— Да он никого не видит,— говорит Асмик.

— Как это не видит? Не слепой же он,— говорю я с обидой,— у него такие же глаза, как и у нас.

— А когда родились детеныши у Топлан, разве они видели? — спорит Асмик.

— Детеныши Топлан были собачьими детенышами,— возражаю я,— а наш Артик человеческий...

— Все равно, хоть и человеческий, но он маленький, ничего не видит.

— А хочешь, проверим?

— Давай проверим,— соглашается Асмик.

Я осторожно подношу палец к глазам Артика. Он пристально смотрит на палец, потом отворачивается и начинает плакать.

— Испугался,— объясняет Асмик.

— Почему же испугался, если не видит? Значит, он видит, значит, не слепой! — радуюсь я.

Артик плачет все громче.

Подбегает испуганная мать, выхватывает его из люльки, прижимает к груди.

— Что вы сделали с ребенком? — сердито спрашивает она.— Почему он плачет?

— Асмик сказала, что Артик слепой, как детеныши Топлан, вот мы и проверяли,— оправдываюсь я.

— Провалиться бы вам! — бранится мать.— Как это можно сравнивать Артика с каким-то паршивым щенком? Видит он, ко-

нечно видит, только ничего еще не понимает. И вы были такими же глупенькими.

— Да, как же, глупенькими! — протестую я.— А помнишь, как во сне я птичку поймала?

— Балаболка! — улыбается мать и щелкает меня по носу.

Каждый день бабушка моет Артика теплой водичкой, а мы сидим на корточках возле корыта и смотрим, как купают нового мужчину нашего дома. Своими большими, натруженными руками бабушка растирает Артику живот, затем трет ему носик, и трет до того, что он делается красным, как морковка из огорода Никола.

— Для того это делаю,— говорит нам бабушка,— чтобы нос моего мальчика остался маленьким.

Потом, обхватив руками голову Артика, она тянет его за подбородок кверху. Артик визжит, дрыгает ножками, а она все тянет и тянет.

— А это для того,— объясняет она,— чтобы спинка у него стала крепенькой. Ведь мужчина он в доме, и придется ему тяжелые мешки таскать на спине.

Заканчивая купание Артика, она разрешает мне и Асмик полить ему на голову по одной кружке воды. И снова принимается объяснять:

— Вода, политая девочкой, хороша. Когда мой мальчик вырастет, у него будет приятный голос.

— Почему, бабуся? — радостно спрашиваю я.— Потому что у меня приятный голос, да?

— Да, очень приятный... Вороны вон, как заслышат твой голос, сразу взлетают с дерева.

Я тут же начинаю пробовать свой голос:

Птичка на дереве гнездышко свила,
Высокие горы снегом покрыло!..

— Ладно, хватит,— сердится бабушка,— надо ребенка спать укладывать.

Она расстилает пеленку, насыпает на нее теплого, сухого песка, кладет на него Артика и крепко пеленает его.

Затем берет на руки и баюкает:

Дядюшка пришел с тюком,
С полным кишмиша мешком,
Очень сладок тот кишмиш,
Пусть покушает малыш.
А когда он подрастет,
С плугом по горам пойдет... [1]

Бабушка поет до тех пор, пока Артик не засыпает у нее на руках.

— Вай, чтоб я ослепла! — спохватывается мать.— Ребенок уснул, а я так и не дала ему грудь.

---

[1] Стихи в романе даны в переводе В. Звягинцевой.

— Не беда,—говорит бабушка.— Пусть мальчик с детства привыкает к невзгодам. Умереть мне за его чистую душу, вырастет, бог даст, станет опорой семьи.— Она прижимает малыша к своей груди и шепчет: — Боже милостивый, владыка небесный, не оставь без защиты свое создание!..

Моя мать кончиком косынки вытирает глаза.

— Эх, матушка,— вздыхает она,— когда нет отца, что пользы в твоей молитве? Сирота несет божье наказание с самой своей колыбели. Если сирота скажет: «Я счастлив»,— бог скажет: «А где же я?»

— Ой, Сато джан[1], зачем так говорить? — укоряет ее бабушка.— Слава всевышнему, если нет у ребенка отца — так есть дядя. Не все ли равно? Дай бог здоровья Агабеку, не такой он парень, чтобы оставить малютку своей сестры у чужого порога. Нет, Сато джан, напрасно ты разрываешь себе сердце. Благодари судьбу, что у тебя есть брат. Он твоя опора. А что делать другим? Вон бедная Ерикназ с тремя детьми осталась. А жена Авета? Авет уж какой был мужчина, а вернулся калекой, с деревяшкой вместо ноги. Теперь какой из него работник? Да и Арутик-солдат день здоров, десять хвор... Беда вошла не только в наш дом.

— Да я ничего не говорю, матушка,— оправдывается моя мать.— Но сердце слов не понимает. Рана моя еще слишком свежа, болит...— И снова она кончиком косынки вытирает глаза.

Когда мать плачет, и мне хочется плакать. Я это чувствую по тому, как у меня начинает щекотать в носу. Ну, что делать, у одних влага появляется на глазах, а у меня в носу, и раз я не повязываю голову косынкой, как это делает моя мать, приходится утирать нос рукавом платья. А за это меня всегда ругают. Бабушка говорит:

— У бедняков всегда так: вымя коровы быстро высыхает, а из носа ребенка течет и течет круглый год.

Ну, бабушка любит преувеличивать. Она говорит про мой нос, а у самой нос тоже не из сухих!

Моя бабушка большая мастерица печь хлеб. В нашем селе ее так и зовут — Нуно-хлебопек. Отправляясь в чужие дома выпекать лаваш, она часто берет с собой и меня. И вот когда она, то нагибаясь, то выпрямляясь, закладывает тесто в тонир[2], лицо ее краснеет, как та лепешка, которая срывается со стенки в кизячный жар, а глаза и нос увлажняются. В такие дни она без конца говорит о своем насморке и жалуется на ломоту в спине. И откуда берется у нее простуда и в спине и в носу, когда она, пока выпекает лаваш, раз двести влезет в тонир по самую поясницу?

---

[1] Джан — душа, ласковое обращение к любимому или любимой.
[2] Тонир — печь в виде вырытой в земле ямы.

У нас дома только тетушка Ашхен не ругает меня. Это потому, что ее дочери Асмик и Аник так же плачут и так же утирают нос рукавом, а кроме того, она, как видно, жалеет племянницу-сироту. Тетя Ашхен знает, что я плачу, чтобы маме было с кем поплакать, и, как только увидит, что нос у меня начинает краснеть, сейчас же подзывает меня и принимается уговаривать. По ее словам, если бы можно было помочь горю слезами, все люди на свете только и делали бы, что плакали.

Но все равно, когда плачет мать, у меня разрывается сердце, и я, сидя рядом с нею, стараюсь утешить ее.

— Мама,— говорю я,— Артик еще маленький, а я скоро стану большой. Вырасту, пойду стирать в дом Артуш-аги [1]. Тогда куплю тебе новые чусты [2]. И Артику тоже куплю.

— Да, купишь,— вздыхает мать,— как я покупала своей матери... Нет, детка, ты — девочка, а всякая девочка проклята богом. Девочка — что мак: снаружи красна, сердцевина черна.

— А тетушка Егнар? Работает же она в доме Артуш-аги!

— Ну и что из того, что работает? Потяни на ней одну ниточку — заплаты посыплются.

— Ладно, не я, так Артик пойдет работать. Ведь говорит же бабушка, что он мужчина, кормилец семьи!

— Мужчина, конечно мужчина,— соглашается мать.— Ты моли бога, чтобы этот мужчина благополучно вырос и набрался сил держать отцовскую соху.

Я забираюсь в какой-нибудь угол и с неистовым усердием начинаю молиться: «Боженька, сделай так, чтобы наш Артик благополучно вырос! Пусть он будет сильным, пусть держит в руках чапыги отцовской сохи!»

Закончив свои дела с богом, я снова подсаживаюсь к матери и заговариваю об отце:

— Мама, а наш отец больше никогда не придет?

— Как же он может прийти, если его...— мать всхлипывает, не в силах выговорить страшное слово.

— ...убили,— договариваю я за нее.— Раз убили, значит, уж не придет. А кто его убил?

— Кто? Англичанин, турок или франк... Откуда мне знать?

— А почему убили? Что им сделал отец?

— Так уж устроен мир. Говорят — война, люди должны убивать друг друга,— объясняет мне мать.

— А что это такое — война?

— Война? — Мать на минуту задумывается.— Это когда цари не могут договориться между собой. Тогда они собирают войско, дают приказ, и солдаты убивают друг друга. Вот и получается война.

---

[1] Ага — господин.
[2] Чусты — мягкая обувь без каблуков (тапочки).

— А по приказу какого царя убили моего отца — нашего или турецкого?

— Э, не все ли равно? Оба звери-кровопийцы, чтоб их детям, подобно моим, остаться обездоленными сиротами!

— Тогда и нам нужно убить царей.

— Замолчи, нельзя так говорить!

— А отца убивать можно... отца! — кричу я и выбегаю на улицу.

На улице солнышко — теплое солнышко ранней весны. Асмик и Аник играют в домики. Я, рассерженная, смотрю на их вылепленный из глины домик и возмущаюсь: у меня нет отца, а им что — играют!

Подбежав к ним, я пинком разваливаю их домик и сердито гляжу на них, готовая вступить в драку.

— Сатана тебе в бок, ты зачем сломала?! — орут сестры и, растопырив пальцы, кидаются на меня.

Мы с Асмик, вцепившись в волосы, ожесточенно таскаем друг друга. На наш крик из кладовки выбегает бабушка и рукой, перепачканной в сыворотке, звонко шлепает Асмик по щеке. Та всхлипывает.

Я уже раскаиваюсь в своем поступке, но что-то сжимает мне горло, и я, тоже всхлипывая, говорю:

— Сломала и опять сломаю... Я сирота. И Артик сирота. Оба мы сироты!

На пороге дома показывается мать. Бабушка оборачивается к ней и укоризненно качает головой:

— Ай, Сато джан, нехорошо, грешно мутить детскую душу. К чему ребенку знать, что он сирота?

— А вот и знаю! — яростно кричу я бабушке.— Царь убил моего отца — значит, я сирота. Если бы убили твоего отца, была бы и ты сиротой...

— О господи! — испуганно бормочет бабушка и скрывается за дверью кладовки.

Вскоре я мирюсь с Асмик и Аник, и мы уже втроем принимаемся лепить разрушенный мною домик.

— Вот подрастет Артик,— говорю я,— он тоже будет с нами играть.

— Артик мужчина, он должен быков пасти,— возражает мне Асмик.

— Каких быков? Нет у нас ни одного быка.

— Когда Артик вырастет, он будет работать с моим отцом. Двое мужчин купят быка. Так бабушка говорит,— утверждает Асмик.

— И еще — Артик будет держать чапыги сохи, оставленной отцом,— добавляю я.

— А я, когда научусь вязать, свяжу ему носки,— обещает Аник.

— Когда он в солдаты пойдет,— вставляет Асмик.

— В солдаты? Чтобы царь убил его? — Я зло смотрю на нее.— Сама ты иди в солдаты!

— Да разве девочек берут в солдаты? — смеется Асмик.

— Берут или не берут, но ты Артиком не распоряжайся. Артик мой брат, и я не пущу его!

— Он и мой брат! — сердится Асмик.

Мы готовы опять вцепиться друг другу в волосы. Я встаю и, обиженная, ухожу от сестер.

— Драная кошка, дура-балабошка! — смеясь, кричат они мне, но я не обращаю на это никакого внимания.

ДОЧЕРИ АРТУШ-АГИ

Наш дом, вернее, дом дяди, где мы живем, стоит над самой кручей. Внизу, в глубоком и каменистом ущелье, пенясь, течет наша река Ахурян. На реке стоит мельница Артуш-аги, и крестьяне окрестных сел возят туда молоть зерно. Дорог для арб в наших местах почти нет, а по ущелью арбе совсем не проехать, поэтому все тяжелое перевозится на ослах. У мельницы их всегда целое стадо. А я большой мастер ездить на ослах.

По узкой тропинке я спускаюсь в ущелье и тихонько подхожу к одному из осликов, пасущихся меж камней. Сначала я пытаюсь прельстить его пучком пырея. Но ослик понимает мое коварство и отворачивается от меня. Тогда я рву эржнак[1]. Я давно знаю, что ослы очень любят его.

Зеленый эржнак, когда на нем нет еще колючек, довольно вкусен. Молоденький стебелек так сладок, будто пропитан молоком, и не только ослы едят его с большим удовольствием, иногда я и сама лакомлюсь им. И вот сейчас я очищаю несколько стебельков эржнака и подношу к мордашке осла. На этот раз он осторожно обнюхивает мою приманку. Я медленно отхожу назад, ослик подходит ко мне, я отхожу еще дальше, он идет за мной. Наконец я заманиваю ослика за большой камень и, как только он начинает, закрыв глаза, жевать стебельки эржнака, взбираюсь на камень и сажусь ему на спину. Ну, а у осла уж такой нрав: если он почувствовал на спине тяжесть, то не может оставаться на месте. И в самом деле, ослик поворачивает голову, удивленно глядит на меня и начинает переступать с ноги на ногу.

На своем «коне» я поднимаюсь из ущелья и в обход нашего дома направляюсь к дому Артуш-аги. Мне очень хочется, чтобы меня увидели недавно приехавшие из города дочери Артуш-аги — барышня Флора и барышня Олинка. Эти городские барышни интересуют не только меня. У нас в селе говорят: «Барышни Артуш-аги опять приехали народ удивлять!»

Больше всего удивляют наших сельчан их туфли на высоких каблуках. Каблуки-то высокие, а подолы платьев едва доходят

---

[1] Эржнак — растение рода сахарной агавы.

до колен, и выглядят эти городские барышни, как настоящие цапли. И та и другая носят на голове широкополые шапки, которые у нас в селе называют «шлапки».

С приездом Флоры и Олинки огромный дом Артуш-аги сразу оживляется. Целый день там раздаются смех и песни. А из кухни доносятся такие упоительные запахи, что у меня, когда приходится проходить мимо, просто кружится голова.

Артуш-ага — богатый человек. Кроме двух дочек у него есть еще двадцать коров, стадо баранов, одна жена, которую мы называем Февроньей-ханум[1], пятнадцать лошадей, столько же ослов и один сын, которого зовут тоже Артуш-ага. Молодой Артуш-ага очень красив. Он носит блестящие сапоги с длинными голенищами, на боку у него сабля, а на плечах прикреплены какие-то блестящие штучки.

— Это офицер,— объясняет мне мать.

— А что такое оцифер? — спрашиваю я ее.

— Он старший над солдатами, прикажет — и они пойдут убивать других солдат.

Я не знаю, кому будет приказывать молодой Артуш-ага, когда в нашем селе нет ни одного настоящего солдата, кроме больного Арутика. А из него какой же солдат? Поэтому господин офицер целыми днями носится по нашим полям на коне и стреляет куропаток и перепелов.

Вот и сейчас я еду к дому Артуш-аги, а навстречу выезжает господин офицер. Он сидит в седле на белом коне. Черкеска и папаха на нем тоже белые, так что если б я сразу не узнала его, то подумала бы, что вижу сказочного богатыря Арега. Барышня Флора и барышня Олинка тоже едут на лошадях справа и слева от него. Но удивительно — как они сидят в седлах! Они сели не верхом, как я и господин офицер, а свесив обе ноги в одну сторону. «Наверно, боятся»,— думаю я и, чтобы показать им свое превосходство, острым концом палки, что у меня в руке, крепко тычу в тощий круп ослика. Мой ослик, стараясь, как видно, удивить своих родичей, начинает брыкаться, подпрыгивать и в конце концов так расходится, что сбрасывает меня на землю и убегает в ущелье.

Схватившись за ушибленную руку, я сижу на дороге и с затаенной ненавистью смотрю на барышень из дома Артуш-аги. Видимо, их радует беда, случившаяся со мной. С громким смехом они соскакивают со своих лошадей и подходят ко мне. Я отворачиваюсь и со злостью говорю им:

— Вы не умеете сидеть на лошадях, вы сидите наоборот...

Барышни заливаются веселым смехом. Олинка протягивает мне что-то в руке.

— Что это? — сердито спрашиваю я, сгорая от любопытства.

— Конфетка, возьми попробуй,— смеется барышня и рукой

[1] Ханум — госпожа.

в перчатке хлопает меня по носу.— Какая ты сердитая девочка! Как зовут тебя?

— Иди, проваливай, шлапка, копыто тебе в живот! — кричу я и, сцапав конфетку, со всех ног удираю домой.

— Эта козявка из породы волчат! — слышу я за спиной голос офицера и, обернувшись, показываю ему язык.

Он взмахивает плетью и гонит коня на меня.

— Вай, бабусенька! — исступленно кричу я, бросаясь в наш дом.

— Дурная девчонка, что там еще случилось? — спрашивает обеспокоенная бабушка.

А офицер уже стучит плетью в дверь и сердито приказывает:

— Подать мне сюда этого волчонка!

Бабушка выходит из дома и, поправляя платок на голове, останавливается прямо под мордой белого коня.

— Глаза бы мои этого не видели, офицер-ага, ты уж не обижайся,— смущенно говорит она.— Ради моего Агабека прости дитя неразумное, умереть мне за тебя...

Офицер грозит мне пальцем и улыбается:

— Ладно, мать, ради твоего Агабека прощу. Агабек услужливый парень. Да, кстати, хотел его попросить... Гости сегодня у меня, к ужину нужна будет свежая рыба.

— Мой Агабек все сделает для тебя, офицер-ага,— с покорностью отвечает бабушка.— Он еще в поле. Как только вернется домой, обязательно пошлю его на речку.

Погрозив мне пальцем еще раз, офицер трогает коня и отъезжает.

Бабушка входит в дом, присаживается рядом со мной и, приглаживая мои взлохмаченные волосы, начинает мне выговаривать:

— Нельзя, бала джан[1], ссориться с детьми Артуш-аги. Ведь они наши хозяева. А если Артуш-ага рассердится и больше не даст дяде земли в аренду? Где мы возьмем тогда хлеба? Мы люди подневольные. Нам приходится угождать богачам-лихоимцам...

Я знаю, что бабушка говорит правду. Наше село со всеми полями и пустошами, даже наше ущелье с его гнездами диких голубей в расщелинах скал, принадлежит полуразрушенному монастырю святого Геворга, что с давних пор стоит у самого входа в ущелье. Сам он, святой Геворг, конечно, не сеет, не жнет, поэтому все свои земли он передал Артуш-аге. И вот Артуш-ага, которому посчастливилось войти в дружбу со святыми, сдает земли святого Геворга в аренду нашим крестьянам, чтобы те пахали и сеяли, а потом пшеницу, собранную на этих землях, отдавали ему же, Артуш-аге.

---

[1] Бала джан — доченька (бала — по-турецки «дитя»).

Этот Артуш-ага, как говорит моя бабушка, большой нехристь: все лучшие земли он отдает богачам, а на долю бедняков оставляет только маленькие каменистые полоски на горных кручах. А староста Симон, получив от Артуш-аги хорошие земли, уже от себя сдает их крестьянам и дерет за них, сколько ему вздумается. Об этом все в нашем селе знают, но громко говорить боятся.

Дядюшка Авет говорит про них: «Собака от собаки, оба из одного логова». Эти слова мне очень по душе, и я, как только завижу старосту Симона и управителя Артуш-аги — Каро, кричу во все горло: «Собака от собаки, оба из одного логова!»

Я слушаю наставления бабушки, а сама все думаю о дочерях Артуш-аги, похожих на цапель. Выходит, что эти городские цапли — мои хозяйки. Потому так выходит, что офицер-ага — хозяин моего дяди, а Февронья-ханум — хозяйка моей бабушки. Если так считать, то их волы — хозяева крестьянских волов, их ослы — наших ослов... Значит, это верно, что в мире есть только хозяева и батраки.

Но кто же главный хозяин?

— Бабушка,— спрашиваю я,— а кто хозяин над всеми? Самый главный хозяин?

— Владыка небесный,— говорит она и крестится,— да будет свято имя его...

— Он главнее Артуш-аги?

— Артуш-ага ему и в собаки не годится.

— Собака от собаки, оба из одного логова,— невольно вырывается у меня.

— Чтобы ты провалилась сквозь землю! — ругается бабушка.— Не смей так говорить! Бог накажет за такие слова, рот у тебя скорежит.

— Ну и пусть скорежит.

— Глупая,— улыбается бабушка,— а чем ты будешь есть хлеб?

— Будто есть у нас хлеб... Ты в доме Артуш-аги за неделю испечешь тысячу лавашей, а тебе за это дают только два. Этого так мало, что можно обойтись и без рта.

— Девушка должна быть красивой,— настаивает бабушка на своем,— должна всех удивлять своей красотой.

— А если я сирота и все говорят, что я лишний рот в семье, то чем же мне удивлять?

— Красотой, глупенькая, красотой.

— А почему мама не удивляет? Она же красивее всех.

— Видела бы ты свою маму, когда она была девушкой! Это была настоящая гурия-пери [1]. Вечерами вся молодежь села толпилась на крыше нашего дома, у ертыка [2]. Проклятый Каро все ходил со своими дружками, хотел даже похитить ее. Но однаж-

[1] Гурия-пери — мифическая райская дева, красавица, добрая фея.

[2] Ертык — в старых крестьянских домах круглое отверстие в крыше, служившее и окном и дымоходом.

ды мой Агабек поднялся на крышу с ружьем и всех их сбросил в ущелье.

— А где был тогда мой отец?

— В Тбилиси он работал тогда и прислал нам весть: слово свое, мол, держу и не приведи бог узнать, что Сато отдана другому,— приеду, весь свет переверну над вашими головами. Так оно и получилось, как он хотел. Сколько именитых да богатых людей сватались к Сато, мы всем им отказали, сохранили девушку для нашего Арама. Видно, самой судьбой она была ему предназначена. Да вот покарал нас владыка небесный, лишил нас счастья и радости... Да будет воля его!

— А пусть бы дядя пугнул ружьем и владыку небесного!

— Э...— досадует бабушка,— дитя еще совсем, а уж такая безбожница!

РЫБА

Дядя разостлал во дворе большую рыбацкую сеть и торопливо чинит ее. На речку он без меня не уйдет, это я хорошо знаю. Когда я с ним, улов всегда бывает большой. Но я знаю и то, что сегодня весь улов пойдет на кухню Артуш-аги, и мне так не хочется идти с дядей. Что бы это такое придумать?

Вдруг я вспоминаю, что утром после падения с ослика у меня немного побаливала рука, и сейчас, вспомнив эту уже забытую боль, я начинаю охать, стонать.

— Что за бес вселился в тебя? — спрашивает дядя, недовольно поглядывая на меня.

Но как признаться, что осел сбросил меня на землю? Дядя очень сердится, когда узнает, что я каталась на осле.

— Ох, бес не вселился,— отвечаю я, продолжая стонать,— а рука должна была болеть у меня, но больше не болит.

— Эге, очень умная рука, раз передумала болеть,— смеется дядя.— А ну-ка, бери корзинку, пойдем рыбу ловить.

И вот уже с корзинкой на плече я плетусь за дядей и думаю об отце. Еще осенью он был дома. Мы в то время жили не у дяди, а в своем домике на другом конце села. Когда мне хотелось сходить к бабушке, я должна была пройти всем селом. Но ходила я не по улице, а по крышам. Это было совсем не трудно, а как интересно!

Все дома у нас в селе словно прилеплены друг к другу, плоские крыши идут почти вровень. И это очень удобно для ходьбы. Шагаешь себе по плоским крышам, а то нагнешься и заглянешь к кому-нибудь через ертык. Никто тебя не видит, а ты видишь все, что творится в доме.

Так, заглядывая в ертыки, я несколько раз заставала старосту Симона за едой и, когда он отворачивался, подсыпала ему в миску земли. Теперь я лишилась этого удовольствия — расхажи-

вать по крышам села. Когда отца отправили на войну, дядя Агабек взял меня и мать к себе в дом.

В первый же день, как мы перебрались к дяде, бабушка сказала, что мы будем жить у них до весны, до той поры, пока не потеплеет, а то, дескать, зимой простудится малютка в нашем дырявом доме.

Сначала я думала, что бабушка заботится обо мне, и только недавно поняла, что она говорила об Артике. Удивительно, как это бабушка знала, что у нас родится ребенок?

Мать все говорит, что Артик — несчастный ребенок, потому что за неделю до его рождения пришла «черная бумага» о смерти отца. Мне очень хотелось посмотреть на эту бумагу, и как-то, перерыв все в сундуке, я разыскала ее. Но это была совсем не черная бумага, а красивая и белая как снег, и черных строчек на ней было совсем немного.

«Вот тут и написано, что отца твоего убили,— сказала мать, отбирая у меня бумагу. На глазах у нее опять навернулись слезы, и она разразилась проклятием: — Ах, чтоб перевернулся трон Никола!»

Я шагаю за дядей и думаю то об отце, то о нашем сельском огороднике Николе. Думаю, думаю и никак не могу понять, почему огородник виноват в смерти отца. Ведь он целыми днями, подобно своему ослу, кружит по городу и даже не сердится, когда старостин рябой Вано забирается к нему на грядки и дергает морковь.

— Дядя,— спрашиваю я,— а что, огородник Никол плохой человек?

— Никол? Человек как человек... Откуда мне знать, какой он?

— Наверно, плохой. Мама и бабушка все проклинают его.

— Как же они его проклинают? За что?

— Говорят: «Дай бог, чтобы трон Никола перевернулся».

Тут дядя так громко захохотал, что мне стало страшно.

— Не огородник это, а царь! Понимаешь, царь! — говорил он, покатываясь со смеху.

На берегу реки дядя снимает трехи[1] и, засучив шаровары, влезает в воду.

— Стой смирно, не шуми,— предупреждает он меня,— а то вспугнешь рыбу.

Сеть шлепается на поверхность воды и медленно погружается. Дядя глядит на воду и осторожно тянет сеть за волосяную веревку, конец которой намотан у него на руку.

Увидев белые животики бьющихся в сети рыбешек, я забываю о предупреждении и, хлопая в ладоши, от нетерпения подпрыгиваю.

— Ой, как много!

---

[1] Трехи — плетенная из сыромятной кожи крестьянская обувь.

— Чего ты разыгралась, как теленок? — недовольно ворчит дядя.— Погоди шуметь!

Но и без того мой пыл остывает, как только я вспоминаю, что рыба пойдет не нам, а в дом Артуш-аги. Я даже злюсь оттого, что в сети ее оказывается довольно много.

— Ну и чего ты заснула? — опять сердится дядя.— Собирай рыбу в корзину!

— Дядя, сегодня на мое счастье ты не закидывай сеть,— говорю я.— Не надо...

— Почему это? Ах, чтоб тебе... Знаешь ведь, что рыба пойдет хорошо, вот и кривляешься!

— Нет, дядечка, не кривляюсь. Ты понесешь рыбу молодому Артуш-аге, ну и закидывай на его счастье!

— Сейчас закинем на счастье наших. Вот эта пусть будет на счастье Асмик и Аник,— говорит дядя и снова закидывает сеть.

Потом он вытягивает на счастье бабушки, на счастье маленького Артика и, наконец, готовится закинуть ее в четвертый раз.

— А это пусть будет...

— ...на счастье мамы,— торопливо подсказываю я.

— Да, пусть будет на счастье сестры.

Сеть снова выходит наполненная рыбой, и я рада тому, что хоть тут на долю матери выпадает счастье.

— Ну, хватит,— говорит дядя,— чем больше там сожрут, тем больше будут беситься.— Сложив сеть, он вскидывает на плечо корзину с рыбой.— Пошли!

Мне совсем не хочется идти с дядей в хозяйский двор. Эти городские барышни-цапли противны мне, а офицера... боюсь. И я решительно заявляю дяде:

— Иди сам к хозяевам, а я не пойду!

— Почему не пойдешь? Не сожрут же они тебя.

— Офицер-ага прибьет.

— Э, до тебя ему сегодня... Подумаешь, большое дело — рыбу отдать. Оставим ее Февронье-ханум и уйдем.

Я с опущенной головой иду за дядей и про себя решаю, что, если офицер вздумает бить меня, я все лицо ему исцарапаю.

Остерегаясь собак, мы крадучись входим во двор Артуш-аги.

— Ханум! Эй, ханум! — зовет дядя, останавливаясь у порога хозяйского дома.

Но вместо Февроньи-ханум в дверях появляется офицер.

— А, Агабек, долгих лет тебе! Рыбу принес? — весело говорит он.

Дядя, держа корзину на плече, снимает шапку и наклоняет голову:

— Вот хозяин, ты рыбки хотел, я принес.

— Так снимай же, снимай корзину, ведь тяжело держать.

— Да, уж рыба — мокрая вещь, как ей не быть тяжелой...

— А кто это с тобой? — не узнавая меня в темноте, спрашивает офицер.

— Это дочь моей сестры,— отвечает дядя и почему-то начинает объяснять: — У нее рука легкая, это уж проверено. Когда возьмешь ее с собой, хорошо ловится рыбка...

— Сегодня на мое счастье сеть не закидывали,— бормочу я, косо поглядывая на офицера.

— Ну, раз ты такая знаменитая, на, получай! — смеется он, протягивая мне монету, затем дает какие-то деньги дяде и говорит: — Долгой жизни тебе, Агабек, спасибо, можешь идти.

Но дядя мнется, хочет, как видно, что-то сказать и не решается.

— Можешь идти, Агабек,— повторяет офицер.

— Господин офицер... Умереть мне за твою душу, господин офицер,— запинаясь говорит дядя,— у меня к тебе просьба...

— Говори, я слушаю.

— Я запахал несколько лишних сажен земли на целине, а засеять не мог. С Арамом такая беда... остался один. Так теперь Каро говорит, что я должен платить и за эту землю. Окажи милость, господин офицер, поговори с отцом...

Офицер нетерпеливо слушает и наконец перебивает дядю:

— Знаешь что, Агабек, я в эти дела не вмешиваюсь. Ты объясни это Карапету, а он поговорит с отцом,— говорит он и уходит.

Дядя стоит с опущенной головой.

— Дядя, пойдем домой,— тяну я его за рукав.

— Пойдем, бала джан, пойдем...— Дядя поднимает пустую корзину и вздыхает: — Эх, даже пары рыбешек не оставили!

— А я припрятала,— шепчу я, боязливо оглядываясь, и показываю ему мокрый кулек.— Эта рыба вышла на счастье моей мамы, я не смешивала ее с остальной.

— И хорошо сделала,— говорит дядя, беря кулек из моих рук, а то дома и поесть нечего.

...У нас во дворе кипит на таганке котелок с соленой водой. Мама и тетя Ашхен проворно чистят рыбу и бросают в котелок. А еще через некоторое время бабушка, отделив долю каждому из нас, начинает сзывать соседок:

— Дочка Егнар,Ерикназ, Маран! Идите возьмите по рыбке. Пусть и ваши детишки полакомятся.

— Дай бог здоровья твоему Агабеку! Мир и благополучие твоему дому, матушка Нуно! — высказывают соседки добрые пожелания, и каждая уносит свою долю рыбы.

Поев рыбы, мы окружаем бабушку и просим рассказывать нам сказки.

— Бабушка, про Абузейта,— просит Асмик.

— Нет, лучше про Арекназ! — настаиваю я.

— Идите-ка спать,— говорит бабушка,— весной сказок не рассказывают.

Мы начинаем шуметь.

— Почему, бабушка? Почему?

— Нельзя, град побьет наши поля,— объясняет бабушка.— Сказки рассказывают в свободное время. Вот когда будет убран и обмолочен хлеб, тогда можно со спокойным сердцем сидеть дома и рассказывать сказки. А сейчас нельзя, бог услышит — рассердится.

— А ты нам потихоньку расскажи,— советует Асмик,— бог не услышит.

— Все равно узнает,— говорит бабушка.— Он знает обо всем, что делает человек, и, если ему что не по душе, он очень сердится.

— Этот бог только и знает, что сердится,— досадует Аник.

Дядя сидит молча и курит. Глаза у него полузакрыты, лицо усталое, задумчивое. Кажется, что он спит. Но он не спит, он думает. Мой дядя думает и думает без конца. Пашет в поле — думает, чинит сеть во дворе — думает. И когда усталый возвращается с поля и садится за еду, тоже думает. О чем он все время думает, я никак не пойму.

— Нехорошо так много думать,— говорит ему бабушка.— Не кручинься, сынок, с божьей помощью проживем.

— Эх, матушка,— с тоской отзывается дядя,— прожить-то проживем, да как?..

А тетя Ашхен никогда не унывает. Увидит, что дядя загрустил, сейчас же старается придумать что-нибудь такое, чтобы его рассмешить. Иногда в такие минуты она подговаривает нас начать с ним игру в чиз.

Очень веселая эта игра. Дядя опускает голову, обхватывает ее одной рукой, а другую прикладывает к уху. Мы по очереди изо всех сил бьем его по руке, и он должен угадать, кто ударил.

— Э, да тут столько кошачьих лапок,— поди разберись, которая чья,— добродушно ворчит он и снова прикладывает ладонь к уху.

Тогда тетя Ашхен, подмигнув нам, тихонько подходит и трахает его по руке.

— О-о-о! — кряхтит дядя. — Это уж лапка медведя.

— Вай, тетушка,— кричу я,— медведь — это ты!

— Гм, вот и угадал,— смеется дядя.— Ну, давайте эту тетушку-медведицу посадим чизом.

Мы хватаем тетушку Ашхен за руки, но она ловко вырывается и говорит, что чизом должен сидеть тот, кто похож на медведя.

И неспроста говорит. Уж кого-кого, а мою тетушку никак не назовешь медведицей. Бабушка, когда бывает в хорошем настроении, называет ее марал-невестушка. Как же не марал, если она такая высокая, стройная, а глаза у нее и в самом деле как у марала?

А дядя часто называет тетушку «братец-жена». Он называет ее так потому, что тетушка Ашхен всегда вместе с ним, на любой работе. Вместе они косят, молотят, провеивают пшеницу или,

взявшись за руки, взваливают на арбу огромные мешки, наполненные зерном. Отправляясь на луга ворошить сено Артуш-аги, дядя прежде всего зовет меня; но и тетушку мы берем с собой, чтобы она подсобляла нам.

— Ну, братец-жена,— говорит дядя, усаживаясь в арбу,— поехали.

Тетушка, стоя в арбе, гонит лошадей и присвистывает при этом не хуже любого мужчины. А когда приходит время нагружать арбу, она вилами поднимает целую копну сена и подает дяде, который стоит наверху. Дядя принимает от нее сено, укладывает его, постепенно арба превращается в гору. Потом они начинают увязывать огромный воз. Дядя, стоя наверху, а тетушка снизу тянут за веревки, от натуги тяжело дыша, кряхтят.

— А ну, давай-давай, братец-жена!

— А ну, еще разик, гоп!

Но еще труднее везти эту гору-арбу по нашим каменистым ухабам да горным кручам. Попадаются места, где кони, как ни выгибают спины, не могут сдвинуть тяжелого воза. Когда воз останавливается на косогоре, я кидаюсь вперед, хватаю поводья и тяну лошадей, а дядя и тетушка плечами подпирают арбу, чтобы она не перевернулась. И так воз благополучно проходит опасное место.

Ну как же дяде не называть братцем такую жену! Впрочем, не только тетушка Ашхен, но и я ему «братец», и даже бабушка, его мать, потому что она тоже таскает и тяжелые мешки и корзины. А когда она идет с нами ловить рыбу, закидывает сеть не хуже дяди. И вообще моя бабушка, Нуно-хлебопек, как зовут ее в селе, не уступит ни одному мужчине ни в силе, ни в смелости. Дядюшка Авет любит рассказывать, как моя бабушка и староста Симон, когда были молодыми, поспорили и бабушка выиграла спор.

В те времена Симон еще не был старостой и потому частенько заглядывал к нам. Как-то зашла речь о страшных развалинах старого монастыря святого Геворга и о том, что ни один смельчак не решится пойти туда ночью.

— А я пошла бы,— похвалилась моя бабушка.

— Пошла бы...— усмехнулся Симон.— Да если б женщина была способна на такие дела, на свете перевелись бы мужчины.

— Давай поспорим,— предложила моя бабушка.— Если вот в эту же ночь я принесу из монастыря дикого голубя, ты режешь ягненка, не принесу — режу я.

Договорились. Вечером бабушка села на коня Симона и, взяв у него с головы папаху, пустилась в путь.

Ждали ее час, ждали два — ее все нет.

— Э-э,— говорит Симон,— сгинула Нуно, камень ей на голову! Пропала моя папаха, да и вместе с конем.

— Не бойся, не пропадут,— успокаивает его мой дедушка Мацо, который тогда еще был жив.

Прождали еще с час, и вдруг в самую полночь появляется моя бабушка — верхом на коне, с диким голубем в руках, а кроме того, тащит с собой со связанными за спиной руками нашего теперешнего большого дедушку[1] Алека, который, говорят, тоже был тогда молодым.

— Где это ты подхватила этого молодчика? — спрашивает Симон, как будто он ничего не знает.

— А это ты послал его напугать меня,— отвечает ему моя бабушка.— Но ты просчитался... Вот тебе голубь, вот и твой молодец, а папаху я оставила в гнезде голубя. Если ты мужчина, поезжай и привези ее.

Симон не решился ехать в монастырь ночью, ждал до утра. А утром притащил ягненка и зарезал его у ног бабушки, говоря, что такая отважная женщина достойна не то что ягненка, а целого мира.

А наш большой дедушка Алек на всю жизнь стал врагом бабушки из-за того, что та, будучи женщиной, на весь свет опозорила молодца.

Вот какая отважная наша бабушка. И раз у нас есть такая бабушка, чего дяде тужить да задумываться? Только что мы играли с ним в чиз, а сейчас его опять одолевают думы.

— Агабек джан,— спрашивает бабушка,— говорил с хозяином о земле?

— Молодой Артуш-ага сказал, что говорить нужно с Каро...

— Чтоб он свернул себе шею! Да разве можно говорить с этим проклятым? — сердится бабушка.— Он даже с крестьянской блохи подать сдерет.

— Говорить можно. Почему не поговорить? Да только у Каро своя болячка,— добавляет дядя и как-то странно поглядывает на мою мать.

Бабушка глазами указывает ему на меня, и он умолкает.

Я не знаю, какая болячка болит у Каро. Но я хорошо помню разговор между бабушкой и матерью старосты Симона — Зардар — после того, как пришла та черная бумага о смерти отца. «Вот видишь,— ехидно говорила Зардар, прозванная Зорбой[2] за свой заносчивый нрав,— не отваживали бы от своего дома такого молодца, как Каро, так теперь не лила бы слезы Сато». Бабушка тогда рассердилась и ответила ей: «Старую солому не ворошат, а Сато было так на роду написано, чтобы ее мужем стал Арам».

Нет, не догадаться мне, что хотел сказать дядя, говоря, что у Каро своя болячка, но сердце у меня почему-то дрогнуло при этих словах. Я подошла к матери, села рядом с нею и положила голову ей на плечо...

---

[1] Большой дедушка — старший в родне.

[2] Зорба́ — насильница, угнетательница (нарицательное имя, прозвище).

Не пойму — снится мне это или я вижу наяву. По небу плывет огромный весенний месяц с молочно-белым лицом. Гляжу я на него, гляжу — и кажется мне, что это сказочный богатырь Арег. Вот он садится на своего богатырского коня... Да нет, это не конь. Месяц садится на облако. Облако бежит, бежит, и вдруг месяц скатывается куда-то... Мне кажется, что он падает прямо в темное ущелье, в реку. А из реки выплывают огромные рыбины с белыми животами. Они бьют меня по лицу широкими хвостами. Я отбиваюсь от них и, просыпаясь, вижу: мать своей загрубелой от работы рукой тихонько похлопывает меня по щеке.

ПРОЩАЙ, КАША ИЗ ДЗАВАРА![1]

Куда бы дядя ни шел, он и меня берет с собой. Когда он берет меня на речку ловить рыбу, это не так уж плохо, пожалуй, даже хорошо: я вдоволь накупаюсь, да и вообще ловить рыбу — интересное занятие. К тому же, если дядя идет один, рыба у него ловится плохо. Бабушка говорит, что мой сладкий запах притягивает рыбок — они теряют голову от этого запаха и идут прямо в сеть. Значит, при ловле рыбы мне просто необходимо быть с дядей.

А вот когда дядя отправляется в соседнее село Гошаванк, разве уж так необходимо, чтобы я сопровождала его?

Гошаванк совсем недалеко от нашего села, ничего там интересного нет, и я не понимаю, зачем мне тащиться туда вместе с дядей.

— Ты, наверно, большого дедушки боишься? — спрашиваю я его.

— А разве этого мало? — отвечает мне дядя.— Дедушка Алек так орет, что у меня душа уходит в пятки.

Большой дедушка, брат отца моего дяди, и в самом деле человек страшный. Я уже не говорю о его бороде — в этой огромной копне волос птички могли бы свить гнезда. Наш большой дедушка — это Артуш-ага Гошаванка, и потому все так боятся его. Но больше всех его боимся мы и идем к нему только тогда, когда нечего есть. Вот и сегодня дядя отправляется к нему потому, что всю пшеницу, какая у нас была, все пять пудов, он посеял. А до нового урожая еще целых четыре месяца. Не можем же мы все это время только ветер глотать. Значит, ничего не поделаешь, приходится опять стучаться в двери большого дедушки. У него амбары полны зерна, и многим он отпускает его до нового урожая взаймы, только нам почему-то не хочет дать. Сколько дядя ни ходил к нему, ни просил, большой дедушка одно твердит: «Дашь хозяину худого дома — что с него получишь?»

И откуда он знает, что дом у нас и в самом деле худой и в

[1] Дзавар — пшеничная крупа, сечка.

зимнее время холодом несет изо всех дыр? Ведь никогда к нам и не заходит. Другое дело дядины шаровары — они и вправду все в дырах; а он без стеснения надевает их всякий раз, когда идет на поклон к большому дедушке.

— Бородатый сатана,— ругается бабушка.— И что для него два пуда пшеницы? Наследников нет, не в могилу же возьмет столько добра...

У большого дедушки нет ни сына, ни дочери, одна только жена — бабушка Сандухт, которая, по словам моей бабушки, уж сорок лет мучится с этим извергом. Бабушка говорит, что большой дедушка не любит никого на свете. Но это неверно. Староста Симон часто наведывается к нему в Гошаванк. А сам большой дедушка, когда бывает в нашем селе, всегда заходит в гости к Артуш аге. Он только к нам ни ногой, и мы даже боимся показываться ему на глаза. Боимся потому, что он всегда орет на нас: дескать, прибедняемся, хотим разжалобить, чтобы выклянчить что-нибудь...

Одним словом, наш дедушка Алек ни чуточки не похож на родного дедушку. Но мы все же решили сесть на осла и отправиться к нему на поклон. То есть сижу на осле одна я, а дядя шагает рядом. Надо же выпросить немного пшеницы, потому что мы уже съели весь дандур и сибех[1] с наших полей и теперь голодаем.

Ослик Никола шагает так медленно и торжественно, словно жених, идущий венчаться в церковь. Я наслаждаюсь. Перед самой мордой ослика шмыгают зеленые ящерки. Вот поймать бы одну из них да пустить в бороду большого дедушки!.. Как видно, они догадываются о моих намерениях — мгновенно исчезают, вильнув хвостом. Я знаю, что ящерицы очень любят свист, и, чтобы привлечь их, начинаю свистеть. Только недавно я выучилась свистеть и потому с трудом вывожу мелодию, которая, по моим предположениям, должна понравиться этим зеленокожим проказницам. Они, наверно, прощают мне мою неопытность: осторожно вылезают из расщелин, рассаживаются в ряд на раскаленных от солнца камнях и слушают меня, тараща кругленькие глаза.

По обочинам дороги пробиваются меж камней кустики молоденькой зеленой травы. Ослик, вытягивая мордочку, обнюхивает их, но по глупости не знает, что ими можно полакомиться. Положим, и хорошо, что не знает, а то сожрал бы и бабочку, которая совсем не подозревает об опасности и спокойно сидит на цветке, распустив свои узорчатые крылышки-лепестки. А пестрая перепелочка, вертя длинным хвостом, по привычке прыгает с кустика на кустик. Так она любит обманывать: дескать, я совсем не против, чтобы меня поймали. А попробуй поймай! Она всю душу вымотает и в конце концов убежит.

---

[1] Дандур и сибех — съедобные травы.

Огромные зеленые кузнечики, сидя в траве, играют на своих кяманчах[1], как на свадьбе. Хорошо тут на полях, раздолье! И почему люди, оставив эти чудесные поля, живут в земляных норах? Если б спросили меня, я никогда бы не согласилась на это. Жила бы среди зеленых полей, бегала за ящерками, бабочками. И не было бы никакой нужды ехать к большому дедушке, просить дзавара на кашу,— я могла бы прожить как бабочка.

— Вот привезем дзавару,— говорит дядя, шагая рядом с моим осликом,— бабушка сварит нам кашу. Поедим вволю, и наши желудки наконец успокоятся.

— А я потом и со стенок и со дна горшка соскребу, что там прилипнет,— мечтаю я,— ладно?

— Скреби, сколько твоей душе захочется.

— Хочется, конечно хочется. У меня уж душа истосковалась по дзавару, а бабушка все посылает рвать этот противный банджар[2].

— Кого же и посылать, ты старшая дочка в доме.

— А кто рвет банджар для большого дедушки?

— В его доме банджар не едят.

— А что же там едят?

— Эх,— вздыхает дядя,— если б нас угощали тем, что там едят, у тебя сейчас выросли бы крылья...

Слова дяди направляют мои мысли в другую сторону. «А что, если б у меня действительно выросли крылья? О, я тогда прежде всего полетела бы к роднику бессмертия. Почерпнула бы живой воды, окропила бы ею могилу моего отца, и он воскрес бы. У меня опять был бы отец, и никто не смел бы звать меня сиротой. Но нет у меня крыльев, да и не знаю я, где искать могилу отца. Значит, всю жизнь мне жить сиротой. Вот если бы дядя согласился быть мне отцом!»

— Дядя,— спрашиваю я,— ты отец только Асмик и Аник?

— Да. А чей же еще?

— А кто будет отцом мне и Артику? Плохо ведь нам без отца.

— Я и вам буду отцом,— отвечает дядя.

— А кто тогда будет дядей?

— Не думай об этом, бала джан, я буду вам и дядей и отцом,— подбадривает меня дядя.— Только ты будь умницей и не дерись с другими детьми.

— И с рябым Вано не драться?

— На что тебе сдался Вано? Он сын старосты, а ты сирота...

— Вот видишь, опять ты говоришь «сирота»... А только что сказал, что будешь мне отцом.

— Буду, но все равно тебе не надо связываться со старостиным Вано... Собачью глотку палкой не заткнешь.

---

[1] Кяманча — смычковый струнный инструмент.
[2] Банджар — общее название съедобных трав.

— С ихней собакой я и сама не хочу связываться, а рябого Вано все равно побью!

— Ну зачем тебе его бить, что тебе сделал Вано?

— Он зовет меня сиротским щенком.

— Вот это не годится. Не позволяй. Скажи ему, что ты не сирота, что у тебя есть дядя.

— И ты не зови меня сиротой. Бабушка говорит, что сейчас весь свет осиротел. Почему же только меня одну так называют?

Дядя грустно улыбается и молчит.

Между тем мы уже приближаемся к месту, где надо слезать с осла и — в знак уважения — идти дальше пешком, иначе большой дедушка страшно рассердится. Он ведь всегда ищет причину, чтобы рассердиться и заорать.

Я-то ничего, не из пугливых, а если и испугаюсь, так все же останусь с дядей. А вот ослик Никола, как и его хозяин, очень робок. Он может испугаться и убежать. Тогда как же мы повезем пшеницу домой?..

Большой дедушка сидит у себя под навесом. За спиной у него атласная подушка, в руках четки. Его сытый живот вздулся горой, огромная, до пояса, борода рассыпалась по груди. Из-под косматых бровей тускло поблескивают маленькие черные глаза-пуговки. Они следят за нами и по мере нашего приближения все более оживляются, становятся все злее. Кажется, подойдешь поближе — они выскочат и вопьются в тебя.

Видимо, дядя этого и боится. Он останавливается в десяти шагах и, загораживая меня спиной, говорит:

— Добрый день, отец!

Затем снимает шапку, кланяется.

— Ну, скажем, добро пожаловать! А дальше? — холодно отвечает большой дедушка, а глаза его так и бегают.

— Мать посылает поклон...

— И об этом услышали. Дальше что?

Дядя надевает шапку, смущенно переступает с ноги на ногу.

Бабушка наказывала мне поцеловать руку большому дедушке и пожелать ему здоровья, но я боюсь выйти из-за спины дяди и только выглядываю из-под его локтя.

— Чья это? — указывает на меня пальцем большой дедушка.

— Это дочка Сато,— говорит дядя и выталкивает меня вперед.— Поди поздоровайся с большим дедушкой.

Я выбегаю вперед, тычусь носом в колено большого дедушки и выпаливаю:

— Дедушка, бабушка велела тебе сказать: желаю здоровья!

Своей волосатой рукой большой дедушка похлопывает меня по плечу.

— Чем это тебя кормят, что у тебя такой бойкий язык?

— Банджар едим, дедушка джан, а вот привезем от тебя пшеницу...

— Какую пшеницу? — Большой дедушка с гневом обрушивается на дядю: — Ты что, отдал на хранение и теперь пришел взять? Да этак вы все мое добро растащите. Нет у меня ничего для вас. Понимаешь, нет!

— Прости, отец. На этот раз...— заикаясь говорит дядя,— детишки голодают ведь...

— А мне-то какое дело! Что, я должен всех вас кормить? Вы уж и в самом деле смотрите на меня как на того осла, у которого тащат корм из-под ног, а ноши его не хотят облегчить!

— Дай хоть немного, отец,— просит дядя,— хоть пудика два на дзавар, пожалей детишек. Не беспокойся, все отдам. И с процентами...

— «И с процентами»! — издевательски усмехается большой дедушка.— Да ты сначала дыры на штанах залатай, а потом уж говори о процентах! Сколько ты вернул из того, что мне должен? Отец твой вот так же все тянул и тянул из меня, да так и умер, не вернув ничего. Теперь ты... Да что у меня — бездонные закрома?

— Работаем же, отдадим, отец,— тихо говорит дядя, понурив голову.

— Э, отдадите... Полон дом девок. А где работники? Во что ты превратил очаг моего брата? В бабью богадельню! — орет большой дедушка. На минуту он задумывается и вдруг спрашивает: — А дом Арама стоит на месте?

— Стоит, чего ему не стоять? Ни воды, ни хлеба не просит...

— У них там пустой дом без пользы стоит, а я должен сирот кормить! Ходишь, попрошайничаешь, как нищий... Нет, ничего не дам!

— Что же мне делать, отец! Вот я и сиротку привел с собой...

— Не приводил бы, я тебя в гости не звал!

Большой дедушка отворачивает свой огромный живот, и перед нами оказывается уже не сатанинская борода, а круглый зад с толстыми, как мельничные жернова, ягодицами. Мы растерянно смотрим на эту мясную тушу. Наконец ослик Никола, как видно первый поняв, что ждать больше нечего, поворачивается и шагает домой. А вот уже и мы бредем вслед за ним с опущенными головами.

Прощай, каша из дзавара! Напрасно понадеялась я, что самое позднее завтра буду есть ее...

РАДУГА

Нет моченьки дольше терпеть, я должна стать мальчиком, иначе мы пропадем с голоду. Большой дедушка — провалиться бы сквозь землю такому дедушке! — не дал нам пшеницы, а пшеница на нашем клочке земли кто знает, когда поспеет. Дядя хочет поехать в город, чтобы заработать на хлеб, но бабушка не пускает. Она говорит:

— Дом без мужчины — что разрушенный монастырь...

Ну, Артик, конечно, не в счет. Он еще сосет молоко матери и спит в своей люльке, сколько ему вздумается. Наверное, он даже не понимает, какие собачьи невзгоды обрушились на нашу голову. Значит, я обязательно должна стать мальчиком. Тогда я останусь дома, а дядя пойдет в город зарабатывать хлеб, и наш дом не превратится в разрушенный монастырь. Или пусть дядя останется дома, а в город отправлюсь я. Правда, я знаю только название города — Карс, а где находится он, понятия не имею. Ну, это не страшно, стану мальчиком — как-нибудь разыщу.

Стать мальчиком заставляет меня и другое. Вы даже не представляете, как меня обижает, когда у нас в доме без конца говорят: «Если б у нас была хоть крупица счастья, дом не наполнился бы девчонками. Девочка — слепая судьба. Девушка — стена чужому дому».

Уж если об этом говорить, так никто не может сказать, что я слепая — оба мои глаза очень даже хорошо видят. И во всяком случае, я очень хорошо вижу и понимаю, что я, как говорит бабушка, «божье наказание» над ее головой,— столько доставляю разных неприятностей и забот. Кому же придет охота взять к себе в дом такое «божье наказание», как я? Нет, в нашем селе не найдется таких безумных людей. И я решила, что если ничего не получится с моим превращением в мальчика, то я уйду к огороднику Николу. У него нет детей, и он совсем не сердится, когда я таскаю из его огорода морковь. Зато есть у Никола ослик. Буду есть морковь, сколько душе захочется, буду кататься на ослике. Чего еще надо? Поистине жизнь, достойная Манташева [1], как любит приговаривать наш дядюшка Авет. А впрочем, поступить так было бы нехорошо. Ну ладно, я уйду в огород к Николу, а что будут делать Асмик и Аник? Ведь их тоже все время попрекают тем, что они «не опора семьи».

Все говорят нам об этом в лицо, и говорят так, словно мы виноваты в том, что родились девочками. И как это люди не понимают, что мы родились девочками не по своему желанию и не знали, что в нашем селе с презрением относятся к ним, а если бы знали об этом, то никогда не сделали бы такой глупости!

Особенно меня возмущает сын старосты — рябой Вано. Наверно, он знает, что я по ошибке родилась девочкой. Завидя меня, он всегда кричит: «Девчонка, девчонка — собачья печенка!» Уж не думает ли он, что я стану ему отвечать: «Вано — мужчина, Вано — молодчина!» Как бы не так! Я еще, как говорится, не слопала свои мозги вместе с пловом. Впрочем, появись у нас плов, я не уверена, что ничего не случилось бы с моими мозгами. Мерзкий Вано просто испытывает мое терпение. Но я с высоты нашей горы Аладжа плюю на такого мальчишку. Он — мужчина! Он — зола ему на голову! — на два года старше меня, а

---

[1] Манташев — известный бакинский миллионер-нефтепромышленник.

только и знает, что целыми днями играет в бабки, или кидает камнями в куриц, или же ворует морковь из огорода Никола. А я, как вы знаете, вместе с дядей ловлю рыбу, вожу молоть зерно на мельницу, умею плавать не хуже любого мальчишки, а сижу на коне — позавидовал бы сам Кёр-Оглы[1]. Правда, разъезжаю я не на коне, а на осле, но все равно разница небольшая. В нашем селе нет ни одного осла, которого я не погоняла бы по косогорам. Дядя ругает меня за это и даже иногда поколачивает, а бабушка и ругать перестала, только ворчит: «На что безумцу советы, черному на что мыло?»

Теперь я знаю нрав и повадки каждого осла в нашем селе. Ослик Никола уж очень жалок. Таская из огорода огромные тыквы, он вымотал себе всю душу на этой работе. И кто бы ни оседлал его, он все равно думает, что тащит тыквы. А ослу Саркиса, как видно, и свет не мил. Ну кто бы выдержал на его месте — бедняга и зимою и летом таскает грузы, чтобы заработать на хлеб своему хозяину.

У старосты Симона три осла, и все они сытые, холеные, как сам их хозяин. И ходят они с таким спесивым видом, словно понимают, что они ослы не простого человека, а потому имеют право задирать нос перед всеми остальными ослами. Но они страшно глупы, и я редко когда сажусь на них.

«В хозяина пошли»,— говорит дядюшка Авет. И это верно. Староста целый день шатается по селу и всех обижает. То же самое проделывают и его ослы. Они лезут во все огороды, пасутся на всех полях. За такие дела других ослов, пожалуй, забили бы насмерть, а старосте Симону, то есть, я хочу сказать, его ослам, все прощается. Посмей только пикнуть, Зорба-Зардар, мать Симона, поднимет такой крик, что только зажимай уши и беги.

— А что с ними поделаешь, скотина ведь! — начнет бабка Зардар.— Из-за съеденного пучка овса вы поднимаете такой шум,— совести у вас нет! Мой Симон ничего не жалеет для вас, неблагодарных, у него в доме двенадцать месяцев в году едят и пьют и городской начальник, и пристав, и стражник, и архимандрит, умереть мне за его священный сан...

— Ну, пусть и эти двуногие придут и попасутся на наших полях,— говорит в таких случаях дядюшка Авет.

Ах, дядюшка Авет джан! Нравится мне, когда он вот так разговаривает. Я всегда думаю, что, когда вырасту, обязательно стану такой, как Авет. Вот только жаль, что я девочка. В солдаты меня не возьмут и ногу не оторвут... Значит, единственное, что мне остается,— это стать мальчиком. Для такого превращения сегодня, пожалуй, самый подходящий день, потому что скоро пойдет дождь. А кому не известно, что во время дождя девочка может превратиться в мальчика? На небе появится радуга, пробеги под ней, и — свет очам твоим! — ты уже мальчик.

[1] Кёр-Оглы — герой народного эпоса, наездник, воин, поэт-ашуг.

Бабушка говорит, что это очень трудное дело, что вот уже сколько лет прошло, как она живет на свете, а еще не приходилось ей видеть, чтобы кому-нибудь удалось пройти под радугой.

Ну, это еще как сказать... Может, никто из девочек нашего села и не хотел превращаться в мальчика, а я хочу. Я должна пройти под радугой, чего бы мне это ни стоило. После дождя в наших горах появляется такая большая, красивая радуга, и такой она кажется близкой, что думаешь: протяни руку — и дотянешься до нее. Значит, не такое уж трудное дело пробежать под ней.

Все еще идет сильный дождь. Мы, то есть я, Асмик и Аник, сидим на сеновале и ждем появления радуги. Бабушка послала нас посмотреть, не пасутся ли ослы старосты на нашем поле, а мы свернули с полдороги и спрятались на сеновале. Я, конечно, могла пойти и одна, но подумала, что это безжалостно: я стану мальчиком, а Асмик и Аник так и останутся девочками и вечно будут слушать все те же обидные слова: «Девочка — стена чужому дому», «Девочка — лучина чужого очага». И потому я решила взять их с собой. Жаль вот только — не спросила у бабушки, сможем ли мы сразу все три стать мальчиками.

Сидя на сеновале, мы весело болтаем о том, как обрадуются наши домашние, когда трое молодцов войдут в дом и станут в ряд перед бабушкой. Тут я должна признаться, что я уже давно решила: как только стану мальчиком, прежде всего пойду и как следует отлуплю рябого Вано и уж только после этого заявлюсь домой.

— Я не сразу скажу, что я Аник,— говорит Аник.

— Но ты уже будешь не Аник! — возражает ей Асмик.

— А кем же я буду? — удивляется Аник.— Значит, меня больше не будет? Нет, не хочу. А вдруг мама сошьет мне новое платье?

— Ты будешь мальчиком,— объясняет сестренке Асмик.— Значит, хочешь не хочешь, а придется тебе стать Вачиком, сыном Ериказ, или, если хочешь, старостиным Шагеном. И будет очень хорошо: у Шагена новый архалук[1], а конь у него какой!

— Нет, Шагена я не люблю,— сердито говорит Аник и спрашивает: — А ты кем будешь?

Асмик, немного подумав, говорит, что она будет офицером из дома Артуш-аги.

Я, как вы знаете, не в ладах с офицером, но его блестящие погоны и сабля мне нравятся. И я жалею, что Асмик опередила меня и стала обладательницей таких красивых вещей. «Ничего,— мысленно успокаиваю я себя,— все же это наша Асмик, не чужая. Попрошу — и она даст мне поносить и погоны и саблю». По правде говоря, сабля мне не так уж нужна, но ею можно бы

---

[1] Архалук — верхняя мужская одежда.

снести башку хозяйскому Каро, от которого житья нет нашим сельчанам.

Что касается меня, я уже решила, что и после превращения в мальчика останусь тем, кем была. Пусть все знают, что появившийся на свет храбрый молодец — это я, Арцвнак, верный помощник моего дяди!..

— А кем бы мы ни стали, нас все равно узнают,— вдруг говорит Асмик.— Ведь платья-то на нас девчачьи!

Вот об этом мы не подумали. Но теперь уже поздно думать. Дождь перестал, и над горой Аладжа засверкала широкая разноцветная радуга.

— Радуга! Бежим! — кричу я и первая выскакиваю из сеновала. За мной устремляются Асмик и Аник.

Мы босые, бежать нам легко. А вымытые дождем лужайки так хороши, так зелены, что трудно удержаться от того, чтобы не покувыркаться на них.

А как ожили, засверкали цветы! Тут и анемоны, и маки, и ромашки, и лилии, и шиповник, и пьяный цвет, и медуница... Они, как нарочно, все собрались тут, мелькают в глазах и не дают спокойно бежать. А эта негодница радуга просто подводит нас. Когда мы взглянули на нее из сеновала, она была совсем близко, но вот мы бежим, бежим, уже дыхание перехватывает, а она словно убегает от нас.

— Джан, джан, грибочки нашла! — вдруг кричит Аник, и мы разом останавливаемся.

Грибы! Да как много! Большие и маленькие, с белыми головками, а под зонтиком розовые; такие чистенькие от дождя, что так и хочется их сорвать. Мы срываем все, что видим на поверхности, хотим покопаться и в земле, но Асмик говорит:

— Если мы выкопаем и маленькие грибочки, что находятся под землей, они больше не вырастут. А ведь мы и после того, как станем мальчиками, должны собирать грибы.

Ну, на грибной суп вполне достаточно и того, что мы набрали. Мы складываем грибы в подолы платьев и снова припускаемся во всю прыть.

Вдруг Асмик в недоумении останавливается:

— Постойте, куда же мы бежим? Радуга совсем не на этой стороне!

— Радуги нет ни на какой стороне! — тонким голоском пищит Аник.

— А все из-за твоих грибочков, провалиться бы им! — сердито говорю я.— Что тебе дороже — стать мальчиком или какие-то вонючие грибы?

— Я брошу их,— плачет Аник,— ты только радугу поскорее найди.

— Нет, зачем? — кидается к сестренке Асмик.— Мальчиками не стали, так хоть грибной похлебки поедим.

Я так огорчена, что готова растоптать эти проклятые грибы.

Из-за них я не стала мальчиком, радуга куда-то ушла, а рябой Вано и на этот раз ускользнул из моих рук.

А самое ужасное то, что дядя теперь уедет в город и наш дом превратится в разрушенный монастырь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАША ЦАХИК И ХОЗЯЙСКИЙ КАРО

У нашей коровы была на лбу белая звездочка, а кончик хвоста был тоже беленький. Красивая была эта звездочка у нее на лбу, как цветок, и мы так и звали нашу корову — Цахик, Цветочек.

Мы так любили Цахик и так берегли ее, что не пускали пастись вместе с другими коровами. С ранней весны и до поздней осени мы с Асмик сами пасли ее.

Цахик была очень разборчива и не всякую траву ела. Она предпочитала пастись на лужайках, где много цветов. Больше всего она любила горный амем и синдз. И не дай бог, если в траве случайно попадался колючий эржнак! Тогда она отворачивала морду и с укором глядела на нас, будто хотела сказать: «Что же это вы ослиную пищу ставите перед такой благородной коровой, как я?»

Мы всегда водили Цахик в такие места, где было много ее любимой травы. Лучшее для этого место — Монастырское ущелье. Там есть Бархатная бахча Артуш-аги. Почему ее так называют, я не знаю. Окруженная стеною тополей, там расстилается обширная луговина, и под легким ветерком из ущелья волнами переливается зеленый пырей. Эта луговина — как зеленое озеро среди голых скал.

На скалах, над самой бахчой, высится наш монастырь святого Геворга. Все боятся этого монастыря, и в дни вознесения и вардавара[1] там на каменных жертвенниках режут домашних голубей. Смешно получается: режут и жарят голубей для святого Геворга, а съедают все сами, оставляя на долю святого лишь одни обглоданные косточки. Ну, святой Геворг, конечно, и не думает обижаться,— у него под куполом собора полно голубей. А этот купол так высок, что, когда я, стоя среди развалин, смотрю на него, мне кажется, что у меня оторвется голова. В такие минуты я люблю перекинуться со святым словечком.

— Святой Геворг, ты где-е? — запрокинув голову, кричу я во всю свою глотку.

— Э-э-э...— раскатывается под куполом, и голуби, испугавшись то ли моего крика, то ли ответа Геворга, с шумом взлетают из-под карнизов.

---

[1] Вардавар — языческий праздник цветов и гадания.

Я уже твердо решила, что, как только малость подрасту, обязательно заберусь на купол собора и посмотрю, где там восседает святой Геворг. Положим, я и теперь уже не маленькая. Моя бабушка говорит, что другие девочки моего возраста уже ведут хозяйство в доме. С хозяйством-то я справлюсь, а вот взобраться на купол пока страшновато.

А вот мастер Давид совсем не боится. Недаром его зовут мастером на все руки. Все самые красивые дома построены им. Из разных сел приезжают богачи и зовут его строить им дома. А кроме домов он делает и надгробные памятники. Посмотришь, отвалит огромную глыбу от скалы и начинает крошить ее. Крошит, раскалывает, обтесывает, а затем высечет на ней разные рисунки, и среди них обязательно двух маленьких мальчиков, как наш Артик, с крылышками на спине.

Надгробные памятники, высеченные мастером Давидом, так красивы, что позавидуешь тем, для кого он их делает. Жаль, что такой памятник можно получить только после смерти, я совсем и не думаю умирать... А мосты, построенные Давидом! Из красных, розовых, синих, белых камней он выводит такие дуги мостов — можно подумать, что это радуги. И чего-чего только не делает наш мастер Давид! Есть у него такая привычка: найдет какие-нибудь рисунки на сводах давно разрушенного моста, на старой часовенке или на заброшенной надгробной плите — обязательно все срисует и унесет к себе. А потом, глядишь, эти же рисунки высекает на новом памятнике или на вновь построенном доме сельского богача.

Я часто вижу, как мастер Давид, сняв трехи и носки, босиком взбирается на купол монастыря. Он забирается так высоко, что голова его касается облаков, и как он там удерживается, трудно понять. Но он и там что-то измеряет, записывает, срисовывает... Мастер Давид говорит, что нашему монастырю полторы тысячи лет. Недолго уже ему стоять, скоро совсем развалится. Вот он и срисовывает все, чтобы, глядя на эти рисунки, мы вспоминали, какой был у нас монастырь.

Вот ведь как несправедливо бывает на свете. Сколько лет стоит монастырь, а его еще и срисовывают со всех сторон, чтобы и тогда, когда он совсем развалится, люди могли смотреть на него. А мой отец прожил всего тридцать лет, и никто даже не подумал нарисовать его, чтобы я, глядя на его изображение, могла унять свою боль.

Как-то я пожаловалась на это мастеру Давиду. Он долго молчал, потом стал объяснять, почему он срисовывает и записывает все, что есть интересного на стенах монастыря. В древние времена возле монастыря, как раз на том месте, где теперь зеленеет Бархатная бахча, стоял, оказывается, светлый, красивый город. Но пришли турки, разрушили город и вырезали всех его жителей. И остался только полуразрушенный монастырь, а на стенах его, оказывается, высечена история этого несчастного го-

рода. Мастер Давид еще добавил, что Бархатная бахча потому так и зелена, что земля ее пропитана кровью невинно загубленных людей.

«Ну,— решила я,— раз бахча цветет на крови невинных людей, значит, грех там пасти даже таких благородных коров, как наша Цахик». И потому мы больше не водили ее туда.

Но грех грехом, а больше всего мы боялись хозяйского Каро. Страшный человек этот Каро. Он управляет землей, скотиной и всем добром Артуш-аги.

«Это не управляющий, а палач»,— говорят о нем сельчане.

А дядюшка Авет называет Каро борзой собакой Артуш-аги.

Не знаю, есть ли большая разница между управляющим, собакой и палачом, но мне хорошо известно, что три шкуры спустит Каро с того, кого застанет на хозяйской бахче. И все же мы тихонько пробирались на Бархатную бахчу, рвали там сочную траву с цветочками и приносили Цахик. Нарвав вдоволь травы, чтобы Цахик могла спокойно жевать, мы оставляли ее где-нибудь у монастырской стены и отправлялись пугать голубей.

А однажды, вот так устроив ее в удобном месте, мы решили спуститься в ущелье и покупаться в речке.

— Цахик джан, сестричка,— попросила ее Асмик,— ты никуда не ходи, мы скоро вернемся.

— Погладь ее,— посоветовала я,— тогда она ляжет, будет жевать свою жвачку и никуда не пойдет.

И в самом деле, после того как мы погладили ее по мягкой шерстке под челюстью, она согнула колени и, пыхтя, улеглась.

— Мы немножко покупаемся, а ты поспи, Цахик джан,— наказали мы ей и помчались в ущелье.

Вода была теплая и такая приятная, что нам не хотелось вылезать из речки. Бултыхались мы, бултыхались — даже дыхание захватило. Погрелись на горячих камнях — и снова в воду.

— Вай, а Цахик! — вдруг спохватилась Асмик и выбежала на берег.

Вслед за ней и я мигом выскочила из воды.

Быстро одевшись, мы стали подниматься из ущелья по узкой тропинке и вдруг увидели хозяйского Каро. За плечами у него было ружье, в руках — черная и гибкая, как змея, плетка.

Появление Каро было дурным признаком. Когда бы он ни показывался перед нами, это означало беду. Говорили, что он мстит нам из-за моей матери.

— Вай, может быть, Цахик забралась на Бархатную бахчу! — ужаснулась Асмик.

— Давай убежим! — невольно вырвалось у меня.

— А Цахик? Нет, надо ее увести.

Но как пробраться на Бархатную бахчу? На глазах у Каро мы сделать этого не могли. Решили обойти монастырь и пробраться на бахчу с другой стороны. Пришли на то место, где оставили Цахик, видим — коровы нет.

— Ты смотри за Каро, а я сбегаю на бахчу,— сказала я и побежала по тропинке.

Прибежала на бахчу, стала звать Цахик, но она не откликалась, и нигде ее не было видно. Потом мы уже вместе с Асмик осмотрели вокруг бахчи все кустарники и несколько раз поднимались на скалы, к монастырю, хотя и понимали, что Цахик никак не пройти по такой крутизне.

Асмик заплакала:

— Наверно, волки съели нашу Цахик...

— Если б съели, остались бы рога и копыта,— возразила я.— И потом, бабушка говорила, что летом волки не нападают.

— А почему Каро ходит с ружьем?

— Потому что он трус!

— А может, Каро увел корову?

— Пойдем спросим его,— предложила я, но, подумав, решила иначе: — Нет, ты оставайся, а я пойду. Если Каро схватит меня, ты убежишь.— И, набравшись смелости, я побежала к собаке управляющему.

Подошла, но боюсь и слова вымолвить. А Каро как будто даже испугался: вытаращил глаза, смотрит и пятится от меня. Наконец я решилась.

— Дядя Каро,— спрашиваю,— ты не видел нашей коровы? Она вон там лежала.

— Какая корова? — прошипел Каро.— Не видел.

— Как это можно не увидеть такую большую корову? Куда же она пропала?

— К дьяволу провалилась, и ты проваливай туда же! — проворчал Каро и, размахивая плетью, пошел от меня.— Не дай бог, если корова забралась на бахчу. Уши вам оторву! — крикнул он издалека и ускорил шаги.

Мы еще раз спустились в ущелье, ходили, ходили, совсем устали и, потеряв надежду найти Цахик, присели под скалой и вдоволь поплакали. Больше ничего не оставалось, как пойти и сказать бабушке о пропаже коровы.

— Ты беги, а я останусь,— сказала Асмик.— Может быть, Цахик забралась куда-нибудь и заснула. Проснется, начнет мычать, и тогда я найду ее.

Я на это не согласилась. Не хотелось мне одной идти к бабушке с такой горькой вестью.

В то время как мы спорили, послышался странный звук, похожий на стон. Мы заглянули вниз и увидели нашу Цахик.

Она лежала в расселине скалы, вытянув передние ноги, из ноздрей ее сочилась кровь, на губах выступила пена. Увидев нас, она глухо и тяжело замычала, забилась, пытаясь подняться на ноги, но вдруг рухнула, захрипела и осталась неподвижной.

Мы окаменели от ужаса, но быстро пришли в себя и с воплями побежали домой.

— Бабушка джан... Цахик... сдохла!..— срывающимся голосом крикнула я, вбегая в наш дворик.

Бабушка хлопнула руками по коленям, запричитала:

— Вай, чтоб я ослепла!.. Что случилось со здоровой коровой, почему она сдохла?

— Да, сдохла... Хозяйский Каро сбросил ее со скалы, и она околела,— добавила я, хотя до этого у меня и в мыслях не было, что Каро повинен в этом.

Бабушка разыскала дядю, и мы всей семьей побежали в ущелье.

Наша Цахик была еще теплой. Из вымени натекла лужица молока, а ее большие, широко раскрытые глаза с окаменелым удивлением глядели на нас. Все мы горько плакали, и даже дядя, отворачиваясь, тайком утирал слезы. Бабушка, плача и причитая, принялась расхваливать Цахик:

— Как невестушка была — покорной, послушной... ничего хитростного в ней не было. У других коровы, когда их доят, то ногой лягнут и перевернут подойники, то молоко украдут для своего теленка. Моя Цахик никогда не дурила так... Ох, да как же можно было околеть такой корове?!

Пока бабушка причитала, дядя вынул нож и принялся снимать шкуру. Покончив с этим, он решил разрезать тушу, чтобы перенести мясо домой по частям, но бабушка стала отговаривать его:

— Где это видано, чтобы люди ели мясо дохлого животного? Нет, Агабек джан, околевшая корова — доля божьих птиц и зверей. Царь небесный отнял у нас Цахик, чтобы накормить их. Да будет воля его...

— Э, да перестань ты, ради Христа,— сердито перебил ее дядя.— Детишки, как вылупились на свет, даже не нюхали мясного. Так что же, по-твоему, я должен оставить это мясо волкам? Нет, этого я не сделаю. Пусть царь небесный гневается на меня, но я...

Где-то поблизости заскрипели колеса арбы.

— А ну-ка посмотри, чья это арба,— обернулся дядя ко мне.

Я взбежала вверх по тропинке и увидела, что это огородник Никол возвращался откуда-то на волах мастера Давида.

— Дядя Никол! — крикнула я ему.— Наша Цахик околела, дядя зовет тебя!

Дядя Никол остановил волов, слез с арбы и молча пошел за мною в ущелье. При виде освежеванной коровьей туши он как-то растерялся и начал вздыхать.

— Ох, Никол джан,— снова запричитала бабушка,— видишь, какая у нас беда. Была одна коровенка, да и ту отобрал господь... Царь небесный, да неужели у тебя сердце каменное, что не пожалел ты детишек?! Чем согрешило перед тобой такое послушное животное?.. Нет уж, такая, видно, судьба.

— Ну, недаром ведь говорится: «Забрался волк в стадо — горе тому, у кого одна овца». Горе, матушка Нуно, для таких и существует, как мы,— вздохнул Никол.— Ничего не поделаешь, надо терпеть.

Дядя и Никол перенесли мясо в арбу, и мы под скрип колес зашагали домой молчаливые, подавленные.

ТРАУР

У недоброй вести, как говорит бабушка, соколиные крылья и змеиное сердце; если ты пеший — она поскачет на коне, если всадник — станет крылатой.

Не дошли мы еще и до гумен, как навстречу нам вышли соседи — бабушка Санам, дядюшка Авет, вдова Ерикназ, Арутик-солдат...

Завидя их, моя бабушка опустилась на землю и, хлопая руками себя по коленям, громко заголосила. Вслед за нею запричитала и бабушка Санам.

— Сестрица Нуно,— говорила Санам,— не было и нет радости на этом свете таким беднякам, как мы. Бедняк одним глазом смотрит на хлеб, а из другого у него катятся слезы. Так уж устроен мир...

А Ерикназ, потерявшая на войне, как и моя мать, мужа-солдата, не забыла и про свое горе.

— Головушка моя горемычная! — голосила она.— Отнял у меня господь все, так и этого ему мало, отнимает теперь и у соседей моих. Только и было у детишек радости, когда бабушка Нуно принесет им молочка...

Так они плакали и причитали, заставляя плакать и нас с Асмик.

И наверно, долго еще продолжался бы этот надрывающий сердце плач, если б не вмешался дядюшка Авет.

Он тоже был очень взволнован и, ковыляя вокруг арбы, разговаривая то с Николом, то с дядей, крепко стучал своей деревянной ногой. Но вот он подошел к бабушке, взял ее за руку и сердито сказал:

— Перестань, матушка, хватит. Сколько горестей перенесла ты в своей жизни, так неужели не перенесешь потери одной коровы... Зажми свое сердце и не радуй сердца недругов. Дай бог нам здоровья, поработаем — и снова обзаведемся коровкой... Вставай, ты сильная женщина, и не к лицу тебе так убиваться!

— Спасибо тебе, Авет джан, ты всегда великодушен и добр,— благодарно проговорила бабушка и вздохнула: — Да, пришла беда — отворяй ворота... Но кто же это наш враг, Авет джан? Кто позавидовал этой капле нашей радости?

— Хозяйский Каро! Это он столкнул со скалы нашу Цахик,— объявила я, прижимаясь к плечу дядюшки Авета.

Все удивленно посмотрели на меня. Я совсем смутилась, хотела убежать, но дядюшка Авет удержал меня.

— Постой-ка, постой! — потянул он меня за рукав.— Говоришь, хозяйский Каро? Ты сама видела или...

— Не видела, а знаю. Умереть мне, если я вру! Каро, как увидел меня, испугался и убежал. Значит, он...

— Фю! — присвистнул Авет.— То, что ты говоришь, Арцивджан, похоже на правду. Ты слышал, Агабек? — повернулся он к дяде.

Дядя горько вздохнул:

— Свидетельство ребенка — что сон слепого...

В нашем доме уныние и тишина. Соседки не покидают бабушку. А бабушка сидит у тонира и всхлипывает. Все говорят так тихо, что я боюсь шевельнуться.

Вот такое же тягостное уныние было в доме, когда мы получили «черную бумагу» о смерти отца. Только тогда соседки сидели вокруг матери. Утешали, подбадривали ее и тоже проклинали каких-то неизвестных людей. Бабушка и тогда плакала, но в то же время она продолжала распоряжаться всем: наказывала дяде, чтобы он зарезал на поминки козу, позвала сына соседки Сако и послала его в Гошаванк за водкой, Ерикназ и Маран, жене Авета, велела развести в очаге огонь. Нет, в то время бабушка держалась очень стойко. Она говорила: «Бог грозу и град посылает горам и полям, а на долю человека оставляет сердечную боль. Потому что только человеческое сердце может вынести любое горе и боль».

А вот сейчас она вся съежилась, стала какой-то маленькой и плачет, плачет без конца.

— Мало нам было горя,— говорила она,— когда царь небесный отнял у нас нашего Арама, теперь послал и это наказание, чтоб надрывалась от боли моя душа.

— Так, сестрица Нуно, это так,— поддакивает ей Санам.— Господь таким обездоленным, как мы, из одной рубашки не сделает двух, а из одной боли сделает тысячу... Не сыскать покрывала для моря, не найти небесам столбы — так не найти на этом свете и человека без горя.

— Э, будет вам,— вдруг начинает сердиться Авет.— Все цепляетесь за царя небесного... Так что ж, по-вашему, Каро выполнял волю господа бога, пускаясь на такие дела?

— Не богохульствуй,— останавливает его жена.

— Сами вы богохульствуете, раз говорите, что это «божья воля», а не разбой!

...Вечером, когда с пастбища пригнали телят, мы вновь с острой болью переживали свое горе. Причиной тому была наша телочка — маленькая Цахик. Как обычно, она вбежала прямо в

стойло к матери. Не найдя ее на своем месте, телочка, жалобно мыча, подбегает к бабушке.

— Иди, иди ко мне, сиротинушка,— говорит бабушка, обнимая ее.

Телочка будто понимает, о чем говорит бабушка, и зарывает мордочку в ее подол.

— Бедная, ищет материнское вымя,— вздыхает Маран и обращается к бабушке: — Матушка Нуно, дай-ка я отведу ее к нашей Джейран, пусть немножко пососет у нее молочка. Жалко скотинку.

Она прижимает к себе голову телочки и осторожно ведет ее за ворота.

— Правильно, женушка,— шутливо говорит Авет.— Вина искупается слезами, а долг — платежом. Меня ведь тоже матушка Нуно вскормила своей грудью, и немало я попил ее молочка.

В другое время все рассмеялись бы на такие слова, но сейчас ни у кого не было желания смеяться, и дядюшка Авет, постукивая деревянной ногой, выходит во двор.

Постояв немного, и я выхожу вслед за ним.

Мужчины сидят на камнях и курят. Мой дядя, высокий, широкоплечий, с загорелым лицом, сегодня выглядит как больной. Лицо его побледнело, тонкие, всегда подкрученные кверху усы уныло висят по уголкам крепко сжатых губ. Задумчивый и хмурый, он с безразличным видом сидит на камне и, как видно, даже не слышит, что говорит Авет.

Я стараюсь незаметно пройти мимо них, но дядюшка Авет окликает меня.

— Арцвик, иди-ка сюда,— говорит он, тыча костылем в мою сторону. Он всегда делает так, когда хочет настоять на своем.

Я подхожу и молча останавливаюсь подле него.

— Что, Арцив джан, плохое настроение, да? — спрашивает он, обнимая меня за плечи.— Ну, ты же сильная девочка, не уступишь мужчине. К чему так расстраиваться?

— Маленькую Цахик жалко,— говорю я и всхлипываю. Съежившись под его рукой, я начинаю рыдать и сама поражаюсь, откуда у меня берется столько слез — льются и льются...

— Э-э,— качает головой дядюшка Авет,— вот это уж нехорошо. Арцив джан! Лить слезы — совсем не мужское дело. Утрись-ка и не разводи сырость, а то увидят люди, и осрамишься ты на весь свет.

— С утра я реву, почему же не осрамилась? — всхлипывая, отвечаю я и, отерев глаза подолом платья, усаживаюсь рядом с ним.

У меня так тяжело на душе, что даже никуда не хочется идти. Соседские девочки и мальчишки играют на румнах. Я слышу их смех и только злюсь. Всеми проклятиями, какие я когда-либо слышала от бабушки, я проклинаю Каро и думаю, что́ бы я сделала с ним, если б он попался мне в руки!

Поглощенная мыслями о мести, я, должно быть, делаю руками какие-то странные движения, потому что дядюшка Авет, моргая глазами, удивленно смотрит на меня, потом говорит:

— Кого это ты разишь мечом, Арцив джан?

— Каро!

— Хорошо делаешь, бала джан. Только бог твоей бабушки, этот ее царь небесный, сделал большую ошибку: ты должна была родиться мужчиной, чтобы меч твой разил...

— Артик — мужчина,— говорю я.— Вот он вырастет, тогда расправится с Каро!

— Да, это верно, Артик будет настоящим мужчиной.

Я понемногу успокаиваюсь, на душе у меня становится легче. Конечно, имея такого братца, как Артик, чего тужить? Когда он вырастет, и мне будут говорить, как сейчас говорят моей матери: «У тебя же за плечами такой брат — как гора стоит!» Брат моей матери действительно как гора, а мой братик еще в пеленках пищит, но это ничего — вырастет!

— Дядюшка Авет,— прошу я,— когда Артик вырастет, ты не пускай его в солдаты. Ладно?.. А то и его убьют.

— Не всех же убивают, Арцив джан,— смеется Авет.— Видишь, меня не убили!

— Не велика радость: был как гора, богатырь был мужчина, а стал калека. А вон бедняжка Ерикназ с тремя малышами осталась,— говорю я словами бабушки и торопливо договариваю: — Чтоб перевернулся трон Никола!

Авет и дядя удивленно смотрят на меня, качают головами.

— Горе, земля, создателю твоему,— говорит Авет.— Ребенок и тот позабыл свое детство.

Между тем возвращается его жена Маран и ведет обратно нашу телочку Цахик.

— Не берет, дурная! Чего только я ни делала, не берет вымя Джейран,— жалуется она.— И откуда такая душа у скотины? Посмотри, Авет, она как одержимая.

Телочка не успокаивается, бегает из конца в конец по двору, мычит.

Мы начинаем укладываться спать, но так и не можем уговорить ее лечь в хлеву. Она так жалобно мычит, что у нас разрывается сердце.

— Баб, возьмем Цахик к себе,— просит Асмик.

— Жалко ее, бабуся, возьмем! — прошу и я.

— Да уж ладно, приведите,— соглашается бабушка.

Как только мы открываем дверку в хлев, телочка мигом выскакивает из него и бежит к нам. Мы с Асмик, обняв ее, укладываем между собой, гладим под мордочкой, играем ушами.

— Цахик джан, милая,— говорит Асмик,— мы будем хорошо ухаживать за тобой. Каждый день будем приносить тебе сколько захочешь синдза, а на хозяйскую бахчу никогда не пойдем, сестричка...

— Как это не пойдем? — громко говорю я.— Обязательно пойдем, назло этому проклятому Каро!

— Ну, будет вам, дайте Агабеку поспать,— уговаривает нас бабушка.— Агабек, спишь? — спрашивает она.

— Нет, не спится,— вздыхает дядя.— Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая ночь...

— Да, сынок,— вздыхает бабушка,— ночь или день, все равно горька наша доля.

ДЯДЮШКА АВЕТ

На другой день дядя Агабек, посыпав шкуру Цахик солью, вешает ее сушиться на солнце. За помощь он отрезает от нее на пару трехов огороднику Николу и на пару — дядюшке Авету. Печаль еще не ушла из нашего дома, но мы не можем удержаться от смеха, когда дядюшка Авет начинает приплясывать на одной ноге: теперь, дескать, на его ножке будет отменный трех.

— Знала б моя другая ножка, что обуют ее в такой трех, разве согласилась бы она остаться под лазаретной стеной? Она, бедняжка, не удостоилась даже надгробного камня,— шутит он.— Бедному человеку не так уж нужны дубленые трехи, потому что кожа у него и так дубленая. Вот ежели наш высокочтимый староста Симон наденет трехи из сырой кожи на свои вонючие копыта, тогда держись за нос и беги!

Так с шутками и прибаутками он дубил шкуру Цахик, отбивал ее на камне, смазывал конопляным маслом, беспрестанно повторяя, что таким трехам позавидовал бы сам староста Симон с его вонючими копытами.

Не знаю, как старостины копыта, но мясо нашей Цахик, пожалуй, не выдержит летней жары. Ведь едим его только мы с Асмик и Аник, да еще дядя Агабек. Бабушка настояла на своем: она и сама не ест этого мяса, и запретила есть его моей матери и тетушке Ашхен.

Правда, и в этом деле нам честно приходит на помощь все тот же дядюшка Авет. Каждый день, вооружившись шампурами и ножом, он является к нам и уже с порога кричит:

— Арцвнак, развела огонь?

И если оказывается, что я забыла это сделать, он сам разводит огонь в очаге, жарит коровий шашлык на своих шампурах и, собрав нас, усаживается за стол.

— Пожалей же себя, матушка Нуно, покушай с нами,— говорит он бабушке.— Пусть это пойдет тебе впрок, как пошло мне впрок твое молоко. Пока это есть у нас — поживем, а не будет — заживем, как Манташев.

— Провалиться бы твоему Манташеву! — сердится бабушка.— Это, видать, про таких, как ты, сказано: «Попал осел в яму с ячменем, говорит: «Это лучше, чем у меня в хлеву». Мало тебе,

что ешь падаль, так ты еще насмехаешься надо мной, хромой сатана!

— Ладно, матушка Нуно,— смеется Авет.— По-моему, лучше уж быть хромым сатаной, чем безропотной скотиной. А то лягнет хозяйский Каро — и полетишь в пропасть, как наша покойная, светлой памяти, Цахик!

Немалая доля мяса Цахик перепадает и нашим соседкам — Егнар и вдове Ерикназ. Удивительное дело, матери и тетушке Ашхен бабушка запрещает есть мясо околевшей коровы, а Ерикназ всегда сама зовет и отдает ей большие куски этого мяса.

— Возьми, возьми, покормишь детишек,— говорит она Ерикназ и всякий раз предупреждает: — Только сама не ешь, грех ведь...

— Господь с тобой, матушка Нуно, не скотина же я. Конечно, не буду,— простодушно уверяет ее Ерикназ.— Да и когда это я ела мясо, чтобы теперь польститься на него?

В селе уже у всех на языке наш коровий шашлык.

Однажды, когда мы поджаривали кусочки мяса на шампурах, к нам вошел староста Симон. Насмешливо ухмыляясь, он приблизился к очагу.

— Здорово, Авет,— поздоровался он и ехидно спросил: — Чем это ты занят, шкуру дохлого осла выжигаешь или шашлык поджариваешь?

— Сам видишь, достопочтенный, пришлось пустить на шашлык коровку Агабека, помяни господи ее душу,— серьезно ответил дядюшка Авет.— Не отведаешь ли, Симон -ага? Клянусь жизнью, вот этот кусок достоин самого Манташева... А день выжигания шкуры осла еще настанет. Тогда мы займемся всеми ослами с вонючими копытами, которые попадутся нам в руки.

— Тьфу! — плюнул староста.— И до чего ты дошел, Авет? Дохлятину ешь! Правду говорят, что, когда у цыгана появляется масло, он половину его мажет себе на зад...

— Да разве такие, как ты, оставят цыгану масла помазать зад? — крикнул ему вслед дядюшка Авет и подмигнул нам: — Важничает! А попади ему это мясо в лапы, да так, чтобы никто не видел,— сожрет за милую душу. Это он свое — умрет, не тронет. Во дворе у него двенадцать коров и триста баранов, а домашние мяса отродясь не едали. Добро должно быть чужим, чтобы он, как собака, набросился на него...

Злой бывает язык у дядюшки Авета, и я просто поражаюсь, как ему все сходит с рук.

Говорят, что раньше он был очень спокойным, а обозлился на старосту и на всех богачей, когда вернулся с войны. Сердце болит у него, когда он вспоминает об отрезанной ноге, вот и срываются у него с языка такие злые слова.

Дядюшка Авет самый близкий нам человек. Он молочный брат моего дяди, потому что его мать умерла во время родов и бабушка кормила грудью и его и своего Агабека. Дядя Агабек

любит своего молочного брата и очень волнуется, когда Авет так дерзко говорит со старостой. Мой дядя никогда ни с кем не спорит, с соседями живет в мире, и недаром прозвали его «Агунак» [1].

У нас в селе уж так повелось, что все кроме настоящего имени получают еще и прозвище. У всех, например, есть огород. Но только Никола зовут «Огородником». Соседского Сако с детства зовут «Пехлеваном» [2], хотя даже его отец, как говорят, не был силачом. Мать старосты, конечно, «Зорба»: она всех обижает, а Артуш-ага — «Чкри-три»: он кособокий и ходит вприпрыжку. Меня прозвали «Лохмушкой», потому что волосы у меня всегда взлохмачены, а дядя мой — «Агунак».

По словам бабушки, когда дядя был маленьким, как наш Артик, он все время ворковал по-голубиному: «Агу, агу»,— и звали его Агунак. Так за ним это прозвище и осталось. И вот мой дядя Агунак все старается образумить своего молочного брата Авета.

— Эх, братец,— говорит он,— будто тебя подменили. От прежнего покорного и послушного Авета в тебе ничего не осталось. Одни уезжают львами, а возвращаются ягнятами, а ты... Будто тебя кормили молоком львицы, а не солдатскими щами.

— Будешь и львом и волком,— кипятится Авет,— раз вы тут понасажали себе на шею таких скотов, как Симон. Это что же — я три года не слезал с седла, махал шашкой, кровь свою проливал, чтобы надеть теперь на себя ярмо Симона? Нет, братцы, душа не потерпит этого...

— Меч выпал из твоих рук, так хочешь теперь языком разить? Э, брось! Что пользы языком болтать? Самое большее, что тебе удастся,— взбесишь такую собаку, как Симон, и она бросится на тебя...

— Дай бог тебе здоровья, вот этого я и хочу, чтобы все вы поняли, что этот человек — собака, собачьей породы.

— Кто бы он ни был, этот человек, но сегодня он стоит над нами и сила у него в руках. Он водит знакомство с городским начальником и с приставом, за его спиной законы и власть. А кто у тебя за спиной? Сако Пехлеван да бедняга Никол, который и знать-то ничего не знает, кроме своего огорода.

— А что ж, ты, да я, да бедняга Никол, да Сако Пехлеван — разве этого мало? Если мы будем заодно да станем плечом к плечу...— Он не договаривает, впадает в раздумье. Но вдруг лицо его светлеет, и он продолжает: — Был у нас унтер один, душа-человек, дай бог ему долгой жизни, так он говорил: «Ребята, где же справедливость, ради кого и ради чего мы кровь свою проливаем?..» И я так скажу: ради кого? Почему это я, имея всего две ноги, одну должен был бросить в пасть войны? Почему такой молодец, как Арам, и голову сложил, а старостин Шаген шлялся здесь да обнюхивал юбки чужих невест? Где тут закон и спра-

[1] Агунак — голубок.
[2] Пехлеван — силач, богатырь, канатоходец.

ведливость, ради чего мы подставляли груди под пули турок и немцев?..

— Ну, Авет, это уж не нашего ума дело,— возражает мой дядя,— тяжесть войны всегда несет народ на своих плечах.

— Вот как раз староста Симон и твой царь Никол тоже того мнения, что плечи народа вроде как спина осла: какую тяжесть ни взвали — потащит. Но это не так, если пораздумать, совсем не так, наш унтер правильно говорил...

Прервав свою речь, дядюшка Авет встает и уходит, стуча деревянной ногой, а дядя смотрит ему вслед и качает головой:

— И впрямь подменили человека.

— Так оно и есть,— подтверждает бабушка,— пустые мысли накачал ему в голову этот унтер, или антер [1], вот он и взъярился на нашего живоглота старосту.

В эти дни, когда дядюшка Авет окончательно уверился, что нашу Цахик сбросил со скалы Каро, он стал еще более дерзким. Мой дядя не хотел, чтобы об этом говорили, боялся, как бы не дошли эти разговоры до слуха хозяйского управляющего и не вышло бы какой-нибудь неприятности.

— Да кто ж его разберет, это дело? — рассуждал он.— Скотина ведь могла и сама сорваться со скалы. Не хватать же мне человека за шиворот только потому, что на него указывает ребенок. Не пойман — не вор.

— Эй, Агабек, не юли, пораскинь мозгами! — выходил из себя Авет.— Почему это все сельчане побывали у тебя, и у каждого нашлось доброе слово, а эта Лиса сухого ущелья боится и на глаза показаться?

У нас в селе Каро прозвали «Лисой сухого ущелья» потому, что он сухощавый, высокого роста, а его костлявое, землистого цвета лицо с маленькими бегающими глазами похоже на острую морду лисы. И ходит он крадучись, точно лиса, вынюхивающая добычу.

— Перед народом нос задирает, перед хозяевами хвост поджимает,— продолжал возмущаться дядюшка Авет.— Что-то еще не приходилось слышать, чтобы со скалы срывалась корова Артуш-аги или Симона! Что же, у них другая скотина? Нет, это мы — бессловесная скотина, раз не можем постоять за себя. Вот ежели бы дали Каро хорошую взбучку, так пропала бы у него охота пускаться на такие дела!

Так, все более горячась, дядюшка Авет начинал ожесточенно строгать ножом дощечку, словно изливая в этом все свое возмущение.

Нож и дощечка были постоянно у него в руках. После того как ему отрезали ногу, он больше не мог ни пахать, ни сеять, а из дощечек вырезал много полезных и красивых вещей. Неизвестно откуда доставал он персиковое дерево; принесет, распи-

---

[1] Игра слов: а н т е р — по-армянски бродяга.

лит на дощечки, смажет их конопляным маслом, просушит на солнце и, когда они покраснеют, начинает мастерить разные коробочки для табака, чубуки, ложки, подвески в виде полумесяца, которые как украшения вешают на шеи волам. О вырезанных им легких и красивых ложках он сам говорит, что таких ложек нет даже у Манташева. А какие рисунки вырезает или выжигает он на своих дощечках раскаленным шилом! На ложках — павлиньи и разные другие птичьи перья, на подвесках для волов — колосья пшеницы, потому что вол, по его словам, «земледельческое животное», а табакерки обязательно украсит портретом заказчика и своей подписью, тоже замысловато изукрашенной.

Кроме всего этого он из бычьих рогов вытачивает гребешки, и теперь все село расчесывает волосы его гребешками.

И везде, где бы ни бывал дядюшка Авет, с кем бы ни спорил, он беспрерывно строгает и скоблит свои дощечки.

Он говорит, что руки у него так привыкли к этому, что, оставаясь без дела, начинают чесаться.

— И язык у тебя от безделья чешется,— говорит ему бабушка,— потому ты и треплешь им, как овца хвостом.

— Э, матушка Нуно, язык — другое дело,— отвечает ей дядюшка Авет,— а руки у меня должны работать, чтобы семья не оставалась голодной. Раз не годен держать рукоятки сохи или косу, значит, ножичком зарабатывай себе на хлеб!

Так оно и было. Многие из сельчан заказывали ему разные мелкие вещички и поделки, а платили пшеницей, мукой или дзаваром.

РАДОСТЬ

Гибель нашей Цахик так подействовала на меня, что я от горя, кажется, чуть не сошла с ума. Положим, я и сейчас схожу с ума, но уже от радости. Ах, если б знали вы, что случилось!

Ладно, уж не буду испытывать ваше терпение, вижу, как вы нетерпеливы. Так вот, радость моя вызвана тем, наша Топлан опять ощенилась... Видели бы вы, что за чудо ее щенята! Правда, некоторые из них похожи на нашего старосту Симона — такие же толстые и шагают, как он, переваливаясь с боку на бок, но я надеюсь, что они подрастут и тогда потеряют это нехорошее сходство...

Я так рада, что почти не вылезаю из собачьей конуры. Мать уже знает: если я исчезла с глаз, значит, надо искать меня у Топлан. Конечно, всякий раз мне достается за это от матери или бабушки, но все равно я почти не покидаю новорожденных щенят. Только я никак не пойму, почему бабушка не разрешает купать их. Ведь купала же она каждый день Артика, когда он родился, а эти бедные щенята даже еще и не знают, что такое тепленькая водичка. Но это нисколько не портит настроения ни мне, ни Топлан.

Как она довольна! Часами лежит в своей конуре, а щенята ползают по ней, кусают, таскают ее за уши. А Топлан лежит смирно, только глаза у нее смеются, и я не сомневаюсь: будь у нее язык, она бы запела.

За нее пою я. Я придумала хорошую песенку о Топлан и ее семействе и целый день распеваю ее:

Ай, Топлан, собачка джан,
Нет другой такой Топлан.
Мне из всех собак села
Только ты одна мила.
Я люблю твоих щенят,
Пусть играют и скулят.
А Вано, противный, злой,
Пусть уходит с глаз долой!

Рябого Вано я прибавила к песенке потому, что он стал звать меня собачьей повитухой. Повитуха! А разве в этом ремесле его бабушка Зардар уступит кому-нибудь? Его бабушка знает всякие молитвы — и на случай, если в селе родится ребенок или теленок, и против дурного глаза.

Пока у нашей Топлан не появились щенята, она была в очень плохом настроении, ходила с опущенным носом. Я совсем потеряла голову, мне казалось, что Топлан умрет. Но молодчина Асмик! Она первая догадалась, что Топлан сглазили. Ну, это обычное дело у нас на селе. Дает корова много молока — ее обязательно сглазят, и станет она больной, а то и сдохнет. Несут куры много яиц — сглазят, и они перестанут нестись. Скажем, поставили вы молоко на огонь, собираясь готовить сыр,— опять сглазят, и молоко свернется. От дурного глаза никак не убережешься. А нашу Топлан кто не знает? Сам староста Симон говорит, что такая собака должна лаять у ворот богатого дома. Этот Симон завидует всему, что у нас есть, а у нас, как вы знаете, есть только Топлан, три козы и телочка Цахик, и я уверена, что это староста сглазил Топлан. Что же делать? Набралась я смелости и пошла просить старуху Зардар, чтобы та прочла молитву против дурного глаза. Боже вас упаси подумать, что Зорба-Зардар стала для меня светом очей. Я, так же как и моя бабушка, не люблю этой злобной и сварливой старухи, но ведь не могла же я допустить, чтобы погибла такая собака, как наша Топлан!

Хорошо, что рябого Вано не оказалось дома. И старосты Симона не было видно. Зорба-Зардар сидела одна и пряла шерсть.

— Ну, чего тебе еще надо, какого рожна? — спросила она, не глядя на меня.

— Бабушка Зардар джан, умереть мне за твою душу,— смело заговорила я.— Дай бог, чтобы Симон-ага прожил тысячу лет... и рябой Вано...— Я прикусила язык, но тут же поправилась: — Ваш Вано пусть живет, сколько ему захочется.

— Ладно, дальше! Какая болячка зудит у тебя? — окидывая меня подозрительным взглядом, снова спросила старуха.

— Не у меня, нашей бедной скотинушке нехорошо... сглазили ее... Говорю, пришла бы, прочитала молитву!

— Какой скотинушке?

— Да нашей Топлан... собаке.

И не успела я отскочить, как бабка Зардар тонкой палочкой, которой взбивают шерсть, хватила меня по ногам.

— Собачье отродье! Чтоб отсох язык у того, кто тебя научил!

Не помню, как я добежала до нашего дома. На ногах у меня вздулись и покраснели, потом посинели рубцы от бабкиного удара. Но я и не подумала бы что-либо рассказывать домашним, и они ничего не узнали бы об этом, если б не сама эта ведьма Зардар. Немного спустя она, шурша юбками, входит к нам во двор и, подбоченившись, начинает орать:

— Нуно... не лучше ль тебе провалиться сквозь землю?!

— Что случилось, сестра Зардар, зачем так поносишь меня? — спрашивает моя бабушка.

— Если б ты была из тех, кто ценит уважение, то не держала бы у себя этакое собачье отродье! — с пеною у рта говорит Зардар и лезет на меня, шипя как гусак.

Я прячусь за спину бабушки.

— Слыханное ли дело: ты подучила эту дрянь позвать меня прочитать молитву над поганой собакой!..

Бабушка так и ахнула, всплеснула руками. Затем она, повернувшись, хватает меня и давай колошматить. Я неистово ору, а ведьма Зардар, расставив руки, старается не дать мне вырваться и непрерывным потоком льет бранные слова и на меня, и на отца и мать, родивших меня...

— Сестра Зардар,— просит ее бабушка,— пощади моего Агабека!

— Ведь кровь прольется, ежели узнает про то мой Симон,— уже успокаиваясь, добавляет Зардар.

Бабушка наконец устает меня колотить и начинает проклинать судьбу, которая наградила ее такой внучкой — истинным божьим наказанием. А я, вырвавшись из цепких рук двух старух, отбегаю на такое расстояние, чтобы Зардар снова меня не сцапала, и кричу ей:

— Что ж, тебе не жаль нашу Топлан, что ты не хочешь прочитать для нее молитву?!

Вот так из-за Топлан меня побили, обругали, и я до самого вечера старалась держаться подальше от бабушки. А она делала вид, что не замечает моей обиды и того, что я сторонюсь ее.

Вечером, когда вернулся дядя, бабушка обо всем рассказала ему, да еще и прибавила кое-что. Я знаю: когда бабушка начинает рассказывать о моих проделках, это означает, что в глубине души она уже простила меня.

— Вот ведь что вытворяет этот бесенок,— ворчливо говорит она.— Чистое божье наказание! Что такое собака, корова или ку-

рица, чтобы над ней молитвы читать?.. Да еще говорит, что за молитву, мол, отдадим пять яиц. На все село опозорились!

— Ладно, мать, стоит ли из-за этого расстраиваться? Иная собака лучше кое-каких людей,— подмигивая мне, смеется дядя.— Если молитвы этой Зардар имеют силу, они могут помочь и собаке.

— Эй, Агабек, я вижу, ты начинаешь говорить словами Авета? — уже всерьез сердится бабушка.

Но мои злоключения этим не кончились. Все время думая о Топлан, я натаскала ей в конуру много сена. За это меня тоже отшлепали, потому что сена у нас мало. Но я не наше сено таскала, а из стога Артуш-аги... Тайком от бабушки я разыскала еще старенький тюфячок для сидения и положила его поверх сена, чтобы удобнее было лежать больной собаке. Потом вместе с Асмик мы стащили из курятника три яйца на яичницу для Топлан. Ну, Асмик всегда говорит умные вещи: она сказала, что нам надо сделать яичницу, когда у Топлан появятся щенята. У нас в селе уж такой обычай: для роженицы обязательно делают яичницу... Но как ее сделаешь, если нет ни капельки масла? Бабушка держит горшочек с маслом под семью замками, масла у нас и во сне не увидишь.

— Давай попросим у Шушан, мастеровой жены,— предложила Асмик.— У них много масла, не обеднеют они оттого, что дадут одну ложку масла для нашей роженицы.

Умно придумала Асмик. Но я побаиваюсь Шушан. Однажды, когда мы играли на улице, я бросила камень и отбила ушко у одного из ее горшков, расставленных на стене двора. С тех пор Шушан всегда грозилась оторвать мне уши, чтоб я стала такой же, как ее горшок, безухой.

И я всегда, завидя ее, хваталась за уши и убегала прочь.

Но делать нечего, надо было все же идти к мастеровой жене. Пришли мы, стоим у порога. Я зажимаю уши ладонями. То же самое делает и Асмик: Шушан, дескать, все равно — чьи уши попадут ей под руку, те и оторвет.

— Ты будешь говорить,— толкает меня локтем Асмик.

— Нет, ты говори, я должна держать свои уши.

— А я что, по-твоему, делаю? — возмущается Асмик и опять толкает меня. Я отвечаю ей тем же, и мы начинаем все сильнее толкать друг друга.

Вдруг в дверях появляется Шушан, и мы замираем на месте.

— Какой это осел лягнул вас в уши? — спрашивает она.

— Шушан джан, мы боимся, как бы ты не оторвала уши Арцвик,— лицемерит Асмик.

— Нет, не поэтому.— Уже осмелев, я опускаю руки и выступаю вперед.— Бабушка нас послала. «Сходите, говорит, к мастеровой жене и попросите ложку масла». Мы отдадим, Шушан джан.

— Зачем это понадобилась вашей бабушке ложка масла?

— Яичницу делать,— объясняет Асмик,— у нас в доме роженица.

— Не мелите чепухи,— говорит Шушан,— бабушке, наверно, на другое понадобилось, а вы, глупые, не поняли.

Она уходит и через минуту выносит нам в черепке комочек масла.

Это масло стало каким-то проклятием на нашу голову. Где спрячешь его, чтобы бабушка не увидела? Самое лучшее — в конуре у Топлан, бабушке туда никак не залезть. Мы завернули масло в листья конского щавеля и положили под тюфяк Топлан, строго-настрого наказав ей не трогать его.

А эта бессовестная обжора Топлан, почуяв запах, расшвыряла лапами сено под тюфячком и сожрала масло прямо на наших глазах, да еще и зарычала на нас, когда мы попытались его отнять.

...И вот у Топлан появились щенята. Шесть штук! Я просто теряю голову от радости, а об Асмик и говорить нечего — она давно ее потеряла. Мы ни на минуту не отходим от Топлан. Асмик говорит, что роженицу никак нельзя оставлять одну,— сглазят.

Иногда мы приносим в конуру Топлан и Артика. Досталось бы нам за это от бабушки, но мы делаем это тайком от нее. А Артик бывает очень доволен. Стоит всунуть его в конуру Топлан — и он начинает ворковать свое «агу-агу», как агукал в его возрасте мой дядя. Так он приветствует собачьих щенков, а те со всех четырех сторон лезут на него, облизывают. Артик ловит щенячью лапку, засовывает себе в рот; щенок от радости кувыркается, тявкает. Топлан лижет то Артика, то щенят. Потом обнимает всех вместе и засыпает.

Когда бабушка и мать уходят из дому по своим делам и Артик в их отсутствие начинает плакать, мы хватаем его и укладываем в объятия Топлан. И он сейчас же успокаивается.

НАШ ДОМ ПРЕВРАТИЛСЯ В КАШУ

Никогда бы я не поверила, что домик из глины и камня, с закопченными, засиженными мухами стенами может превратиться в дзаваровую кашу... Но не поверить я не могу, потому что сейчас объедаюсь этой кашей. Каких только чудес не бывает на свете! И разве это не чудо, что наш большой дедушка Алек пришел к нам и притащил с собой свою огромную бороду?

Не подумайте, что он соскучился по нас. Нет, у него, как после сказала бабушка, была своя болячка. А когда он вошел к нам, со страху мы чуть не умерли.

Мать торопливо заслонила собой люльку Артика, боясь, как бы он не проснулся и не испугался бороды большого дедушки. Бабушка так растерялась, что забыла снять горшок с огня, и похлебка, тоже, как видно, со страху, убежала из него. Аник поспе-

шила спрятать свою куклу. Самыми храбрыми оказались тетушка Ашхен и я.

Тетушка Ашхен сейчас же разостлала на тахте ковер, что делала лишь в самых торжественных случаях, и, как только большой дедушка уселся на нем, опустилась к его ногам, чтобы снять чувяки. Но большой дедушка носком чувяка оттолкнул ее руку и заявил, что у него и так мерзнут ноги, а без чувяков совсем замерзнут.

На улице теплый день, дома у нас от очага совсем жарко, а на ногах у дедушки две пары шерстяных носков. Ну как тут не рассмеяться! Мы с Асмик, конечно, фыркнули.

Большой дедушка повернулся к нам, ощупывая нас своими маленькими глазками-пуговками.

— Что это там за мышки? — шутливо спросил он.

А бабушка как будто только этого и ждала. Она легонько поддала нам под зад и вытолкнула вперед:

— Подите поцелуйте руку большому дедушке!

Асмик, как пугливый котенок, сунулась в волосатую лапу большого дедушки, а я сказала:

— Прошлый раз целовала, хватит.

И подумайте только — большой дедушка засмеялся. Я поняла это потому, что огромная бородища его затряслась, как сноп, а глаза-пуговки утонули под лохматыми бровями. Большой дедушка вытащил из кармана шелковый платок величиной с постельное покрывало и начал вытирать им глаза.

— Ой, чтоб ты сдохла, ну и языкастая! — проговорил он, смеясь.

— Хватит и того,— сердито бормочу я,— что сдохла наша корова Цахик.

— Что, что такое? Говоришь, корова подохла? — становится вдруг серьезным большой дедушка.

— Да, старший брат, здоровья тебе и долгой жизни,— плачущим голосом говорит бабушка,— ушла от нас коровушка, смирная и покорная была, как невестушка.

— Отчего же она подохла? Люцерной объелась или, может быть, ящур?

— Уж лучше бы от этого, да нет, какой там ящур,— вздыхает бабушка, как будто для нее было бы легче, если б наша Цахик погибла от болезни.

— Хозяйский Каро сбросил ее со скалы, вот она и подохла,— не вытерпев, говорю я.

— Каро? Сын собаки,— ругается большой дедушка,— как это он пустился на такое дело? Ну, я задам этому щенку!

— Это слова ребенка, отец,— пытается дядя сгладить впечатление от моих слов.— Корова, наверно, сама сорвалась в ущелье.

— Как же вы теперь живете? — интересуется большой дедушка и вдруг спрашивает: — Дом Арама на месте?

— Что ему — не корова, чтобы доить, не вол, чтобы запрягать,— говорит бабушка.— Стоит себе на замке, с закрытым ертыком, а внутри мыши в прятки играют.

— Вот и я о том... пустые стены держите. На что они вам?

— А что же делать, отец? — недоумевает дядя.— У дома есть хозяева. Дочь Арама, сын...

Тут я выступаю вперед и гордо гляжу на дедушку: если, мол, не знаешь, так знай — я хозяйка того дома!

— Э-э-э...— пренебрежительно бросает большой дедушка,— им надо еще съесть тысячу ослиных нош каши, чтобы стать хозяевами.

— Но они наследники Арама,— пожимает плечами дядя,— и вырастут же когда-нибудь.

— Да пусть растут, разве я против? Один мальчик, не так ли? Ну, раз мальчик, будет мужчиной и, значит, поставит себе новый дом, получше. А что девочка? Это же стена чужого дома. Выйдет замуж — и нет ее.

— Я не пойду замуж! — возмущенно кричу я.

— А что будешь делать? — смеется большой дедушка.— Превратишься в муху, прилипнешь к стене? Нет уж, детка, таков закон на земле.

— Уйду к огороднику Николу,— говорю я, растерявшись от гнева.

Все смеются, а у большого дедушки так трясется живот, что, кажется, еще немножко — и он лопнет.

— Послушай, Агабек,— поворачивается он к дяде,— надо продать домишко Арама.

— Продать? Но кому?

— Да уж лучшего покупателя, чем я, тебе не найти.

— Ой, что ты, старший брат,— испуганно говорит бабушка,— на что тебе это куриное гнездо?

— И я о том: куриное гнездо, поэтому и надо вовремя продать его, пока не развалилось. Пусть дети Арама хоть поедят досыта.

— У меня нет на это права, отец,— отвечает дядя большому дедушке.— Это дело сестры.

— А на чьей она шее сейчас со своими детьми? На твоей. Значит, тебе и думать, как прокормить сирот. Ну, а ты что скажешь, Сато? — обращается большой дедушка к моей матери.

— Право за моим братом, он глава семьи и моих детей,— смущенно говорит мать.— А наш хозяин ушел от нас, на что нам этот дом?

— Вот, вот, царство небесное твоему отцу,— радуется большой дедушка.— Ну, а теперь давайте поторгуемся. Родство родством, а дело делом. Скажи, что дать за домишко? Сделаем так, чтобы ни шампур не сгорел, ни шашлык... Чего ты растерялась? — опять обращается он к моей матери.— Покупатель своими ногами пришел к тебе, так продавай же! Осла нельзя прино-

сить в жертву, а стоимость осла — можно. Ребятишкам нужно есть хлеб или нет?

Все молчат, моя мать тихонько всхлипывает.

— Пять пудов пшеницы,— сам решает большой дедушка,— а осенью дам еще двух барашков, пусть детишки поедят мяса. Идет?

— А говорил, что у тебя нет пшеницы,— обиженно бормочу я.

— Брысь ты! — сердится дедушка.— Мало? — говорит он, поворачиваясь к бабушке.— Ты, невестка Нуно, жадная, вроде моего брата Мацо. Сама же сказала, что это куриное гнездо! Ну ладно, я добрый человек, не оторву ото рта детей моей племянницы. Пусть будет шесть пудов. Шесть пудов пшеницы и два барашка — да за такую цену можно купить дворец!

Большой дедушка опускает свою волосатую руку в карман широких шаровар, шарит там: вынув серебряную монету, делает мне знак рукой, чтобы я подошла.

— Вот возьми,— говорит он,— купишь себе кишмиш и малость подсластишь свой язык, а то он у тебя как горький перец.

Я протягиваю руку к монете, но бабушка отталкивает меня.

— Погоди, старший брат. Ты хочешь покупать или проглатывать? — обиженно спрашивает она.— Имущество — что живой ребенок, его так просто в воду не бросишь. Да разве дом отдают за кишмиш?

— Эх, невестка Нуно,— усмехается большой дедушка,— правильно говорят, что язык у женщины длинен, а ум короток. При чем здесь кишмиш? Эти детишки — внуки моего брата. Так что же, я не могу сделать им подарок? Ты чужая, а они моей крови. Ну, этого уж ты не поймешь...

Мать всхлипывает и говорит сквозь слезы:

— Отдайте, отдайте, и пусть уходит. Мне ничего не надо...

...Так и продали мы отцовский домик за шесть пудов пшеницы. Барашки пока пасутся, нагуливают жир, и получим мы их, как сказал большой дедушка, только осенью. Но бабушка почему-то в это не верит.

— Слово Алека написано на льду,— говорит она,— сегодня скажет, завтра откажет. Тем он и нажил свое добро...

Не знаю, что хотела сказать бабушка, когда спрашивала большого дедушку: «Ты хочешь покупать или проглатывать?», но я с удовольствием глотаю теперь пшеничную кашу, полученную за наш домик.

Сначала мы никак не могли понять: что это втемяшилось большому дедушке купить наш дом? Теперь все выяснилось. Наш дом превратился в кузницу. Первый узнал об этом наш соседский Сако и прибежал к дядюшке Авету посоветоваться — не пойти ли ему работать в кузницу дедушки Алека. Сако еще очень молод, но, по словам нашей бабушки, очень деловит и умен: всему, что увидит, хочет учиться. Это верно. Сако всему учится у дядюшки Авета. Так же, как дядюшка Авет, прищу-

ривает глаз, когда говорит, подносит руку к носу, чтобы подкрутить отсутствующие усы, и так же, как он, называет меня «мелкокопытной». Сако небольшого роста, губы у него полные, подбородок круглый. А на голове у него всегда серая солдатская шапка — подарок дядюшки Авета. Он называет ее «кубанкой» и надевает так, что из-под нее торчат его жесткие вихры.

Дядюшка Авет сказал ему, что это он очень умно придумал — учиться кузнечному делу: кузнец, дескать, всегда сумеет заработать себе на хлеб. И Сако уже работает подручным в кузнице дедушки Алека. Чего только не делают там — сошники, косы, серпы, ножи, а кроме того, подковывают лошадей и даже волов. Правда, с волами приходится долго мучиться, прежде чем удается их подковать. Для этого их связывают, опрокидывают на землю, но зато потом они так красиво стучат подкованными копытами, что я начинаю завидовать: было бы совсем неплохо, если б и меня подковали, а то у меня уж вся душа выболела от постоянной ходьбы по камням босиком.

Может быть, поэтому бабушка и не перестает проклинать большого дедушку Алека.

— Видали, какой сатана? — то и дело ворчит она.— Этот волосатый медведь не из тех, что ляжет на мокрое место. За свои шесть пудов пшеницы он готов заграбастать весь мир.

КОМУ ТАЩИТЬ ОСЛА ИЗ ГРЯЗИ

Теплый лунный вечер. Тетушка Ашхен расстилает нам ковер во дворе, выносит подушки.

Летом все у нас в селе спят во дворах, а мужчины, накосив зеленой травы, обычно устраиваются на крышах домов.

Мы, детвора, и зимой и летом спим под одним одеялом с бабушкой. Сегодня, как и всегда, мы спорим, кому лежать рядом с ней.

— Я лягу, я,— уверенно говорит Аник,— я самая маленькая.

— Здрасте, и вчера лежала рядом с бабушкой, и сегодня хочешь? Ишь ты какая! — возмущается Асмик.— Бабушка ведь не только твоя.

— Моя! — упрямится Аник.— Вся моя, вся, с ногами и с головой. Я бабушку очень люблю!

— А я не люблю? Бабуся, бабусенька,— кричит Асмик,— я тебя больше люблю или Аник?

— Обе вы любите,— добродушно ворчит бабушка,— только от этой вашей любви у меня голова трещит.

Аник знает, что я всегда на ее стороне, поэтому старается заручиться моей поддержкой.

— Арцив, бабушка ведь ляжет между мной и тобой, да?

— Нет,— отвечаю я ей,— сегодня свое место я уступаю Асмик.

Сестры от радости кувыркаются на ковре.

Они понимают, что если я захочу лечь с бабушкой, то кому-то из них волей-неволей придется уступить мне место, потому что я умею постоять за себя и им трудно со мной тягаться. А бабушка, известное дело, всегда защищает меня, говоря, что я сирота.

У меня же свое на уме. Я знаю, что дядя скоро полезет на крышу, и тогда я попрошу его взять и меня туда. Ах, если б вы знали, какое это удовольствие — спать на крыше! Зарываешься по самые уши в мягкую, только что скошенную траву и глядишь в небо. Под головой и возле ушей что-то шуршит, от запаха мяты и горного амема просто кружится голова, а вокруг словно копошатся тысячи букашек и мошек. И как бы спокойно ты ни лежала, трава все равно шевелится и тихонько щекочет тебя.

— Это она разговаривает,— отвечает дядя на мой вопрос.

— О чем же она говорит?

— Мне вот нашептывает одно: кто, дескать, летом встает с зарей, тому хорошо спится зимой.

— А что будет, если будешь вставать с зарей?

— Что будет?.. Вовремя посеешь, вовремя урожай уберешь, поработаешь от зари до зари — будешь с хлебом, а скотина — с кормом. Вот тогда можешь спать спокойно.

— А Артуш-ага? — недоумевая, спрашиваю я.

— А что Артуш-ага? Ему хорошо спится и зимою и летом...

— Я, дядя, не об этом... Артуш-ага не заберет нашу пшеницу?

— Заберет, конечно,— уже невесело говорит дядя,— должен забрать, что ему положено, а на нашу долю останется...

Он вполголоса начинает подсчитывать, сколько будет у нас зерна:

— Под Красным камнем пшеница хорошо взошла, пудов двадцать можно будет собрать... Столько же, пожалуй, с земли Арама... А если в лощине соберем пудов сорок, бог даст, всего будет восемьдесят... Ну, хозяевам пудов двадцать пять придется отдать... на семена оставить... потом долги...

Я лежу и, почти не слушая его бормотанье, считаю звезды.

А интересно, которая же моя? Если послушать бабушку, у каждого человека есть своя звезда, и кто добр, у кого чистое сердце, у того звезда яркая, а у бессердечных людей звезды бывают маленькие и тусклые, как светильник с конопляным маслом.

Я выбираю звезды для всех добрых и хороших людей, которых я знаю. Вон та большая белая звезда — дядина, потому что мой дядя самый хороший человек у нас на селе. Звезда дядюшки Авета тоже яркая, но какая-то неспокойная — все словно подмигивает большим и малым звездам, своим соседкам. Ну, это так и должно быть, ведь Авет такой же беспокойный, никогда ему не сидится на месте... Я еще занята раздачей звезд, когда где-то близко раздается знакомое постукивание.

Как борзая, я навастриваю уши, но молчу: интересно, куда это направляется дядюшка Авет?

Стук все ближе, ближе и, наконец, затихает у стены нашего дома.

— Дядюшка Авет, мы здесь! — шепчу я с крыши.

— А много вас там? — спрашивает он также шепотом.

— Я и дядя со мной.

— А меня пустишь к себе?

— Иди, дядюшка Авет, только не разбуди дядю, он спит,— радостно приглашаю я и отодвигаюсь, чтобы дать ему место рядом с собой.

Дядюшка Авет с удивительной ловкостью взбирается на крышу и на четвереньках подползает ко мне.

— Теперь мы можем, Арцвнак, спать со спокойной душой,— говорит он, зарываясь рядом со мной в траву.— Скажи-ка, что творится на белом свете.

— Дядюшка Авет,— говорю я,— а я знаю, какая твоя звезда.

— Гм... это и я знаю.

— Которая? Покажи, если знаешь, скажи!

— Во-он та,— тычет он пальцем в небо.

— Верно, она,— говорю я, хотя и не вижу, на какую звезду он указывает.— А у Каро есть звезда?

— Есть, только сегодня его звезда не блестит,— усмехается дядюшка Авет.

— Откуда ты знаешь?

— Да уж знаю...

Наше шушуканье мешает спать дяде, он просыпается и сердито говорит мне:

— Чего ты болтаешь, спи!

Я и дядюшка Авет тихонько смеемся.

Дядя приподнимается, рассерженный, и только сейчас замечает Авета.

— Господи, а я-то думаю, спятила Арцвик — разговаривает сама с собой... Что это тебе взбрело в голову ночью ходить по гостям?

— Жена прогнала... «Поди, говорит, поспи там на свежем воздухе, проветрись немного». А разве я могу ослушаться моей Маран?

— Как же, как же, такой смиренный ягненочек,— усмехается дядя.— Ну, раз уж пришел, лежи, но только привяжи язык, а то прогоню.

— Плохи наши дела, Арцив джан, приказ строгий. Давай-ка и в самом деле спать,— говорит дядюшка Авет и глубже зарывается в сено.

Дядя снова ложится и начинает посапывать. На несколько минут мы умолкаем. Я прислушиваюсь к спокойному дыханию дядюшки Авета, но мне не верится, что он спит. По-видимому, не спит и дядя. Ясно, они просто притворяются, хотят провести меня. «Обманете, как же! — мысленно потешаюсь я над ними.— А я вот тоже притворюсь, что сплю, и надую вас!»

Немного погодя я чувствую, как дядюшка Авет тихонько толкает дядю.

— Агабек, не спишь?

— А что? — спрашивает дядя.

— Да ничего,— шепчет Авет.— Лису сухого ущелья малость покусали собаки.

Дядя молчит, потом с беспокойством спрашивает:

— Не слишком ли перестарались?

— Понятия не имею. Ну, ребята знают, как это делать...

—А ты, мир праху твоего отца, ничего не знаешь? Так я тебе и поверил! — Дядя умолкает на минуту, потом говорит: — Затеяли вы рискованное дело, Авет. Может подняться шум...

— Никакого шума не будет,— успокаивает его Авет.— Сако и Никол не такие простаки, они накинули ему на голову мешок и наподдали как следует... Теперь будет знать, как заглядываться на чужих жен!

— А я на их месте... Я бы сбросила этого Каро в ущелье! — взволнованно говорю я и поднимаюсь со своего места.

Дядя растерянно смотрит на меня, а дядюшка Авет весело хохочет.

— Будешь болтать — язык отрежу! — грозит мне дядя.

Я испуганно прижимаюсь к плечу дядюшки Авета.

— Это же не ребенок, а отточенный меч! — говорит он, продолжая смеяться.— Но все же, Арцив джан, попридержи язычок.

— Вай, дядюшка Авет джан, да разве ты не знаешь меня? — с обидой отзываюсь я на его слова.

— Как же вы теперь выкрутитесь из этого дела? — спрашивает дядя, больше уж не обращая на меня никакого внимания.

— Наше дело было вогнать осла в грязь,— отвечает ему дядюшка Авет, поудобнее устраиваясь на своем месте,— а кому тащить его из грязи — это уж не наша забота. Мы тут ни при чем...

— «Мы» говоришь? Значит, и ты участвовал в этом деле? Ну и ну! — удивляется дядя и, чудится мне, смеется.

Какой молодец этот дядюшка Авет! На какие смелые дела пускается он! А если б у него и другая нога осталась цела? Жаль, что у меня нет лишней ноги, чтобы оторвать ее и подарить такому смелому человеку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛИСА ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ

Вот уже две недели хозяйский Каро ходит с обвязанной головой, прихрамывая и опираясь на палку.

На селе многим известно, кто так отделал его, но староста Симон, как ни старается, ничего не может узнать.

Я, дядюшка Авет и мой дядя крепко держим язык за зубами, а Сако и Никол ходят с таким невинным видом, что можно подумать — они и в самом деле тут ни при чем.

При встрече с Каро сельчане даже сочувствуют ему, проклиная «неизвестных злодеев», но, как только он отходит, подмигивают друг другу, смеются:

— Ничего, это ему наука...

— Пусть знает теперь, как измываться над людьми.

Каро, наверно, слышит все эти разговоры, только притворяется, что не слышит.

Некоторые боялись гнева Артуш-аги: узнает, дескать, быть беде — все село под розги пойдет. Говорят, что он очень любит своего управителя. Ведь не будь Каро, бездельник офицер давно бы промотал отцовское добро.

А всякого добра у Артуш-аги столько, что и не счесть. Кроме большого дома, земель и скотины в нашем селе у него много караван-сараев, домов и лавок в городе. Если верить сельчанам, половина Карса принадлежит ему.

Но когда Артуш-ага приехал в село и увидел, как отделали его управителя, он никого не выпорол, только пригрозил, что, если это повторится еще раз, он приведет из города полк солдат и спалит все наше село.

— Ничего у него не выйдет,— с усмешкой говорит наш дядюшка Авет.— Солдаты теперь при жарком деле, они еще хоронят свои ноги где-нибудь в лесах Сарыкамыша или под лазаретной стеной...

Жатва уже закончена, и все в нашем селе заняты молотьбой. Дома почти никто не ночует. По ночам мужчины и женщины возят снопы на гумна, а днем, в самую жару, молотят. У кого нет ни волов, ни лошадей, работают с теми, у кого есть хоть какая-нибудь скотина. Многим приходится запрягать корову или осла.

Например, мы, дядюшка Авет и Никол молотили вместе. У Никола есть осел, у дядюшки Авета — корова, а у нас — только телочка Цахик.

Большой дедушка, когда забирал наш дом под кузницу, обещал дать лошадь на уборку хлеба, да так и не дал, обманул. Пошел дядя просить, а он опять принялся орать на него: «Сколько, говорит, у тебя зерна, что тебе лошадь понадобилась? Нагрузишь петуха — и сойдет...» Вот после этого дядюшка Авет и Никол и решили запрячь осла и корову.

— Это не молотьба, а Голгофа,— говорила бабушка. Я не знаю, что такое Голгофа, но вижу, что наша молотьба — одно мученье.

Особенно мучится ослик Никола, никак он, бедный, не может спеться со своенравной Джейран.

Из-за ослика дядюшка Авет приготовил вожжи и для коровы. Вот он старую, степенную Джейран запрягает вместе с осликом и, взяв в руки вожжи, встает на молотильную доску.

— Фьюить! — свистит он и взмахивает плетью.

Ослик прыгает вперед, а старая корова медленно поворачивается и недовольно фыркает.

— Нет, видно, этот ослик Христов не по сердцу нашей Джейран-ханум,— говорит он, выбиваясь из сил,— не хочет она с ним подружиться.— И, как всегда, шутливо добавляет: — Другое дело, ежели бы, скажем, Герат[1] Кёр-Оглы...

Мне жаль и ослика и Джейран. Мало того, что старую корову запрягли таскать тяжелую молотильную доску с грузом, ей еще и морду закрыли волосяной сеткой, чтоб она не ела с тока зерно. А на морду ослика навесили пустую торбу. Как мучится он, бедняга! Наклонит голову, чтобы отведать пшенички, а морда тычется в пустую торбу, и он, озадаченный, с презрением смотрит на дядюшку Авета, словно говоря: знаю, мол, все это твои проделки!

— Так уж, бедняга, заведено на земле, ничего не поделаешь,— смеется дядюшка Авет.— Вот если б так же можно было закрыть морду Артуш-аге, тогда можно бы открыть морду и тебе и мне и есть, сколько нам захочется.

— Твоя морда закрыта разве? — смеется Асмик.

— Закрыта, конечно. У всех нас закрыта — и у меня, и у тебя, и у твоего отца, да и у всего нашего села...

— Вай! — удивленно вскрикивает Асмик, хватаясь за свой подбородок.— Опять шутишь, дядя Авет...

— Нам только и остается, что шутить, бала джан,— говорит дядюшка Авет,— за шутки денег не требуют.

...Когда мы обмолотили хлеб Авета и Никола и принялись за свой, к нам на ток неожиданно явился хозяйский Каро.

Осла и коровы мы распрягли, чтобы они немножко передохнули, а сами стали ворочать солому. Дядюшка Авет тоже присел отдохнуть в тени у копны соломы и взял к себе на колени Артика. Разморенный жарой, Артик плакал, и что только ни делал дядюшка Авет, стараясь успокоить его,— подбрасывал кверху, строил потешные рожицы, щекотал ему подбородок своими усами — ничто не помогало, Артик расходился все больше.

— Ох, совсем надорвет сердечко ребенок,— сказала мать и взяла Артика из рук Авета.

В это время и подошел к нам хозяйский Каро.

После того как его побили, я впервые вижу его так близко. Повязка с головы у него снята, папаху он надвинул на ухо, но все же на виске виден кровавый рубец, а на его сухом лице, как медные пятаки, красуются синяки.

— Здравствуй, Агабек! — поздоровался он с дядей и, заложив руки за спину, встал около моей матери.

— Здравствуй! — коротко ответил дядя, даже не взглянув на него.

— Молотишь?

— Молотим, да какая это молотьба... мученье.

---

[1] Герат — сказочный конь богатыря Кёр-Оглы.

— Да, тяжело этак-то...— согласился Каро и, наклонившись к матери, легонько ущипнул за щеку нашего Артика.— Какой хорошенький! Чей это мальчик?

— Своего отца и матери,— отворачиваясь от него, буркнула моя мать и, передав Артика дядюшке Авету, отошла в сторону.

Каро удивленно взглянул на нее, но ничего не сказал.

— Садить, Каро джан,— пригласила бабушка.— Почему стоишь?

— Некогда мне рассиживаться, матушка Нуно, дел много,— отказался Каро и, обернувшись к дяде, заговорил с приятельской укоризной: — Странный ты человек, Агабек. Ведь мы соседи, должны помогать друг другу в беде. А ты мучишься с этим паршивым ослом над горсткой зерна.

— Что ж поделаешь,— вздохнул дядя,— будешь рад и ослу, раз нет другой скотины.

— Чудной человек, да если бы ты пришел и попросил, разве я отказался бы помочь такому честному парню, как ты? Большое дело — дать пару лошадей. Ты за день обмолотил бы все — и делу конец.

Дядя, не веря своим ушам, оторопело смотрел на хозяйского управляющего. Мы все застыли на месте, услышав такие слова.

Это было что-то неслыханное: хозяйский Каро, которого у нас в селе звали не иначе как нехристем, язычником, сам предлагал помощь такой бедной, как наша, семье... По-видимому, наше замешательство было ему приятно. Он удовлетворенно улыбнулся, подкрутил усы и, взглянув на мою мать, продолжал, обращаясь к дяде:

— Чего ты уставился на меня? Дело тебе говорю: плюнь ты на этого паршивого осла и приведи лошадей.

— Лошадей...— смущенно повторил дядя,— чьих лошадей?

— Да наших, чьих же еще? Все равно они сейчас только рыскают по полям да ржут. Ничего с ними не случится, если денек поработают.

— Говоришь, привести... А если узнает Артуш-ага?

— А хоть бы и узнал, так что из того? Что, у меня нет своих лошадей? — важно подбоченился Каро.— Есть, и не одна — пять.— Он старался перехватить взгляд моей матери, но та делала вид, что занята Артиком и не слушает разговора.

— Да воздаст тебе владыка небесный сторицей, Каро джан,— благодарно проговорила бабушка, когда Каро вместе с дядей уходили с гумна.

— Лиса виляет хвостом,— насмешливо бросил дядюшка Авет и подмигнул моей матери: — Ну, держись теперь, Сато джан!

Немного погодя холеные огненно-рыжие кони Каро бешено закружились на нашем гумне.

До наступления темноты мы успели обмолотить весь навал, над которым бились в течение дня, сметали солому в омет. И но-

чью, когда на соседних гумнах, воспользовавшись ночным ветерком, люди начали провеивать зерно, мы еще молотили.

Вся наша семья была на ногах. Воодушевленные тем, как быстро пошла работа, мы легко переворачивали огромные вороха соломы. Но самым соблазнительным для меня, Асмик и Аник было сидеть на молотильной доске.

Дядя посадил нас на доску, чтобы она была тяжелее, а сам стоял, широко расставив ноги и крепко держа в руках вожжи. Лошади бешено мчались по кругу. Чтобы не скатиться с доски, мы обхватили дядины ноги с обеих сторон.

— Отцепитесь, жучки! — шутливо кричит нам дядя и двигает ногами, как бы стараясь освободить их из наших рук, но мы еще крепче цепляемся за него, визжим и хохочем от радости.

— Дядя,— говорю я, когда он останавливает лошадей,— как было бы хорошо, если б эти лошади были нашими и мы могли всегда так весело молотить!

— И зимой будешь молотить? — смеется Асмик.

— Зимой...— задумываюсь я.— Дядя, а что мы делали бы зимой?

— Доили бы их, пили бы их молоко,— усмехается дядя.

— Вай, да разве можно пить лошадиное молоко? — говорит Асмик и плюет.— Я не стану пить, оно поганое.

— Ну, ты пей молоко Топлан, а мы будем пить лошадиное, не так ли, Арцвик? — продолжает дядя шутить. Он так радуется, словно ему подарили весь мир.

А бабушка все благословляет и прославляет «благодетеля» Каро. Для нее хозяйский управитель стал самым добрым человеком на свете, и она все просит бога, чтобы он исполнил желания сердца и осчастливил этого молодца...

Я впервые слышу, что Каро молодец и что у него доброе сердце. С чего это вдруг стал добрым человек, которого иначе и не зовут как Лиса сухого ущелья? И почему бабушке так хочется осчастливить его? Ведь лошади молотят нашу пшеницу, а не Каро. Другое дело, если бы запрягли самого хозяйского управителя. Тогда я плетью так огрела бы его по сутулой спине, чтобы он навсегда запомнил, как сбрасывать со скалы чужих коров!

Просто удивительно, как это бабушка забыла о всех проделках Каро и не переставая расхваливает его.

— Видишь,— обращается она к моей матери,— вы говорили, что он злой человек. Какой же он злой? Нет, не знали вы Каро. И услужлив, и, как видно, доброе у него сердце. Чем он плох? Та, что пойдет за него, будет жить барыней, не так, как мы,— семь лет ходим в одной рубашке.

Мать слушает ее и грустно улыбается.

— Хватит, матушка, об этом говорить. Нелегко мне нести свой крест, так уж не мути мою душу.

— Я, Сато джан, дочка,— уже мягче продолжает бабушка,— ради твоих деток говорю... Они, бедняжки, со дня рождения не

видели светлого дня. Мы тоже, да про нас что говорить! Сама видишь, как живем,— будто татарами разорены. Мое дитё бьется как рыба об лед, а много ли проку? Одной рукой в ладоши не хлопнешь... Другое дело, если бы кто-нибудь, вроде Каро, стоял за его спиной, чтобы в тяжелую минуту прийти на помощь.

Говоря «мое дитё», она, конечно, имеет в виду своего Агабека. Для нее и дядя, и моя мать, и Артик — одинаково детки. Иногда она и тетушку Ашхен называет деткой.

— Каждый человек дитё для своей матери,— говорит она.

— Разве дитё бывает с усами и бородой? — недоумеваю я.— Мой дядя как гора...

— Все большие были когда-то маленькими.

— И ты была маленькой?

— Была, а как же.

— А чье ты дитё?

— Э, не морочь мне голову! — сердится бабушка.

А моя мать все плачет. Я уже не раз замечала: заговорят при ней о Каро — она начинает плакать.

Почему она плачет? Что нужно этому Каро от моей матери и какое нам дело до того, что дом его — полная чаша и что та, которая войдет в этот дом, станет барыней?..

Я прижимаюсь к матери:

— Мам, хватит.

— Хватит, дочка, хватит,— говорит она, вытирая глаза.

— Мам, тебе не хочется быть барыней, нет?

— Нет, совсем не хочется,— тихо отвечает она.

— Мне тоже не хочется. И ты больше об этом не думай и не плачь...

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

На другой день после захода солнца мы закончили молотьбу, и дядя повел чистить лошадей.

— Агабек джан,— кричит ему вдогонку бабушка,— скажи: мол, от души благодарны! Человек ведь он, и сердце у него не каменное. Доброе слово говорящему не приносит вреда, а слушающему услаждает сердце...

— Как же, есть у него сердце,— ворчит дядюшка Авет, не появлявшийся у нас на гумне все время, пока мы молотили на лошадях Каро.— Эх, матушка Нуно, умная ты женщина, а самых простых вещей не понимаешь. И теперь не видишь, почему ему нужно было погубить Цахик?

— Что ты, сынок,— удивляется бабушка,— зачем ему это делать?

— А затем, чтобы тебя и таких простодушных, как твой сын-голубок, прижать к стене, а потом выхваляться: поглядите, мол, какой я добросердечный... Лиса! А лисьи ухватки бывают сладки.

— Ох, где уж мне разобраться в таких делах,— вздыхает ба-

бушка.— Плюну вверх — в бровь попаду, плюну вниз — в бороду. Меж двух огней живем... Покойный отец, царство ему небесное, так говорил о руке сильного: «Можешь ее отрубить — отруби, не можешь — целуй и на лоб клади...» Ты скажи, Авет джан, что нам делать? Я ведь тоже понимаю, что все это лисьи ухватки. Да где же выход? Молода... с двумя детьми...

— Лисьи ухватки бабушке сладки! — кричу я, кувыркаясь на соломе.

Авет смеется, бабушка кидает в меня метлу, а я отбегаю в сторону и продолжаю выкрикивать свою прибаутку.

После того как зерно было провеяно, на току образовался огромный ворох пшеницы. Он так велик, что когда мы с Асмик садимся по обеим его сторонам, то не видим друг друга.

— Как много! — радуемся мы, разгребая руками холодящее, пахучее зерно.— Бабушка напечет теперь лавашей, наварит дзаваровой каши — ешь, сколько захочется!

Это радует нас больше всего. С самого сева и до начала жатвы мы еще не ели досыта ни хлеба, ни каши. У бабушки было припрятано немного муки, но она только заправляла ею суп из банджара. Пока была у нас Цахик, нам было не плохо — мы ели творог. Хозяйский Каро — чтобы не сбывалось ни одно из его желаний — лишил нас и этого, оставил на одном банджаре.

Все знают, что я не обжора. Но когда рябой Вано вертится вокруг меня со свернутым в трубку лавашем в руке, я готова растоптать ногами и его самого и его лаваш.

Не лучше, чем мы, живут и наши соседи Никол и Авет. Правда, Аветова Маран иногда приносит нам чашку молока от своей Джейран, но этим, как говорится, глаза насытишь, а брюхо не накормишь.

В нашем селе уже вошло в привычку говорить, что хлеб стал для нас черной лисой, потому что мужчины ушли на войну и не вернулись и некому сеять хлеб. А вот теперь у нас не только насытятся глаза, но и сами мы будем есть хлеб и кашу, сколько захочется.

Но дядя льет холодную воду на наши разгоряченные головы. Он шагами измеряет ворох пшеницы и говорит:

— Пудов шестьдесят, больше не будет. Двадцать пять надо отдать Артуш-аге, шесть пудов долга, пудов семь придется оставить на семена. И останется нам, стало быть, на весь год пудов двадцать. Вот и живи. Хоть плачь!..

— Чтоб мне ослепнуть! Опять мое корыто будет пустым, опять мои дети будут тосковать по хлебу,— кручинится бабушка.

Нам нельзя прикасаться к пшенице до тех пор, пока не придет хозяйский Каро и не возьмет, что причитается за аренду земли. Но Каро запаздывает. На селе уже почти все обмолотили свой хлеб и должны прежде всего наполнить пшеницей амбары Артуш-аги. У Каро нет времени дух перевести. С утра и до самой ночи он разъезжает по гумнам: приезжает с пустыми мешками,

а увозит полную арбу хлеба, оставляя за собой опустошенные гумна, проклятия и стоны.

Мы уже устали ждать Каро, и дядя велит мне и Асмик пойти посмотреть, на чьем гумне нагружают хозяйскую арбу.

Взявшись за руки, мы бежим по гумнам. Уже стемнело, но всюду полно народу. И везде люди какие-то невеселые, молчаливые, словно свалилось на них тяжелое горе. Мужчины стоят перед ворохами пшеницы, заложив руки за спину, растерянные, задумчивые. Детвора притихла, не слышно даже лая собак.

Вот тебе и на!.. А мне так хотелось крикнуть на все село, что у нас такой большой ворох пшеницы.

Мы вбегаем на гумно Саркиса безбородого. Саркис зашивает наполненный пшеницей мешок с таким убитым видом, словно над ним перевернулся весь мир.

— Дядя Саркис, хозяйский Каро был у вас? — осторожно спрашиваю я его и прячусь за копной соломы — боюсь, как бы в гневе он не хватил меня лопатой.

Саркис словно не слышит меня — продолжает ковырять мешок шилом.

— Дядя Саркис, я спрашиваю, хозяйский Каро...

— К дьяволу твоего Каро! — рявкает Саркис, и мы испуганно кидаемся в сторону.

Хмуро и неприветливо встречает нас и сосед Саркиса — Сако, а его мать, бабушка Санам, говорит:

— Стосковались по Каро, негодницы, дай мне господи сшить ему саван...

И где бы мы ни спрашивали Каро, нам сердито бросали в ответ:

— В аду!..

— У черта на рогах!..

— Провалиться б ему в черную бездну!

А мастер Давид так смачно выругался, что, если б не темнота, все увидели бы, как я покраснела до самых ушей.

— А что ж, так ему и надо! — сказала Асмик.

Так, расспрашивая о Каро и получая в ответ одну ругань, мы дошли до гумна вдовы Ерикназ.

Сперва нам показалось, что на гумне никого нет, но было темно, и мы просто не разглядели людей.

— Кто это, чего надо? — вглядываясь в темноту, спросил Вачик, сын Ерикназ.

— Вачик,— позвала Асмик,— это я и Арцвик. Мы разыскиваем хозяйского Каро. Ты его не видел? Отец велел позвать его, чтобы он забрал у нас пшеницу...

Вачик молчал, не отвечали и другие. На миг мы растерялись, потом робко подошли ближе. У кучки пшеницы сидела Ерикназ, горестно опустив голову. К ее подолу пугливо жались детишки. А старший сын, Вачик, держал в руках мешок, и дядя его, Арутик-солдат, лопатой сыпал в него пшеницу. Мешок был наполнен

наполовину зерном, столько же пшеницы оставалось еще на току.

Увидев нас, Ерикназ, словно о чем-то вспомнив, начала громко всхлипывать и проклинать кого-то.

— Чтоб небесный огонь обрушился на твою голову, чтобы тебе поломало ноги, чтоб ты сгинул со света!.. Чем же мне кормить теперь этих малюток-сирот, если ты даже обсевки забрал?

— Ладно, сестра, не надрывай себе сердце,— стал утешать ее Арутик-солдат.— Что поделаешь, беда навалилась не только на нас — на все село.

— Горе моей беззащитной головушке,— продолжала причитать вдова,— ведь я женщина, хозяина нет. Есть ли совесть у этого человека?

— Эх, сестрица!..— вздохнул Арутик.

Вачик рассказал нам, что здесь Каро забрал почти всю их пшеницу, оставив на току один мешок зерна да немного обсевков.

Мы молча слушали Вачика, не зная, чем утешить его. Я решила, что незачем и разыскивать Каро. Ведь если он узнает, что мы обмолотили пшеницу и ждем его, то придет и заберет все, а моя бабушка будет плакать, как Ерикназ.

— Ничего, Вачик джан,— принялась успокаивать его Асмик,— у нас пшеницы много, я скажу отцу, и он поможет вам.

— А Каро не был еще у вас на гумне? — спросил Арутик-солдат.

— Нет, не приходил, мы разыскиваем его.

— Хм...— усмехнулся Арутик,— вот когда он заглянет к вам, тогда увидите, много ли у вас пшеницы.

— Придет, детка, придет,— со стоном заговорила Ерикназ.— Нас и за семью горами сыщет Каро. Если уж он надо мной не сжалился, горемычной вдовой, то кого же еще пожалеет? И турок не сделал бы того, что сделал этот проклятый Каро...

Мне очень жаль Ерикназ. Ее муж ушел на войну вместе с моим отцом и тоже убит. Соседи стараются помочь ей: кто принесет горшочек снятого молока для детишек, кто насыплет чашку муки или крупы. Так и перебивается она. Мастер Давид вспахал на своих волах и засеял ее клочок земли. Старается ей помогать и ее брат Арутик-солдат, но мало чем может помочь: он ранен на войне, ходит с палкой. Говорят, что в пояснице у него застряла пуля. Когда он работает, лицо у него бледнеет, на лбу выступает пот, а глаза начинают блестеть, как у больного.

Арутик и сам беден. Пахать и сеять у него не хватает сил, хозяйство ведет жена его Егнар, а ей, чтобы прокормить семью, приходится еще стирать белье в доме Артуш-аги.

Мы посидели немного с Вачиком, подумали и, решив не разыскивать больше Каро, вернулись к себе на гумно. Но лучше бы нам не возвращаться.

Пока мы бегали по гумнам, Каро уже побывал у нас и забрал больше половины нашей пшеницы. Наши, так же как и другие, сидели грустные, подавленные.

— Бабушка, а у вдовы Ерикназ он почти все забрал,— сказала я, присаживаясь рядом с ней.— Бедняжку Ерикназ так жалко...

— Жалко, детка, конечно, жалко,— со стоном отозвалась бабушка.— Всех нас жалко.

— Хорошо еще,— сказал дядя,— что не взял за целину, которую мы с Арамом распахали в прошлом году. Я боялся, что он и за это потребует...

— А если б потребовал, ты бы, конечно, безропотно отдал? — кольнул его дядюшка Авет.

— Как не отдашь? Ты же отдал.

— Ничего не выйдет из того, ежели я один не отдам. Одной рукой в ладоши не хлопнешь, на одной ноге не станцуешь... Наш унтер правильно говорил — один в поле не воин. Единство нужно, чтоб один был опорой другому...

— А, оставь ты, ради бога,— с досадой проговорил дядя,— заладил, да и твердишь одно и то же.

— И буду твердить, пока ты не возьмешься за ум, Агабек! — разгорячился дядюшка Авет.— Видишь, что он сделал с той вдовой-горемыкой: забрал все, что было у нее на гумне. Вот вам и рука, которую, по-вашему, ежели нельзя отрубить, так надо поцеловать и на лоб себе положить...

НА МЕЛЬНИЦЕ

Итак, хозяйский Каро увез больше половины нашей пшеницы. Ее осталось так мало, что наши верно говорят: хоть плачь! Но слезами горю не поможешь, и, что бы там ни было, надо зерно молоть. И вот, нагрузив ослика Никола, мы идем на мельницу.

Мне так не хочется идти. Ведь с самой весны я хожу босиком. Дядя все время только обещает сшить мне трехи, но так и не шьет. Говорит, что дни стоят еще теплые и до снега можно ходить босиком. От шкуры нашей Цахик почти ничего не осталось, ее давно разделили на доли: отрезали на трехи дяде, бабушке, тетушке Ашхен, затем моей матери и дядюшке Авету. Даже для Вачика не осталось хорошей кожи, и дядя отдал ему последние шкурки с коровьих ног.

А обо мне и Асмик никто и не подумал. Что поделаешь, недаром же говорят, что лучше быть собакой, чем младшей в доме. Наша Топлан, например, не нуждается в трехах, а мои ноги за лето так загрубели и потрескались, что стали похожи на копытца ослика Никола. По вечерам я мою ноги в теплой воде, потом мажу мацуном, но от этого их так начинает щипать, что я долго не могу заснуть.

— Когда вернемся с мельницы, я сошью тебе трехи,— обещает мне дядя.

Я в это не верю, но хочется мне или нет, а должна идти вместе с ним на мельницу, потому что я его помощник...

Конечно, мало приятного ходить босиком по нашим каменистым дорогам. Но стоит мне вспомнить, сколько удовольствий ожидает меня на мельнице, как я забываю о всех неприятностях.

Прежде всего — багарш. Это такой пресный хлебец, который мы испечем из муки, когда смелем пшеницу. Поджаренный в золе, с хрустящей на зубах корочкой, он так вкусен!

Но еще более заманчивы виноград и арбуз. Они растут не на мельнице. Да я и не слыхала никогда, чтобы в наших краях росли виноградные и арбузные деревья. Из далеких мест, кажется из самого Еревана, привозят эти замечательные фрукты на нашу мельницу крестьяне-садовники. Они всегда появляются осенью. На осликах или на верблюдах везут они арбузы и виноград, меняют на пшеницу и ячмень и уезжают с мешками, наполненными зерном.

Много всякого люда бывает на мельнице. Кто богат и привез много зерна, тот покупает несколько арбузов и целую корзину винограда, ну, а о тех, которые, вроде нас, привезли зерно для помола на ослике, известное дело, говорят: «Видит око, да зуб неймет».

Еще не доехали мы до мельницы, как я уже чую запах винограда и, оставив дядю, бегу к верблюдам. Они, как горы, расселись друг подле друга и жуют свою жвачку, не обращая на меня никакого внимания.

— Верблюд, верблюд, мышиные ушки! — кричу я, пробегая мимо них, потому что уши у верблюдов очень маленькие, и они сердито фыркают, когда кто-нибудь говорит им об этом в лицо.

А вот и виноград. Я с восторгом кидаюсь к нему и тут же в страхе застываю на месте. Около корзин с виноградом сидит... наш большой дедушка. Возле него лежат пять или шесть похожих на него ядреных арбузов.

— Дедушка, большой дедушка, здравствуй! — говорю я, робко приближаясь к нему.

Огромная бородища дедушки чуть поворачивается в мою сторону, но он, не отвечая на мое приветствие, обращается к продавцу винограда:

— А ну, положи еще вон те гроздья,— указывает он толстым пальцем на отливающие янтарем самые крупные кисти винограда.

— Как прикажешь, ага,— с готовностью отвечает продавец,— как твоей душе будет угодно.

— Собачий ты сын,— ругается большой дедушка,— пшеницу получаешь — как золото, а жалеешь лишней кисточки! Что ты трясешься над своим виноградом, как шахский казначей над со-

кровищами? Можно подумать, что твой виноград — невесть какое лакомство.

Так, покрикивая на растерянного человека, большой дедушка укладывает виноград в большое ведро и дает его в руки своему работнику:

— Неси домой!

Кажется, он обманывает продавца. Все же видели, что он уложил в ведро три мерки винограда, а пшеницы хочет отдать только за две.

— Было три мерки, дедушка, ты не помнишь,— не вытерпев, вмешиваюсь я в его спор с продавцом.

— Вот и говорят: от своих вреда больше жди,— сердится большой дедушка, а дядя берет меня за руку и уводит.

— Тебе-то что за дело? — выговаривает он мне.

Продавец клянется своим богом:

— Валлах, биллах, было три, ага! — Но как он может доказать, бедняга, если виноград уже унесен дедушкиным работником!

Фу, и как это не стыдится эта мерзкая борода?! Привез на мельницу две арбы пшеницы, а у бедного продавца хочет отнять последнее.

Правду говорит моя бабушка, что на чаше весов всех сокровищ мира было бы мало, чтобы перевесить алчность ненасытных глаз богача.

Но я удивляюсь этим людям. Как это можно отдавать виноград, слаще которого нет ничего на свете, в обмен на пшеницу или ячмень? Уж раз попало тебе в руки такое лакомство, так сиди себе дома и ешь целый день, а эти чудные люди тащатся сюда из самого Еревана, чтобы такие ненасытные, как наш большой дедушка, надували их. Нет, я никогда не сделала бы такой групости! Но дядя говорит, что без винограда жить можно, а без хлеба нельзя. Вот потому и приходится мне тысячу раз упрашивать его, пускаться на все хитрости, умолять, прежде чем он согласится купить немного винограда. Да и купит, так даст мне только одну кисточку, а остальное отложит домашним. А сам не ест.

— От сладкого у меня зубы портятся,— говорит он,— болят.

Я знаю, что он говорит неправду. Какие же зубы портятся от винограда? Да я готова есть его столько, сколько осел может тащить, только бы дали... Просто у дяди нет пшеницы, чтобы купить побольше винограда, и мне так жалко его, что у меня даже сладкие виноградные ягоды застревают в горле.

— Дядя,— спрашиваю я его,— когда у нас будет много пшеницы, мы купим много винограда, правда?

— Купим, бала джан, купим.

— И ты тогда тоже будешь есть?

— Буду.

— А если у тебя заболят зубы?

— Нет, тогда не заболят,— смеется дядя.

— А если у нас будет много пшеницы, купишь мне новое платье? Мне очень плохо в этом старом, со всех сторон залатанном платье. Из-за него рябой Вано зовет меня «черт-оборвыш».

— Купим,— обещает дядя,— обязательно купим тебе красивое шелковое платье.

— И Асмик и Аник, дядя,— спешу я напомнить,— они тоже оборвыши. А у мамы нет рубашки, и у бабушки, у тетушки Ашхен тоже нет.

— Не беспокойся, купим тогда для всех.

— А скажи, дядя: когда у нас будет много пшеницы?

— Когда у осла,— смеется он,— вырастет борода.

Этот дядя тоже человек со странностями. Я ему о деле, а он смеется. Посмотрел бы на свои шаровары! Мне кажется, что эти шаровары я вижу на нем с того самого дня, когда раскрыла глаза. Тетушка Ашхен латает их чуть не каждый день. Других-то ведь нет! Зашьет одну дырку — появляются новые. Одним словом, все мы оборвыши.

Мои грустные размышления прерывает большой дедушка.

— Дочка, эй, трещотка,— зовет он,— иди-ка сюда!

Я боязливо подхожу к нему и вижу: у ног его лежит разрезанный красный арбуз.

Подозвал, а на меня даже не смотрит — жадно уплетает арбуз, плюется черными косточками. Наконец, как видно, наедается, вытаскивает из-за пояса огромный, как постельное покрывало, шелковый платок, вытирает им бороду и оборачивается ко мне.

— Возьми полакомься,— говорит он, протягивая мне тонкий ломтик арбуза.— А хочешь, погрызи и эти корки,— он отодвигает от себя ногой мясистые арбузные корки, на которых еще осталось немного красного.

Я ликую в душе, можно и в самом деле полакомиться. Но не успеваю я доесть ломтик арбуза, как подходит осел Никола и, не спрашивая разрешения большого дедушки, начинает пожирать мою долю арбузных корок.

— Вай, большой дедушка, чош, чош! — растерянно ору я.

Крестьяне вокруг нас громко хохочут, а большой дедушка — не знаю, за что,— рассерженно щелкает меня по голове пухлой рукой:

— Хватит жрать, убирайся с глаз!

Я испуганно отбегаю в сторону.

Молодой парень, нагружая своего осла, с любопытством смотрит на меня и говорит:

— Кому это ты кричала «чош» — ослу или большому дедушке?

«Э,— с досадой думаю я,— все только смеются надо мной, пойду-ка поищу я дядю Ивана».

Но прежде чем разыскивать дядю Ивана, я обязательно должна познакомиться с ослами. До этой минуты у меня просто не было времени заняться ими, меня привлекали больше корзины с виноградом и арбузы, а большой дедушка стоял над душой, и страшно было шевельнуться на месте. Теперь дедушка, нажравшись арбуза, выпятил свой огромный живот и уснул. Значит, можно заняться и ослами.

Видно, ослы уже поняли, что я их старый друг, и от радости подняли такой рев, что загремело ущелье.

У меня нет времени слушать их, я выбираю самого красивого осла и, не спрашивая согласия, быстро сажусь на него.

Должно быть, другому ослу стало обидно, что я выбрала не его,— он пронзительно заревел. А мой, бессовестный, так разыгрался, что сбросил меня на камни и помчался к своему другу. Я сильно ударилась ногою об острый камень, из-под ногтя большого пальца выступила кровь, и сердце заколотилось от испуга.

Вдруг вижу — бежит Иван с белой от муки бородой.

— Дядя Иван, умираю! — плача, зову я его.

Иван подбегает ко мне и, подумав, что я и вправду умираю, поднимает меня и несет к себе на мельницу. Майя промывает мне ногу, крепко перевязывает палец белой тряпочкой и о чем-то говорит с мужем на своем языке. Потом Иван выходит на минуту из комнаты, приносит пару маленьких кожаных башмаков с пуговками и ставит передо мной. Я, разинув рот, смотрю на них и боюсь даже притронуться к ним, а Иван, щуря свои голубые глаза, смеется.

— Хороши? — спрашивает он.

Хороши они или плохи — откуда мне знать? Уж сколько лет живу я на свете — и ни разу не приходилось мне надевать кожаных башмаков.

— Если они тебе нравятся,— говорит Иван,— возьми их и носи.

Ну и плевать мне на то, что палец болит! Я живо надеваю башмаки и, совсем потеряв голову от радости, танцую на месте.

Иван и Майя, глядя на меня, сами радуются.

— Иван джан, дорогой дядя Иван, да буду я жертвой твоей бороды...— болтаю я, не зная, как высказать свою благодарность.

Этот Иван — мельник Артуш-аги. У него нет никого на свете, кроме жены его — Майи. А человек он очень хороший.

В нашем селе все дружат с ним, а больше всех — наша семья. Случалось, не было у нас муки даже на то, чтоб заправить суп из банджара, и бабушка посылала меня на мельницу. Майя всегда насыпала мне мерку муки, а когда я приносила долг, не брала и всегда говорила, что у них много муки. А мне кажется, муки у них не больше того, что осело ее на бороде дяди Ивана.

Одно время у нас в селе жену Ивана все звали «жинка Майя»,

как сам Иван называл ее, а потом, не знаю почему, «жинка» выбросили и стали звать просто «Майя».

Когда-то давно Иван и Майя убежали из России, пришли на мельницу Артуш-аги, да так и остались тут.

Удивительно, кто бы и откуда бы ни бежал, остается у нас в селе. Говорят, Каро убежал от солдатчины, а Иван и Майя — и не поймешь от чего. Только от нас никто не убегает. Вот если бы хозяйский Каро убежал от нас да прихватил бы еще с собой старосту Симона или хотя бы рябого Вано, провалиться б им сквозь землю, я нисколько бы не жалела.

Иван уже неплохо говорит на нашем языке, а Майя никак не может научиться хорошо говорить. Оба они часто приходят к нам и всегда приносят с собой пухлый лаваш с начинкой — это называется на их языке «пироги». Ах, что за вкусная штука эти пироги!.. И зачем только надо было Ивану и Майе убегать из России, если там люди едят такие вкусные вещи?

Когда я спрашиваю об этом бабушку, она говорит: «От руки тирана и лесная сова в пустыню летит...»

Поди разберись, что она хочет этим сказать.

Каждый раз, когда Майя появляется в нашем доме, мы от радости начинаем прыгать вокруг нее и хлопать в ладоши:

— Майя, Майя пришла, пироги принесла!

— Да, да, принесла,— улыбаясь нам, говорит она и передает бабушке что-то завернутое в белый платок.

Ну, а что уж попадет в руки бабушке — не скоро получишь. Можешь сколько угодно кружить возле ларя, бабушка не нарушит установленного ею порядка. А порядок этот такой. Прежде всего должны собраться все наши домашние. Затем бабушка должна приготовить чай, несмотря на то что у нас его никогда не пьют. Если и случается, что дядя купит немного сахару, так бабушка держит его под семью замками и чай заваривает только в случае, если кто-нибудь в семье заболеет. Но когда к нам приходит Майя, бабушка непременно заварит чай. Для того чтобы подкрасить вскипяченную воду, бросит в котелок щепотку сушеной мяты, и мы садимся вокруг стола.

Вот тогда и начинает бабушка делить принесенный Майей пирог, затем делит сахар. Пока она разливает чай, мы грызем сахар — без бабушкиного чая он гораздо слаще. А взрослые дуют и дуют горячую воду, и после каждого стакана бабушка, отирая потное лицо, удовлетворенно вздыхает:

— Ух, как в бане!

Можно подумать, что она каждую неделю моется в бане, а она только раз и была в ней — когда заболела Февронья-ханум и позвала бабушку, чтоб та помыла ее.

После чая Майя начинает рассказывать про свою Россию.

— У нас пекут не лаваш, а хлеб,— говорит она,— большой такой круглый хлеб. И кизяк нам не нужен, в наших краях много леса. У нас и дома из дерева...

По словам Майи, в ее стране нет и таких высоких гор, как наша Аладжа. Вся их страна ровная и зеленая, как Бархатная бахча Артуш-аги. В лесах у них сколько хочешь всяких ягод — земляники, малины, черной смородины, а грибам и счету нет.

Мы спрашиваем Майю:

— Почему вы убежали из вашей страны, если она так хороша?

Майя задумывается, молчит, потом грустно объясняет:

— Нельзя было нам оставаться в России. Иван Палыч с князем поссорился. Из-за земли. У князя побольше земли, чем у вашего святого Геворга. Ивана Палыча должны были посадить в тюрьму. Вот поэтому мы и убежали сюда.

Говоря об Иване, Майя всегда говорит о каком-то Паличе. Что там у них этот Палич всегда был вместе с Иваном, это еще понятно, но из слов Майи получается так, что Палич неразлучен с дядей Иваном и на мельнице Артуш-аги и всё они делают сообща.

«Иван Палыч много рыбы поймал... Иван Палыч сегодня ночь не спал, голова у него болит...»

Ничего не понимаю.

— Тетушка Майя,— однажды спросила я,— а где дядя Иван держит этого Палича, что я никогда не вижу его?

Майя сначала не поняла меня, а когда поняла, рассмеялась.

— Как звали твоего отца? — спросила она.

— Арам.

— А как зовут твоего братика?

— Артик.

— Ну, значит, твой братик, по-нашему, будет Артик Арамыч. Отца Ивана звали Павлом, поэтому Ивана зовут Иваном Павлычем,— объяснила Майя.

А дядя Иван и без этого Палича очень хороший. Он всегда приносит нам изготовленные им самим игрушки. То принесет деревянного солдатика, заведешь его — он шагает; то красного петуха с зелеными крыльями, который тоже двигается, расправив крылья и вытянув шею. Жаль только — не поет.

— Дядя Иван, пусть петух поет «кукареку»! — требует Аник.

— Э-э, чего захотела! — смеется дядя Иван.— В наших краях, когда зимой у мужика кончается хлеб, петуха пускают в имение князя. Вот тогда он гуляет, тогда поет!

— А потом что бывает? — интересуется Аник.

— Потом? Князь-ага убегает из дома в одной рубашке.

— Вай, он боится петуха? — удивляется Аник.— А наш Артуш-ага не боится.

Я живо представляю себе, как было бы это смешно, если бы всех петухов нашего села выпустить на Артуш-агу или на Каро.

— Петухов выпустим,— говорю я,— а двери закроем, чтобы Артуш-ага не мог убежать.

— Да, так будет лучше,— смеется дядя Иван.

— Занялся с детьми, сердечный,— вздыхает моя бабушка,— не стало у него сынка, некому и порадовать отцовское сердце.

Сын дяди Ивана, Костя, был почти ровесником мне и в прошлом году утонул в нашей речке. Это его башмаки подарил мне дядя Иван.

— Сердобольный он человек,— говорит дядя,— со всеми так.

— Про то и говорю, Агабек джан, пусть позабавится с детишками,— продолжает бабушка.— Чужой ведь он здесь и горя немало повидал, так пусть хоть у нас утешится. Человек от человека радость берет.

Но Иван совсем не похож на чужого. Он дружит со всеми нашими соседями и всем старается помогать. Кому арбу починит, кому корыто, кому маслобойку и никакой платы за это не требует. Он хороший плотник, дядя тоже научился у него тесать топором и строгать, и часто они вместе плотничают.

А недавно случилось вот что.

Прошли сильные дожди. У всех потекли крыши, а у вдовы Ерикназ крыша совсем развалилась. Ерикназ не знала, что делать. Арутик-солдат тут ничем не мог ей помочь.

И вот мы видим: поднимается из ущелья дядя Иван с досками на плече и направляется прямо к дому вдовы Ерикназ. Мой дядя, как видно, уже знал, в чем дело, он взял свои инструменты и последовал за дядей Иваном. Вдвоем они начали чинить крышу.

По селу сейчас же пошли разговоры.

— Мельник Иван решил помочь вдове Ерикназ, дай бог ему долгой жизни,— одобрительно говорили сельчане.

— Русский Иван стал заглядываться на Ерикназ,— не удержалась от того, чтобы не позлословить, Зорба-Зардар.

— Врет она, бессовестная,— возмутилась моя бабушка.— Что же, его жена менее красива, чем Ерикназ? Нет, сердце у нашего Ивана совестливое. Он русский, а разве есть на свете люди совестливее русских?

Узнал об этом и хозяйский Каро и тотчас направился к дому вдовы, размахивая своей плетью.

— Иван, собачий ты сын, что ты тут делаешь? — заорал он еще издали.

— Не видишь? — спокойно отозвался Иван.

— Слушай, борода, разве Артуш-ага кормит тебя за то, чтобы ты бросал мельницу и чинил крыши безмужним женщинам?

— Не ори, кишки лопнут,— усмехнулся Иван.

Мы все засмеялись, а взглянув на сухопарого, худого Каро, стали хохотать еще громче.

— Что, съел? — кольнул дядюшка Авет.

Каро совсем взбеленился. Хлопнув плетью по сапогу, он подошел к Ивану и схватил его за шиворот.

— Заткни глотку, а то... я тебе покажу! — яростно заорал он.

— Цыц! — крикнул на него Иван, отталкивая его руку.

— Иван сказал Каро «циц»! [1] — закричали мы, разбегаясь в стороны.

— Я вам, щенки! — пригрозил нам плетью Каро.

Но кому мог он заткнуть рот,— на все село распространилось, что русский Иван пригрозил колом хозяйскому управляющему.

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПЛОТНИК

Дядя стал уже настоящим плотником.

— Дай бог здоровья и благополучия Ивану, пусть не увидит он в жизни плохого дня, осчастливил моего сына верным куском хлеба,— благодарно говорит моя бабушка.

Плотницкая работа дяди и вправду намного облегчает нам жизнь. Больше всего заказов дают ему женщины-хозяйки. Для них он делает каталки, люльки, деревянные ведра или маслобойки, чинит и собирает сломанные, выдалбливает корыта для сыра, а самым выгодным делом он считает изготовление сундуков. Ведь каждый дом, где есть взрослая девушка или парень-жених, должен обязательно обзавестись хорошим сундуком для девичьего приданого или для того, чтобы подарить его новобрачной.

А дядя делает изумительно красивые сундуки, и, когда с наружной стороны окрашивает их в зеленые, красные и желтые цвета, они сверкают у него, как радуга. Целыми днями работает он теперь у своего верстака не разгибая спины. Бывает, что я уже вижу сороковой сон, а он все пилит, сверлит, строгает, и до поздней ночи мягко шуршат приятно пахнущие смолой стружки соснового дерева.

— Ах, судьба-злодейка,— иногда говорит мой дядя,— что бы одной из этих родиться мальчишкой! Тогда у меня был бы помощник...

Однажды я спросила его:

— Дядя, а девочка может плотничать?

— Почему ты спрашиваешь?

— Хочу быть тебе помощником.

Дядя грустно улыбнулся:

— Милая ты моя...

— Дядя мой дорогой, мне тебя очень жалко,— смущенно сказала я и выбежала на улицу.

Я сижу в пустом стойле Цахик и думаю: как мне быть, чем помочь дяде? Мне очень нравилось, как дядя, положив на верстак грубо отесанный брусок дерева, брал в руки рубанок и строгал, строгал его до тех пор, пока он не становился гладким и блестящим как зеркало. Мне казалось, что для этого не так уж много требуется умения и сноровки и что, если мне разрешат, я сумею сделать то же самое.

---

[1] Циц — кол *(армянск.)*.

Но сначала надо попробовать тайком от дяди. А для этого хорошо бы как-нибудь выпроводить его из дому.

Предлог нашелся. Я возвращаюсь к дяде и начинаю крутиться вокруг него.

— Что ты вертишься под ногами? — сердится дядя.— Иди-ка лучше гуляй...

— Нет, ты иди...

Дядя, оставив строганье, удивленно глядит на меня.

— Ого, ты уж начинаешь перечить?

— Я говорю, дядя, иди к дядюшке Авету, у него сломалась нога.

Дядя откладывает в сторону рубанок и, свернув цигарку, быстро уходит.

А мне только это и нужно было. Я хватаю рубанок и начинаю строгать доску, оставленную дядей на верстаке. Конечно, я не ошиблась. Строгать — одно удовольствие. Жирные, легкие стружки так и вьются из-под рубанка, падают под ноги, нос у меня сопит от напряжения, а сосновая доска становится все тоньше и тоньше. Стоит мне еще немного построгать — и от нее ничего не останется. Но ладони у меня уже покрываются волдырями.

Я кладу рубанок на место, выношу стружки в стойло Цахик и как ни в чем не бывало присаживаюсь возле тонира. С веретеном в руке входит бабушка.

— Чего это ты сидишь одна, словно пристала к тониру? — удивленно говорит она.— Ребята играют в доме у Авета, пойди и ты туда, у нас холодно.

— Нет, мне не холодно...

Бабушка подозрительно глядит на меня.

— Уж не больна ли ты? — Она проводит рукой по моему разгоряченному лбу и испуганно шепчет: — Вай, чтоб я ослепла, жар у ребенка... Дочка,— спрашивает она,— что у тебя болит?

— Рука,— бормочу я; волдыри на ладони и в самом деле болят.

— Ты зачем это обманула дядю, сказала, что у Авета деревяшка сломалась?

— А что же делать, жалко мне дядю. Я сказала так, чтобы он пошел к дядюшке Авету и немножко там отдохнул.

— Жалко, бала джан, конечно, жалко,— вздыхает бабушка.— Мое дитя раз в год рубашки не сменит, а каждый день семью потами исходит, чтобы накормить всех нас...

...Вечером дядя снова берется за работу. Я тихонько выглядываю из-под одеяла и вижу, что он удивленно вертит в руках выстроганную мною доску и сам с собой разговаривает:

— Как это я столько выстрогал? Тьфу, испорчена вещь...

— Агабек джан, что случилось? — спрашивает бабушка.

— Э, мать, доску старостиного сундука испортил. Не знаю, как это у меня получилось. И нет другой доски, чтобы заменить ее.

— Ну, теперь ты сам заставил собаку лаять,— хмурится бабушка.

— Конечно, сам. Про то и говорю. Теперь не знаю, как и ответить Зардар. Она хотела завтра прийти за сундуком.

Сердце у меня трепещет от страха, я поднимаюсь и сажусь в постели.

— Ты чего это выставилась? — дядя сердито глядит на меня.

— Сон убежал.

— Если убежал, иди грабь караван. Ночью не спят только разбойники.

— Дядя, ты не рассердишься?

— На что? Если караван пойдешь грабить?

— Нет... что доску... я построгала...

— Ах, чтоб тебе! — смеется дядя.— А я-то смотрю и не понимаю, почему у меня рука так криво пошла.

— Мне хотелось помочь...

— Ну конечно, если уж ты будешь моим помощником, то ждать лучшего не приходится...

Дядя не стал ругать меня, но я почувствовала себя плохо и долго не могла заснуть.

«Если б отец мой был жив, он был бы хорошим помощником дяде. Если б Артик поскорее вырос, было бы тоже неплохо... А если б я не была девчонкой и старостиной Зардар был бы не нужен сундук, было бы еще лучше»,— думала я и мысленно проклинала Зардар за то, что ей приспичило заказать дяде новый сундук.

Но Зардар, как видно, держалась на этот счет совсем другого мнения.

На следующий день она пришла за сундуком и привела с собой работника Сето.

Я хотела улизнуть из дому, потому что после истории с Топлан боялась попадаться ей на глаза, но, завидев Сето, осталась. Он был такой мастер петь и насвистывать. Мне давно хотелось поучиться у него.

Сето остановился у дверей, а Зардар важно выступила вперед. Но бабушка не дала ей и слова вымолвить.

— Привет, тысяча приветов, сестрица Зардар! Как живете-поживаете? — оживленно заговорила она, освобождая для гостьи место у курси [1].— В добром ли здравии Симон-ага? Как поживают твои невестушки, детки, Шаген?..

— Что это с тобою, Нуно? Так встречаешь, будто мы семь лет не виделись,— удивленно уставилась на нее Зардар, но все же, подобрав подолы шуршащих юбок, уселась подле курси.— Слава богу, двери наши рядом, и мы уж порядком намозолили друг другу глаза.

— Зачем так говоришь, сестрица Зардар? О здоровье спро-

[1] Курси — низенький столик над тониром.

сила — не милостыню же попросила. Двери-то у соседей всегда рядом, да есть люди, которые и знать тебя не хотят,— в свою очередь подкусила ее моя бабушка.

— Знаться со всеми соседями да по гостям ходить легко тому, кому нечего делать. Возьми в руки веретено, а в рот смолку, сиди и сплетничай. Нам не до этого. У нас столько добра, дом — полная чаша, да и скотины, как знаешь, уж больно много. Это не то что у тех, у кого в стойле всего-то две паршивые козы,— спесиво проговорила Зардар и продолжала: — Вот сейчас я пришла к вам, а думы-то там, у себя в доме. Пристав приехал к нам в гости. Шаген зарезал барашка. Симон говорит, что вот-вот должен явиться и святой отец... Неси, неси скорее сундук, мне некогда!

— Бабушка Зардар,— обратилась я к ней,— если у вас столько гостей, зачем вам сейчас понадобился сундук?

Сето фыркнул и рукою зажал рот, а Зардар злобно уставилась на меня.

— Я вижу, Нуно,— сказала она,— эта девчонка для вас сущее наказание.

— Почему наказание? Ребенок еще, ничего не смыслит. Если б хватало ума, разве она сделала бы такое? Сундук-то ваш ведь она испортила, сестрица Зардар.

— Ах, чтоб околеть тебе в молодые годы! — выругалась Зардар и, растопырив пальцы, кинула мне проклятия всей пятерней [1].— Что же она сделала с сундуком?

— Откуда мне знать? Дитя малое, поиграла с досками, построгала и испортила их... Ладно, ты не расстраивайся, Зардар джан. Что ж теперь делать? И у взрослого человека незадачи бывают. Дай бог здоровья твоему Симону, да и моему Агабеку тоже, как только достанем доску, сделаем ваш сундук,— сладкоречиво уговаривала бабушка рассерженную Зардар.

Но разве заткнешь рот Зардар? Она обрушила на наши головы, и особенно на мою, все проклятия, какие только могла придумать. А в конце концов объявила, что я пошла в бабушку, потому что яблоко от яблони недалеко падает. Моя бабушка, были времена, спорила на папахи чужих мужчин, и я, мол, когда — упаси господи! — вырасту, буду спорить на папаху своего мужа и ославлю его на весь свет.

— Девчонка это или собачий выродок? — продолжала ругаться Зардар.— И с таким щенком эта оборванка,— бросила она злобный взгляд в сторону матери,— еще ломается, ей еще не нравится наш Каро! Сто́ит эта тля, чтобы заботились о ней!..

Мать, услышав имя Каро, покраснела до ушей и сердито наподдала мне по заду. А дядя, не принимавший участия в разговоре, сначала рассердился на мою мать, а потом подошел к Зардар, взял ее за руку и, указывая на дверь, сказал:

---

[1] Характерный жест армянских женщин, означающий пять проклятий.

— Уходи! Разболталась тут... Сундук сделаю, отдам. А до Каро, будь он проклят, нам нет никакого дела.

Зардар подобрала подол и с пеной у рта одним духом добежала до своего дома. А бабушка молчала, молчала, да и принялась, как она говорит, отводить душу.

— Чтоб ей сдохнуть без креста, без покаяния! — вдруг раскипятилась она.— Поглядите-ка на нее, как она заносится. Да своих двух козочек, выращенных честным трудом, я не променяю на твое стадо баранов. Награбили добра, так теперь других уж и за людей не считают. Нет, видно, не понять твоей счастливой башке...

— Бабушка, значит, я хорошо сделала, что испортила доску от сундука? — говорю я, ободренная ее словами.

— Отвяжись ты, мало нам было горя! — рассердилась бабушка и продолжала свое: — И хорошо сделал мой Агабек, что заткнул тебе глотку...

На этот раз мне крепко досталось от матери. Я стала плакать, но не потому, что меня отшлепали. Не так уж редко это со мной случалось. Горько было, что дядя не заступился за меня. Когда я вдоволь наплакалась, ко мне подошла тетушка Ашхен, погладила по голове и сказала:

— Так, значит, будем спорить на папаху того парня... да?

— Какого парня? — сквозь слезы спросила я.

— Ну, того, о котором говорила Зардар.

— Пусть она сдохнет, эта Зардар, да и тот, о ком она говорила! — возмущенно крикнула я и, выскользнув из ее рук, кинулась из дому.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОМ

Пусть Зорба-Зардар бесится из-за сундука, сколько ей хочется, а мне некогда и думать об этом, потому что господин офицер из дома Артуш-аги дал мне и моему дяде очень важное поручение.

Семья Артуш-аги через несколько дней возвращается в город. Наверно, хозяева переезжают на зимнюю «дачу», ну и перед отъездом хотят вдоволь поесть нашей рыбы.

А уж это давно известно: когда дело касается рыбы, я и мой дядя становимся для господина офицера «светом его очей».

Дядя старательно чинит большую сеть и, кроме того, готовит длинное удилище в руку толщиной. Это для сома.

Поздней осенью у нас в реке неизвестно откуда появляется рыба сом. Это такая рыбища — в дядин рост и весом в семь-восемь пудов.

Дядя лучше всех знает, где можно поймать сома. В Монастырском ущелье есть такое место, где скалы сдвинулись и на-

висли над рекой, как огромный каменный мост. Пройдя под этими скалами, наша быстрая и пенистая река вдруг успокаивается и течет дальше так тихо, что кажется, будто вовсе и не течет.

Вода в этом месте всегда очень мутная. Из парней нашего села здесь осмеливается купаться один только Сако, потому что вода крутится тут воронками и в такую воронку может засосать человека. Говорят, что под рекой тут глубокая пропасть, в которой сидят водяные старухи и без устали сосут воду. Поэтому она и кружится на одном месте. Мы зовем это место «Кружилым омутом» или просто «Кружилом».

Вот в этом Кружиле и водятся сомы. Все лето они спят в расщелинах скал, а прохладной осенью выплывают наверх поиграть. В это время и можно их ловить.

Сома нельзя поймать сетью, он очень сильный, может разорвать сеть и уйти. Поэтому дядя и готовит большую удочку с длинной прочной бечевой и острым железным крючком.

Поздно вечером он кладет в ведро несколько земляных жаб. По его словам, речная лягушка для ловли сома не годится. Насаженная на крючок лягушка в воде не сразу сдыхает, а шевелясь, может вспугнуть сома. А жаба, которая в жизни воды не видала, как только попадет в воду, сейчас же испускает дух, и сом, ничего не подозревая, заглатывает ее.

Взяв ведро с жабами и большую удочку, мы отправляемся на Кружило.

Тихий, звездный осенний вечер. Во всем селе не видно ни одного огонька. Наступили холода, сельчане больше не зажигают очагов во дворе, а в наших домах нет окошек, и наружу не проникает свет. Не слышно ни человеческих голосов, ни рева скотины. Даже собаки, словно заразившись общим молчанием, тихо лежат на ометах соломы или на кучах кизяка.

И только я и дядя шагаем селом в этой ночной тишине. Меня немного пугает эта настороженная тишина. А когда мы доходим до Кружилого омута и перед моими глазами встают огромные красноватые скалы, я вся съеживаюсь от страха. Мне кажется, что вот сейчас из омута выплывут страшные водяные старухи, схватят меня и потащат в свою темную бездну. Вода в Кружилом омуте черная, как смола, и только сверкающие отражения звезд показывают, что тут вода, а не ровная поверхность земли.

Дядя находит удобное место и, прикрепив к скале удилище, забрасывает крючок с насаженной на него жабой далеко на середину реки. Из глубины ущелья слышится странный вздох. Я в ужасе прижимаюсь к дяде, хочу кричать, но он успокаивает меня:

— Не бойся, это лошади Артуш-аги.

И верно, лошади. Как это я забыла о них? Все лето до поздней осени пасутся они на мягкой зеленой траве Монастырского ущелья, а на ночь забираются в Пещеру архимандрита. За лето

они так дичают, что потом, когда наступает время ставить их в конюшню, Каро приходится собирать всех молодых и самых ловких мужчин села. Бывает, что какой-нибудь резвый, норовистый конек никак не поддается на аркан, убегает и остается в ущелье до тех пор, пока трава не начинает покрываться снежком. Тогда он сам приходит к хозяйской конюшне.

Видели бы вы такого конька! Куда девается его прежний задорный и гордый вид, он уже не ржет больше заливисто и громко, не бьет копытами землю, а смиренно стоит у дверей конюшни и так тоскливо ржет, будто просит стоящих за стеной своих сородичей: мол, пожалейте беднягу, пустите...

«Послушай, глупец, куда это ты по доброй воле идешь? — говорит в таких случаях дядюшка Авет.— Будь я на твоем месте, никогда не сделал бы такой глупости, добровольно не пошел бы под ярмо Каро».

Но до снега еще далеко, и лошади Артуш-аги пока свободно гуляют в Монастырском ущелье.

— Почуяли человеческий запах, вот и фыркают,— объясняет мне дядя.

Я понемногу успокаиваюсь, но вдруг раздается резкий клекот, слышится свист крыльев, и огромная черная тень проносится над нашими головами. Через мгновение слышится тоненький писк — и снова тишина.

— Сова поймала крота,— опять успокаивает меня дядя.— Весь день сидела где-нибудь в темной расщелине, а теперь вышла на охоту, чтобы наполнить себе желудок.

— Пусть она днем заботится о своем желудке,— недовольно говорю я.

— Днем сова слепая,— объясняет дядя,— при солнечном свете она ничего не видит.

— Дядя,— спрашиваю я его,— а орел тоже слепой?

— Нет, что же это за царь, если слепой. Орел — царь пернатых, он все видит.

— А если он царь, то где же у него трон?

— Есть он у него. Как же не быть? Он всегда сидит на вершине самой высокой скалы. И орел честная птица, ночью никогда не нападает.

— А орел... мальчик или девочка?

— Почему ты спрашиваешь? — смеется дядя.

— Да так... Наверно, царь должен быть мальчиком, потому что в сказках все цари — мальчики или мужчины... Наш царь Никол тоже мужчина, правда?

— Да, конечно. Царь должен быть мужчиной.

Я, разумеется, не собираюсь стать царем ни людей, ни пернатых, но все же любопытно знать, почему меня зовут Арцив или Арцвик? [1]

---

[1] Арцив — орел; арцвик — орленок.

— Отцу твоему так захотелось, чтобы все ваши имена были похожими — Арам, Арцив, Артик...

— Вот я не смогла пройти под радугой, потому и не стала мальчиком,— открываю я свою тайну дяде.

— Ничего, не горюй,— успокаивает он меня,— вырастешь — все будет хорошо. А сейчас давай немного поспим...

Мы ложимся рядом и укрываемся его ветхой чухой [1].

Черная вода так близко, что мне становится не по себе: заснешь — и свалишься в омут. Чтобы избежать этой опасности, я ближе придвигаюсь к дяде, просовываю руку ему за пояс и стараюсь больше не думать об омуте, умолкаю.

Дядя тоже молчит. А ущелье наполняется тысячами разных звуков. Все звери и птицы как будто только и ждали, когда мы умолкнем, чтобы начать свой ночной разговор. Где-то вдали отрывисто и резко вскрикивает сова. Сожрав крота, она, наверно, хочет предупредить других: мол, только попробуйте высунуть нос из своих норок — я здесь. «Вуй-вуй!» — зовет какая-то птица, и, словно в ответ ей, со стороны скал слышится странный звук: «У-ка-ка, у́-ка-ка!» А снизу доносятся тихие всплески воды. Я крепче прижимаюсь головой к камню, и кажется мне, что эти всплески идут от камня или плещется что-то в ушах, и вся я наполнена этими всплесками и словно летаю, расправив орлиные крылья... «Нет, это я на качелях качаюсь»,— думаю я и постепенно забываю, где нахожусь.

Сколько времени длилось это оцепенение, трудно сказать, но вдруг я слышу гулкий всплеск воды и раскрываю глаза. Уже рассвело, а дяди нет рядом со мной.

— Дядя! — испуганно зову я его и вдруг вижу: он сидит на корточках у самой воды и растерянно смотрит, а довольно далеко от него, на самой середине реки, покачивается наше удилище.

— Вот и засни,— смущенно говорит он,— утащил удилище, проклятый!

Он с минуту раздумывает и начинает раздеваться.

— Я задержу его, а ты — мигом домой,— говорит он мне.— Скажи Сако и Николу, пусть возьмут багор, веревку и скорее бегут сюда. Не бойся, уже светло...— И прыгает в воду.

Не переводя духа, я мчусь в село, прыгая по камням. От влажного пырея ноги у меня и подол платья мокрые, холодный утренний воздух мешает дышать, а спустившиеся с гор серые облака мутной пеленой застилают все впереди. Села совсем не видно, и мне уже начинает казаться, что я заблудилась. Но вдруг мне навстречу, как мячик, выскакивает Топлан. Она обнимает меня лапами, тычется мокрой мордой в лицо, скуля от радости, отбегает и вновь возвращается ко мне. Я бегу за Топлан и кричу во все горло:

— Сако, Никол, помогите!.. Дядя зовет!.. Сом утащил!..

---

[1] Чуха — верхняя одежда, кафтан.

И по селу летит тревожная весть: сом утащил Агабека!

Никол и Сако хватают веревки, багры, и мы вместе с другими встревоженными сельчанами бежим в Монастырское ущелье.

Добежав до Кружилого омута, мы видим, что несколько ниже его, на самой середине реки, плавает взад-вперед мой дядя. А под скалой, которая высится над омутом, из стороны в сторону носится по воде наше удилище.

С берега зовут дядю, кричат, что-то показывают ему, а он продолжает плавать, сильно взмахивая руками, как будто только затем и пришел сюда, чтобы купаться в холодной воде.

Сако и Никол бросаются в воду, сельчане взволнованно обсуждают, чем все это кончится.

— Сом заглотал крючок, видишь, таскает удилище...

— Теперь будет таскать, пока не сдохнет...

Мне уже ясно, почему дядя все плавает и плавает, бултыхаясь в воде: он старается не дать сому уйти из омута.

Вот Сако и Никол подплывают к дяде, он уступает им свое место, а сам плывет прямо к удилищу.

Вдруг он исчезает из глаз. Все на берегу смотрят затаив дыхание.

— Попал, водяные старухи сцапали! — орет рябой Вано.

— Чтоб тебя самого сцапали водяные старухи! — возмущенно говорю я и сильно толкаю его рукой.

Вано хочет стукнуть меня кулаком, но в эту минуту раздаются веселые крики со всех сторон:

— Поймал ведь, нечистая сила, поймал!

Я вижу над водой голову дяди и рядом черную спину огромного чудовища. Дядя вцепился рукой в жабры сома, Сако и Никол тянут за бечеву, торчащую из соминой пасти, и все трое гребут одной рукой, плывут к берегу.

Под вопли столпившихся на берегу сельчан они наконец вытаскивают сома на берег. Это чудовище длиной почти в три аршина и толщиной в нашего старосту Симона. Из широкой плоской пасти сома струится кровь, он таращит свои маленькие круглые глазки на нас, а хвостом бьет о камни.

— Выбивается из сил, сейчас сдохнет,— говорит Никол, выжимая свои шаровары.

Не только сом, и мой дядя выбился из сил. Оставаясь так долго в воде, он совсем замерз, весь посинел. Но доволен и, кажется, гордится своей удачей.

— Молодец,— хвалят его сельчане.— Такого черта только Агабек и мог поймать.

Сом уже подыхал, когда верхом на белом коне прискакал господин офицер. Он бросил уздечку Сако, подошел к сому и, удовлетворенно качнув головой, сказал:

— Долгой тебе жизни, Агабек, отважный ты парень.— И, вынув из кармана пятирублевую бумажку, протянул дяде: — Возьми, ты это заслужил.

Дядя отказывался, не хотел брать денег, но сельчане со всех сторон подмигивали ему:

— Не сходи с ума, бери. За одну ночь заработать синенькую — это и во сне не приснится.

Офицер расщедрился — дал еще по рублю Сако и Николу.

Доставить сома в дом Артуш-аги можно было только на арбе, но по крутым, каменистым склонам ущелья ни одна арба не могла пройти.

— Разрубить его и нести по частям,— посоветовал Сако.

— Нет, нет, ни в коем случае,— запротестовал офицер,— надо целым доставить его.

— Да разве можно дотащить такую громадину? — недоумевали сельчане.

— Надо доставить целым,— настаивал офицер.— Ну, кто силен, выходи! Каждому дам по рублю.

Сначала никто не двинулся с места. Не легко ведь тащить по нашим кручам огромную тушу сома. Но заработать рубль хотелось каждому, и некоторые сельчане, посоветовавшись между собой, согласились.

Откуда-то достали шесты, устроили носилки и уложили на них сома. Четверо мужчин подняли носилки на плечи и двинулись в путь.

Дядя, Сако и Никол не принимали в этом никакого участия. Они очень устали, и, кроме того, им не хотелось лишать своих соседей возможности заработать.

Мы, детвора, шумной толпой последовали за этим необыкновенным шествием и были очень огорчены, когда сом скрылся за воротами Артуш-аги, а нас прогнали.

— Э, кому пир пировать, кому горе горевать,— говорили сельчане, видя, как готовились пировать в доме Артуш-аги.

А мой дядя сильно простудился и слег в постель.

— Ничего,— успокаивал его огородник Никол, который и сам-то чувствовал себя не очень хорошо,— выпьешь настойки полыни или горного цитрона, пропотеешь — и все как рукой снимет.

Но ни полынная настойка, ни горный цитрон дяде не помогли. Около двух недель он провалялся в постели. Мы с Асмик были так расстроены, что даже не пошли поглазеть, как уезжали в город хозяева.

Это было на другой день после того, как поймали сома. К нам зашла Еказ, дочь вдовы Ерикназ, и рассказала, как хозяйский Каро заложил два фаэтона, по четверке лошадей каждый, как важно рассаживалась в фаэтонах Февронья-ханум со своими дочерьми и с какой торжественностью двинулись они в путь.

— Чтоб им провалиться и больше не возвращаться к нам,— в сердцах проговорила моя бабушка.

— Зачем так говоришь, матушка Нуно? — насмешливо возразил ей дядюшка Авет.— Они нашли такого тихого и покорного

человека, как твой Агабек, так почему им не сесть на шею такому парню?

— А, да ну тебя, Авет! — рассердилась бабушка.— Пять рублей все же деньги немалые. Справим кое-какую одежонку детишкам, купим керосина, мыла... Тысяча разных прорех у нас.

ПОДАВИСЬ ТЫ СВОИМИ КОНФЕТАМИ!

Болезнь дяди была тому причиной или одиночество — не знаю, но только после отъезда хозяйской семьи к нам зачастил Каро.

Приходит он всегда в такой час, когда у нас нет посторонних людей. Он ужасно не любит дядюшку Авета. А дядюшка Авет, если застает у нас Каро, ни слова не говоря поворачивается и уходит. Но случается, сидит у нас дядюшка Авет, а в это время приходит Каро. Тогда дядюшка Авет, не отвечая на его приветствие, принимается с нами шутить.

— Скажите, детки,— обращается он к нам, косо поглядывая на Каро,— что надо делать, когда лиса заберется в курятник?

— Дверь захлопнуть,— говорит Аник.

— Хвост ей прищемить,— добавляет Асмик.

— А потом спустить на нее Топлан,— в свою очередь добавляю я, понимая мысль дядюшки Авета,— пусть Топлан загрызет ее!

Эти шутки очень не по душе Каро. Дядюшка Авет уходит. Каро некоторое время сидит мрачный и злой, затем тоже поднимается. И как только он исчезает, вновь появляется дядюшка Авет.

— Ну как,— кричит он уже с порога,— отрубили хвост лисе или отпустили так?

Однажды бабушка не вытерпела и принялась отчитывать его:

— Послушай, Авет, никуда это не годится. Если даже человек был волком и сожрал ягненка, тебе-то что до этого? Что ты так бесишься, когда видишь его?

— А тебе мало того, что этот волк овечек жрет? — тотчас схватился с нею Авет.— Да такого человека, который с волками жрет, с хозяином караул кричит, не то что принимать да почет и уважение оказывать — на порог дома не надо пускать!

Бабушка и в самом деле оказывает Каро почет и уважение. Она делает это потому, что Каро помог ее дитятке, то есть моему дяде, обмолотить наш хлеб.

Очень редко бывает, что Каро уходит из нашего дома без угощения. Бабушка всегда что-нибудь находит для этого и накрывает стол. И Каро охотно уплетает и яйца, сбереженные бабушкой на черный день, и сливочное масло, принесенное мастеровой женой Шушан для больного дяди. Каро не прочь также и «горло промочить», но в нашем доме никогда не бывает водки, и потому

он иногда приносит с собой небольшую бутыль и один ее распивает, потому что мой дядя не охотник до водки.

Когда голова у Каро разгорячится, а язык развяжется, он начинает хвалиться: он, мол, главная опора в хозяйском доме, не будь его, Артуш-ага не накопил бы столько добра... Да он, дескать, и сам нажил немало, может больше не служить хозяину и свое дело начать.

Какое это «свое дело» он хочет начать, я не понимаю, но Каро говорит, что для этого ему нужно прежде всего обзавестись своим очагом.

Если в такие минуты появляется дядюшка Авет, Каро начинает еще больше горячиться, а дядюшка Авет слушает, слушает, да и ввернет:

— Шумит, свистит,— как видно, начинается вьюга... Но вы не бойтесь, детки, пустое всегда гремит.

Раза два бабушка даже зарезала на угощение курицу, и мы, годами не видевшие куриного мяса, с хмурой завистью наблюдали, как у Каро хрустели на зубах косточки нашей пеструшки. Может быть, поэтому мы стали еще больше ненавидеть его.

А Каро, напротив, становился все более внимательным к нам. Уже в который раз он приносит конфеты и торжественно раздает их нам. Непонятно почему, но мне он дает даже больше конфет, чем Асмик и Аник. Наверно, он не знает, что я ненавижу его больше, чем все остальные.

Моя мать тоже не любит Каро. Как только он появляется на пороге, мать по какому-нибудь делу уходит к соседям и сидит там до тех пор, пока Каро не уйдет из нашего дома. Иногда она и меня уводит с собой. А мне все же не хочется лишаться конфет.

— Пусть он подавится своими конфетами,— говорит мать,— пусть не ходит к нам и ничего не приносит. Есть же дети, которые не видят никаких конфет,— чем они хуже?

— Пусть конфеты приносит, но только не ест наше добро,— нахожу я выход, который вполне меня устраивает.

— Нет, пусть не ходит,— упрямится мать,— ничего хорошего из этого не получится.

— А почему не получится?

— Эх, глупенькая еще ты, не понимаешь,— вздыхает она.

И однажды, когда Каро проглотил приготовленную для него бабушкой яичницу и, подозвав нас к себе, хотел угостить конфетами, я отошла в сторону и, набравшись смелости, крикнула:

— Подавись ты своими конфетами, не ходи к нам и не ешь наше добро!

Все оторопели. Бабушка сильно наподдала мне под зад, а Каро, перестав жевать, с застывшим лицом повернулся ко мне. Тетушка Ашхен — ну, она любительница похохотать! — прыснула со смеху и выскочила за дверь.

— Ничего, матушка Нуно,— попытался Каро смягчить мою выходку,— ребенок еще. Взрослые сказали, а она услышала...

— Вай, чтоб свет помутился в моих глазах, Каро джан, почему это мы должны сказать что-либо подобное? — начала оправдываться бабушка.— Эта дурочка просто с ума сошла...

— И вовсе не сошла! — перебила я ее.— Это моя мама сказала!

Каро совсем помрачнел и, тяжело поднявшись, ушел.

А вечером у нас в доме произошел интересный разговор.

Асмик и Аник давно уже спали, я тоже лежала в постели, но спать мне не хотелось. Я думала об отце. Был бы жив мой отец, он принес бы мне много конфет, и я вернула бы Каро все, что получила от него. Я уже принялась подсчитывать полученные от Каро конфетки, как вдруг слышу, бабушка говорит:

— И зачем это ты, Сато джан, говоришь ребенку такие вещи? Нехорошо, дочка, об этом детям совсем не надо знать.

— Оставь, мама, не разрывай ты мне сердце,— простонала мать.—Я ничего не хочу скрывать от своей дочери.

— И напрасно. Кто знает, быть может, это твоя судьба? Никто силой тебя не принуждает, ну, а вреда от этого тоже не будет. Человек еще в жизнь не вошел, один-одинешенек. Да и чем он хуже других?

— Хуже он или лучше других, не знаю,— заговорила тетушка Ашхен,— но мне он тоже не нравится. Куда ему до зятя Арама! А не вошедший в жизнь мужчина подобен мулу. Кто знает, по какой причине не удалось ему войти в жизнь...

— Ашхен джан, если уж он тебе не по душе, то что же должно говорить мое сердце? — грустно сказала мать.— И что за блажь пришла в голову этому Каро брать в жены вдову с двумя детьми...

— Ну, как можно так говорить! — снова вступает в разговор бабушка.— Не виноват же этот бедняга, что столько лет холост. А дети не помеха. Если это дело сладится, я Арцвик не отдам, у себя оставлю. Дом у Каро — полная чаша. А почему он в жизнь не вошел, ты знаешь, Сато джан,— из-за тебя же.

Я слышу всхлипывания матери. Она говорит сквозь слезы:

— Вот возьму своих двух сироток и уйду. По дворам пойду, нищенкой стану, а детей своих Каро не отдам!

— Глупости говоришь,— слышится рассерженный голос дяди.— Никто тебя из этого дома не гонит. Раз тебе не по душе этот проклятый Каро, нечего об этом и говорить. Хватит!

Больше никто не говорит. Я же, накрывшись с головой одеялом, думаю о Каро. Почему это он не вошел в жизнь? Как это можно жить на свете — и не войти в жизнь? Если он не вошел в жизнь, значит, он не живет?

Я долго думала, но так ни до чего и не додумалась. Надо было спросить бабушку.

И однажды, когда у нас дома уже в присутствии дядюшки

Авета опять заговорили о Каро, я набралась смелости и сказала:

— Не понимаю: куда вошел этот Каро, если в жизнь он так и не вошел?

Все фыркнули. Смущенная этим, я хотела выбежать, но дядюшка Авет схватил меня.

— Говоришь, куда он вошел? — смеясь, старался он заглянуть мне в лицо.— Э, Арцив джан, для Каро много есть мест...

— Ну, тогда что ему нужно от моей матери? Мама не возьмет его. Я и Артик тоже не возьмем. И хватит об этом!

Я не поняла, почему мой дядя, схватившись за живот, так и покатился со смеху.

ЗИМА

Стоят самые сильные холода. Днем и ночью воет метель, и, просыпаясь утром, мы видим, что все дома нашего села, которые и без того вросли в землю, занесены снегом до самых крыш. Только дымки, струящиеся из открытых ертыков, напоминают о том, что под снежными сугробами лежит село и что там живут люди. Зима так крепко заморозила нашу реку, что каждое утро мужчины, взяв в руки лом или кирку, идут пробивать лед, чтобы достать воды для питья. Скотину уже нельзя поить в реке, и мы поим ее снеговой водой. Для этого в каждом хлеве есть огромный каменный водоем, куда можно набрать сорок — пятьдесят ведер воды. Над ним устанавливается сетка из ивовых прутьев, на нее через ертык сбрасывают снег. От теплого воздуха в хлеве снег постепенно тает, и водоем наполняется водой.

Бывает, что и людям приходится брать из него воду для питья. Но беда наша не только в этом. У многих и скотины-то одна или две козы да баран. С такой скотиной много ли заготовишь топлива? Лесов у нас нет, все отапливают домá кизяком.

В эту зиму и с кормами плохо, не хватает ни сена, ни даже соломы. И если мы, подтянув животы, еще перебиваемся кое-как, то бедная телка и козочка совсем пропадают с голоду.

— Не зима, а светопреставление какое-то,— говорят наши сельчане.— Если так и дальше пойдет, не выдержит ни человек, ни скотина.

Говорят — и все-таки выдерживают. А зима, как назло, становится еще более лютой, свистит и воет, ужасом наполняет мир. Зима стала страшной не только для нас, но и для диких голубей.

Они большими стаями живут в Монастырском ущелье и под сводами церквей старого монастыря. С ранней весны и до глубокой осени там слышится радостное и ласковое воркованье голубей. Они кладут яйца, высиживают птенцов, затем учат их летать и живут себе весело, беззаботно. Наши сельчане считают голубей собственностью святого Геворга и не трогают их, да и нет у них никакой нужды охотиться за дикими голубями: все у нас в селе

держат домашних голубей, а эти домашние — те же дикие, только давно прирученные к дому.

И вот эти наши дикие соседи, после того как все лето и осень жили себе припеваючи, сейчас тоже не знают, где и чем питаться. Зима лишила их пищи, они не могут добыть ее.

Дикие голуби решили по-соседски воспользоваться гостеприимством своих сородичей. Каждое утро мы видим, как десять — пятнадцать крылатых обитателей Монастырского ущелья собираются возле ертыка нашего хлева. Если на ночь ертык почему-либо остается открытым, они запросто залетают в хлев. Но они не обижают домашних голубей, спящих в своих гнездах, а скромно усаживаются где-нибудь рядом на свободный шест. И как только бабушка входит в хлев с зерном в подоле, как только раздается ее «джу-джу», они раньше кур и домашних голубей слетаются к ней и мигом расклевывают ячмень. Наевшись, они взлетают под самую крышу, воркуя бабушке благодарность за угощение, делают круга два и улетают в ертык, чтобы на следующий день повторить то же самое.

А волки и лисы так обнаглели, что даже днем забегают в село и хватают какого-нибудь пса-ротозея или болтуна петуха. У Зорбы-Зардар четыре гуся уже отправились на тот свет, и она, засучив рукава, обеими руками посылает проклятия лисам, потерявшим всякую совесть.

Дядюшка Авет посмеивается:

— Лиса знает вкус — пока старостиными гусями лакомится, потом доберется и до гусей матушки Нуно!

— Ты раскрывай рот с молитвой, Авет,— испуганно говорит бабушка.— Тьфу, тьфу, не сглазить бы, моих-то лиса еще не трогала.

— Куда уж четвероногой лисе! Двуногая лопает твоих кур,— смеется дядюшка Авет, намекая на Каро.

— Ладно, не начинай,— хмурится бабушка,— столько уж наговорил, что бедняга и не появляется больше в наших краях.— Затем, что-то вспомнив, она уходит и, взяв горсть зерна, начинает созывать своих кур и считать.

Моя бабушка очень интересно считает. Она стоит посредине двора, окруженная клохчущими курами и гогочущими гусями и, бросая им зерно, шепчет: «Пара, еще пара, еще...» Если счет кончается парой, значит, все целы, а если последней пары не получится, значит, не хватает какой-то курицы или гуся.

— Твой счет, матушка Нуно, лисе очень на руку,— подсмеивается над ней дядюшка Авет.— Узнает она, что ты считаешь парами, и тоже начнет таскать по паре, чтобы тебя не расстраивать.

Но подсчеты не помогли бабушке, лиса все-таки утащила трех наших кур. Потом она утащила петуха у мастеровой жены Шушан. Одним словом, у нас на селе нет двора, где не побывали бы лисицы и волки.

А однажды утром мы услышали, что ночью у огородника Никола волки хотели через ертык утащить из хлева бедного растерявшегося ослика. Как видно, ослик начал сопротивляться, шуметь: не хочу, дескать, вылезать в крышу, я в двери хочу... Дядя Никол проснулся, выстрелил из ружья и положил конец спору ослика с волками.

Теперь все в нашем селе, у кого есть берданки, носят их на плече. А у кого нет, приводят на ночь свою скотину к обладателям берданок и по очереди сторожат хлевы.

— Берданка ничего,— рассуждает дядюшка Авет,— годится для четвероногих. А вот для двуногих волков нет ничего лучше, как братец Мосин [1].

Я никак не могу понять, кто это «братец Мосин». Никогда я не видела его. Может быть, он вроде Палича дяди Ивана — всюду бродит с ним рядом, а никогда его не увидишь?

— Гм... спрашиваешь, кто такой братец Мосин? — улыбается дядюшка Авет.— Придет время — увидишь, какой это богатырь.

— А где я его увижу?

— Это уж не твоя забота, он сам себя покажет. Потерпи — увидишь.

Дядя с укором смотрит на дядюшку Авета, а тот вдруг спрашивает его:

— Ну как, хороши барашки Ивана?

— Не знаю,— отвечает дядя с безразличным видом,— еще не рассмотрел их как следует.

Я в полном недоумении: насколько я знаю, никаких барашков у дяди Ивана и тетушки Майи нет.

Такая уж у меня, прямо скажем, дурная привычка. Стоит кому-нибудь заговорить о чем-либо загадочном и таинственном, как у меня, по словам бабушки, начинается зуд во всем теле, и я не успокоюсь, пока не выясню все.

И я снова думаю о «братце Мосине». Он представляется мне бравым молодцом верхом на коне, с ружьем за плечами и такими же блестящими штучками на плечах, как у офицера из дома Артуш-аги.

Разве плохо иметь такого отца? И потом, как говорит дядюшка Авет, «братец Мосин» расправится со всеми насильниками.

Одним словом, этот «братец Мосин» представляется мне красивым и справедливым богатырем из сказки.

...Ну, а теперь можете поздравить меня — я видела «братца Мосина»!

Случилось это так. Как-то вечером, проходя двором, я увидела, что из нашей кладовки в дверные щели пробивается свет. Чего греха таить, немного струхнула. Кто же это забрался к нам ночью? В былое время, когда еще жива была наша Цахик, ба-

---

[1] Мосин — выдающийся русский оружейник, конструктор трехлинейной винтовки образца 1891 года. Его именем и называлась в Армении эта винтовка.

бушка обычно разливала молоко в этой кладовке. И не только молоко нашей Цахик. У нас в селе был такой обычай: три-четыре хозяйки, имеющие по одной корове, в летнее время дают друг другу молоко своих коров, а потом получают отданное обратно. Скажем, две недели жена Авета получает молоко от трех других соседок и приготовляет из него масло и сыр. Потом она начинает возвращать долг сначала одной, затем по очереди всем остальным хозяйкам. Так эти хозяйки, получая некоторое время молоко от трех-четырех коров, делают запасы масла и сыра на весь год. Молоко меряют кенчем. А кенч — это всего-навсего прутик, который хранится у принимающей молоко. Когда соседка приносит в ведре молоко, принимающая меряет его кенчем и делает на нем отметку. Каждая из хозяек знает свой кенч и по отметкам на нем может видеть, сколько молока сдала она и сколько должна получить обратно. Очень правильный счет...

Для нас наступал настоящий праздник, когда бабушка принимала молоко от соседок. Две-три недели мы просто объедались мацуном и творогом. Бабушка заквашивала молоко в больших глиняных горшках, но бо́льшую его часть разливала в кладовке по деревянным корытам. Потом она снимала сливки в маслобойку и сбивала масло, а из простокваши делала сыр.

После того как Каро сбросил нашу Цахик в ущелье, мы лишились всех этих благ, и наша кладовушка превратилась в склад ненужных вещей.

Вот почему я очень удивилась, увидев в этой кладовушке свет, да еще зимой, поздним вечером.

«Наверно, черти справляют там свадьбу»,— подумала я, замирая на месте. Я хотела убежать, но вспомнила, что бежать нельзя — черти погонятся за тобой и насильно притащат на свою свадьбу. А у них уж такая привычка: затащив к себе человека, они заставляют его плясать, пока он не испустит дух...

Чтобы не попасться им в руки, надо притвориться, что ты их не замечаешь.

«Черт двурогий, чтобы у тебя отсохли руки и ноги»,— шепчу я и, таким образом подбадривая себя, подхожу ближе и заглядываю в дверную щель.

И что же, вы думаете, я увидела?.. Среди всякого хлама и ненужных вещей на полу разостлана старая циновка, и на ней лежат ружья. Дядя и мельник Иван, присев на корточки, поворачивают, рассматривают их, потом начинают считать патроны. А дядюшка Авет, усевшись на бочонке, старательно чистит одно ружье. Вдруг он поднимает его, направляет дуло в дверь и целит мне прямо в лоб. Я немею от ужаса, не могу даже крикнуть. Хорошо, что дядюшка Авет не выстрелил! Опустив ружье, он кладет его рядом с другим и говорит:

— Лежи, братец Мосин, отдыхай, пока не настал твой час.

— Настанет,— раздается уверенный голос дяди Ивана,— непременно настанет.

— Пока на луга падет роса, у лягушки глаза из орбит выскочат,— невесело говорит мой дядя.

— Да,— вздыхает и дядюшка Авет.— Сердце горит, не терпится поскорее начать. Иногда думаешь: взять бы на помощь вот этого братца Мосина, пойти и перевернуть кое-кому печенки! Плевать, что потом угодишь за решетку.

— Ты бунтарь, Авет,— говорит дядя Иван.— Это не годится. Один в поле не воин.

— Верно, и наш унтер так говорил,— соглашается дядюшка Авет.

Они бережно заворачивают ружья в циновку, прячут их под грудой разного хлама и тушат свет.

Я тихонько отхожу от двери, вхожу в дом и, забравшись в постель, натягиваю одеяло под самый подбородок. Только сейчас я чувствую, что совсем закоченела от стужи.

— Э, непоседа, где тебя нечистые носят ночью? — ворчит бабушка, ощупывая меня.— Руки и ноги как лед.

А я гляжу на дверь и с бьющимся сердцем жду: вот сейчас они все трое войдут и я сразу же объявлю им, что знаю, кто такой «братец Мосин»... Ждала, ждала и была очень огорчена, когда вошел один только дядя. Я постеснялась сказать ему, что знаю их тайну.

Но в эту ночь «братец Мосин» долго не давал мне заснуть. Почему эти ружья-мосинки прячут в кладовке? Почему дядюшка Авет — бунтарь, когда его имя Авет? [1] И почему роса должна выесть очи, прежде чем настанет час «братца Мосина»?

Оказывается, сколько еще мне нужно узнать на свете! И ни у кого за меня не болит сердце, никому нет дела до того, что я еще многого не знаю, не понимаю.

«ТРОН НИКОЛА»

Ода [2] в нашем хлеве очень маленькая. Она так мала, что, когда туда перебирается зимой наша семья, у нас уже не остается места принять гостей. И потому дядюшка Авет, Арутик-солдат, огородник Никол, Сако и мой дядя собираются по вечерам в оде мастера Давида. Там у них идут разговоры до поздней ночи.

Ода у мастера Давида большая и теплая. У них две коровы, пара волов, несколько телят и полтора осла. За половину осла я считаю их ослика, потому что он еще очень мал и даже ездить на нем нельзя.

При таком количестве животных в оде мастера Давида всегда сохраняется приятное тепло. А в нашем хлеве после гибели Цахик остались только ее телочка да три козы.

Нет у нас ни быка, ни даже осла. А кизяка у нас не так

---

[1] А в е т — приносящий благую весть.

[2] О д а — помещение для жилья в зимнее время, устраиваемое в хлеве.

много, чтобы поддерживать огонь в очаге. Для того чтобы согреться, мы все вместе садимся на каменную тахту у стены, которую у нас называют «саку». Садимся и укрываем ноги ковриком или вермаком[1]. Телочка Цахик тоже приходит к нам и укладывается посередине оды, а козы забираются на саку передними ногами и усердно жуют свою жвачку. Удивительно хитрые эти козы. Они как будто жуют жвачку, но уголком глаз следят за бабушкой. И как только бабушка шевельнется, сейчас же проглатывают свою жвачку и, задрав бородки, начинают резвиться.

— Убирайтесь, блохатые! — начинает сердиться бабушка и, взяв веник, хочет ударить их. Но козы умильно трутся головами об ее подол, лицемерно лижут ей руки.

Я и Асмик упрашиваем бабушку не трогать коз.

— Да ведь блохатые они, блохи и на вас перейдут. Не хватает еще, чтобы скотина ложилась рядом с людьми,— ворчит бабушка, но все же сдается.

В зимние вечера приходит к нам вдоваЕрикназ со своими детишками, жена дядюшки Авета Маран, и наша ода наполняется женщинами, детьми и козами.

Когда у бабушки хорошее настроение, она поджаривает конский щавель на конопляном масле, кладет по одной ложке его на ломтики ячменного хлеба и раздает нам.

— Да умножит господь добро твоего дома, матушка Нуно,— говорит Ерикназ, стыдливо принимая протянутый ей ломтик.

А мы мигом проглатываем свои и начинаем приставать к бабушке:

— Бабушка, бабуся, расскажи нам сказку!

Наша бабушка не любит, чтобы ее долго упрашивали. В зимние вечера она охотно рассказывает сказки. И столько она их знает — каждый вечер рассказывает по две, по три и ни одну не кончит, в следующий вечер будет досказывать. Самые любимые наши сказки она рассказывает нам через день.

— Бабушка, расскажи про птичку Изумруд,— просит Аник.

— Нет, пусть расскажет про Абузейта! — настаивает Асмик.

А я больше всего люблю сказку про Арекназан. Бабушка столько раз рассказывала эту сказку, что я уже знаю ее наизусть, но мне хочется, чтобы она снова и снова рассказывала, и, когда она начинает ее, мне кажется, что Арекназан — это я.

— А ты — Заназан,— как-то сказала я Асмик.

— Да, здрасте,— сейчас же заспорила она,— это ты Заназан, ты старше меня.

— А я-а... я кто? — запищала Аник. Ну, ей всегда хочется ни в чем не отставать от нас, старших.

— Ты Зарманазан,— решила я.

— Я Алекназан,— вдруг объявил Гарик, пятилетний сын дядюшки Авета.

---

[1] Вермак — стеганое одеяло.

— Вай, Гарик — Арекназан! — засмеялись мы.— Гарик, ведь Арекназан — девочка. Ты тоже хочешь стать девочкой?

Гарик хитро прищурил глаз, как это делал его отец, улыбнулся:

— Дулака насли, смеются... Алекназан сначала была девочкой, потом стала мальчиком.

— Хоть ты и мальчик, а картавый,— чтобы разозлить его, сказала Аник, которая всегда гордилась тем, что она одного возраста с Гариком, а говорит лучше его.

— Когда выласту, отец купит мне длугой язык,— не полез Гарик за словом в карман.

— А твой язычок отдадим Топлан,— засмеялась Асмик.

Гарик разозлился и стукнул ее кулаком. Мы опять зашумели.

— Ну, раз подняли галдеж, не стану рассказывать сказок,— рассердилась бабушка и отвернулась от нас.

Мы приуныли. Гарик потянул меня за рукав и, тычась мне в ухо своим мокрым носиком, зашептал:

— Пусть сама бабуска будет Алекназан, скажи, пусть ласскажет сказку.

— Ну ладно уж, расскажу,— смягчается бабушка.

...В светильнике больше не остается масла, фитиль коптит.

Наша самая маленькая козочка и Гарик, прильнув друг к другу мордочками, спят возле Маран, тетушка Ашхен латает дядины шаровары и слушает бабушку, а та все рассказывает и рассказывает. У меня слипаются глаза, я мочу их слюной, стараюсь раскрыть пошире, но они все чаще закрываются, меня клонит ко сну.

— С неба упало три яблока,— повышает голос бабушка, и я просыпаюсь.— Одно — рассказчику сказки... Нет, не хочу, зубов у меня нет,— перебивает она себя и продолжает: — Одно тому, кто не заснул, а два — козам.

— Ябоко хочу,— вдруг просыпается Гарик и садится у матери на коленях.— Бабуска, где ябоко?..

— Спи, спи, яблоко утром будет,— уговаривает его Маран.

В эту минуту входят дядюшка Авет, мой дядя, Иван Палич, Арутик-солдат, а за ними еще стоит Сако. Все они с головы до ног в снегу.

— Ашхен,— говорит дядя,— возьми веник, почисть обувь мужчинам.

Я, опережая тетушку, кидаюсь в угол и хватаю веник, изгрызенный козами. Конечно, я не буду чистить ноги Сако, потому что он еще парень, а не мужчина. Да он, как видно, и сам это понимает, отходит в сторону и начинает топать ногами.

— Сперва дядюшке Авету,— кивает мне дядя.

— У меня одна нога, я как-нибудь обойдусь,— смеется Авет.— Труднее тем, у кого их две.

— Э, без шуток и тут не можешь,— ворчит Маран. Ей не нравится, когда дядюшка Авет смеется, говоря о своей отсутствую-

щей ноге.— Сам над собой смеешься, да и других заставляешь чесать языки,— грустно добавляет она.

— Чего это ты ворчишь, дочь Авака, разве я не прав? Одна нога и две ноги — разница! Вот моя невестушка Ашхен вяжет для мужа два носка, а ты мне вяжешь один. Гляди, сейчас у Агабека замерзли обе ноги, а у меня только одна. Бедному человеку все идет впрок, не так ли, женушка?

— Ну, хватит тебе, Авет, болтать,— останавливает его бабушка и приглашает ночных гостей: — Садитесь, я нажарила щавеля с луком, покушайте с моим Агабеком.

— Нам сейчас не до еды,— весело говорит дядюшка Авет, подпрыгивая к каменной тахте.

Сако, известное дело, всегда волочится за ним, как хвост. Оба они садятся рядом и лукаво посмеиваются. Как видно, они знают что-то интересное, но не хотят сразу выкладывать новость.

— Сако, Сако джан,— подлизываюсь я,— скажи, что случилось?

— Спрашивай у дядюшки Авета,— отвечает он, тряхнув своим чубом.

— Ты чего это расселся? — обращается к мужу Маран.— Бери ребенка, пойдем домой. Уж полночь...

— Да сиди, женушка. Куда мы пойдем, зачем? Лучшего места, чем здесь, нам не найти. Эх, знала бы ты, что творится на белом свете...

Дядюшка Авет очень весел, и это удивляет всех нас. Бабушка с беспокойством смотрит на мужчин, то на одного, то на другого, а те лукаво посмеиваются.

— Агабек джан,— не вытерпев, спрашивает она,— что у вас там случилось?

— Что должно было случиться, то и случилось,— смеется дядюшка Авет.— Царя... фьюить! — присвистывает он.

— Фьюить! — повторяет Сако и тоже смеется.

— Что? — не понимает бабушка.

— Царя скинули с трона,— коротко отвечает ей дядя и тоже садится.

— Вай, чтоб мне ослепнуть! — испуганно ударяет себя по коленям бабушка.

А Ерикназ вдруг начинает плакать и причитать:

— Горе моей беззащитной головушке! Что станет с моими сиротками?

Дядюшка Авет становится вдруг серьезным.

— Сестрица Ерикназ,— говорит он,— пораскинь мозгами. Ведь это счастье для твоих детишек.

— Дядя,— любопытствую я,— а какого царя скинули с трона, Никола, да?

— Да помолчи ты! — сердится дядя.

— Что, толком сказать нельзя, Агабек джан? — хмурится ба-

бушка, и мне непонятно, чем она недовольна: тем ли, что царя скинули с трона, или что дядя прикрикнул на меня.

— Я сам ничего толком не знаю. Приехал из города хозяйский Каро, говорит, что царя скинули с трона. А почему — он тоже не знает...

Дядя поднимается с места и вместе с дядей Иваном выходит, а дядюшка Авет, подмигивая нам, принимается за жареный щавель. Мы, сонные, окружаем его.

— Радуйтесь, мелкокопытные,— смеется он,— ваш день настал...

— Если царя свалили с тахты [1], пусть он на земле поспит,— объявляет Аник.

— Ай, молодец,— хохочет дядюшка Авет,— хорошо сказала! Правда, трон — это не твоя каменная тахта, это... Но все равно, пусть на земле поспит!.. А еще лучше — под землей.

— Царь не может спать на земле,— возражает Асмик.— Разве в сказках царь когда-нибудь спал на полу?

— В сказках царя с трона не сбрасывали, а у нас сбросили,— возражаю я ей.— Если не понимаешь, не суйся.

В оде снова появляются дядя с Иваном. На плечах у них ружья, как видно из тех, что спрятаны были в кладовке.

— Вай, братец Мосин пришел! — радостно хлопаю я в ладоши.

Дядюшка Авет удивленно глядит на меня:

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, видела!.. У вас еще есть в кладовке... А дядя Иван говорил, что ты бунтарь!

— Замолчи! — грозит мне пальцем дядюшка Авет.— Везде суешь свой нос...

Сако растерянно смотрит то на меня, то на него, и я вижу, что он завидует мне.

— Там еще четыре штуки,— говорю я Сако, чтобы окончательно сразить его.

— Ты замолчишь или нет? — уже по-настоящему сердится дядюшка Авет.

— А почему ты говорил: «Лежи, братец Мосин, отдыхай, пока не настал твой час»?

— Агабек джан, зачем вы притащили ружья? — беспокоится бабушка.— Уж не караван ли грабить вы собрались?

— Ты что думаешь, свалить царя — это шутка? — отвечает ей дядя.— Все село переполошилось.

— Что же нам делать? — растерянно бормочет бабушка.— Дом полон детей...

— Ох, горе моей беззащитной головушке! — опять начинает стонать вдова Ерикназ.

---

[1] В простонародье так называли трон — «царская тахта».

— Да чего тебе горевать? — говорит ей брат, Арутик-солдат.— Не мир ведь разрушился, а всего только трон царя Никола...

— Мало нам было горя при царе! А без царя что будет? — продолжает причитать Ерикназ.

— Не бойся, Ерикназ, ничего тут страшного нет,— успокаивает ее мой дядя и оборачивается к бабушке: — Ну, вы спите, а мы пошли, дело есть.

Сако и Арутик-солдат тоже поднимаются, но когда встает и дядюшка Авет, Арутик вопросительно смотрит на моего дядю и снова садится.

— Арутик, ты чего это расселся, как жених? — обращается к нему дядюшка Авет.— Вставай, вставай, некогда рассиживаться.

— Авет, пусть ваши и наша Ерикназ останутся здесь. Матушка Нуно, что ты на это скажешь? — робко спрашивает Арутик-солдат.

— Лучше бы и тебе, Авет, остаться с детьми,— советует дядя.

Но удержать дядюшку Авета было невозможно. Он обиделся и, сердито стукнув своей деревянной ногой, вышел из оды.

Мужчины ушли, а мы еще долго не спали. Бабушка все о чем-то думала и вздыхала, вдова Ерикназ притихла, а Маран продолжала ворчать и ругать мужа:

— Хромой сатана, ночь-полночь, а он тоже потащился со всеми...

— А теперь и солдаты вернутся,— грустно проговорила моя мать и вздохнула.

— Почему это они должны вернуться? — возразила ей тетушка Ашхен.— Одного царя прогнали, другого на его место посадят. А этому другому разве не нужны солдаты?

— Интересно, какие же это люди сбросили царя с трона? — снова послышался голос моей матери.— Давно это надо было сделать.

— Болтаете невесть что,— сердито заговорила бабушка.— Откуда нам знать, кто его сбросил и почему сбросили? Сколько уж лет живу на свете, а и слыхом не слыхала, чтобы царей сбрасывали с трона. Нет, нехорошее это дело!

Долго еще они говорили, но глаза у меня слипались, и я так и не дозналась, почему царя Никола сбросили с трона.

ОГОРОДНИК НИКОЛ О ЦАРЕ НИКОЛЕ

Удивительные вещи творятся на свете. Где царь Никол — и где наше село? Кто знает, в каких краях он скатился с трона, а у нас переполошились все. О дядюшке Авете нечего и говорить. Он от радости, бодро постукивая деревянной ногой, целый день носится по селу и все твердит, что его унтер правильно говорил — царь Никол свалится с трона. Иван радуется не меньше его.

Поблескивая голубыми глазами, он похлопывает моего дядю по плечу и смеется:

— Ну, Агабек, царь кончился, пришел светлый день.

— Такой уж закон на земле,— смеется и дядюшка Авет.— Наш унтер говорил, что после пятницы наступает суббота, а после субботы — воскресенье, чтобы народ свободно вздохнул.

И мастер Давид соглашается с тем, что в конце концов настанет светлый день для народа, но он считает, что до наступления этого дня прольется еще немало крови.

— Ничего,— подбадривает дядюшка Авет,— проливали же кровь за царя, так теперь разве пожалеем пролить за себя? Наш унтер правильно говорил — выдержим!

И кого ни послушаешь, все говорят о царе и о крови, которую мы должны пролить. Наши сельчане в жизни не видели того, кто называется царем, а говорят о нем так, будто он такой же человек, как хозяйский Каро или староста Симон.

— Безжалостным человеком он был,— рассуждает его тезка, огородник Никол.— Он выматывал душу не только армянам, но и своим кровным сородичам. Сколько людей по его приказу сослали в Сибирь и сгноили там! Половина людей на земле стали арестантами, потому что не выдерживали люди притеснений и поднимались против царя. Вон посмотрите на нашего Ивана. Почему он покинул землю отцов и пришел сюда работать на мельнице прыгуна Артуша?.. От царя убежал Иван, от него. Злым был мой тезка царь.

— Да где это слыхано, чтобы у царей было мягкое сердце? — говорит Арутик-солдат.— Доброе царское сердце — что сладкий чеснок, поди-ка сыщи его!

А вдова Ерикназ начинает свое:

— Горе моей беззащитной головушке... Было бы у царя доброе сердце, разве остались бы мои детишки горемычными сиротами?

— И где только были у нас головы, что мы держали такого лютого человека? — вдруг удивляется огородник Никол.— Давно надо было свалить его с трона.

— Гм...— задумчиво ухмыляется дядюшка Авет.— Свалить царя с трона, Никол, это не то что выдернуть морковку в твоем огороде. Еще в пятом году хотели это сделать, да не вышло. Наш унтер рассказывал... Он говорил, что для этого нужно идти всем заодно. В единстве народа — сила. Вот, к примеру, целина. Вспахать ее не бог весть какое трудное дело, а что сделаешь одной деревянной сохой? Другое дело — плуг да штук двадцать волов. Тогда перевернешь тысячелетние камни. Так и с троном царя.

Но мою бабушку и мастерову жену Шушан интересует другое.

— А богатство-то царское, богатство? Кому же оно теперь достанется? — спрашивают они.

— Тем, кто работал, по́том да кровью все эти богатства добывал,— отвечает им дядюшка Авет.

— А кто же работал? — спрашиваю я его.

— Я, ты, весь народ...

Ну, я для царя Никола даже одной рыбешки не поймала, дядюшка Авет тоже не из того теста, чтобы проливать за царя пот и кровь, а вот насчет народа я ничего не могу сказать — не знаю.

— Иван, царь из людей вашего народа,— наверно, ты его видел. Скажи — он очень богат? — опять интересуется бабушка.

— Да уж богат был, богат,— весело говорит Иван.— Земли у него — отсюда и до самого ее края, до Камчатки, и еще того дальше, людей — не счесть, горы золота, моря, океаны...

— В горнице у Артуш-аги,— не вытерпев, заявляет жена Арутика-солдата Егнар,— висит портрет царя. Я видела. Вся грудь у него и плечи в золоте. И сабля золотая, и сапоги... Февронья-ханум говорит, что у царя тысяча стад баранов, семь морей и семь суш. Он, говорит, хозяин всего Петропола [1].

Но самый большой интерес вызывают слова Арутика-солдата, который вдруг заявляет, что своими глазами видел царя Никола.

— Может быть, ты видел его во сне? — смеется над ним огородник Никол.

— Нет, почему во сне? В Тифлисе,— серьезно отвечает ему Арутик-солдат и начинает рассказывать: — Там стоял наш полк. Помню, как сейчас: повели нас в баню, побрили, переодели, потом с музыкой вывели на площадь и построили перед дворцом графа Воронцова. Народу собралось со всего города — видимо-невидимо. Все поют «Боша царя». Вдруг на балконе раскрываются двери и выходит царь. Ну, мы все разом: «Ура, ура!», «Боша царя». А царь стоит на балконе и горстями кидает оттуда серебряные пятачки...

— И вы их собирали, дядя Арут? — спрашиваю я.

— Нет, такого приказа не было. Нашим делом было стоять прямо, как палка, и орать «ура» и «Боша царя».

— А этот Боша кем был у царя?

— Боша? Ну, как тебе объяснить...— задумывается Арутик.— Боша — это боша, а царь — это царь...

— Значит, его имя и Никол и Боша?

— Э, дитя еще...— машет рукой Арутик-солдат.

— Не обижайся, Арутик джан, а кто же она, конечно еще дитя,— говорит бабушка, с интересом слушавшая его рассказ.— Откуда ей знать, что человек, имеющий корону и скипетр, может иметь по два и по три имени? Вот взять хотя бы нашего батюшку Саака,— оборачивается она ко мне и начинает рассуждать с видом человека, знающего все на свете.— Когда он еще не был свя-

[1] Петропол — Петроград.

щенником, его звали Хшто Хосров. И потому так звали, что был он тощ и костист, как летний заяц; идет, бывало, кости стучат, и кажется — вот-вот он рассыплется. А когда помазали его в священники, надели на голову скуфью и в руки дали посох, стали звать его «отец Саак», и от прежнего тощего зайца Хосрова ничего не осталось. Разжирел он теперь, как монастырский бугай... Так и царь. Может быть, когда он был молодым парнем, его звали Боша, а стал божьим помазанником, и имя ему дали Никол.

«Боша»! Так у нас звали цыган-попрошаек. Но ведь не может быть, чтобы царя звали попрошайкой? Поэтому я не согласилась с бабушкой. Из сказок, рассказанных ею самой, я знала, что все цари, еще до того как стать царями, были царскими сыновьями и очень богатыми. Значит, царь Никол никак не мог быть боша-попрошайкой.

Я спросила об этом дядюшку Авета. Тот немного подумал, потом, по привычке прищурив глаз, ответил:

— Ты немного напутала, Арцив джан. Царь Никол родился Николом, Николом и должен сдохнуть...

Тут бабушка не выдержала и строго заметила ему, что так говорить о божьем помазаннике нельзя. Но дядюшка Авет настаивал, что это как раз такой помазанник, которому лучше всего сдохнуть, затем продолжал прерванный разговор со мной:

— Наш Арутик неверно сказал. Никакого такого имени «Боша» у царя нет. Есть такая песня — «Боже, царя храни», молитва, вроде «Отче наш». Этой молитвой просят бога сохранить царя...

— А почему тогда бог не сохранил его? — на этот раз уже прицепилась я к богу.

— Гм...— усмехнулся дядюшка Авет,— попробуй сохрани, ежели весь народ против. Захочет народ — он и царя небесного спустит с трона.

Бабушка и Маран сейчас же накинулись на него.

— Нехристь, безбожник! — ругается Маран, бросая мужу проклятия всей пятерней.— Ведь душу свою отдаешь на мучения дьяволу, как предатель Васак!

— Послушай, Авет, ни татарин, ни турок не скажут таких безбожных слов,— с обидой выговаривает ему бабушка.— Пусть в ад провалится твой царь! Что тебе от бога надо?

А дядюшка Авет продолжает смеяться и говорит, что наступает время освобождения мира и вполне можно обойтись без царей — земных и небесных.

— Кроме шуток, Авет,— становится вдруг серьезным Арутик-солдат,— а что же дальше-то будет в конце концов?

— Дальше что? — задумывается Авет.

— Я говорю: как без царя-то жить будем? Над миром должен быть царь, иначе народы поднимутся друг на друга, польется кровь.

— А при царе она не лилась? — спрашивает дядюшка Авет и отвечает Арутику: — Кто виноват, что я лишился ноги? Царь Никол. По чьей вине ты стал калекой? По вине царя Никола. А кто отнял у нас такого парня, как Арам?.. Вот и выходит, что тот, кого ты называешь царем, был самый большой кровопийца. Царь народу не нужен, он без царя обойдется. Но дело-то ведь не только в царе и его ярме. Царя свалили, а кровососы-богачи остались. Вот для того чтобы освободиться и от этого ярма, придется еще народу пролить немало крови.

Я слушаю дядюшку Авета и думаю: кто же у нас — народ? Часто дядюшка Авет рассуждает: «Уж такой мы народ...» Или наши говорят: «В доме Артуш-аги такой народ...» Теперь, по словам дядюшки Авета, выходит, что я, бабушка, дочери Артуш-аги и их мать Февронья-ханум должны проливать кровь. За кого, за что? Не могу понять. Я знаю только то, что проливать кровь не очень-то приятное дело. Раз я поранила ногу, и у меня так полилась кровь, что я чуть не умерла. И кто знает, если бы дядя Иван не подарил мне башмаки, быть может, и я, как нашей светлой памяти Цахик, была бы уже мертвой.

Ну, за хорошие башмаки я готова и еще раз пролить свою кровь. У бабушки тоже нет башмаков,— наверно, и она согласится. А вот у барышень из дома Артуш-аги и у Февроньи-ханум столько всяких башмаков, что они могут надевать их и на руки,— значит, какая им нужда проливать свою кровь?

Вот и пойми, о каком народе идет речь. Но не беспокойтесь, не такая уж я разиня, чтоб не дознаться. Помните Палича Ивана, или что значит, «Каро не вошел в жизнь», или «братца Мосина»... узнала? Значит, и это узнаю.

И так все мы в нашем селе, начиная от меня и кончая старостой Симоном, говорим о царе Николе, то есть не то что говорим, а ругаем его. Когда ругаем его мы с дядюшкой Аветом, это еще понятно: из-за этого злодея царя мой отец был убит, а дядюшка Авет лишился ноги. Но почему староста Симон так ругает скатившегося с трона царя? В первые недели после того, как свалили царя, староста Симон присмирел, ходил с опущенной головой, и это мне было очень по душе. А сейчас он снова задрал нос и всюду разъезжает с оружием, верхом на коне. Надевает суконный архалук, подпоясывается серебряным поясом, засовывает за него огромный ржавый пистолет и скачет, скачет по целым дням.

— Провалиться б ему, так заносится, будто это он перевернул трон Никола,— ворчит моя бабушка.— Не поймешь, что это и творится на свете: собака надела рубашку, кошка — штаны.

Шаген, старший сын старосты, тоже разъезжает на коне, разодетый как жених. А Каро, который всегда как хвост тащится за ними, и на этот раз старается не отстать от них. Он и Шаген все время куда-то ездят, и не понять, чем они заняты. Иногда Каро появляется и у нас, конечно верхом на коне.

— Посмотрите-ка на его рожу,— издевается тетушка Ашхен,— можно подумать, что вместо царя его посадят на трон.

А Каро начинает рассуждать о таких вещах, что даже я ничего не могу понять.

— Мы получим право самостоятельности,— говорит он.— Да, получим и создадим независимую Айастан[1]. Русское владычество нам ни к чему. Пусть русские уберутся отсюда, и тогда мы создадим для себя райскую страну. Только бы получить в свои руки право самостоятельности...

Я не понимаю, что такое «независимая Айастан», а дядюшка Авет возмущается. Однажды он крепко одернул Каро.

Как-то заехал тот снова к нам и, рассуждая о своей «независимой Айастан», начал ругать русских неприличными словами. Дядюшка Авет слушал его, слушал и вдруг, схватившись за костыль, вскочил с места.

— Ты брось по-собачьи лаять на русских, а то знаешь!..— крикнул он и погрозил пальцем Каро.— Мы не для того сбросили царя с трона, чтобы такие лисы, как ты, виляли хвостом. «Независимая Айастан»!.. Да если я лягу, мои ноги окажутся у турок в плену — вот она, твоя Айастан. Армяне — горсточка людей, и эта горсточка людей в полной безопасности благодаря русским. А ты собираешься гнать их отсюда? Случись такое дело, посмотрел бы я, сколько дней продержалась бы твоя независимка. Почему это русские должны уйти из Армении? Они всегда были в дружбе с нашим народом, в дружбе и останутся. Войне надо положить конец, войне, господин Карапет! Ты скажи тем, кто обещает тебе право независимости, что если они уж так беспокоятся о нас, то пусть прежде всего кончают с войной. А все остальное — наша забота. Мы знаем, что делать.

— Да, в этом-то все и дело,— согласился Никол.— Война разрушила наши очаги. Авет верно говорит. Если война будет продолжаться, не выдержим, все мы погибнем. Да к тому же без помощи русских какая уж может быть у нас независимость?

— Выдержим, очень даже выдержим! — выставив острую, лисью морду, не сдавался Каро.— Авет говорит: Армения — маленькая страна. Пусть это так, но мы должны воевать и с турком и с русским, должны отнять наши исконные земли и создать независимую Айастан. Вы, темные, неграмотные люди, ничего в этом не смыслите. О Европе вы и слыхать не слыхали. А Европа поможет нам завоевать независимость...

— Эту сказку ты пойди своей бабушке рассказывай,— отвернулся от него Авет.— Твоя Европа даст тебе ровно столько, сколько давал царь Никол. Собака — от собаки, обе из одного логова. Нам нужна братская дружба с русским народом, этой дружбой мы и добудем себе свободу, и ничем другим...

---

[1] Айастан — Армения.

— Ты предатель, Авет! — крикнул Каро.— Таких предателей нации, как ты, нужно жечь огнем, чтобы они образумились!

— Я уже побывал в огне, теперь очередь за тобой,— презрительно усмехнулся Авет.— Иди и воюй со своей Европой, а я потом посмотрю, как ты будешь прыгать за Артуш-агой, когда останешься без ноги.

— Шпион, шпион, я давно знаю об этом,— прошипел Каро.

— В моем доме о моем соседе так не говори, Каро,— неожиданно резко оборвал его мой дядя.— Иди свисти о своей Европе в другом месте, а нам это ни к чему, верно сказал Авет.

Каро удивленно взглянул на него:

— Видно, и ты заодно с этим безногим смутьяном?

— Это мое дело, с кем мне быть заодно,— ответил ему дядя.— А твое дело плестись за старостой Симоном. Вон он куда-то поехал, спеши...

Каро, обидевшись, встал и вышел, а бабушка накинулась на дядю и Авета:

— Ну что вам за польза совать палку в собачью пасть? Ведь завтра же пойдете к нему, будете кланяться. Или, по-вашему, для всех уже настала масленица?

— Не пойдем! — в один голос ответили они и, взглянув друг на друга, захохотали.

— Этот человек с большими людьми садится за стол, ему лучше ведомо, что к чему.

— Черта с два ему ведомо,— смеялся дядя.— Подпевала зурнача так подпевалой и останется, не сделают же его приставом!

— А почем знать? — насмешливо возразил дядюшка Авет.— Для их «независимой Айастан» как раз такие приставы и нужны...

Но хотя наши домашние и высмеяли Каро, он продолжал повсюду рассуждать о своей Европе. И до того надоел сельчанам с этой Европой, что стоило ему показаться на народе, как все начинали смеяться:

— Каро-Европа пришел!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РУССКИЕ, АНГЛИЯ И «НЕЗАВИСИМАЯ АЙАСТАН»

Бабушка говорит, что мы вот уже год как живем без царя. В то время, когда царя свалили с трона, была вьюжная зима, и лисы, осмелев оттого, что на свете нет больше царя, бессовестно тащили наших кур и гусей. После того, по словам дядюшки Аве-

та, такие лисы, как хозяйский Каро, начали вилять хвостами, и бабушка тогда говорила, что все перепуталось на свете: собака надела рубашку, кошка — штаны. А сейчас у нас опять зима. Все лето мы только тем и занимались, что рассуждали о царе и о разных мирских делах. Бабушка первая догадалась, что вот-вот пойдет снег, подуют холодные ветры, и принялась замазывать щели в нашем совсем расхудившемся доме. Каро в этом году опять забрал почти весь наш хлеб. Остатки мы с дядей свезли на мельницу, и бабушка очень досадовала, все говорила, что и после того, как свалили царя, добра у нас больше не стало.

Но дядюшка Авет думает по-другому. Как только бабушка начинает кручиниться, что этот непутевый, то есть царь, нашел же время свалиться с трона и взбаламутить весь мир, дядюшка Авет говорит ей в такие минуты:

— Не стоит расстраиваться, матушка Нуно. Ты смотри на мир шире, теперь все реки земли по новому руслу текут. Наш русый брат так повернул дело, что только держись!

Русым братом дядюшка Авет называет русских. Когда речь заходит о русских, хозяйский Каро шипит как змея. Он все твердит, что русских надо прогнать с нашей земли,— дядю Ивана он просто видеть не может. И потому дядюшка Авет, назло ему, очень подружился с Иваном. Он, Иван и мой дядя все время о чем-то шепчутся,— меня и близко не подпускают к себе. На мельнице самые горячие дни, а Иван ни на шаг не отходит от наших. Не знаю уж, что и будет, только я вижу, что они тайком приносят и уносят эти «мосинки», как называют у нас русские ружья. Огородника Никола и мастера Давида они тоже перетянули на свою сторону, и у тех, кажется, тоже дома припрятано оружие.

— Все на русских лает, паршивая собака,— говорит дядюшка Авет о Каро и презрительно сплевывает.— Да разве мы допустим, чтобы такой парень, как Иван, ушел от нас? Нет, Иван джан, мы этой паршивой собаке отрубим хвост, а с тобой как были братьями, так и останемся.— Он на минуту задумывается, как бы о чем-то вспоминая, и продолжает: — Где-то наш унтер сейчас... Нам он так говорил: «Ребята, ежели мы в этой войне не умрем, то нам и смерти нет. А выживем — перевернем весь мир!»

Голубые глаза у дяди Ивана смеются.

— Большевик был твой унтер,— говорит он Авету.

— Может, и был, не знаю, но он еще тогда все это предсказывал...

Бабушка, такая же любопытная, как и я, спрашивает, что такое «большевик», но ей никто не отвечает, и она, обижаясь на то, что от нее что-то скрывают, пристает к дяде Ивану:

— Ну ладно, не хочешь говорить об этом, не говори. А вот что сказал Каро — верно? Верно, что русские должны уйти отсюда?

— Нет, никуда они не уйдут,— успокаивает ее дядя Иван.

— Это хорошо,— радуется бабушка,— привыкли мы к тебе, Иван джан. А те пусть что хотят, то и болтают, чтоб головы у них в головешки превратились в аду! Мы соседи, по-соседски и будем жить.

В это время огородник Никол, который побывал в городе и все рассказывает, что видел и слышал там, вдруг хлопает себя рукой по лбу и объявляет еще одну весть: если, дескать, русские уйдут, то придут англы и установят свою власть над Арменией.

И бабушка, едва успокоенная словами дяди Ивана, вновь приходит в замешательство.

— Чтоб вместо светлого и стройного руса пришли какие-то анкялы[1]? Да что мы, совсем беспомощные, что они захотели сесть нам на шею?..

— Англы тоже светловолосые,— объясняет Никол,— только язык у них другой, и вряд ли мы поймем друг друга.

— Они не говорят по-армянски? — сейчас же встреваю я в разговор, заинтересованная анкялами-англами.

— Где там, у них и не поймешь, что за язык,— говорит Никол.— А живут они на воде, водяная нация.

— Вроде наших гусей, да, дядя Никол?

— Да нет, что ты, какие гуси? — досадует он на меня.— Люди как люди, только страна их лежит на море, и от моря они живут. Поняла?

— Поняла,— киваю я головой,— значит, хорошо рыбу ловят.

— Вот это верно сказано,— улыбается дядюшка Авет.— Англы любят половить рыбку в мутной водичке, а сейчас для этого самое подходящее время — одна муть кругом.

«Что ж,— думаю я,— на лето офицер и городские барышни Артуш-аги снова приедут на дачу, и опять им захочется рыбки; тогда эти водяные англы будут здесь, пусть они и ловят для них рыбу, а мы с дядей освободимся от этой напасти».

— Все это так,— задумчиво говорит Никол,— а вот что это за штука такая — «независимая Айастан»?

— Поживем — увидим,— отвечает ему мастер Давид.

— Только теперь собираешься увидеть? — смеется дядюшка Авет.— Живете дверь в дверь и друг друга не знаете?.. По-детски рассуждаешь, браток.

— О чем это ты? Не понимаю,— недоуменно водит глазами мастер Давид.

— Ничего тут непонятного нет,— говорит дядюшка Авет и задумчиво смотрит на Ерикназ, которая стоит рядом с бабушкой и робко прислушивается к разговору мужчин.

Она еще очень молода и красива. У нее тонкие брови дугой, грустные большие глаза, а зубы как жемчуг — белые, ровные. Но вся красота ее тускнеет в жалких лохмотьях. На босых ногах

---

[1] Анкял — калека.

у Ерикназ деревянные сандалии, красивое лицо наполовину закрыто дырявым, залатанным в разных местах платком, видны только глаза — всегда печальные и полные страха. Цепляясь за подол, жмутся к матери двое малышей; они тоже в лохмотьях, жалкие, запуганные.

— Посмотри вот на эту горемычную головушку с ее детишками,— указывая на нее, говорит мастеру дядюшка Авет,— это и есть «независимая Айастан».

Ерикназ смущенно смотрит на Авета, а мастер — на Ерикназ.

— Ну что, узнал? — спрашивает Авет.— Другой Армении нет. Никол вон говорит, что придет Англия, а вы себя-то спросили — почему она и зачем придет?

— Чтобы рыбку поймать! — спешу я ответить.

— Да, конечно,— серьезно продолжает Авет,— отделившись от России, мы и в самом деле будем похожи на рыбешку, выброшенную на сушу, и нас легко будет поймать. «Независимая Айастан»! Очень нужно Англии создавать независимость для огородника Никола и вдовы Ерикназ. Эта болтовня нужна таким людям, как Симон и Каро, чтобы поднять нас против России. Ведь то, что происходит сейчас в России, грозит перевернуть весь мир. Вот они и болтают о «независимой Айастан». Независимой от России, но зависимой от Англии. А мы хотим оставаться в дружбе с братским русским народом и с его помощью создавать наше свободное государство — без царя и приставов, без богача Артуша и носача Симона. Вот какая Айастан нужна нашему народу. Для этого нам еще придется повоевать.

— И что ты за человек, Авет? — горячится Никол.— То ты против войны, то за войну — тебя не поймешь.

— Хорошенько подумаешь, Никол, так поймешь. Наша война и война Симона и Каро — не одно и то же... Для чего ты держишь у себя мосинку? Перепелок, что ли, стрелять?

— Почему перепелок? Время тревожное, пригодится.

— Так это ты и должен решать, для чего она пригодится, не будет же стрелять за тебя кто-то другой...

— Признаться, Авет,— вмешивается мастер Давид,— я тоже никак в толк не возьму, что ты хочешь сказать. Что же нам теперь, схватиться за ружья и стрелять в первого встречного?

— Зачем же в первого встречного? Ты что, мастер, не знаешь, кто сидит на шее у меня, у тебя, у Никола, на шее всех селян? Вот наступит весна, кому ты пойдешь кланяться, перед кем будешь тысячу унижений терпеть, чтобы выпросить земли и семян?

Никол как ошпаренный вскакивает с места и запальчиво спрашивает Авета:

— Что ж, по-твоему, надо все на свете перевернуть?

— Русский народ перевернул все государство, а мы здесь должны сложа руки сидеть? — спокойно отвечает ему Авет и

оборачивается к Ивану, который взволнованно теребит русую бороду: — Что ты на это скажешь, Иван?

— Верно говорит Авет,— подтверждает Иван.— У нас в России народ требует мира, хлеба, земли... Наши крестьяне хотят, чтобы государством управляла своя, народная власть — власть Советов.

— А что такое власть Советов? — спрашивает Никол.— Власть, я знаю, это староста, пристав, уездный начальник, а Совет... это что такое, Иван?

— Совет,— подумав, объясняет дядюшка Авет,— это вот когда такие, как ты, я, мастер Давид, садимся вместе и советуемся, как управлять селом.

— Вместо, значит, носача Симона? — улыбается мастер Давид.

— Да, конечно. Симона кто посадил нам на шею? Артуш, пристав, городские тузы и начальники. А нам нужна своя власть, чтоб, значит, земледелец, батрак и чабан стали хозяевами своего села, своего уезда, всего края. И чтоб они прежде всего отобрали монастырские земли...

— Землю святого Геворга? — все удивленно смотрят на дядюшку Авета.

— Чего вы разинули рты? — говорит он.— Земля должна принадлежать тому, кто пашет и сеет, а не какому-то разрушенному монастырю.

— Э, да кто же нам разрешит такое дело? — недоумевает Никол.

— Это не по разрешению делается. Вот тут-то и поможет нам братец Мосин... Мы должны теперь воевать за власть Советов, то есть за свое, советское государство.

— Правильно,— опять подтверждает Иван,— надо подниматься на революцию, как поднялся русский народ...

— Не выйдет у нас никакой революции. За спиной Каро и Симона — и власти и войско,— говорит Никол и оборачивается к Авету: — А кто, скажи, за твоей спиной? Как ты устоишь против войска?

— Наша сила — в единстве. Будем едины — выдержим, устоим,— твердит свое дядюшка Авет.— Если мы начнем, русый брат нас поддержит. А все разговоры о «независимой Айастан» — пустая болтовня. Ерикназ видел? Вот такую «независимую Айастан» нам и готовят дашнаки, одни лохмотья висят...

— Не понимаю, ничего не понимаю,— смотрит то на одного, то на другого Никол.

Если говорить откровенно, я тоже ничего не понимаю. Прежде всего, я еще как следует не разобралась в том, для чего понадобилось Англии, хозяйскому Каро и старосте Симону создавать «независимую Айастан» и что за дело до нас этим водяным англам. Правда, я сирота, но дядя заботится обо мне, и никакая Англия мне не нужна. А что это за власть Советов? Свалят ста-

росту Симона, как царя с трона, и посадят на его место дядюшку Авета? А вдруг он тоже, как Симон, начнет задирать нос? Сейчас я в любое время могу прибежать к дядюшке Авету, побалагурить с ним, а разве осмелишься взглянуть ему в лицо, если он станет «властью Советов»? И почему это все согласились, что у вдовы Ерикназ должно быть имя «независимая Айастан»? Что это — поп или царь, чтобы давать второе имя?

Я все думаю: что это значит — «независимая Айастан»?.. А зависимая какая?.. Не понимаю, но все же мне нравится, что дядюшка Авет дал нашей Ерикназ второе имя. И я, верная своей привычке, бегу из дома в дом и всем объявляю, что Ерикназ надо звать теперь «независимая Айастан».

БЕЖЕНЦЫ

В нашем селе уж так повелось: дадут кому-нибудь смешное прозвище, за глаза смеются, а в глаза никогда не говорят, потому что человек может обидеться. Вот, например, старосту Симона никто в лицо не зовет жабой или носачом Симоном. Артушагу мы только за глаза называем прыгуном. Только дядюшка Авет иногда, ругаясь с Каро, говорит ему, что он Лиса сухого ущелья. Ну, дядюшка Авет такой уж человек, он никого не боится. Но вот бедняжку Ерикназ прозвали «независимой Айастан», и все не стесняясь говорят ей это в лицо. Всюду только и слышишь: «независимая Айастан», «независимая Айастан»... Эта «независимая» стала чем-то вроде болезни.

У моей бабушки, как только речь заходит об этом, начинаются головные боли.

— О боже, от этой вашей «независимки» просто голова разламывается на куски...

— Не понимаешь ты, матушка Нуно,— говорит мастерова жена Шушан, которая сидит возле нее и вяжет чулок.

— А чего тут понимать? — сердито возражает бабушка.— Нашли горемычную, беззащитную женщину и потешаются над ней. Хромой сатана,— ругает она дядюшку Авета,— что, нет тебе на свете больше женщин, надо было эту несчастную Ерикназ прозвать независимой? Потому она и независимая, что мужа потеряла, потому на ней и лохмотья висят...

— Да нет, матушка Нуно,— смеется Шушан,— ведь это говорят вовсе не про Ерикназ; «независимая Айастан» — совсем другое...

— Знаю, знаю,— прерывает ее бабушка.— Каро уж всем уши прожужжал этой своей «независимкой». Послушать его, так для всех наступит райская жизнь, у всех и земля будет, и поле, и богатая молотьба...

— Ну, вот про это я тебе и толкую, что «независимая Айастан» — это не Ерикназ. Наш Даво говорит, что эту штуку должна привезти с собой Англия.

— Страна анкялов? Не знаю уж, где у них и находится эта «независимая Айастан», в кармане или в другом месте, что они должны привезти ее. Откуда узнал об этом Даво?

— Как ему не узнать? Бродит из села в село, сколько людей перевидает. На днях был он в Гошаванке, ваш дедушка Алек позвал его отделать свой дом резьбой...

— Еще бы, у мастера Давида золотые руки,— говорит бабушка и задумывается.— И что это взбрело в голову Алеку? Проклятый, столько у него добра, что не знает, куда и девать.

— Да, вот видишь, хочет украсить свой дом. Дескать, скоро явится Англия и приведет с собой «независимую Айастан». Он сказал Даво, что больше не будет ни разрушения, ни резни. Сама знаешь, Алек-ага с приставами и разным начальством садится за один стол, от них все узнает. Только, по его словам, война еще должна продолжаться...

— Почему это должна продолжаться? — снова возмущается бабушка.— Мало пролито крови?

— Алек говорит, что надо сначала заставить уйти отсюда русских, потом разделаться с турками, чтобы Айастан стала независимой.

— Э, Шушан, ты скажешь тоже...— недовольно ворчит бабушка.— Проклятая борода наболтал твоему мужу, а ты, не разобравшись, пришла сюда и мелешь всякую чепуху. Мухаммед и Христос пришли в мир и ушли, даже не встретив друг друга, а мы и эти крестьяне-турки тысячу лет живем соседями. Чего нам делить, из-за чего воевать? Если война будет продолжаться, не видеть нам ничего хорошего.

— Ох, где уж нам разобраться,— вздыхает Шушан,— столько болтают всякого, что не знаешь, чему и верить. А эти проклятые англы уж если хотят прийти, так пусть скорее приходят, посмотрим, что за люди...

— Это водяные люди, вроде наших гусей,— вставляю я.— И хорошо ловят рыбу.

— Ладно, не твоего ума это дело,— отмахивается от меня Шушан.

«Независимая Айастан... Англия, Англия... независимая Айастан...» Все словно заложили за щеку жвачку и жуют, жуют, но пока еще ничего нет. Каждый день со стороны Карса идут по большой Гошаванской дороге войска. Это русские солдаты. По словам дядюшки Авета, они не хотят больше воевать с турками и возвращаются в свои края. Там у них началась другая война.

— Если русские уйдут, явятся турки и перережут нас,— говорят встревоженные сельчане. Но вслед за войсками идут пока только беженцы. Соседние села уже переполнены ими.

— Это «независимая Айастан» бежит с насиженных мест,— говорит наш дядюшка Авет.— Ну, теперь потеснитесь немного,

надо же дать ей кров. Видите, что состряпала Англия? Нас натравливает на Советскую Россию, турок — на нас. Вот вам и независимость!..

И однажды на рассвете наше село наполнилось необычными звуками: мычали коровы, блеяли овцы, раздавались хриплые голоса мужчин, детский плач.

Дядя быстро оделся и вышел из дому. Вскоре он вернулся, взволнованный, хмурый.

— Беженцы пришли...

— Вай, чтоб мне ослепнуть, что за беженцы, сынок? — с беспокойством спрашивает у него бабушка.

— Беженцы, ну, понимаешь, армянские беженцы. От турок бегут из Сарыкамыша или из Кагзвана, я толком не понял,— объясняет ей дядя и, немного подумав, обращается к тетушке: — Ашхен, освободите оду в хлеву, приберите там, подметите, а я пойду на село, посмотрю, что там творится.

— Оду?.. Зачем? — спрашивает тетушка Ашхен.

— Как это зачем? — уже с порога оборачивается к ней дядя.— Женщины там, детишки, не оставаться же им под открытым небом. Хоть одну семью должны же мы приютить.

— Как не приютить! Конечно, приютим. Иди, иди зови к нам,— соглашается бабушка.

Пока наши приводили в порядок оду, мы с Асмик помчались в село поглядеть на беженцев.

Они оказались самыми обыкновенными людьми, такими же, как и наши крестьяне, но вид у них был еще более неприглядный. Усталые, измученные дорогой, они тоскливо озирались вокруг. Женщины с привязанными за спиной малышами пугливо жались друг к другу. Мужчины, проклиная кого-то и сердито покрикивая, сгоняли скот.

Среди них был только один, который спокойно распоряжался, и все его слушались.

Это был мужчина высокого роста, с густой черной бородой и мрачным взглядом. На плече у него висела берданка, а в руке он держал необыкновенно длинный чубук. Его шаровары, сшитые из грубой шерстяной ткани, были так широки, что казалось, на каждой ноге у него было по юбке, а поверх пояса намотана цветная пестрая шаль.

— Старший брат,— обратился к нему один юноша,— снимать вьюки или двинемся дальше?

— Разгружайтесь, сынок,— ответил человек с ружьем,— люди совсем выбились из сил, малость передохнем.

Вокруг них собиралось все больше наших сельчан. Подошли дядюшка Авет, мой дядя и огородник Никол.

— Чего это вы здесь вздумали разгружаться? — обратился к мужчинам Авет.

— А что нам делать, брат,— тяжелый путь мы прошли, надо и отдохнуть,— сказал юноша беженец.

— Почему нет, надо отдохнуть, только не под открытым же небом? У нас дома есть. Или вы нас уж и за людей не считаете?

— Как знать, брат ты мой, придешься ли по душе людям? — мягко ответил тот же юноша.— Теперь ведь любовь висит на кончике меча, а кровь стала водой. Да к тому же наш старший брат Умршат так распорядился, говори с ним.— И он указал на человека с ружьем.

— Брат Умршат,— заговорил, подходя к нему, дядюшка Авет,— скажи своим людям, пусть идут в наши дома.

Человек с ружьем вынул чубук изо рта, медленно провел рукой по густым усам и сказал:

— Будь здоров и счастлив, брат. С совестью, видно, ты человек. Ребята,— обратился он к своим,— идите к этим добрым людям и устраивайтесь у них в домах... Ух! — облегченно вздохнул он и, присев на камень, положил ружье на колени.

В это время маленькая девочка, держа за руку сгорбленную старушку, подвела ее и усадила на камне рядом с Умршатом.

— Что, устала, Хандут марэ? — спросил Умршат.— Ничего, сейчас устроят тебя, отдохнешь.

Старушка только вздохнула, а маленькая девочка прижалась к ней. Умршат, сидя на камне, продолжал распоряжаться всем.

— Ты, братец, возьми к себе вон ту молодку,— обратился он к дядюшке Авету, указывая на молодую женщину, которая стояла около нагруженного разным скарбом вола. Один ребенок у женщины был привязан за спиной, другого она держала за руку.— Возьми ее, это самая несчастная среди нас,— сказал он и крикнул: — Арусь, пойдешь вот с этим моим братом... Гаре, а ты вот к нему,— указал он на огородника Никола и стал вызывать по именам: — Гаспар... Ваган...

— Дядя, а мы вот эту бабусю возьмем,— потянула я за руку дядю, указывая на старушку с маленькой девочкой.

— Ну что ж, давай возьмем,— согласился он и подошел к старушке, но та не смогла подняться с места. Тогда подбежал юноша беженец, и они вдвоем повели Хандут марэ, а мы с маленькой девочкой погнали худенькую, как она сама, телку.

Моя бабушка сейчас же уложила старушку в постель. Маленькая девочка, которая до этого не произнесла ни слова, присела возле нее и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— А старший брат Умршат остался один. Жалко его...

— Кто такой Умршат? — спросила бабушка.

— Дай бог ему долгой жизни, это он увел нас от поганого рабства,— тихо проговорила старушка.

— Где же этот добрый человек? — забеспокоилась бабушка.— Пусть и он идет к нам. Ничего, как-нибудь устроимся. У бедняка в доме тесно, а душа у него широкая. Их много? Большая у него семья?

— Ох, нет, Умршат одинокая головушка,— со стоном заговорила Хандут марэ.

Но я не дослушала, мигом кинулась на село. Все беженцы уже разошлись по домам. Только человек с ружьем по-прежнему сидел на камне, курил и думал.

Я робко подошла к нему:

— Дядя беженец, старший брат, пойдем. Бабушка моя сказала, чтобы я привела тебя к нам.

— А у вас в доме найдется для меня местечко?

— У бедняка в доме тесно, а душа у него широкая,— повторила я слова бабушки.— Ничего, как-нибудь устроимся.

Умршат грустно улыбнулся и, поднявшись с камня, последовал за мной.

ОСАН

Я уже подружилась с внучкой Хандут марэ — Осан — и от нее узнала, почему Умршат «одинокая головушка». Осан говорит, что турки вырезали всю его семью, и потому он стал одиноким, бессемейным человеком.

Осан очень хорошая девочка. Она говорит, что старше меня, но я в это не верю. Три раза, встав у столба, мы мерились с ней. Осан ни чуточки не выше меня и такая худенькая, тонюсенькая, что кажется, дунь на нее — она покачнется. И почему-то сразу стала она очень нужной в нашей семье. Тетушка Ашхен и моя мать обращаются к ней, как к своей сверстнице:

— Осан, перебери дзавар на похлебку...

— Ты не забыла положить соли, Осан?..

— Осан джан, Осан, зашей-ка платье этому божьему наказанию, опять порвала...

«Божье наказание» — это, как вы знаете, я, а подол у меня разорвался во время драки с рябым Вано. Теперь Вано не дает покоя нашей Осан и, как только увидит ее, кричит: «Беженская девчонка, грязная собачонка!»

Ну, я еще разделаюсь с ним! А платье рвется у меня потому, что оно старое...

Взяв иголку с ниткой, Осан нагибается и точно так же, как это делает бабушка, начинает штопать мне платье. Иголка так и мелькает в ее маленьких худеньких руках.

— Вот видишь, Осан уже настоящая хозяйка в доме,— укоризненно говорит мне мать.— А ты? Ну что тебе за дело до старостиного Вано, чего ты воюешь с ним?

— А с кем же мне драться? — оправдываюсь я.

— С собаками! Ты же девочка, понимаешь, не мальчик, а девочка. Не сегодня завтра вырастешь, не дай бог, что из тебя выйдет?

— Будь я мальчиком, уж я задала бы этой рябой собаке! Погоди, вырастет Артик, я научу его...

Артик, словно понимая, что речь идет о нем, шевелится во сне, потом поднимается в люльке, садится и начинает плакать.

— Осан джан, Осан...

Мать не успевает договорить, как Осан подбегает к люльке, выхватывает из нее Артика и прижимает к груди. Усевшись на тахту, она устраивает ребенка у себя на коленях и, как взрослая, раскачиваясь, убаюкивает его:

Песенку спою на кровле, баю-бай.
Где мой брат единокровный? Баю-бай.
Брат истерзан злыми псами.
Белый свет залью слезами, баю-бай.
Спит Аршак, умытый кровью.
Черный камень в изголовье, баю-бай.
А постель — земля сырая,
Воет ветер, напевая: «Баю-бай».
Я зову — не слышит милый...
Сгинь, бездушный свет, постылый, баю-бай.

— Осан, детка, что это ты поешь? — кряхтя и ворочаясь на постели, спрашивает ее бабушка Хандут. Она как пришла к нам в дом, все лежит и день ото дня все больше слабеет.

— Про братца Аршака пою, бабо,— отвечает Осан и продолжает напевать.

— Нехорошо, детка, петь эту песню над младенцем. Аршак... какой был парень! — вздыхает Хандут марэ.

Артик спускается с тахты и, что-то лопоча, начинает ползать по комнате, а Осан присаживается к постели своей бабушки.

— Осан, пойдем поиграем,— зову я ее.

— Бабо, можно? — робко спрашивает Осан.

Я знаю, что и ей хочется поиграть, порезвиться, но бабушка ее очень больна, каждую минуту она зовет внучку, чтобы та поправила ей подушку, укутала ноги или дала воды, и Осан не может отойти от нее ни на шаг.

— Иди, детка,— вздыхает Хандут марэ,— иди поиграй. Мне лучше...

Я хватаю Осан за руку, и мы выбегаем из дома.

— Пойдем на хозяйский сеновал? — предлагаю я.— Там воробьи свили гнезда. Пойдем достанем воробьиного птенчика.

— Нет, жалко разрушать гнездышко воробья,— возражает Осан.— Давай лучше играть в «есир».

— А что это за игра?

— Есир — это когда приходят турки, хватают армян и уводят к себе,— объясняет Осан.— Хочешь, ты будешь турком и возьмешь меня в плен?..

— Не хочу, мне это совсем не нравится. Давай лучше покатаемся на ослике.

— Ой, стыд какой! Разве девочке можно садиться на осла?

— Я сажусь... Осан, а кто такой Аршак, о котором ты пела?

Осан вздыхает и, покачав головой, как ее бабушка, говорит:

— Это был такой парень в нашем селе! Турки убили. Они увели его невесту. Аршак оседлал коня, погнался вслед, а они

его убили... Моего отца тоже убили турки, мамку тоже...— Голос у Осан дрожит, рукавом она вытирает слезы.

— Ты хорошая, Осан джан. Я всегда буду тебя защищать и не позволю рябому Вано дразнить тебя.

— И твоя бабо хорошая, и твой дядя,— говорит Осан.— Ваши домашние добрые люди, дали нам кров.

— У бедняка в доме тесно, зато душа у него широкая,— вспомнив, повторяю я слова бабушки.— Осан,— спрашиваю я,— а где ваше село? Кто теперь живет в вашем доме?

— Наше село очень далеко отсюда,— вздыхает Осан и с тоской глядит на синеющие вдали горы.— Вон ту белую гору видишь? Ту, на которой снег? За той горой есть еще гора, а за ней наше село... Там кукла у меня осталась, я спрятала ее, когда мы уходили. Мамины нарядные платья мы тоже спрятали. Когда турки уйдут, мы вернемся домой, и я разыщу свою куклу.

— Осан джан, я не хочу, чтобы ты уходила от нас. Хандут марэ и старший брат пусть уходят, если хотят, а ты оставайся, будешь мне сестрой... Хочешь, пойдем на речку? Или в Монастырское ущелье? Там есть Кружило, омут такой. В нем живут водяные старухи. Однажды я видела, как водяная старуха вылезла на скалу и сидит. На лбу у нее рожки, а глаза на затылке...

— И ты не испугалась? — с ужасом смотрит на меня Осан.

— Э, что такое водяная старуха, чтобы ее бояться? Я и Зорбы-Зардар не боюсь... И потом, когда говоришь: «Водяная старуха, ослиное ухо, вода унесла у тебя башмаки»,— она сама пугается и прячется в омут.

— Нет, я не пойду туда, я боюсь,— говорит Осан.— У нас в селе хорошая речка, водяных старух там нет. Такая славная речка! — Грустный взгляд ее опять устремляется на сверкающие снежной белизной вершины далеких гор.— Эх, узнать бы, что стало с нашим домом. Когда мы уходили, закрыли все двери...

— Ну, если закрыли, так нечего и бояться, никто туда не войдет.

— Да, не войдет! Турки ломают двери. Старший брат сказал, что сломают...

Из-за угла показывается Умршат с дымящимся чубуком в руке. Он шагает медленно, о чем-то задумавшись, и мне кажется, что он ничего не видит. Вот он останавливается, проводит рукой по заросшему лицу и смотрит вдаль, на те же снежные горы. Смотрит, вздыхает, потом отворачивается и машет рукой.

— Старший брат смотрит в сторону нашего села,— шепчет Осан.

Заметив нас, Умршат подходит к нам:

— Гуляете, детки?

— Скажи, старший брат,— обращается к нему Осан,— отсюда видна дорога в наше село?

Умршат задумчиво улыбается:

— Нет, дочка, не видна.— Он садится на камень и, сняв войлочную шляпу, приглаживает свои густые, с проседью волосы.— А почему ты спрашиваешь про дорогу?

— Скоро весна, старший брат,— говорит Осан,— а ты сказал, что весной мы вернемся домой... А когда мы пойдем домой, я и Арцвик возьму к нам в гости,— добавляет она.

— Эх, детское сердечко...— вздыхает Умршат.

Из дому выходит дядя и, увидев Умршата, подходит к нему.

— Хорошие дни стоят, брат Умршат, потеплело,— говорит он, вынимая кисет с табаком.

— Да, теплая, бедняцкая зима,— соглашается с ним Умршат.— Возьми-ка моего,— он вытаскивает из-за пояса большой кожаный кисет и протягивает дяде.

Дядя сворачивает толстую цигарку, закуривает и начинает кашлять.

— Крепкий какой, в наших местах такого нет.

— Нашей земли табак,— задумчиво говорит Умршат.— Да, все потеряли, только этот дым и остался. Куришь — родную землю вспоминаешь, и на сердце легче делается...

— На солнышке греетесь? — слышится голос дядюшки Авета, и он, постукивая деревянной ногой, подходит и усаживается рядом с ними.

Теперь у них пойдут разговоры. Я очень люблю слушать, когда разговаривают взрослые. Кто знает, может быть, о чем-нибудь важном спросят и у меня. Дядюшка Авет всегда считается с моими словами.

— Как поживаешь, братец Умршат? — обращается он к предводителю беженцев.

— Э, как сказать... Вон снег на горах уже тает,— говорит Умршат, не отводя взгляда от далеких гор.

— Да, тает. Весна идет, земля пахаря ждет. Ничего, старший брат, не горюй, как-нибудь проживем. Если уж хорошей жизни не получится, так плохая-то никуда от нас не уйдет. Агабек,— обращается Авет к дяде,— я говорю, надо бы подумать и о наших беженцах.

— О чем подумать? — спрашивает дядя и кашляет от едкого табачного дыма.— Ну и крепок, аж за сердце хватает!

— Земля им нужна для посева,— отвечает Авет.— Без земли, без посева как же они прокормят свои семьи?

— Правильно говоришь,— соглашается дядя,— только ведь это зависит от Артуш-аги, от Каро.

— А что нам Артуш? Вокруг немало запущенной и целинной земли. Потребуем! — как всегда, начинает горячиться Авет.— А вздумают отказать, выделим из своей доли. Крестьянин — хозяин земли, не так ли, старший брат? — обращается он к Умршату.

— Верно ты рассуждаешь, брат. Крестьянин — что сошник от сохи. Без земли сошник ржавеет, а сердце хлебороба чернеет.

Не посеешь — жить будет нечем. Можете помочь нашим людям — помогите. Только мне земли не нужно. Мне уж больше не сеять, не жать...

— Почему это, брат Умршат? — в один голос спрашивают Авет и дядя.

— Э, зачем это мне? Мое время прошло...— Умршат умолкает и горестно никнет головой, посасывая свой чубук и выпуская одно за другим колечки горького табачного дыма.

Молчит и дядюшка Авет. Своим костылем он чертит что-то по земле. Кончики его усов слегка дрожат. Как видно, он хочет сказать в утешение какое-нибудь хорошее слово, но такого слова у него не находится, и он сердится на самого себя.

— Будь проклят весь этот мир и кто его создал,— ворчит он себе под нос.— Вот тебе и «независимая Айастан», все рушится к дьяволу... А ты, старший брат,— обращается он к Умршату,— поступаешь неправильно. Понимаю, одна горечь у тебя на сердце. Тяжело потерять семью, очень тяжело. Камень не выдержал бы такого горя, не то что сердце. Но, по-моему, пока живет человек, он должен подавлять в себе душевную боль, а не поддаваться ей.

— Так это, так, брат Умршат,— поддакивает мой дядя,— пахать и сеять нужно и для души, не только для тела...

— Люди вашего края уважают тебя, слушаются твоего слова,— продолжает Авет.— И вот ежели ты отойдешь от жизни, уйдешь в себя, то этим ни себе, ни людям горя не облегчишь. От душевной боли человек излечивается среди людей, а не среди голых скал и камней. Так я понимаю.

— Умен ты, брат, и слова твои сущая правда,— соглашается с ним Умршат.— Ну что ж, поживем — увидим. До наступления весны немало дней, а еще больше ночей. Кто знает, что еще может случиться? Я смотрю на мир и ничего не жду хорошего. Эти погромы, резня... к чему все это приведет?

— Все равно, старший брат,— твердит свое Авет,— резня резней, а живущий должен думать о жизни. Как может хлебороб отказаться от сохи и серпа? И что бы ни случилось, весна-то придет! В наших краях она наступает поздно, но зато уж зеленеет все разом. Поэтому я и говорю, что надо сейчас наделить ваших людей землей, потом будет поздно. Надо дать понять Каро, что лучше ему решить это дело миром, а то придется ему познакомиться с братцем Мосиным. Довольно он морочил нам голову своей «независимой Айастан»!

— «Независимая Айастан»...— горько улыбается Умршат, потягивая из своего чубука.

ЛОЖЬ ЗА ДЕНЬГИ

Кругом только и разговоров что о «независимой Айастан», и больше всех кричат о ней староста Симон и Каро. По словам моей бабушки, это стало какой-то повальной болезнью, поветри-

ем. Ну, Каро и Симон пусть хоть подохнут от этой болезни, мне наплевать. Мастер Давид день здоров, день болен — все никак не может решить, где правда, где ложь. А беженец Умршат, мой дядя и особенно дядюшка Авет смеются над «независимкой» и над теми, кто ее защищает. Я же составила песенку и назло «независимникам» распеваю ее:

Айастан, Айастан,
У Никола есть баштан,
У тебя — хмбапет [1] Костан...

Теперь уж твердо можно сказать, что «независимая Айастан» — это вдова Ерикназ. Все остальное — ложь. Англия не придет к нам и ничего не принесет. Некоторые говорят, что, когда Англия направилась к нам в село, какая-то другая страна, по имени Америка, перерезала ей дорогу и сказала: «Погоди, тебе там нечего делать, я сама пойду». Моя бабушка говорит, что англы просто боятся нас.

— Ну, ежели это водяная нация,— рассуждает она,— то, конечно, не вынести ей наших скал и камней. Выброси рыбу из воды на сушу, разве она выживет?

Об огороде Никола много не скажешь... Огород как огород, это я только в песенке называю его баштаном. Если со мной и с Николом ничего не случится, я и в этом году буду таскать оттуда морковь.

А теперь о хмбапете Костане.

Сначала скажу, что он вовсе не хмбапет, но сейчас всех больших начальников зовут хмбапетами, поэтому стали так называть и Костана. Говорят, что настоящее его имя не Костан, а Константин. Но вы знаете наших сельчан: у них заболят животы, если кто-нибудь останется при своем имени. Будь то хмбапет или вардапет [2], его имя обязательно переиначат. Как только распространилась весть, что хмбапет Константин собирается приехать к нам в село, наши сельчане прежде всего задумались над тем, какое имя ему прицепить, этому господину хмбапету. Дело оказалось не легким, потому что никто не видел хмбапета в лицо. Тогда огородник Никол сказал:

— Послушайте, к чему человеку такое длинное имя? Назовем этого хмбапета Константина просто Костаном — и делу конец.

И когда господин хмбапет показался в нашем селе со своими сподручными, мы сейчас же увидели, что люди совершили большую ошибку, назвав его Константином: такое длинное имя так же мало подходило этому коротенькому человечку, как мне дядина чуха. Хмбапет был чуть выше меня ростом, да и это «чуть» приходилось на его папаху, а не на него самого. Правда, когда

---

[1] Хмбапет — предводитель дашнакского ополчения, атаман.
[2] Вардапет — настоятель монастыря, архимандрит.

он шагал, шпоры на его сапогах вызванивали «тинь-тинь», но все равно Константина не получалось... А вот голос хмбапета — тут уж не могу покривить душой — был как гром. Такой голос, что от него можно было сразу оглохнуть.

Хмбапет остановился, конечно, в доме старосты Симона. Сын старосты Шаген, сельский посыльный Филос и один из помощников хмбапета сейчас же стали созывать народ на сходку и объявили: хмбапет будет речь держать. Ну, а я, как вы знаете, люблю всякие зрелища и потому сейчас же прицепилась к дядюшке Авету, чтобы идти вместе.

Мы собрались во дворе старосты Симона. Стоим ждем, хмбапет все не выходит. Сказали, что обедает. Да если б даже и не сказали, мы все равно это чувствуем: по всему двору разносится такой вкусный запах жареных гусей, что у меня слюнки текут.

Наконец из дому выходит Шаген и объявляет:

— Снимите шапки, хмбапет идет.

Мастер Давид раньше всех снял шапку. Арутик-солдат малость помедлил, но тоже снял. Моей бабушке нечего было снимать с головы, но у нее был насморк, и она стала чихать. Иван запустил пальцы в бороду, а мой дядя потянулся было к шапке, но, видя, что дядюшка Авет совсем не намерен снимать свою, и сам раздумал. Дядюшка Авет сказал, что он больной, безногий человек и без шапки ему никак нельзя. Так и стояли — кто в шапках, кто без шапок, когда в дверях показался хмбапет Костан. Видно, он сытно поел — все ковырял в зубах и икал. Но вот он шагнул вперед и, искривив шею, как наш петух, рявкнул:

— Армянский народ!..

Все покрыли голову,— наверно, подумали, что загрохотала туча и сейчас хлынет дождь.

— Армяне! — снова загрохотал хмбапет и, глядя через наши головы на снежную вершину Аладжи, продолжал: — Вы дети независимой Айастан!..

Тут деревянная нога дядюшки Авета разок скрипнула, а бабушка громко чихнула. Я хотела сделать то же самое, но бабушка, чтоб свалить на меня свою оплошность, стукнула меня по голове. А хмбапет совсем разошелся — передохнет немного и опять орет во всю глотку, грохочет, рявкает. Должно быть, так прихватила его болезнь «независимки», что он, бедняга, уж не мог удержаться от воплей.

Из всего того, что он говорил, я поняла только, что скоро все мы должны стать детьми «независимой Айастан» и что за нашей спиной будет стоять Америка... По словам хмбапета, Америка превратит наше село в рай, и мы сами, как видно, превратимся в ангелов, потому что, как говорит бабушка, в раю живут только ангелы... А для этого мы, значит, и я, и бабушка, должны кровь пролить и жизнь отдать за «независимую Айастан». Когда говорил об этом хмбапет, я исподтишка взглянула на нашу «независимую» Ерикназ. Кончиком рваной косынки она вытирала глаза

и, казалось, хотела сказать: «Горе моей беззащитной головушке!» Но в это время хмбапет поднялся на цыпочки и во всю мочь заорал:

— Америка защитит тебя, анках Айастан[1], А-ме-ри-ка!..

«А-ри-ка!..» — загремело в нашем ущелье.

— Ну и жарит! — шепнул дядюшка Авет на ухо дяде Ивану.— Как видно, эта Америка хорошо платит за ложь.

— В том-то и дело,— насмешливо улыбнулся Иван.

По-видимому, хмбапет устал орать. Он хотел вернуться в дом, но в это время дядюшка Авет, подмигнув Ивану, выставил вперед свой костыль и крикнул:

— Господин хмбапет, дозволь слово сказать!

— Хм, хм...— прочистил горло хмбапет,— говори.

— Я хочу сказать, что у нас в селе полно беженцев,— начал дядюшка Авет, продвигаясь вперед.

— Беженцев? Каких беженцев?

— Ну людей, вроде вот этого человека,— указал дядюшка Авет своим костылем на Умршата.— Они лишились своих очагов и полей, пришли сюда... Вот вы создаете «независимую Айастан», а кто же должен заботиться об этих людях?..

Нос у старосты Симона заострился, как клюв. Староста смотрел на дядюшку Авета с такой злостью, словно хотел наброситься на него, а хмбапет Костан ковырял пальцем в зубах.

— Мы решили,— продолжал Авет,— отрезать немного монастырской земли для беженцев.

В толпе сельчан послышался глухой шум.

Хмбапет, казалось, раздумывал. Но вот он сдвинул папаху на затылок и, смерив взглядом человека с деревяшкой вместо ноги, спросил:

— Кто это «мы»?.. Кто решил?

— Всем селом решали, советовались,— ответил дядюшка Авет.— Спросите ребят, они скажут. Иван, Никол, Агабек, правду я говорю? — обратился он к нашим.

— Иван? Откуда появился у вас Иван? — нахмурился хмбапет.— А ну-ка, выйди вперед, посмотрим!

Моя бабушка, чего-то испугавшись, хотела своей спиной заслонить Ивана, но тот тихонько отстранил ее и вышел вперед.

— Я! — крикнул он по-солдатски.

Костан презрительно посмотрел на него и обратился к сельчанам:

— Значит, свои мозги русским отдали? Хотите, чтобы они и здесь разводили смуту!

— Какая смута? Это наш человек! — раздалось в толпе.— Верно Авет сказал, всем селом решали. Монастырская земля наша...

Хмбапет топнул ногой:

---

[1] **Анках Айастан** — независимая Армения.

— Как это ваша? У вас нет никакого права распоряжаться монастырской землей! Церковь нельзя обижать.

— Ну, а что делать? — опять выступил вперед дядюшка Авет.— Весна на пороге, а эти бедные люди не могут ни пахать, ни сеять, чтоб прокормить свои семьи. Что ж это за порядок такой?

— Непонятливый же ты человек, как я посмотрю на тебя,— немного спокойнее заговорил Костан.— А о чем я говорил?

— О «независимой Айастан»,— насмешливо ответил Авет.

— Вот, вот, долгой тебе жизни, понял наконец. Значит, пойми и то, что Армения, став независимой, не останется такой мелкотой, какой ты ее знаешь. Мы расширим границы нашей Айастан от моря до моря, от суши до суши, и твои беженцы получат вдоволь земли. Понял теперь?

— Нет, не понял,— покачал головой Авет.— Это, как говорится, ветер свистит, да мимо летит. На что нам этот свист? Крестьянину нужна земля, чтобы сеять и хлеб собирать. А то... «от моря до моря», а народу — горе.

— Вот так задали хмбапету! — обрадовался Никол, а Иван и Сако тоже выступили вперед и встали рядом с дядюшкой Аветом.

Мой дядя потянул Авета за рукав, но тот уже разгорячился и кричал прямо в лицо хмбапету:

— Всю душу вымотали нам этой своей «независимкой». А мы говорим вам: землю, землю отдайте народу! Мы хотим жить по советскому закону!..

Хмбапет Костан не то от удивления, не то от испуга то открывал рот, то закрывал и не мог выговорить ни слова. А придя в себя, он схватился за плеть. И прежде чем Сако успел вмешаться, он несколько раз хлестнул ею дядюшку Авета. Но удары, кажется, пришлись по деревянной ноге, потому что дядюшка Авет даже не охнул. А когда хмбапет хотел ударить его еще раз, вырвались вперед и полезли под плеть Сако и Никол. Хотел вмешаться и дядя Иван, но дядюшка Авет удержал его.

— Поторопись лучше за братцем Мосиным,— шепнул он.

Иван исчез, а хмбапет и оба помощника принялись хлестать направо и налево, уже не спрашивая, чьи у них спины под плетьми.

— Да что же это такое, люди! — крикнул мой дядя и схватился за камень.

Другие тоже начали кидать камнями, а некоторые пустились бежать.

Костан, как видно, тоже решил, что лучше всего ему убраться подобру-поздорову, и он, оставив старосту Симона и своих помощников под градом камней, кинулся в дом. В ту же минуту неподалеку раздался выстрел, и из-за угла показался дядя Иван с ружьем. Он что-то кричал сельчанам, размахивая рукой. Один из помощников хмбапета направил на него маузер, но, прежде

чем успел выстрелить, Иван отскочил за угол и снова что-то крикнул оттуда.

— Ребята, мосинки! — вдруг опомнился Никол и побежал к своему дому.

Вслед за ним разбежались и другие. Все стихло. Ушли в дом старосты и люди хмбапета.

Так в этот день мы своими глазами увидели, а некоторые испытали и на своих спинах, что такое «независимая Айастан», за которую нужно проливать кровь и отдавать жизнь. Еще не запеклась кровь на рассеченной голове Сако, как по домам пошел посыльный Филос, всюду объявляя, что все, у кого есть оружие, должны сдать его, иначе хмбапет всех сгноит в тюрьме.

И снова переполох поднялся в селе. Хмбапет Костан, как видно, испугался: вскочил в седло и поскакал по улице. Он так нахлестывал коня, что, наверно, даже не видел мосинок, направленных на него из-за углов, из дверных щелей. Сельчане провожали его хмурыми взглядами, и в глазах у них горела ненависть, а я и Вачик кричали ему вслед, подражая его грохочущему голосу:

Анках Айастан,
Хмбапет Костан,
Николов баштан!..

АМЕРИКА С ТЫЛА, МОЙ ДЯДЯ С ФРОНТА

Сегодня у нас пекут лепешки на молоке. В другое время я прыгала бы от радости, но сегодня это никого из нас не радует.

Бабушка раскатывает на столике тесто. Она то и дело вздыхает и кончиком фартука вытирает глаза. Вытирает, а слезы все текут и текут. Она мажет лепешку яичным белком и, нагнувшись над тониром, хочет прилепить ее к раскаленной стенке, но глаза у нее ничего не видят от слез, и тесто шлепается в золу.

— Наказание, опять комом! — сердится бабушка.

— Ладно, мать, хватит тебе слезы лить,— говорит моя мать и сама всхлипывает, но глаза у нее остаются сухими. Наверно, она уже выплакала все слезы после смерти отца.

А тетушка Ашхен как-то сразу похудела, осунулась. Сидя в стороне, она латает дядину одежду.

— О, чтоб провалилась эта ваша «независимка»... апчхи! — чихает бабушка и снова погружается по самую поясницу в тонир. Вынимая оттуда зарумянившиеся лепешки, она чихает дважды.— Это к добру. Господи,— говорит она,— пусть я буду собакой у твоих дверей, только верни моего Агабека целым и невредимым...

— Ну, если Америка стоит за нашей спиной, так зачем же берут людей в солдаты? — словно разговаривает сама с собой моя мать.

— Гм...— усмехается дядюшка Авет,— разве ты не слыхала,

что говорил хмбапет Костан? Мы, дескать, жизни свои должны положить...

Входит бабушка Санам с покрасневшими от слез глазами, руки и лицо у нее тоже выпачканы в муке.

— Пусть будет к добру дым вашего очага, сестрица Нуно, к празднику...— говорит она и тут же, смущаясь сказанного, по привычке начинает вздыхать: — Какой уж тут праздник! Угонят моего Сако и вашего Агабека, и разрушится у нас очаг, останемся мы сиротами.

— Вот об этом и говорим, сестрица Санам,— вздыхает и моя бабушка.— В такое смутное время каково-то нам оставаться без мужчин!

Да, мой дядя и Сако уходят в солдаты, и сейчас лепешки пекутся им на дорогу.

Говорят, что их отправят в далекие края, куда-то под Сарыкамыш или Кагзван — точно не знаю. У меня тоже сердце щемит. Когда-то и моего отца вот так же провожали в солдаты, и он не вернулся. Если и дядя не вернется, я еще раз осиротею... Но я о себе не думаю, я привыкла к сиротству и как-нибудь проживу. А что будет с Асмик и Аник? Что будет с тетушкой Ашхен, с бабушкой? Я уж не говорю об Артике и Осан. Весь наш дом держится на одном дяде, а его тоже забирают в солдаты. Ну разве не права бабушка, проклиная эту «анках Айастан»? Какая от нее польза? А наш Артик никак не хочет расти скорее, чтобы наш дом не остался без мужчины. Я тоже, как и моя мать, задумываюсь: если Америка стоит у нас за спиной, то куда же и зачем берут моего дядю? Нет, ничего я не понимаю в том, что творится на свете. И никто не понимает. Все плачут и проклинают дашнакского хмбапета Костана.

— Чтоб ему, проклятому, ноги переломало, чтоб не бывать ему больше в наших краях! — говорит моя бабушка.

— Надо было избить этого заморыша как собаку, чтобы он образумился,— поддакивает ей бабушка Санам.

И мой дядя и Сако смеются. Удивительно, не правда ли? Все из-за них плачут, убиваются, а они смеются. Вот, наверно, и мой отец был таким.

«Кто знает,— думаю я,— может быть, идти в солдаты весело? Но если весело, если это радость, то почему бабушка Санам говорит, что солдатчина не дает исполниться заветному желанию ее мальчика?»

Мне известно, какое это заветное желание у Сако. Он говорил, что весной наловит много рыбы для Манушак, потому что она ему нравится.

«Манушак — моя заветная мечта»,— говорил Сако. Но он говорил только мне, и как узнала об этом бабушка Санам, я не могу понять. Я еще спросила тогда у Сако: а кто же моя заветная мечта? Он рассмеялся и сказал, что у меня еще нет заветной мечты. Жаль, что я не сказала ему о своей заветной мечте

превратиться в мальчика. Сако непременно помог бы мне. Он славный парень. Хотя он на десять лет старше меня, но он дружит со мной и не разрешает рябому Вано называть меня сиротским щенком. Мне кажется, из-за меня он и избил хозяйского Каро. Нет у меня счастья. Мало того, что мой дядя уходит в солдаты, с ним вместе уходит и Сако. Я останусь совсем беззащитной, и всякий, кому не лень, может трахнуть меня по башке.

Дядюшка Авет наставляет дядю, как держать себя и чтобы тот не прозевал, когда можно будет «оторвать хвост».

Я не знаю, чей хвост должен оторвать мой дядя, но дядюшка Авет говорит:

— Оторвешь хвост — приедешь, что-нибудь придумаем... А с братцем Мосиным не расставайся, теперь нам нельзя без него.

Осан тоже хочет что-то сказать дяде, но она не осмеливается и только кружит вокруг него. Ну, Осан застенчивая девочка,— сколько времени живет в нашем доме, а с дядей как следует и не поговорила еще, и, если дядя что-нибудь скажет ей, она краснеет и прячет лицо.

— Осан джан,— зовет ее дядя,— принеси-ка водички.

Осан подает ему воды в глиняной кружке. Дядя с удовольствием пьет и, отдавая ей кружку, говорит:

— Ух, хороша наша горная ключевая водичка! Кто знает, доведется ли еще попить ее...

— Агабек джан, свет очей моих, зачем говоришь такие слова? — снова всхлипывает бабушка.— Весь мир в горе, не одни мы, сынок. Доброго тебе пути и благополучного возвращения!

— Весь мир, говоришь? — посмеивается дядюшка Авет.— Нет, не весь, вон старостин Шаген не идет в солдаты.

— Ну, этот уже успел пристроиться в телохранители к господину хмбапету,— смеется и дядя.— Выходит, что Шаген и Америка с тылу, а мы с фронта будем воевать за эту «анках Айастан».

Осан снова подходит к дяде и наконец осмеливается спросить:

— Дядя, а ты увидишь наше село?

— Ваше село? — задумывается дядя.— Нет, Осан джан, пожалуй, и не увижу. Вряд ли мы попадем в ваши края.

— Узнать бы, что с нашим домом,— вздыхает Осан и отходит к постели своей бабушки.

— Эх, сердечко птенчика, тоскует оно по своему гнездышку,— грустно говорит Умршат, попыхивая едким дымом из своего чубука.— Да, сладок наш край, нет лучше его ничего на свете, а попал он в собачью пасть...

Все умолкают. Артик, что-то лопоча на своем языке, сползает с тахты и, держась за стенку, робко переступает ногами.

— Ну, ну, смелее, деточка! — подбадривает его бабушка.— Скорее расти, дядя уйдет — мужчиной в доме останешься.

Дядя подхватывает Артика, сажает себе на колени и начи-

нает играть с ним. Аник и Асмик подходят и прижимаются к отцу с обеих сторон. Мне тоже хочется подойти к дяде, но не могу же я в эту минуту оторвать от него Аник и Асмик, и от горя я начинаю сопеть. У меня уже с детства так: когда мне хочется плакать, нос у меня начинает издавать разные звуки. Дядя понимает меня и подзывает к себе.

— Да, ничего не поделаешь, Арцвик джан,— говорит он, гладя меня по голове,— на этот раз ухожу без тебя.

— Зачем ты так делаешь? — обиженно спрашиваю я.— Всегда говорил, что я твой верный помощник, что без меня ты даже в рай не пойдешь, а сейчас один уходишь в солдаты.

— И сейчас ты моя помощница, Арцвик джан,— отвечает он мне.— Я уйду, а ты и дядюшка Авет будете присматривать за домом.

— А когда ты оторвешь хвост и придешь, мы что-нибудь придумаем,— обещаю я.

К вечеру приходит Иван и Майя и, как всегда, приносят свой пирог, испеченный в русской печи. Но на этот раз бабушка не ставит чай и не разрезает пирог на куски.

— Пусть Агабек с собой возьмет,— решает она и отставляет узелок в сторону.

— Бабушка,— говорю я,— пусть мою долю лепешек дядя тоже возьмет с собой.

— И мою,— предлагает Асмик.

— И мою куклу пусть возьмет с собой! — кричит Аник. Она бежит в угол, хватает свою куклу и засовывает ее в хурджин[1] отца.

— А это ты хорошо придумала, бала джан,— смеется дядюшка Авет.— Если им там нечего будет делать, пусть поиграют в папу-маму. Америка играет кое с кем в тылу в «независимую Айастан», а твой отец должен играть на фронте, чистая работенка!

— Иван джан, Авет,— обращается дядя к обоим,— следите за этой лисой Каро, может обнаглеть, выкинуть недоброе... Сестру я оставляю на вас и от вас же потребую ответа.

Иван в знак согласия кивает головой, а дядюшка Авет возмущенно взмахивает костылем:

— Что?! Да он скорее свой затылок увидит, чем такое дело... Будь спокоен, Агабек, ничего дурного не случится. А воскресенье может наступить и раньше субботы. А?.. Что ты скажешь, Иван?

Иван пожимает плечами:

— Не знаю, не легкое это дело...

...Сумерки. Дядя вскидывает на плечо хурджин и собирается уходить. Мы все идем провожать его. Сако говорит без умолку, а моя бабушка и бабушка Санам совсем обессилели от слез

[1] Хурджин — переметная сума, дорожный мешок.

и едва шагают. Майя ведет бабушку под руку и подбадривает ее:

— Не плачь, матушка, не горюй... Иван Палыч будет тебе сыном, поможет...

Мы шагаем и шагаем, село осталось далеко позади, дошли уже до полей, и дядя начинает уговаривать нас, чтобы мы вернулись. Но никто не хочет расставаться с ним. Наконец Умршат и дядя Иван кое-как отрывают плачущую бабушку от дяди и вместе с ним идут вперед.

Уже совсем темно, и вдали едва различаются их тени, а мы, стоя на холмике, глядим и глядим им вслед до тех пор, пока тени не растворяются в ночном сумраке.

На селе уже зажглись огни, когда мы вернулись домой. И только мы подошли к дому, как вдруг перед нами появляется всадник на белом коне. Это Каро. Он так сильно тянет за повод, что конь становится на дыбы и опускает передние копыта прямо перед моей матерью.

— Добрый вечер... Проводили Агабека? — как будто со злорадством спрашивает Каро.

— Проводили... но я-то здесь! — с воинственным видом выступает вперед дядюшка Авет.— Проваливай отсюда!..

Каро пришпоривает коня и исчезает во тьме.

БРАТ УМРШАТ

— Святой Карапет, пророк царя небесного, твоя десница и крест да будут с нами! — бормочет брат Умршат, сваливая на арбу мешок с пшеницей.

Я и Асмик, поеживаясь от холода, садимся на мешок и укрываемся тулупом Умршата.

Только-только начинает светать. Темень еще так густа, что куры, вылезая из курятника, топчутся на месте, как слепые. Наступила весна, но в воздухе еще чувствуется запах талого снега. Где-то высоко в небе уже заливается жаворонок, проснувшийся раньше нас.

— Жаворонок поет,— значит, день будет погожий,— говорит брат Умршат и, садясь на арбу, взмахивает кнутом.

— Счастливо сеять-пахать! — глотая слезы, крестит нас бабушка.— Не вернулся к севу мой Агабек — дай бог, чтобы хоть к жатве подоспел.

Выезжаем в поле. Колеса арбы вязнут в грязи, Умршат то и дело очищает их.

— Старший брат,— спрашивает Асмик,— а на ваших полях такие же были дороги?

Умршат молчит, о чем-то раздумывает, уставившись в круглую спину вола.

— Дороги наших полей...— задумчиво говорит он, словно отвечая на свои мысли.— Да, детки, дороги полей везде одинаковы.

— А синдз, сибех и эржнак есть в ваших краях? — спрашиваю я.

— Как не быть? И синдз, и эржнак есть у нас, и хаварцил, и мандак. Бог дал нам богатую, плодородную землю. Бывало, выйдешь в поле — роднички журчат, пташки-соловьи поют... А какие травы! Буйвол войдет — спины не видно. А цветы! Благоухают как роза...

Вспоминая далекий свой край, Умршат с воодушевлением говорит о нем:

— А каких только родников нет у нас! Был, например, соленый родник. Осенью женщины на всю зиму запасались водой из того родника, эта вода была нам заместо соли. А то был еще родник с кислой водой. Искупаешься в нем — кожа делается мягкой и нежной, как у младенца.

Он еще рассказывает, а мы уже доехали.

Наше поле такое: плюнь с одного конца — на другой попадешь. И на каждом шагу кучки камней — чагили, как мы их называем. Эти чагили складываются из камней, которые во время пахоты выворачиваются сошником на поверхность земли.

— Вот это поле! — недовольно бормочет Умршат и снова обращается к нам: — Тяжело, детки, очень тяжело добывать хлеб из камней.

— А ваше поле не было каменистым? — спрашивает Асмик.

— Нет, дочка, поле у нас было хорошее, а вот наши пути-дороги были и каменистыми и тернистыми,— вздыхает Умршат и, сняв соху с арбы, начинает прилаживать ее к ярму вола.

Покончив с упряжкой, он насыпает в торбу пшеницы и подзывает меня:

— Подойди-ка сюда, пташка орла, брось праведной своей рукой первую горстку зернышек.

Я бросаю на землю полную горсть пшеницы.

— Тысяча с одного, тысяча с одного,— говорит Умршат, крестится и начинает сеять сам.

— А я, старший брат, а я? — просит Асмик.— Дай и мне посеять, чтобы тысяча была с двух...

Но Умршат больше не обращает на нас никакого внимания. Придерживая одной рукой торбу, которая висит у него на плече, другой он берет из нее зерно и разбрасывает по полю. Я с удивлением замечаю, что каждое зернышко у него ложится на равном расстоянии от другого. Засеяв полоску, он начинает запахивать семена.

Мы с Асмик шагаем впереди волов, пока прокладывается первая борозда, а потом, когда волы привыкают ходить как надо, идем за сохой и собираем старое, почерневшее жнивье, срезаемое сошником под самое корневище.

Из-за гор поднимается яркое солнце. Над пашней курится белый парок, наполняя воздух приятным запахом прелой земли,

Над нашими головами звонко заливаются жаворонки, в свежих бороздах важно разгуливают скворцы.

— Кш!.. Кш!..— спугиваем мы скворцов.

— Нет, скворца обижать нельзя,— останавливает нас Умршат.— Скворец не нахальная птица, он берет только то зернышко, которое остается на поверхности земли. Пусть берет свою долю, чтоб остальные зернышки дали нам тысячу с одного.

Мне хочется еще расспросить его кое о чем, но Умршат вдруг начинает петь, и по полю разносится его густой бас. Это оравел — песня пахарей. В ней мечта и мольба об урожае, о полных закромах хлеба на радость семье и детям.

Умршат не заканчивает своего оравела. Голос у него срывается, слова застревают в горле, и он, умолкнув, еще ниже склоняется к рукояткам сохи. Мы с Асмик, притихшие, шагаем за ним по свежевспаханной борозде.

— Спой еще, старший брат,— просит Асмик.

— О чем еще петь? — вздыхает Умршат.— Вот вспомнилось наше поле... Эх, судьба!

Закончив сев на нашей полосе, он решает перегнать волов на поле дядюшки Авета, чтобы и его засеять.

— А дядюшка Авет,— спрашиваю я,— знает об этом?

— Нет, потом узнает.

— Тогда он рассердится.

— Это почему же, пташка орла?

— Ведь волы-то хозяйские, Каро дал!

— Ну и что? Не даром дает Каро...

...Да, брат Умршат от Каро получил волов и мешок пшеницы, и вот как это случилось.

После того как дядя ушел в солдаты, в нашем доме только о нем и думали. Бабушка больше всех горевала и без конца сыпала проклятия хмбапету Костану, а иногда и на нас сердито кричала, когда мы слишком шумели. Она все говорила, что, если бы не было в нашем доме Умршата, можно бы от горя с ума сойти.

А Умршат очень переменился с тех пор, как в доме не стало дяди. Все время он был занят какими-то делами, и по всему было видно, что он готовился к севу. Бабушку это радовало.

— И хорошо, что работает,— говорила она об Умршате.— Работа и его самого успокаивает, и нам большое подспорье. Слава богу, есть и в моем доме мужчина!

Но всех удивляло, что Умршат подружился с хозяйским Каро. Он стал часто ходить к нему, а нередко и сам Каро приходил с ним к нам в дом. Это совсем не нравилось моей маме, и она как-то сказала ему:

— Брат Умршат, вы с Каро так подружились, что вас теперь водой не разольешь. К добру ли?

Умршат немного смутился, потом, подумав, ответил:

— Сестрица Сато, Агабек твой младший брат, а я тебе старший брат. Твоя честь — это и моя честь. Пока я здесь, у тебя ни один волос не упадет с головы. А на Каро у меня свои расчеты. Ведь скоро весна, надо что-то сеять, на чем-то пахать...

И однажды он вошел в дом с огромным мешком на спине, сбросил его на пол, сел на него и стал раскуривать свой чубук.

— Что это, брат Умршат? — спросила бабушка.

— Это пшеница, сестра Нуно,— ответил Умршат,— дал Каро...

— Каро дал? — удивленно переспросила бабушка и вдруг заволновалась: — Послушай, брат, если ты взял это взаймы, то напрасно. Я не смогу оплачивать такие долги. На кого мне надеяться, раз нет в доме моего Агабека!

— Будь спокойна, сестра Нуно,— сказал Умршат, потягивая из своего чубука.— Я взял, я и верну этот долг. Не уродится у нас — отработаю Каро на жатве, так договорились.

Бабушка больше не сказала ни слова, но все же иногда беспокоилась и все вздыхала: «Такое дело затеял Умршат, хоть бы с Аветом посоветовался!»

Но дядюшка Авет не показывался у нас. Он все время куда-то отлучался из села, и никто толком не знал, где он бывает и чем занят. Только раз сказала Маран, что Авет ходит по соседним селам, обменивает свои безделушки из дерева на пшеницу. А дядюшка Авет всегда возвращался домой с пустыми руками, и Маран по-прежнему занимала дзавар на похлебку у всех соседей.

Пришел к нам дядюшка Авет как-то днем совсем неожиданно и оставался с нами очень недолго, пошутил, посмеялся, а перед уходом, обращаясь к тетушке Ашхен, сказал:

— Вот что, невестушка, пора тебе проведать мать. Был в Гошаванке, заглядывал к сватье Алтун. Больна она и наказывала, чтобы ты непременно пришла.

Тетушка Ашхен спокойно приняла эту весть, а бабушка сразу встревожилась, запричитала:

— Вай, чтоб мне ослепнуть! Что с моей сватьей, чем она больна, Авет джан? Ашхен, дорогая,— обратилась она к невестке,— ты поспеши. Сейчас же иди к ней, иди! Хочешь, я тоже с тобой пойду?

— Ну, матушка, зачем же тебе идти в такую даль? — возразила тетушка Ашхен.— Если ты считаешь, что мне нехорошо идти одной, так пусть брат Умршат проводит меня.

Бабушка согласилась с ней. По ее словам, эта неряха Зорба-Зардар каких только сплетен не распустила бы, если б узнала, что невестка пошла в Гошаванк одна. А немного погодя она сказала мне, чтобы и я шла провожать тетушку Ашхен.

— Брат Умршат, конечно, горой стоит за честь моего дома,—

рассуждала она,— а все же лучше, Ашхен, если и Арцвик пойдет вместе с тобой. У недругов злые языки.

Я заметила, что тетушке Ашхен совсем не хочется брать меня, но разве может она ослушаться бабушки! Другая на моем месте, может быть, сейчас же и отказалась бы идти, а мне нельзя: дядя Агабек, уезжая воевать за «независимку», ведь недаром же говорил, что я должна защищать наш дом и наших домашних. Значит, мне ничего не оставалось, как идти с тетушкой Ашхен, да еще и драться с гошаванцами, если они вздумают обижать ее.

Уже вечерело, когда мы вышли из дому, надо было идти побыстрее, чтобы вовремя вернуться домой, а Умршат и тетушка Ашхен вовсе не торопились, словно шли гулять, а не к больному человеку. Когда подошли к мельнице, Умршат вдруг сказал:

— А не заглянуть ли нам на мельницу? Давно что-то не видно брата Ивана, надо бы проведать его.

— Конечно, надо проведать,— тотчас же согласилась тетушка Ашхен.— И с Майей повидаемся, да, Арцвнак? — обратилась она ко мне.

— А мне-то что! — буркнула я.— Где ты, там и я,— ведь я должна охранять тебя.

Дядя Иван встретил нас во дворе. Он нисколько не был удивлен, что мы пришли к нему, и только, поглаживая мои лохмы, сказал:

— Такой холод! Зачем ты пришла?

Умршат усмехнулся, а тетушка Ашхен ни с того ни с сего стала меня расхваливать: Арцвнак, дескать, умная и смышленая девочка и никому не расскажет о том, что увидит на мельнице.

А на мельнице в этот вечер происходило что-то интересное, и я никак не могу не рассказать об этом. Прежде всего, среди крестьян, которые привезли молоть зерно, я заметила красивого молодого человека с черными глазами. Он разговаривал с крестьянами, расспрашивал, как они перезимовали эту зиму и как думают засевать поля. Потом молодой человек куда-то исчез, а передо мной неизвестно откуда появились дядюшка Авет и огородник Никол.

— Арцвнак! — увидев меня, воскликнул дядюшка Авет.— Мне тебя не догнать, а ты, как видно, всегда догонишь меня... Ну ладно, раз ты здесь, иди к Майе, погрейся, а потом я, может быть, тоже пойду с вашими проведать сватью Алтун.

Мы с тетушкой Ашхен пошли в комнату Майи. Тетушка и пяти минут не сидела с нами, ушла, сказав, что скоро вернется. А Майя сейчас же выложила передо мной все свои пироги.

И вот мы сидим с Майей. Я с большим аппетитом ем пироги, а она расспрашивает меня:

— Как поживает матушка Нуно? Брат Умршат уже засеял ваше поле? Артик очень вырос? А Каро бывает у вас?

— Каро бывает. Поле уже засеяли. Артик очень плохо растет...— торопливо отвечаю я, продолжая уплетать пироги.

— Ты очень хорошая девочка,— тоже ни с того ни с сего начинает и Майя.— Ты здесь никого не видела, ничего не слышала и никому ни о чем рассказывать не будешь, да?

«Что это они словно сговорились хвалить меня? Как будто я сама себя не знаю! — сержусь я, а на сердце уже неспокойно.— Как же это так,— думаю я,— все сошлись к дяде Ивану, а когда же мы пойдем к больной сватье Алтун?»

Меня уже клонит ко сну, а тетушки Ашхен и брата Умршата все нет. Надоело уже мне так сидеть. «Наверно,— думаю,— они забыли про меня...»

Наконец появляется тетушка.

— Арцвик,— смеется она,— сердишься на меня?

— Конечно, сержусь,— недовольно бормочу я.— Нас послали к больному человеку, а мы сидим на мельнице... Что скажет бабушка?

— Бабушка ничего плохого не скажет,— лукаво улыбается тетушка Ашхен.— Мы с братом Умршатом и дядей Аветом уже были у матери. Ничего, она выздоравливает, только немного голова у нее побаливает. А тебя мы не хотели брать. Ведь очень холодно, ты замерзла бы...

Я не верю ей, хочу крикнуть, что она говорит неправду, но тетушка своими теплыми руками обнимает мою голову, прижимает к груди и шепчет:

— Поверь мне, дочка, поверь... так надо!

Под моим ухом часто бьется тетушкино сердце, я чувствую на своем лице ее неспокойное, горячее дыхание...

...Бабушка и до сих пор допытывается у меня, как принимали нас у сватьи Алтун, чем угощали, кого мы видели в ее доме, и так без конца. Я, конечно, давно уже обо всем рассказала бы ей, но всякий раз тетушка Ашхен так смотрит на меня, что я сразу прикусываю свой болтливый язычок и принимаюсь болтать обо всем, что приходит в голову. И как только я начинаю свою болтовню, тетушка Ашхен сейчас же вмешивается в разговор и сама начинает нести разные небылицы.

— Мама такую вкусную гату [1] нам испекла,— говорит она и обращается ко мне: — Правда, очень вкусную, Арцвнак? А потом сварила плов с дзаваром. Корова у них недавно отелилась, так нас и свежим молоком угощали...

— Так, так,— одобрительно кивала головой бабушка.— Моя сватья Алтун очень гостеприимная женщина.— Ей и в голову не приходило, как же эта больная женщина могла и гату испечь, и плов с дзаваром сварить...

А у меня из головы не выходит вечер на мельнице. Совсем не понимаю, что там происходило тогда. И дядюшки Авета нет,

---

[1] Гата — слоеное пирожное.

некого расспросить. А тетушка Ашхен всегда одно и то же твердит: выросту, мол, все узнаю, во всем разберусь.

Брат Умршат так переменился, что его трудно узнать. После того как он засеял наше поле, с Каро у него уже нет такой дружбы, как раньше. Но очень часто теперь он встречается со своими беженцами и все твердит им, что жизнь больше не может так продолжаться, что она непременно переменится и беженцы вернутся в свои дома, к своим полям, будут пахать и сеять, как и подобает истинным хлеборобам.

— Дай бог, брат Умршат, чтобы сбылись твои надежды,— говорит бабушка, прислушиваясь к его словам, и крестится.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Выходит, что хотя трон царя Никола и перевернулся, но это никакой пользы не принесло. Дядюшка Авет говорил, что мир изменится, что всякие лиходеи исчезнут с лица земли, но ничего такого не произошло. Староста Симон остался на месте, хозяйский Каро тоже, рябой Вано по-прежнему стоит над моей головой, и к ним прибавился еще хмбапет Костан. Моего дядю забрали в солдаты. А сирот стало еще больше. Раньше только я и Артик были сиротами, да еще Вачик, сын Ерикназ, и его сестренки. Теперь, когда дяди не стало с нами, и Асмик с Аник, и тетушка Ашхен, и дядюшка Авет — все мы осиротели.

А со мной приключилась такая беда, что я до сих пор не могу опомниться. Да, со мной, потому что я с самого первого дня дружу с Осан и все, что с нами случается, мы должны делить пополам. Я обещала Осан повести ее на наш Кружилый омут и — раскрою тайну — решила вместе с нею еще раз попытать счастья: пройти под радугой, чтобы стать мальчиком. Одним словом, интересные дела должны были начаться у нас, но, как говорит бабушка, моя слепая судьба неразлучна со мной, и ничего интересного мне так и не удалось предпринять. На нас с Осан свалилось такое несчастье, что я забыла и про омут и про радугу.

Наступили теплые дни, и вместе с ними немного ожила и Хандут марэ. Каждый день в полдень, когда солнце заглядывало в наш домик, мы с Осан брали ее под руки и выводили на воздух. Греясь на солнышке, Хандут марэ поглаживала свои худые, костлявые ноги и благословляла нас:

— Пусть вечно солнце молодости сияет над вашими головами, с семью птенцами садитесь за стол, и пусть ваши глаза не увидят горя...

Я не понимаю, что значит садиться за стол с семью птенца-

ми, и спрашиваю Осан, потому что она лучше всех понимает язык своей бабушки.

— Это будет тогда, когда мы постареем,— отвечает Осан.

— Я совсем не хочу стареть.

— Хочешь или не хочешь, а через сто лет мы станем такими же старыми, как моя бабушка.

— А откуда появятся семь птенцов?

— Когда постареем, у нас будет семь сыновей. В нашем селе была такая Майрам марэ, так у нее было двенадцать сыновей.

Осан уходит в дом, чтобы вынести проветрить постель бабушки, а я усаживаюсь подле Хандут марэ и с удивлением смотрю, как быстро она вяжет чулок. Глаза у нее полузакрыты, да она и не смотрит на чулок, а спицы так и мелькают в ее руках.

— Хандут марэ,— обращаюсь я к ней,— ты говоришь, что совсем ослепла, а разве слепая может вязать чулок?

— Это руки мои вяжут, детка, они с малых лет вяжут, привычны,— отвечает Хандут марэ.

— Дай я попробую...— Взяв чулок из ее рук, я закрываю глаза и начинаю быстро-быстро двигать спицами, но они выскакивают из вязки, и нитки запутываются.

— Нет, не выходит... возьми,— я протягиваю вязку Хандут марэ, а она сидит неподвижно и не говорит ни слова.— Марэ джан, ты обиделась, что я испортила? — Хандут марэ молчит.

— Марэ джан, ты уснула? — Я тяну ее за рукав, и вдруг Хандут марэ валится на бок и остается без движения.— Осан! — кричу я.— Марэ уснула, принеси что-нибудь, укроем ее.— Кричу, и почему-то сердце у меня замирает от страха.

На пороге показывается бабушка. Она смотрит на меня, потом подозрительно на спящую Хандут марэ и подходит.

— Бабушка, Хандут марэ...

— Молчи, молчи, пусть лежит,— взволнованно говорит бабушка и, взяв меня за руку, отводит в сторону.

В это время из дому с одеялом на плече выходит Осан и вдруг, бросив его, кидается к Хандут марэ.

— Вай, бабушка умерла!

Моя бабушка обнимает ее, гладит по голове.

— Ничего, деточка, ничего, успокойся...— все повторяет она, а Осан плачет навзрыд.

Я испуганно гляжу на них и ничего не понимаю. Вот удивительно. Неужели так умирают? А бабушка говорила, что дедушка Мацо целую неделю мучился, пока отдал богу душу. Нет, наверно, ошиблась Осан, так не умирают.

— Бабушка,— спрашиваю я,— Хандут марэ отдала богу душу или еще нет?

— Глупая твоя голова,— укоряет меня бабушка,— конечно, отдала. А как же?

— А как она отдала? Почему я не видела?

— Невинная была душенька, тихо ушла, никто и не видел...— вздыхает бабушка.

Она крестится, затем, легко подняв Хандут марэ на руки, несет ее в дом.

— Бабушка, бабушка, зачем ты умерла? — идя за нею, стонет Осан.

...И опять наш дом в печали и горе. У гроба Хандут марэ собрались беженцы. Они почти не разговаривают. Молча, на цыпочках входят, кланяются бабушке, потом Умршату и говорят только одно:

— Будь здоров, старший брат...

А моя бабушка сидит у гроба и перед каждым, кто приходит, расхваливает невинную душеньку Хандут марэ.

— Как ангел была эта женщина, царство небесное ее невинной душеньке,— плача, говорит она.

Осан, скорчившись в углу, тихо всхлипывает. Никто к ней не подходит, не старается утешить. Это бессердечно, ведь умерла-то ее бабушка, а не бабушка моей бабушки. Я подхожу к Осан, беру ее руку и говорю:

— Будь здорова, сестричка.

— Нет, я умру,— отвечает мне сквозь слезы Осан. Сидя на месте, она раскачивается, словно хочет унять свою боль.— Маму мою и отца турки убили, бабушка умерла. Как мне жить сиротой беззащитной?

— А старший брат Умршат, Осан джан?

— Старший брат не заменит мне бабушки.

— Тогда я свою бабушку дам тебе. Пусть она будет бабушкой и мне и тебе. Она хорошая, Осан джан, она будет крепко любить тебя.

Осан по-прежнему раскачивается и молчит. Я усаживаюсь рядом с ней и тоже начинаю качаться.

Неожиданно в нашем доме наступает полная тишина, и в этой тишине слышится странное бормотанье.

Гошаванский священник Хшто Саак, надев длинный блестящий фартук зеленого цвета, стоит перед гробом и, раскачиваясь как Осан, поет и бормочет какие-то непонятные слова, а заодно все время крестится. Потом он оборачивается к нам и начинает говорить уже понятными словами. Он говорит о небесном царстве и святых ангелах, которые там живут, о том, что Хандут марэ будто бы раба царя небесного и ее душа отправилась в его царство.

Я слушаю его и думаю о небесном царе. Где он, что у него за царство?.. Как видно, он похитрее царя Никола, потому что свой трон поставил в каком-то неизвестном месте, чтобы люди не могли перевернуть его.

Священник кончает говорить. Умршат, Никол, мастер Давид и один из беженцев поднимают гроб Хандут марэ на плечи и

несут из дома. Мужчины молча, а женщины с воплями идут вслед за ними.

Я, конечно, и не думаю когда-нибудь умирать, чтобы стать рабой какого-то небесного царя, но было бы неплохо разок не насовсем умереть, чтобы и меня, как Хандут марэ, понесли на плечах. И почему это священник сказал, что Хандут марэ уже вошла в небесное царство, когда она еще только отправилась туда?

Удивительные вопросы копошатся у меня в голове, но кто же и ответит на них, если не дядюшка Авет. Он шагает опустив голову, словно придавленный какой-то тяжестью. В одной руке у него костыль, другой он обнимает за плечи Осан и тихонько ее уговаривает:

— Хватит, дочка, хватит распускать эту мокроту, у всех у нас одна дорога. Одни раньше, другие позже, но все пойдут этой дорогой...

— Дядюшка Авет, и мы сейчас этой дорогой идем? — робко спрашиваю я его.

— Нет,— задумчиво говорит он,— сейчас мы по этой дороге провожаем Хандут марэ.

— А куда мы ее провожаем?

— На тот свет, на вечный покой.

— В небесное царство?

— Да, в небесное,— бормочет дядюшка Авет, пряча под усами улыбку.

— А трон небесного царя не перевернулся?

— Нет, еще не перевернулся...

— Ну, раз мы сейчас идем, значит, перевернем его, да? Ты всегда говорил, что если там перевернули трон Никола, то и мы здесь должны все перевернуть...

— Э, брось-ка болтать,— с досадой отмахивается от меня дядюшка Авет.

Вскоре я убедилась, что поп Саак просто обманывал нас, когда говорил о царстве небесном. Мы принесли Хандут марэ на кладбище, уложили в яму и, засыпав сверху землей, вернулись в село. «Бедная Хандут марэ,— думаю я,— если б ты знала, что тебя положат в яму и засыплют землей, разве согласилась бы ты умереть?»

А Осан все плачет и одно твердит:

— Я умру...

— Послушай, сестрица,— уговариваю я ее,— разве ты не видела, куда унесли марэ?.. Не сошла же ты с ума, чтобы умирать. Что же, ты хочешь, чтобы поп Саак и тебя обманул?

Но она все твердит свое: «умру» и «умру».

Бабушка тоже старается удержать ее от такой глупости.

— Ты теперь моя дочка,— говорит она,— я выращу тебя и своими руками осчастливлю.

— Бабушка,— спрашиваю я,— а меня тоже осчастливишь?

— И тебя тоже, а как же,— обещает бабушка,— не дадим завянуть такому цветочку.

— И Асмик тоже?

— И Асмик и Аник. А когда поженю моего Артика, устрою ему теплое гнездышко, тогда уж со спокойным сердцем пойду к Хандут марэ.

— Пусть Зорба-Зардар идет туда, в яму,— сердито говорю я.— Если ты уйдешь, кто же будет нам бабушкой? Разве тебе не жалко Осан... и меня, и Артика? Ведь мы же сироты.

— Что и говорить, совсем осиротел наш дом,— вздыхает бабушка.— О господи, кому какое зло сделала эта старушка, что ты взял ее душу и сиротой оставил ребенка?

Бабушка говорит об Осан. Я тоже очень жалею ее. Когда бабушка дает нам картофель или что повкуснее, я половину своей доли отдаю Осан, чтобы хоть чем-нибудь порадовать ее.

Аник отдала ей свою куклу. Асмик обещает даже подарить новое платье, когда ей сошьют его. Я не думаю, чтобы это могло случиться,— никогда еще никому из нас не шили нового платья. Но мы делаем все, что можем, чтобы Осан не чувствовала своего сиротства, и спим сейчас вместе с нею. Бабушка стелет нам постель рядом со своей, и мы вчетвером залезаем под одеяло. Лежим — и только притворяемся, что спим. Каждая из нас ждет, пока уляжется бабушка, чтобы тайком от других пробраться к ней.

Асмик хитрая, никогда первая не заснет, но меня не проведешь, я успеваю проскользнуть под одеяло бабушки. Сначала бабушка сердится, гонит от себя, а потом ей становится жалко меня, и она, обняв рукой, начинает поглаживать меня по спине.

— Непоседа,— ворчит она,— ну, спи, раз уж пришла.

Не знаю, как бабушке, а мне хорошо. По-моему, ни в каком царстве небесном не может быть лучше, чем под одеялом у моей бабушки. И я, конечно, никогда не позволю, чтобы эта моя славная, добрая бабушка ушла от нас.

ХМБАПЕТЫ ПАСУТСЯ

Как только дядю угнали на войну, чтоб он проливал кровь за «независимую Айастан», к нам в дом опять повадился хозяйский Каро. Бабушка сварит яйца — он съест. Дядюшка Авет скажет: «Лиса забралась в курятник»,— мы засмеемся. Но это не действует на Каро. Он преспокойно доедает сваренные бабушкой яйца и начинает разглагольствовать о «независимой Айастан». А потом заявляет, что, если даже мир перевернется, он останется верен своему обещанию помогать нам во всем.

Вот скоро начнется сенокос — и он даст нам своих лошадей перевезти сено. Тут Каро, по старой привычке, смотрит на мою мать, но та отворачивается и начинает заниматься Артиком.

Тетушка Ашхен насмешливо улыбается, и только бабушка, воздев руки к небу, просит всевышнего дать Каро долгую жизнь.

...Однажды старший брат Умршат (ну, теперь он мужчина нашего дома), посоветовавшись с тетушкой Ашхен, пошел к хозяйскому Каро и привел лошадей. Он запряг арбу и вместе с тетушкой собрался ехать на сенокос.

— Чтоб к добру, чтоб к радости...— провожая их, крестится бабушка и смахивает слезу: какая уж там радость, когда нет никаких вестей от дяди!

— Счастливо тебе оставаться у своего очага, сестра Нуно. Не беспокойся, Агабека нет, но я здесь,— сказал Умршат и уехал.

Вместе с тетушкой Ашхен он скосил не только нашу делянку, но и делянку дядюшки Авета. На лошадях Каро перевезли все сено в село. Узнав об этом, дядюшка Авет рассердился, но Умршат успокоил его, сказал, что ничего зазорного в этом нет: дескать, с паршивой собаки — хоть шерсти клок.

Но бабушка правильно говорит, что заботам землепашца и в гробу не будет конца. Покончив с сенокосом, надо готовиться к жатве. Пшеница уже наливается. Я с нетерпением жду, когда начнут жать ее, потому что тогда прекратятся мои мучения. А пока нам с утра до вечера приходится торчать в поле.

Еще не занялось утро, а бабушка уже будит меня — надо опять идти в поле. Бывает, что я даже не успеваю доесть яблоко, найденное мною во сне...

Хорошо Осан, ей не снятся яблоки, и потому она не жалуется. Она очень послушная девочка, и кажется, может всю жизнь просидеть на корточках возле пшеницы. А для меня это такая мука! Не могу я сидеть на одном месте, а торчать целый день на ногах в поле, как пугало на огороде Никола, и только для того, чтобы птицы не клевали зерна,— нет, это не для меня.

— Что за беда, если птичка склюет одно зернышко? — спорю я с бабушкой.— Много ли ей надо? Сто птичек — сто зернышек, от этого не разрушится же наш дом!

— Глупая,— укоризненно говорит бабушка,— только и есть у нас что эта полоска пшеницы, и каждый колосок на ней полит тысячью капель пота. Не можем же мы позволить, чтобы наше поле стало добычей птиц и животных. Иди, детка, иди...

Делать нечего, я и Осан отправляемся в поле.

Уж кому-кому, а мне-то хорошо известно, что нашему полю угрожают не только птицы. В нашем селе хозяйничает не только староста Симон, но и его ослы. В прошлом году их было у него три, а теперь стало пять — прибавилось два осленка.

— «Анках Айастан» пошла впрок Симону и его ослам,— говорит дядюшка Авет,— быстро размножается у него эта тварь...

И вся эта ослиная семья, с отцом, с матерью и ослятами, как и владелец их, живет за наш счет. А в последнее время к этим ослам прибавились еще разные большие и малые хмбапеты с их подручными — они тоже пасутся на наших полях.

У меня сердце щемит, когда я вспоминаю, как они стравили пшеницу Арутика.

Когда мы с Осан пришли сторожить нашу пшеницу, на поле Арутика-солдата паслось пять или шесть лошадей. Я сейчас же схватила камень и кинулась выгонять их из пшеницы, но в это время у обрыва на краю поля поднялся с земли человек с ружьем и крикнул:

— Эй, кто там балуется?

— Аман! — испуганно вскрикнула Осан.— Это турки.

— Откуда ты знаешь?

— Видишь, у него ружье, сабля и плеть.

Человек с ружьем, размахивая плетью, направился к нам.

— Дядя, пусть лошади уйдут с пшеницы,— попросила я.— Это поле Арутика-солдата, жалко его.

— Солдата? Какого солдата? — спросил он, играя плетью.

— Арутика-солдата. В нашем селе он живет.

— Та-ак... Мы, значит, спасаем Айастан, а он сидит у подола жены. Ничего, пусть лошади попасутся на поле такого солдата.

— В чем там дело, Хачо? — крикнули со стороны обрыва.

— Да вот детишки говорят, что это поле какого-то солдата,— мол, жалко его.

Подошел еще один человек и, сдернув с плеча ружье, прицелился в нас.

— Убирайтесь отсюда, живо! — заорал он, а когда мы пустились бежать со всех ног, оба захохотали.

С нашего поля мы видели, как лошади досыта нажрались пшеницы, а потом эти вооруженные люди сели на них и уехали.

Вернувшись домой, я рассказала нашим обо всем, что мы видели. Бабушка попросила бога, чтобы он обрушил небесный огонь на головы этих нехристей, а Умршат, молча выслушав мой рассказ, вышел во двор, принес косы и начал их оттачивать.

— Надо косить пшеницу, сестра Нуно,— сказал он бабушке,— а то, если эти хмбапеты будут пастись, от нее ничего не останется.

— Обождать бы малость, Умршат джан. Кто знает, может, и мой Агабек вернется,— говорит бабушка.— Да и нет еще в зерне настоящей спелости.

— Ничего, сестра Нуно, дойдет в копнах. А если эти хмбапеты вытопчут поле, какой ответ я дам Агабеку?

И Умршат продолжает отбивать и оттачивать косы. Тетушка Ашхен выходит во двор, чтобы привести в порядок грабли, и вдруг возвращается вместе с дядей Агабеком.

У дяди одна рука перевязана, другой, здоровой, он обнял жену и, стоя в дверях, смеется, Асмик и Аник с визгом кидаются к отцу, а я, совсем потеряв голову от радости, волчком кружусь вокруг и все повторяю:

— Дядя джан, дядя джан...

Бабушка лишилась последних сил и не может подняться с места. Дядя сам подходит к ней и неловко тычется ей в лицо.

Заметив, что у дяди рука перевязана, бабушка начинает причитать:

— Вай, чтобы мне ослепнуть, искалечили мое дитя...

— Это пустяки, мать,— весело говорит дядя.— Два пальца пришлось подарить «независимой Айастан», а то не вернулся бы так скоро.

— А сколько пальцев подарил Сако? — живо интересуюсь я.

— Сако? — повторяет дядя с задумчивым видом.— У него дело сложнее. Как говорится, целил в перепелку, попал в мула.

— Какая беда стряслась с парнем? — беспокоится бабушка.— Ой, бедная Санам, один он у нее!

— Да ничего страшного,— успокаивает дядя.— Перестарался парень, хватил табачного настоя, а теперь у него сердце стучит как пулемет. Лежит в лазарете...

Придя немного в себя, я мчусь к дядюшке Авету.

— Дядя вернулся! — кричу я с порога.— Два пальца подарил «независимой Айастан»... А Сако в лазарете. Он выпил табачную воду, и сейчас сердце у него как пулемет...

— Ты держи язык за зубами,— грозит мне пальцем дядюшка Авет и поднимается с места.— Ладно, пошли.

Он по-братски обнимает дядю и внимательно оглядывает его.

— Ну, хорошо, что так, освободился, значит... А здорово похудел ты, брат.

И в самом деле, мой дядя очень изменился: лицо осунулось, глаза стали большими, весь оброс волосами. А на ногах у него трехи, которые он взял из дому.

— А почему ты щеголяешь в этих манташевских чеботах? — спрашивает дядюшка Авет.— Что, даже пары ботинок не выдали?

— Ишь чего захотел,— смеется дядя.— Хорошо еще, что я захватил из дому лишнюю пару трехов. У других и этого не было на ногах. Позорище, а не войско.

— А как же Америка? Что она, на нашей нищете хочет строить «независимую Айастан»?

— Америка?.. Кто ее знает, чего она хочет. Говорили, вот-вот привезут обмундирование, оружие, но мы так ничего и не видели.

— Ну, хоть кормили-то вас досыта?

— Вши жили лучше нас... Вот их мы кормили досыта, и они неплохо чувствовали себя.

— А много было вас там?

— Войска? Было бы много, если б не отрывали хвосты. А вшей тьма тьмущая.

— Гм, вши и трехи,— грустно улыбается дядюшка Авет.— Нечего сказать, хороша ты, «независимая Айастан», и твое войско!

Потом они начали шептаться, и из всего их разговора я поняла только то, что дядя сам повредил себе пальцы, чтобы осво-

бодиться от солдатчины, а Сако для этого же сделал крепкую табачную настойку и выпил. Оказывается, это и называется у них «оторвать хвост». Сако, по словам дяди, выживет, парень крепкий, но, для того чтобы его отпустили домой из лазарета, надо кому-то сунуть в руку золотую монету, иначе его снова отправят в солдаты.

Выходит, что, отрубив два пальца или выпив стакан табачного настоя, можно спастись от солдатчины и войны. Почему же тогда мой отец пошел на войну и погиб? Лучше бы он отрезал себе все пальцы, только остался бы жив.

Так я и говорю об этом дядюшке Авету. Он, прищурив глаз, насмешливо смотрит на меня и щелкает по носу:

— Везде ты суешь свой нос, и потому он у тебя всегда мокрый.

На другой день мы начинаем косить пшеницу, хотя она еще зеленая. Вслед за нами выходят на свои поля и соседи. Все боятся одного и того же: как бы хмбапеты и их молодчики не стравили пшеницу.

У моего дяди с Николом одно поле, они косят вместе.

Дяде еще трудно держать косу, им помогают Умршат и Иван. Как всегда, они решили помочь и дядюшке Авету, потому что ему со своей деревянной ногой одному не управиться. Дядюшка Авет недовольно ворчит, но дядя и Иван все обращают в шутку.

— Не могу косить — и ладно, пусть пропадает пшеница,— упрямо возражает Авет.— Ребенком питался молоком твоей матери, а теперь должен жить твоим пóтом? — обращается он к дяде.— Что я, крест господень, что ты должен до самой смерти таскать его на плечах?

— Ты решил, по-видимому, жить, как Манташев? — шутит дядя.— Вот так молочный брат!

— Будь ты Манташевым или хоть самим господом богом, а я уж помахаю за тебя косой,— смеется Иван.

— Ну конечно,— продолжает ворчать дядюшка Авет,— есть среди нас один русский, так мы и тому должны сесть на шею? Я еще ничего, я как-нибудь справлюсь, а кто будет косить поле Сако? Бедная старуха совсем растерялась.

— Я буду косить, я! — говорит Иван.

— Да буду я жертвой твоей львиной души,— радуется моя бабушка.— Верно говорят, что страна у русских холодная, а сердца у них горячие.

— Сейчас у нас там жарко, очень жарко,— говорит Иван и, взмахнув косой, без передышки проходит всю полосу. Никол далеко отстает от него.

— Попробуй угонись за ним, у него ручищи — в два аршина каждая,— оправдывается он, отирая пот с лица.

С началом жатвы мы живем больше в поле. Уходим с рассветом и домой возвращаемся только к ночи, а мужчины иногда и ночевать остаются там. По этой причине мое положение стало

довольно трудным. Правда, положение осла Никола потруднее моего — бедняге приходится за день несколько раз пройти путь от села до поля и с поля в село, и всякий раз с поклажей. Сперва он тащит на гумно снопы, а потом везет в поле меня. Мы с ним работаем вместе, возим снопы на гумно.

В этом году все очень спешат с уборкой хлеба, потому что в наших краях стали твориться такие дела, что волосы становятся дыбом. Появились какие-то неизвестные люди, которые даже днем нападают на наших сельчан — у кого пшеницу подожгут, у кого отберут скотину. Говорят, что на полях Гошаванка они даже украли девушку. И теперь наши девушки уже не осмеливаются носить на поля еду. Из всех девушек нашего села я самая смелая. Я совсем не боюсь, что меня могут украсть, и смело разъезжаю по полям на ослике.

И что это за люди появились, точно никто не знает. Одни говорят, что это беглые солдаты, другие — что это жители соседних тюркских деревень; они, дескать, мстят нам по той причине, что началась война и теперь мы с ними враги. А некоторые утверждают, что это распоясались молодчики хмбапета.

Староста Симон тоже толком ничего не говорит. Сельчане требуют от него, чтобы он поехал в город, попросил больших людей послать к нам войско и наказать грабителей, а он только пожимает плечами — не мое, мол, дело.

— А чего ему вмешиваться в эти дела? — рассуждают сельчане.— С волками жить, по-волчьи выть. Он знает о проделках молодчиков хмбапета, а те — о его делишках, рука руку моет...

— Вся эта неразбериха началась потому, что русские ушли от нас,— говорит мастер Давид.— Уж так всегда бывает: лев уснул — на лису не найдешь управы.

— Правильны твои слова, Даво джан,— соглашается с ним бабушка,— оттого и пошла вся эта кутерьма.

— А может, лев проснется? — спрашивает Никол.

— Не знаю, но пока он спит,— отвечает ему мастер Давид.

— Нет, мастер, ты ошибаешься,— очнувшись от своих дум, возражает дядюшка Авет.— Лев никогда не спал и сейчас не спит, но ему пока не до нас. Ты думаешь, это шуточное дело — сбросить с трона царя?

— Ну хорошо, одного царя сбросили. Но какого же царя там сбрасывают сейчас? — опять спрашивает Никол.

— Там отстаивают советскую власть, потому что против нее ополчились все самые сильные державы. Эта водяная птица Англия, крестная мать «независимой Айастан» — Америка, германец — одним словом, все большие государства напали на Советскую Россию, и началась такая война, какой свет не видал.

— Кто же нас теперь защитит? — беспокоятся люди.

— Мы сами,— решительно говорит дядюшка Авет.— Для чего у нас припрятаны мосинки? Пора бы пустить их в дело...

Как будто все только и ждали этих слов дядюшки Авета, чтобы вытащить на свет припрятанное оружие. Кто вытащил берданку, кто турецкий айналу, а кто оставшееся еще от прадедов огромное кремневое ружье. Мой дядя и дядюшка Авет вооружились мосинками. И очень интересно получилось. Смотришь, человек, обливаясь потом, размахивает косой, а за спиной у него покачивается огромное заржавленное ружье. Косари по очереди таскают это ружье за плечами.

У нас немного лучше. Когда Иван и Умршат косят пшеницу, дядя и дядюшка Авет сидят с мосинками на одном и на другом конце поля.

— Это не жатва, а наказание божие,— ропщет бабушка.— Неужели человек не может спокойно и в радости собрать плоды горького своего труда? Прямо какие-то сельджуковские времена, когда ребенка отнимали у матери и бросали в огонь...

— Э, матушка Нуно, к чему волноваться? — утешает ее дядюшка Авет.— Сельджуки пришли и ушли, а мы с тобой вот живем, хлеборобы остались. И это пройдет.

— Нет, видно, целый год рассуждали, да свободными не стали,— вздыхает бабушка.

— Станем, потерпи немного, обязательно станем!..

ВОР ИЗ ДОМА — БЫК ПРОЛЕЗЕТ В ЕРТЫК

Не помогли ни берданки, ни мосинки — неизвестные люди все-таки сделали свое разбойничье дело.

Это произошло к вечеру, когда наши косили последнюю полосу, а я и осел Никола, порядочно устав от таскания снопов на гумна, лежали на меже, чтобы немного прийти в себя.

Вдруг издали донеслись крики и тревожное мычание коров; раздался выстрел.

Наши поля — горы да ущелья, рытвины да овраги, не сразу увидишь, где что делается. И пока наши соображали, где стреляют, из оврага выскочил человек и, махая руками, побежал в нашу сторону.

— Скорей, помогите!..— кричал он.— Стадо угнали!

Это был наш пастух — беженец Гаре. На нем не было лица, язык у него заплетался.

— Отбили!.. Пятеро!.. На лошадях!..— несвязно выкрикивал он.

Наши не сразу поняли, что, когда он выгонял стадо из ущелья, неизвестные всадники отбили несколько коров и угнали.

— По выбору отбивали...— говорил Гаре.

В стаде у всех было по какому-нибудь хвосту, и потому все кинулись в сторону, которую указывал Гаре. Но дядюшка Авет не растерялся.

— Куда вы, с ума сошли! — крикнул он.— Что угнали — не отобьешь, надо защищать то, что осталось.

Это отрезвило людей, все побежали к стаду. С трудом удалось собрать скотину, которая разбрелась по ущелью. Когда подсчитали, оказалось, что грабители угнали корову мастера Давида, трехгодовалую телку Арутика-солдата, теленка Никола...

— Верно, по выбору отбивали,— горько улыбнулся мастер Давид.— У старосты и Артуша вся скотина цела.

— Лица у них были закрыты платками, не мог узнать,— говорил между тем Гаре.— Но одного коня я, кажется, узнал... из нашего он села...

— Из нашего?..— насторожились люди.— Говори, Гаре, чей был конь?

Но как ни добивались от него, Гаре больше ничего не сказал.

— Нет, не могу сказать наверняка... может быть, мне показалось.

— Да ладно,— махнул рукой и дядюшка Авет,— отвяжитесь от парня. Вор из дома — и бык пролезет в ертык. Если б это были чужие, они угнали бы более упитанную скотину Симона или Артуша.

...Уже совсем стемнело, когда стадо пригнали в село. Встревоженные женщины с плачем и проклятиями разыскивали своих коров.

— Джейран джан, Джейран!..

— Башо, свет очей моих, где ты?..

Кто находил свою коровенку, гнал к себе во двор, уже не интересуясь, у кого что пропало.

Самым удивительным было то, что громче всех причитала и сыпала проклятиями старостина Зорба-Зардар, хотя из ее скотины не пропало даже теленка.

— Чтоб тебе сдохнуть, растяпа несчастный! — ругала она Гаре.— Что, не мог с ними расправиться, как подобает мужчине?

— Наел себе загривок на крестьянских хлебах... Ну, что теперь ответишь Арутику и Николу? — словно перекликаясь с нею, кричал Симон.

Гаре, смущенный, растерянный, смотрел то на одного, то на другого из сельчан, ища у них защиты.

— Чего вы напали на парня? — вступился за него Арутик-солдат.— Ты староста, ты и должен заботиться о том, чтобы у нас не было такого разбоя.

— Кому ты это говоришь? Да попадись мне в руки эти злодеи, уж я расправился бы с ними! — размахивая палкой, петушился Симон.

— Ты, староста, хорошо поёшь... Только не тебе ловить этих воров,— сказал вдруг дядюшка Авет.

— Почему это не мне? — еще больше разгорячился Симон.— А ну, пусть пять-шесть молодцов отправятся в ущелье Аладжи, порыщут там. Увидим, что из этого выйдет! Гнездо разбойников — Аладжинское ущелье, оттуда приходят турки и разрушают наши очаги. А среди нас разве бывали воры-разбойники?

Эти слова старосты кое на кого подействовали.

— Может, и так,— сказал Никол,— аладжинские турки могли пуститься на такое бессовестное дело... Ребята,— обратился он к сельчанам,— кто согласен идти туда? Оружие у нас есть, пойдем и отберем наше добро.

— Я пойду,— первым отозвался Умршат.

— И я! — крикнул Арутик-солдат.

— А чем я хуже других? — выступил вперед и мастер Давид.— Я тоже пойду...

Люди вновь заволновались, зашумели.

Тогда опять вмешался дядюшка Авет.

— Зря шумите,— сказал он.— С аладжинскими турками вам делать нечего, и тут нет их вины. Ищите вора здесь, среди нас...

— Послушай, Авет,— перебил его староста,— я что-то тебя не пойму. Если ты подозреваешь кого — укажи. Пойдем и схватим этого человека. Кто же вор среди нас — я, ты, мастер Давид? Эй, народ, скажи свое слово, а я ничего не могу понять,— развел он руками.

— Ну, тебя-то народ хорошо понимает,— усмехнулся Авет.— Не пойманный, дескать, не вор...

— Нашел время шутить,— с обидой проговорил староста.— Турки разрушают весь мир, не сегодня завтра придут, разрушат наши очаги, уведут наших жен, а ты читаешь проповеди о братстве... Что ж, по-твоему, среди турок нет разбойников?

— Почему нет? Есть они и среди турок и среди армян, но главное-то не в этом. Собака собаке лапу не откусит. Того разбойника, которого я знаю, тебе не поймать. И я не могу поймать его...

Дядя, видя, что дядюшка Авет слишком обостряет дело, потянул его за рукав.

...Наступила страдная пора молотьбы, и людям было совсем не до того, чтобы заниматься розыском грабителей. Только мастерова жена Шушан продолжала проклинать разбойников, а заодно от нее доставалось и мужу.

— Какой ты мужчина, раз не можешь расправиться с этими злодеями, юбку тебе надеть! — говорила она мастеру Давиду, а тот отвечал ей:

— Брось ты беситься, жена! Что я один могу поделать, раз мир отмахнулся от этого дела!

— А что миру до этого? — возмущалась Шушан.— Твою корову увели, ты и должен расправиться с грабителями. Такое творится вокруг... Что ты скажешь, если завтра у тебя и дочку уведут?

Об угоне коров люди стали понемногу забывать, но однажды Егнар, жена Арутика-солдата, рассказала такое, что все опять взволновались.

Поздно вечером она пришла к нам дрожащая, перепуганная.

— Что еще случилось, Егнар? — спросил дядюшка Авет, который раньше всех заметил, что она не в себе.

— Ой, умоляю тебя, брат Авет джан, никому ничего не говори,— попросила его Егнар и стала рассказывать: — Сегодня бабка Зардар позвала меня подоить коров, палец нарывает у ее невестки... Ну, взяла я подойник, пошла к ним в хлев, а там такой дохлятиной несет, что меня чуть не стошнило. Чую, запах идет из-под старого настила. Подняла я доску, да так и обомлела... там, под настилом-то, коровья шкура лежит, и, как видно, мастеровой коровы. Хвост-то у нее на конце был с белой кисточкой...

— Вот тебе и аладжинские турки! — ехидно усмехнулся дядюшка Авет.— Негодяй! С волками ест, с хозяином караул кричит. Думает, крестьянин — скотина, ничего не поймет... А не пойти ли на месте уличить его и разделаться с ним? — И он поднялся было, но дядя удержал его:

— Сиди уж! Симон не такой дурак, чтоб ночью пустить тебя к себе в хлев. Да и где тебе справиться одному...

— Так что же, они должны издеваться над нами, а мы — молчать?

— Ты о последствиях подумай. А еще учишь уму-разуму наших крестьян.

Дядюшка Авет хлопнул себя ладонью по лбу:

— Эх, и в самом деле в котелке маловато! И нет никого, кто бы научил, что делать...

— Постигнет же их кара господня, посыплется небесный огонь на их головы,— стала успокаивать его бабушка.

Огонь с неба ни на чьи головы не посыпался, но вместо этого в наше село откуда-то свалились вооруженные люди.

К старосте Симону пожаловал какой-то хмбапет Мурад со своим отрядом. И сразу же по селу пошли разговоры, что староста вызвал этих молодчиков для расправы с аладжинскими турками.

Но в поход на турок хмбапет Мурад так и не отправился, и все его пребывание в нашем селе ознаменовалось лишь тем, что из каждого двора исчезло по одному гусю и курице. Говорили, что хмбапет очень любит жареную гусятину.

РАЗГОВОР О МИРСКИХ ДЕЛАХ

Ясная, солнечная осень. Уже сентябрь подходит к концу, а вода в нашей речке еще такая теплая, что мы почти не вылезаем из нее.

— Эй, хватит вам, бесстыдницы, бултыхаться! Посинели уж, хватит! — кричит со скалы бабушка и, видя, что никто ее не слушает, сама спускается на берег.

А нам только этого и нужно. Мы окружаем ее и начинаем упрашивать, чтобы и она выкупалась.

— Бабушка, бабуся, умереть мне за твою душу,— уговаривает ее Асмик,— иди, мы выкупаем тебя.

— Бабушка, я тебе спину потру,— соблазняю ее и я.

— Матушка Нуно, и мне захотелось, давай немножко освежимся,— говорит Ерикназ; она тут же рядом стирает.

— Ну, ты с ума не сходи,— отвечает ей бабушка,— ребята купаются за скалой, стыдно... Нет, купаться не буду, а вот ноги помою...— Она садится на камень и опускает свои загрубелые, потрескавшиеся ноги в воду.— Ух, хорошо! — говорит она.— Вода-то какая светлая — как журавлиный глаз. Если осенью вода такая, значит, зима будет теплая. Это уж проверено.

— Нам, горемычным, такая зима и нужна,— говорит Ерикназ и, сняв юбку, входит в воду.— Ты уж не обижайся, матушка Нуно, я немножко покупаюсь с детьми.

— И ты, бабуся, и ты! — Мы тянем бабушку со всех сторон и насильно раздеваем ее.

Ерикназ и бабушка приседают в мелкой воде и, немного побрызгав на себя, выходят на берег.

Бабушка вертит в руках свою голубую бязевую рубашку и вздыхает:

— Э, на всю жизнь прилипла к моему телу эта несчастная бязь. Видно, так и не сошьешь по паре белья из белого миткаля. Русский ушел, ситец и миткаль стали черной лисой. Да и у тебя, я гляжу...— говорит она, глядя на рубашку Ерикназ, тоже из крашеной бязи, о которой и не скажешь, какого она была цвета.

— Горе моей беззащитной головушке,— вздыхает Ерикназ,— с самой свадьбы ношу, да так, видно, в ней и помру. Да ладно, я была бы довольна и тем, если б в корыте было тесто и дети мои не знали горя.

— Об этом только и думаешь,— качает головой бабушка и тоже вздыхает.— Если Каро всего не отнимет, может быть, до весны продержимся.

— У Каро, как видно, голова сейчас не тем занята,— говорит Ерикназ,— он не показывается на гумнах. Ну, я говорю своим: «Давайте смелем немного муки, поедим хоть досыта». Ведь нет мочи ждать. Только долг — это огненная рубашка, не отдашь его — так и будет жечь тело. Вот подрастет мой Вачо, первым делом заставлю его расплачиваться с долгами... Вай, брат Авет идет сюда! — испуганно вскрикивает она и торопливо напяливает на себя рубашку.

Из-за скалы показываются дядюшка Авет, мастер Давид, Никол и Арутик-солдат.

— Доброго тебе здоровья, матушка Нуно, приятного купанья! — говорит Авет.

— Долгих лет тебе жизни, Авет! — отвечает бабушка, смущенно оправляя платье.— Вот видишь, соблазнили нас с Ерикназ девчонки, немножко покупались. Такая теплая вода...

— И хорошо сделали,— смеется дядюшка Авет.— Искупаться в такой водичке — одно удовольствие. Я и сам бы не прочь...

Он садится на камень, снимает свою солдатскую помятую фуражку и кладет ее себе на колени.

— А рыба начинает играть,— говорит Никол, глядя на воду.— Агабек, починил бы сеть, осенняя рыба хороша.

— Да ведь эти городские кривляки Артуша в этом году не приехали — для кого же ему стараться? — усмехается дядюшка Авет.

— Ну, ты посовестился бы так говорить,— укоряет его бабушка.— Когда же это бывало, что тебе захотелось рыбы, а Агабек отказывался ловить?

— Шучу, мать, шучу,— успокаивает ее Авет.— Какое сейчас время рыбу ловить? Весь мир похож на рыбу, выброшенную на берег...

Бабушка молчит, о чем-то раздумывая, затем обращается к нему:

— Ты вот что растолкуй нам, Авет: почему это Каро не спешит собирать хозяйскую долю урожая да всякие там подати-налоги?.. Что он думает — оставить их на будущий год или как?

Дядюшка Авет слушает ее и, посмеиваясь в усы, закручивает цигарку.

— Наверно, жалость в сердце проникла. Ведь человек он и должен когда-нибудь богу душу отдать. Может быть, устрашился того, что архангел Гавриил закроет перед ним двери рая, ну вот и решил умилостивить его, оказав милосердие людям...

Авет говорит с таким видом, что и не понять — шутит он или говорит серьезно.

— Глупости болтаешь,— обрывает его бабушка.— Каждому хочется попасть в рай, только, по-моему, тут другие расчеты.

— Конечно, другие. Если я не скажу, сама не догадаешься?

Бабушка с недоумением смотрит на Авета. Арутик-солдат и Никол настораживаются.

— Какие же у него расчеты, Авет? — спрашивает Никол.

— А вот какие. Каро хорошо понимает, что все эти хмбапеты и их сподручные присосались к крестьянскому хлебу. Ну, а наши амбары не так полны, чтобы в любое время брать оттуда, сколько им захочется. Значит, когда им приспичит, они заставят открыть амбары Артуш-аги. Откроют его амбары, а в них тоже пусто... «Нет у меня ничего,— скажет Артуш-ага,— крестьяне мне не дали, и я ничего не могу вам дать». Так он отделается от хмбапетов, но долг-то на крестьянах останется? А долг что верблюжонок: покуда мал — и в щель пролезет, а вырастет — и в дверь не пройдет...

— Э, был бы миру мир, хлебу дешевка, а смерти дороговизна,— задумчиво говорит бабушка.— К таким-то долгам мы привыкли, выдержим.

— Мир дело хорошее, но он сам по себе не придет,— возражает ей дядюшка Авет.— Вот видите, река,— обращается он ко всем,— течет спокойно, тихо, как будто так и текла со дня сотворения мира. А помните, какая она была весной, когда таял снег? Она рвалась и металась в своих каменных берегах как бешеная, пенилась и гремела так, что дрожали скалы. И всегда она пенится и грохочет, когда освобождается от ледяных оков. А освободится — делается вот такой тихой, спокойной. Так и мир. Он сейчас вроде реки в весеннюю пору и не успокоится до тех пор, пока не освободится от своих оков, от несправедливости и всякого зла...

— Ой, Авет джан,— с тревогой глядит на него бабушка,— значит, этой войне и разбою так и не будет конца? Ты, сынок, раскрывай рот для доброй вести, жалко ведь народ, не выдержит он.

— Выдержит, мать. Народ — как эта река. Он сам должен освободить себя от всяких оков, а потому должен биться, другого выхода нет.

— С кем же это он должен биться, Авет джан?

— С насильниками, что угнетают его.

— Разве не довольно того, что государства и царства воюют между собой?

— Я что-то не пойму,— вмешивается Никол,— что за нужда этим государствам и царствам воевать друг с другом? По моему короткому разумению, жить на свете в мире и согласии не такое уж трудное дело. Вот мы соседи, живем дверь в дверь, каждый день тысячу раз досаждаем друг другу — и все-таки до драки не доходим. А государства и царства захватили все семь суш и морей — и опять грызутся из-за чужого добра.

— Ну, цари на то и цари, чтобы драться,— пытается объяснить Николу Арутик-солдат.— Семь дервишей могут укрыться одним одеялом, а семи царям и в семи мирах тесно.

— Это так, но надо сказать и другое: пока есть на земле угнетение и насилие, ни угнетатель не насытится, ни угнетенный не успокоится,— заключает дядюшка Авет и, покряхтывая, поднимается с места.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ШКОЛА

«Анках Айастан» со своей Америкой страшно надоела всем нам. Я уже не говорю о хмбапете Костане и его сподручных. Костан только раз появился у нас в селе и исчез, но теперь все, кто ни приходит, орут от его имени: «Платите налоги, давайте хлеба, давайте волов, лошадей!» — и не знаю еще какого рожна, потому что они, видите ли, спасают «независимую Айастан»...

Среди всего этого шума-гама я бы, наверно, совсем свихнулась, если б неожиданно мне не улыбнулось счастье. Напрасно бабушка говорит, что я несчастливая. Если б я была несчастливой, разве открылась бы школа в нашем селе?

Да, да, это для меня открывается школа. И знаете, кто ее открывает? Не Артуш-ага, не староста Симон и даже не «анках Айастан», а... Америка.

Мы этому очень рады. Мастер Давид говорит, что раньше все мы были дымом[1] святого Геворга, а теперь стали дымом Америки, потому она и открывает школу.

Одно время бабушка называла меня «божьим наказанием» или «огненным проклятием», потому что для людей нет большего наказания, чем небесный огонь. Теперь я стала дымом Америки. Ну что ж, я готова стать хоть пеплом, лишь бы учиться в школе.

Говорят, что школу все же решили открывать не у нас, а в соседнем селе Гошаванке. Ничего, Гошаванк недалеко, я смогу ходить туда каждый день. Башмаки, которые подарил мне Иван, еще не износились, я надевала их всего три-четыре раза. Как будто чувствовало мое сердце, что мне придется ходить в школу. Ну, сердце сердцем, а кроме того, бабушка все твердила, что нехорошо, если мои ноги привыкнут к башмакам. Теперь как раз настало время им привыкать. Говорят еще, что эта школа в Гошаванке не совсем новая. Когда-то, много лет назад, когда мой дядя, отец и дядюшка Авет были маленькими мальчиками, они учились в гошаванкской школе. Но потом, говорят, наш пузатый архимандрит, что сидит в Анийском монастыре, поругался с губернатором, и тот приказал закрыть школу. Этот русский губернатор был будто бы очень плохим человеком, но мне что-то не верится. Разве наш Иван плохой человек? Когда я спрашиваю об этом дядюшку Авета, он говорит:

— И в святом Иерусалиме есть собаки, среди русских есть тоже дурные люди. Иван — одно, губернатор — другое.

— А Америка плохая или хорошая?

— Не знаю, не испытал.

— Наверно, хорошая. Ведь это она, говорят, открывает школу.

— Погоди радоваться, Арцив джан,— хмурится дядюшка Авет.— Какова Америка — увидим. Потерпи, цыплят по осени считают.

Этот дядюшка Авет ничему не верит. Какое дело Америке до наших цыплят, чтобы считать их осенью?.. Их каждый день считает моя бабушка, да и то парами, а не по одному. Но мне до цыплят тоже никакого дела нет, меня интересует только то, что я должна пойти в школу.

---

[1] Дым — жилье, дом; здесь в смысле прихода монастыря святого Геворга.

— Дядя,— спрашиваю я,— а можно мне взять с собою Топлан?

— Зачем? Ты же в школу пойдешь. Чего там делать собаке?

— А если гошаванкские мальчишки вздумают меня бить?

— А ты сама их побей. В драке ты, кажется, никому не уступишь.

— Конечно, не уступлю. Но если Топлан будет со мной, гошаванкские собаки тоже испугаются...

— Да что, ты думаешь там уму-разуму учиться или с собаками воевать? — сердится дядя.

— Ой, не получится толку из этой глупышки,— вздыхает бабушка.— Да и на что девочке учиться, не в дьячки же она пойдет? Жаль, мал еще Артик.

— Ну, почему не получится? — возражает дядя.— Будет учиться, научится отличать черное от белого. Не оставаться же ей неграмотной.

Я радостно бросаюсь на шею дяде:

— Джан, милый мой дядя, я так хорошо научусь читать, что не только дьячком — архимандритом стану!

— Ну вот, говорю же я — глупышка...— качает головой бабушка.

...Все мы очень взволнованы. Все с нетерпением ждем того счастливого дня, когда можно будет отправиться в школу. По вечерам уже не играем в «волков и овец», а собираемся где-нибудь под стеной сеновала Артуш-аги и беспрерывно трещим, как скворчишки у своей скворечни.

— А мне отец книгу привез из города! — хвалится рябой Вано.

Мы прикусываем языки, а Вано, видя, какое впечатление это произвело на нас, так же хвастливо заявляет:

— Мне бабушка уж и школьную сумку сшила для книг!

— Вано джан, покажи нам книгу,— просит его Вачик.— Я еще никогда не видел книги.

— Принеси, Вано джан, покажи,— начинают просить и другие мальчишки.

Вано сначала ломался, но, когда все принялись упрашивать его, согласился.

— Ладно, подождите здесь, принесу,— сказал он и уже пошел было к своему дому, но вдруг раздумал и с хитроватой усмешкой в глазах вернулся к нам.— Дурака нашли, хотите так, за милую душу, посмотреть? Нет, не принесу.

— А что ты хочешь, Вано? — примирительно спросил Вачик.

— Выкладывайте все по две бабки,— потребовал Вано,— тогда покажу.

При этом он стал так похож на своего отца Симона, что у меня зачесались кулаки — так и хотелось наподдать ему. Но

мальчишки начали шарить по карманам, некоторые побежали домой, чтобы принести припрятанные бабки.

Только я и Осан остались с унылым видом стоять на месте. У нас не было бабок.

— А этим косматым козам чего тут надо? — презрительно сказал Вано, указывая на нас.

— Вано джан, братец Вано,— стала умолять его Осан,— дозволь, и мы взглянем!

— «Дозво-оль!» — кривя рот и нос, передразнил он ее.— Книга не для девчоночьего ума, катитесь отсюда!

— Плевать мне на тебя и на твою книгу, рябой пес, кривой нос! — одним духом выпалила я и, схватив за руку Осан, убежала с ней.

Но после того как Вано принес книгу и мальчишки, отдав ему свою дань бабками, окружили его, мы с Осан тихонько приблизились. С каким интересом и с какой тоской смотрели мы на эту незнакомую, но такую желанную книгу, на обложке которой были нарисованы петух и восходящее солнце!

С этого дня я уже совсем лишилась покоя и даже сна. Спала — и видела школу, просыпалась — все думы были о ней. Она представлялась мне каким-то сказочным дворцом вроде тех, о которых рассказывала бабушка,— с мраморными стенами и золотыми дверями, с чудесным садом, где сидят на ветвях птицы невиданной красоты и фонтаны струят жемчужные воды, где мы будем резвиться в тени деревьев, играть и слушать птичьи разговоры, тихое журчание ручейков и фонтанов...

Ах, когда же откроется эта чудесная школа? Мне казалось, что я и в самом деле сгорю от нетерпения, превращусь в пепел, ведь бывали же такие случаи...

И вот наконец распространилась весть, что господин учитель прибыл в наше село, обходит дома и записывает имена детей.

Я, задыхаясь от волнения, мчусь к бабушке:

— Бабуся, расчеши мне волосы!

— Ух, слава тебе господи, не сглазить бы...— смеется бабушка.— Что это случилось, что ты вспомнила о волосах?

Как не удивляться бабушке! Я почти никогда не причесывалась, и волосы у меня так завились, так запутались, что никакой гребень их не берет.

— Э, да разве теперь расчешешь твои вихры,— ворчит бабушка и, взяв прочный гребень из буйволового рога, предупреждает меня: — Ну, смотри не пищи, не хныкай, буду чесать и драть до боли.

— Не буду, не буду, хоть кожу сдирай. Только торопись, бабуся, сейчас к нам придет господин учитель...

— А-а, понятно,— улыбается бабушка,— царство небесное отцу твоего учителя. Если б не это, так и не причесалась бы в этом году.

Бабушка смачивает мне волосы водой и начинает драть их гребнем, я креплюсь, но вдруг раздается стук в дверь, я вырываюсь из ее рук и мчусь открывать.

На пороге появляется высокий молодой человек без усов и бороды. Глаза у него большие, черные, а руки белы, как хлопок.

Сняв шляпу, он кланяется:

— Здравствуйте! Можно к вам?

— Добро пожаловать, дорогой господин учитель джан,— спешу я ответить, хотя и вижу, что он обращается к бабушке.

— Так не отвечают учителю, надо сказать «здравствуйте»,— улыбается он и щелкает меня пальцем по носу.— А ты кто будешь?

— Здравствуйте! А ты кто будешь?— точно повторяю я его слова.

— Какая занятная! — смеется учитель.

Мне хочется повторить и это, но бабушка хватает меня за руку и оттаскивает в сторону.

— Здравствуй, дорогой учитель, присаживайся,— приглашает она, укладывая подушки возле курси.

— Спасибо, мать,— отказывается учитель,— я только на минутку. Хотел узнать, сколько у вас детей.

— Я, Асмик, Аник, Артик... Беженка Осан тоже еще маленькая,— снова спешу я с ответом.

— А можно взглянуть на этого Артика? — спрашивает учитель.

— А вот он спит,— показываю я на люльку Артика.

— Значит, так еще мал? Ну хорошо,— говорит учитель и хочет уйти.

— Господин учитель джан, а как же с остальными? — недоумевает бабушка.

— Остальные, кажется, девочки, не так ли, мать?

— Да, девочки. Две — моего Агабека и одна — моей Сито,— объясняет бабушка и добавляет: — Муж ее ушел в солдаты, живи ты долго, тебе передал он остаток лет...

— Девочкам придется обождать. Мы пока составляем списки только на мальчиков. Уж очень мал дом, отведенный нам под школу, всех не вместит,— говорит учитель и уходит.

Я стою, растерянно глядя на дверь, потом начинаю громко рыдать.

— Ничего, детка, ничего,— успокаивает меня бабушка, но я от обиды и горя уже совсем не владею собой.

— Что ему сделали девочки? А еще учитель! — кричу я.

...Все, у кого есть девочки, без конца говорят о школе. Все раздосадованы тем, что девочек не записали в школу, но при нас почему-то говорят совсем другое. Как только мастерова Манушак начинает плакать, ее мать Шушан сейчас же поворачивает разговор в другую сторону.

— Ты уже взрослая девушка, тебе уж четырнадцать лет,— говорит она,— того гляди, придут сваты. На что тебе эта учильня?

— А что думает мастер Давид? — интересуется бабушка.— Ну ладно, твоя Манушак уже взрослая девушка, а почему не принимают вот эту нашу непоседу? Такая обида. Неужели уж мой Агабек и мастер Давид не заслужили и настолечко уважения, что перед их детьми закрывают двери?

— Ты, матушка Нуно, не подливай масла в огонь,— недовольно говорит Шушан.— Мастер Давид что ребенок, подавай ему школу, и все. «Для меня, говорит, это позор, если моя дочь останется неграмотной».

— Говорила, что я взрослая девушка, а теперь говоришь — ребенок. Если я ребенок, значит, должна ходить в школу,— сердито возражает матери Манушак.

— Да если нет разрешения, как ты пойдешь? Ведь не я, учитель не пускает,— отвечает ей мать и вновь начинает уговаривать: — На что девушке учение, да еще такой светлоликой гурии-пери, как ты? Пойдешь, с мальчишками там будешь сидеть, какой-нибудь скажет тебе нехорошее слово. Отец узнает — до кровопролития дело может дойти...

Манушак и верно очень красива, самая красивая девушка у нас в селе, а может быть, и на всем свете. У нее длинные черные косы, извивающиеся на спине как змеи. Лицо смугловатое, глаза тоже черные, с длинными ресницами. И такая она высокая, стройная, что все говорят — как тополь. Каждый раз, когда поют:

Ты стройна, как тополь,
Ты пламя, душу опалишь...

я думаю, что эта песня сложена про Манушак.

Ну, Манушак не пускают в школу потому, что она девочка. А почему не ходит учиться Вачик, сын вдовы Ерикназ?

Я узнала об этом, когда мы, девчонки, собрались посмотреть, как мальчишки пойдут в школу.

Кроме Вачика, там были все.

— Еказ, а где же ваш Вачик? — удивленно спросила я его сестру.

— Вачика не пустили,— грустно ответила девочка.

— Почему, Еказ, кто не пустил?

— Вачик теперь батрачит у старосты Симона. А разве батрака пустят хозяева? — сказала Еказ.

Выходит, что Америка оказалась для нас бесполезной. Одна — девочка, поэтому ее не пускают в школу, другой — батрак. Только рябому Вано все легко дается. Чего же тогда дядюшка Авет говорил, что и для нас, мелкокопытных, настанет светлый день!

Я все еще раздумывала об этом, когда из старостиного дома с плетюхой навоза на спине вышел Вачик. Его тоненькие ноги дрожали под тяжестью, лицо раскраснелось. Тяжело дыша, он

подошел к нам и сам некоторое время тоже смотрел вслед удаляющимся мальчишкам, затем, отерев о плечо потную щеку, со строгостью мужчины прикрикнул на свою сестру:

— Чего таращишь глаза? Иди домой!

И мы с Еказ разошлись по своим домам.

«ПЕС И КОТ»

С тех пор как открылась школа, мы забыли свои прежние игры. Ни в прятки больше не играем, ни в сватовство невесты, а наши бедненькие куклы, сделанные из разного тряпья, забросили под люльку Артика. Аник даже объявила, что ее кукла состарилась, и выбросила ее в овраг.

Асмик хоть и не очень-то балует свою куклу, но, как только Артик пытается засунуть себе в рот комок разноцветных тряпочек, называемых куклой, она выхватывает его у него из рук и кладет под люльку.

— Пусть лежит,— говорит она,— когда-нибудь пригодится.

А на что еще может она пригодиться, когда мы и думать ни о чем не хотим, кроме игры в школу? Вот жаль только, что не знаем мы, что делается там, когда господин учитель входит в школу. Я уже несколько раз подумывала сходить к рябому Вано, порасспросить его, но, по правде сказать, опасалась: начнет он задирать нос, и мы опять подеремся.

На помощь пришла моя мать.

— В школе ребятишки садятся рядком,— говорит она,— раскрывают книги, и господин учитель начинает урок.

— А что это такое — урок? — спрашивает Асмик.

— Урок, ну, это урок. Господин учитель читает: «Ай, бе, ги...» Ребята повторяют. Вот и получается урок,— объясняет мать.

— А ты видела? — спрашиваю я ее.

— Нет, не видела, но знаю,— отвечает мать и вздыхает: — Твой отец рассказывал.

И этого нам было достаточно, чтобы начать игру в урок. Мы усаживаемся к стенке, одна из нас становится господином учителем — чаще всего, конечно, я, потому что я видела взаправдашнего учителя и даже разговаривала с ним. И я начинаю изображать учителя с того, что повторяю все, что видела и слышала. Подхожу к девочкам и говорю:

— Здравствуйте! Можно к вам?..

— Добро пожаловать, господин учитель джан,— повторяют они то, чему я их выучила.

— Так не отвечают учителю, надо сказать: «Здравствуйте! А ты кто будешь?» — объясняю я, потом смеюсь, пальцем щелкаю всем по носу.

Аник прячет свой нос, он у нее всегда мокроватый, и я хлопаю ее рукой по спине.

— Ай, бе, ги! — громко говорю я.

Девочки повторяют, и на этом урок заканчивается. Затем все точно так же мы повторяем сначала.

Однажды Аник заявила, что ей скучно в моей школе и что лучше снова играть в куклы. Она достала из-под люльки Артика куклу Асмик и стала играть с ней. Но я заметила, что она усадила куклу к стенке и повторяет мой урок: «Здравствуйте! А ты кто будешь?..»

— Я тоже буду играть одна,— объявила Асмик и тоже отделилась. Со мной осталась одна Осан, но она с самого начала не находила ничего интересного в нашей игре. Значит, моя школа должна была закрыться, однако мать снова пришла нам на помощь.

Она слушала, слушала нас и вдруг стала рыться в своем сундуке. Мы всегда с любопытством заглядывали в этот сундук, когда мать отпирала его. Она прятала там свои свадебные украшения и белую тюлевую фату, которую подарила ей на свадьбу Февронья-ханум. Сколько раз просили мы, чтобы мать отдала нам этот тюль на свадебные наряды куклам, но она не давала.

«Вот пойдешь венчаться в церковь,— говорила она,— тебя наряжу».— «Сама иди, если хочешь, венчаться!» — сердито отвечала я ей. «Э, нет, я уж на всю жизнь обручилась...» — вздыхала мать.

Пошарив в сундуке, она достала оттуда маленькую книжку в зеленом переплете.

— Вай, книга! — радостно всплеснули мы руками.

Мать задумчиво погладила книжку и протянула мне:

— Возьми. Это «Пес и кот», книга твоего отца.

Я удивленно уставилась на нее, не понимая, о чем она говорит.

— Возьми,— повторила мать.— Здесь описаны разные приключения пса и кота.

Выхватив из ее руки книжку, я запрыгала от радости:

— Джан, пес и кот, пес и кот! Мам, а что они делают?

Мать снова взяла книжку, повертела ее в руках и, немного подумав, стала рассказывать:

— Когда-то кот был шапочником, а у пса не было шапки... И вот однажды приходит кот... нет, пес приходит к коту... Эх, запамятовала, твой отец хорошо об этом читал... Да, кажется, так и должно быть, пес принес овечью шкуру к шапочнику-коту и говорит: «Эй, мурлыка-мастер, голова у меня мерзнет, сшей мне, ради бога, шапку, подходящую для моей головы...» — Она остановилась, вспоминая продолжение.

— Потом, потом что было? — зашумели мы.

— Случилось потом так, что мурлыка надул пса, и с тех пор они на всю жизнь остались врагами.

— А почему же Топлан не ссорится с нашим мурлыкой? — сейчас же вмешалась Аник.

— Э, кто ее знает почему,— отмахнулась от нее мать.

— Ну да, а сколько раз Топлан грызла старостиного кота! — заспорила Асмик.— Кто знает, может быть, старостин кот и украл у нее шапку?

И с этого дня я уже не выпускаю из рук книжку отца. Хожу, держа ее под мышкой, и без конца повторяю: «Когда-то кот был портным, а у пса не было шапки...» Я так надоела всем, что в конце концов надо мной стали смеяться: «Пес и кот» идет!

— Нет, несмышленая ты,— говорит мать,— и ничего к тебе не перешло от отца. Тот читал — как воду пил, а ты двух слов связать не можешь.

— А как он читал? — сгораю я от любопытства.

— Да уж так, даже не глядя в книгу, читал. И не только по-армянски, на каком хочешь языке мог читать,— отвечает мне мать.— Твой отец знал двенадцать языков. Придет русский — он с ним по-русски разговаривает, придет турок, татарин — начинает по-ихнему балакать, чужестранец или айсор заговорят с ним — он и им ответит...

— Ну, это получилось пять языков. А остальные какие он знал?

— Остальные? Армянский, грузинский, грабарский [1], ашхарабарский [2]...— перечисляет мать.

Я не знаю, насколько верно все то, о чем говорит мать, но я слышала, что мой отец когда-то работал у настоятеля Анийского монастыря и от него выучился языку библии. Иногда дядюшка Авет принимался рассказывать, как мой отец говорил на этом библейском языке...

Я слушаю все, что говорят о моем отце, и в душе горжусь тем, что мой отец был таким знающим человеком. После таких разговоров я всегда вижу его во сне. Он является мне, как наш Арутик-солдат, в расстегнутой шинели, с заросшим черной щетиной лицом и с палкой в руке. Смотрит, улыбается, но ни одного слова не говорит. И мне становится очень горько оттого, что мой отец, знающий двенадцать языков, не хочет поговорить со мной ни на одном из них.

С обидой в душе я просыпаюсь, думаю об отце, а потом целый день хожу за матерью и без конца рассказываю ей про свой сон.

— Это потому отец снится тебе, что ты тоскуешь по нем,— говорит мать.— Не так хорошо помнишь, а тоскуешь... Это бывает...

— А ты хорошо помнишь?

— Конечно, помню,— вздыхает мать,— век его не забуду.

— А тоскуешь или нет?

— Оставь! — вдруг сердится мать.— Иди-ка гуляй.

---

[1] Грабар — древнеармянский литературный язык.

[2] Ашхарабар — современный армянский литературный язык.

Я удивленно смотрю на нее и выбегаю из комнаты, но за дверью останавливаюсь, прижимаюсь к щелке и вижу, как мать утирает платко́м глаза.

ССЫЛЬНЫЙ ИЛИ СЕМИНАРИСТ?

Такие уж люди наши сельчане: стоит появиться у нас новому человеку, так чего только не выдумают о нем! Не прошло и двух недель с того дня, как приехал к нам учитель Хорен, а о нем говорят уж столько, словно людям все известно и о нем самом и о его дедах и прадедах до семи поколений.

Зорба-Зардар (знали бы вы, как меня и бабушку бесят ее слова!) говорит, что учитель Хорен — ссыльный и бежал в наши края из Сибири, что он безбожник и занимается делами, противными царю и богу.

Она с гневом говорит об этом, и ей даже в голову не приходит, что царя давно нет.

Моя бабушка ничего не знает об учителе Хорене, но она не хочет соглашаться с Зардар и тоже начинает выдумывать.

— Он семинарист, а не ссыльный,— говорит она.— Не поладил с архимандритом семинарии, ну вот и пошел в учителя.

— Как же, сам пошел! — спорит Зардар.— Нет, архимандриты выгнали его из семинарии, потому что он безбожник, не ходит в церковь. Мой Симон говорит, что этот семинарист уже на ножах и с нашим отцом Сааком. Да разве можно отдавать детей в руки такого безбожника!

— Ну и не отдавала бы, кто тебя заставлял? — говорит моя бабушка.

— Ты несешь, Нуно, бог знает что,— злится Зорба-Зардар.— Как это можно, чтобы ребенок из такой семьи, где дом — полная чаша, не знал азбуки-грамоты? Он пойдет не в пастухи-батраки, как другие, а займет место отца.

Моя бабушка готова лопнуть от гнева, о себе я уж не говорю.

— Бабушка Зардар,— взволнованно спрашиваю я,— ты говоришь, Вано будет старостой?

— А что, тебе не нравится? — задирает нос Зорба-Зардар.— Сын паши будет пашой, не каким-нибудь нищим попрошайкой.

— А ваш Вано рябой! — кричу я и убегаю.

Старухи продолжают спор об учителе Хорене. Я тоже думаю о нашем учителе. По правде говоря, я уже давно думаю о нем, еще с того дня, когда он зашел к нам, чтобы записать детей в школу. Тогда, как вы знаете, моя бабушка такой шум подняла, что я как следует и не рассмотрела учителя. После этого я еще раз видела его, и мне показалось, что это тот самый молодой человек, который был на мельнице, когда мы ходили будто бы проведать сватью Алтун. Несколько раз я пыталась расспрашивать об этом тетушку Ашхен, но она такая хитрушка. Трудно от нее чего-нибудь дознаться: смеется, шутит — и все...

В самом деле, кто же наш учитель — ссыльный или семинарист, из Сибири сбежал или из семинарии? Я плохо представляю себе, что такое Сибирь, а семинария, по-моему, должна быть большой деревней, но такой, где полно архимандритов. Учитель Хорен не мог не убежать оттуда. Вы думаете, легко жить с архимандритами? В наших краях только один архимандрит, и то все мы боимся его. Он все время сидит в Анийском монастыре, но иной раз садится на мула и приезжает в гости к нашим сельчанам. Завидя его, бабушка всегда недовольно ворчит: «Опять явился этот монастырский бугай». А мы тотчас же начинаем выкрикивать свою прибаутку: «Вылез мох из камня, архимандрит — из ущелья!»

За это однажды хозяйский Қаро оттаскал меня за уши.

А что касается учителя Хорена, он мне нравится. И очень хорошо, что он всегда на ножах с попом Сааком. Вы еще не знаете, какой противный этот поп. Как только наступает рождество или пасха, он и плешивый пономарь Андро ходят из дома в дом и собирают все, что можно,— и яйца, и масло, и даже кур берут. Наши бедные курицы так старательно несутся, и бабушка так бережет яйца, чтобы на пасху покрасить и дать нам, а этот бессовестный поп Саак придет, выставив свое пузо, пробормочет несколько слов, и красные яички исчезают в его бездонных карманах. Да это еще хорошо, если только яйцами отделываемся. Поп Саак любит и поесть, особенно если на столе что-либо вкусное. Ну, у нас в доме ничего особенно вкусного не бывает. Но однажды на пасху бабушка сварила нам рисовый плов. И вот являются с молебствием поп и пономарь. Они съедают наш плов, утирают мохнатые рты и уходят, чтобы сожрать все вкусное в соседских домах.

И как это не лопается пузо у этих обжор? Значит, не зря говорят, что в животе у попа уместится гора и все же он не насытится.

И все это терпят для того, чтобы поп Саак благословил наш дом, после чего, дескать, он должен наполниться всяким добром. Но никогда еще ничего подобного не случалось. В прошлом году как раз после пасхи и околела наша Цахик. Ну, значит, нечего попу и хвалиться, что он может обогатить наш дом.

У этого попа Саака есть еще одна дурная привычка — тыкать свои желтые, провонявшие табаком пальцы прямо в губы, чтобы их целовали.

Однажды бабушка привела нас в церковь. И этот противный поп, совсем не спрашивая, нравится мне это или нет, сунул мне в рот свои вонючие пальцы. Меня чуть не стошнило, я стала отплевываться. Бабушка рассердилась на меня, а поп сказал, что плеваться грех.

А почему грех? Каждый, кому вздумается, сунет тебе в рот грязные пальцы — и не смей плеваться!

Я понимаю учителя Хорена, мне тоже не нравится этот воло-

сатый и пузатый поп с желтыми, провонявшими табаком пальцами.

Говорят, что учитель Хорен читает безбожные книги и других учит безбожию.

Мне не повезло со школой, я не научилась читать и потому не могу судить, какие книги с богами, какие безбожные. Вместо этого я расскажу вам про другое.

Учитель Хорен очень подружился с дядюшкой Аветом, с моим дядей и огородником Николом. С мельником Иваном и беженцем Умршатом он тоже дружит. Бывая иногда в нашем селе, он чаще всего заходит к дядюшке Авету, и нашим сельским богачам это очень не по душе.

— Если ты человек ученый, так и держать себя должен с достоинством, а не водиться со всякой голытьбой,— говорит Зорба-Зардар.— Разве пристало учителю быть таким легкомысленным?

— Это, Зардар, не от легкомыслия,— сейчас же вступает с ней в спор моя бабушка.— Сердце его не знает высокомерия, вот он и водится с бедными крестьянами. Сам он, видать, простой человек, хоть и носит «крахмалку».

— Человек, который ходит в «крахмалке», должен и честь свою держать высоко, а не сидеть в вонючем хлеве у Авета,— не сдается Зорба-Зардар.

«Крахмалкой» у нас в селе называют рубашку с белоснежным воротничком — такую и носит учитель Хорен. Видно, он вовсе не боится запачкать ее, потому что часами просиживает в маленькой оде в хлеве у дядюшки Авета.

Ну, а я не была бы Арцвик, если б не дозналась, о чем они там беседуют.

Однажды дядя, увидев, что учитель Хорен направился к дому дядюшки Авета, бросил работу и подмигнул Умршату. Я сразу догадалась, в чем дело.

Прежде чем они успели выйти, мы с Осан выскочили на улицу, прибежали во двор дядюшки Авета и спрятались в кормушке Джейран. Корова обнюхала нас, но не издала ни звука. Мы прижались друг к другу, стали смотреть.

Видим, мужчины усаживаются вокруг учителя Хорена, а тот вынимает из кармана маленькую книжку и начинает читать. Читает, читает, все слушают молча, только дядюшка Авет покачивает головой и тихо приговаривает: «Верно все это, верно, прямо от нашего сердца говорит...»

А я ничего не могу понять. Вдруг до меня доходит: «Да это же просто урок, как в школе!» И меня злость разбирает на дядю: «Бессовестный, сам, плохо ли, хорошо ли, умеет читать, и все же учится в этой домашней школе, а про нас и не думает. Ну, ежели так, я тоже знаю, как мне быть...» Оставив Осан в кормушке Джейран, я мчусь домой, хватаю отцовскую книжку «Пес и кот» и готова уже бежать обратно, но бабушка останавливает меня.

— Арцив джан, убери-ка в стойле,— говорит она.— Мучается наша телочка, давно не убирали навоз.

Я стою раздумываю. Что делать? И телочку Цахик жалко — неудобно лежать ей в навозе, и медлить никак нельзя — ведь меня ждет учитель.

— Бабушка, пусть Цахик подождет, я в школу иду! — говорю я и кидаюсь к двери.

А бабушка, покачивая головой, ворчит:

— Совсем помешался ребенок на этой несчастной школе...

Но в оде я застаю одного только дядюшку Авета. Он сидит на прежнем месте и с задумчивым видом курит цигарку.

— Дядюшка Авет,— кричу я,— куда делся семинарист?

— Какой семинарист? — удивляется дядюшка Авет.

— Ну, один у нас семинарист, учитель Хорен...

— Нет, детка, это тебе почудилось,— притворяется дядюшка Авет.— Семинарист не приходил сюда.

— Как это не приходил,— теперь уже удивляюсь я,— своими глазами видела его! И Осан видела своими глазами. Вы книжку читали...

— Верно, дядюшка,— вылезая из коровьей кормушки, испуганно говорит Осан,— и мне он почудился.

Авет строго смотрит на нас и грозит пальцем:

— Обеим уши надеру, ежели кому скажете об этом! Ты смотри у меня, Арцив! Слаба ты на язычок, но это должно остаться между нами.

— Вай, дядюшка Авет, ну зачем так говоришь,— обижаюсь я,— что ты, не знаешь меня? Вот когда вы избили хозяйского Каро, разве я об этом кому-нибудь сказала?

Дядюшка Авет безнадежно машет рукой:

— Нет, твой язык, видно, не запрешь на замок.

— Это ничего, дядюшка Авет, ты лучше скажи мне, где найти семинариста. У меня дело к нему.

— Какое дело?

— Я хочу, чтобы он и меня принял в эту вашу школу. Вот принесла «Пса и кота», и пусть он покажет мне, как это читать.

Авет раскрывает книгу и на первой странице читает надпись:

— «Арам Ваганянц»... Ну и ну!.. Так это же книжка нашего Арама,— грустно говорит он и задумывается.— Ладно, оставь книжку, я покажу ее семинаристу и попрошу его научить читать тебя и Осан,— соглашается он и вдруг оживляется: — А ведь это ты хорошо придумала, Арцив джан, молодец!.. И как это мы сами не додумались! Так ни шампур не сгорит, ни шашлык...

При чем тут поговорка о шашлыке, мне совсем непонятно, но от радости я кидаюсь ему на шею:

— Дядюшка Авет джан, какой ты хороший!

Он ласково гладит меня по голове.

— Погоди радоваться, посмотрим еще, что скажет учитель.

А я еще раз тебе говорю,— снова предостерегает он,— держи язык за зубами.

Легко сказать. А как его удержишь? Я выскакиваю на улицу и одним духом добегаю до дома мастера Давида.

— Манушак,— кричу я,— эй, Манушак! Знаешь, случилось такое...

— Что, что? — волнуется Манушак.

— А то, что пусть теперь в землю провалится этот рябой Вано! Очень уж он задрал нос, думает, только он может ходить в школу...

— А кто еще? — настораживается Манушак.

— Я буду ходить! Семинарист будет меня учить. Я, дядюшка Авет, мой дядя, Никол, Осан — все мы будем учиться.

— Арцив джан, сестрица, скажи учителю, пусть и меня примет в вашу школу,— умоляет меня Манушак.

— Ладно, Мануш джан, я поговорю с семинаристом, посмотрим, что он скажет. Только ты смотри держи язык за зубами!— строго говорю я ей и мчусь на улицу, чтобы то же самое рассказать Еказ, Вачику и всем, кто не ходит в гошаванкскую школу.

ЧЬЯ ШКОЛА ЛУЧШЕ

Итак, исполнилась моя мечта — я учусь читать. Манушак, Еказ, Асмик и Осан тоже учатся вместе со мной. У нашей школы нет постоянного места: один день мы собираемся у нас, другой — у дядюшки Авета или в доме мастера Давида. По-моему, наша школа гораздо лучше, чем школа рябого Вано, несмотря на то что однажды Америка раздавала там ученикам сгущенное молоко.

— Это сладкое молоко,— говорит дядюшка Авет,— вроде поцелуя Иуды.

Кто такой Иуда и почему он должен прийти и поцеловать рябого Вано? Ничего не пойму. А молоко... неплохо бы попробовать его. Меня занимают Иуда и молоко, а бабушку — то, почему учитель Хорен чаще ходит в дом к мастеру Давиду, чем к нам. Она считает, что учитель прежде всего наш знакомый, а кроме того, у нас полно девочек,— значит, у нас он и должен давать свои уроки, а не в доме мастера Давида.

— Не сластена, не обжора какой, чтобы прельститься яичницей Шушан,— раздумывает вслух моя бабушка.

— Наверно, не яичница его притягивает туда, а Манушак,— шутит тетушка Ашхен.

— Что? Говоришь, Манушак? — настораживается бабушка.— Почему бы и нет? Девушка — как луна. Хорошая была бы невеста учителю.

— Ну, нечего грешить, девочка еще ребенок,— сердито говорит дядя.— Какое вам дело до того, к кому ходит учитель?

— Ты скажешь тоже, Агабек. Какой же она ребенок? — не успокаивается бабушка.— Пятнадцатый год, кажись, пошел, я в эти годы была уже обручена с твоим отцом. Да и что за детство у девочки? Не успевает выйти из пеленок, как уж время обручаться пришло.

— Бабушка, я давно вышла из пеленок! — вмешиваюсь я в разговор.— Может быть, и мне время пришло обручиться?

Тетушка Ашхен, смеясь, щелкает меня пальцем по голове:

— Глупая, разве ты не знаешь, что значит обручиться?

— Что бы оно ни значило, я хочу, чтобы учитель Хорен приходил к нам...

— Для учения или для обручения? — улыбается тетушка.

— Пусть учит нас,— говорю я,— чтобы я тоже могла стать учителем.

Все смеются надо мной; а у меня нет времени воду в ступе толочь, я должна идти на урок. Беру книгу и убегаю.

Эту книгу мне подарил учитель. Он всем нам подарил книги и тетради. Я говорю «подарил» потому, что бабушка чего только ни делала — он отказался от всякой платы. Бабушка не деньгами хотела платить. Откуда у бабушки деньги? Для учителя Хорена она собрала десятка два яиц. То же самое сделали и Шушан и даже вдова Ерикназ. Но все не находилось подходящего случая преподнести ему эти яйца. Решили это сделать, когда он придет к нам на урок.

И вот однажды, когда учитель пришел и приготовился начать урок, я вскочила с места и поставила перед ним полную корзину яиц.

— Это что такое? — с недоумением взглянул он мне в глаза.

— Яйца, учитель джан, наши куры снесли для тебя...— смущенно ответила я,— то есть для вас...

Учитель укоризненно посмотрел на бабушку.

— Да будут светлыми твои дни, учитель джан, ты мне как сын, не обижайся,— заговорила бабушка.— Яйца, ничего другого нет. Что поделаешь, коровы тоже нет у нас, а то приготовила бы масла, сыру...

— Не годится, мать,— сказал учитель,— не из-за платы я занимаюсь с вашими детьми. Будете так делать, я могу обидеться и больше не прийти.

Я испугалась и, схватив корзину, отбросила ее в сторону. Несколько яиц вылетели из корзины и разбились.

— Сумасшедшая!..— прикрикнула на меня бабушка.

— А хорошо будет, если учитель обидится? — стала я оправдываться.

Так и не удалось нам преподнести свой подарок учителю.

В этот день наш урок проходил очень скучно. Учитель пытался шутить с нами, рассказывал смешные истории, ну а мы все думали о том, почему он отказался от нашего подарка. И он,

видя, что мы не в духе, быстро закончил урок и пошел к дядюшке Авету, чтобы там заниматься с мужчинами.

Едва закрылась за ним дверь, как я напала на бабушку.

— И о чем ты думала, бабушка? — стала я отчитывать ее.— Целую корзину яиц подсунула! Что же, по-твоему, учитель — наседка и должен цыплят высиживать?

— Не нами заведено это, дочка,—оправдывалась бабушка,— такой уж обычай: почтенному человеку всегда надо подарок сделать. Вон приставу или архимандриту что ни принесешь — возьмут и даже спасибо не скажут... Ведь это же не что-нибудь — яйца. Думала — сварит иногда, поест...

— Ну да, очень они нужны учителю! Хочешь сделать ему добро, так свяжи пару носков. А если и штаны залатаешь, будет еще лучше. Дядины шаровары все время латаешь, залатай и ему, руки не отвалятся...

— А вот это ты дело говоришь, бала джан,— сразу оживилась бабушка.— Парень живет бобылем, ни дома, ни семьи, и в стужу и в дождь идет к нам, чтобы заниматься с таким божьим наказанием, как ты... Не нехристи же мы какие-нибудь, чтобы не помнить его добра.

Так было решено связать для учителя шерстяные носки. А о том, чтоб латать учителю штаны, мы пока не думаем — они у него совсем новые.

Бабушка, мастерова Шушан, Ерикназ и Маран принялись за работу. Целый день они расчесывают и прядут шерсть. Бабушка сделала краску из сушеной травы, которую у нас называют «ослиным молоком», и выкрасила свою пряжу в темно-коричневый цвет. Шушан взяла для краски другую траву, и у нее получился цвет яичного желтка.

Маран и Ерикназ хотят связать учителю носки, смешав красные и зеленые нити.

— Учитель ведь не курдский жених,— говорит тетушка Ашхен.— Вряд ли ученый человек наденет такие пестрые носки.

— Опять обидится,— беспокоюсь я, но женщины не обращают внимания на мои слова, сидят нос к носу и вяжут, вяжут...

Вот плохо — не знают они, на какую ногу вязать. Не пойдешь же к учителю снимать мерку! Это подарок — и, значит, должен готовиться втайне. Но тетушка Ашхен такая же хитрая, как и ее дочь Асмик,— она быстро находит выход.

Наш учитель всегда ходит в новых, красивых башмаках, а кроме того, надевает еще на них резиновые трехи, которые он называет калошами.

У нас в селе никто не делает этого. Дядя, Авет и все наши соседи летом и зимой ходят в одних трехах. Я еще не видела, чтобы мой дядя надевал две пары трехов даже в самые сильные холода, хорошо, что хоть одна-то есть. Конечно, зимой, в морозы, не очень-то разгуляешься в таких трехах, но ведь холода для

того и бывают, чтобы люди мерзли. А учитель, как видно, очень боится холода, потому что он человек без дома и без семьи.

Когда учитель приходит к нам, он снимает калоши у двери, чтобы не запачкать наш земляной пол, а башмаки у него всегда чистые, блестят.

И вот прошлый раз, когда он пришел к нам, наша Аник сцапала одну калошу и улизнула с ней в оду, где сидели за вязаньем женщины. Это ее научила тетушка Ашхен, калоша была нужна ей, чтобы узнать размер ноги учителя.

Учитель начинает урок. Я слушаю его и все чаще поглядываю на дверь — Аник что-то долго не возвращается. Вот уже и урок кончается, учитель должен уходить, а Аник все нет и нет. Ну, и получилось очень нехорошо. Учитель поднимается с тахты, подходит к двери, а одной калоши нет. Я хочу объяснить, в чем дело, но бабушка из-за спины учителя и глазами и бровями делает мне знаки, чтоб я молчала. Наконец я не выдержала и побежала в оду. И боже мой, что я увидела во дворе! Наша дурная Аник стоит у каменного чана, наполненного питьевой водой, и играет в лодочки. Она усадила в калошу свою куклу, тянет ее от одного «берега» к другому, «лодка» иногда опрокидывается и опускается на дно, но это ничего — можно начать сначала. Интересная игра!

Я не удержалась от соблазна, тоже поиграла немного с Аник и, только вспомнив, что учитель ждет, схватила мокрую калошу и принесла ему.

— Где ты ее нашла? — спрашивает меня учитель.

— Кошка унесла,— вру я,—наша кошка очень любит таскать калоши.

— А почему она мокрая?

— Наверное, кошка налила...

Вскоре после этой злополучной истории с калошей носки были готовы.

— На Новый год подарим их учителю, тогда не обидится,— говорит бабушка.

До Нового года оставались считанные дни... Учитель уехал в город, но перед отъездом сказал, что на Новый год обязательно приедет к нам. Он велел мне выучить стихотворение из моего учебника, и я целый день расхаживаю по комнате и хриплым от простуды голосом выкрикиваю стихи:

Перо, будь ко мне добрей!
Взглянуть на тетрадку гадко.
В руках у сестры моей
Ты пишешь ровно и гладко.

— Да не ори так! Разве нельзя потише? — ворчит бабушка.— Что ни вложи в уста этой глупышке, от нее покоя не будет.

— Если тихо будешь говорить, не ошибешься,— советует мне тетушка Ашхен.

Ошибиться-то я не ошибусь, только вот в толк не возьму, что означает «ровно и гладко». Не спросила у учителя, постеснялась,— значит, остается спросить у бабушки. Правда, в школу бабушка не ходила, но, кажется, нет ничего на свете, чего бы она не знала.

— Бабушка,— обращаюсь я к ней,— а что значит «ровно и гладко»?

— Ну, не глупышка ли, три месяца учишься читать и писать, а самых простых слов не понимаешь,— распекает она меня.— Ровно и гладко — значит, как у учителя.

Это объяснение меня вполне удовлетворяет, и я продолжаю выкрикивать:

Перо! Не пиши так гадко,
Ну, что бы нам подружиться!
В руках у старшей сестрицы
Ты пишешь ровно и гладко.

Кричала, бубнила, всем надоела, пока не выучила наизусть это «ровно и гладко».

Наступил Новый год, вернулся из города наш учитель.

Видели бы вы, какие он привез нам подарки! Аник — настоящую куклу, с волосами и глазами, мне и Асмик — по красной ленте, а Осан — ситцевое платье. Гарик получил деревянное ружье и сейчас же начал стрелять:

— Бум, бум, всех пелестлеляю!..

— Учитель джан, и зачем надо было тратить столько денег? — сокрушалась бабушка, но по всему видно, что она очень довольна. С веселым видом она расстилает скатерть, ставит угощения. На этот раз у нас по-настоящему праздничный стол, потому что мы встречаем Новый год вместе с соседями и они принесли все, что сумели сготовить. На столе кроме пирога, принесенного Майей, появляется и наш новогодний багарш, а кроме того, поджаренный на постном масле щавель, голубцы с кашей, белый лаваш... А дядюшка Авет вынимает из кармана бутылку водки, чтобы веселее отпраздновать Новый год.

Бабушка, перекрестившись, начинает разрезать новогодний багарш. Мы затаив дыхание ждем. Сейчас она даст всем багарша, и выяснится, кто из нас самый счастливый. Это выяснится только тогда, когда каждый съест свою долю. Но никто не решается есть первым. Самым решительным среди нас опять оказывается дядюшка Авет. Он берет свой кусок и, шутливо перекрестившись, чтобы позлить бабушку, начинает есть.

— Вот она, пуговица! — сразу же хватается он за щеку,— дескать, здесь она, под зубами, эта пуговица, положенная в тесто на счастье.

— Покажи, покажи! — волнуемся мы, не веря ему.

— Проглотил,— спокойно говорит он. Ясно, обманывает.

И все мы по его примеру запускаем зубы в багарш, то и дело выкрикивая:

— Вай, пуговица!

— Вот так, с баловством-то и не заметите, как проглотите пуговку счастья,— пугает нас бабушка.

Мы уже доедаем свои куски, а пуговицы все нет...

Я кладу в рот последний кусочек и бледнею от волнения: под зубами у меня что-то хрустит. Пробую языком — и кричу как сумасшедшая:

— Вай, пуговка... у меня!

— Ах, чтоб ты провалилась! — смеется бабушка.— Ну, раз тебе досталась пуговка счастья, ты и должна осчастливить наш дом.

Я вынимаю пуговку изо рта, она переходит из рук в руки. Все с интересом рассматривают ее и убеждаются, что новогоднее счастье и в самом деле досталось мне.

— Я всегда говорил и сейчас скажу, что Арцвик станет в конце концов украшением этого дома,— весело посмеивается дядюшка Авет.

— Э, Авет джан,— вздыхает бабушка,—мало радости в доме, где все надежды на девочку...

— Не в том дело, мать,— серьезно говорит учитель.— Прав Авет: эти дети увидят лучшую жизнь, чем была у тебя. Их судьба не будет зависеть ни от каких пуговок счастья, они выйдут на широкую дорогу счастливой жизни...

— Дай-то бог, помоги господь! — радостно кивает головой бабушка.

НОС СТАРОСТЫ СИМОНА

В последнее время мне часто приходит в голову, что все мы были бы счастливы, если б на свете не было старосты. Знай вы нашего старосту Симона, я уверена, что вы думали бы точно так же.

Наш староста такой: если ты спишь даже у себя дома, он раньше тебя узнает, что приснилось тебе. По-моему, это благодаря своему носу он узнает обо всем. Вы не видели носа нашего старосты? Жаль. Это удивительный нос. На широком и мясистом лице старосты он торчит кверху, как жаба, когда она готовится прыгнуть.

Староста Симон всегда ходит задрав нос и все им обнюхивает.

Наверно, ему никто не говорил о том, что учитель Хорен учит дядюшку Авета и других мужчин читать и писать. Я дала дядюшке Авету слово, что буду держать язык за зубами, и это слово держу. А рябому Вано я сказала только то, что умею читать.

Может быть, я и этого не сказала бы ему, если б он не надоедал своим враньем про учителя Хорена. Будто учитель Хорен любит его, рябого, больше всех и, что бы он ни делал, не сер-

дится; будто по окончании сельской школы обещает отвезти Вано в город, отдать в городскую школу, и там Вано будто бы столькому научится, что станет более ученым, чем сам учитель, архимандрит и даже губернатор.

— Ну, а потом? — спрашиваю я его.— Кем же ты будешь, если станешь таким ученым?

— Приеду и соломой накормлю такую скотину, как ты,— заносчиво говорит Вано.

Ну, как после этого не лопнуть от злости?

— И скотина ты, и жрать солому будешь ты! — возмущенно кричу я.— Думаешь, только ты один умеешь книгу читать? Как бы не так! Учитель Хорен и меня научил. Если хочешь знать, он и моего дядю и дядюшку Авета учит! Каждый день они собираются вместе и чего только не читают!..

— А что они читают? — сгорая от любопытства, спрашивает Вано.

— Откуда мне знать? Дядюшка Авет говорит, что в книге, которую они читают, написано такое — никто об этом не должен знать. А книгу они прячут... в оде, под кошмой...

...Все с этого и началось.

Когда учитель Хорен собрал наших и стал читать им книгу, к нам в дом неожиданно вошел староста Симон, да и не один — с ним был какой-то человек в шинели, с саблей на боку.

А и языкастая же у меня бабушка... прямо в меня пошла! Как только староста открыл дверь и вошел, она сейчас же выбежала им навстречу и угодливо затараторила:

— Свет ты мой, Симон джан! Какими судьбами? Здравствуй, тысяча тебе приветов!.. Господи, да с тобой и господин пристав, да буду я прахом у его ног... Милости просим, пожалуйте, господин пристав! — обратилась она к человеку в шинели, хорошо зная, что он не пристав.

И, не давая пришедшим слова вымолвить, она уже кричала и невестке и сыну:

— Дочка, место приготовь, пусть присядет, отдохнет господин пристав! Агабек! Где же ты, Агабек? Иди скорей, господин пристав к нам в гости пришел!..

«Господин пристав» да «господин пристав» — бабушка выкрикивала эти слова так громко, что, наверно, и у соседей было слышно.

Но староста Симон был не менее хитер. Не обращая внимания на переполох, поднятый бабушкой, он прямо направился в оду, а тот, которого бабушка называла приставом, последовал за ним. Я, конечно, тоже протискиваюсь между ними в оду.

Вошли. Староста Симон, задрав нос, оглядывается по сторонам, но учителя уже нет. Дядя Иван и дядюшка Авет, сидя возле очага, курят и спокойно беседуют.

Дядя Иван сейчас же встает, а дядюшка Авет только шевелит своей деревянной ногой и остается сидеть на месте.

Староста, не здороваясь, подходит к нему.

— Что ж, божий ты человек, ведь на язык-то ты не калека,— ехидно говорит он.— Неужели уж мы такие люди, что и не стоим доброго слова привета?

— Слово привета говорит приходящий с добрым намерением,— отвечает ему Авет.

Человек в шинели не произносит ни слова, он только шмыгает носом,— наверно, идущий из хлева запах навоза ему не нравится. А староста подходит к очагу, приподнимает кошму и что-то там ищет. Шарит рукой, но ничего не находит.

— Куда ушел господин учитель? — вдруг обращается он ко мне.

У меня чуть не срывается с языка, что учитель только что был здесь и только сейчас исчез, но я встречаюсь глазами с дядюшкой Аветом и прикусываю язык. Он строго глядит на меня и дергает кончик усов, показывая, что уши мне оторвет, если я пикну.

— Давно уж не видно его,— с безразличным видом отвечает за меня дядюшка Авет.— Приходит иногда, учит детишек читать и писать, да и нам иной раз прочитает что-нибудь интересное.

Вот и пойми его, этого дядюшку Авета! Кто же из нас слаб на язык? Мне запретил говорить, а сам так сразу и выпалил: мол, и мы книги читаем.

— А какие вы книжки читаете? — спрашивает человек в шинели.

— Какие придется. Один раз читали про Ашуга Гариба. Очень трогательно написано. А прошлый раз нашли одну книжку... Да вот она, здесь, учитель все не приходит, чтобы ее почитать...— говорит дядюшка Авет и подает моего «Пса и кота».

Человек в шинели выхватывает книжку из его рук и передает старосте Симону. Тот поворачивает книжку и так и этак, потом по складам читает:

— «Пы-пы-пес и ко-ко-кот»... Погляди-ка, ну и нашел занятие,— издевательски смеется он не то над Аветом, не то над учителем.— Делать вам больше нечего, решили поиграть в пса и кота?.. А эта борода,— двигает он носом в сторону Ивана,— тоже интересуется котами и собаками?

— А почему бы и нет, Симон-ага! — ухмыляется дядюшка Авет.— Он тоже, как и мы, живет с собаками,— значит, и ему знать их нрав не мешает...

— Ладно, пошли,— кивает староста человеку в шинели, который стоит с таким видом, словно проглотил палку, и оба они уходят.

— Владыка небесный, избави нас от зла и напасти,— глядя им вслед, крестится бабушка.— Авет джан, ради создателя, не давай ты воли своему языку. Пронюхал ведь что-то проклятый носач, раз привел с собой этого дубину...

— Бабушка,— смеюсь я,— а почему ты его приставом называла?

— Собака от собаки, оба из одного логова,— ворчит бабушка.— Пристав он или хвост пристава, не все ли равно? Неспроста явились...

— И я так думаю,— задумчиво говорит Авет.— Ну ничего, они пришли на запах шашлыка, а увидели, что выжигают шкуру осла.

Но дело этим не кончилось. Через день всех, кто собирался на чтения «Пса и кота», вызвали к приставу.

Дядюшка Авет не хотел идти, говорил, что на одной ноге ему не дойти до города. Староста разорался, стал угрожать, что его, как куль, взвалят на мула и повезут.

Тогда огородник Никол запряг в санки осла, усадил в них Авета и сам пошел с ним к приставу.

В этот день мы ждали их до позднего вечера, но они не вернулись. И чего мы только не передумали! Бабушка все вздыхала и охала, она говорила, что наших посадили, наверно, в крепость, и по старой привычке проклинала царя: «Чтоб перевернулся трон Никола!»

А мы совсем приуныли, сидели молча, прижавшись друг к другу, и это еще более расстраивало бабушку.

— Будто черная беда свалилась на моих деток,— кручинилась она.— Ах ты, подлая жаба Симон, дай бог, чтобы наступил день, когда и у тебя заноет душа, как ноет она у меня. Тогда я хоть буду знать, что есть справедливость на свете...

Прошел еще один день, мы потеряли всякую надежду на то, что наши вернутся. Мало нам своего горя, приходили люди, расспрашивали... По селу распространялись слухи, что в нашем доме будто бы найдены какие-то запрещенные бумаги и что за это, дескать, моего дядю и тех, кто собирался у него читать эти бумаги, посадили в крепость. Ну хорошо, посадили, а куда делся осел Никола? Что же, и его посадили в крепость?

— Мой Агабек — невинный голубь, а эти безжалостные люди... И нет у нас ни ягненка, ни яловой овечки, чтобы сунуть в зубы этому безбожному приставу,— сокрушается бабушка.— И семинарист куда-то пропал, некому научить, что делать.

Учитель и верно исчез, нигде не показывался. Говорили, что его тоже забрали.

Так мы прождали целую неделю, и вдруг все наши, вместе с запряженным в санки ослом Никола, вернулись, да еще привели с собой и Сако.

От радости мы не знали, кого и обнимать. Дядя был нам, конечно, дороже всех, ведь это же наш дядя. Сако был тоже дорог всем, мы очень соскучились по нему. А дядюшка Авет... ну, без него ведь и радость не в радость!

Мужчины обросли волосами, вид у них изнуренный, но все они держатся весело. Сако, с солдатским мешком за плечами, желтый, худой, обнимает мать и не может удержаться от слез.

— Солдатик мой, бала джан, солдатик,— без конца повторяет бабушка Санам и все гладит его коротко остриженную голову.

— Какой он теперь солдат? — смеется дядюшка Авет.— Конечно, теперь Сако вольная птица. А ведь чуть не стал генералом, мы не позволили...

Потом он обнимает свою Маран и громко, чтобы все слышали, говорит:

— Ну, женушка, радуйся, будет теперь у нас мир и тишина. Пристав своей рукой написал приказ, чтобы отныне все коты и псы, какие есть у нас в селе, не смели грызться без его разрешения.

— Да ладно, хватит тебе,— сердито отвечает ему Маран.— Осрамились, можно сказать, на весь свет, а ты все сидишь на своем осле.

— Э, жена,— посмеивается Авет,— простовата еще ты у меня, многого не понимаешь. Лучше сидеть на осле, чем тащиться за ним.

Из разговоров у нас в доме я поняла, что пристав заставил наших дать подписку не читать больше книг, и по этой причине учитель теперь редко приходит к нам. Бывает, что придет вечером, когда нам уже пора спать. В это время мы не можем как следует заниматься. Учитель наспех объяснит нам кое-что и вместе с дядей куда-то уходит. Дядя иногда до самого рассвета не возвращается домой, а иной раз приводит к нам ночевать и Ивана.

Наши уже не ходят вместе, как раньше. Не знаю почему, но мастерова жена Шушан очень беспокоится. Поздно вечером является она к нам и спрашивает:

— Матушка Нуно, Даво не у вас?

— Нет, Шушан джан, не видела я мастера.

— Неспокойно у меня на сердце,— говорит Шушан.— Мастер все о чем-то шепчется с этим семинаристом и с русским Иваном. А то вдруг уйдет и пропадет допоздна.

— У мужчин свои дела, Шушан джан,— успокаивает ее бабушка.

— И что за дела появились такие? — не успокаивается Шушан.— Даво сколько лет книгу в руки не брал, а прошлый раз, смотрю, сидит в стойле и что-то читает.

— А что ж тут такого, может, и он хочет учиться?

— С этакой-то бородой? Всему свое время. Может, это семинарист сбивает его с пути, чего-то добивается от него?

— Нет, Шушан джан, не такой он парень, этот семинарист, чтобы сбивать на дурное. Человеку, который с ним дружит, вреда не будет,— поучает бабушка мастерову жену.

— Ты лучше меня разбираешься в людях, матушка Нуно. Да я о том хочу сказать,— вздыхает Шушан,— взрослая дочь у нас в доме, как бы чего не случилось.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ХМБАПЕТУ СОГО ЗАХОТЕЛОСЬ РЫБКИ

История про пса и кота начинает понемногу забываться. Нашим сельчанам некогда долго рассуждать об одном и том же, потому что все новые и новые невзгоды обрушиваются на наши головы. Покончили с царем Николом — появился на свет хмбапет Костан, потом хмбапет Мурад, «Пес и кот», а теперь говорят о каком-то Сого. Его еще нет, но столько всяких разговоров о нем, что даже офицер-ага, нагрянувший в один зимний день в наше село с отрядом вооруженных всадников, так не напугал людей, как этот неведомый Сого.

— Сого из Муша записывает добровольцев...

— Сого зовет людей в свой отряд...

— Горе туркам, Сого заставит плакать их матерей...

И куда ни повернешься, всюду только и слышишь: «Сого из Муша», «мушец Сого»... Этот удивительный мушец будто бы должен отвоевать у турок город Ван и еще какой-то Алашкерт и все это отдать живущим в нашем селе беженцам.

Некоторые так воодушевляются, что хотят записаться в отряд Сого, идти спасать родину.

Больше всех горячится старостин Шаген.

— Ударим по туркам! — кричит он, размахивая плетью.— До Вана одним духом дойдем!

— До Вана — вряд ли,— отвечает ему Авет,— а вот до Еревана, случится удирать, одним духом добежите, в этом уж я тебе поверю.

— За нашей спиной Америка. Известно это тебе или нет? Америка создаст такую Армению, какая тебе и не снилась. А турок прогоним, можешь не сомневаться, до Вана одним духом дойдем,— снова повторяет Шаген.

— Ну и гони, чего же об этом трещать! Или ты думаешь, что я и на этот раз пойду с одной ногой вместо тебя кровь проливать? Мы воевали, а вы добро наживали, теперь подите сами повоюйте за свою «независимую».

— А что, и пойду! — петушится Шаген.— Вот Сого соберет отряд, тогда посмотришь. Не так ли, дядя Умршат? — обращается он к старшине беженцев.— Пойдем и ваши земли отвоюем для вас.

Умршат спокойно потягивает из своего чубука и задумчиво говорит:

— Схитрила однажды лиса, надела львиную шкуру...

Шаген обиженно смотрит на него и подносит руку к усам. Они стали отрастать у него с того времени, когда появилась на свет «анках Айастан», раньше их не было. Шаген больше не носит дубленых трехов, на ногах у него красно-рыжие ботинки с подковками на каблуках. И шаровары у него не такие, как пре-

жде. Теперь это уже не шаровары, а такие штаны с отвислыми карманами наподобие собачьих ушей, и называются они «галифе». Подпоясывается Шаген широким кожаным ремнем, а папаху умудряется так надвинуть на висок, что не видно ни брови, ни глаза, ни уха. Это он, пожалуй, правильно делает, потому что он хоть и видный парень и с чубом, как у Сако, но на один глаз косой.

— Говоришь, лиса шкуру...— растерянно бормочет он.

— Не о тебе говорю, сынок,— мягко улыбается Умршат,— я хочу сказать, что рыба портится с головы.

— Это верно, старший брат,— подтверждает дядюшка Авет,— раньше у них копыта воняли, теперь голова. Волк ищет облачный день, а вор — темную ночь. Но все равно у них ничего не получится.

— Может, и не получится, но душу народа они замутят. Родина — сладкая вещь, а попала она в собачью пасть. Из-за любви к родине ребята могут оказаться обманутыми, пойдут проливать кровь неизвестно за что...

— Ничего,— уверенно говорит Авет,— надо будет — и кровь прольем, только не за Сого... Согошки — мусор в весеннем потоке, их смоет и унесет.

— Э, как знать! -- вздыхает Умршат.

...Наконец я своими глазами увидела этого Сого.

Однажды в холодный зимний день к нам пришел Вачик, сын Ерикназ. Мы очень обрадовались, потому что теперь он так редко бывает с нами. Когда ни встретишь его, на плече у него корзина или коромысло с тяжелыми деревянными ведрами, в которых он таскает воду с реки. Вачик сильно изменился с тех пор, как стал работником у старосты Симона, и больше не приходит, как раньше, играть с ребятишками. Напротив, увидев играющих, он старается поскорее пройти мимо или делает вид, что не замечает их. На лице у него появились морщинки. В старом архалуке Симона, в потрепанных шароварах, он похож на карлика. И только грустные карие глаза на его бледном лице напоминают прежнего Вачика.

«Словно подменили моего ребенка,— часто печалится Ерикназ.— У других дети спят, отдыхают когда хотят, а мой малыш целый день на ногах. И все из-за того, что надо кормить семью, оставленную отцом...»

— Замерз, Вачик джан? Иди погрейся,— сказала бабушка, раздвигая нас и освобождая для Вачика место подле курси.

— Нет, бабушка, я по делу пришел,— отказался Вачик,— велели позвать дядю Агабека.

— Кто его зовет, Вачик джан, для чего?

— Мушский Сого, а для чего — не знаю.

— Сого? Зачем это я ему понадобился? — встревожился дядя.

— Опять, наверно, из-за тех проклятых «Пса и кота»,— с беспокойством проговорила бабушка.

— Нет, об этом там не говорили,— сказал Вачик,— там пир идет. Сказали: «Поди позови Агабека».

Дядя начал завязывать трехи.

— Ой, Агабек джан, я тоже пойду с тобой,— поднялась с места и бабушка.

— Да что я, дитя малое, что тебе нужно провожать меня? Наверно, дело есть, понапрасну не будут звать.

— Боюсь я этого Сого,— сказала бабушка и накинула на голову шаль.

Ну, а уж раз бабушка куда-нибудь собралась, я от нее не отстану. И потом — интересно же посмотреть, как этот Сого, надев львиную шкуру, пугает людей...

— Да, да, пойдем, Арцив джан,— одобрила мое намерение бабушка.— Пойдем посмотрим, что понадобилось этому проклятому мушцу.

Следуя за дядей, мы вошли в большую оду во дворе старосты Симона. Вошли и обомлели.

Староста Симон сидел за столом, разгоряченный вином, в расстегнутом архалуке. Рядом с ним развалился на подушках офицер из дома Артуш-аги, тоже без папахи и тоже красный. А по другую сторону от Симона сидел низкорослый, коренастый человек с огромными усищами, весь увешанный оружием. Его большая черная папаха надвинута на самые брови.

Вокруг расположились другие молодчики в таких же, как у офицера, блестящих погонах. Кто облокотился на подушку, кто лежит, и все тянут песню, из которой можно понять только одно: какому-то Распутину царица вышивала рубашку...

А офицер-ага, словно ему в ухо лягнул осел, нет-нет да и завопит:

— Гей, апон! [1]

«Кто же из них Апон, а кто Распутин?» — думаю я, разглядывая всех этих незнакомых людей.

На нас никто не обращает внимания, каждый мычит и вопит все, что приходит ему в голову. Среди всего этого шума-гама спокойным остается только старый осел Симона. Он стоит в проходе и, кто бы что ни выкрикивал, только трясет головой.

Дядя смущенно пятится назад и, как видно, хочет улизнуть, но офицер-ага замечает его.

— Эи, Агабек, живи ты долго, явился? — кричит он и, налив чайный стакан водки, протягивает ему.

Дядя, растерянно оглядываясь по сторонам, выходит вперед.

— Пей, брат, пусть душа у тебя согреется! — кричит офицер.

— Пей! — гремит и усатый.— За здоровье армян пей!

— Господин Сого, вот он, наш знаменитый рыбак! — орет

---

[1] Гей, апон! — Гей, вперед!

офицер и хлопает дядю по плечу.— Такого сома поймал — хоть к царскому столу подавай.

— Да? Очень хорошо! — кричит усатый.— Пусть водку выпьет.

Мой дядя молодцевато опрокидывает стакан в рот и подмигивает мне — смотри, мол, какой у тебя дядя!

— Молодец, пусть сладко у тебя будет во рту,— говорит усатый и пальцем подзывает дядю к себе.— Сейчас, брат, пойдешь и поймаешь мне рыбу. Душа рыбки просит... Понимаешь, рыбки!

— Теперь рыба не ловится, господин Сого,— отвечает дядя.

— Как это не ловится?.. Хочет она или не хочет ловиться, а ты должен ее поймать!

— Никак нельзя, лед на реке.

— А я тебе говорю, можно! — ревет Сого и хватается за маузер.— Ты вот это видал?

— Видал,— улыбается дядя,— но и маузером нельзя рыбу поймать.

— Ах, говоришь, нельзя? — Сого поднимается с места и направляет на дядю маузер.

Староста Симон и офицер тянут его за рукава.

— Господин Сого, жаль парня...

— Да что он, шальной, этот проклятый мушец? — говорит бабушка и смело выступает вперед.— Иди поймай в своем Муше, а я посмотрю, как ты это сделаешь. Храбрость свою тут показывает!..

— Ты о чем это, старая? — напрягается Сого.

— Сатана тебе в бок, говорю! — дерзко выкрикивает бабушка и тащит дядю за руку.— Пойдем, пойдем отсюда. Нализались тут и сами не понимают, что говорят. Пугай маузером своих мушских котов!..

Она силой выталкивает дядю из оды, и мы уходим, оставив Сого с разинутым ртом.

В этот день бабушка до самого вечера не могла успокоиться и все проклинала Сого:

— Чтоб тебе сдохнуть, усатая собака! Рыбки, видишь, его душа запросила! Царя сбросили с трона, думали — светлые дни увидим, а тут эти проклятые лезут в начальники. Ишь, разошелся, можно подумать, что он повелитель мира.

ВОЛК ИЩЕТ ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ, А ВОР — ТЕМНУЮ НОЧЬ

«Бурлит село, как медный котел на огне»,— говорит дядюшка Авет. По-моему, наше село похоже совсем не на медный котел, а на глиняный горшок, потому что все оно слеплено из песка и глины. Но все равно оно кипит и бурлит. Сельчане толпами собираются под стенами дворов, в одах, в коровьих стойлах и шумят, без конца шумят.

У всех на языке все тот же хмбапет Сого. Его молодчики, кругом обвешанные оружием, заполонили все село. Говорят, что скоро они пойдут на врага в лобовую драку. Что это такое, я не могу понять — не лбами же они будут драться?

— Со всеми передрались,— говорит дядюшка Авет,— даже против Грузии фронт открыли. Были у нас хорошие соседи, теперь и с ними на ножах. Вот и радуйся, Арцив джан, такая уж у нас теперь эта «независимая» американская Айастан.

Я хочу сказать, как Ерикназ: мол, горе моей беззащитной головушке, когда это я радовалась, чтобы радоваться теперь? Но вмешивается Никол.

— И что им нужно от Грузии? — с недоумением качает он головой.— Ведь мы с грузинами, ну, как бы это сказать, побратски жили. Мы возили к ним картофель, морковь, они свое здесь продавали. Что же случилось, что теперь мы должны поднять оружие друг на друга?

— Об этом ты уж Америку спроси,— отвечает ему Авет.— Америка здесь посадила дашнака, там меньшевика и стравливает их, как собак. А народ жил в мире и дальше будет так жить.

— А как же говорили, что этот мушец Сого пойдет на турок и заставит плакать их матерей? — обращаюсь я к дядюшке Авету.

— Пока эти вояки заставляют плакать наших матерей,— отвечает он мне.

И это правда. Молодчики Сого совсем распоясались. С утра и до вечера они от безделья забавляются тем, что палят из своих маузеров.

Бывает, что они прямо на улице подстреливают какую-нибудь зазевавшуюся гусыню или сонную утку. Хозяйки шумят, грозят пожаловаться хмбапету, а им и горюшка мало — хохочут!

Всех наших кур и уток бабушка загнала в хлев и не выпускает на улицу. Теперь она и мою мать и тетушку Ашхен не пускает ходить по соседкам. А воду с реки носит сама.

— Без узды эти люди, без совести! — говорит бабушка о молодчиках Сого.— Сколько раз бывали у нас русские солдаты, и хоть бы одна курица пропала. А эти бог знает что за люди, какие-то бандиты-грабители.

Молодчики Сого шляются по улицам и горланят:

Во славу армянской нации
Готовы по-львиному драться мы...

Вскоре они и в самом деле ушли. Вы думаете, воевать? Нет, пошли грабить соседнее тюркское селение... Об этом мы узнали незадолго до их ухода.

Хмбапет Сого неожиданно объявил приказ — всем мужчинам нашего села взяться за оружие и присоединиться к его отряду. Многие скрылись. Первыми исчезли из села мой дядя и беженец Умршат. Остался только дядюшка Авет. Стуча костылем, он хо-

дил из дома в дом и уговаривал сельчан не подчиняться приказу хмбапета.

— Воевать с турецкими пашами у них не хватило пороху,— рассуждал дядюшка Авет, стоя в толпе у дома мастера Давида,— а вот проливать кровь наших тысячелетних соседей — на это у них хватает отваги. Эти крестьяне-тюрки мирные люди, они не сделали нам никакого зла. Так почему мы должны браться за оружие и разорять их дома? Есть же у нас свои головы на плечах, чего нам слушать этих согошек?..

Никто и не заметил, как у дома остановились два конника Сого.

— Вай, Авет джан! — вдруг испуганно вскрикнула мастерова жена Шушан. Но в воздухе уже взвилась плеть одного из конников.

— Изменник нации! — прошипел конник, подминая конем Авета.

Авет упал в снег, но сейчас же вскочил и, подпрыгивая на одной ноге, крепко ухватился за уздечку коня. Конник начал хлестать его плетью, конь рвался из рук, но Авет стоял как прикованный к месту.

Поднялся шум, крики, кто-то запустил камнем в папаху конника. Откуда-то появились Сако и Никол, схватились за палки — и началась потасовка. Мастер Давид оттащил Авета во двор, а сам, возмущенный, кинулся к конникам.

— Проваливайте, иначе прольется кровь! — закричал он.— Убирайтесь отсюда!

Откуда-то появился староста Симон.

— Безногий человек, калека. Ну что вы связались с ним? — стал уговаривать он разъяренных конников.— Пошли, ребята, у нас есть дела поважнее, а суд над ним потом учиним.

— Послушай, ты, вонючее копыто, сперва мы над тобой суд учиним! — хриплым голосом крикнул ему Авет.— Была война, ты прятал сына под подолом жены, а теперь хочешь погнать народ на наших соседей — крестьян? И у вас, бессовестных, поднимается рука занести меч над головой безоружных людей?

— Я тебя от меча спасаю, а ты этак со мной? Вот это совесть! — покачал головой Симон.— Ну ладно, Авет, попомнишь!

...В эту ночь никто у нас на селе не спал. На улицах слышались торопливые шаги людей, взволнованные голоса. Из соседнего тюркского селения доносились ружейные выстрелы. А на рассвете конники Сого вернулись с добычей. По всему селу раздавалось блеяние ягнят, мычание коров. Конники силой открывали крестьянские дворы и загоняли в них награбленный скот.

Постучали и в наши двери. Света у нас не было, хотя мы и не спали. Никто не откликался. Начали грохать в дверь прикладами.

Бабушка не вытерпела и вышла во двор. Тетушка Ашхен от-

куда-то достала мосинку и держа наготове, встала рядом с бабушкой.

— Кто там, чего вам надо? — крикнула бабушка.

— Открывай, старая! — послышался хриплый голос.

— А кто ты такой? Почему ломишься в чужой дом? Нет,— решительно сказала бабушка,— не открою, иди-ка своей дорогой.

— Открой, тетушка Нуно. Это приказ господина Сого,— раздался голос старостиного Шагена.

— Что еще за господин явился на мою голову? Поди скажи своему отцу — пусть у себя в хлеву держит этого господина, а у нас хлев маленький, для него не годится.

— Прими несколько овец, тетушка Нуно,— уже мягче попросил Шаген.

— Нет, нет, мой дом не для краденого добра, ведите уж к себе, вам не привыкать,— возмущенно проговорила бабушка и махнула нам рукой.

Мы все, что можно было, начали придвигать к дверям, чтобы не дать их открыть.

На улице о чем-то переговаривались конники Сого с Шагеном, потом, решив, по-видимому, что связываться с бабушкой не стоит, ругаясь, пошли прочь от нашего дома.

Наутро мы узнали, что все хлевы у Артуш-аги и старосты Симона переполнены пригнанными ночью овцами и коровами. Шаген разъезжал по улицам на горячем белом коне. Говорили, что и этот конь уведен ночью из соседнего тюркского селения.

А краденых ковров, как говорили, у Сого в оде Симона было навалено до самого потолка.

В полдень грабители приступили к дележу добычи. Они пригнали сотни коров и овец, и из-за каждой паршивой овцы или тощего теленка готовы были вцепиться друг другу в горло. Из-за белого коня чуть не началась драка.

Один из согошцев схватил коня под уздцы, тащил и кричал, что это он вывел его из горящего хлева тюрка. Шаген не хотел отдавать, вспыхнула ссора. Тогда на улицу выбежал Сого, поднял маузер и давай пулями дробить лоб коню. Бедный конь рухнул на землю и остался лежать неподвижным.

— Чтоб небесный огонь пал на их головы! — проклинала бабушка грабителей.— Краденое вошло в наше село. Как бы вместе с краденой скотиной эти согошки не забрали и наше честно нажитое добро...

СОВЕЩАНИЕ В СТОЙЛЕ ЦАХИК

Когда стемнело и на селе все стихло, к нам явился дядюшка Авет. Ну, в зимние вечера он всегда приходил к нам поговорить о том о сем, побалагурить. На этот раз он вошел как-то настороженно и даже не стучал своей деревяшкой.

Отозвав дядю в сторону, он что-то шепнул ему на ухо, потом обернулся ко мне и сказал:

— Арцив, а ну-ка выйди посмотри, что творится на белом свете.

— В такую темень что увидишь на белом свете?

— А ты поди встань на краю ущелья и три раза свистни. Да так, чтобы отозвалось ущелье!

— Ну, а потом? Разве, если посвистишь, узнаешь, что творится на свете?

— Сейчас же все узнаешь. Но только не бойся, ничего страшного нет...

Удивительное дело. Бывало, когда я свищу, взрослые ругают меня: мол, стыдно девочке свистеть и нехорошо — рот скривится. А теперь сами требуют от меня, чтобы я вышла к ущелью и свистела, да еще темной ночью. Вот и пойми!

Кроме того, чего греха таить — боюсь. В нашем ущелье полно волков, разорвут меня на куски, съедят, и даже никто знать не будет. Но об этом дядюшке Авету не скажешь. Он ведь, как и я, слаб на язычок и сейчас же разнесет на весь свет, что я цыпленок трусливой курицы, а не грозный Арцив. Ничего не поделаешь, надо идти... раз они такие бессовестные и им не жалко бросить меня в пасть волкам.

Я выхожу к ущелью и хочу свистнуть, но боязливо озираюсь вокруг себя. «Кто знает,— думаю я,— волки, быть может, и не догадаются, а злые духи на такое дело всегда готовы: сцапают, сбросят в ущелье — и поминай как звали. А если не свистеть, откуда дядюшка Авет узнает, свистела я или нет?» Я еще раздумываю об этом, а губы у меня уже сами вытягиваются в трубочку.

Начинаю тихонько, а потом все громче насвистывать, и так это здорово у меня получается, что я, очарованная собой, чуть не соловьем заливаюсь, свищу.

Свистела, свистела, и вдруг вижу: поднимаются передо мной две тени. Ивана я сейчас же узнала. У него такая светлая борода, что видишь ее даже в темноте. А другого никак не могла узнать.

— Хватит, Арцвик,— говорит Иван,— пойдем домой.

Его товарищ не произносит ни слова.

— Дядя Иван,— говорю я,— а мы прошлый раз так отделали этих согошек! Бабушка наговорила им столько горького, что не проглотят и с пудом меда...

— Помолчи-ка,— прерывает меня Иван,— дома расскажешь.

— А кого ты боишься, согошек тут нет,— подбадриваю я его.

— Тебя боюсь,— смеется Иван.

Только дома я узнала спутника Ивана. Это был наш учитель Хорен. В простом архалуке, в шароварах, заправленных по-крестьянски в шерстяные носки, связанные моей бабушкой, он

был похож на деревенского парня. И если б не его белые руки, трудно было бы признать в нем учителя.

Я кинулась в угол, схватила свой учебник, потому что уже две недели у нас не было уроков, и подсела к столу. Но мужчины не обратили на это никакого внимания — вместе с учителем они вышли в стойло нашей покойной Цахик и уселись там.

Бабушке это показалось очень неприличным. Она отвела дядю в сторону и сказала:

— Агабек джан, стыдно ведь сажать господина учителя в стойле скотины... Узнают другие, что скажут, сынок?

— Другие не должны знать,— строго сказал ей дядя.— Вы ложитесь спать, это не ваше дело.

— А на стол накрыть?

— Нет, не надо, сейчас не время оказывать почести.

Дядя выставил нас из стойла, а мужчины остались там. Только беженец Умршат, взяв дубинку, вышел на улицу и встал у дверей.

Сколько времени они пробыли там и о чем говорили, я так и не узнала. В этот вечер бабушка была особенно ласкова с нами. Она уложила нас в постель и сама легла рядом.

...А утром видели бы вы, какой переполох поднялся у нас в селе!

Причиной этому было то, что по всему селу на стенах домов появились неизвестно кем расклеенные листочки бумаги, которые все стали называть почему-то листовками. Эти листовки были наклеены на дверях и окнах дома старосты Симона, на железных воротах Артуш-аги и даже на стенке нашей ветхой кладовки.

И сегодня все только и говорят об этих листовках. Люди толпятся перед ними, кто-нибудь из грамотных читает, а остальные слушают и шумят.

У железных ворот Артуш-аги перед листовкой стоит дядюшка Авет. Он водит по ней своим костылем и нарочно по складам громко читает:

— «До-до-долой вой-ну, до-лой дашнаков! Сого вас обманывает, не запи-сы-вайтесь к нему в добровольцы...» Не записывайтесь,— повторяет он, оборачиваясь к собравшимся, и опять водит костылем по листовке, но никак не может прочитать имя человека, который подписал ее: — «Бо-боль-больш...» — запинается он и умолкает.

Николу не терпится, он вытягивает шею, заглядывает через плечо Авета.

— Ну, чего застрял, как деревянный плуг? — говорит он и четко, тоже по складам, произносит: — «Боль-ше-вик...»

— Большевик?

Люди с недоумением смотрят друг другу в глаза.

Мой дядя пожимает плечами: не знаю, мол, такого человека,— а люди шумят.

Всем хочется знать, что скажет Авет. Но вдруг раздается конский топот. Взбешенный Сого с несколькими своими молодчиками скачет прямо на толпу.

— Всех перебью как собак! Разойдись! — орет он, размахивая плетью.

— А чем народ виноват, господин хмбапет? — спокойно говорит Никол.— Какой-то человек написал эту бумажку и подписался под ней. Если можешь, поймай его и разделайся с ним.

Сельчане хохочут, а Сого, побагровев от гнева, бешено хлещет плетью Никола:

— Убью, собака!

— И много ты перебил таких «собак», господин хмбапет? — с издевкой спрашивает его мой дядя.

— А, рыболов! Ты тоже с этим разбойником большевиком? — Сого снова взмахивает плетью, но дядя отскакивает в сторону.

— Большевик не разбойник, господин хмбапет, он никого не грабит,— выступая вперед, говорит дядюшка Авет.— У большевика правдивое, справедливое слово. А грабители — вон, за тобой стоят...

Тут уж и молодчики Сого пускают в ход плети, бьют налево, направо, кому попадет и как попадет. Более ловкие из сельчан увертываются, отбегают в сторону, а дядюшка Авет ни шагу с места. Сого кидает на него коня, Никол всем телом падает на Авета, стараясь прикрыть его, а дядя, схватив костыль Авета, размахивает им во все стороны, бьет по мордам коней. В это время откуда ни возьмись в самой гуще свалки появляется бабушка. С непокрытой головой, с растрепанными седыми волосами, она бросается прямо под ноги лошади Сого.

— Убиваешь? Бей меня! — кричит она, ударяя себя рукой в грудь.

Сого приходит в себя, тянет за повод лошадь и, повернув ее, скачет через лежащих в снегу избитых людей.

Никол и Авет после этой схватки слегли в постель. Дядя ходит с перевязанной головой, а бабушка, которая каким-то чудом осталась невредимой, идет то к Авету, то к Николу и без конца твердит, как бы она расправилась с этими проклятыми согошками.

Насколько я помню, там никто не держал ее за руки. Просто ей только теперь пришло в голову, что надо было расправиться с Сого, а не падать на колени перед его конем.

ИВАНА ВЫСЫЛАЮТ

Никому бы и в голову не пришло, что большевик, расклеивший листовки на стенах наших домов, это мельник Иван. Я до сих пор не уверена в этом, но такой уж нос у нашего старосты Симона — все разнюхает.

Говорят, что староста и хмбапет Сого рыскали по всему селу,

обнюхали каждый двор и после того решили: большевик — это Иван, потому что он русский.

Сого будто бы так сказал: «Тащите ко мне этого русского Ивана, я мигом его образумлю. А не захочет образумиться, шкуру с него сдеру, чучело сделаю!» Но староста будто бы предложил другое: связать Ивана и бросить под мельничное колесо. Утопим, дескать,— и концы в воду.

Как было, я точно не знаю, но те, кто видел, говорят, что, когда Сого и староста явились к Ивану, он сказал им: «Цыц! Я подданный России, и трогать меня вы не имеете никакого права. Хотите — можете выслать меня на родину...»

И вот Иван уже готовится к отъезду. Все мы очень опечалены. Я горюю не меньше других, но в то же время и радуюсь: хорошо, что большевиком оказался Иван, а не какой-нибудь носач Симон или хозяйский Каро.

— И вовсе не Иван,— говорит дядюшка Авет.

— А кто? — настораживаюсь я.

— Наверно, человек вроде меня, твоего дяди... или Никола.

— Но вы же не русские!

— Ну и что из того? — улыбается дядюшка Авет.— Мы тоже можем быть большевиками.

— А почему же Сого не сдирает с вас шкуру?

— Э, дурная голова,— сердится дядюшка Авет,— разве я говорю, что это мы сделали? Кто бы это ни был, нечего тебе совать сюда нос, иди-ка!..

Он выпроваживает меня, и я мчусь к себе домой, а через некоторое время к нам является встревоженная, сердитая Маран.

— Матушка Нуно, поговори ты с этой бедовой головушкой,— просит она.— Поднялся с постели, хочет идти на мельницу провожать Ивана. Ведь все тело избито. Да разве доковылять ему в такую пору до мельницы?

— Совсем тронулся парень,— соглашается с ней бабушка.— Земля скользкая, как рожа сатаны, четвероногая скотина и та не держится на ногах. А где уж ему, одноногому аисту?

— Ничего страшного нет, я пойду вместе с ним,— успокаивает дядя женщин.— Были мы с Иваном хорошими соседями, друзьями. Как же не проводить его?

— И тебе не надо тащить Авета туда,— говорит ему бабушка.— Иван уезжает — дай бог ему доброго пути, но так не делают. Вы пойдете с Аветом, попрощайтесь. А мы что, не люди? Ты сходи к Ивану и позови его с Майей к нам, проводим его по-хорошему, как положено. Сколько лет делили хлеб-соль...

— Ай, доброго тебе здоровья, мать! Голова у тебя прямо губернаторская! — радуется дядя и шутливо обнимает ее.

— Ладно, ладно! — отталкивает его бабушка.— Губернаторская... Наверно, губернатор от большого ума оставил народ этому проходимцу Сого, а сам сбежал.

— А что, при губернаторе подковы у твоего осла золотые были? — смеется дядя.

— Что мне сказать? — пожимает плечами бабушка.— Я вижу только то, что попали мы из огня да в полымя... Ну, иди зови Ивана и Майю. Я гуся зарежу, сделаю плов...

Дядя уходит, а мы начинаем готовиться к встрече гостей. Бабушка отрезала голову самому жирному из наших гусей и ощипывает его, а я с Осан перебираем дзавар для плова.

Мы рады тому, что Иван и Майя придут к нам в гости, но, когда вспоминаем, что придут они в последний раз, у нас делается тяжело на душе. Бабушка по-прежнему считает, что с тех пор, как сбросили с трона царя, все перемешалось на свете, а Иван сбился с пути, стал большевиком и его теперь высылают.

— Все из-за этого проклятого царя Никола,— говорит она и по привычке добавляет: — Перевернуться бы его трону!

— Бабушка,— спешу я поправить ее,— вот уже сколько лет прошло, как перевернулся трон царя!

— Ладно, ученой стала на мою голову,— смущенно ворчит бабушка и сердито дергает гусиные перья.— И ты переворачивала...

— А что, был бы здесь царь, еще как перевернула бы! — говорю я, чтобы немного позлить ее.

— Ну, без тебя, конечно, ничто не обходится, везде суешь нос, только вон те переворотчики с помятыми боками лежат,— насмешливо отвечает мне бабушка.

И как раз в эту минуту в дверях показывается дядюшка Авет. Он бледен. Как видно, нелегко было ему добраться до нашего дома, но усы у него молодцевато закручены, а черные глаза весело поблескивают.

— Э, беспокойная душа! — ворчливо говорит бабушка.— Чего тебе не лежится, зачем притащился?

— Я буду лежать, а ты — лакомиться гусятиной? — смеется Авет.— Нет, матушка Нуно, это не пройдет. Как хочешь, а гусиную ножку, крылышко, грудку и всякие там потроха я должен съесть!

— Что же тогда останется дяде Ивану? — беспокоится Асмик.

— Дяде Ивану? Человек на родину возвращается, да его еще и гусем кормить? Нет, так не годится,— шутит Авет и оборачивается к бабушке: — А что, если Симон — вонючие копыта — поднимет шум?

— Почему это? — подозрительно смотрит на него бабушка.— Что мы, дом ограбили или человека убили?

— Из-за Ивана...

— Пусть Симон свою башку разобьет о камни,— возмущенно говорит бабушка,— а я не нарушу дедовского обычая гостеприимства из-за того, что человека обвинили,— мол, он боль-

шевик... Большевик он или что другое — он мой гость, и никому никакого дела нет до того, что я оказываю ему почет...

Целый день Иван и Майя были нашими гостями. Собрались все наши близкие, пришла даже вдова Ерикназ.

На столе у нас гусятина, плов из дзавара, водка, Иван и Майя принесли свои пироги, и дядюшка Авет в восторге от такой обильной еды.

— Такому столу позавидовал бы сам Манташев! — весело говорит он и обращается к Ивану: — Друг Иван, мы провожаем тебя с гусиными крыльями, а ты возвращайся к нам с орлиными.— Он подмигивает мне: понимаешь, дескать, речь идет о твоих крыльях, и я пыжусь, как старостин индюк.

Потом они начинают шептаться. Я, навостря уши, тычусь носом то к одному, то к другому, но делаю это очень неловко, потому что они сейчас же переходят на не совсем понятный мне разговор по-русски. Иван то весел, то грустен и все теребит свою русую бороду.

Бабушка суетится вокруг гостей и, как видно для оказания большего почета, вдруг вспоминает Палича.

— Кушай, Иван Палич, кушай,— говорит она и вдруг так же обращается к Майе: — Майя Палич, да буду я жертвой твоей души, ты совсем ничего не ешь...

Дядюшка Авет первый громко захохотал, а вслед за ним засмеялись и все остальные. Дядя, ударив по плечу Ивана, давился от смеха, тетушка Ашхен так и покатывалась.

— Ну, чего вы, глупые! — сердится бабушка.— Чем я не угодила? Если муж Палич, и жена должна быть Палич, это закон отцов.

— Так, матушка, так,— говорит Майя, обнимая ее.— У нас говорят: муж и жена — одна сатана... Я, матушка Нуно, буду очень скучать по тебе.

— И я буду тосковать по тебе, Майя джан,— расчувствовавшись, говорит бабушка.—Уходишь ведь за семь гор, за семь дол. Разве плохие мы были соседи, что ты уходишь от нас, Майя джан?

— Не одни мы, все русские ушли,— задумчиво бросает Иван.

— Да, Иван джан, да, ушли,— качает головой бабушка.— Теперь этот проклятущий Сого будет стоять над нашими головами. Ну, разве можно отдавать народ в руки этим разбойникам?

— Не падай духом, матушка Нуно,— успокаивает дядюшка Авет.— Вот Иван разделается с разными согошками в своей стране и снова вернется к нам. Он не забудет наш край.

— Матушка, я тебе письмо напишу,— обещает Майя.

— Да умру я за твою душу, пиши,— просит бабушка.— Напишешь письмо — я буду знать, где ты, осенью пришлю тебе сушеную зелень. А отелится, дай бог, моя Цахик, чортан из тво-

рога сделаю для моего Ивана. Кто знает, найдется ли чортан в вашей огромной стране?

— Не чортан, а вот старосту Симона неплохо бы туда отправить,— говорит дядюшка Авет.

— Ну, как же, им только и недоставало вонючих копыт нашего старосты,— морщится бабушка.— Да он испоганит им там и землю и воду.

— У них в Сибири земля мерзлая, а такие скоты, как Симон, только и годятся на то, чтобы на них пахать ту землю,— смеется дядюшка Авет.

Так в разговорах и шутках незаметно проходит время.

— Ну, Майя Палич, пора идти, уже светает,— говорит Иван, поднимаясь с места.

И снова мы покатываемся со смеху.

Бабушка грозит Ивану пальцем:

— Ладно, парень, твое счастье, что ты в путь-дорогу собрался, а то я разделалась бы с твоей бородой!

Все мы провожаем Ивана и Майю до ущелья. Дядя пошел с ними дальше, а мы вернулись домой, и дом показался нам опустелым. Словно в нем не стало чего-то очень дорогого нам всем.

Бабушка вздыхает и кончиком платка вытирает глаза.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Наше село снова как бурлящий котел. Сого со своим отрядом уходил куда-то на несколько дней, а когда вернулся, все увидели, что отряд у него стал еще больше. Теперь он пирует со своими молодцами уже в доме Артуш-аги.

Третий день разносится оттуда по всему селу запах шашлыка, и от него наша Топлан совсем одурела. Целый день вместе с другими собаками сидит она у дома Артуш-аги. Собакам выбрасывают кости, разную требуху, и они пируют не менее шумно, чем молодцы Сого.

— «Анках Айастан» пока что услаждает собак,— шутит дядюшка Авет.

Но Сого, как вскоре выяснилось, прибыл не только для того, чтобы пировать. Наевшись шашлыка, его молодчики оседлали коней и кинулись в соседние села.

И сейчас же по селу распространилась весть, что Сого начал собирать добровольцев. Эта весть так взволновала всех, что я и не заметила, как исчез мой дядя. А беженец Умршат, который работал теперь в кузнице, надевая кожаный фартук, сказал:

— Сестра Нуно, если что случится, ты дай мне знать, я буду в кузнице.

Умршат уходит, а Осан начинает плакать. Она очень боится, что ее старшего братца возьмут на войну.

— Не возьмут, Осан джан,— успокаиваю я ее,— дядя Умршат стар, а кроме того, он боится войны.

— Заберут его, и останусь я сиротой беззащитной,— плачет Осан.— Нет, не останусь, я тоже уйду тогда с ним.

— А кто же мы для тебя, Осан? — обиженно говорю я.— Бабушка, дядя, дядюшка Авет — все мы твои защитники, мы не позволим, чтобы кто-нибудь обидел тебя... Пойдем-ка лучше посмотрим, как там собирают добровольцев.

Но только мы собрались выйти из дому, как к нам является Шаген с одним из солдат Сого.

— Где Агабек?— не здороваясь, обращается он к бабушке.

— А что тебе надо от Агабека? — спрашивает бабушка, подозрительно поглядывая на него.

— Господин Сого требует.

— Иди скажи своему господину, что мой Агабек не такой бездельник, как он. Агабеку надо семью кормить, он по делу пошел.

Шаген хочет уйти, но солдат, что-то задумав, направляется прямо в хлев.

Бабушка, презрительно улыбаясь, идет за ним. Согошец зажигает спичку, внимательно смотрит по углам, во все щели, заглядывает даже в каменный чан, затем, что-то бормоча себе под нос, входит в кладовку.

Тут уж бабушка не выдерживает.

— Эй, солдат, или как там тебя, чего ты забыл в чужой кладовке? — прикрикивает она на согошца.— Разве такой мужчина, как мой Агабек, иголка или цыпленок, чтобы можно было спрятать его в сундук?

— Значит, и есть цыпленок трусливой курицы, раз не хочет воевать за нацию,— издевательски говорит солдат.

— Ты знай меру... щенок! — возмущенно кричит бабушка и, схватив его за рукав, выталкивает из кладовки.

Согошец в бешенстве хватает ее за шаль.

— Ах, так? Ну, тогда пойдем, старая кочерыжка, дашь ответ самому начальнику!

— Пойдем, пойдем! Думаешь, испугалась я твоего начальника?

Мы пошли вместе.

Бабушка шагала с таким воинственным видом, что казалось — она ведет солдата, а не солдат ее.

Во дворе Артуш-аги было полно народу. Тут были и Арутик-солдат, и Сако, и огородник Никол, и даже дядюшка Авет. Были и прибывшие из Гошаванка. Немного в стороне от них стоял учитель Хорен и курил папиросу.

— В чем дело, мамаша? Зачем ты пришла сюда? — заметив нас, спросил учитель.

Бабушка уже хотела разматывать клубок своих проклятий, но дядюшка Авет потянул ее за рукав.

— Помолчи, не время ругаться,— тихо проговорил он.— Не бойся, ничего у них не выйдет с этим набором.

— Да как же, Авет джан, господин учитель, ведь эти проклятущие...— начала бабушка, но мастер Давид строго сказал:

— Не шуми, матушка Нуно, послушай Авета. Криком собаку в церковь не загонишь...

Бабушка поджала губы и отошла в сторону. На лестнице показались староста Симон и хмбапет.

Сого, как видно, был пьян, большие бычьи глаза у него покраснели.

— Эй, народ! — обратился к крестьянам староста Симон.— По милостивому указу нашего нового правительства вы должны добровольно записываться в национальную армию. Сейчас господин Сого сам скажет об этом.

Он отодвинулся, уступая место хмбапету.

— Я трепать языком не люблю,— заговорил Сого.— Мы солдаты нации. Нация приказывает — мы должны исполнять приказ! Мы освободили страну от русского владычества, теперь перед нами турок, наш исконный враг, и еще грузины... Кто из вас армянин, сын армянина, пусть записывается добровольно, а то... Разговаривать тут много нечего! Сейчас учитель запишет ваши имена...

В толпе поднялся шум. Некоторые хотели потихоньку улизнуть, но в воротах стояли вооруженные солдаты.

— Учитель, записывай,— приказал Сого.

Учитель чего-то ждал, а из крестьян никто и не думал записываться.

— Есть у вас честь или ее собака съела? — гневно крикнул Сого.— Как твое имя? — ткнул он плетью в Арутика-солдата.

— На что тебе мое имя, господин хмбапет? — спокойно ответил Арутик.— Если это добровольное дело, то почему меня должны насильно записывать? К тому же я больной, был ранен еще на царской войне.

— А я по возрасту не подхожу... мне уже за сорок,— сказал мастер Давид, отодвигаясь в сторонку.

— И я не хочу записываться! — вызывающе бросил Сако.— У меня старая мать и сердце испорченное, бумага есть...

— Как это «не хочу»? — взбеленился Сого.— Что, ты думаешь, это делается по твоему желанию?..

— Не хотим! — раздалось из толпы.

— Не пойдем на грузин!

— Ребята, не записывайтесь!

— Раз добровольно, не заставите!

— Долой дашнаков!

Крестьяне шумели все больше. Только дядюшка Авет и учитель стояли спокойно, с насмешкой поглядывая на взбешенного хмбапета.

Сого с пеной у рта сбежал с лестницы и хватил плетью Никола.

— Пусть будет проклят тот человек, который называет вас армянами! — заорал он и стал бить плетью направо и налево.— Собачьи дети! В конюшню этих изменников! — крикнул он своим молодчикам.

Солдаты набросились на сельчан и начали прикладами загонять их в конюшни Артуш-аги. Во дворе остались только я, бабушка, учитель и дядюшка Авет.

Сого от злости плевался, топал ногами, староста Симон испуганно жался у него за спиной, а из конюшни неслись возмущенные крики.

— Посидите, посидите у меня, пока не образумитесь! — зло сказал Сого и обратился к учителю: — Господин учитель, запиши их имена, всех перепиши, будь они прокляты!

— Я не знаю их фамилий,— сказал учитель.— А кроме того, если объявлено о добровольном наборе, то как же можно насильно загонять людей в армию?

— Тебе какое дело до этого? Ты пиши!

— Нет, господин Сого, я не имею права записывать против воли этих людей, это беззаконие...

— Ты что, учить меня вздумал?

Сого взмахнул плетью, но моя бабушка кинулась вперед и встала между ними:

— С ума ты сошел, начальник! Да разве можно бить ученого человека?

— Старая, чего ты путаешься тут в ногах? — закричал на нее Сого.

— Да это мастера Давида мать...— попытался выгородить ее дядюшка Авет.

— Врешь! — крикнул Сого.— Это мать рыболова, я знаю ее. Твой сын тоже не хочет идти в добровольцы? — обратился он к бабушке.

— Об этом сына и спрашивай, откуда мне знать! — ответила ему бабушка.— А вот зачем твой солдат меня притащил сюда, не мне же идти воевать?

— Нации будет нужно — пойдешь,— невесело пошутил Сого и махнул рукой: — Иди-ка отсюда, проваливай!

Бабушка не заставила себя упрашивать и с удивительным проворством выскользнула за ворота. Дядюшка Авет последовал за нами, а учитель, подмигнув ему, остался на хозяйском дворе.

Немного позже мы видели, как Сого верхом на коне, в сопровождении своих охранителей, выезжал из села...

Весь день шумел и волновался народ.

Жены и матери арестованных с проклятиями и плачем шли к хозяйским воротам, но часовые, оставленные хмбапетом, отгоняли их. Только вдову Ерикназ они никак не могли прогнать. Она уселась со своими детишками у самых ворот и, что только ни

делали люди Сого, продолжала ругать согошек, плакать и причитать.

— Если вы моего дорогого брата посадили в тюрьму, посадите и меня! — выкрикивала она.— Как мне жить без него, сироте горемычной?

Глядя на нее, осмелели и другие женщины. Жены Никола, Арутика, мастера Давида и даже те женщины, мужья которых не были арестованы, как моя тетушка Ашхен, с криками и бранью окружили согошцев.

— Бессовестные твари! Турки вы или христиане? — кричала моя бабушка.

— Чтоб вам сдохнуть, собаки, без креста, без покаяния! — в один голос с ней заливалась мастерова жена Шушан.

— Отойди, стрелять буду! — вышел наконец из себя молодой солдат, совсем еще безусый юнец.

— Стреляй, молокосос, посмотрю я, как это ты будешь стрелять! — подбоченившись, выступила вперед Маран.

— Смотрите, какой герой нашелся, в беззащитных женщин хочет стрелять! — издевательски крикнула тетушка Ашхен.

— А давайте-ка общиплем этого петушка! — сказала бабушка и первая ухватилась за ружье безусого солдата.

Женщины с визгом кинулись на других солдат, и вмиг разгорелась ожесточенная схватка. Какие-то люди, как видно, только этого и ждали — в солдат полетели камни. Мальчишки пронзительно засвистели, со стороны конюшен раздался грохот в двери и брань арестованных.

Откуда ни возьмись с дубинкой в руках появился Сако, который был арестован вместе с другими. Размахивая дубинкой, ругаясь, он бросился на солдат, но кто-то из них успел выстрелить, и Сако, схватившись за колено, упал.

— Вай, убили мое дитя! — крикнула бабушка Санам.

Заплакала, запричитала сестра Сако.

Выстрел только на минуту остановил схватку. В толпе мелькнул Вачик. Весь в лохмотьях, бледный, дрожащий, но ловкий как кошка, он вскочил на спину Шагена и обеими руками вцепился ему в горло. Шаген выронил ружье, хотел сбросить Вачика, но тот все сильнее давил ему горло, бил его ногами и кричал хриплым голосом:

— Отпусти дядю Арутика!.. Задушу!..

Оба повалились на землю, и толпа мечущихся во все стороны людей захлестнула их. В эту минуту с толпой смешались неизвестно как освободившиеся из запертой конюшни мужчины, кинулись на солдат и, вырывая у них ружья, начали их теснить.

Среди нападающих был и беженец Умршат. Обернув огромный кулак своим кожаным фартуком, он, как молот, обрушивал его на головы согошек-солдат и гремел:

— Бей их, ребята!.. Круши!..

...Молодчики Сого были обезоружены и разогнаны. Мужчины и женщины, постепенно остывая от горячей схватки, расходились по домам. Вокруг них носились мальчишки. Только Вачика нигде не было видно.

— Спрятался где-нибудь,— успокаивал сестру Арутик-солдат.

— Я видел... он побежал,— сказал пятилетний мальчуган, но, когда его стали расспрашивать, куда, в какую сторону побежал Вачик, он расплакался и ничего не мог больше сказать.

— Не волнуйтесь, к ночи явится,— говорит мастер Давид.— Не шутка ведь, старостиному Шагену все горло исцарапал. Сообразил, видать, что даром это ему не пройдет, ну и убежал, спрятался. Ничего, придет...

Но прошла ночь, прошло еще три дня, а Вачик нигде не показывался.

Стали думать, что он ушел в Гошаванк. Арутик отправился туда, всех там расспрашивал и вернулся один. Ерикназ с ума сходила от горя.

В эти дни ломался лед на реке. По селу распространился слух, будто Вачик, когда переходил через реку, провалился под лед и утонул.

...Женщины нашего села очень гордились тем, что так расправились с молодчиками Сого.

— Ну, пусть теперь эти согошки хвастаются своими боевыми делами, да и про наши не забудут! — говорили они.

Дядюшка Авет только слушал их и посмеивался себе в усы.

— Что это ты притих, Авет? — спрашивала его моя бабушка.— Можно подумать, что ты тут совсем ни при чем. Знал бы этот проклятущий мушец, как ты подговаривал нас напасть на солдат, уж он разделался бы с тобой!

— Э, матушка Нуно,— отвечал ей Авет,— мушец лучше твоего знает, где тут зарыта собака. Но что он может сделать? Верно ведь говорится: встанет село — сломает бревно.

Никол, мастер Давид и другие совсем не скрывали, кто помог им выйти из конюшни.

По их словам, в то время когда женщины воевали с часовыми, дядюшка Авет и учитель Хорен прошли за конюшню. Учитель, встав на плечи Авета, поднялся под самую крышу и через окно сбросил в конюшню цепь. С помощью этой цепи арестованные выдрали из окна железную решетку и выбрались по одному из конюшни.

Дядюшка Авет старался об этом не говорить, а огородник Никол без конца повторял:

— Нашла коса на камень... Когда я увидел в окне учителя, сразу сказал: «Ну, ребята, держись!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДОКТОР ИЗ ПЕТРОПОЛА

Все было бы хорошо. Коса Сого нашла на камень, и, если бы не несчастье с Вачиком и Сако, нас ничто не тревожило бы. У Сако рана на ноге воспалилась, он слег в постель. В ход были пущены все лекарства, все снадобья. На рану клали подорожник и кашицу из льняного семени, печеный лук с конопляным маслом, овечий помет — ничто не помогало. В конце концов решили, что нужно принести жертву святому Геворгу, чтобы он отогнал злых духов от раны Сако.

Бабушка Санам уже хотела нести свою единственную овцу, но дядюшка Авет воспротивился.

— Послушай, матушка Санам,— уговаривал он ее,— раз у тебя есть овца, давай зарежем ее для Сако, парень поест мяса — наберется сил. А святому Геворгу зачем отдавать единственную овцу? У него необъятные земли и сколько хочешь всякой еды — на что ему твоя овца?

— Не богохульствуй,— обиделась бабушка Санам.— Дал бы только владыка небесный здоровья моему сыночку, а я не то что овцу зарезать, готова босыми ногами до самого Иерусалима дойти.

— Да ты и так, матушка Санам, всю жизнь босая. Нашла чем удивить владыку небесного! Что он, не видел босых паломников?

— Ну, хватит тебе, безбожник! Болтаешь такое, да еще при детях,— рассердилась моя бабушка и прогнала Авета.

Она сердилась потому, что Сако, слушая дядюшку Авета, от смеха не мог спокойно лежать на месте.

Как вылечить Сако, придумал учитель Хорен.

Он поехал в город и перед отъездом сказал, что найдет верное средство вылечить ногу Сако. И хотя от учителя не было никаких вестей, бабушка Санам и моя бабушка в один голос благословляли его:

— Чтоб камни под его ногами превращались в цветы!

— Пусть не увидит он в жизни плохого дня!

— Заботится о нас, бедных и темных людях, да смилостивится над ним владыка небесный и да исполнит желания его сердца!

— От ваших благословений учитель может потерять дорогу в наше село и невзначай попасть прямо в рай,— смеялся дядюшка Авет.

— Рай для таких людей и создан, а не для таких, как ты, безбожников-нехристей,— отвечала ему бабушка.

— Ты с этим не торопись, матушка Нуно, у нашего учителя еще много дела здесь, на земле, не время ему в рай...

Наконец учитель вернулся, и не один, а вместе с каким-то молодым человеком. Не успел он войти в наше село, как распро-

странилась весть, что учитель Хорен (пусть вечно сияет над ним солнце молодости!) привел для Сако настоящего доктора.

Ну и чудо! Мы на своем веку и знать не знали, что такое доктор, и вдруг доктор сам пришел в наше затерянное в горах глухое село. Просто не верилось этому. Такое чудо надо было посмотреть собственными глазами.

Сельчане, и стар и мал, окружили доктора.

Учитель Хорен уже пригляделся нам, он уже стал для всех обыкновенным человеком. Смотрели на доктора, на его широкополую шляпу, на черные блестящие ботинки; некоторые, более смелые, щупали подол его суконного пальто; но больше всего удивляли людей его очки — продолговатые стеклышки без всякой оправы, которые каким-то чудом держались под бровями, слегка зажимая переносицу, словно приросли к ней. И никого уже не удивляло то, что этот человек, доктор, носил, как и учитель Хорен, крахмальный воротничок и галстук.

Не прошло и двух часов, как люди стали говорить о докторе так, словно им было все известно о нем. Говорили, что он прибыл из самого Петропола, где был у царя Никола доктором. Когда царя сбросили с трона, он будто бы сказал: «Я больше не останусь здесь, я должен пойти к своему народу» — и направился прямо к нам.

— Уже три года прошло, как сбросили царя Никола. Сколько же это пути от Петропола к нам? — спросил огородник Никол.

— Сколько пути, я не знаю, но Петропол стоит на самом конце земли, дальше за ним только море,— сказал Арутик-солдат.

— Ты что-то путаешь, друг,— возразил огородник Никол,— доктора американцы прислали сюда.

Так и пошло по селу: доктор, дескать, приехал к нам из Америки. Но Арутик-солдат не верил этому. Он вообще считал, что то, что называется Америкой,— чепуха, выдумка, хотя однажды, съездив в город, сам привез оттуда одну баночку американского сладкого молока; целую неделю вертел он ее в руках, все не решаясь открыть и гадая, что может оказаться внутри...

— Хитрец этот Сако, не умирал, пока не приехал к нему американский доктор,— говорил Никол.

— Верно, верно,— подхватывали другие,— доктор-то, видно, американский.

— Теперь все стало американским. Вон и галифе у Шагена американские...

Но что бы ни говорили люди, каждый старался привлечь к себе внимание доктора. А это, как оказалось, было не так уж трудно.

Доктор, как только пришел в село вместе с учителем Хореном, прямо направился в дом Сако. И этому тоже все удивились. Ведь кто бы из больших людей ни появлялся в нашем селе, он

шел в дом старосты Симона или Артуш-аги. Если гость был более именитым, чем даже сам пристав, ну, скажем, какой-нибудь святой отец архимандрит, то навстречу выходил Каро и, взяв мула за уздечку, провожал высокочтимого гостя в дом хозяина. А уж если гость попадал за хозяйский стол, с ним нельзя было ни встретиться, ни поговорить. Хозяева как встречали, так и провожали его. И только после того, как на сельчан обрушивалась какая-нибудь новая беда, скажем отработка за пользование монастырской землей, они начинали понимать, какой напастью был высокочтимый гость, посетивший село.

А петрополский доктор, не считаясь ни с чем, остановился в доме Сако.

Мы стояли у ворот и видели, как он, здороваясь, подал руку бабушке Санам и та, должно быть вспомнив времена, когда она была молодой невесткой, наклонилась поцеловать ее, но он испуганно отдернул руку. Точно так же он протянул руку и сестре Сако, но девушка, вспыхнув от смущения, закрыла лицо и убежала. Доктор удивленно посмотрел ей вслед, пожал плечами и направился к постели Сако. Бабушка Санам почему-то рассердилась и прогнала нас от ворот. И если бы не дядюшка Авет, который торопливо шел в дом Сако, постукивая своим костылем, я так и не узнала бы ничего. Вслед за ним и я проскользнула в дом вместе с Осан и Асмик.

Доктор, опустившись на одно колено у постели Сако, ощупывал его раненую ногу и, надавливая ее пальцами, спрашивал:

— Больно?.. А здесь?.. А теперь?..

Сако только кряхтел и охал от боли. Наконец доктор поднялся и сказал, что пуля застряла в ноге.

И вдруг, к нашему изумлению, увидев дядюшку Авета, доктор весело улыбнулся и поздоровался с ним:

— Вы, Авет?.. Здравствуйте, товарищ Авет!

— Здравствуйте, тысячу раз приветствую вас, господин доктор,— смущенно ответил ему дядюшка Авет и почему-то погрозил мне пальцем.

Я опрометью выскочила на улицу и закричала на все село:

— Доктор дядюшке Авету товарищ!..

— Ты что это прыгаешь, как теленок? Что еще случилось? — остановил меня дядя; с лопатой на плече он шел от нашего сеновала.

— Ой, дядя, если б ты знал... Доктор, этот петрополец, друг дядюшки Авета...— задыхаясь от волнения, объявила я.— Чтоб мне ослепнуть, если я вру, своими глазами слышала, своими ушами видела, как он сказал: «Товарищ Авет джан...»

— Ну, раз глазами слышала и ушами видела, значит, вранья тут нет,— рассмеялся дядя Агабек.

У меня не было времени выяснять, почему он смеялся, надо было поскорее объявить всем эту удивительную новость, и я кинулась с нею из дома в дом. Слава богу, не пришлось забегать

в дом к Зорбе-Зардар — она подбоченясь стояла у ворот и, кажется, опять защищала своих ослов. Зардар ничего не поняла из того, что я сказала, она продолжала выкрикивать: ее ослы, мол, стали бельмом на глазу у всех, а того никто не поймет, что староста Симон день-деньской, как осел, мучится из-за крестьян и что, дескать, он из камня, что ли, не человек?..

Оставив ее вопить, сколько ей вздумается, я пустилась дальше, ошеломляя всех своей новостью:

— Тетушка Шушан, петрополец, как только увидел дядюшку Авета, бросился ему на шею, поцеловал в бороду и усы и сказал: «Вай, Авет джан, дорогой братец, привет тебе!»

— Бабушка, доктор...

— Егнар тетя, петрополец...

Только Маран не выказала никакого удивления.

— Ну конечно, товарищ... и ему и тебе...— равнодушно бросила она.

Но когда я поклялась всеми известными мне именами святых и даже самим сатаной, она задумчиво проговорила:

— Кто его знает, хромого черта... может, и правда. Мой Авет — человек бывалый...

Вскоре я заметила и другое: петрополец обижался, когда его называли господином. Когда беженец Умршат назвал его «господин доктор», он нахмурился и сказал:

— Вот что, дядя, мое имя Аршак. Так и обращайтесь ко мне — доктор Аршак, без «господина»...

Он только на старосту Симона не обижался, когда тот назвал его господином доктором. А Симон хоть и называл так доктора, но косо смотрел на него. Причина была понятна.

Это верно, что доктор приехал к нам для того, чтобы вылечить рану Сако. Но с того дня, как он появился в селе, начали болеть все. И в доме Сако с утра до вечера толпились люди.

От женщин отбоя не было, особенно от пожилых. Одна жаловалась на то, что от головной боли она семь лет ничего не ест, другая — что у нее боль в костях и потому ее все время тошнит, третья умоляла доктора выправить хромую от рождения ногу ее дочки, потому что она девочка, жаль ее... А некоторые просили, чтобы доктор сам сказал, что у них болит.

МОЙ ЯЗЫК

Ну, уж если доктор понимал все болезни, какие только есть у людей, мог хоть мертвого воскресить и сам он — друг дядюшки Авета, значит, нашей бабушке никак нельзя было не повести к нему показать меня и Асмик, хотя у нас, насколько мне известно, нигде и ничто не болит.

— Откуда ты знаешь, что у тебя нет какого-нибудь недуга? — рассердилась на меня бабушка.— На свете полно плешивых, слепых, одна ты здорова? Доктору лучше знать.

Она велела мне и Асмик как следует вымыть лицо, причесаться, потом накинула на голову пеструю шаль, оставшуюся у нее еще со времени свадьбы, взяла нас за руки и повела к доктору.

— А ну, посмотрю, что найдет он у моих девочек, потом уж свожу к нему Аник. Покажу и Артика. Да надо бы и моей Сато и Ашхен сходить к нему...— сама с собой рассуждала бабушка.

— А Осан, бабушка?

— И ее возьму. Как не взять, сирота девочка, надо и о ней позаботиться. Ведь когда еще попадет к нам доктор? Будь он у нас в прошлом году, не умерла бы и бедная Хандут марэ, пожила бы еще.

— А ты скажи ему, пусть он сделает так, чтобы ты не умерла,— посоветовала я бабушке.

— Посмотрим, бала джан, посмотрим,— задумчиво проговорила бабушка и вздохнула:— Этой проклятой боли, что у меня, и камень не выдержал бы.

Доктор, в белой рубашке до самых пят, стоял возле какой-то девочки, привезенной из Гошаванка. Он с таким вниманием рассматривал ее почти совсем голую, всю в струпьях голову, что даже не замечал нас, хотя я высунулась вперед и торчала у него под самым носом. Бабушка, стараясь привлечь его внимание, без конца чихала и охала, но ему, как видно, было не до нее. Девочка плакала, а доктор какими-то щипчиками все копался у нее в голове. Наконец он махнул рукой и сказал, что лишай вылечить можно, но волосы у девочки больше расти не будут.

— Вай, горе мне! — запричитала мать.— Как можно девочке остаться без волос?.. Доктор джан, богом тебя молю, сделай так, чтобы волосы выросли у нее, пожалей ты нас!

— Ничего не могу сделать, сестра,— ответил ей доктор,— вы много напортили тут своими снадобьями.

— Да чем же мы напортили? — стала оправдываться женщина.— Другие тысячу разных трав и лекарств кладут, а мы только овечьи катышки клали ей на голову. Наш лекарь Гонди говорит, что от майских катышек волосы хорошо растут. Ну, еще раза три или четыре прикладывали кашицу из цветка, сорванного в день амбарцума[1], это уж испытанное средство.

— Вот в этом-то и беда. От овечьего помета на коже появился лишай, а цветком амбарцума вы растравили его. Нет, волосы не будут расти.

— Э, доктор джан, ну что такое пучок волос! — обиженно проговорила женщина и, взяв свою девочку, направилась к двери, проклиная свою судьбу, а заодно отчитывая и доктора: слепым, дескать, дает зрение, калекам — руки и ноги, а для ее дочки пожалел пучка волос.

---

[1] Амбарцум — вознесение.

Воспользовавшись минутным перерывом, я снова высунулась вперед.

— Посторонись-ка, не мешай,— сказал доктор, не глядя на меня.

Но тут же вышла вперед и бабушка. Как молодая невестка, она сложила руки на груди и поклонилась:

— Господин доктор джан, да буду я жертвой твоей души, обе эти девочки мои внучки... Авет тоже мне вместо сына...

— Хорошо, мать, я всех осмотрю, но обождите немного,— ответил ей доктор, не придавая, как видно, никакого значения тому, что дядюшка Авет тоже приходится ей сыном.

— Свет очей моих, доктор джан,— продолжала бабушка,— и у меня со здоровьем неладно, свет меркнет в моих очах... Мой Авет сказал: «Возьми детишек, пусть мой друг господин доктор осмотрит их». А дома у меня остались еще Аник и Артик,— сочла нужным предупредить она.

— Да, конечно, свет померк в очах,— подтвердила я,— ты столько говоришь: «Вай, чтоб я ослепла»,— как не померкнуть?

Доктор, улыбаясь, подозвал к себе Асмик.

— Язычок у тебя есть? — спросил он, похлопывая ее по щеке.— Покажи, посмотрим.

Асмик стояла перед ним смущенная и чуть не плакала. А у меня от нетерпения язык сам выскакивал изо рта. Наконец я не выдержала и шагнула к доктору.

— У меня есть, доктор джан,— сказала я и высунула язык сколько могла.

Доктор оглядел меня с головы до ног и щелкнул по носу.

— Смелый у тебя язык! — усмехнулся он и посоветовал: — Держи, держи его, чтобы не украли.

Я с победоносным видом спрятала свой язык, чтобы немного погодя побежать на улицу и, прибавив тысячу подробностей, рассказать, как доктор похвалил мой язык.

В дверях вдруг раздался сердитый голос старосты Симона.

— Посторонитесь, дайте же человеку пройти! — говорил он, с трудом протискиваясь вперед.— И что за темный народ, будто доктора век не видели...

— Ты много видел! — отворачиваясь, проворчала бабушка.

А доктор как будто и вовсе не замечал его.

— Доброго здоровья, господин доктор! — развязно заговорил староста, оглядываясь вокруг себя и ожидая, что ему предложат сесть.

— Здравствуйте,— небрежно бросил доктор.— И вы больны? На что жалуетесь?

— Больны, а как же,—покряхтывая, ответил староста.—Будь у тебя на шее столько забот, и ты бы заболел... Легко ли нести на своих плечах заботы о всем селе!

— Так, значит, болеете за все село... А на что еще жалуетесь, чего от меня хотите?

— А еще того хочу, господин доктор, чтобы твоя милость перебралась отсюда в мой дом... У меня чистая горница. А то, что ты живешь в этих закопченных стенах, для нас большое бесчестье. Эти наши крестьяне — народ без понятия, они тебе всю душу вымотают...

Доктор терпеливо выслушал его и покачал головой:

— Нет, господин староста, благодарю. Я приехал сюда лечить Сако и останусь у него в доме. Это ничего, что стены в саже.

— Значит, сельское начальство для тебя ничто, вроде как головка от гвоздя?.. Ну, дело твое, тогда не обессудь, ежели что...— обиженно проговорил староста и ушел.

— Ну, скисло молоко у курда, обиделся! — сказал Сако.

— И пусть киснет, пусть обижается,— заговорила бабушка Санам.— У них уж такая повадка: какой бы именитый человек ни приехал в село, обязательно потащат к себе, а другим не позволяют и взглянуть на него.

— Очень хорошо сделал господин доктор, товарищ джан, да буду я жертвой его души,— одобрительно отозвалась и моя бабушка.— Как будто доктор — пристав, которого можно заманить яичницей. Что, сестра Санам хуже неряхи Зардар? Да она сможет, как невесту, принять такого гостя!

Доктор молча слушал их и посмеивался.

— А я, уж если говорить правду, и не пошла бы к доктору, ежели б он остановился в доме старосты,— сказала Егнар.— После того как я увидела у них в хлеву эту коровью шкуру, я больше к ним ни ногой.

— Совсем незачем идти доктору в дом к таким живоглотам,— снова заговорила бабушка.— Он человек с совестью, да еще и друг-товарищ моему Авету. Значит, он наш.

— Ладно, я и не думаю перебираться к старосте,— сказал доктор и спросил: — А что это за история с коровьей шкурой?

— А это, господин доктор, шкура пестрой коровы мастера Давида,— поспешила я объяснить.— У нее еще хвост был с белой кисточкой. Корову украли из стада, а хвост ее оказался в хлеву старосты.

— Так, значит, хвост с белой кисточкой выдал грабителей?— усмехнулся доктор.— Ну, в такой дом я никогда не пойду.

— Тебя, дорогой доктор, никто и не пустит туда,— подал голос со своей постели Сако.— Ты приехал ко мне, моим гостем и останешься. Вот только бы мне подняться на ноги...

Доктор продолжал принимать больных в доме Сако, а староста Симон издали ворчал на него, обозленный тем, что петрополец ни во что не ставит начальство.

— Новая курица мне нашлась, хочет снести золотое яичко,— говорил он о докторе.— Пришел сюда народ удивлять. А ежели бы кто спросил у тебя — кто ты и что за человек? Как будто в больших городах нет больных людей и тебе надо обязательно лезть со своим лекарством в наше глухое село.

— Теперь время «независимой Айастан»,— как-то сказал ему дядюшка Авет,— и ни ты, ни я не имеем права умирать без доктора.

— Ну и что из того, что не имеем права? — возразил староста.— Я говорю, ежели ты лекарь, так и занимайся лекарством, а в остальное не суйся. Какое дело ему до того, сколько податей платят крестьяне, у всех ли есть корова и что едят люди — масло или чортан[1]?

— Ты скажешь тоже, староста,— засмеялся Авет.— Все село учишь уму-разуму, а самых простых вещей не понимаешь. Ведь этого человека послала сюда Америка, и, значит, хочет она знать, как живет ее «независимая Айастан»!

— Америка? — удивился Симон.— Откуда ты взял?

— Ведь сам же ты говорил, что американцы добрые люди. Может, масло или сладкое молоко пришлют для тех, кто сидит на одном чортане...

— У тебя и от чортана язык на семь аршин, а станешь лопать масло, так с тобой никакого сладу не будет.

— Мой расчет верный,— сказал дядюшка Авет,— а вот Америка, пожалуй, просчитается. Пусть она хоть маслом мажет нам шею, мы все равно не полезем в ее ярмо.

— Э, говорить с тобой!..— махнул рукой староста и ушел.

ЛЕНИН — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОЛЬШЕВИК

Доктор Аршак все еще в нашем селе. Рана на ноге у Сако уже зажила. Иногда Сако прохаживается по комнате с палкой в руке, и дядюшка Авет, как человек, умеющий мастерски управляться с костылем, учит его ходить. А доктор все живет и живет у нас.

— Он понравился нам, и мы, видно, понравились ему, не хочет расставаться с нами,— говорит мастер Давид.

Наши сельчане обращаются теперь к доктору не только со своими болезнями. По всем своим делам бегут они советоваться к доктору или вызывают его к себе в дом. И доктор послушно идет то к одному, то к другому по первому зову. У одного сéла крыша в хлеву — и он зовет господина доктора: мол, ученый ты человек, посмотри, в чем тут дело... Другой хотел бы обменять своего старого вола на другого, который кажется ему помоложе, и тоже обращается к доктору: кому, дескать, и разобраться в этом, как не доктору, пусть скажет, сколько дать в придачу, чтоб не промахнуться...

А Никол спрашивает доктора, что ему в этом году сажать на морковных грядках — опять морковь или, может быть, лук?

— Посади лук,— советует ему доктор,— пусть земля немного

---

[1] Чортан — сушеный творог. Зимою его смачивают и варят кислый суп — спас.

отдохнет от моркови, силы наберет. А в будущем году посади лоби, его корни — хорошее удобрение для земли. Да и золу подсыпай.

— Ты настоящий огородник, доктор джан,— радуется Никол,— все понимаешь. Если останешься у нас до будущего года, я таким лоби тебя угощу — не захочешь молодого барашка!

Мне хочется спросить: а как же будем обходиться без моркови я и осел, если Никол весь огород засадит луком?.. Но мне кажется, что доктор не смог бы ответить на мой вопрос. Ведь он, наверно, сроду не лазил в чужие огороды и не знает, какое это удовольствие, таскать с грядок морковь.

Ну, лук и морковь — это еще куда ни шло. Крестьяне идут к доктору советоваться, как избавиться от разных сборов и податей, и он всегда охотно беседует с ними. К нему приходят люди и из соседних сел, рассказывают ему про все свои горести и обиды, а уходят от него с облегченной душой.

Иногда доктор и учитель Хорен, закинув за плечи ружья, отправляются на охоту, будто бы пострелять куропаток, но некоторые видели, что они ходят не на охоту, а по соседним селам. Зачем они туда ходят, этого уж не только я, но и дядюшка Авет, наверно, не знает.

— Может быть, и в других местах есть больные, несчастные люди, вот они и идут к таким, дают им лекарства и исцеление,— отвечает мне всякий раз бабушка Санам.

В доме Сако всегда народу полно. Дома доктор или в отлучке, все равно сельчане сидят там, дымят своими чубуками и беседуют. Конечно, тут дело не обходится без меня и дядюшки Авета, а иногда мы берем с собой и бабушку.

Однажды, когда доктор опять ушел куда-то в другое село и мы собрались у Сако, бабушка сказала, что очень привыкла к доктору, так привыкла, что, если бы он уехал от нас, это было бы для нее большим горем.

— С крестьянином он крестьянин, с ученым — ученый, этот наш доктор-товарищ,— задумчиво проговорила она.

— Он настоящий армянский христианин,— согласился с ней беженец Умршат,— как пророк Григорий Просветитель, болеет за свой народ...

— Выдумаете тоже! — вдруг рассердился Сако.— Никакой он не армянский христианин, не пророк, а настоящий большевик, наш доктор Аршак... Я давно догадался, что он большевик.

Мы удивленно смотрели друг на друга, а бабушка сейчас же всполошилась:

— Да что ты, Сако джан, какой же он большевик, если говорит по-армянски — как воду пьет? Был бы он русским, тогда еще можно поверить. Наш Иван был ведь русским, не так ли? Что же, большевики есть и в нашей нации или это другая нация?

— Большевики есть и в нашей нации и в других нациях,— поучительно заговорил Сако, поднимая палец, как учитель Хо-

рен.— Но большевизм не нация, а вера, и эта вера родилась в России. Глава этой веры — человек русской нации, а имя ему... Погодите, как это говорили у нас, когда я был в солдатах?.. Да, имя ему Ленин. Так я сказал, дядюшка Авет?

— Так, так. Самый главный большевик — Ленин,— подтвердил дядюшка Авет.

— Светлая душа у русского человека, совестливое у него сердце. Разве наш Иван не был таким? Помните, как он помогал крестьянам, плотничал, перекрыл обвалившуюся крышу вдове Ерикназ, косил Авету и другим пшеницу во время жатвы?.. Да умереть мне за его веру! — проникновенно проговорила бабушка и даже перекрестилась.— Если большевики такие, как Иван и доктор, пусть за их веру идет весь мир.

— Так оно и будет, матушка Нуно,— сказал дядюшка Авет.— В конце концов все мы, и я, и ты, и все эти мелкокопытные, придем к Ленину и будем жить по вере большевиков, в одном государстве.

— Дядюшка Авет, а как же хозяйский Каро? — забеспокоилась я.— Он тоже пойдет вместе с нами?

— Да. А что? — засмеялся он.— И Каро, и старосту Симона, и даже хмбапета Сого мы потащим с собой. Только мы поедем на конях, а их привяжем к хвостам.

— Чтобы Ленин увидел и засмеялся, да?

— Ну, к Ленину их незачем тащить, Ленина надо беречь от таких людей.

— А если он меня увидит, что скажет?

— Прежде всего скажет, чтобы ты как следует мыла лицо и причесывалась, нельзя же ходить такой растрепанной. А потом скажет, чтобы ты не совала свой нос в дела, которые тебя не касаются. Таких он тоже не любит.

— Откуда ты знаешь, разве ты видел его?

— Нет, не видел и очень жалею об этом,— вздохнул дядюшка Авет.

— А рябого Вано мы тоже привяжем к лошадиному хвосту?

— Зачем? Вано еще ребенок.

— Ребенок, но у него собачий нрав. Какой большевик получится из такого ребенка?

— Шутки шутками, Авет джан,— прерывая нашу интересную беседу, снова заговорила бабушка,— а я тоже не согласна с тобой. Ты говоришь, что все мы должны пойти одной дорогой? Да ты дай мне хоть колесницу Ильи-пророка, а одной дорогой с такими людьми, как проклятущий Сого или неряха Зардар, я не пойду. Какой бы ни был там райский мир, Зардар все равно будет стоять над нами и насильничать, а злодей Сого морочить нам головы своей «независимкой». Нет, сынок, что уж говорить о нашей грешной земле, богатый и бедный даже в царстве небесном не будут равны.

— Дядя Ивана и Майи нет с нами,— пожалела я,— вот их обязательно взяли бы с собой.

— Не беспокойся, Иван раньше нас туда ушел. Нам теперь надо бегом бежать, чтобы догнать его,— сказал дядюшка Авет.

— Значит, дядя Иван все-таки большевик?

Дядюшка Авет немного помолчал и, касаясь моего уха своей бородой, шепнул:

— Много будешь знать — скоро состаришься. Какое тебе дело — кто большевик, а кто нет?

— Если так — и ты большевик!

— Ну, нечего болтать всякую ерунду! — как будто обиделся он.

— Какая же ерунда? Иван — твой товарищ? Это раз. Доктор тебе тоже товарищ? Это два. А помнишь, Каро назвал тебя большевиком? Значит, ты большевик! Да, большевик! — твердо заявила я.

Он схватил меня под мышки и, как цыпленка, подбросил кверху.

Мы с дядюшкой Аветом шепчемся, а другие горячо спорят.

— Большевизм,— говорит Сако,— это царство бедных, в этом царстве все начальство будет из бедного крестьянства — и староста, и пристав, и губернатор. В России так и есть, там Ленин построит такое царство бедных. Не так ли, дядя Авет?

Но не успевает Авет ответить, как Никол вскакивает с места и начинает горячо возражать Сако:

— Какое там царство? Неправда! Разве не большевик писал, что никакого царя больше нет и не будет?.. Будь то богатый или бедный, но если он завладеет короной и скипетром, он обязательно наденет ярмо на шею крестьянина. Царство — это уж такое дело... Я не видел Ленина, но, на мой взгляд, не такой он человек, чтобы устраивать какие-то царства. То, что он создал,— это власть крестьянской бедноты...

Никол говорил с такой запальчивостью, что его светлые усы топорщились.

А у меня от этих разговоров все перепуталось в голове. Кто ошибается и на чьей стороне правда? Что это за люди — большевики? Когда в нашем селе появились листовки за подписью «Большевик», мне казалось, что большевик — это невидимый витязь, который верхом на коне и с мечом в руке кружит повсюду и, как только замечает, где несправедливость, пишет свои бумажки и приклеивает к дверям. Я была уверена, что этот невидимый витязь — большевик — может в любое время снести голову всем, кто насильничает над народом, и в первую очередь, конечно, старосте Симону и хмбапету Сого, которых ненавидят все, а мы с бабушкой больше всех. Как только заходит о них речь, моя бабушка всегда говорит: «Чтоб небесный огонь пал на их проклятые головы!..» Потом стали говорить, что большевик — это мельник Иван, а теперь выходит, что доктор из Пет-

ропола тоже большевик, а может быть, большевик и дядюшка Авет, и мой дядя, и уж конечно учитель Хорен, потому что с самого начала говорили, что он человек другой веры. А самый главный большевик — это Ленин.

Значит, на свете так много большевиков, а я ничего не знаю, и не хватает только того, чтобы я, как Ерикназ, запричитала: мол, горе моей беззащитной головушке, все стали большевиками, одна я осталась.

Я МЕНЯЮ ВЕРУ

Это решенное дело: я меняю веру, хочу стать большевиком. Я долго думала об этом и решила, что сделать это не так уж трудно, не труднее, чем пройти под радугой и стать мальчиком. Вот только не знаю, у кого мне спросить, есть ли на свете девочки-большевики. Все большевики, которых я знаю,— дядюшка Авет, доктор, учитель — мужчины... А впрочем, чего тут раздумывать, неужели у меня не хватит смелости стать большевиком? Если для этого нужно, чтобы я на воротах старосты Симона или Артуш-аги написала «долой», так и напишу — кто меня держит за руку? Такое напишу, что у читающего сердце зайдется от гнева. Слава богу, учитель Хорен научил меня и читать и писать. Правда, пишу я не так быстро и красиво, как учитель, но все наши двери я уже исписала углем и карандашом, и за это мне досталось-таки от бабушки. И двери дядюшки Авета разукрашены моим письмом. Так что в письме меня никто не может опередить.

Ну я, как все знают, очень люблю Осан и никакого дела не могу затеять без того, чтобы не втянуть в него и ее. Летом мы вместе ходили сторожить наше поле от хмбапетов и птиц, свою долю картофеля я всегда делю с Осан, иду за водой — и она идет вместе со мной, после смерти Хандут марэ мы плакали тоже вместе,— одним словом, мы во всем друзья.

И вот я, взволнованная своим решением, подбегаю к Осан:

— Осан джан, пойдем!

— Куда пойдем? Холодно...

— Пойдем, дело есть. Тайное дело!

— Я боюсь делать тайное дело.

Удивительная девочка эта Осан. Весь свет стал большевистским, а она всего боится. Но все равно я уговариваю ее, и мы бежим в кузницу.

После того как наш старый дом превратили в кузницу, я больше не бываю в нем. Все там перевернуто вверх дном, и мне больно смотреть на это отцовское жилье. Тонир засыпан землей, вместо него в углу сделан вечно шипящий горн, от которого сразу начинает болеть голова, а в том месте, где спал отец, поставлен огромный чурбан с наковальней, и беженец Умршат целый день оглушительно грохает молотком по раскаленному докрасна

железу. Наш дом стал неузнаваемым, и мне не хочется даже глядеть на эту черную от копоти кузню. Но только здесь можно найти древесный уголь, а он мне очень нужен для того, чтобы стать большевиком.

Схватив за руку Осан, я вбегаю в кузницу и кричу Умршату:

— Старший брат, дай нам немного угля!

Умршат совсем не слушает меня. Он продолжает бить молотом, испуская тяжелые вздохи:

— Ахх!.. Ахх!..

— Уголь, уголь! — еще громче кричу я, подтягиваясь на цыпочках к его уху.

— На что вам уголь? — не прекращая работы, спрашивает Умршат.

— Не знаю,— пожимает плечами Осан.

— Как это ты не знаешь? — сердито говорю я.— Ведь сказала же нам бабушка: подите принесите немножко угля!

Умршат кивает головой на кучу угля в углу, и я быстро накладываю его себе в подол.

— Теперь пойдем, Осан.

Рассыпая по дороге кусочки угля, мы бежим к дому Артушаги.

В доме никого нет, ворота закрыты. Каро неизвестно где шляется, он совсем тронулся умом от своей «независимки».

Я выбираю самый крупный уголек и на воротах, окрашенных белой краской, пишу:

«Хозяйский Каро ты Лиса сухово ущелия... Сого тебя в дашнакиство долой... Долой Симон вор...»

А в конце большими буквами добавляю: *«БОЛЬШЕВИК»*.

— Осан джан, кончили, теперь бежим!

— Что ты наделала! — испуганно смотрит на меня Осан.— А если увидят?

— Пусть увидят, чего ты боишься? Мы стали большевиками. Но ты об этом никому не говори!

...Это моя написанная углем листовка всполошила все наше село.

Староста Симон и Каро как с ножом к горлу пристали к беженцу Умршату, а моя бабушка спорит с ними: дескать, после отъезда из нашего села Ивана у нас нет других большевиков,— значит, это проделки человека со стороны.

— А откуда ты знаешь, что другого большевика у нас нет?— сердито вступаю я в спор.— А разве Сако не сказал, что доктор...

Но тут дядюшка Авет дергает меня за ухо:

— Придержи-ка язык!

А Каро орет и орет:

— От дверей кузницы и до самых наших ворот рассыпан уголь. Кто же это сделал, если не ты?

— Ай, брат Каро, да я и перо не умею в руках держать, как же я мог написать? — спокойно возражает ему Умршат.— Если б хоть мог выводить буквы, вот как эти детишки...

— Может, и не ты писал, но уголь твой,— поводя своим вынюхивающим носом, говорит староста Симон, и у меня пересыхает во рту от страха — как бы он не дознался, что это я писала углем.

«Но я стала большевиком — разве можно мне бояться?» — подбадриваю я себя и прячусь за спину дядюшки Авета.

Дядюшка Авет явно смущен. Доктор подмигивает ему и глазами и бровями, о чем-то спрашивает, но тот лишь недоуменно пожимает плечами.

— Я всех вас отправлю к господину хмбапету, там у вас развяжутся языки! — грозит Симон.

— У нас, староста, языки не завязаны,— спокойно бросает дядюшка Авет,— но мы тут ни при чем.

— Чтобы ты да был ни при чем в таком деле? — шипит Симон.— Наверно, подговорил кого-нибудь сделать такую пакость.

— Э, староста, пустое ты говоришь! — продолжает Авет.— У каждого человека своя голова на плечах. Пора бы тебе понять, что у народа раскрылись глаза. Теперь даже ребенок, дитя малое, и тот понимает, что к чему...

— Послушай, ты, большевистский шпион, заткни свою глотку! — выкрикивает Каро, но не осмеливается подойти ближе.

Дядюшка Авет гневно взмахивает своим костылем, хочет ударить Каро, но доктор берет его за руку.

— Успокойся, Авет, не стоит связываться,— говорит он и ведет дядюшку Авета в сторону.

Я бегу рядом с ними и в восторге от всего, что произошло, готова кричать на весь мир. Шутка ли, переполошить все село!

Навстречу нам, покачиваясь, как Зорба-Зардар, выплывают гуси Симона. Я хватаю камень и бью им в самого жирного гусака; он, как и его хозяин, шипит, задирая свой клюв.

— Зачем ты это делаешь? — сердится дядюшка Авет.

— И буду делать, теперь я гусей не боюсь, никого не боюсь! Я...

— А ты действительно тут ни при чем? — шепотом спрашивает доктор Авета.

— Клянусь своей головой, товарищ Аршак! Да разве я пошел бы на такое дело без твоего разрешения? Нет, хоть я и не очень силен в грамоте, все же не написал бы с такими ошибками. Видел, там «дашнакиство» написано.

— Ну, это могло быть сделано в порядке конспирации.

— Чего? Не понимаю,— признается дядюшка Авет.

Они поворачивают к нашему дому, и я сломя голову мчусь вперед.

— Бабушка,— кричу я,— к нам идут!

— Кто идет? — испуганно спрашивает она.

— Доктор, бабушка, сам доктор идет к нам!

У нас в доме поднимается суматоха. Тетушка Ашхен хватает веник и кидается подметать пол, Аник не знает, куда засунуть свою куклу. Осан прячется за постелькой Артика, а Асмик говорит:

— Теперь уж я не испугаюсь, покажу язык.

— Сказала тоже! — смеюсь я.— Да за это время доктор перевидал столько языков, сколько есть их в нашем селе. Нашла чем удивить!..

Доктор и дядюшка Авет сидят в нашей оде, беседуют.

Бабушка то и дело зовет меня, посылает к мастеровой жене Шушан взять у нее немного масла, чтобы сделать яичницу для доктора, но я не хочу идти. Не могу же я не послушать их беседу. А вдруг пропущу что-нибудь интересное? Бабушка не понимает этого.

— Иди, бала джан, иди,— уговаривает она меня.— В кои века к нам пришел такой почтенный человек, не опозориться бы.

— А кто виноват? — злорадствую я.— Все кормила маслом и яйцами этого проклятого Каро, теперь, конечно, должна опозориться!

— Зачем говоришь такие слова? — обижается бабушка.

Я ничего не отвечаю ей и снова бегу в нашу оду.

И кто бы мог подумать, что написанное мною углем на воротах Артуш-аги принесет нашему селу столько бедствий! Дядюшку Авета и моего дядю так избили, что они и сейчас ходят с обвязанными головами. Но это еще ничего. Дядюшка Авет говорит, что проливать кровь за правду — почетное дело, а Каро и Симону они в скором времени отомстят.

Хуже всего то, что беженца Умршата люди Сого не только избили, а связали ему руки и увели с собой.

Говорят, что Умршат не вернется, потому что Сого, пожалев о том, что в свое время не содрал шкуру с Ивана, постарается сделать это теперь с Умршатом.

Осан опять горько плачет:

— Вай, мой старший братец Умршат!..

Мы сидим с ней в углу и в один голос причитаем.

И бабушка вместе с нами без конца повторяет:

— Вай, бедный Умршат!..

А наш доктор уехал из села. Да, так вдруг собрался и уехал. Одни говорят, что это Сого приказал ему уехать, а кто — дескать, он поехал в город за лекарствами, потому что все лекарства, какие у него были, выпили наши сельчане.

— Какое они имеют право выгонять американского доктора? — возмущается Никол.— Узнает об этом американец, уж он разделается с Сого!

А мне очень грустно. Я все хожу за дядюшкой Аветом и не

знаю, как мне остаться с ним наедине, чтобы рассказать ему обо всем. Он такой хмурый, кричит на всех, и нигде ему не сидится на месте.

— Да, Арцив джан, такие-то дела,— говорит он, поглаживая меня по голове.— Опять нам взбучку дали.

— Но ведь ты тут совсем ни при чем?

— В том-то и штука,— вздыхает он,— кто-то пустился на эту ребяческую проделку, а все шишки — на нас.

— А если это сделал ребенок, они ничего ему не сделают?

— Ребенок вряд ли додумается до такой вещи.

— Иди, я на ухо тебе скажу,— шепчу я и носом тычусь в его волосатую щеку.— Это я написала...

Авет вскакивает как ужаленный.

— Ты?

— Да, я. Я тоже хотела стать большевиком...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОЛОВОДЬЕ

Весна в этом году наступила совсем неожиданно, ничем не давая знать о своем приближении. Может быть, она и давала знать, но наше село так бурлило и клокотало, что никто не подготовился встретить ее.

И когда однажды ночью внезапно хлынул дождь и согнал снег со склонов гор, оставив ему единственное пристанище в расселинах скал, наши сельчане сказали:

— Ну, как бы там ни было, у человека свой путь — и у весны тоже...

Однако в этом году и весна и особенно наши крестьяне, кажется, изменили свой путь. На этот раз, хоть и приближается время сева, никто не ходит в дом Артуш-аги и не просит у Каро земли, семян или волов и лошадей для пахоты.

— Ладно,— говорят наши сельчане,— поработали на хозяина, хватит!

— Эй, люди,— призывает мастер Давид,— возьмитесь за ум! Земля принадлежит тому, кто на ней сеет и жнет. Артуш-ага сегодня есть, завтра его не будет, а хлеборобу как можно не сеять?

— Это верно, мастер. Но много ли проку оттого, что мы пóтом и кровью добываем свой хлеб? — возражает ему огородник Никол.— Сеешь и жнешь, а придет время делить урожай — и отберут у тебя все, что ты собрал. Раньше мы работали на одного Артуш-агу, а теперь нас терзает тысяча разных собак и волков.

— Не хочу сеять, не буду жать,— восстает и Сако,— лучше уйду в город, грузчиком буду работать!

— Какой это бес вселился в вас? — возмущается мастер Да-

вид.— Да поймите же, вы лягаете не Артуш-агу, а самих себя! Добром не станете сеять, силой заставят. Напустят на вас хмбапетов, так вприпрыжку за сохой побежите. Ничему не научились за эти два года?

— Э, мастер, непонятливый же ты человек,— с досадой говорит Никол.— Половодье началось, смотри, как бьется о скалы река, а ты хочешь, чтобы она по-прежнему спокойно текла...

И в то время как весна, разделавшись со снегом, начала расстилать зеленые ковры по склонам гор, сельчане сидят под стенками дворов, греются на солнышке и с весенним усердием шумят и спорят. Порою часами, стоя на вершине скалы, смотрят они на небывалое половодье.

А река, мутная и пенистая, бешено бьется о скалы, шумит и с ревом несет свои воды...

Однажды, когда они снова собрались на скале и заспорили, к ним подошел Авет. Он взглянул на реку и, поискав что-то глазами, сказал:

— А неплохо бы теперь порыбачить!

— Самое время, скоро хозяйские кривляки приедут на дачу,— усмехнулся Никол.— Агабек, пора тебе готовить сеть.

— Ну нет,— весело отозвался дядя,— рыба теперь тоже независимая, пусть хозяева сами ловят ее.

— А почему нужно только для хозяев ловить? У нас тоже не заболят животы, если отведаем свеженькой рыбки,— сказал дядюшка Авет и предложил: — Пойдем-ка, Агабек, закинем сеть на счастье. Кто хочет, пусть присоединяется.

— Да ты с ума сошел, Авет! — вмешался мастер Давид.— Погляди на реку, она как взбесившийся дракон, недолго и до беды.

Но дядюшка Авет твердил свое:

— Кто хочет, присоединяйся.

— И меня возьми, дядюшка Авет,— попросила я,— на мое счастье много рыбы попадается в сеть, это уж дело испытанное.

— Очень хорошо, Арцив джан,— засмеялся дядюшка Авет,— давай-ка утрем нос мужчинам!

— Ты что, дразнишь нас? — первым отозвался Никол и обратился ко всем: — А ну, ребята, пошли, не отставать же нам от ребенка!

Не прошло и получаса, как все мы, нагрузившись корзинами и сетями, окружили дядюшку Авета.

— Пойдем к мельнице, там вода поспокойнее,— предложил Авет.

— Ну, уж коли сбил с истинного пути, куда хочешь веди,— согласились сельчане.

— Не бойтесь, братцы, со мной вы всегда найдете правильную дорогу! — подмигнув дяде, сказал Авет.

Подходя к мельнице, мы увидели вдали каких-то людей.

— Оказывается, нашлись такие же безумные, как и мы,—

сказал Никол и вдруг взволновался: — Глядите, ребята, да это как будто учитель Хорен.

— Он и есть!

— Привет тебе, господин учитель!

— Пусть будет счастлив твой день, господин Хорен!

— Хорошего лова, учитель!..— подходя к реке, шумно заговорили сельчане.

Учитель босиком, в подвернутых до колен крестьянских шароварах ходил у бурлящей воды и ловко забрасывал сеть.

— А ты, оказывается, мастер на все руки, учитель,— похвалил его мастер Давид.— Наверно, не оставил нам ни одной рыбешки, бессовестный, всех усачей вытаскал.

Действительно, огромная корзина, стоявшая на берегу, была уже полна рыбы. Гошаванкцы, ловившие рыбу с учителем, тоже стали хвалить его:

— О, учитель у нас лев, нет ему равного.

— Они торопятся меня похвалить, чтобы я не заговорил о них,— улыбнулся учитель.

— Ладно, господин Хорен, не криви душой,— сказал один из гошаванкцев,— не ты ли вытащил вон того пудового усача?

— Это уж не имеет значения, кто какого усача вытащил,— поучительно заговорил мастер Давид.— Издавна так повелось: коли вышел на охоту с друзьями-товарищами, нет ни твоего, ни моего, все общее.

— Ну, так что же, присоединяйтесь к нам, друзья,— предложил учитель.

Некоторые начали раздеваться, разматывать сети. Сначала дядя закинул сеть, и я, уверенная, что мое счастье не подведет и рыба, потеряв голову, сама кинется в сеть, приготовилась собирать ее. Но в сети оказались одна тина да камни.

— Э, если уж у Агабека сеть вышла пустой, нам и пытаться нечего,— махнул рукой мастер Давид.— Послушаешься Авета, всегда выйдет наоборот — и время потеряешь и дела не сделаешь.

— А в селе что тебе делать сейчас? — засмеялся Авет.— Ветер глотать?

— Не я же виноват, что никто ничего не делает,— начал оправдываться мастер.— Как все, так и я.

— Почему никто ничего не делает, что случилось? — заинтересовался учитель Хорен.

— Да вот взбрело им в голову, не хотят ни сеять, ни жать. Как говорит Авет, решили жить, как Манташев...

— Мастер, если у тебя есть что сказать, так говори по совести! — разгорячился Никол.— Какой же хлебороб откажется пахать и сеять? Господин Хорен, мы не то что отказываемся от работы, а не хотим работать на Артуш-агу. Говорят, в России вышел новый закон о земле, и мы так считаем: земля у нас мона-

стырская, за нее мы должны платить долю урожая монастырю, а Артушу у нас делать нечего.

Учитель внимательно выслушал его и, отбросив сеть в сторону, сел рядом с ним.

— Любопытно ты рассуждаешь, Никол. На Артуша не хочешь работать, а на монастырь не прочь?

— Да, а что? — немного опешил Никол.— Монастырь испокон веков над нами хозяин, мы на его земле сидим.

— Это верно,— сказал учитель,— как верно и то, что Артуш-ага обирает вас. Но почему, отказываясь признавать одного из хозяев, ты соглашаешься платить за землю другому?

— Как же не платить? Ведь с дедовских времен мы отдаем долю урожая монастырю святого Геворга, но Артуш-ага дерет с нас три шкуры.

— Ну, хорошо, Артуша вы, скажем, прогнали. Кто будет распоряжаться землей, собирать эту монастырскую долю? Сам святой Геворг, что ли?

— Нет, почему... кто-нибудь найдется.

— Значит, ничего не изменится: уйдет один Артуш-ага, на его место сядет другой и по-прежнему будет драть с вас три шкуры.

— Вот, вот, растолкуй-ка им, господин учитель,— вдруг оживился мастер Давид,— а то совсем ополоумели люди.

— Что же делать? — совсем смутился Никол.

— Что делать? — повторил учитель его вопрос и ответил: — Пахать надо, друзья, пахать. Нельзя вам оставлять землю незасеянной. Но если уж вы начали дело, надо доводить его до конца. Поделите землю между собой, монастырю она не нужна. У вас в селе есть беженцы, их тоже наделите землей.

— Не выйдет, господин учитель,— снова вмешался мастер Давид.— Авет нам то же советовал, а что получилось? Пришел хмбапет Костан, стукнул нас по башке, все тем и кончилось. Нет, укажи другой путь, учитель.

— Многим у нас и сеять-то нечем,— сказал Сако.— Что же, опять стучаться в двери Каро, лезть к нему в кабалу?

— Ничего, можно опять попросить у него в долг семян, до жатвы-то еще много воды утечет,— ответил ему учитель.

— А ведь это похоже на правду,— встрепенулся Никол.— Вот об этом и сказано: встанет село — сломает бревно.

— Конечно, Никол,— подтвердил учитель,— только надо, чтобы село встало дружно, тогда оно гору сдвинет, не то что бревно.

— Верно, учитель. Но то, что ты говоришь, не против закона? — с беспокойством спросил мастер Давид.

Авет, который с самого начала разговора сидел на влажной земле и бросал в воду камешки, вдруг оставил свою игру и вскочил с места.

— Удивительный ты человек, Даво,—возбужденно заговорил

он,— то со всеми соглашаешься, то со всеми споришь! Закон — это Артуш-ага или его борзая собака Каро?.. Закон — это совесть человека и еще справедливость. А если говорить по справедливости, земля, которую мы своим горбом обрабатываем, нам и принадлежит, а не Артуш-аге или какому-то святому Геворгу, сгнившему тысячу лет назад. Да и то надо сказать: вчера дуло с севера, сейчас дует с юга, и неизвестно, с какой стороны подует завтра... Говорите, закон,—продолжал он, обращаясь ко всем.— Уж на что строги законы на фронте, а однажды под Сарыкамышем весь наш полк взбунтовался из-за того, что солдатам варили суп из дохлятины. Нас тошнило от этого супа, все мучились животами и ослабли до того, что не было силы винтовку держать. Тогда мы побросали винтовки и заявили: «Пусть воюют сытые, а у нас животы пучит от голода». И что же вы думаете? Не могли ведь они весь полк отправить на гауптвахту! На другой же день дали в солдатский котел хорошее мясо. Верно, Арутик?

— В твоих словах неправды нет,— подтвердил Арутик-солдат.

— А как царя Никола — тоже по закону спускали с трона? — сказал огородник Никол, и все засмеялись.

— И это верно,— снова согласился мастер Давид.— Ну что ж, как все, так и я...

«ВСТАНЕТ СЕЛО — СЛОМАЕТ БРЕВНО»

Правду говорили: если встанет село, оно не то что сломает бревно, а гору сдвинет. Вот уже несколько дней, как в нашем селе от мала до велика все на ногах и творится такое, что у меня голова кругом идет.

Сако оказался прав, наш доктор — большевик и, сейчас он самый большой человек в нашем селе. И то, что я говорила, верно: дядюшка Авет, учитель Хорен и мой дядя — тоже большевики. Я неправильно думала только о тетушке Ашхен: оказалось, что она тоже большевик. Закинув за плечо мосинку, она теперь не отходит от дяди, мой дядя теперь уже не голубок Агабек, а товарищ ревком...

То есть самый главный ревком — доктор Аршак, за ним идут учитель Хорен, дядюшка Авет и между ними — мой дядя.

Я еще не выяснила, что означает «ревком», только вижу, что наши ревкомы стали хозяевами и начальниками села. Не видно больше ни хмбапета Сого, ни его молодчиков. Говорят, что они отправились в Карс, потому что большевики подняли там восстание и Карс стал большевистской страной. Слово «восстание» я тоже слышу впервые, но уже понимаю, что оно означает. Прежде всего оно означает то, что старосту Симона сбросили, как царя Никола с трона, и сейчас он сидит под охраной на своем сеновале, а вместо него всем распоряжаются ревкомы. И еще

восстание означает, что люди собираются и поджигают хозяйские дома. Да, да, я не вру! Позавчера наши сельчане, кто с ружьем, кто с вилами или топором, пошли и подожгли дом Артуш-аги. Правда, доктор-ревком очень рассердился на них, но было уже поздно: дом загорелся. И видели бы вы, как это было интересно! Все село, мужчины, женщины и мы, детвора, окружили хозяйский дом, шумели, кричали. Наш всегда тихий Никол ругался громче всех и кричал, что спалит весь мир, если, конечно, разрешит ему доктор-ревком.

Одни говорили: мол, сожжем все дотла и пепел развеем по ветру, другие — дескать, и камни надо сбросить в ущелье, чтобы никакого следа не оставалось от этого проклятого дома. Некоторые предлагали и землю распахать под огороды. А хозяйский дом, объятый пламенем и дымом, трещал и разваливался. Когда огонь дошел до самой большой комнаты, которую называли залом, и расписанный ее потолок вдруг обрушился, у людей словно камень свалился с плеч, все облегченно вздохнули: «Ух!» Потом огонь перекинулся на хозяйские амбары, а они были битком набиты пшеницей.

— Пусть горит, пусть все обратится в прах! — злорадно говорили люди, глядя, как пламя начинает охватывать амбары.

— Пусть попрыгает теперь попрыгун Артуш за своей «независимкой».

Но мастер Давид, вспомнив, как видно, что они затеяли дело, которое не одобряет доктор-ревком, вдруг закричал, потрясая над головой своей мосинкой:

— Эй, люди, что вы делаете, чей хлеб предаете огню?.. Это же ваш пот и кровь! Ломайте двери, спасайте пшеницу!..

Люди всполошились. Сако первый бросился в огонь и ударил прикладом в дверь амбара, к нему присоединились другие. И не успела я глазом моргнуть, как мужчины мешками, ведрами начали вытаскивать зерно из амбаров. Женщины тоже кинулись в амбары, стали насыпать пшеницу в подолы платьев. Я заметалась у них под ногами, не зная, что делать. Наконец увидела в толпе тетушку Ашхен. Длинные волосы у нее были заколоты на голове, лицо измазано черной гарью. С мосинкой в руке она бегала от амбара к амбару и торопила людей.

— Тетушка, и мы возьмем...

— Не надо, отойди! — прикрикнула она на меня и, подбежав к Сако, по-мужски вскинула ему на спину мешок с пшеницей:— Хоп! Это отнесешьЕрикназ,— приказала она.

Сако медленно зашагал от пожарища, я поплелась за ним.

Во дворе Ерикназ он бросил мешок на землю и сказал вдове, чтобы она сейчас же наварила каши и досыта накормила детишек, потому что теперь свобода и не должно быть голодных людей.

— Горе моей беззащитной головушке...— начала было свои причитания Ерикназ, но Сако сердито закричал на нее:

— Как это беззащитной? Сейчас ревком твой защитник! Ревком! — еще громче крикнул он и выбежал на улицу.

В это время начало разгораться огромное зарево над ущельем.

— Мельница горит! — закричали в толпе.

Кто кинулся на крыши, кто побежал к ущелью. Кто-то сказал, что горит Гошаванк.

— Это дом бороды Алека горит,— спокойно проговорил дядюшка Авет; он стоял в стороне и, покручивая усы, смотрел на пожарище.

— Весь мир зажал в кулак, какие богатства нажил! И вот все его добро — добыча огня,— позлорадствовала моя бабушка.

Дядюшка Авет подозвал меня к себе.

— Помнишь, говорил Иван, как они пускали петуха в имение князя? Вот смотри, какой это петух,— сказал он и, постукивая костылем, исчез в толпе.

— Авет, остановись! — кинулась вслед за ним бабушка.

Удивительно, дядю бабушка не удерживает, а дядюшке Авету бунтовать запрещает.

— Безногий он человек, сшибут, задавят, а детишки беззащитными сиротами останутся,— говорила она.

— Как это беззащитными? Сейчас ревком наш защитник! Ревком! — кричу я, рассердившись, как Сако, и бегу разыскивать дядюшку Авета.

Темно, дым выедает глаза, и я почти ничего не вижу. Люди как безумные мечутся вокруг пожарища и орут. Сако выгоняет из стойла хозяйских коней. Они испуганно мечутся из стороны в сторону, ржут, и Сако никак не может справиться с ними.

— Мелкокопытная, помоги! — закричал он, увидев меня.— Надо загнать коней в ущелье...

— Я помогу тебе, только ты больше не называй меня мелкокопытной. Я тоже большевик! — строго сказала я.

— Ладно, ладно, товарищ большевик,— засмеялся Сако, и не успела я сообразить, что он делает, как он поднял меня и усадил на коня. — Ну, крепче держись, ногами бей по бокам. Не бойся,— сказал Сако и сам вскочил на другого коня.

Мы погнали коней в Монастырское ущелье и загнали их в Пещеру архимандрита.

— Пусть стоят здесь, утром что-нибудь придумаем,— сказал Сако, закладывая вход в пещеру камнями.

Домой мы вернулись на рассвете.

Значит, восстание означало еще и то, что никто в эту ночь не спал, а у меня исполнилось самое заветное желание — я села на самого красивого коня Артуш-аги. Другим моим заветным желанием было схватить Каро. Как жаль, что он убежал!

«Ну ладно,— решила я,— если тут не удалось, пойду и схвачу большого дедушку!» И рано утром, ничего не сказав матери, я побежала в Гошаванк. Наверно, вы спросите: как это я реши-

лась отправиться туда одна?.. Где там одна, весь мир был на ногах: из нашего села люди бежали в Гошаванк, оттуда — к нам. А кроме того, я и Осан потащила с собой. Ведь мы вместе меняли нашу веру, и надо было, чтобы и она что-то сделала.

Осан за эти несколько дней сильно изменилась. Она повеселела, все время смеялась. Причиной было то, что вместе с доктором Аршаком в село вернулся и беженец Умршат. Но об этом я расскажу после, сейчас мне некогда.

Итак, мы с Осан побежали в Гошаванк и, прибежав туда, направились прямо к дому большого дедушки. Но и тут люди перевернули все вверх дном, от дома один пепел остался.

Тут я окончательно убедилась, что права бабушка, говоря, что моя несчастная судьба вечно со мной... Пришло время спалить бороду большого дедушки, но оказалось, что он тоже убежал, а его амбары гошаванкцы опустошили. Расстроенная всем этим, я вернулась домой и увидела, что у нас полно народу.

На этот раз главным ревкомом был уже мой дядя, а его помощником — огородник Никол. Они собрали крестьян и шумно обсуждали, как раздать народу монастырские земли.

— Вот теперь я понял учителя,— говорил Никол.— Монастырские земли мы засеяли? Засеяли! Пшеницу взяли у Артушаги? Взяли! Теперь «сломаем бревно», раздадим землю. Лучше всего бросить жребий. Позовем ребенка, пусть раздает наделы.

«Ну, уж лучшего ребенка, чем я, вам не найти»,— подумала я и протиснулась вперед, но дядя сказал, что это не дело ребенка.

— Из жеребьевки у нас ничего не получится,— заговорил один из сельчан,— лучше делить подушно. В первую очередь надо наделить землей беженцев, мы еще как-нибудь обойдемся.

— А что делать с Бархатной бахчой? — спросил мастер Давид. Со вчерашнего дня он был очень встревожен тем, как бы крестьяне в своей злобе на хозяев и архимандритов не уничтожили Бархатную бахчу, не разрушили старый монастырь. Он считал, что ревкомы, какие бы они ни были, не должны трогать монастырь, потому что это памятник тысячелетней давности.

— Да что ты пристал со своим монастырем и хозяйской бахчой? — возмутился Никол.— Люди весь свет переворачивают, а ты только и думаешь об этих развалинах. Если надо будет, я своими руками разнесу их в прах!

— Авет, парень совсем рехнулся, ты послушай, что он говорит! — взволновался мастер Давид.

— Монастырь мы трогать не будем,— успокоил его дядюшка Авет. Он сидел в стороне, что-то выдалбливал ножом и не шумел, как другие.

— Ты умыл руки, от всего отошел,— обиженно проговорил мастер Давид.— А надо втолковать Николу...

— Мастер, оставь Авета, иди-ка сюда,— позвал его мой дядя, и у стола опять зашумели.

Я подошла к дядюшке Авету.

— Да, вот какие дела, Арцив джан,— подмигнув, заговорил он со мной.— Видишь, как мы перевернули мир?

— Ты-то умыл руки и отошел,— обидчиво, как мастер Давид, проговорила я.— Это мы перевернули мир... я... Сако, народ...

— Эх ты, дитя малое...

— А потом что мы будем делать, дядюшка Авет?

— Потом? Потом мы создадим настоящую свободную Армению,— сказал он, задумчиво покручивая усы.

— Свободную — значит «независимую Айастан»? — удивилась я.— Ты же сам смеялся над лохмотьями «независимой Айастан»!

— То была Айастан Сого и его молодчиков, а эта будет наша, народная Армения, она будет жить по закону Ленина, а не каких-то дашнаков...— Тут дядюшка Авет впал в раздумье и долго молчал, а потом заговорил, как будто отвечая самому себе: — Вот только бы выдержать эту борьбу... Выдержим — все будет хорошо. Как в сказке...

— Выдержали ведь! Все мы стали большевиками, ревкомство устроили, поджигаем хозяйские дома. Как же еще можно выдерживать?

— Посмотрим, посмотрим, время покажет... Ну, ты иди играй, это уж не твоего ума дело.

— Нашел время для игры! — обиделась я.— Чудной ты, дядюшка Авет...

Мы с дядюшкой Аветом еще продолжали беседовать, когда с мосинкой в руке, едва переводя дух, вбежал Сако.

— Носач сбежал! — крикнул он и ударил себя ладонью по уху.

— Убежал? — все повскакали с мест.

— Да, крышу разломал, негодяй,— сказал Сако.

— Тьфу, будь он проклят! — плюнул Никол и ударил папахой оземь.— Ну, не говорил ли я вам, что надо поджечь сеновал? Видите, что получилось?

Все выбежали из дома и кинулись к сеновалу старосты Симона. Так оно и оказалось, как говорил Сако: староста разломал крышу сеновала и убежал.

Но мастер Давид, осмотрев пролом, сказал, что Симон не мог сделать этого один,— дескать, кто-то ему помог.

— Тьфу! — опять расплевался Никол.— Другие царя свергают с трона, устанавливают власть Советов, а мы даже старосту не смогли сбросить, растяпы!

КАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МЫ СЛОМАЛИ БРЕВНО

Сейчас я немножко пришла в себя и могу рассказать, как это случилось, что мы перевернули весь свет.

Легко сказать «могу», но, когда я начинаю думать об этом,

все путается у меня в голове. Это потому, что всю эту неделю я почти не сплю. Бабушка не перестает ругать меня, говорит, что я должна сидеть дома, и не мое, мол, дело торчать там, где взрослые говорят о своих делах, но я не слушаюсь ее. Мне не терпится поскорее узнать, чем все это кончится, а для этого необходимо навострить и глаза и уши и слушать доктора Аршака, потому что все слушают его и делают так, как он велит.

Да, так я хотела рассказать, как мы перевернули весь свет.

Все началось с того дня, когда к нам неожиданно вернулся беженец Умршат.

Как вы знаете, из-за того, что я переменила веру, хмбапет Сого арестовал Умршата и пообещал шкуру с него содрать. Бабушка все плакала, охала и стонала. Но вот Умршат вернулся.

Однажды поздним вечером кто-то тихонько позвал дядю через ертык:

— Агабек, открой дверь!

Дядя как будто только этого и ждал — полураздетый. побежал отпирать дверь. И не успели мы сообразить, кто мог позвать его в такой поздний час, как он вошел вместе с Умршатом. Вот так чудо! Умршат стоял перед нами с винтовкой в руках. Бабушка, конечно, сейчас же всплакнула. Ну, это ее привычка — когда она очень радуется или очень горюет, глаза у нее всегда оказываются на мокром месте. Осан, еще сонная, обняла за шею Умршата:

— Старший братец, мой старший братец...

Я повторяла то же самое, и в первые минуты у нас в доме только и слышно было: «Старший братец...»

А сам Умршат был так рад, что от радости не мог даже слова вымолвить. Когда мы немного успокоились и бабушка перестала плакать, Умршат рассказал нам, что он бежал из Карской тюрьмы и — да здравствует на долгие годы доктор Аршак! — это он помог ему убежать.

Дядя, как видно, не хотел, чтобы он говорил об этом при всех, но Умршат все же рассказал, что в Карсе освободили из тюрьмы арестованных и установили власть Советов, а войско перешло на сторону большевиков.

Узнав об этом, дядя сейчас же вышел из дому и привел дядюшку Авета. Втроем с Умршатом они уединились в стойле Цахик, и я сейчас же поняла, что у них происходит там очень важный разговор.

На другой день Умршат нигде не показывался, а дядя и Сако все ходили куда-то и разговаривали шепотом.

Вскоре я заметила, что тетушка Ашхен тоже участвует в их делах. Вечером она пошла в Гошаванк и вернулась оттуда очень поздно, притащив на плече огромный хурджин.

Пощупав его сверху, я догадалась, что в нем картофель. Тетушка сказала, что принесла его от дедушки Алена. Но почему-то никто и не подумал сварить нам хотя бы несколько картофе-

лин. Дядя сказал, что утром должен посадить этот картофель, и, с трудом подняв хурджин, унес его, а вернувшись, весело заговорил о том, что только такая братец-жена, как тетушка Ашхен, могла дотащить из Гошаванка такую тяжесть.

Я не поверила в то, что говорил дядя насчет посадки картофеля: шел уже май, на всех огородах картофель давно посадили, а у нас и огорода-то не было.

— Ну, это такой картофель, который мы должны обязательно посадить,— объяснила мне тетушка Ашхен и устало опустилась на тахту. А бабушка, глядя в ее усталое, измученное лицо, сказала:

— Отойди-ка ты от этих дел, Ашхен джан, наживешь беду на свою голову. Не женское это дело!

— С Агабеком живу, с ним, если придется, и в могилу сойду,— твердо ответила тетушка.

В эту ночь я почти не спала. Без конца к нам приходили и уходили разные люди, говорили шепотом, но я все же расслышала, что все жалели о том, что упустили кого-то...

Утром я проснулась еще с надеждой, что бабушка хоть немножко сварит нам картофеля, а когда увидела у нас в доме доктора Аршака, обо всем забыла.

Доктор был вооружен с головы до ног. И учитель Хорен был при оружии. А дядя, поставив вчерашний хурджин между ногами, горстями брал оттуда и раздавал патроны.

Все наши оказались вооруженными, даже тетушка Ашхен. Потом все село собралось на площади, и доктор Аршак, поднявшись на камень, сказал:

— Товарищи!..

Доктор говорил так, что наши сельчане от радости чуть не целовались друг с другом. Он говорил, что перед армянским народом, то есть перед нами, только одна дорога — дорога, которую указал Ленин, и мы должны пойти этой дорогой, чтобы создать Советскую Армению. По его словам, в этой Советской Армении хозяевами земли станут сами сеятели, а хозяевами заводов — рабочие.

Слова «завод» и «рабочий» я слышала впервые. И дядюшки Авета не было рядом, чтобы спросить у него. Но я хорошо поняла, что в Советской Армении будет много школ и все дети, мальчики и девочки, будут учиться. Я так обрадовалась! Словно доктор угадал желание моего сердца. Потом он взмахнул рукой и воскликнул:

— Да здравствует Ленин!

И в ответ загремели голоса мужчин всего нашего села:

— Да здравствует Ленин! Долой дашнаков!..

— Пусть сгинет дашнак!—громче всех, пронзительно вскрикнула я.

Мы еще кричали «да здравствует» и «долой», когда над крышей дома Артуш-аги поднялся дым. Как выяснилось потом, это

Никол с некоторыми ребятами пошел и поджег хозяйский дом. Так и начался пожар.

А сейчас наши сельчане страшно раздосадованы тем, что упустили из рук старосту Симона.

Больше всех горячится опять Никол. Вместе с беженцами Гаре и Умршатом он обшарил все сеновалы, переворочал всю старую солому, обошел все пещеры Монастырского ущелья и, нигде не найдя Симона, вернулся в село и поджег старостин сеновал.

Зорба-Зардар (у, теперь ей не до насильничанья!) с плачем прибежала к доктору Аршаку и стала просить его, чтобы он не позволял разрушать их дом.

— Если сейчас закон большевистский и по этому закону все люди равны,— говорила она,— то почему вы хотите разрушить мой дом?

— Успокойся, мать, ничего разрушать мы не будем,— отвечал ей доктор.— Но все не могут быть равны, есть между людьми разница.

— Ну конечно, есть разница, товарищ ревком джан,— соглашалась Зардар.— Разве можно посадить рядом таких людей, как мой Симон и голь Никол? Чтоб ему сдохнуть без покаяния, с детства был батраком в моем доме, вырос на наших хлебах, а теперь у него не осталось и настолечко уважения к моему Симону, пришел и хочет спалить наш дом...

Доктор, слушая ее, посмеивался, и дядюшка Авет краснел от гнева и наконец, взмахнув костылем, кинулся к старухе:

— А ну, убирайся отсюда, ведьма! Нашла тоже товарищей. Волк тебе товарищ! Понимаешь?

— Спокойнее, Авет,— сказал доктор Аршак и, взяв за руку старуху Зардар, вывел из комнаты.

— Долгой тебе жизни, товарищ ревком джан,— присмирев, говорила Зардар.— Не будь тебя, эти нехристи большевики пеплом развеяли бы нас по ветру. Пусть только вернутся мой сын Симон и Шаген, я уж не позабуду о твоей доброте...

А доктор Аршак действительно старался удержать наших. Никол и Сако хотели поджечь и дом старосты Симона, а старуху Зардар с рябым Вано выгнать из села, но доктор запретил это делать.

— Большевики,— говорит он,— не наказывают женщин и детей. Вот если попадутся нам в руки такие, как Симон, тогда другое дело...

— Я о таких большевиках ничего не слышал,— жалуется Никол.— Другие царей как собак сгоняют с трона, а мы что делаем?.. Всю эту породу Симона надо с корнем вырвать, товарищ Аршак.

Я, конечно, согласна с Николом. Этому мерзкому рябому Вано, говорю я всем, не место в нашем большевистском селе, но меня никто не слушает. Дядюшка Авет, который раньше делил-

ся со мной всеми своими горестями и заботами, теперь почти и не смотрит на меня, и, как только люди собираются на собрание, меня прогоняют.

А на этих собраниях они по целым дням спорят, кричат. И не поймешь, чего они столько спорят? Дома и мельницу Артуш-аги мы сожгли, пшеницу разобрали, и даже детишки Ерикназ каждый день лакомятся теперь дзаваром. Каро и Сого убежали раньше, староста тоже сбежал. Значит, весь свет теперь большевистский. И к чему эти собрания? Подумали бы лучше обо мне, открыли школу, а то как же я могу быть большевиком, если читаю с пятого на десятое?

Но им, как видно, не до школы. Днем у них беспрерывные собрания, а ночью они бродят по селу с ружьями.

Беженец Умршат и Сако то исчезают, то снова появляются. Сако так задирает нос, что не знаешь, как и подступиться к нему. Чаще всего он бывает усталым, сердитым. И только говорит, что он «держит связь со штабом». А что такое «штаб», я тоже не понимаю.

...А мир, наверно, не совсем перевернулся. Я догадываюсь об этом по тому, что наши очень встревожены. Дядюшка Авет ни минуты не сидит на месте, громко стучит своим костылем и так грызет свои усы, что скоро от них ничего не останется. Доктор Аршак почти не разговаривает, только курит. А Никол то и дело плюется, хлопает папахой оземь и говорит:

— Как хотите, а я был большевиком, большевиком и умру!

— Дядюшка Никол,— спрашиваю я его,— разве ты не огородником был?

— Все равно,— говорит он,— еще в те времена голова у меня была большевистская, только я об этом не знал. Это товарищ Аршак открыл мне глаза.

— Все мы большевики, и, значит, всем нам умирать...

— Как это «умирать»? — сердится он и прогоняет меня.

Все сердятся на меня, все гонят прочь. Самым добрым из наших оказался братец Умршат. Теперь он почти не выходит из кузницы. Вместе с мастером Давидом они заняты каким-то важным делом, и, хотя мне ничего не говорят, я догадываюсь, что в кузнице они чинят оружие. А кроме того, они выделывают какие-то железные штучки, которые Сако называет «бомбами». По его словам, этими «бомбами» они будут бить Сого.

— А где вы будете его бить? Ведь он ушел в Карс!

— Он идет сюда,— говорит Сако.

В КОЛЬЦЕ ОГНЯ

Поздно вечером в село пришел отряд вооруженных людей. По-видимому, эти люди прошли длинный путь, лица у всех были усталые, запыленные. У одного раненая рука была на перевязи, сделанной из башлыка. Все приказания отдавал моло-

дой человек, которого все в отряде звали товарищем комиссаром.

Из разговоров я поняла, что дашнаки заняли Карс и теперь преследуют комиссара и его отряд.

Все наши собрались вокруг доктора и товарища комиссара.

— Теперь нам осталось одно,—закончил свой рассказ комиссар,— драться до последней капли крови.

Тогда доктор Аршак поднял руку и сказал:

— Товарищи! Мы должны присоединиться к отряду...— Он помолчал немного и продолжал: — Враг может нагрянуть в любую минуту... Кто не чувствует в себе силы и смелости для борьбы, пусть отойдет, мы не удерживаем. Учтите, что это будет борьба не на жизнь, а на смерть.

Люди посмотрели друг на друга, никто не тронулся с места. Только Никол медленно прошел вперед и протянул доктору свою мосинку:

— Возьми, товарищ Аршак.

Доктор с удивлением и грустью взглянул на него.

— Возьми,— повторил Никол,— лучше своими руками убей, но не говори таких слов, обидно их слушать.

Все облегченно вздохнули.

— Значит, воюем, товарищи? — спросил комиссар.

— Воюем! — в один голос ответили все.

Дядя торопливо подошел к нам, попрощался и, отозвав в сторону дядюшку Авета, сказал:

— Ну, Авет, оставляю семью на тебя. Присмотри, позаботься, как о своих родных...

Авет молча кивнул головой, а бабушка, которая, по-моему, должна была плакать, обняла и поцеловала сначала дядю, потом тетушку Ашхен и спокойно обратилась к ним:

— Идите, дети мои, если вы этой веры, и пусть она поможет вам.

...Первые выстрелы раздались на рассвете. Мы ожидали их, но все же как-то съежились и стали прислушиваться.

— Гм...— дядюшка Авет, покряхтывая, поднялся с места.

Он собрал всех нас в комнате, где находился тонир, и, положив на колени мосинку, сел у порога. Он не разговаривал с нами, только беспрерывно курил и грыз кончики усов.

Выстрелы затрещали со всех сторон, затем что-то грохнуло. «Уах!» — отдалось эхо в ущелье, и на минуту все стихло.

Я подошла к дядюшке Авету и села рядом с ним. Вдруг выстрелы загремели частой дробью, как град.

— Сволочи, из пулемета ударили,— с досадой проговорил Авет и обнял меня рукой за плечи.— Ничего, не бойся... Война — это война.

— А с кем война? — шепотом спросила я.

— С кем бы ни было, не бойся, прогоним.

— Я не боюсь,— сказала я, прижимаясь к нему.— А ты не боишься?

— Чего мне бояться? В один день родился, в другой помру. Жаль вот только...— заговорил дядюшка Авет и оборвал себя: на улице послышался конский топот.

Мы замерли, напряженно прислушиваясь. Лошадь остановилась у наших ворот, и через минуту на пороге появился Сако, держа на плече раненого. Жена Никола со стоном шагнула к нему:

— Никол!

Сако осторожно опустил раненого на землю. Из горла Никола струилась кровь, он хрипел. Дядюшка Авет вопросительно взглянул на Сако. Тот безнадежно развел руками и, ни слова не говоря, выбежал на улицу.

Женщины с плачем окружили Никола. Глаза у него были закрыты, он никого не видел, не слышал, только хрипел. Бабушка и Маран хотели уложить его в постель, но дядюшка Авет сказал:

— Не надо. Все кончено...

Хриплое дыхание Никола становилось все тише. Он только на секунду приоткрыл глаза, повел вокруг невидящим взглядом и затих.

В нашем доме опять горе и слезы. А стрельба все усиливалась, гремела со всех сторон. На улице уже было светло.

Я незаметно выскользнула во двор, поднялась на крышу и легла за кучей кизяка. Отсюда было видно, как с гумен, из-за каменных стенок, стреляли люди. Один из них был товарищ комиссар, я его сразу узнала. Иногда он поднимался, что-то кричал своим и снова, припав к стенке, принимался стрелять. Вот он опять приподнялся, что-то крикнул, махнув рукой, и наши, отстреливаясь, начали отступать. В то же время с другой стороны из оврага выскочили дашнаки и с диким ревом бросились на наших.

Что-то свистнуло над моим ухом, и я в ужасе припала головой на кизяк. Теперь я уже не могла спуститься с крыши, пули свистели со всех сторон, и я поневоле смотрела, как наши, стреляя, отходили к сеновалам, а дашнаки осторожно, то ползком, то вперебежку, двигались вслед за ними. Комиссар больше не показывался. Я даже немножко приподнялась, чтобы рассмотреть его, и как раз в эту минуту увидела, что Сако и тетушка Ашхен вели его к нашему дому... Комиссар оперся рукой на плечо тетушки Ашхен, что-то сказал Сако, и тот вернулся к нашим.

Я мигом скатилась с крыши и, еще не добежав до порога, крикнула:

— Товарища комиссара убили... ведут его!

Все насторожились. Дядюшка Авет тяжело поднялся и потянул меня за ухо:

— Куда ты лезешь под пули? Сиди на месте!

— Брат Авет! — позвала его со двора тетушка Ашхен.

Но я и бабушка раньше дядюшки Авета выбежали во двор.

Комиссар тяжело навалился на плечо тетушки Ашхен и едва передвигал свою окровавленную ногу. Лицо у него побледнело, глаза ввалились. Увидев нас, он, морщась от боли, выпрямился, оперся на свою мосинку и сказал тетушке:

— Ты вернись к ребятам, сестра... Пусть пробиваются в ущелье к пещерам...

Тетушка Ашхен только на минуту вбежала в дом, чтобы обнять Асмик и Аник.

— Ашхен джан,—ухватилась за ее подол бабушка, когда она кинулась к двери,— раз уж пришла, может быть...

— Нет, жила с Агабеком — и умру вместе с ним! — ответила тетушка и выбежала за дверь.

— Пусть идет, мать, другого выхода нет. Лучше с оружием в руках...— с трудом проговорил комиссар и застонал.

Он не захотел лежать у нас в комнате, бабушка и Маран отвели его в кладовку.

Дядюшка Авет запретил нам выходить из комнаты, а сам лег со своей мосинкой у порога.

На улице гремела пальба, по нашей крыше бегали люди, откуда-то доносилось ржание коней, и вдруг среди всего этого грохота раздался резкий, повелительный голос нашего доктора:

— Товарищи!..

Больше мы ничего не расслышали. Его голос потонул в грохоте боя, в криках людей. Голоса то удалялись, то опять приближались, и трудно было понять, кто же отступает и кто побеждает.

Бой, начавшийся на рассвете, продолжался до самой ночи, и все это время дядюшка Авет не выпускал нас из комнаты.

Я боялась даже подходить к нему, потому что достаточно было мне шевельнуться, как он сердито прикрикивал:

— Сиди на месте!

Когда грохот боя стих и отдельные выстрелы стали все более отдаляться, снова появился Сако. Вид у него был измученный, одежда висела клочьями, словно его таскали по камням.

— Дядюшка Авет, мне приказано взять тебя,— сказал он, с трудом переводя дыхание.

Дядюшка Авет даже не шевельнулся.

— Тебя и комиссара,— продолжал Сако.— Умршат с конем ждет за скалой.

— Комиссара забирай, а я не уйду отсюда,— спокойно ответил дядюшка Авет.— На кого я оставлю весь этот народ? — кивнул он на нас.

— Пойдем, товарищ Авет,— послышался в сумраке голос комиссара. Опираясь одной рукой на ружье, а другой цепляясь за стенку, он подошел к Авету.— Надо выполнять приказ штаба, вставай!

Дядюшка Авет, кряхтя, поднялся и вскинул мосинку на плечо. Сако подошел к комиссару, взял его под руку, но тот сказал:

— Я сам. Ты помоги товарищу Авету.

Дядюшка Авет растерянно покусывал кончики усов. Потом выпрямился и, внимательно посмотрев на всех нас, обратился к бабушке:

— Матушка Нуно, ты остаешься одна. Агабек мне поручил семью, теперь я поручаю ее тебе. Позаботься о детях. Маран, ты...— Он не мог говорить, голос у него задрожал, и так, не закончив, он последовал за Сако.

Теперь мы остались совсем одни. Никто больше не плакал. На тахте лежал труп Никола, но никто не подходил к нему. Все мы собрались вокруг бабушки, и она сидела с нами, как наседка, распустившая крылья и готовая защищать своих птенцов.

— Нет, не надо было уходить Авету,— задумчиво проговорила Маран.

— Ничего ты не понимаешь,— ответила ей бабушка.—С Аветом они расправились бы в первую голову.

Маран всплакнула:

— Как же я теперь, ведь у меня дитё малое!

— А у меня видишь сколько? Не бойся, не пропадем,— сказала бабушка и, вздохнув, добавила: — Такая уж наша судьба.

Они умолкли. И так, в тишине, мы просидели до утра.

Село словно вымерло, не слышно было ни голосов людей, ни шагов, ни конского топота. Наши отступили, но кто пришел в село, мы не знали.

Когда совсем рассвело, я не выдержала и незаметно выскочила на улицу. В селе было до того пусто и тихо, что у меня сердце сжалось от страха. Как будто настал конец света и не было на земле ничего живого.

Озираясь вокруг, я тихонько пробралась к дому старосты. У ворот стояли на привязи кони. Я сейчас же узнала белых жеребцов Сого и Каро из табуна Артуш-аги. Вскоре появился Шаген. С непокрытой головой, в незастегнутой куртке, он выглянул на улицу, о чем-то подумал и исчез, а некоторое время спустя вышел с маузером. Я испуганно попятилась назад и одним духом добежала до нашего дома.

— Бабушка,— крикнула я с порога,— Сого приехал, Шаген, Каро — все явились!

— Ладно, знаю,— вздохнула бабушка.

Потом она поднялась и стала набрасывать на труп Никола наши постели.

Около полудня у нас во дворе появился Шаген с тремя дашнаками. Пнув ногой дверь, он остановился на пороге, вглядываясь во все углы и поводя маузером. Затем он кивнул головой, и вслед за ним в комнату, держа ружья наготове, вошли дашна-

ки. Не обращая на нас никакого внимания, они огляделись по сторонам и подошли к груде наваленных на тахте постелей. Один из них хотел сбросить постели, но Шаген, отстранив его рукой, пять или шесть раз пальнул из маузера в эту груду постелей.

Жена Никола дернулась было вперед, но бабушка крепко держала ее за руку.

— Да пусть палит, чего ты боишься?

Шаген, засовывая в кобуру дымящийся маузер, обернулся к ней:

— Не боишься, старая ведьма?

— А что я сделала, чтобы мне бояться? — ответила бабушка.

— Превратила свой дом в гнездо большевиков, вот что ты сделала...— прошипел Шаген.— Куда делся хромой сатана?

— Откуда мне знать... Если сможешь, поймай. А что тебе до женщин и детей?

— Найдем, старая ведьма, найдем и шкуру спустим с него!.. А где твоя невестка? С большевиками спуталась, гулящей стала?

— Ну, ты не распускай язык! Моя невестка была и останется со своим мужем, а ты потяни за подол свою жену, чтобы не путалась с согошками...

От этих слов бабушки Шаген сделался красным как кумач и ударил ее маузером. Бабушка, схватившись за голову, повалилась на землю, и мы с плачем окружили ее.

Шаген стукнул ногой кого попало и, взбешенный, кинулся на улицу, крикнув:

— Ты это попомнишь, старая ведьма!

Бабушка, зажав голову руками, раскачивалась из стороны в сторону и тихо стонала.

ЭХО УЩЕЛЬЯ

Наше село переполнено солдатами. Кроме Сого прибыл и тот самый главный хмбапет — Костан. Но около меня нет ни дяди, ни дядюшки Авета, и потому я не осмеливаюсь, как прежде, распевать свою песенку о хмбапете Костане.

Где уж там петь, когда бедняга Никол убит. Мы даже не смогли как следует похоронить его. Днем мы не решались выходить на улицу. Выйдешь — и сейчас же кто-нибудь из молодцов Сого тычет тебе под нос дуло маузера.

Но бабушка все же сумела провести согошек, и ночью вместе с Маран они похоронили Никола.

Итак, нет больше нашего соседа Никола, остались только «анках Айастан» и хмбапет Костан, который не дает нам покоя ни днем ни ночью. Я уж потеряла и счет, сколько раз вызывали бабушку к хмбапету Костану и сколько раз возвращалась она домой избитой, окровавленной.

Но она держится стойко. Приходит домой — все тело ее в синяках, платье порвано. Она накладывает на ушибленные места

тряпки, смоченные соленой водой, и сидит без движения, ждет, пока ее снова позовут.

Каждый раз я хочу идти вместе с ней, но она не позволяет.

— Оставайся с матерью,— говорит она,— со мной ничего не будет. Кости у меня крепкие, выдержат... А не выдержат — тоже не беда, в один день родилась, в другой умру. Агабек отомстит за меня, а мир, может, не останется таким...

Раза два водили на допрос и Маран. Она возвращалась тоже избитая и целый день плакала. Говорила, что побои легче сносить, чем те бесстыдные слова, которые говорили ей молодчики Сого.

После этого бабушка уже не допускала, чтобы Маран уводили одну. Как только приходили солдаты Сого за Маран, бабушка поднималась с места и молча шла вперед.

— Погоди ты, старая! Не ты нам нужна, твоя обедня будет потом! — гоготали молодчики Сого.

Но бабушка, не обращая на них никакого внимания, шла к хмбапету Костану.

Однажды моя мать не позволила ей идти, сказав, что сама пойдет вместе с Маран.

— Пойдем, пойдем,— подкручивая усы, засмеялся один из согошцев,— а то со старухой неинтересно.

Мать сердито взглянула на него, но ничего не сказала.

На этот раз и я пошла вместе с ними. Нас повели в дом старосты Симона, где сидели хмбапеты. Костана я не увидела, но сразу узнала его рев.

— Шкуру спущу, все кости переломаю! — орал он на кого-то.

Я в страхе прижалась к матери.

В комнате было тесно от людей, и мы не могли пробиться вперед. Солдат подталкивал мать прикладом ружья.

— Эй, Хачо, куда ты тащишь этих куропаток? — спросил какой-то солдат и громко захохотал.

Я посмотрела на него и вспомнила, что это тот самый молодчик, который стравил лошадям пшеницу Арутика.

Солдаты окружили нас. Гоготали, говорили похабные слова. А когда один из них слишком близко наклонился к моей матери и сказал что-то непристойное, она двинула кулаком в его волосатую морду и плюнула. Солдат отскочил в сторону и схватился за маузер. Другие оттащили его.

— Отойдите, собаки! — гневно крикнула мать.

В это время откуда-то появился Каро и, увидев ее, смущенно остановился.

— Ну, утешилось твое сердце? — накинулась на него моя мать.— Ты этого хотел, да?

Каро, часто мигая глазами, посмотрел на нее и сердито обратился к солдатам:

— Зачем вы привели сюда эту женщину?

— Говорят, это жены большевиков,— начал оправдываться Хачо.

— Эту оставьте,— приказал Каро,— сестра не отвечает за брата.— Он схватил мою мать за руку и потащил к двери.— Иди домой!

— Скажи им, пусть и Маран отпустят,— заупрямилась мать.— Скажи, если твое слово что-нибудь значит.

Каро немного замялся, но тут же, махнув рукой, пошел и освободил Маран. Он проводил нас до самого дома, но мать больше ни слова не сказала ему и, даже не взглянув на него, вошла во двор.

...А сегодня Костану взбрело в голову собрать нас на площади.

Мужчин было очень мало, собрались больше женщины и дети — они испуганно жались друг к другу. Не только площадь, но и все село было окружено конниками. Никто как следует не знал, для чего собрали людей. Некоторые шепотом передавали, что приехал какой-то американец и будет говорить с нами. По словам других, всех нас дашнаки должны расстрелять, чтобы покончить с большевиками в нашем селе.

Бабушка держит меня и Асмик за руки, а Аник поставила впереди себя.

— Не бойтесь,— шепчет она,— пока я здесь, никто вас не тронет.

— Если будут стрелять, я убегу,— говорит Асмик.

— Не будут, не бойся,— успокаивает ее бабушка.

Но как это не будут, когда над головой каждого стоит солдат с ружьем? А конники скачут по селу из конца в конец.

Вдруг все умолкают. Из дома старосты выходят хмбапеты Костан и Сого, староста Симон и какой-то чужой человек в коротких шароварах выше колен и в большой шапке вроде тыквы. Я никогда еще не видела, чтобы взрослый мужчина надевал такие короткие штаны, и не могу удержаться от смеха, но бабушка закрывает мне рот рукой.

— Вай, штаны! — удивленно вскрикивает Аник, и вокруг раздается смех.

— Это американец,— тихо говорит стоящий возле нас молодой безусый солдат и грозит пальцем Аник, но видно было, что он и сам смеется.

Костан что-то говорит американцу, и тот кивает головой. Тогда хмбапет оборачивается, машет рукой, и солдаты выводят со двора старосты... нашего комиссара... Он едва держится на ногах, но, увидев народ, выпрямляется, поднимает голову. Мне кажется, что он узнает нас, смотрит прямо на бабушку, на Маран и хочет что-то сказать, но Костан, оттолкнув его, выходит вперед и, поднимаясь на цыпочки, рявкает:

— Кто знает предателя?

Все молчат. Комиссар внимательно смотрит на нас, ба-

бушка крепко сжимает мою руку, а стоящий рядом с нами безусый солдат тихонько шепчет:

— Говорите, не видели.

— Кто знает этого большевика? — орет Костан.

На этот раз люди переводят взгляд на комиссара, смотрят на него испуганно, с жалостью. А лицо комиссара светлеет, он даже как будто улыбается.

— Этот человек хотел предать нашу независимую Айастан русским большевикам,— продолжает Костан.— Хотел предать, но мы,— бьет он себя кулаком в грудь,— мы умеем расправляться с предателями! По воле нации мы сейчас расстреляем его. Дорога всех большевиков...

— Дорога большевиков — это дорога Ленина,— прерывает Костана комиссар и, взмахнув рукой, выкрикивает: — Да здравствует Советская Армения!.. Ленин...

От удара в затылок он падает на землю, Костан стреляет в него. И, словно эхо, гремят ответные выстрелы в глубине ущелья. Народ приходит в смятение. Американец, втянув голову в плечи, убегает в дом старосты, а конники, подняв стрельбу, скачут к ущелью.

Комиссара похоронили на берегу реки, под скалой, что нависла над огородом Никола. Бабушка Санам и моя бабушка собираются тайно навестить его могилу.

— Умер, и нет около него родимой души,— причитает бабушка, заливаясь слезами.— И у нас ведь есть сыновья...

— Хватит, матушка Нуно,— уговаривает ее Маран.— Такой человек не останется без родимой души. Слышала, как стреляли в ущелье? Большевик не оставит большевика, живой не забудет мертвого.

— Ты еще молода, Маран джан, не понимаешь,— возражает ей бабушка.— Над мертвым нужно плакать, иначе душа его не будет знать покоя.— И она, отирая слезы, собирается идти на могилу комиссара.

— Бабушка, ты уж лучше поплачь здесь, а туда не ходи,— уговариваю я ее.— И потом — над большевиками не плачут. Так дядюшка Авет говорил, а он лучше тебя знает.

— Ладно, ладно, ученая стала на мою голову! — ворчит бабушка и зовет меня: — Пойдем-ка с нами.

В ущелье совсем темно, дороги не видно. Мы шагаем на ощупь и при каждом подозрительном шорохе останавливаемся. Где-то внизу шумит река, иногда с крутизны срывается камень, и каждый звук пугает нас: нам кажется, что под каждой скалой скрывается дашнак с маузером.

— Арцив джан, у тебя глаза острые,— говорит бабушка,— поищи-ка дорогу.

А я тоже ничего не вижу, иду вслепую, хотя тысячу раз ходила по всем дорогам и тропинкам ущелья.

— Не бойся, бала джан,— подбадривает меня бабушка,— иди смелее.

Но мне кажется, что я слышу какие-то шорохи, что-то похожее на лязг железа.

— Бабушка...

— Молчи! — Держа меня за руку, бабушка приседает на землю.

— Бьют лопатой,— шепотом говорит Санам.

— Наверно, воруют из огорода Никола,— догадываюсь я.

Вдруг из-за большого камня появляется какая-то тень, и кто-то тихонько спрашивает:

— Ты, сестрица Нуно?

— Вай, Умршат джан! — чуть не вскрикивает бабушка.

— Тише,— предупреждает Умршат и берет ее за руку.— Пойдем к нашим.

Он ведет нас под скалу, к могиле комиссара.

— Ребята,— тихо зовет он,— я гостей привел.

Из-за скалы выходят двое, молодой мужчина обнимает бабушку Санам.

— Мама, это я.

— Сако, сынок мой,— плачет бабушка Санам.

Другой, отбросив лопату, обнимает меня.

— Не узнала?

— Ашхен джан, родимая! — всхлипывает бабушка, протягивая руки.

Я с восхищением смотрю на свою тетушку, одетую в мужскую одежду, и от волнения не могу и слова выговорить.

— Как Асмик и Аник? — лаская меня, спрашивает она.

— Хорошо, все хорошо, детка, ты о себе скажи. Ну, ты прямо как богатырь-разбойник,— говорит бабушка, оглядывая тетушку Ашхен.

— А бабушку столько били... каждый день бьют,— сообщаю я.— Мы пришли поплакать над комиссаром... умер ведь без родимой души.

— У комиссара много друзей,— вздыхает тетушка Ашхен.— Мы здесь не оставим его.

Из ее слов мы узнаем, что в то утро после боя, когда наши уходили из села, комиссар от большой потери крови потерял сознание. Решили перевезти его подальше, в сторону Еревана, но по дороге напали дашнаки, все сопровождавшие комиссара товарищи погибли в бою, а самого комиссара дашнаки захватили живым и привезли в наше село.

— А мы сразу поняли,— говорю я,— что это вы стреляли в ущелье.

— Да, стреляли,— задумчиво отвечает мне тетушка.— Агабек стрелял... Да что толку, комиссара спасти не смогли.

— Американец так испугался, побежал. Штаны у него обрезаны выше колен, а на голове какая-то чудная шапка, как разрезанная тыква...

Слушая меня, тетушка грустно улыбается.

— Поздно, ребята, пошли,— говорит Умршат и обращается к бабушке: — Ну, оставайтесь здоровы, сестрица Нуно, мы еще дадим знать о себе.

— Передай привет Асмик и Аник, но не говори, что видела меня,— шепчет мне тетушка Ашхен.— Никому не говори! — Она торопливо целует меня, потом бабушку.— Матушка, дети на твоих руках.

— Иди и будь спокойна, детка, доброго тебе пути,— отвечает ей бабушка.

Умршат и Сако поднимают завернутый в шинель труп комиссара и вместе с тетушкой Ашхен безмолвно удаляются. Мы стоим некоторое время, провожая их взглядом, потом уходим домой.

Бабушка больше не жалуется на то, что ее глаза плохо видят. Она шагает так быстро, что я и бабушка Санам едва поспеваем за ней.

— Нуно, ты словно на крыльях летишь,— задыхаясь говорит Санам.— Куда торопишься?

— На крыльях, а как же! — радостно отзывается бабушка.— Увидела наших, умереть мне за них, и посветлело у меня и в глазах и на душе.

— Э, бросили родные очаги, носятся по горам, а чем все это кончится? — вздыхает Санам.

— Добром, добром все кончится, сестрица Санам,— обнадеживает ее бабушка.— Во сне я видела моего Агабека на белом коне...

Мне трудно держать язык за зубами. Даже когда был со мной дядюшка Авет и запрещал распускать язык, я никак не могла молчать. Потому что у меня такой уж характер: если я знаю какую-нибудь тайну, язык у меня начинает чесаться и чешется до тех пор, пока я кому-нибудь не расскажу о ней. А на этот раз у меня зачесалось все тело, и, хотя бабушка не спускает с меня глаз и грозит мне взглядом, я прилипаю к Маран и шепчу ей на ухо:

— Видели наших! Дядюшка Авет прислал тебе привет.

Маран недоверчиво смотрит на меня и не говорит ни слова. Потом, вижу, отзывает бабушку в сторонку и начинает шептаться с ней.

— Нет, нет, Авета там не было,— слышу я голос бабушки.— Ну, не ребенок же ты, чтобы верить в такое! Как это Авет мог прийти туда? Ах ты болтушка! Что это ты выдумала? — ругает она меня.— Ведь сказано было тебе: никому ни слова... А если проклятущий Сого узнает?

Но Сого уже не интересуется нами. Он еще раза два вызвал бабушку и, видя, что от нее ничего не добьешься, махнул на нее рукой. Наверно, надоело ему, отвязался.

А бабушка ходит теперь с гордо поднятой головой, словно она хозяин села. И Маран что-то очень оживилась. Раньше она боялась и нос показать на улицу, а теперь даже ходит рвать банджар. Чаще всего она возвращается без банджара и сейчас же начинает шептаться с бабушкой. И удивительное дело,— наверно, переняли они это у доктора Аршака и дядюшки Авета,— гонят меня прочь от себя.

— А если Сого узнает? — говорю я, чтобы их позлить.

— Ну и пусть знает! — щуря глаза, как дядюшка Авет, отвечает Маран.— Сого теперь надо о своей башке думать...

Одна только бабушка Санам все кручинится и без конца проклинает согошек, которые угрожают отнять у нее единственного сына. Сако с большевиками скрывается в ущелье, дочку свою бабушка Санам отправила в другое село, осталась совсем одна и больше не отходит от моей бабушки.

Две старухи целый день сидят носом к носу и, поддакивая друг другу, вяжут чулки или латают одежду. И все, над чем они корпят целый день, ночью куда-то исчезает. Я догадываюсь, что все это они отправляют нашим в ущелье, но как они ухитряются это делать, не могу дознаться.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОИСКИ

На свете, наверно, нет ущелья больше и страшнее, чем наше. Начинается оно где-то в горах, по ту сторону Карса, и тянется до самого Аракса. Наша река Ахурян берет начало в тех же горах и до впадения в Аракс течет по этому глубокому, скалистому ущелью. Непонятно только, почему наше ущелье в разных местах называется по-разному. У нашего села оно называется Ахурянским ущельем, выше в горах — Аладжинским, у развалин города Ани [1] — Цахкоцадзором, а где-то еще — Глидзором.

Я никогда не бывала ни в Аладжинском ущелье, ни в Глидзоре, но Цахкоцадзор совсем недалеко от нас, и часто мы ходим туда рвать «ухо буйвола». В Цахкоцадзоре, в расщелинах скал, растут самые мясистые, самые сочные буйволиные уши; кисло-

---

[1] Ани — в V веке крепость армянских князей, в X—XIV веках столица Анийского царства Багратуни.

ватые на вкус, они в летний зной хорошо утоляют жажду. А кроме того, в Цахкоцадзоре полно жаха. Перед сенокосом женщины нашего села таскают его оттуда целыми тюками и засаливают на зиму.

Только в эти дни, перед сенокосом, и можно собирать жах; пройдет неделя — и он затвердеет, а тогда уже не годится для солки. Каждый год в это время молодые женщины и девушки нашего села собираются вместе и отправляются в Цахкоцадзор собирать жах. Иногда они берут с собой двух или трех ловких парней, чтобы те лазили по кручам и доставали для них ухо буйвола. В таких случаях, конечно, в первую очередь выбирали Сако, потому что он один из самых ловких парней в нашем селе. Впрочем, тетушка Ашхен в ловкости и проворстве не уступала ни одному мужчине. Подоткнув подол платья, она как кошка карабкалась по кручам и, добравшись до какого-нибудь уступа, кричала оттуда на все ущелье:

— Эй, ловите! — И выдранные с корнем кустики буйволиных ушей с шумом катились вниз.

— Ашхен, бедовая головушка, спускайся! — испуганно звала ее снизу вдова Ерикназ.— Упадешь — на тысячу кусков разобьешься!

Но тетушка Ашхен, ухватившись одной рукой за выступ скалы, другой срывала буйволиное ушко, запускала в него свои крепкие зубы и звонко смеялась над страхами Ерикназ.

А в этом году никто и не думает ходить за жахом. У всех полно разных забот и горестей, и ни Сако нет, ни дяди, ни тетушки. Они еще прячутся где-то в ущельях.

Сбор жаха — самый удобный повод убедить бабушку отпустить меня в Цахкоцадзор.

— Пойду-ка я собирать жах, посолишь на зиму...

— Не выдумывай,— сердито перебивает она меня.— На что нам теперь жах?

— Да ведь тетушка Ашхен очень любит соленья! К зиме вернется, что она будет есть?

— Э, пусть только вернется, а соленья не такое уж большое дело.

— Пусти, я хочу сходить к тетушке, я очень соскучилась по ней,— уже откровенно прошу я бабушку.

— Сходи понаведайся, твоя тетушка сидит там на троне анийских царей,— смеется надо мной бабушка.— Кто знает, в какую медвежью берлогу забралась она. Сиди-ка уж на своем месте, не твоего ума это дело...

Ну уж нет, дома торчать меня не заставишь! Я очень стосковалась и по тетушке, и по дяде, и больше всего по дядюшке Авету. Мне хочется увидеть, узнать, где они живут, что делают, когда думают вернуться домой. И как бабушка ни следит за мной, я сговариваюсь с Осан, и мы вместе отправляемся в ущелье Цахкоцадзор.

Никто мне не говорил, что наши скрываются в Цахкоцадзоре, но я точно знаю, что это так, потому что комиссар во время боя сказал им: «Постарайтесь пробраться в пещеры...» А где еще может быть больше пещер, чем в Цахкоцадзоре? Наверху по одному краю ущелья тянутся полуразвалившиеся крепостные стены Ани, а на другой стороне, в скалах, столько всяких пещер, что и сосчитать нельзя. Есть такие огромные, что в жаркие летние дни курды, кочевники из Аладжи, загоняют в них целые стада овец. По рассказам наших крестьян, в древние времена, когда Ани был цветущим городом, царь и его приближенные жили во дворцах, а землепашцы ютились в пещерах. Некоторые пещеры Цахкоцадзора и в самом деле напоминают дома, а иные похожи на церкви, как, например, высеченная в огромной скале часовня Оненца. Наш мастер Давид, который срисовал и обмерил, кажется, все разрушенные монастыри и храмы Ани, рассказывал, что в этой часовне когда-то был найден полуистлевший прах дочери князя Оненца с остатками одежды на нем и украшениями. Много раз мы ходили собирать жах в это ущелье, но никогда не заходили в часовню Оненца; там всегда непроглядная темень, оттуда дует холодный ветер и слышатся какие-то шорохи. А самая страшная пещера — «Гидан гялмаз», что означает: «Вошедший не вернется». Она называется так потому, что не было еще случая, чтобы кто-нибудь вышел оттуда. Никто и не осмеливается войти в пещеру «Гидан гялмаз». Все говорят, что в этой пещере множество запутанных потайных ходов, и теперь уже никто не знает, куда они ведут: по словам одних, они ведут глубоко под землю, под самую реку Ахурян, и дальше в город Ани, а выход, дескать, затерялся где-то среди развалин дворцов и храмов; другие утверждают, что они тянутся до самой крепости Карс.

Моя бабушка рассказывает, что когда-то очень давно, когда сельджуки напали на Анийское царство, в эту пещеру сбежался народ со всей страны. Сельджуки окружили вход, день и ночь ждали, когда выйдут люди, чтобы перебить и старых и малых, но никто не вышел. С тех пор так и стали называть эту пещеру «Гидан гялмаз» — «Вошедший не вернется».

Другие пещеры Цахкоцадзора мне достаточно хорошо известны, и вот мы, то есть я и Осан, карабкаемся по скалам и заглядываем то в одну, то в другую. В пещерах темно, холодно, с потолка капает вода, пахнет плесенью, и всюду, куда мы входим, начинает что-то шуршать, шевелиться. Осан испуганно жмется ко мне.

— Холодно, пойдем домой,— стуча зубами, говорит она.

Мне тоже холодно и немножко страшновато, но я не хочу возвращаться. Надо обязательно разыскать наших, и я тащу Осан из одной пещеры в другую. На ощупь мы входим под скалистые своды, затаив дыхание ждем, затем, подбадривая друг друга, кричим:

— Эй, кто там есть, выходи-и-и!..

«И-и-и!» — гулко отдается в пещере, и мы, охваченные страхом, выбегаем наружу.

Когда мы крикнули так, в маленькой пещере рядом с «Гидан гялмаз» что-то ухнуло, словно с грохотом посыпались камни. В ужасе мы выскочили из пещеры и, не оглядываясь, одним духом добежали до пастушьей церкви за стенами Ани.

Притаились в развалинах церкви, сидим, боимся пошевельнуться. Со всех сторон окружают нас руины дворцов и храмов. На замшелых стенах выросли кустарники в человеческий рост, и нигде никаких следов человека или какого-либо живого существа. Только дикие голуби тихо воркуют или со свистом проносятся над головой. И такая тишина вокруг, что даже эти слабые звуки эхом отдаются в руинах. От страха сжимается сердце.

— Давай убежим,— всхлипывая, шепчет Осан.

Я со всех ног пустилась бы бежать от этих мрачных руин, но не знаю куда... Сколько раз в праздник вардавара мы всем селом на арбах, с зурной и барабанами приезжали в Ани, весело танцевали, пели и возвращались домой поздно вечером. Но тогда мы шли арбяной дорогой, а сейчас я и понять не могу, с какой стороны мы пришли в эти дебри Цахкоцадзора и в какую сторону должны идти, чтобы выбраться на дорогу в наше село.

— Давай убежим,— уже громко плачет Осан.

— Осан джан, я... потеряла дорогу,— вынуждена признаться я.

— Вай, теперь волки растерзают нас!

— Не растерзают, нет. В летнее время волк не ест людей. Хочешь, спроси старшего брата Умршата.

— Как же я спрошу, раз его нет? — плачет Осан.

— Он где-нибудь здесь. Если позовем, наверное, откликнется.

И, уже не слушая больше Осан, я ору во всю глотку:

— Брат Умршат!.. Тетушка Ашхен, мы потерялись!

Никакого ответа, только эхо разносится по руинам. Делать нечего, надо идти, и я, взяв за руку Осан, отправляюсь в дорогу.

Говорю «в дорогу», но среди страшных развалин никакой дороги не видно, одни ямы да груды камней, обвалившиеся купола, покосившиеся стены и башни, которые не знаю уж каким чудом и держатся, и кажется — даже от полета голубей обрушатся и похоронят тебя под обломками. А тут еще змеи... Не знаешь, за какой камень ухватиться, на какой ступить, чтобы не попасть рукой или ногой в клубок ядовитых гадюк. В эти знойные летние дни они греются на солнце, кровь у них играет, они резвятся, прыгают, и горе тому, кто хотя бы невзначай коснется их рукой или ногой.

Опасаясь змей, мы осторожно, как цапли, перешагиваем через кусты бурьяна, прыгаем с камня на камень, пока, обессиленные, с изодранными в кровь ногами, не выходим на большую луговину, такую же зеленую, как наша Бархатная бахча, и так же окруженную со всех сторон замшелыми руинами. Нет больше никаких сил идти, мы садимся и отдыхаем. Согретая солнцем бархатистая трава так приятна, что хочется растянуться на ней и спать, спать хоть до самого вечера. Из ущелья веет прохладой, оттуда доносится убаюкивающий шум реки, и мы начинаем дремать. Вдруг поблизости раздается шорох шагов, и мы испуганно поднимаем головы. Какой-то мужчина медленно подходит к нам, сбрасывает с плеча хурджин и садится на камень.

Мы в страхе прижимаемся друг к другу, а он снимает шапку и, отирая рукой потный лоб, говорит:

— Ну и жара...

— Дядя, ты кто? — робко спрашиваю я.

— Человек, кто же еще, иду вот по своим делам,— уклончиво отвечает он и вынимает из кармана кисет.— Покурить, что ли...

Огрубелыми руками он медленно сворачивает цигарку, крошки табака бережно ссыпает в кисет и начинает шарить по карманам, что-то бормоча себе под нос. Наконец он вынимает большой красноватый мундштук с резьбой.

— Вот так,— удовлетворенно говорит он, высекая искры из кремня и закуривая цигарку; потом жадно глотает табачный дым.

Я узнаю мундштук, сделанный руками дядюшки Авета, но не осмеливаюсь говорить об этом.

— Хорош? — заметив мой внимательный взгляд, улыбается незнакомец.— Конечно хорош, умелыми руками сделан.

— А кто сделал... а?

— Мастер один. Где он теперь, не знаю.

— Это работа нашего дядюшки Авета,— робко говорю я и указываю пальцем на резьбу: — Такие украшения делает только он.

— Авет? Кто такой? — прищурив глаз, спрашивает незнакомец.

— Дядюшка Авет был ревкомом, а теперь где-то скрывается, вот мы искали, искали его по пещерам, да испугались, убежали,— одним духом выпаливает Осан и кривит губы, словно опять собирается плакать.

— Нет, она неправду говорит... Мы не знаем, где дядюшка Авет, он ушел в другое место. И мой дядя ушел,— объясняю я.

— А зачем вы пришли сюда? Кто вас послал?

— Никто не послал, мы тайком от бабушки пришли собирать жах, чтобы засолить на зиму. Тетушка Ашхен очень любит соленья.

— Почему же ходите тайком?

— В селе полно хмбапетов, ежели узнают, опять бабушку изобьют,— говорит Осан.

Незнакомец курит и о чем-то раздумывает. Потом выбивает окурок цигарки из мундштука, задумчиво вертит в руках мундштук и, наконец, прячет его в карман.

— Так, говорите, пришли рвать жах и тайком бежали? Ну, коли так, бегите домой, какой уж тут жах среди этих развалин...— Он, кряхтя, поднимается с места и вскидывает на плечо хурджин.— А я тоже пойду своей дорогой.

— Дядя, мы потеряли дорогу, проводи нас домой,— просит Осан.

— Гм... некогда мне с вами разгуливать,— задумывается незнакомец, но все же соглашается: — Ладно, немного провожу...

Он выводит нас из развалин, некоторое время идет с нами по дороге и, когда вдали показываются сеновалы нашего села, останавливается.

— Ну, бегите да никому ничего не говорите,— наказывает он и хочет идти обратно, но вдруг оборачивается ко мне: — А тебя, говоришь, зовут Арцвик?

— Откуда ты знаешь? — удивляюсь я.

— Разве ты не сказала? — хитровато смеется он.

— Нет, не говорила.

— Сказала, только не помнишь... Так вот, Арцвик джан, никому не рассказывай о нашей встрече,— еще раз предупредил незнакомец.

Он поворачивается и быстро-быстро удаляется по дороге.

ХМБАПЕТ КОСТАН ПРОДАЛ АЙАСТАН

Я долго не могла понять, как это бабушка узнала о том, что мы ходили в Цахкоцадзор. Когда мы с Осан вернулись в село, мы не сразу пошли домой, а спустились к речке, выкупались и с мокрыми волосами прибежали к бабушке. Сказали, что ходили купаться. Сначала она поверила и ничего не сказала, а через день подозвала меня и спросила:

— Ну, много жаха было в Цахкоцадзоре?

— Жаха?.. Не знаю,— смутилась я.

— А зачем вы ходили туда?

— Когда это мы ходили? Не ходили, неправду говорят...

— Смотри у меня, если еще раз туда пойдешь, уши тебе оторву,— погрозила бабушка и больше об этом не говорила.

Думала я, думала, откуда же бабушка могла узнать об этом? Осан поклялась старшим братцем Умршатом, что ничего не говорила. Как видно, бабушка просто испытывала меня. Но вскоре мне все стало ясно. Как-то Маран собралась идти к нашим, чтобы передать им хлеб. Она и Ерикназ обвязались передниками, взяли в руки цапки, как будто отправляются за банджаром.

И вдруг бабушка выносит им хурджин того незнакомца, с которым мы встретились в развалинах Ани.

Я остолбенела от удивления. Как попал в наш дом этот хурджин, кто принес его?

— Бабушка, чей это хурджин? — не вытерпев, спрашиваю я ее, а она с безразличным видом пожимает плечами:

— Хурджин как хурджин, у него есть хозяин.

— А ты его знаешь, хозяина?

— Конечно, знаю.

— Это, бабушка, тот самый человек, который...

— Какой такой человек? — обрывает она меня.— Это хурджин Арутика-солдата. Не узнаешь?

Я недоверчиво смотрю на нее и молчу. У Арутика нет такого хурджина, и мне становится ясно, что бабушка знает незнакомца, а может быть, и встречается с ним. И мундштук у него один из тех, что выделывает дядюшка Авет, и знает он, как меня зовут... Может быть, этот человек тоже большевик? Но я знаю всех большевиков в нашем селе.

А бабушка ничего не говорит. В последнее время она стала какой-то странной. С другими она очень разговорчива, и ее как будто совсем не беспокоит, что дядя и тетушка Ашхен все не возвращаются и наш дом становится похожим на разрушенный монастырь, а дома молчит и только охает да вздыхает. Я знаю, что ей тяжело, что она с тревогой думает о нас, о том, как прокормить семью. И заботиться ей приходится не только о нас. Маран, Ерикназ, мастерова жена Шушан, бабушка Санам — все идут к ней за советом, и бедная бабушка, забыв свои горести, утешает других: дескать, все обойдется, все кончится хорошо.

Но откуда взяться хорошему, когда у нас нет ни хлеба, ни одежды, и я просто ума не приложу, откуда бабушка добывает еду, которую посылает скрывающимся в ущелье большевикам. Маран два раза в неделю носит им хлеб. Иногда ночью приходит Умршат. Я еще ни разу не видела его, но точно знаю, что он приходит. На другой день бабушка бывает очень оживленной, разговорчивой и все говорит о каких-то партизанах.

— Детки мои, партизаны, да буду я жертвой их львиной души... Скоро детки мои, партизаны, вернутся домой...— радостно повторяет она.

Что значит «партизан», я не знаю, и мне очень хочется пойти вместе с Маран посмотреть на них. Но и Маран их не видит. Всякий раз Умршат назначает ей все новые и новые места для встречи и, взяв у нее хурджин с хлебом, отправляет ее назад. Маран очень недовольна тем, что не может повидаться со своим Аветом, узнать о его житье-бытье. Она то жалеет дядюшку Авета, то сердится на него: дескать, мало того, что стал большевиком, теперь еще оказался партизаном, как будто он один со своей деревянной ногой должен перевернуть весь свет.

Слушая ее, я начинаю наконец догадываться, что партизаны — это что-то вроде большевиков.

— Не говори так, Маран джан,— поучает ее моя бабушка.— Был бы жив-здоров. А если стал партизаном, какой от этого вред?

— Да ведь безногий он человек, матушка Нуно. Каково ему там, среди камней да ущелий? И некому присмотреть за ним, позаботиться, бельишко постирать. Не сегодня завтра наступит зима, дороги заметет снегом. Что станет с беднягой? — горюет Маран.

— В таком деле человек не потеряет пути-дороги, и ты, Маран, понапрасну не разрывай себе сердце. У тебя такой муж! Да понимаешь ли ты, что имя Авета прославится на весь мир? Недаром ведь сказано: «Пусть хоть долг в тысячу туманов [1], только бы муж храбрец». Пусть у Авета хоть обеих ног не будет, все равно он мужчина с открытым челом, умереть мне за его львиную душу.

Все это бабушка говорит для того, чтобы успокоить Маран, подбодрить ее, и сама так воодушевляется, что начинает вспоминать, как наши переполошили все село и заставили носача Симона бежать без оглядки.

— Ну, пусть он теперь там, где похваляется своими делами, вспомнит и про наши,— говорит бабушка о старосте Симоне.— Хлебороб — он что верблюд в пустыне: терпит, терпит, поедая свой горб, но уж, когда станет невмоготу, первого караван-баши растопчет ногами.

— Э, матушка Нуно, что в этом пользы? — вздыхает Маран.— Вчера весь свет переполошили, а сегодня залезли в медвежьи берлоги, и опять крестьянство в руках Симона.

— Ничего,— продолжает бабушка твердить свое.— Мгер Сасунский тоже некогда был заточен в пещере, но разве можно заточить справедливость? Пусть хорохорится Симон. Посмотрим еще! Цыплят по осени считают.

Но осенью, по-видимому, и считать будет нечего, потому что в нашем селе не останется ни одного цыпленка. В последнее время хмбапеты начали грабить нас с особым усердием. Распевая свою «анках Айастан», они сожрали всех кур и гусей, о баранах и овцах я уже не говорю.

Теперь староста Симон больше не режет своих ягнят для хмбапетов, а хватает их в домах партизан. Единственный барашек бабушки Санам, которого она берегла на свадьбу Сако, давно исчез в брюхе хмбапета Сого. Одного теленка вырвали у мастеровой жены Шушан. Остались только осел Никола и наша трехгодовалая Цахик. Бабушка не выпускает ее из хлева, мы с Осан каждый день приносим ей зеленой травы. Наверно, молод-

---

[1] **Туман** — иранская золотая монета, получившая в свое время нарицательное значение на Востоке.

чики Сого съели бы и Джейран тетушки Маран, но корова очень стара, одна кожа до кости. Осел Никола пока еще рассеянно бродит по ущелью, но я боюсь, как бы наш ненасытный хмбапет Сого не сожрал и его.

Так они обжираются и жиреют, а мы с каждым днем худеем, превращаемся тоже в «кожу да кости». Наши сельчане говорят, что если так будет продолжаться и дальше, то мы окажемся в положении осла моллы Насреддина. Этот остроумный молла будто бы приучил своего осла обходиться без всякой еды, а хмбапеты тоже, как видно, решили, что в «независимой Айастан» люди могут обойтись без пищи, поэтому кругом обирают крестьян.

Каждый день ходят по домам какие-то люди и от имени господина Костана требуют сдавать масло и сыр, овец и баранов, кур и гусей.

Господин Костан стал теперь нашим губернатором и сидит на губернаторском троне в Карсе, а его люди налетают на наши села, как саранча, и все пожирают.

А на днях я услышала такое, что у меня на голове волосы встали дыбом.

Раньше, когда дядюшка Авет был с нами, я всегда тащилась за ним, как хвост, и слушала все разговоры взрослых. Теперь я подружилась с Арутиком. Он не принимал участия в восстании и потому свободно разгуливает по селу. Правда, к нам он заходит очень редко. Зайдет, не присаживаясь перекинется несколькими словами с бабушкой и сейчас же, прихрамывая, уходит. Но я заметила, что временами он куда-то надолго уходит из села.

— Торговлей занялся,— говорит он, отвечая на мой вопрос.

И в самом деле, у него появился маленький ящик на ремне, в котором полно иголок, наперстков, пуговиц, американской смолки. С ним он ходит из села в село, из дома в дом и выкрикивает:

— Иголки... самые хорошие иголки, американская жвачка, николаевские нитки!..

И пока женщины, окружив его, выбирают пуговицы или пробуют крепость ниток, «оставшихся еще с николаевских времен», он заводит разговор о том о сем, расспрашивает о житье-бытье, но не забывает и расхваливать свой товар.

— Покупайте, сестрички, веселее торгуйтесь! — подбодряет женщин Арутик-солдат.— Теперь весь мир превратился в ярмарку. Одни распродают «независимую Айастан», а мы вот торгуем жвачкой...

После этого я уже не отставала от Арутика, пока не дозналась, кто это такие, что продают нашу бедную страну и нас вместе с нею.

— Это не твоего ума дело,— сначала ответил мне Арутик, садясь на камень и закрывая свой ящик.

Люди еще стоят вокруг него, а он свертывает цигарку и, беззвучно шевеля губами, считает, сколько он продал жвачек, ниток и пуговиц и сколько с кого должен получить яиц.

— Брат Арут,— не выдержав, обращается к нему беженец Гаре,— что это ты говорил о распродаже?

— Да так, ничего, вырвалось слово, сказал,— притворяется ничего не знающим Арутик.— Говорят, мол, дашнаки продают Армению американцам...

— Как это «продают»? — удивляется Гаре.

— А очень просто,— говорит Арутик, стараясь обратить все это в шутку.— Скажем, ты дашнакский хмбапет, у тебя «независимая Айастан», а я американец, у меня сгущенное молоко. Ну, кто нам мешает устроить куплю-продажу? Так?

Я удивлена не меньше, чем Гаре. Наши сельчане говорят, что хмбапет-губернатор Костан и другие дашнаки столько вылакали сгущенного американского молока, что им теперь нечем расплачиваться. Но пусть они расплачиваются хоть своей головой, меня пугает другое.

— Значит, если американец нас купил, то должен увести в свою страну, да? — спрашиваю я Арутика.

— Нет, зачем ему нас уводить? — усмехается Арутик.— Останемся в своих домах, но раньше мы были батраками у Артуш-аги, теперь станем батраками американцев. Наше дело батрачить...

— А мой дядя и дядюшка Авет тоже будут американскими батраками?

— Ну что ты, они не продажные.

— Тогда и нас они не смогут сделать батраками, мы тоже большевики!

— Кто это большевик? — щуря глаза, спрашивает Арутик.

— Я, ты, все...

— Я торговец,— строго говорит Арутик и, вскинув ремень на плечо, уходит со своим ящиком.

Немного спустя с другого конца села слышится его голос:

— Жвачка американская, хорошая жвачка!..

— Да, ели мы масло и мед, теперь только и остается, что жевать американскую жвачку,— говорит бабушка с горькой усмешкой.— Вон этот проклятущий Сого нажрал загривок, что монастырский бугай, пусть ему и несет эту жвачку... Арцив джан,— вдруг обращается она ко мне,— поди попроси у Егнар десятка два яиц. Скажи, начнут куры нестись, верну...

Я, думая, что бабушке понадобились яйца для нас, со всех ног бегу к дому Арутика.

А Егнар, словно только и ждала меня, сейчас же выносит мне полную корзину яиц и еще дает завернутую в тряпку головку сыра.

— Яйца вареные,— говорит она и предупреждает: — Смотри, чтобы никто не увидел!

Бабушка осторожно берет принесенную мною корзину и ставит ее в сторону. Я жду, что она даст нам яиц, но приходят Маран и мастерова жена Шушан,— они тоже что-то несут в подолах платья,— и бабушка выпроваживает нас на улицу. А через некоторое время Маран с тем же хурджином выходит из нашего дома...

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ КЕРОСИН

Давно уже Маран не носит хлеб партизанам, да и Умршат, должно быть, больше не приходит к нам по ночам. Это видно по бабушке. Бабушка очень задумчива. Маран тоже ходит с опущенной головой, и она, кажется, что-то знает. Вчера она расспрашивала Арутика-солдата, где находится край по названию Казах, далеко ли до него от наших мест и за сколько дней можно туда добраться.

— Смотря как пойдешь,— отвечал ей Арутик-солдат.— Арбяной дорогой — не меньше недели пути. Пешком, напрямки, можно и скорее, но трудно идти.

— Говорят, лесистые там места. Правда, брат Арут?

— Да, как под Сарыкамышем. И очень много там фруктовых деревьев. Есть яблони, груши, тутовые деревья, кизил,— одним словом, с голоду не пропадешь.

— Вот это хорошо, очень хорошо... А этот Казах ближе к нам или к Баку?

Арутик, пощипывая усы, что-то подсчитал в уме и сказал, что Баку будет оттуда, пожалуй, ближе, чем Карс.

— Хоть бы благополучно дошли до места,— задумчиво проговорила Маран.

— Раз уж пошли, так дойдут. Ты скажи, чтобы вовремя дошли...

Из этих разговоров мне стало ясно, что наши отправились в какой-то Казах. Но почему так важно, куда он ближе, к Баку или к нашему городу, я не могла понять. Будь со мной дядюшка Авет, я расспросила бы его, но от Арутика-солдата многого не узнаешь. Он больше не занимается торговлей. Остатки американской жвачки он роздал нам и, отбросив в сторону пустой ящик, сказал:

— Кончена лавочка!

Теперь Арутик по целым дням бродит по селу с палкой в руке и частенько говорит в кругу сельчан, что Армению продали.

Чаще всего он рассуждает об этом, когда приходит к нам. У нас он может говорить все, чего не осмеливается говорить при других.

— Продать-то продали,— говорит он,— да еще неизвестно, кто будет над нами хозяином. Американцы не такие дураки, чтобы ввязываться в невыгодную сделку.

— Жди, значит, новой напасти,— сокрушается бабушка.—

Мало нам было этих проклятущих хмбапетов. Народ-то уж до того довели — как говорится, еле-еле душа в теле.

— Хмбапеты что! Шкура дохлого верблюда непосильная ноша для осла... Теперь на эту шкуру кинутся турки.

Бабушка испуганно смотрит на Арутика.

— Да, да,— продолжает он свои рассуждения,— попадем мы из огня да в полымя. Турки долго заигрывать не будут, как американцы. Раньше они боялись России, а теперь кто им сможет противостоять? Ударят — и разом окажутся здесь... Вот разве что наши ребята придут на помощь народу.

— Что могут сделать наши ребята? — Бабушка безнадежно качает головой.— Им не под силу стоять против шаха и султана.

— Посмотрим. Может быть, они все же сумеют добраться до Баку.

— А разве Баку не в руках турок? — недоумевает бабушка.— И разве нам не все равно, откуда придет турок — из Баку или из Стамбула?

— Нет, большая разница. В Баку живут азербайджанцы, и они уже несколько месяцев как ввели у себя большевистский закон, как в России. А для большевиков — что турок, что армянин, кто попадет в беду, того они и выручают.

— Э, как знать! — вздыхает бабушка.— Дай бог как-нибудь вырваться из этого пекла. Во времена царя Никола пути-дороги не были отрезаны, везли нам керосин, товары разные, а теперь все это ушло от нас. Говорят, в Баку нефть вылили в море. Это правда, Арутик джан?

— Как это можно море вылить в море, матушка Нуно? — смеется Арутик-солдат.— Нефти в Баку — реки-моря.

— А почему керосин исчез? Это ведь не масло, не сыр, не мука-пшеница, что пожирают эти хмбапеты и их молодчики. Что случилось, что керосин стал у нас черной лисой?

— Об этом уж ты господина Костана спроси. Устроили они вот эту «анках Айастан», с соседями стали жить как собака с волками. С Грузией начали драку-войну, а грузины отрезали дорогу и керосину и всему, что шло к нам из России. Но большевик не такой. Вот ежели нам повезет, то и у нас будет большевистский закон, как в Азербайджане. Тогда мы не будем стоять меж двух огней, заживем в мире и согласии со своими соседями.

— Ну ты же видел, что получилось. Ребята хорошо начали, да не выдержали. Пехлеван ежели размахнулся, так первым махом должен снести голову дракону, а промахнется — рука потеряет силу, это уж так.

— Тут одной силой ничего не сделаешь, матушка Нуно. Большевики — это такие люди, что на место одного из народа поднимаются два. Народ стоит за спиной большевиков, вот в чем их сила. Разве в России не так же было? Там, после того как сбросили царя Никола, тоже из всех щелей повылезали вот такие разбойники, как наши дашнаки, и тоже хотели продать

народ американцам, англичанам и еще не знаю каким волкам и собакам. А такой человек, как Ленин, поднялся и сказал: «Эй, народ, послушай моего слова, иди вот этим путем, а то погибнешь!» И народ послушал его, пошел за большевиками.

— А почему мы не пошли с русскими, Арутик джан? Ведь еще наши деды и прадеды жили с русскими в мире и согласии. Почему же мы отделились от них?

— От большого ума,— смеется Арутик.

Я слушаю Арутика и думаю: откуда ему все это известно? Когда было восстание, он даже мосинки в руки не брал, говорил, что отвоевался еще в николаевские времена и теперь калека, больной. А стал рассуждать, как дядюшка Авет.

Как-то я подхожу к нему на улице и тихонько спрашиваю:

— Дядюшка Арут, скажи мне — ты большевик?

— Что ты, господь с тобой! Какой же я большевик? Я торговец,— отвечает мне Арутик-солдат.

— Но ты же больше не торгуешь!

— Приказа нет, вот и не торгую. А к тому же американская жвачка кончилась.

— А ты сходи за ней в город.

— Ребята уже пошли, посмотрим, что они принесут. Если не американскую жвачку, то русские конфеты обязательно...

— Когда их будут раздавать, мне тоже дадут?

— Тебе? Нет, не дадут. Это для Сого, Костана и других собак,— говорит Арутик-солдат и уходит.

В нашем селе становится все более тревожно. Все говорят о войне, как будто только теперь услышали, что на свете есть война. Да с тех пор как я появилась на свет, я только и слышу что о войне. Еще при царе довоевались до того, что я потеряла отца. Покончили с царем, не успели вздохнуть, как появились хмбапеты с их «анках Айастан», и по этой причине у дяди на руке исчезли два пальца. Теперь хмбапеты отдают нас, как говорит Арутик, на растерзание туркам. Значит, опять война... Но мне и в голову не приходило, что она так близко от нас.

Это видно по тому, как приезжают в наше село и уезжают хмбапеты. Все они страшно встревожены, сердиты и куда-то спешат. Появляются на какой-нибудь час, всё переворачивают вверх дном, хватают что попадется под руку — и вон из села, нахлестывают коней и мчатся дальше. Сого совсем не видно,— говорят, он пошел на войну. А по словам Арутика-солдата, он и губернатор Костан бежали в Ереван, чтобы оттуда убежать в Америку. И все бегут.

Уже несколько дней нашим селом идут солдаты — усталые, с запыленными лицами. Иногда они останавливаются часа на два, торопливо готовят себе обед, едят его, стоя на ногах, и снова пускаются в путь.

Мне хочется поговорить с ними, узнать, куда они так спешат, но они даже не смотрят на меня, а иные ругают за то, что я путаюсь у них под ногами.

Как-то один из солдат протянул Гарику испорченный пистолет и сказал:

— Возьми, малыш. Может статься, что ты спасешь Айастан, а у нас ничего не вышло.

Гарик, потеряв голову от радости, побежал домой, а я уставилась на солдата и, должно быть, смотрела на него с таким жалким видом, что он спросил:

— А ты чего хочешь?

— Дядя, у тебя больше нет? Дал бы и мне один.

— Тебе? — засмеялся солдат.— Нет, дочурка, воевать — это мужское дело. Нам с тобой лучше всего поскорее смыться отсюда.

— А почему ты бежишь? Разве ты не мужчина?

— Что, съел? — захохотали товарищи солдата.

Но он совсем не обиделся, вынул из кармана потемневший кусочек сахара и, сунув мне в руку, сказал:

— Погрызи-ка да удирай отсюда, дело тебе говорю.

— Дядя, а это правда, что нас продали? — совсем осмелев, спросила я.— Арутик-солдат говорит, что губернатор Костан и его дашнаки продали нас американцам, на сладкое молоко променяли, а Америка отдала туркам...

Солдаты развеселились.

— Боевая девчонка! — смеясь, проговорил пожилой волосатый солдат.

Он двумя пальцами поднял мой подбородок, взглянул в глаза и, по-видимому, решил, что такое сатанинское копыто, как я, невозможно продать даже американцу.

— Дочка,— спросил он,— а кто этот Арутик-солдат, что говорит такие любопытные вещи?

— Арутик? Ну, это наш Арутик. Он много интересного говорит. Хочешь, позову его?

— Нет, дочка, не надо. Ты лучше поди и скажи этому вашему Арутику, что надо бежать отсюда, пока не поздно. Потом будет трудно уйти...

После этого в нашем селе уже не появлялись солдаты. Иногда небольшими отрядами проезжали всадники, но они не останавливались, и я ничего не могла у них разузнать.

А о партизанах нет никаких вестей. Бабушка совсем потеряла голову. Наступает осень, у нас нет ни хлеба, ни топлива, и бабушка не знает, что и делать. Иногда мы с ней ходим ловить рыбу. Бабушка бросает сеть с такой же ловкостью, как и дядя, но меня не радует теперь даже самый большой улов. Когда я вспоминаю, что дома нет ни дяди, ни тетушки Ашхен, что никого не порадует пойманная нами рыба и не с кем будет потом поиграть в чиз, у меня сердце начинает щемить от боли. А когда мы

садимся есть рыбу, бабушка без конца вздыхает и охает — говорит, что еда застревает у нее в горле, как только она подумает о наших,— сыты они сейчас или голодны?

— В лесах Казаха много фруктовых деревьев,— говорю я, стараясь утешить ее.

ДЯДЯ С ХУРДЖИНОМ

Он пришел поздно вечером и без стука вошел во двор. У нас давно не было керосина, мы сидели в темноте, а проникавший через ертык лунный свет был слишком слаб, чтобы рассмотреть пришельца. Он переступил порог как свой человек и тихонько сказал:

— Добрый вечер, матушка Нуно!

— Добро пожаловать! — отозвалась бабушка, вглядываясь в незнакомца.

И не успела она понять, с кем здоровается, как я уже узнала его по голосу и бросилась к нему.

— Вай, дядя. это ты?

— Я,— ответил незнакомец и, кажется, улыбнулся.— Узнала? Хорошо.

— А как ты нашел наш дом, кто тебе показал?

— Дядюшка Авет.

Я с изумлением смотрю на него, а бабушка — на нас обоих. Она никак не может понять, откуда мы знаем друг друга.

Незнакомец молча садится, чиркает спичкой о коробок и начинает разглядывать всех нас по очереди. Потом зажигает вторую спичку, вынимает из кармана нож и протягивает его бабушке.

— Что это? — Бабушка подносит нож к глазам, смотрит на него и все больше волнуется.— Ножик Авета?.. Маран, Маран джан!.. Арцвик, зови скорее Маран!.. Авет мой, дети мои! — стонет она.

— Да, это нож Авета,— подтверждает незнакомец,— он дал мне его, чтобы ты не сомневалась. Не зовите людей, не надо.

Не могу понять, плачет бабушка или смеется. Незнакомец берет у нее нож, прячет в карман и встает.

— Выйдем-ка, матушка Нуно, надо тебе кое-что передать.

— Пойдем, Арцив джан,— шепчет мне бабушка и берет меня за руку.

Незнакомец отводит нас в угол и говорит:

— Все наши — Авет, Агабек и Ашхен — чувствуют себя хорошо, просили передать большой привет. Скоро они появятся здесь. А что у вас нового?

— Говорят, нас продали...

Бабушка дергает меня за руку, чтоб я замолчала, а незнакомец смеется.

— Об этом знаем, это известное дело. Как чувствуют себя хмбапеты?

— Чтоб им провалиться сквозь землю! — ругается бабушка.— Уж так хорохорились, так разошлись, теперь сгинули, ни одного не видно.

— Ну ладно, я пошел,— говорит незнакомец и шарит по земле руками. Он поднимает свой хурджин, вынимает из него какой-то узелок и протягивает бабушке: — Это Ашхен послала. Тут мыло, кое-что для детишек... Оставайтесь здоровы, матушка Нуно, никому ничего не говорите.

И он быстро выходит со двора. Мы, стоя в темноте, прислушиваемся к его удаляющимся шагам.

— Гм... что же это такое,— вдруг спохватывается бабушка,— даже имя у человека не спросили! Не вышло бы какой беды.

— Какая там беда! Я видела его, когда ходила в Цахкоцадзор. И этот хурджин был с ним. Ты еще говорила, что это хурджин Арутика.

— Да, хурджин, правильно...

— И нож — тоже верно.

— И нож...

— Значит, от наших. И меня по имени назвал, знал обо мне.

...Дня через два после этого ночью к нам пришел Умршат и рассказал, что незнакомца, которого зовут Меликом, присылали они и что их отряд до Казаха так и не добрался, вернулся в Глидзор. Перейти границу и пробраться в Азербайджан сумели только доктор и учитель Хорен.

В следующий раз Умршат пришел вместе с дядей. Мы так обрадовались, что и не заметили, как прошла ночь, а днем они не могли уйти из села и спрятались у нас на сеновале. Они сидели там весь день, а я и Осан кружили вокруг сеновала и в щели передавали им обо всем, что видели и слышали.

К вечеру мы так разошлись, что забыли всякую осторожность, тыкались носом в дверные щели и кричали:

— Дядя, а сейчас гуси Зорбы-Зардар идут с реки, у старосты сейчас зажгут свет!

— Старший брат, а тетушка Маран пошла сейчас за водой!

— Дядя, а бабушка...

— Старший брат...

— Ну, хватит вам ерунду пороть! — наконец рассердился дядя.— Идите домой и больше здесь не показывайтесь. Уходите!

Мы ушли домой, вскоре легли спать, а ночью дядя Агабек и Умршат вернулись в Глидзор.

Тетушка Ашхен и дядюшка Авет пришли вместе и сказали, что больше никуда не пойдут, должны остаться, чтобы в случае чего защитить нас от турок.

Дядюшка Авет не выходит из дому. Целый день сидит в углу, курит и все о чем-то думает. Я не отхожу от него, но, как ни

прошу его рассказать о партизанах, он только покряхтывает и молчит.

— Что, нога болит, дядюшка Авет, да?

— Нога пустяки, сердце болит,— отвечает он мне и опять кряхтит.

— Сердце? Так чего же ты не сказал доктору? Он дал бы тебе лекарство.

— Э, Арцив джан, докторские лекарства тут не помогут. Дела у нас пошли вкривь и вкось, оттого и сердце болит,— задумчиво говорит он и в который уже раз на дню принимается проверять свою мосинку. С нею он и спать ложится, а пистолет у него всегда за поясом. И тетушка Ашхен не расстается с пистолетом, держит его под подушкой Артика. Она тоже все время сидит дома и прячется, если заходит кто из соседок. Ей хочется вернуться к дяде, потому что, по ее словам, у обоих у них одна дорога — жить или умереть.

А дела у нас и верно пошли вкривь и вкось. Сначала мы слышали отдаленный гром пушек, а теперь они грохочут уже где-то совсем близко. Все говорят, что турки гонят дашнаков и скоро разнесут в пух и прах всю эту «анках Айастан». У кого были волы или лошадь, те уже покинули свои дома. Староста Симон сбежал раньше всех, и сейчас в селе нет никакого начальства. Партизаны то приходят, то опять уходят, насовсем еще не думают возвращаться. Дядюшка говорит, что они должны задержать турок, чтобы все наши сельчане успели уйти в горы. А как уйдешь, когда нет ни лошади, ни вола?

Из партизан уехал только мастер Давид. Партизаны решили, что он по очереди перевезет на своих волах их семьи в отдаленные села, расположенные за рекой Ахурян. Вот мы и ждем, надеясь, что он приедет за нами.

Днем еще ничего, все занимаются своими делами и забывают о приближающейся опасности, но вечером наступает такая жуткая тишина, что можно сойти с ума. Село, конечно, не спит, никто не ложится в постель, и эта настороженная тишина страшнее всего.

Еще не стемнело, а все уже собрались у нас в оде. Сидим, не зажигая светильника, в темноте и не разговариваем, не шумим, как раньше. Я прижимаюсь к бабушке, прислушиваюсь к грохоту пушек и так, съежившись, засыпаю. А дядюшка Авет, кажется, вовсе не спит.

У него жалкий вид. Когда на короткое время в селе появляются мой дядя и другие мужчины, он оживляется, но, как только они уходят, у него опять начинает болеть сердце. Держа меж колен свою мосинку, он сидит с нами, погруженный в свои нерадостные думы. Маран все попрекает его тем, что он надеется на других и дождется в конце концов, что в село нагрянут турки.

— Слушай, жена, куда я на этой деревяшке пойду? — говорит

он, указывая на свою деревянную ногу.— Подождем еще день-два, может быть, приедет Даво. Тогда возьмем кое-что из вещей — и в путь. Не с голыми же руками идти.

— Много у тебя добра! — с насмешкой говорит Маран.— Нагрузить одного петуха как раз хватит. Погрузим вещи на Джейран и пойдем, чего нам тут сидеть и дрожать?

— Ну, коли так, надо еще кого-то найти, кто меня и твою старуху Джейран взвалит на плечи,— так же насмешливо отвечает ей дядюшка Авет.— Да и куда мы пойдем? Не лучше ли остаться у родного очага?

И бабушка того мнения, что никуда не следует уходить. Она уговаривает дядюшку отправить нас с кем-нибудь, а сама думает оставаться дома.

— Я от своего очага никуда не уйду,— говорит она.— Оставленный дом что разрушенный монастырь. Если уж пришло время помирать, под своей закопченной кровлей помру.

Когда бабушка так говорит, у меня сжимается сердце. Мне кажется, что нас разлучают, и я крепко обнимаю ее.

— Бабуся, я тоже никуда не пойду, останусь с тобой!

— Нет, детка, твоя дорога длинная, моя короткая, у тебя весна, у меня зима. Я должна остаться, а тебе надо идти,— говорит она и заливается слезами.

И она все хлопочет о доме. Замазала крышу, заткнула все щели, говорит, что зима на носу и дом должен быть в порядке, чтобы детишки не мерзли.

Вместе с тем наша бабушка стала необыкновенно бережливой и внимательной ко всему, что есть у нас в доме. Беда, если возьмешь что-нибудь и не положишь на место или если кто-нибудь из соседок не принесет взятый на день горшок с отшибленным краем. Рассердится, начнет поучать и всегда твердит одно: мол, птица и то до последнего дня жизни держит в порядке свое гнездо, а мы почему должны пустить свой очаг по ветру?

Мать и тетушка Ашхен возражают ей:

— Потерявшему коня на что уздечка? Если завтра нагрянут турки — что будем с домом?

— Что бы ни случилось,— стоит на своем бабушка,— рука, привыкшая строить, разрушать не может. Море капля за каплей собирается, так и дом. Вы еще молоды, не понимаете этого...

И она продолжает свои хлопоты. Мать с тетушкой Ашхен увязывают домашние вещи, готовясь отправиться в путь, как только появится мастер Давид на своих волах. А его все нет и нет...

ТРЕВОГА

Было уже за полночь. Мы не спали. Мужчины снова ушли куда-то за село, только дядюшка Авет оставался с нами. Внезапно прекратилась стрельба, и это было еще страшнее. Когда мы слышали выстрелы, это подбадривало: мы знали, что впере-

ди есть люди, они защищают нас. Теперь вместе с наступившей тишиной нас охватило тяжелое уныние.

— Нет, больше не выдержать,— сказал вдруг дядюшка Авет.— Подождем наших, и надо двигаться в путь. На Даво, как видно, надеяться нечего.

И вдруг послышались выстрелы так близко, словно стреляли у самого нашего дома. Мы все вскочили на ноги, и в эту минуту с мосинкой в руке к нам вбежал Умршат. Он кинулся прямо к постели Артика, взял его сонного на руки и обернулся к бабушке:

— Ну, матушка Нуно, пошли...

Мы ожидали этого, но все же так растерялись, что не знали, что делать.

— Горе моей беззащитной головушке, остались в руках басурманов! — запричитала Ерикназ.

Бабушка, едва опомнившись, стала бить себя по коленям:

— Дитятко мое, Агабек, где же он? Умршат джан, почему его нет?

— Ребята держат фронт, отстреливаются. Слышите? Не время плакать, турки идут! — строго сказал Умршат и погнал нас на улицу.

Тетушка Ашхен, схватив мосинку, побежала в ту сторону, где гремели выстрелы.

— Ашхен, вернись! — крикнул Умршат, но она не послушалась, побежала дальше.

...Уже светало, а в нашем глухом каменистом ущелье было еще темно, и мы шли на ощупь, держась друг за друга. Впереди шел Умршат с Артиком на руках. Иногда он останавливался, подгонял отстающих, подбадривал плачущих и снова, перескакивая через камни, бежал вперед, чтобы вести людей. Дядюшка Авет шел позади всех и все оглядывался назад. Маран часто останавливалась, боясь, как бы он не отстал от нас.

Мне всегда казалось, что от нашего дома до переправы рукой подать, но мы все шли и шли и никак не могли дойти до реки. Умршат, чтобы сократить путь, вел нас тропинками, на них было тесно от людей. А пальба то прекращалась, то усиливалась. Когда мы спустились к реке, пули уже свистели над нашими головами.

На переправе была всего одна лодка, ничего не оставалось, как ждать своей очереди. Некоторые смельчаки бросились в воду, решив перебраться на другую сторону вплавь. И тотчас же на нас градом посыпались пули. В это время, прыгая по камням, подбежали Сако и Гаре. С помощью Умршата они согнали всю скотину, и мы оказались за живой стеной. Пули ранили и даже убивали животных, но люди не обращали на это никакого внимания. Мы жались к бабушке, плакали. Мать с Артиком на коленях скорчилась за большим камнем, а дядя и тетушка Ашхен так и не появлялись.

— Пошла за Агабеком,— наверно, сейчас явятся оба,— сама себя подбадривая, говорила бабушка.

— А где она найдет Агабека?.. Не надо было пускать! — сердито сказал Умршат, но, кажется, пожалел о сказанном и стал кричать на других.

Ему удалось наконец найти для нас место в лодке, и он предложил дядюшке Авету садиться вместе со всей детворой. Но дядюшка Авет уперся на своем и не хотел тронуться с места.

— Пока Агабек не придет,— упрямо твердил он,— я не двинусь отсюда.

И тут я услышала, как Умршат шепнул ему на ухо:

— Агабек больше не придет... Все кончено...

Авет в ужасе вытаращил на него глаза и, заметив, что я рядом с ним, крепко обнял меня:

— Спокойно, Арцив джан, спокойно!

Вдали показались какие-то всадники.

— Турецкие конники,— сказал дядюшка Авет и, подняв свою мосинку, прицелился.

То же самое сделали Умршат и Сако. Они хотели уже стрелять, но я схватила дядюшку Авета за руку:

— Это Каро!..

Всадники помчались мимо нас прямо к воде. Бабушка тоже узнала белого коня Каро и обрадованно сказала:

— Каро джан, да буду я жертвой твоей души, детишки остались.

Каро, ни слова не говоря, спрыгнул с коня и подошел к матери. Вырвав из ее рук перепуганного Артика, он задыхаясь сказал:

— Садись скорее в седло!

— Нет, не хочу! — закричала мать.— Я останусь с нашими.

— Скорее! — торопил Каро.— Не беспокойся, ваших тоже переправлю.

— Иди, Сато джан, спасение ребенка в твоих руках,— стала уговаривать бабушка.— А нас Каро тоже не оставит.

— Иди,— приказал Умршат и помог матери взобраться на коня.— Оставишь невестку на том берегу,— обратился он к Каро, но тот промолчал.

— Алцик, Алцик...— запищал Артик на руках у Каро.

Каро пустил коня в воду, и тут только я с ужасом сообразила, что он увозит мать от меня. Я с воплем побежала за ним.

Какой-то другой всадник подхватил меня у самой воды и, посадив впереди себя, последовал за Каро. Наша Топлан, жалобно тявкая, тоже кинулась в воду, но, покружив вокруг нас, раздумала плыть дальше и вернулась на берег. А наша лошадь, наверно, очень устала, плыла медленно. Каро уже достиг противоположного берега — там в собравшейся толпе я увидела его высокую папаху и белый круп коня,— а мы не доплыли еще и до середины реки. Всадник кричал, хлестал плетью лошадь, но она, бедная, совсем выбилась из сил и, кажется, начинала тонуть.

Нас понесло течением, и скоро мы попали в водоворот. Берег то показывался, то исчезал, я крепко ухватилась за руку всадника и ждала, что вот сейчас мы пойдем ко дну.

— Плавать умеешь? — крикнул мне всадник.

Я умела плавать, но, не знаю почему, сказала «нет». То есть я могла плавать, когда река была спокойной и плавание было чем-то вроде игры, но сейчас на реке было полно народу, скота, и вряд ли я удержалась бы на воде среди всей этой сумятицы. Лошадь из последних сил била ногами. Вот она ткнулась копытами в берег и не смогла удержаться, качнулась.

— Держись за гриву! — крикнул всадник и с поводом в руке прыгнул к берегу.

Я крепко прижалась к гриве лошади и тут же почувствовала, что погружаюсь в воду. Но всадник успел выхватить меня из седла.

Вся мокрая, перепуганная, я вышла на берег... А Каро уже и след простыл.

— Каро! Эй, Каро! — раза два крикнул всадник и крепко выругался.

— Ищи теперь ветра в поле, Каро ускакал со своей возлюбленной,— как будто со злорадством сказал какой-то крестьянин, по-видимому из гошаванкцев, знавших хозяйского управляющего.

Уже светало. Я посмотрела на оставленный нами берег. Там было еще много людей. Дядюшка Авет и Умршат стояли рядом и как будто смотрели на нас. Больше никого из наших не было видно, и мне показалось, что я никогда не увижу своих родных, свои любимые места, родное село, которое уже обволакивалось дымом горящих домов.

Дым становился все гуще, и в нем мне слышался лай нашей Топлан. Может быть, и не было никакого лая, мне просто чудилось, но сердце у меня щемило от боли.

Всадник стоял рядом со мной и растерянно смотрел на удаляющийся от берега труп своей лошади. У него было совсем молодое лицо, а длинные усы обвисли, как птичьи крылышки, и от этого оно казалось грустным. Я смотрела на него и не могла припомнить, где я видела этого усатого парня. И вдруг в моей памяти всплыли избитый, окровавленный комиссар, хмбапет Костан и тот американец в коротких шароварах. «Вай, шаровары!» — засмеялась тогда Аник, а стоявший с нами безусый солдат тоже хотел засмеяться, но поднес палец к губам и сказал: «Молчите!» Это был он.

Я хотела убежать, но солдат провел пальцами по мокрым усам и взял меня за руку:

— Ну, нечего делать, пошли...

— Дядя, куда же мы пойдем? — взмолилась я.— А моя мать, а бабушка?

— Кем вам доводится Каро? — спросил солдат.

— Каро? Это хозяйский человек, ихний управитель,— сказала я, не находя другого ответа.

— Да это я знаю. А кем он приходится твоей матери?

— Моя мать не любит его... У нас зовут его... Лисой сухого ущелья...

Солдат грустно улыбнулся.

— А меня зовут Мушегом,— сказал он и потянул меня за руку.

— Дядя, а помнишь, как мы смеялись? — спросила я и напомнила об американце в коротких штанах.

Мушег не ответил и ускорил шаги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПО ДОРОГАМ СТРАНСТВИЙ

Беженцы идут непрерывным караваном, и нет ему ни конца ни края. Нагруженные арбы, навьюченные животные и еще больше людей, которые навьючили на себя все, что в силах тащить, и шагают неизвестно куда.

Дорога размокла от дождя, ноги вязнут в грязи. Утреннее солнце показалось на короткое время и скрылось за мутной пеленой облаков. Моросит мелкий осенний дождь, небо не проясняется.

Люди шагают медленно, с трудом передвигая отяжелевшие от грязи ноги. По обочинам дороги валяются брошенные домашние вещи — черные от копоти медные котелки, деревянные сундуки, рваные коврики, одеяла, подушки. Выбиваясь из сил, люди постепенно сбрасывают с плеч все, с чем уже не жалко было расстаться.

Мне кажется, что всех этих людей я знаю очень давно. Эти изможденные, хмурые лица, эти лохмотья и растоптанные, облепленные грязью трехи, эти согбенные от тяжести спины... Все так знакомо и понятно. Непонятно только это странное, не нарушаемое даже плачем детей, гнетущее молчание.

Словно весь мир, взвалив на плечи свой жалкий домашний скарб, заполнил дорогу и шагает, шагает, погруженный в свои безрадостные думы.

Почему-то в этом нескончаемом потоке людей я не встретила ни одного человека из нашего села. Неужели все остались на том берегу реки? Если это так, то сейчас турки их... Мне делается страшно от своих дум, и я начинаю всхлипывать.

— Что случилось? — спрашивает Мушег.

— Нога... ногу занозила,— говорю я и указываю на свои облепленные грязью трехи.

Мушег нагибается, смотрит на мою ногу и с недоумением говорит:

— Как это через треху попала заноза?..

Люди проходят мимо, усталые, безразличные ко всему. Мне хочется увидеть в их глазах что-нибудь знакомое, хоть искорку теплоты, но холодны отчужденные их взгляды. И у меня щемит сердце. Этот Мушег не будет же вести меня на край света. А если ему это надоест и он бросит меня на дороге, как другие бросают вещи?.. Что я буду делать? А может быть, бабушка и дядюшка Авет успели перейти реку и теперь разыскивают меня? Хорошо бы подождать,— может быть, они догнали бы нас. Но впереди моя мать. Не останется же она с Каро? Может быть, белый конь Каро устанет, может, и сдохнет, тогда они будут сидеть на краю дороги и ждать... Значит, надо идти вперед.

— Дядя Мушег, чей конь был лучше — Каро или твой?

Мушег, кажется, не слушает меня. Он выпускает мою руку, свертывает цигарку и закуривает. Сделав две затяжки, он задумчиво говорит:

— У Каро замечательный конь... На таком коне куда хочешь доедешь.

— А ежели сдохнет?

— Почему он должен сдохнуть? Нет, сильный конь. Он три дня и три ночи будет бежать — не сдохнет.

— А почему твоя лошадь сдохла?

— Пуля попала в нее. Я и не заметил,— Мушег вздохнул.

— Если бы она не сдохла, мы сейчас догнали бы Каро, да?

— Мы и так догоним его, не горюй. Не сегодня, так завтра, но обязательно догоним. Найдем твою маму, не бойся!

— А ты не бросишь меня на дороге?

— Ну, как же я брошу? Жаль ведь тебя. Нет, уж доведу до места...

— А куда ты должен меня довести?

— Вот дойдем до Еревана, там видно будет... Хочешь, отведу тебя в сиротский дом? — вдруг спрашивает меня Мушег.

Я с ужасом смотрю на него, вырываю руку и хочу убежать.

— Подожди! Чего испугалась?

— Какой еще сиротский дом? Я и так сирота... Все мы теперь сироты. Асмик и Аник вчера ночью стали сиротами, потому что дядю турки убили... Нет, я не пойду в сиротский дом.

— Ладно, если не хочешь, не пойдем. Не бойся, я не оставлю тебя. Пойдем куда-нибудь... куда глаза глядят.

Я молча смотрю на Мушега. Мне хочется сказать ему самое задушевное слово, но я не нахожу такого слова и, как дядюшка Авет, от досады кусаю губы.

— А меня зовут Арцвнак,— вдруг объявляю я, вспомнив, что и Мушег точно так же назвал мне свое имя.— Дядюшка Авет всегда звал меня — Арцив! Он тоже, как и ты, когда-то ездил на коне с саблей, пока ему на войне не оторвало ногу. А Каро и он не любил.

— Вот молодец! Сколько уже времени мы знакомы, а ты все

не говорила, как тебя звать. Я уж думал, что у тебя нет имени,— шутит Мушег.

— Если бы мы были сейчас дома, поели бы...— вдруг говорю я, чувствуя, что от голода у меня темнеет в глазах.

День подходит к концу. Кажется, мутное небо опускается все ниже и скоро окутает нас мокрыми облаками. Я крепко держусь за руку Мушега. Эта большая загрубелая рука такая теплая, родная, что я ничего не боюсь. Мне хочется съежиться под этой сильной рукой и спать. Спать хоть до конца света.

Глаза у меня открыты, но я вижу сон. Как будто мы снова переплываем реку. Какая-то тяжесть прилипла к ногам и тянет меня ко дну. Наверно, это лошадь Мушега, она тонет и меня тянет за собой. Я изо всех сил цепляюсь за что-то и вот уже поднимаюсь вверх. Руки сами собой охватывают шею Мушега, он взваливает меня на спину. Мне немножко стыдно, но у меня нет больше сил.

Просыпаюсь я от яркого света и с трудом открываю глаза. Передо мной горит огромный костер. От приятного запаха дзаваровой каши ноздри у меня расширяются. Не поднимаясь, я подползаю ближе к огню и вижу, что у костра сидит Мушег. Тут же сидят мужчина и женщина. Неподалеку под арбой спит ребенок. Два барашка, приткнувшись друг к другу мордашками, лежат подле него. Над огнем в медном котелке кипит каша из дзавара. Я съеживаюсь под боком Мушега. Сырой ночной холод пронизывает все тело. Я хочу снова заснуть, но ведь каша...

Мушег укрывает меня своей шинелью.

— Арцвник, не спи,— говорит он,— сейчас будем кашу есть.

— Не Арцвник, а Арцвнак,— спросонья поправляю я его.

— Ник или нак — одно и то же, все равно ты из породы крылатых,— смеется он.

— И дядюшка Авет был таким,— тихонько говорю я.

— Каким?

— Таким же шутником.

— Кто это такой? — спрашивает сидящий рядом с ним мужчина. Только теперь я вижу, что это старик. Мушег не знает, что ответить, и вопросительно смотрит на меня.

— Это брат моего дяди,— отвечаю я старику,— он остался там, за рекой... Бабушка тоже осталась там.

Старик бросает недоуменный взгляд на Мушега, а тот улыбается.

— Теперь дядя Мушег тоже мой дядя, как дядя Агабек. Его убили. Всех наших убили, остался у меня только дядя Мушег.— Я всхлипываю и прячу голову под шинель.

Мушег тихо гладит меня по голове.

— Разве Арцвник плачет?

— Опять Арцвник,— недовольно бормочу я.

— Твой новый дядя еще не научился выговаривать твое имя,— улыбаясь, говорит старик.— Доброе дело ты сделал, сынок,— обращается он к Мушегу.— Я сразу понял, что ребенок чужой...

Женщина снимает с огня котелок, накладывает полную чашку каши и ставит ее перед мужчинами.

— Не знаю, как и быть, отец Галуст, ложек нет,— смущенно говорит она.

Мушег вытаскивает деревянную ложку из-за голенища сапога и протягивает старику.

— Ей отдай,— кивает на меня отец Галуст,— мы как-нибудь обойдемся.

Мне хочется сейчас же наброситься на кашу, но как это можно — есть до мужчин! Бабушка учила, что мужчина — главный в доме и сначала он должен поесть...

— Кушай, бала джан, кушай,— говорит отец Галуст,— это уж дедовский обычай: слово — старшему, еду и воду — младшему.

— Дядя Мушег, можно мне есть?

— Ну конечно. Каша для того и варилась, чтобы ее есть,— отвечает мне Мушег и, вынув из кармана нож, начинает из щепочек выстругивать маленькие лопатки.

— Недаром говорят: с солдатом не пропадешь. Гляди-ка, сразу сообразил,— словно сам с собой разговаривает отец Галуст.— Ну, надо и то сказать, теперешний солдат только в таких делах и сноровист...

Мушег грустно улыбается. Огонь костра освещает его задумчивое лицо. Светло-каштановые волосы выбились из-под папахи, рассыпались по высокому лбу.

— Ты не обижайся, Мушег джан, но я прямо скажу: плохо воевали вы с турками,— продолжает старик.— Если бы стояли как подобает мужчине, не обрушилось бы на наши головы это горе. Ну, чем виновата эта девочка, а видишь, сделали ее сиротой беспризорной. Куда нам теперь деваться? Русские ушли от нас, позади — турок, впереди Грузия отрезала путь. Я всегда говорил и сейчас скажу: не надо было нам отрываться от русских. Если теперь русские не вытащат из грязи нашу арбу, все мы погибнем. Будем гореть, вот как этот костер, и в конце концов превратимся в прах. Англы или американцы, франки или германы — ничего хорошего от них ждать не приходится. У них один расчет: ссорить малые народы друг с другом и под шумок рвать себе свою собачью долю... Нет, если бы наши правители не были такими безмозглыми, они держались бы за силу русской нации. Русские царя сбросили, установили в своей стране другие порядки, и мы должны были идти с ними, а не гнаться за какой-то «независимкой», чтобы под конец оказаться в пасти турецкого волка.

— Правильно рассуждаешь, отец,— соглашается Мушег.

— А конец какой нам будет, сынок? Неужели так и исчезнем с лица земли? За какие грехи нас постигла такая беда?

— Не пропадем, отец, русские вернутся к нам. А то, что ты говоришь: мол, плохо воевали, потому что плохие солдаты,— это не так. Не такая война нам нужна. Ты про Ленина слышал?

— Нет, не слышал. Что за человек?

— Я слышала. Комиссар говорил: «Да здравствует Ленин!»— вмешиваюсь я в их разговор.

— Какой такой комиссар? — с удивлением смотрят они на меня.

— Его хмбапет Костан застрелил из пистолета. Он был главный у большевиков, он говорил, что Ленин придет к нам и что у нас будет много школ. Разве ты об этом не помнишь, дядя Мушег?

Мушег, смущенный моими словами, кладет руку мне на плечо:

— Ложись-ка спать, это дело не твоего ума...

Голоса постепенно смолкают. Костер больше не трещит, не пылает огнем. Я закрываю голову шинелью и молчу. Мушег осторожно приподнимает край шинели и ложится со мной. Я слушаю его спокойное дыхание, и мне кажется, что я снова в нашем селе: сплю на крыше рядом с дядей, а вдали на высокой скале стоят дядюшка Авет и бабушка, они машут мне рукой, что-то кричат. И я им кричу:

— Бабушка, я иду!

— Спи, спи,— слышу я спокойный голос Мушега; он заботливо укрывает мои плечи шинелью.

ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ

Как только стало светать, я проснулась. Мушег был уже на ногах. С ружьем за плечами он нагнулся над костром и грел руки. Отец Галуст уже запряг арбу, в ней я увидела головку маленького мальчика.

— Ты тоже сядешь в арбу? — сердито спросил меня мальчуган; он был до самого подбородка завернут в одеяло и, как птенчик высунув клюв из гнездышка, смотрел на меня.

— Да. А что, Ашот джан? Подвинься, дай место этой птичке, пусть сядет рядом с тобой,— сказал отец Галуст и наклонился ко мне, чтобы поднять меня на арбу.

Но я обхватила руками сапоги Мушега.

— Нет, не хочу!

— Почему не хочешь? — удивился Мушег.— В арбе хорошо тебе будет, не устанешь, иди-ка садись.

— А ты уйдешь!

— Не уйду, не бойся,— улыбнулся Мушег.

— О господи,— вздохнул отец Галуст,— душа надорвалась у ребенка.

...Арба движется очень медленно, а у меня сердце горит от нетерпения. Я все еще надеюсь догнать мать. Но колеса вязнут в грязи, и большие, выхоженные волы недовольно фыркают и едва тянут арбу. Иногда Мушег толкает арбу сильным плечом и покрикивает на волов.

— Твой отец пехлеван,— говорит Ашот и с восторгом смотрит на Мушега.— А ты почему птица?

— Я не птица,— сердито отвечаю я ему.

— Дедушка сказал, что ты птица.

Мать Ашота улыбается. Она вынимает из хурджина хлеб, делит его на куски и как-то смущенно смотрит на Мушега.

— Мам, птичке тоже дай,— требует Ашот.

— Говорю тебе, я не птица,— опять сержусь я.

— Э, детка,— вздыхает женщина,— все мы теперь птицы бесприютные, выброшенные из родного гнезда.

— Я не птица,— на этот раз недовольно говорит Ашот.

— Твоя мать сказала. Как же не птица? — говорю я, чтобы позлить его.

— А у тебя нет матери,— злорадствует он.

— А вот и не знаешь. Есть, да еще какая красивая! У меня только отца нет, я сирота...

— Удивила! Я тоже сирота! — горячился Ашот.— На нашей земле полно сирот. Они маленькие, как воробушки, и все трещат, трещат.

— А ничего ты не понимаешь, мал еще!

— А где твоя мать? — спрашивает мать Ашота.

— Каро увез. Дядя Мушег поймает его и вырвет мать из его рук.

— Бедный ребенок! — качает головой мать Ашота.

...Караван беженцев все растет.

Во всех селах, которые встречаются на нашем пути, суматоха, сборы. Люди, нагрузив арбы или навьючив на себя разный домашний скарб, присоединяются к нашему каравану. Все с ужасом говорят о том, что ночью турецкая конница обошла нас и где-то впереди отрезала путь. Никто не знает, какой дорогой надо идти, чтобы не попасть в руки турок. Некоторые, успокаивая себя и других, говорят, что турки не трогают беженцев, а хотят только выловить разбежавшихся солдат нашего войска. Турецкий паша, говорят они, отдал приказ пропускать беженцев, только они должны выдать ему идущих с ними солдат.

А где наши солдаты? Два дня мы бежим — и никакого войска не видели. Единственный солдат в нашем караване — это Мушег, но он уже стал беженцем. И когда я думаю, что Мушега могут поймать и отдать турецкому паше, меня охватывает ужас от одной этой мысли. На всем свете остался только один родной мне человек — это Мушег.

Он шагает то за арбой, то рядом, иногда проходит вперед и

тянет за веревки волов. И в какую бы сторону он ни пошел, я с него не спускаю глаз.

— Дядя Мушег, я хочу с тобой!

— Ты и так со мной,— говорит он,— сестричкой мне стала, и теперь у нас с тобой одна дорога.

— Значит, нас вместе поведут?

— Куда?

— В турецкий плен?

— Турки не возьмут меня в плен. Да и зачем я им? Я больше не солдат.

— Как это не солдат? Солдат! — настаиваю я, потому что для меня дядя Мушег не может быть никем другим.

Я горжусь тем, что он солдат, и уже успела все уши прожужжать маленькому Ашоту, что Мушег снес голову тысяче басурманов и, если бы не убили его коня, отогнал бы турок. Я так верю своей выдумке, что спрашиваю Мушега:

— Если бы наш конь не утонул, ты прогнал бы турок, да, дядя Мушег?

— Нет,— рассеянно отвечает он.

— Почему?.. Будь у нас конь, мы и Каро догнали бы.

— Ничего, и так догоним. Пока конь сделает своими четырьмя ногами раз-два-три-четыре, мы своими — раз-два, раз-два — и догоним.

— Дядя Мушег,— спрашивает Ашот,— ты посадил бы меня на своего коня?

— Ну конечно! Ты-то уж обязательно ехал бы на коне.

— А ты?

— А я бы держался за хвост.

— Э, смеешься,— обиженно хмурит брови Ашот.

Из домика, мимо которого мы проезжаем, выходит старая женщина и машет рукой Мушегу:

— Иди-ка сюда, солдат!

Мушег подходит к ней. Отец Галуст останавливает волов.

— Придется, видно, посадить старуху в арбу,— решает он.

Но старуха исчезает за дверью и через минуту выносит Мушегу большой горшок масла.

— Возьми, сынок,— говорит она,— не оставлять же добро собакам. Я вижу, ты семейный, пусть детишки поедят маслица.

— А что же, возьмем. Или мы съедим масло, или масло нас,— решает отец Галуст и кладет горшок в арбу.— Гора с горой не сходится, а человек... Останемся живы-здоровы, сестра, не забудем свой долг.

— Бери, бери, братец, кушайте на здоровье,— кланяется старуха. Потом она закрывает дверь, взваливает на себя хурджин и, перекрестившись, пускается в путь.

— Куда же ты, иди садись в арбу,— зовет ее отец Галуст.

— Нет, братец, пешком побегу. Детишек с невестками я раньше проводила, а сама осталась. Вернутся, думала, так пусть не

остынет очаг. Да нет, надо и самой уходить. Пойду, может быть, догоню своих,— говорит она и смешивается с толпой.

— Ну, разве может погибнуть такой народ? — вздыхает отец Галуст.

Вдруг вдали показывается всадник на белом коне.

— Дядя Мушег, это Каро! — кричу я и, выскочив из арбы, бегу вперед.

Мушег догоняет меня. Пробившись сквозь толпу, мы спешим к всаднику, но тот, что-то крикнув, взмахивает плетью и исчезает из наших глаз.

— Опять убежал! — Я сажусь на дороге и плачу.

— Эй, чья это девочка? — говорит один из проходящих мимо беженцев.— Бессовестное дело, ребенка бросили.

— Отец с нею, не видишь? — отвечает ему другой.

— Плохи наши дела, если солдаты бегут вместе с нами,— недовольно ворчит первый беженец.

— Не пори ерунду! — сердито обрывает его Мушег.— Мы ищем мать этой девочки, она была с тем всадником.

— С тем всадником? — удивляется беженец.— Тот всадник — хмбапет Сого, с ним не было никакой женщины.

— Чтоб провалился сквозь землю этот проклятущий Сого! — громко говорю я.— Моя бабушка называла его усатой собакой.

— И я скажу: пусть провалится! — смеется беженец.— Видишь, раньше всех сматывается, проклятый.

— А что он делал здесь? — спрашивает Мушег.

— Кто? Сого? А видишь, довоевался, привел народ на край гибели. У хмбапета теперь одна забота — шкуру свою спасать, чтоб его честь съела собака...

Беженец продолжает изливать свои жалобы, но у нас нет времени слушать его — арба прошла вперед, и Мушег торопится догнать ее. А я все надеюсь нагнать свою мать и прошу его идти дальше.

— Ну ладно, пойдем,— неохотно соглашается он,— только не спускай глаз с арбы, а то потеряем отца Галуста.

— Птица, найдешь свою мать, возвращайся к нам! — кричит мне вслед Ашот.

Я хочу ответить ему, но вдали снова показывается всадник на белом коне, и я, отпустив руку Мушега, бросаюсь вперед.

— Дайте дорогу, дайте дорогу! — кричу я, расталкивая людей.

Мне кажется, что я слышу голос матери, она зовет меня... И вдруг всадник опять исчезает.

Больше никто не обращает внимания на мои вопли, никто не удивляется, что я потеряла мать,— таких, как я, много. Куда ни повернешься, всюду раздается плач детишек, которые истошными голосами зовут своих матерей.

Мушег, как видно, уже потерял надежду разыскать мою мать и, только чтобы успокоить меня, идет вперед, держа меня за руку.

И снова меня пугает мысль, что все это надоест ему и он уйдет, бросив меня на дороге. Теперь я согласна пойти даже в сиротский дом, лишь бы Мушег не бросал меня в этом ужасном караване беженцев.

— Дядя Мушег, я пойду в сиротский дом.

Он не отвечает. Я замечаю, что он такой же задумчивый, как и мой дядя, все время о чем-то думает.

— Дядя Мушег...

— Да, слышу. Ты хочешь в сиротский дом.

— А что? Ты отведешь меня туда, а сам пойдешь по своим делам. Я подожду там бабушку. Потом, может быть, и мама придет.

— А какая у тебя фамилия? — задумчиво спрашивает Мушег.— Как зовут твоего дедушку?

— Одного моего дедушку зовут — большой дедушка Алек, а другого, который умер, звали Мацо.

— Но который из них твой настоящий дедушка?

— Ни который не настоящий. Большой дедушка Алек очень богатый, у него огромная бородища, но он сущая никчемность, как говорит моя бабушка. А дедушка Мацо умер,— значит, он больше не дедушка.

— Трудное дело,— смеется Мушег.— А как зовут твоего отца?

— Арам.

— Вот и хорошо. Когда придем в сиротский дом и там спросят твое имя и фамилию, ты скажешь: Арцвник Арамян. Ладно?

— Ладно, только не Арцвник, а Арцвнак. А то если дядюшка Авет узнает, что я переменила имя, он очень обидится.

ЧАБАН-КЕБАБ

И снова сумерки застают нас в дороге. Караван располагается на ночлег.

Снова трещат костры, капризно пищат детишки. Люди, изнемогающие от усталости, отчаявшиеся, тяжело валятся на землю, и кажется, уж никакая сила не поднимет их.

Мы потеряли арбу отца Галуста и переходим от костра к костру, разыскивая его. В сгущающейся темноте все труднее различать лица людей, и Мушег то и дело кричит:

— Отец Галуст! Эй, где ты, отец Галуст?

Я слышу какие-то знакомые голоса и оборачиваюсь. Красное пламя костра освещает лица сидящих вокруг него людей. Я напряженно всматриваюсь и не верю своим глазам: неужели они? В это время мужчина поднимается и идет в нашу сторону. Я бросаюсь к нему:

— Мастер Давид... Дядя, иди, нашла!

— Кого нашла? — спрашивает Мушег.

— Наших! Мастера Давида.

А мастер Давид обнимает меня и взволнованно бормочет:

— Арцвнак, ой, храбрая Арцвнак!..

— Вай, это же наш ребенок! — вдруг узнает меня Шушан.— Дочка, а где остальные?

— Остались на том берегу реки. А маму и Артика увез Каро, обманул и увез... Мы долго ждали мастера Давида...

Мастеру становится неловко от моих слов, и он, чтобы скрыть смущение, снова обнимает меня.

— А куда делся Агабек? — спрашивает он.— Ведь он был с вами, не правда ли?

— Дяди Агабека нет в живых, он убит. А это другой мой дядя, его зовут Мушег,— объясняю я и тащу за руку Мушега к костру.

— Вай, чтоб глаза мои помутились! — всплескивает руками Шушан и бьет себя по коленям.— Вай, матушка Нуно, вай, Агабек джан... А с кем же ты сейчас, куда идешь? — спрашивает она, отирая слезы.— Как это ты разыскала нас, бедная сиротинушка?..

— Ну, хватит тебе,— хмурится мастер Давид.— Не видишь, беспризорным остался ребенок, надо утешить, позаботиться...

Внезапно у меня горем переполняется сердце, я прижимаюсь к Шушан и плачу навзрыд.

— Ничего, дочка, ничего,— успокаивает она меня.— Возьмем тебя с собой, куда ни пойдем, ты будешь с нами.

— Пусть и дядя Мушег идет с нами, он ведь тоже беспризорный,— плача, прошу я.

— Ай, братец, ребенком занялись, о тебе забыли,— спохватывается мастер Давид.— Садись, Мушег джан, садись. Крова у нас нет, над нами — небо, под нами — земля... Садись, подумаем, что нам делать.

— Да стоит ли садиться?..— неопределенно говорит Мушег и обращается ко мне: — Ну, Арцвник, что будем делать?

Я вскакиваю на ноги, прижимаюсь к его плечу. Для меня большое счастье остаться в семье мастера Давида, но, как бы там ни было, я не расстанусь с дядей Мушегом, я очень привыкла к нему.

— Что делать? — отвечает Мушегу мастер Давид.— Девочка осталась одна. А мы с ее семьей, как говорится, тысячелетние соседи. Не бросим же мы ее. Есть у нас одна дочь, пусть будет две. А ты о себе сам решай: хочешь — оставайся с нами, не хочешь — спасибо и на том, что не бросил ребенка.

Мушег кладет ружье и присаживается к костру. Я устраиваюсь между ним и мастером Давидом, забывая все невзгоды этих трех дней. Сердце у меня так и колотится в груди, я готова, как раньше, прыгать от радости. Ведь это не шутка: и мастера Давида нашла, и Мушег остается со мной. Кажется, ничего больше и желать нельзя.

— Большая стала у нас семья,— удовлетворенно говорит ма-

стер Давид.— Эй, жена, надо кормить семью, давай, что там есть у тебя.

— Да надо бы подождать Манушак, я за водой послала ее,— отвечает ему Шушан.

— Ой, женщина, с ума ты сошла,— беспокоится мастер.— Как это можно посылать девушку ночью, да еще в такое время...

Он встает и хочет куда-то идти, но Мушег останавливает его.

— Погоди, мастер, лучше я схожу,— говорит он и, поднимая свое ружье, кивает мне головой: — Пойдем, Арцвник.

Я вскакиваю с места, и мы пробираемся среди костров к источнику.

— Манушак, Манушак! — громко зову я ее.

Вдруг впереди раздается визг, и несколько женщин и девушек, как вспуганные козы, бегут мимо нас в разные стороны.

— Что там такое? Что случилось? — спрашивает Мушег то одну, то другую из пробегающих женщин, но те от страха не могут и слова сказать.

— Турки...— задыхаясь, говорит одна девушка и бросается к нам.

— Манушак джан!

Я кидаюсь ей навстречу, но она подбегает к Мушегу, припадает к его плечу, вся дрожит.

— Братец, спаси... турки там... у воды...

— Арцвник, идите к вашим, я скоро вернусь,— говорит Мушег и, срывая с плеча ружье, бежит вперед.

Мы возвращаемся к нашему костру. Весь караван уже на ногах, всюду у костров мечутся люди.

— Эй, у кого есть оружие, выходи! — раздается неподалеку чей-то громкий голос, и все, у кого есть ружья, хватают их и бегут в ту сторону, куда ушел Мушег.

Караван двинулся. Однако не прошли мы и двух десятков шагов, как впереди раздались выстрелы. Все остановились, замерли на месте. Но это длилось одну минуту. Стрельба усилилась, и народ бросился бежать по дороге.

Дорога неровная, каменистая. По такой дороге в ночной непроглядной тьме далеко не уедешь. Мастер Давид отпрягает волов, и мы, бросив арбу, задыхаясь, бежим вперед. Я цепляюсь за подол Манушак, та держится за руку матери. Люди сбрасывают с себя все, что мешает бежать,— вещи, разный домашний скарб, даже одежду.

— Даво... где ты? — поминутно зовет Шушан.

— Не бойтесь, я здесь,— то с одной, то с другой стороны отзывается мастер Давид. Он торопит и подбадривает бегущих.

Удастся ли нашим защитникам отбить турок? Вернется ли к нам Мушег или и он, как дядя... С этими мучительными думами я бегу куда-то в темноту, прыгаю через камни, а вдали непрерывно грохочет пальба. Сколько времени мы бежим — не знаю, куда прибежали — никто не может сказать.

Вдали медленно рассеивается мрак, скоро станет совсем светло, но у нас нет уже сил бежать. Я оглядываюсь вокруг себя и ничего не понимаю. Что это? Наш огромный караван словно растаял, словно его поглотила ночная тьма, и сейчас, в предрассветном сумраке, видны только одиночные тени.

Волы мастера Давида взмокли от пота, животы у них запали, дышат они тяжело. Мы не в лучшем виде. Войдя в ущелье, все мы валимся на землю. Волы жадно облизывают влажные камни, а люди припадают раскрасневшимися лицами к росистому пырею. Над вершинами незнакомых гор медленно поднимается солнце осени — яркое, но негреющее.

Со всех сторон подходят люди, наш караван постепенно увеличивается. Плохо то, что никто не знает, куда мы пришли и куда должны идти дальше. Из мужчин, которые ночью пошли защищать нас от турок, никого еще нет. Некоторые говорят, что все они погибли в бою, но мастер Давид в это не верит. Он говорит, что они, должно быть, пошли другой дорогой и к вечеру, наверно, появятся.

Теперь все обращаются к нему за советом, потому что среди нас, кроме двух дряхлых стариков, не осталось других мужчин, одни женщины и дети. И мастер Давид решает, что нам надо сидеть в этом незнакомом ущелье до вечера.

Но люди голодны. Ночью они побросали все, а поблизости, как видно, нет ни одного села, и негде раздобыть пищу.

Мастер Давид, обхватив голову руками, сидит на камне и думает. Мне кажется, он нарочно зажимает уши, чтобы не слышать воплей женщин и плача детей, которых никак нельзя успокоить,— они просят есть. Может быть, и я заплакала бы — от голода у меня втянуло живот,— но мне жаль мастера. Он задумчиво смотрит на своих волов, которые жадно поедают пырей, и, наконец на что-то решившись, поднимается с места.

— Шушан, эй, Шушан! — зовет он жену, а когда та подходит к нему, он молчит.

— Что ты, Даво?

— Говорю, давай зарежем Коло... народ умирает с голоду.

Шушан опешила. Некоторое время она растерянно смотрит на мужа и всплескивает руками:

— Эй, человек, не спятил ли ты с ума? Вол — как гора. И ты хочешь резать его, чтобы кормить чужих людей?

— Что же делать, ведь нет другого выхода, Шушан джан...

Неизвестно откуда появляется вдруг отец Галуст. Он подходит к мастеру Давиду и кладет руку ему на плечо:

— Нет, брат, правильно говорит твоя жена. Вол — кормилец семьи, без него не проживешь.

— Вай, отец Галуст! — радуюсь я.— А где ваша арба, где Ашот? Мы долго искали вас...

— И ты тут, птичка? Вот и хорошо. Да, так я вот что хотел сказать,— снова обращается он к мастеру Давиду,— у нас есть

два барашка, давай сперва зарежем эту мелкокопытную тварь, а там видно будет. Вола жаль губить. Брюху что? Оно от своего не откажется, требует пищи.

Не дожидаясь ответа Давида, он оборачивается назад и говорит:

— Ребята, ведите сюда барашков.

Ашот, держа барашков за рожки, тащит их к деду. Я подбегаю к нему, хочу помочь, но он словно не узнает меня.

— Ашот, это я, птица.

— Ну и что? — сердито отвечает мне мальчуган.— Я потерял мою мать... наша арба осталась на дороге. Мы с дедушкой убежали, а остальные потерялись.— Голос у Ашота дрожит; отвернувшись от меня, он всхлипывает.

— Ничего, Ашот джан, теперь мы все сироты,— утешаю я его.— Дядя Мушег и твою мать разыщет.

— Столько людей пропало... Где он ее разыщет?..

Отец Галуст вынимает из-за пояса нож с широким клинком, крестится, но, раздумав, передает его мастеру Давиду.

— Нет, брат Давид, грешно в моем возрасте резать этих малюток, одной ногой я уж стою в могиле.

Давид берет нож и режет сначала одного барашка, потом другого.

А отец Галуст, потягивая из чубука, грустно смотрит на забрызганный кровью зеленый пырей и, вздохнув, отходит в сторону.

— Недаром сказано: «Доброе дело, сделанное с чистой душой, не пропадет»,— рассуждает он сам с собой. Потом зовет к себе детвору и велит собирать сухие сучья.

Вместе с мастером Давидом он выкапывает две ямы, разрезает барашков на небольшие куски и наполняет этим мясом их шкуры. Затем он укладывает оба бурдюка в ямы, насыпает на них тонкий слой земли и над каждой ямой зажигает костер.

— Такой будет чабан-кебаб,— говорит он,— от одного запаха будете сыты. Жаль, нет сейчас радости в наших сердцах, а то это божественная еда. В молодости, когда я был чабаном и пас овец, старые чабаны научили меня готовить такой кебаб...

Старик рассказывает, как они готовили когда-то чабан-кебаб, а люди, слушая его, глотают слюнки и горящими от голода глазами нетерпеливо посматривают на пылающие костры.

Наконец огонь спадает, прогорают все угольки. Отец Галуст ждет еще некоторое время, затем раздвигает своей дубинкой искрящуюся золу, осторожно вскрывает яму и достает зажарившееся в собственном жиру, зарумянившееся мясо барашка.

Держа за руки детишек, к нему робко, стеснительно приближаются женщины, принимают от него по нескольку кусков мяса и отходят, благословляя старика.

Вот уже весь кебаб роздан, на траве остается два-три куска.

— Кто еще не получал, подходите,— зовет отец Галуст, но, как видно, все получили свою долю.— Ну, коли так, и мы поедим. Ашот джан, бери-ка вот этот жирный кусочек.

— Деда, это мягкое, это тебе,— говорит Ашот, подвигая дедушке мягкий кусок.

— Ничего, сынок,— чавкая беззубым ртом, отвечает ему старик,— ежели помягче камня, съедим.

ОТВАЖНЫЙ МУШЕГ

Под вечер, когда начали сгущаться тени, отец Галуст и мастер Давид, посоветовавшись между собой, решают, что надо двинуться в путь.

Но женщины не хотят уходить из ущелья. Они плачут, просят подождать еще немного: дескать, может быть, вернутся мужчины, которые ночью ушли отбивать турок.

— Нельзя нам здесь оставаться,— говорит им отец Галуст.— Если ночью опять нападут на нас, кто встанет на нашу защиту, когда нас тут всего два с половиной мужчины? Налетят, изрубят, не успеешь и глазом моргнуть...

— Пусть рубят, пусть убивают,— упорствует одна старуха,— но пока не вернется мой сын, я никуда не уйду.

— Да послушай, не обо мне и не о тебе надо думать,— сердится отец Галуст.— Наша жизнь прошла. А с какой совестью мы будем вот этих детишек подставлять под меч? Меня с тобой не будет — ничего на земле не убудет, а детишек мы должны сохранить, чтобы жил наш народ...

Они продолжают спорить, а в это время на краю ущелья показываются какие-то тени, и все в ужасе прячутся за камни.

— Ну вот, говорил я вам... суббота раньше пятницы не приходит,— вздыхает отец Галуст и опускается на камень.— Ашот, спрячься и ты, сынок.

Но Ашот садится на камень рядом с ним.

— Мануша-ак! — доносится издали сильный голос.

«Аа-а-а!» — разносится эхо по скалам, и я мигом вскакиваю на ноги.

— Мастер Давид, это Мушег!

— Вернулись, вернулись! — радостно кричат женщины и бегут навстречу спускающимся в ущелье мужчинам.

Не знаю, сколько человек ушло, но вернулось к нам восемь. Трое из них, забыв обо всем на свете, обнимают родных.

Мы окружаем Мушега. Мастерова жена Шушан обнимает его, как самого дорогого человека, целует и без конца повторяет одно и то же:

— Сынок мой дорогой, сыночек...

— Это твой сын? — спрашивает одна из женщин. У нее нет никого среди вернувшихся, но она радуется вместе со всеми.

— Конечно, мой сын. Хороший сын,— отвечает Шушан.

Я от радости прыгаю, как теленок. А Манушак почему-то смущена, стоит, смотрит на Мушега и стыдливо улыбается. Спокойным остается только мастер Давид. Он молча курит и ждет, когда кончится весь этот переполох.

Наша радость так велика, что мы не сразу замечаем, что рука у Мушега обмотана тряпками.

— Вай, чтоб я ослепла, ведь ранен парень! — первая спохватывается Шушан.— Манушак, Арцвик,— зовет она,— найдите скорее подорожник, положим на рану.

Манушак бросается искать подорожник среди камней, а я, держась за рукав Мушега, не хочу отходить от него. У Мушега усталый вид, он бледен. Бывшие с ним мужчины рассказывают, что он был ранен в самом начале боя и, несмотря на то что потерял много крови, бился до конца и сумел отогнать турок.

— Не будь с нами Мушега, плохо бы нам пришлось,— говорит один юноша; в одной руке он держит ружье, другой обнимает за плечи старуху, спорившую с отцом Галустом.— Военный он человек и сразу понял, откуда и как бить по туркам. И храбрый к тому же, парень-лев! — восторженно добавляет он.

— Дай боже здоровья ему и долгой жизни,— благодарно и набожно произносит старуха.

— А ты, парень, хорошо сделал, что пошел с нашей группой,— улыбается Мушег.— Сердце, что ли, подсказало тебе, что надо искать мать в этом ущелье?

— Это маме сердце подсказало, что надо бежать сюда,— смеется юноша.— Знал бы ты, какая у меня мать! — говорит он, прижимая старуху к своей груди.

— Дядя Мушег, и отец Галуст здесь, и Ашот, а их арба да еще мать Ашота пропали,— объявляю я.

Отец Галуст медленно подходит к Мушегу и говорит:

— Да, вот какая беда, Мушег джан,— невестку потеряли в этой суматохе и не знаем теперь, в какой стороне ее искать.

— Не горюй, отец,— утешает его Мушег,— много людей разбежалось в разные стороны, ребята пошли разыскивать их. Не расстраивайся, всех найдем.

— Найдем, конечно найдем! — уверенно говорит сын старухи.— Раз Мушег с нами, иголки не пропадет.

— Я не о себе беспокоюсь, ребенка жаль,— отец Галуст указывает на Ашота.— Ребенка без матери посади хоть в золотую клетку, этим его не успокоишь. Для него брань матери слаще всех ласковых слов, которые говорят ему другие.

Ашот таращит глаза на Мушега, ловит каждое его движение, каждое слово. Он явно завидует тому, что я могу свободно и смело разговаривать с Мушегом, трогать его ружье, висящую на боку саблю.

— Ну, время позднее, пора и в путь,— говорит мастер Давид.

Наш небольшой караван трогается. Дорога все та же, каменистая, ухабистая, но шагать стало легче.

Мастер Давид и отец Галуст идут впереди, несколько вооруженных мужчин сопровождают караван, передвигаясь по обеим его сторонам, а Мушег и сын старухи шагают сзади. Отец Галуст жалуется, что глаза его плохо видят, и все время зовет к себе внука. Но Ашот не отходит от нас, он словно прилип к Мушегу и все смотрит на него с разинутым ртом. Иногда Мушег кладет руку ему на плечо. Ночь лунная, и мне хорошо видно, как радостно поблескивают глаза мальчугана; он так смешно вышагивает рядом с Мушегом, стараясь делать большие шаги, часто спотыкается о камни и падает.

— Дядя Мушег,— просит он,— дай я понесу твое ружье, ты раненый.

— Нет, нельзя,— говорит Мушег.— Солдат не имеет права передавать оружие другим. Даже смертельно раненный, он не должен выпускать из рук своего оружия. Это закон, ты хорошо запомни его. Если ты храбр, вырви оружие у врага, а свое передавать другим не годится мужчине. Понял?

— Понял,— еще больше оживляется Ашот.— А мы, дядя Мушег, съели своих барашков.

— Вот это хорошо сделали, это мужское дело. Раз все мы в пути, значит, в трудную минуту должны помогать друг другу.

— А когда мы найдем мою мать? Дядя Мушег, найди мою маму! — всхлипывая, просит Ашот.

— Только один день прошел, и ты уже хнычешь,— говорю я.— А что я должна делать?

Ашот сердито смотрит на меня:

— Я люблю мою маму!

Хоть я и злю его, но мне очень хочется, чтобы нашлась его мать и чтобы нашел ее непременно Мушег, потому что в моих глазах он самый отважный мужчина. И я подбадриваю Ашота:

— С дядей Мушегом мы всех матерей разыщем.

Наверно, уже за полночь. Мы подходим к какому-то селению. Оно, как видно, тоже оставлено жителями, даже собаки не лают. Караван останавливается возле гумен. Мушег и сын старухи идут вперед. В свете луны мы видим, как они, пригибаясь, осторожно входят в село и исчезают в тени домов. Мы ждем затаив дыхание. И вдруг до нас доносится плач ребенка, потом скрип дверей, людские голоса. К нам подбегает запыхавшийся от бега сын старухи.

— Идемте,— машет он рукой,— наши здесь!

Необычайное волнение охватывает людей, все шумно устремляются вперед, кто смеется, кто плачет. Сын старухи ведет нас в село, приводит в церковный двор. Там огромная толпа народа, в середине двора пылает костер. Вооруженные люди охраняют отдыхающий караван.

— Ну, отец Галуст, устраивайте людей,— говорит Мушег.

— Отец Галуст! — вдруг радостно вскрикивает одна из женщин и, вскочив на ноги, бежит к нам.

— Это я, дочка, я,— с волнением говорит старик и идет навстречу невестке.

— Мама, мамочка! — рыдает Ашот.

Мне что-то сдавливает горло, я жмусь к мастеровой жене.

— Не горюй, бала джан, и твою мать найдем,— утешает меня Шушан.

— Мушег, ваш народ голоден? — спрашивает один из мужчин другого каравана и говорит: — Здесь есть хлеб и масло, раздайте людям, пусть едят.

Мы устраиваемся у костра. Ашот садится на колени матери и крепко обнимает ее.

— Птица, иди сюда,— кричит он мне,— тебе тоже дам!

— Что дашь?

— Маму мою,— простосердечно обещает он.

Нам приносят большой горшок масла, грудами раскладывают лаваш.

— Ешьте,— говорит один из парней,— мало будет, еще принесем.

— Откуда у вас столько добра? — удивляется мастер Давид.

— А вон в том доме берем,— указывает парень на большой дом напротив церкви.— Там полно всего, а хозяева убежали, одна дряхлая старуха осталась. Мы говорим ей: «Пойдем с нами».— «Нет, говорит, никуда не пойду, вернутся наши, так чтобы дом был в порядке».

— Умная старуха, лучше умереть под родным кровом,— вздыхает отец Галуст.

Я вспоминаю мою бабушку, и на глаза у меня снова навертываются слезы.

— Манушак, где вы? — раздается голос Мушега.

Манушак смущенно смотрит на мать.

— Мы здесь, Мушег джан, иди поешь с нами,— отвечает Шушан.

Мушег подходит, присаживается на корточки и, взяв половину лаваша, подмигивает мне:

— Малость подкрепимся, да, Арцвник?

Но вблизи раздается ружейный выстрел, и он, бросая хлеб, хватается за ружье.

— Кто стрелял?

Вместо ответа гремят выстрелы, слышится топот ног, какие-то люди прыгают со стен во двор. Наши бегут, хватаются за ружья, женщины поднимают душераздирающий вой.

— Мы армяне! Армяне! — слышится в темноте чей-то незнакомый голос.

Большая группа вооруженных людей окружает наших, гонит к костру.

— Кто среди вас дезертиры, выходите! — приказывает один.— Ребята, обыскивайте...

— Какие там дезертиры? Кто вы? Что за люди? — шумят наши беженцы.

— Пусть солдаты выйдут добровольно, а нет — всех перебьем! — угрожает тот же голос.— Родину надо защищать, а они прячутся под бабьими юбками...

— Я солдат! — Мушег с ружьем наготове выходит вперед.— Возьми попробуй! — говорит он и взмахивает прикладом.

— Ребята, бей их! — кричит сын старухи.

Снова начинается пальба, но стреляют, как видно, в воздух. Женщины бегут в церковь, мы прячемся у стенок. Мастер Давид, выхватив дубинку из рук отца Галуста, тоже кидается в драку. Мужчины ругаются, кричат, и трудно понять, кто кого бьет.

Громче всех звучит голос Мушега. Ругаясь, он отдает команду. Нашим удается наконец выгнать со двора ловцов дезертиров, но не успевают люди прийти в себя, как кто-то кричит:

— Волов угнали!

Выяснилось, что в то время, когда шла драка, нападавшие успели угнать часть скота.

— Тьфу! — со злостью плюют мужчины.— Ну и люди!

— Повели волов спасать родину,— смеется сын старухи.

Мушег, придерживая раненую руку, подходит к нам. Он мрачен, сердито хмурит брови.

— Мастер, собирайтесь,— говорит он,— надо уходить...

И на рассвете наш караван снова тронулся в путь.

В УРУТЕ

Не знаю, почему это село назвали Урутом. Раз Урут, так кругом должно быть полно ивняка, а тут ивового прутика не увидишь, да и вообще ни одного деревца. Дома наполовину ушли в землю, узкие, кривые улочки, грязные дворишки — вот что такое это село Урут. И такой у него серый, невзрачный вид, словно полили его грязной водой, помоями. Здесь только один дом привлекает внимание своей куполообразной железной крышей и широкими окнами. В ряду других домов он выглядит, как новобрачная среди сморщенных неопрятных старух.

Говорили, что Урут — богатое село, что там у крестьян много земли и хлеб в изобилии, и, когда мы шли из села в село, все нам советовали идти на Урут. Турецкое войско уже заняло все села вокруг, и мы боялись передвигаться на глазах турок. Тогда мастер Давид и Мушег решили, что нам надо устраиваться в Уруте.

С волами и всем навьюченным на них нашим нищенским скарбом мы пошли прямо к дому с железной крышей, потому что, по словам мастера Давида, в таком доме мог жить только хозяин села и, значит, прежде всего к нему нужно обратиться за помощью.

У дверей дома стоял низенький человек с необыкновенно

большой головой. Увидев нас, он пошел навстречу, размахивая своей дубинкой, и не успел мастер Давид и рта раскрыть, как тот заорал:

— Куда? Куда вас несет, проклятых? Проваливайте отсюда, мой дом не для вас, оборвышей!

И давай колошматить дубинкой наших волов.

— Ладно, брат, ладно, твой дом пусть тебе и останется. А зачем же бить волов? — заговорил мастер Давид, стараясь защитить волов от ударов.

Тут и Мушег не выдержал.

— Ты знай меру, дурная башка! — крикнул он и схватился за саблю.— Я как хвачу, одним ударом кишки выпущу!

Большеголовый опешил, удивленно посмотрел на Мушега и уже по-другому, словно его подменили, сказал:

— Пойдемте, я вас устрою у одного хозяина, вам хорошо там будет.

Он привел нас к ветхому домику рядом со своим домом и, как хозяин, распорядился:

— Вот, дед Манук, привел к тебе беженцев, пусть у тебя поживут.

— Слушаю, Мукуч-ага,— сняв шапку, низко поклонился ему старик в лохмотьях.

...И вот мы живем в этом Уруте, у подножия Алагяза[1]. Говорю — живем, но какая это жизнь? Все селения вокруг забиты такими же беженцами, как и мы. Хлеба нет, жить нечем, люди мрут от голода и болезней. А этот Мукуч-ага, которого местные жители зовут Башкой Мукучем, очень злой человек, все время ворчит на нас, и мы побаиваемся его. Сельский староста умер, и сейчас Башка Мукуч заменяет его. Никто его не выбирал, он сам себя выбрал, как самый богатый хозяин.

В первый же день, как только мы устроились в доме деда Манука, я пристала к нему, как говорится, влезла в душу, и всетаки дозналась, почему Мукуча зовут Башкой.

Сначала дед Манук не хотел говорить, даже рассердился на меня, потом, смягчившись, сказал:

— Как же его еще звать? Не ослиным же копытом! Ведь башка у этого человека весит три пуда.

И правда, голова у этого Мукуча — как огромный горшок с ушками. А ноги у него короткие и кривые. Смешной вид у Башки Мукуча, но кто посмеет смеяться над ним? Дед Манук, наверное, лет на двадцать старше, а завидя Мукуча, снимает свою потрепанную шапчонку и низко кланяется, хотя тот вовсе и не замечает его.

В доме деда Манука только его младшая дочь Нушик совсем не боится Башки Мукуча. Говоря о нем, она не называет его по имени, а, натянув руками уши, надувается и расхаживает: мол,

[1] Алагяз — народное название горы Арагац.

сами понимаете, о ком идет речь. Дед Манук сердится на нее, кидает в нее что попадется под руку, а Нушик, громко выкрикивая: «Башка Мукуч! Башка Мукуч!», выбегает на улицу.

— А не боишься, если услышит? — спрашиваю я ее.

— Пусть услышит, я еще и не так отомщу ему! — отвечает Нушик.

Она не говорит, за кого она должна мстить, но я заразилась ее бесстрашием и иногда кричу то же самое, чтобы отомстить и за наших волов. Я ведь не забыла, как этот мерзкий Башка бил их своей дубинкой.

В первый день он избил наших волов, а потом стал кружить вокруг них.

— Приглядывается,— говорил дед Манук.— А если уж Башка облюбовал что-нибудь, горе владельцу.

Башка Мукуч и в самом деле неспроста заглядывался на наших волов. Он стал приставать к мастеру Давиду, уговаривать, чтобы тот продал их.

Мастер долго сопротивлялся, несмотря на то что кормить волов было нечем и они стояли голодные и все больше тощали.

Дед Манук оказался самым бедным из бедняков, у него не было никакой скотины, даже козы, и, значит, откуда у него могло быть сено? Выпрашивая то у одного, то у другого из соседей, он приносил иногда охапку сена или соломы. Но разве этим прокормишь волов? Мастер Давид несколько раз на дню заходил в хлев, тоскливо смотрел на пустые кормушки, а волы огромными от голода глазами смотрели на него, жалобно мычали, и он уходил от них еще более расстроенный.

— Жаль, пропадают такие волы. Я дело тебе говорю, хорошую цену дам,— как шмель жужжал ему в уши Башка Мукуч.

— Погоди малость, подумаем, может, выход какой найдем,— нерешительно говорил мастер Давид.

— Какой такой выход? Турки не думают уходить, завтра грянет зима, другие не знают, где голову свою приклонить. О чем ты думаешь? — приставал Мукуч.

— Как все, так и я,— отвечал мастер, чтобы отделаться от него, и опять шел к своим волам в хлев.

— Э, пустая ты голова,— говорил ему вслед Мукуч.— Я при своем хозяйстве, у меня кормов не на одну пару волов. А у тебя что есть? Ну, дело твое, не хочешь — мори своих волов; сдохнут — дохлятину собакам выбросишь.

Я заметила, что Башка Мукуч всегда заводит разговор с мастером о волах в то время, когда Мушега нет дома. С первого же дня он возненавидел Мушега, видеть его не мог.

— Этот солдат кто тебе будет? — однажды спросил он.

— Сын моей сестры,— ответил мастер.

— Если турки пронюхают, что тут у нас скрывается дезертир, конец нам всем.

— Он не дезертир, Мукуч-ага,— вмешался в разговор дед Манук,— парень в руку ранен,— значит, он воевал.

— Воевал!.. А против кого воевал? Против турок. Ежели они дознаются, с меня и с тебя шкуру сдерут. Понимаешь?

— Откуда им дознаться? Если вор не из своего дома, бык не выскочит в ертык,— проворчала Шушан.

— Я вас жалеючи говорю об этом,— сказал Мукуч.

Он ушел и целую неделю не показывался.

А за эту неделю волы так отощали, что не могли уже сдвинуться с места. И мастер из-за них худел, а Шушан все плакала и проклинала неизвестно кого.

— Нет никакого выхода, придется резать,— как-то вечером сказал мастер Давид.

— Сначала меня зарежь, а потом волов,— отвечала ему Шушан.— Сколько мук перенесли, все потеряли, остались только эти два вола — так и тех резать своими руками? Нет, уж лучше отдай их этому человеку с черным сердцем, да обрушится на его собачью башку такое же горе!..

Но договориться с Мукучем на этот раз оказалось нелегким делом. Для этого послали к нему деда Манука. Старик вернулся возмущенный и стал ругаться:

— Разбойник! Змеиное сердце у этого человека. Зарежет и ограбит родную мать, а что уж говорить о нас, горемычных...

— А что он сказал? — нетерпеливо перебили его мастер и Шушан.

— Сказал, что пудов пять пшеницы даст. Половину сейчас, половину весной.

— За двух волов? — всплеснула руками Шушан.— Владыка небесный, да где же твой суд, где карающая рука, что не накажешь ты этого нехристя?!

— Ладно, хватит охать да причитать! — прикрикнул на нее мастер Давид.— Владыка небесный, как видно, всегда на стороне тех, у кого богатство и сила, а не таких обездоленных как мы.

Не говоря больше ни слова, он вошел в хлев, с трудом поднял волов и погнал их во двор Мукуча. Все мы и дед Манук пошли следом, как за гробом покойника.

Башка Мукуч стоял у своих дверей, перебирая в руках четки, и даже ухом не повел, увидев наше печальное шествие.

— Мукуч-ага, вот привели волов,— робко проговорил дед Манук.

— Притащили, скажи,— злорадно усмехнулся этот мерзкий Башка Мукуч.— Какие же это волы? Одна кожа да кости. На что нужна мне эта дохлятина?

— Да ведь как же... Все-таки это волы...— смутился дед Манук.— Покормишь как следует, за одну неделю придут в себя, молодые еще...

— Набаловал я вас. И хозяина корми, и его скотину, будто

добро нам даром дается. Ну ладно уж, тащите их в стойло. Хотим не хотим, а слово держим.

— Мукуч-ага, у меня к тебе просьба...— заговорил с удрученным видом мастер Давид.— Если благополучно встретим весну и раздобудем землицы, дай мне этих волов вспахать ее...

— Сейчас к зиме надо готовиться, а о весне весной и будем думать,— невнятно пробормотал Башка Мукуч, повернулся и ушел.

В этот день мы были так опечалены, что даже возвращение Мушега и то, что он принес два ячменных хлебца, не доставило нам радости. Мушег не сказал, куда он ходил и где раздобыл эти хлебцы, но вид у него был усталый и весь он был в пыли.

— Держи, мать, поешьте хлеба,— сказал он, передавая Шушан узелок, а сам сел в стороне от нас.

Шушан, которая едва сдерживала слезы, не вытерпела и всхлипнула:

— Лучше б я проглотила змеиный яд...

— Что еще случилось? — с беспокойством спросил Мушег.

— Наших Башо и Коло увели... к Башке Мукучу,— поспешила ответить я.

— Э, напрасно, мастер, еще немного бы продержаться...

— А Башка Мукуч сказал, что ты дезертир...

Мушег ответил не сразу, и я пожалела о своих словах. Немного помолчав, он, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Не умен же этот Башка Мукуч, если так говорит. Большевики подходят к Еревану...

Мастер Давид с чубуком в руке и с полуоткрытым ртом уставился на Мушега и, кажется, не понял, что тот сказал.

Дед Манук, сняв шапку, зашептал молитву, а Шушан, снова вспомнив своих волов, залилась слезами.

— Мушег джан, ты говоришь...— Мастер не доканчивает, он просто забывает договорить.

— Да, не сегодня завтра большевики войдут в Ереван,— повторяет Мушег.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МОЯ СУДЬБА НЕРАЗЛУЧНА СО МНОЙ

Я всегда вспоминаю слова матери: «Если сирота скажет: «Я радуюсь», то бог, наказывающий людей сиротством, возразит: «А где же я?» Выходит, что так оно и есть. Как только мое сердце начало помаленьку радоваться, что я нашла мастера Давида и нового дядю, так Мушег стал говорить: «Я должен покинуть вас». Я так просила, умоляла его, даже плакала, а он, вместо того чтобы пожалеть меня, стал еще смеяться надо мной, как дядюшка Авет:

— Ну, кончай с этой мокротой, стыдно!

— А тебе не стыдно бросать меня? Ведь у меня никого нет на свете, дядя Мушег джан. Если останешься, я буду штопать тебе носки, стирать белье. Останься, будь мне дядей!..

Насчет штопки носков я, конечно, приврала малость, потому что вот уже сколько лет живу я на свете, а держать в руках иголку так и не научилась. Бедная моя бабушка (где она сейчас?), как она старалась — сажала меня рядом с собой, давала в руки иглу, учила штопать носки или пришивать заплатки, а я или нитки нарочно запутаю, или сломаю иголку и удеру на улицу.

«Чабан ты, чабаном и останешься,— сердилась бабушка.— Такая бездельница, гурия-пери! Смотри, это бедой обернется на твою голову...»

Слышала бы моя бабушка, как я, уговаривая Мушега остаться, говорила, что я и варежки ему свяжу, и даже рубашку сошью!

Я с такой настойчивостью упрашиваю Мушега, что и мастер Давид становится на мою сторону.

— Мушег джан, может, хорошее-то в этом,— говорит он.— Привыкли мы к тебе, сынок, оставайся, посмотрим, чем кончится вся эта кутерьма.

— Нет, мастер, не выдержу,— отвечает ему Мушег.— Раньше не сумел присоединиться к ним, а если и теперь останусь в стороне, это уж будет настоящее дезертирство.

— Э, сынок, туда ведь надо еще дойти, беда может случиться с тобой, а нам жаль тебя.

— Лучше встретить беду с оружием в руках, чем вот так, шатаясь по беженским дорогам. Что ты скажешь на это, Арцвник? — поворачивается он ко мне.

— Ветер у тебя в голове, вот что скажу! Что мы, плохие люди? Оставайся с нами и жди, пока придут большевики.

— Вот для этого я и должен идти, чтобы они скорее пришли,— смеется Мушег.

А Манушак забилась в угол, слушает нас и ничего не говорит. Она с грустью смотрит на Мушега и, кажется, за что-то обижена на него. Когда Мушег, уложив свои вещи в хурджин, стал прощаться с нами, она отвернулась и украдкой отерла слезы. И у Мушега сразу испортилось настроение. После всех он подошел к Манушак, и я слышала, как он сказал:

— Не разрывай себе сердце, вернусь обязательно.

Так и ушел наш Мушег, и теперь, когда речь заходит о нем, мастерова жена Шушан говорит:

— Лев был парень, с честью и храбр. Жаль, упустили...

Пшеница, полученная за волов от Башки Мукуча, кончается. Как ни старалась Шушан беречь ее, давая нам хлеб один раз в день, из этого ничего не получилось. Семья деда Манука была в

таком же положении, как и мы, и всякий раз, когда Шушан раздавала нам хлеб, приходилось выделять долю и нашим хозяевам. Правда, сам дед Манук и матушка Ангин старались в этот час не показываться в доме, а Нушик всегда объявляла, что она не голодна, но Шушан совала ей в руку ее долю и говорила:

— Бери, детка, бери, не из одной ли мы семьи...

Только теперь я поняла, какая добрая женщина эта мастерова жена Шушан. Раздавая хлеб, она всегда первый кусок давала мне, а потом уж Манушак. Мастер Давид тоже очень хорошо обходился со мной, так что соседи сначала думали, что я их дочь. Мастер всегда говорил, что он очень виноват перед моим дядей и, чтобы искупить свою вину, будет заботиться обо мне, как о родной дочери, до конца своей жизни.

— Не успел я тогда обернуться со своими волами, запоздал,— с горечью говорил он.— Не будь этого, может быть, и не приключилось бы с вашими этой беды...

В семье мастера Давида любят меня, но мне бывает очень больно, когда Шушан зовет меня сиротинушкой: «Иди покушай, моя сиротинушка... Не выходи, моя сиротинушка, холодно, замерзнешь...»

Уж лучше замерзнуть на холоде, чем постоянно слышать это «сиротинушка».

Ну, бог с ней, с мастеровой женой Шушан,— если ей это нравится, пусть зовет, но, когда домашние Башки Мукуча говорят о моем сиротстве, мне хочется взять камень и бросить им в голову:

— Собрал на свою голову всяких сирот-оборвышей, где же напастись хлеба? — сказал однажды Башка Мукуч, когда мастер попросил ему отдать вторую половину обещанной пшеницы.— Большая уже девчонка, может сама зарабатывать себе на еду,— заговорил он обо мне, вместо того чтобы отдать мастеру пшеницу.— Заставь ее работать, хоть бы и у меня.

— Нет, Мукуч-ага, я этого не сделаю,— ответил ему мастер Давид.— Ребенок еще она, много ли съест? Выживет — так выживет, умирать будет — так вместе с нами.

— Как знаешь. Но работа нашлась бы, говорю, приходила бы, подсобляла женщинам...

— Господи, девочка как тростинка. Да разве можно заставлять работать ее, сиротинушку? — вмешалась Шушан.— Разве мало сделала нам добра матушка Нуно, чтобы мы бросали эту веточку ее семьи от порога к порогу? Нет, бессовестно это делать.

— Вот поэтому голяк и гол, ему рубашку заменяет гордыня,— усмехнулся Башка Мукуч.

— Не тебе говорить об этом, Мукуч-ага, у каждого своя голова на плечах,— с обидой проговорил мастер Давид и ушел.

Но мы уже стали есть через день. Шушан, охая и вздыхая,

продавала все, что удалось ей сохранить за время беженских скитаний. Сперва продали архалук мастера Давида. Только по праздникам надевал мастер этот архалук и всегда хвалился, что получил его в подарок от тестя, когда обвенчался с Шушан.

Потом настала очередь продать и шелковую шаль Шушан. Ну и шаль была! Переливала всеми цветами радуги, величиной с постельное покрывало, а такая тонкая, что уместилась бы в скорлупе яйца. Пришлось и Манушак расстаться со своими красивыми сережками. Все это купила жена Башки Мукуча, которую зовут тоже Шушан, но я, в отличие от мастеровой жены, зову ее Башка-ханум. Эта Башка-ханум вроде своего мужа, с дохлого осла сдерет подковы. За праздничный архалук мастера она дала полмешка гнилого картофеля, а за шелковую шаль и серьги — одну меру дзавара.

А мне нечего и продавать. Вот если бы я сообразила, обязательно при бегстве взяла бы с собой деревянного петуха, подарок Ивана, и сейчас отдала бы его в обмен на хлеб сыну Мукуча — Губошлепу Габо. У этого Габо, как сказала мне Нушик, не было прозвища, но я, как увидела его толстые губы, решила, что его надо прозвать «Губошлепом». И Нушик согласилась со мной.

Габо очень обижает меня — когда ни встретит, обязательно стукнет по голове и назовет свинухой-беженкой. А разве я похожа на свинью? Я так исхудала, что сама себя не узнаю. Такая уж у меня судьба. Раньше и рябой Вано выматывал у меня всю душу, теперь попала на язык этому Губошлепу. Ну, раз попала, ничего не поделаешь, надо терпеть. Как ни противился этому мастер Давид, я втайне от него стала работать в доме Башки-ханум. Правильно ведь говорил Мукуч-ага, я уже большая девочка, могу и воду носить, и разводить огонь в тонире, а позволят, так и тесто сумею месить...

В первый день, когда я засучила рукава, чтобы месить тесто вместе с невесткой Арег, Башка-ханум схватила меня за руку и отшвырнула в сторону.

— О боже, такие грязные лапищи! Да ты испоганишь все тесто! — сердито крикнула она.

— А что же мне делать, ханум? У себя в селе я всегда вместе с бабушкой пекла хлеб. Такие лаваши выходили — в мой рост!..

Должна признаться, что в мою ложь никто не поверил. Хорошо еще, что Башка-ханум не рассердилась, а засмеялась, сказав, что ребенок остается ребенком.

— Возьми ведра, принеси воды из пруда,— смеясь, говорит она.

— Слушаю, ханум джан, я такой воды принесу — удивишься!

С коромыслом на плечах я, задыхаясь, бегу к пруду и думаю: «Впервые дали мне работу,— значит, я должна выполнить ее всем на удивление». А этот проклятый пруд так далеко, что, ког-

да я добегаю до него, босые ноги у меня становятся красными, как свекла.

Удивительно, о чем только думают эти урутцы: живут у подножия Алагяза, где много звонких ручьев, а пьют тухлую воду из пруда. Я спрашивала об этом деда Манука, но он всегда говорит одно и то же: «У бедного люда нет силы, а богатому все равно».

Пруд замерз. Гладкий лед так блестит на солнце, что хочется бросить ведра и покататься. И столько народу тут собралось — яблоку негде упасть. Почти все мальчишки и девчонки, такие же оборванные, босоногие, как и я. В страхе перед турками урутцы боятся посылать на пруд своих невесток и взрослых дочерей. В Уруте турок нет, но они в соседнем селе и могут нагрянуть каждую минуту. А это даже хорошо, что за водой пришли ребятишки моего возраста. Значит, мы быстро поймем друг друга.

— Давай покатаемся,— предлагаю я одной девочке с взлохмаченными, как у меня, волосами.

Она в новых трехах, и я втайне надеюсь, что она позволит мне надеть свои трехи и покататься в них на льду.

Но девочка удивленно смотрит на меня и отворачивается.

— Это какому ослу захотелось по льду скакать? — выступает вперед рыжеватый мальчишка.

На нем рваный отцовский тулуп, полы его волочатся по льду. Из-под огромной, нахлобученной на самые глаза папахи виднеется только красный от мороза нос.

— Ослик, ты чей? — обращается он ко мне, сдвигая папаху на затылок.

— Башки Мукуча.

Мальчишки хохочут.

— Ребята, посмотрите, Башка Мукуч нового ослика купил! Только копыта еще не подкованы...

Друзья рыжего с любопытством окружают меня.

— Сам ты осел, я им воду таскаю,— возмущенно отвечаю я и толкаю его коромыслом.

Рыжий спокойно вырывает у меня коромысло и отбрасывает в сторону.

— Не видно, чтобы тебя разносило от хорошего корма... Ты смотри у меня, как стукну, сразу под лед пойдешь.

— А если я стукну?

— Попробуй, посмотрим!

Не помня себя, я кидаюсь на него и запускаю пальцы в его вихры... И вдруг чуть не падаю от сильного удара по шее. Это Мукуч... И откуда только взялся этот мерзкий Башка? Мальчишки умолкают.

— Бедовая, кажись, дядя Мукуч,— говорит рыжий мальчишка.

Я наполняю ведра и, погрозив ему кулаком, ухожу.

— Башка-ханум, принесла! — кричу я, входя в хозяйский двор, и чувствую, как язык мой немеет.

— Что ты сказала? — шипит хозяйка.

— Говорю, воду принесла... Шушан-ханум джан.

— Ладно, теперь сходи...— Взглянув в ведра, хозяйка поднимает руку над моей головой и дает здоровую затрещину.— Паршивая собака, ты что туда набросала? Вылей, сейчас же вылей и иди за водой!

Я растерянно смотрю в одно ведро и в другое — в обоих плавает солома. Значит, этот Рыжик в последнюю минуту отомстил-таки мне.

«Наверно, теперь прогонят меня»,— думаю я, уныло шагая к пруду.

ДЖОТ ЕРВАНД

Несмотря на то что моя работа в первый день началась так неудачно, напрасно я боялась, что меня прогонят. Башка-ханум крепко привязалась ко мне, и я просто поражаюсь, чем это я так пришлась ей по душе.

Мастер Давид и Шушан, узнав, что я тайком от них пошла батрачить в хозяйский дом, сначала рассердились, но, когда я сказала, что убегу от них, если они не будут пускать работать, оставили меня в покое. Правда, Шушан еще и теперь нет-нет да и начнет горевать: если, дескать, появится кто из наших, она со стыда сгорит.

«Ладно,— думаю я,— сгорит не сгорит, а моя бабушка всегда говорила: «Руками не поработаешь, зубами не пожуешь...»

А Башка-ханум, как видно, думает, что заполучила проворную на ноги, глупенькую девчонку, и хочет содрать с меня все семь шкур. Не успеваю я закончить одно дело, как у нее находится для меня куча всяких других.

— Воды принесла? Хорошо, молодчина. Теперь подмети у тонира. И в оде подмети да подложи кизяку в очаг, чтобы огонь не погас. Невестка будет сейчас купать ребенка, отнесешь ей в хлев корыто и ведро воды. Чашки, горшки не забудь помыть, мужчины поели, посуда осталась немытой. А потом понесешь еду джоту[1] в маслобойню, там люди с утра не ели,— наверно, проклинают меня...

И как это они справлялись без меня? Я подмела у тонира и в оде, отнесла воду и корыто невестке Арег, чтобы она могла искупать своего ребенка, теперь мою горшки. Я с удовольствием съела бы прилипшую к стенкам горшка пригорелую кашу, но Башка-ханум велела соскоблить ее и отнести псу Чало, потому что «он, бедный, с утра голоден, жалко его...».

---

[1] Джот — маслодел.

Выношу я кашу Чало, у самой слюнки текут. Со злости стукаю половником по голове ни в чем не повинного пса, а он рычит, как Мукуч, и пожирает кашу.

— Испоганила половник, чтоб тебе провалиться сквозь землю! — кричит Башка-ханум и, вырвав половник из моих рук, в свою очередь бьет меня им по голове. Она трет половник о подол своего платья, потом бросает мне: — Вымой, несчастная тварь!

А я и не думаю мыть половник. Зачем, раз Башка-ханум вытерла его своим подолом? Тихонько положила его туда, где лежали ложки.

Теперь мне надо почистить в стойлах, потом отнести еду Джоту, а уж потом Башка-ханум, наверно, догадается дать мне что-нибудь поесть, потому что вся ее семья, начиная от пса Чало и кончая самим Мукучем, насытилась.

В хлеву я немного задерживаюсь. Там тепло, а кроме того, там стоят наши, то есть мастера Давида, волы. Чуть-чуть подобрав навоз под другими волами и коровами, я старательно чищу стойло Башо и Коло. Они теперь так округлились и похорошели — просто любо смотреть. Я почесываю их под мордой. Башо, как всегда, довольно жмурит глаза, а Коло даже лижет меня в лицо. Нет, что ни говори, хорошо живется волам: едят они вволю, в стойле у них тепло. Думаю, неплохо быть волом... или хотя бы теленком. Ну, вот хоть бы этим маленьким, слюнявым теленком Мукуча. Я целый день, подобно ему, прыгала бы в теплом хлеву и совала мордашку то в одну, то в другую кормушку. Мать этой слюнтяйки околела во время отела, и потому все балуют этого теленка-сироту. Выходит, что сирота-теленок более счастлив, чем сирота-ребенок...

А теперь надо нести еду Джоту. Башка-ханум кладет в хурджин горшок с кашей, лаваши с завернутым в них зеленым сыром и все это взваливает мне на плечи.

— Бегом беги, чтобы каша не остыла!

Верно сказала. Горшок горячий, жжет мне спину, и я бегу, согреваясь им. Мне хочется поскорее увидеть маслобойню и этого загадочного Джота. Я знаю только, что маслобойня похожа на мельницу, там толкут коноплю, чтобы выжать из нее масло.

Здесь, так же как и мельница Артуш-аги в нашем селе, есть только одна маслобойня — Мукуч-аги. У Мукуча в доме конопляного масла полно, и даже буйволов у него мажут этим маслом. Бессовестные, даже буйволы у них купаются в масле, а мне не дают и кусочек хлеба макнуть в него! И все это масляное богатство дает Башке Мукучу какой-то Джот, которому я несу целый горшок каши. Интересно, что за человек...

Но вот и маслобойня. Там стоит такой запах масла, что от него за версту кружится голова. Внутри полумрак и ужасно жарко и душно. От тяжелого масляного пара щиплет глаза. Люди, как тени, двигаются в полутемном помещении. Когда мои глаза

начинают понемножку привыкать, я вижу, что все они бледные, в лохмотьях, насквозь пропитанных маслом. Некоторые босы. Нет, конечно, никто из них не может быть Джотом.

— Дядя,— обращаюсь я к одному из этих оборванцев,— где Джот-ага? Я кашу ему принесла.

— Кашу? Давай ее сюда, поедим...

— Как это «поедим»? А Джот-ага останется голодным?

— Давай, детка, давай! Джот-ага всегда голодный,— говорит оборванец и, забрав у меня хурджин, зовет своих товарищей: — Ерванд, Сето, Беник, идите! Башка прислал наконец еду.

— Чтоб ему сдохнуть! — бормочет взлохмаченный парень и, поджав под себя босые ноги, садится на промасленную землю.— Открывай, посмотрим, что за собачьи объедки прислали.

— Эй, Ерванд, тысячу раз тебе говорили, прикуси язык! Зачем совать палку в собачью глотку? — сердито говорит мужчина, взявший у меня хурджин.

— Не палку, а дуло ружья надо сунуть ему в глотку...— ворчит Ерванд и, свернув лаваш, начинает жадно есть.

Лицо у него худое, желтое, как конопляное масло; огромные глаза запали, горят, как угольки; из дырявых шаровар выглядывают костлявые, покрытые грязью коленки. Ест он с такой жадностью, что у него двигаются даже уши. Я не могу удержаться от смеха.

— Чего смеешься? — спрашивает он, сверкнув глазами.

— Ты ушами жуешь.

— Да, хозяйской еды так мало попадает в рот, что только и остается ушами жевать. А ты как жуешь?

— Я еще ничего не ела с утра.

— Тьфу! — плюет возмущенный Ерванд.— Ну, есть ли совесть у людей? — Он разламывает свой лаваш и половину протягивает мне: — Бери ешь. Почему сразу не сказала? Да, совесть у этих людей собака съела. До полудня держать ребенка голодным!

Я с жадностью ем лаваш и думаю: «Ну и плевать, что нет Джота! Этот Ерванд, как видно, хороший человек, пусть уж лучше он съест долю Джота».

— Ничего, пусть с детства привыкает,— говорит один из маслобойщиков.— Сытый — да умер, голодный — да жив.

— Ты, девочка, кем приходишься Башке-аге? — спрашивает другой маслобоец.

— Никем не прихожусь. У меня нет ни отца, ни матери, я сирота... Утром я таскала воду, потом подмела везде в доме, чистила хлев, мыла посуду, а вот приду сейчас, Башка-ханум даст мне за это что-нибудь поесть. Отнесу домой, поедим вместе с мастеровой женой Шушан.

— Кто же эта Башка-ханум? — со смехом спрашивает Ерванд.

— Жена хозяина, кто же! Если муж Башка-ага, жена — Баш-

ка-ханум. У нас в селе был Иван Палич, жена его тоже была Палич...

— Ну и чертенок! — смеется Ерванд.— Ладно, иди скажи своей Башке-ханум, что все это даром ей не пройдет, скоро ей придется справлять поминки по Башке Мукучу.

Я кладу пустой горшок в хурджин и направляюсь к двери. Ерванд выходит вместе со мной.

— От Мушега нет вестей? — тихонько спрашивает он меня.

— Нет, никаких вестей нет. А ты разве знаешь дядю Мушега?

— Да, это мой товарищ. Ну, иди. Услышишь что-нибудь о нем, скажи мне.

— Он пошел к большевик...— Ерванд закрывает мне рот рукой.

— Иди, иди!

Всю дорогу я думаю: откуда Ерванд знает нашего Мушега и почему не разрешил говорить о нем?

Не успеваю я переступить порог, как уже слышу голос Башки-ханум:

— Ну, отнесла?

— Отнесла, но Джота не нашла.

— Как это не нашла?

— Не было его там. Ерванд и другие поели, сказали: пусть Джот остается голодный, ему не привыкать.

— Вот дурная голова, а кто же Ерванд, как не джот? — ругается ханум.— Джот — значит батрак-маслодел... Ну, ты ела или нет? — спрашивает она, как будто не знает, что ничего еще мне не давала поесть.

— Ерванд дал мне немножко от своей доли... но этого было так мало...

— А что Ерванду, не камни ворочает, чтобы столько жрать...— говорит Башка-ханум и кричит своей невестке: — Арег, дай девчонке поесть! Там в плетенке что-то осталось...

Арег моргает мне, чтоб я подождала немного. Как только Башка-ханум уходит (ну, ей нечего делать, как только ходить по соседкам да судачить-сплетничать), Арег достает несколько лавашей, заворачивает в них сыр и сует мне под мышку.

— Беги,— шепчет она, и я со всех ног пускаюсь домой.

Шушан и матушка Ангин молча сидят у холодного тонира. Нушик и Манушак о чем-то шепчутся в углу, мужчин дома нет. Я не знаю, кому отдать лаваш, и громко объявляю:

— Хлеба принесла!

— Отдай Шушан,— кивает матушка Ангин в сторону мастеровой жены.

Шушан делит лаваш на доли и добром поминает невестку Арег:

— Дай бог, чтоб наступили для нее светлые дни, чтоб хозяин ее вернулся и сердце ее возрадовалось.

Матушка Ангин слушает ее и вытирает глаза.

— Бедная девушка,— вздыхает она.

Шушан удивленно смотрит на нее, а я тоже ничего не понимаю. Нушик, поджав губы, подходит к матери и трется щекой о ее плечо.

— Мам, не надо, не плачь!

— Что случилось, сестра Ангин? — спрашивает Шушан.

— Ах, Шушан джан, от тебя скрыть — что от бога скрыть...— всхлипывает матушка Ангин, и я так и не понимаю, что она хочет сказать.

ДОЧЬ ПАСТУХА

В доме Башки Мукуча есть только один порядочный человек — это невестка Арег. Она очень похожа на Ерикназ. У нее такое же белое лицо, большие голубые глаза, тонкие брови дугой и очень красивые волосы. Одно меня удивляет: Арег — невестка самого богатого дома в селе, а одета она так же бедно, как наша Ерикназ. Сначала я думала, что Арег, вроде меня, работница в доме, только потом узнала, что она жена младшего брата Башки Мукуча — Гогора, который, оказывается, сбежал.

— Куда сбежал? — спрашиваю я Арег.

— Не знаю,— пожимает она плечами,— с осени его нет. Убежал, как только стало известно, что приближаются турки. Все убежали.

— Кто это «все»? У вас в селе все на месте, ваша семья тоже не убежала.

— Хмбапеты. Гогор ведь был помощником у хмбапета.

— Почему же он не взял тебя с собой? Здесь у тебя такая же собачья жизнь, как и у меня.

— Не мог он взять меня, я была на сносях. Моя Шогик тогда еще не родилась.

Шогик всего один месяц от роду, и она такая маленькая, что ее можно держать одной рукой. И все время плачет, потому что Арег вечно занята какой-нибудь работой и не успевает вовремя покормить ее. Как только Шогик начинает плакать, Башка-ханум орет на Арег:

— Возьми своего щенка!

Когда начинает орать на нее и Башка Мукуч, бедная Арег совсем теряет голову. Башка Мукуч всегда презрительно говорит с Арег, не называет ее ни по имени, ни невесткой, а всегда зовет дочерью пастуха: «Эй, дочь пастуха, дай воды!»

— Почему тебя зовут дочерью пастуха? — однажды спросила я Арег.

— А как же еще им звать? Я и есть дочь пастуха.

— А кто твой отец? Разве у него не было имени?

— Как это не было имени? Манук его имя, дед Манук.

Тьфу, чтоб сатана меня взял! Как это я не сообразила раньше? Теперь я понимаю, почему дед Манук с ненавистью говорит

о Башке Мукуче, матушка Ангин все вздыхает и охает, а Нушик мстит ему.

Этот Гогор, оказывается, силой захватил Арег и сделал ее своей женой. Башка Мукуч противился этому браку, считал постыдным привести в дом дочь пастуха, но Гогор настоял на своем. По-моему, он правильно поступил: если уж умыкаешь невесту, значит, надо жениться на ней. А то что же получится?.. Арег красивая женщина, с добрым сердцем. Она тоже, как и я, целый день носится по дому, выполняя то одно, то другое, что велят делать хозяева, и, что ни сделает, все им не нравится. Башка-ханум, задирая нос, с презрением говорит:

— Нет, что хочешь делай, а из боши никогда не станет паши.

«Боша́» — это, по-видимому, Арег, потому что она дочь бедняка, а паши — они, хозяева. Неудивительно то, что Башка-ханум сравнивает себя с пашой.

Вот один паша сидит в соседнем селе Саратаке. Это турецкий паша, и все знают, какой он бессовестный. Его аскеры в любое время, когда им захочется, приходят в Урут и точно так же, как наши хмбапеты, хватают все, что завидят, бьют и даже убивают крестьян. На селе не осталось ни скотины, ни кур и петухов — все сожрал этот паша.

— Пусть жрет, только бы народ не трогал,— говорит дед Манук.

— Так он же бьет и убивает людей!

— Убьют одного-двух — это еще не большая беда. А вот ежели им ударит кровь в голову и они устроят резню — это уж будет бедствие для народа...

Все боятся резни и прячутся от турок кто как может. Но из этого ничего хорошего не получается. Солдаты паши то и дело хватают мужчин и угоняют неизвестно куда. Говорят, что турки гонят их работать на свое войско... Ну, если так, должны же они возвращаться, а никто из угнанных еще не вернулся... Я все думаю: был бы здесь дядюшка Авет, уж он научил бы здешних крестьян, как не попадаться в когти паши, не допустил бы, чтобы их угоняли невесть куда, как не допустил он, чтобы наших сельчан угнали хмбапеты.

Правда, и здесь забирают не всех. Например, Башка Мукуч живет себе припеваючи, и ему наплевать, что в соседнем селе сидит какой-то турецкий паша. Не очень-то боятся паши и Сасун Барика и его дядя Айрапет с сыновьями. Это богатые люди, и всякий раз, когда турки являются набирать мужчин, богачам как-то удается освободиться от набора.

— Э, бала джан,— говорит дед Манук,— золото и в темноте блестит. Оно не знает ни веры, ни нации, в чьих руках лежит, тому и служит...

Золото пусть служит хоть туркам, хоть богачам, а наш мастер Давид не хочет служить в турецком войске. Как только появляются в селе турецкие солдаты, он сейчас же узнает об этом

и исчезает из дому. Кажется, в этом деле ему помогает Ерванд. Этот джот Ерванд, как видно, хороший парень. Он очень подружился с нашей семьей и часто приходит побеседовать с мастером Давидом. Но старается всегда пробраться к нам так, чтобы Башка Мукуч его не заметил. А когда я приношу джотам еду, он всегда отзывает меня в сторону и тихонько спрашивает:

— Ну, как там Арег? Что делает, что говорит?

Что делает Арег? Она всегда занята одним и тем же: тесто месит, разжигает тонир, подметает комнаты в доме,— одним словом, весь день она на ногах и всегда говорит, что она рабыня в доме, а не невестка. Обо всем этом я все в точности передаю Ерванду. Он молча слушает, вздыхает и каждый раз просит передать от него Арег большой привет.

Сначала я не знала, что об этом надо говорить Арег на ушко, и при всех ляпнула:

— Невестка Арег, джот Ерванд посылает тебе большой привет. Спрашивал, как ты живешь.

Башка-ханум стукнула меня по голове, а Мукуч, свирепо взглянув на невестку, поднялся с места.

— Тьфу, бесстыжая! — плюнул он и вышел.

Арег так смутилась, что горшок выпал из ее рук и разбился, а она целый день плакала. Она говорила, что плачет из-за горшка, но я не поверила. У них в доме полно всяких горшков, и не такая уж беда, если разбился один.

После этого я уже тайком передавала ей обо всем, что говорил Ерванд. Но как только я начинала говорить, она закрывала мне рот рукой:

— Молчи, знаю, что он сказал!

Я ничего не могу понять. Спрашиваю как-то деда Манука, а он перебирает четки и тяжело вздыхает:

— Да, Ерванд славный парень... Жаль, разбили бедняге сердце. Эх, бедность...

И вот этот славный парень Ерванд укрывает нашего мастера Давида в маслобойне, чтобы он не попал в руки турок. Солдаты паши совсем не заглядывают на маслобойню. Как говорит дед Манук, в этом деле тоже замешано золото, которое и в темноте блестит...

Но прошлый раз случилось вот что. Турки снова пришли в село, чтобы набирать мужчин. И когда они появляются, на селе поднимаются вопли, и сразу становится известным, кого поймали, а кто успел убежать.

Вдруг вижу — бежит к дому Башки Мукуча Сасун Барика, всклокоченный, бледный. Этот Сасун — молодой еще человек с острыми заячьими ушами и с ямкой на подбородке, лицо у него худое, желтое, словно и его искупали в конопляном масле Мукуча. Он очень богат, ходит в шапке с блестящим козырьком и в длинных, не заправленных в носки, а болтающихся над башмаками шароварах. Говорят, что он учился в городе, был гимнази-

стом, а потом стал офицером и что он из тех, кто продал Армению, поэтому турки его не трогают.

Я и Арег убирали в хлеву и слышали, что он рассказывал Башке Мукучу.

Турки, придя в село, увидели Сасуна и пристали к нему: пойдем да пойдем! Сасун привел турецких солдат к себе домой, велел поставить им водку, жареную баранину — кушайте, мол, а я пойду собираться. Сказал, а сам побежал к Мукучу.

— Скверное дело,— выслушав его, задумчиво проговорил Башка Мукуч.— Что же нам теперь делать?

— Вот я и пришел посоветоваться. Надо найти какой-нибудь выход, а то начнут с меня — и до других доберутся. Что скажешь, сосед? Они там ждут; если я не вернусь, домашним несдобровать.

Мукуч все думал.

— Я говорю, может, кого из ваших маслобойщиков?.. Ну, хотя бы этого Ерванда. Я не забыл бы этой твоей услуги, отец Мукуч...

Мы с Арег слушаем, притаившись в хлеву, и с ужасом смотрим друг на друга.

— Нет, маслобойщиков трогать не надо, Ерванд еще пригодится,— говорит Мукуч.— Но есть тут у вас другой человек...

Арег моргает мне, и я, не помня себя, стремглав выбегаю на улицу. Запыхавшись, прибегаю домой, вижу — мастер ничего не знает, сидит и чинит трехи.

— Мастер Давид, турки!..

Мастер отбрасывает трехи в сторону и бежит в одних носках.

— Подожди, не турки, Сасун!..— кричу я вслед.

Он, бледный, возвращается и сердито смотрит на меня.

— Не сердись, мастер джан,— начинаю я оправдываться,— я хотела предупредить... Башка Мукуч и Сасун сговариваются отдать тебя или Ерванда туркам.

Мастер торопливо надевает трехи, спешит, как всегда, поскорее уйти из дому. Нушик бежит предупредить Ерванда, и в эту минуту в дверях появляется сам Башка Мукуч.

— До тебя дело есть, мастер,— мирно говорит он.

— Какое дело? — смущенно спрашивает Давид.

— Да приходили от Сасунов. Там у них в доме не то карниз осел, не то еще что... Пустая работа, до вечера закончишь, а заплатят они хорошо, люди богатые.

Не зная, кому верить, мастер смотрит то на меня, то на Мукуча.

— Не ходи, мастер,— кричу я,— тебя обманывают! В доме Сасуна турки...

— Заткнись, вшивая собака! — гневно орет на меня Мукуч.— Какие там турки?

Ну, тут уж мастер Давид не выдержал. Весь гнев, накопленный с осени, он обрушил на Башку Мукуча и кем только не на-

звал — и скорпионом, и нехристем, и продажной душой. Никогда я не видела его таким разъяренным.

Вступилась и Шушан. Она так напитала ядом свои слова, что мне только теперь стало ясно, какой острый язычок у нее.

— Такому человеку, как ты, бог должен послать проказу! — зло закончила она.

Башка Мукуч прямо почернел весь от этих слов.

— Да что вы, господь с вами, какие там турки? — невнятно лепетал он.— Да и что сделает тебе турок, положил бы два камня — и дело с концом.

РАЗГОВОР С ПАШОЙ

Мастер Давид запретил мне ходить в хозяйский дом. Но выскочить из когтей Мукуча, оказывается, не так легко. Где бы он меня ни увидел, подходит, шлепает по шее и приказывает:

— Иди к ханум, работай!

И так он разговаривает со мной, будто я и в самом деле его батрачка. Положим, он всегда говорил: дескать, кто меня накормит, тот и мой хозяин, потому что я сирота. Пожалуй, это верно. В доме Мукуча с меня сдирают семь шкур, но все-таки кормят. И наконец, там Арег, а я так привыкла к ней, что уже не могу жить без нее. Арег про себя говорит, что она тоже, вроде меня, сирота.

— Разве бывает человек сиротой, если у него живы и отец и мать? — возражаю я ей.

— Бывает,— говорит Арег.— Мои родители живут рядом, дверь в дверь, а я месяцами не вижу их. Не пускают!

— А ты тайком сходи или совсем уйди,— наставляю я.

— Нельзя, стыдно. Нет уж, видно, такая моя судьба...

Ее наставляю, а сама, как меня ни мучают, ни бьют в доме Башки Мукуча, не убегаю. А если и убегаю, так все равно в конце концов возвращаюсь, глотая слезы, к порогу хозяйского дома — надо же хоть немного облегчить ношу мастера Давида. В таких случаях Арег меня всегда подбадривает,— по ее словам, такой уж закон на нашей земле: сироте никто хлеба не даст, а обидит каждый.

...Сегодня в хозяйском доме с утра началась суматоха. Зарезали двух баранов, несколько кур и петухов. Работы было так много, что Башка-ханум сама пришла просить мастерову жену Шушан, чтобы та подсобила нам. Мы замучились с уборкой дома. Вычистили самую большую, светлую комнату, которая до сегодняшнего дня была закрыта, вдоль стены и на тахте разостлали красивые, ярких красок ковры, поверх них Башка-ханум велела разложить тюфячки и атласные подушки.

А в тонирной комнате с утра жарят и парят. На сковороде огромный петух, величиной почти с самого Мукуча. Одного ба-

рана подвесили в тонире, чтобы он жарился, другого положили в плов. Никогда я не видела так много и такой вкусной еды.

Говорят, паша должен в гости прийти. Турки будто бы уходят из наших мест, и паша решил на прощанье прийти в гости к урутцам. Но удивительно — куда исчезла сегодня Арег? И маленькой Шогик нет. Башка-ханум требует, чтобы позвали на помощь Манушак, но Шушан не соглашается.

— Взрослая уже, красивая девушка,— говорит она о Манушак,— да разве можно показывать ее басурманам? Мало ли что может случиться!

— Не видал паша красивых девушек, нужна ему твоя оборванка! — ехидно отвечает ей Башка-ханум.

— Какая бы ни была, матери свое детище дорого. А этот паша, будь он хоть паша пашой, для меня всё равно собака, и я не пущу к нему свою голубку...

Так, подкалывая друг друга, они продолжали жарить и парить. А Башка Мукуч, Сасун Барика и другие богатеи всполошили все село, собирают народ встречать пашу хлебом-солью.

— Хлебом-солью! — горько усмехается дед Манук.— Турецкий паша всегда жил на хлебе армянского народа, а приходило время, вот как теперь, плевал на этот хлеб. Нет, ничему не научились люди. Волку хоть библию читай... Нет, не понимают!

Среди этих людей самый непонятливый и бестолковый, как говорит Башка-ханум, ее муж Мукуч. Сельские богатеи предложили ему подносить хлеб-соль турецкому паше, и он с радостью согласился, а Башка-ханум противится этому.

— Пусть Сасун подносит,— говорит она,— он ученый человек, понимает, как это сделать и что уместно сказать.

Я хорошо понимаю и ее и Мукуча. На хлеб-соль, оказывается, надо еще положить золотой, а Башке-ханум очень не хочется расставаться со своей «мухаммадией» — самой большой золотой монетой из тех, что развешаны у нее на лбу.

— Баранов зарезали, столько потратили всякого добра да еще и мухаммадию я должна отдать этому басурману? — жалуется она.— Ради чего? Что делали бы урутцы, если бы тебя не было?

— Это не твоего ума дело, Шушан,— говорит ей Мукуч.— На урутцев мне наплевать, я о своем добре пекусь.

А паша уже идет. Мукуч и другие богатеи села где-то далеко впереди несут на деревянном подносе хлеб-соль. Я опоздала. И столько народу высыпало на улицу, что невозможно пробиться. У нас в селе тоже бывало так, но только тогда, когда по улице шел какой-нибудь пехлеван или вели медведя. Тогда было весело, играли на зурне, били в барабан, все шутили, смеялись, а сейчас урутцы смотрят на шествие паши с таким мрачным видом, словно перед ними мертвого везут хоронить.

Держась за руки, мы с Нушик протискиваемся сквозь толпу. Ни я, ни она никогда еще не видели турецкого пашу. Интересно,

какой он... Нушик говорит, что он с кривой саблей и что с нее капает кровь.

Я добавляю свое: этой саблей он, наверно, рубил головы курам, которых жрал.

— Нет, не курам,— не соглашается со мной Нушик.— Паша не потому паша, что жрет кур, а потому, что режет людей.

— Зачем же мы тогда идем к нему? Ударит своей кривой саблей, вот и живи после этого!

— Сейчас не ударит, он в гости идет. А потом, конечно, ударит,— говорит Нушик, проталкиваясь вперед.

А вот и паша. Кривой сабли у него нет, не видно и другого оружия. Это обыкновенный мужчина в черной папахе и с длинными усами, а передние зубы у него гнилые,— наверно, много меду ел. С ним идут аскеры. Вот у них есть и сабли и ружья, а в руках плети. Размахивая ими, они хотят гнать нас, но паша, кажется, не разрешает. Глядя на народ старчески мутными глазами, он что-то говорит и подносит руку ко лбу. И сейчас же Башка Мукуч бросается вперед с хлебом-солью. Паша двумя пальцами отламывает кусочек хлеба, макает в соль и кладет в рот, потом снова прикладывает руку ко лбу.

— На колени, на колени! — кричит Сасун и машет людям рукой, заставляя их опускаться на колени.

Некоторые опускаются, но большинство делают вид, что не понимают, чего от них требуют. Какая-то старуха начинает проклинать пашу. Сасун орет на нее, бьет ее ногой, но она громко просит бога послать на пашу слепоту, проказу и, не знаю, что еще...

— Паша угнал ее сына,— шепчет мне Нушик.— Давай убежим, чтобы не вставать на колени!

Мы сломя голову мчимся по улице и кричим:

— Паша идет, бегите!

Одни ругают нас, другие бледнеют от страха и хотят что-то спросить, но у нас нет времени разговаривать — надо поскорее добежать до дому и посмотреть, что там творится.

Прежде всего я вижу, что пса Чало нет на месте, его тоже спрятали. Ну конечно, разве можно позволить, чтобы такой простой пес лаял на высокородного!.. Потом я замечаю у порога беленького барашка. Я знаю, что его привезли из стада Мукуча. Это стадо еще осенью перегнали на ту сторону Алагяза, чтобы его не захватили турки. Но Башка Мукуч ничего не жалел для того, чтобы с почетом принять высокого гостя. Он отправил за Алагяз человека, и тот привез этого беленького барашка. Хорошенький барашек, рожки такие длинненькие, красиво изогнутые, лобик широкий, а сзади курдюк в пуд весом. Любопытно — что будет делать этот барашек, когда увидит пашу?

— Встанет на колени,— смеется Нушик.

— А как он узнает, что это паша?

— Паша — это такое дело, и баран поймет...

Мы еще продолжаем шутить, а паша уже входит в хозяйский двор. Вот он медленно, важно подходит к порогу, и как раз в эту самую минуту откуда-то вывертывается молодой парень и режет барашка прямо под ногами паши. А паша даже бровью не ведет, спокойно перешагивает через зарезанного барашка и входит в комнату. Приближенные следуют за ним и рассаживаются на коврах.

И тотчас начинается пир. Едят и пьют, пьют и опять едят, как только не лопнут? А Башка Мукуч, Сасун Барика и другие сельские богатеи стоят и только смотрят, ждут — прикажет паша, и они сломя голову кинутся выполнять приказ.

В тонирной комнате Башка-ханум и мастерова жена Шушан накладывают в блюда жирный плов, жареное мясо, все это несут в переднюю и передают Мукучу или Сасуну. Те берут эти полные блюда и, сгибаясь в три погибели, ставят их перед пашой, а пустую посуду передают мне. Когда наступает очередь подавать зажаренного барашка, Башка Мукуч сам приходит в тонирную, кладет барашка на огромный медный поднос и, подняв его над головой, несет к паше. Я в открытые двери вижу, как паша, улыбнувшись, засучивает рукава, отрезает большой кусок барашка, откусывает от него немного и протягивает Мукучу.

Мукуч растерянно смотрит, а паша продолжает держать у него под носом надкусанный кусок барашка.

— Бери ешь,— шепчет ему на ухо старший из Бариков.— Паша делает тебе честь.

Мукуч робко берет кусок и, наклонив голову, начинает есть.

— Ахыллы кялла[1],— говорит паша.

— Дядя Сасун,— спрашиваю я шепотом,— а откуда он знает, что его зовут Кялла?

Сасун бьет меня ногой, и я, чуть не взвизгнув, выскакиваю из комнаты.

Пир продолжается. В комнате начинают громко разговаривать, петь, и вдруг Сасун и Мукуч выходят оттуда совершенно растерянные.

— Скверное дело,— говорит Мукуч.

— А что, что случилось? — с беспокойством спрашивает Башка-ханум.

— Собака-паша требует сазандаров[2]... Говорит: «Приведите девочек, пусть танцуют, поют».

Мастерова жена Шушан еще ничего не успела мне сказать, но я с одного ее взгляда поняла, что мне делать, и пустилась домой.

Матушка Ангин и Манушак сидели у холодного тонира, мастера Давида не было дома, а дед Манук стоял в дверях и словно ждал меня.

---

[1] Ахыллы — умный; кялла — башка *(турецк.)*.

[2] Сазандар — струнный музыкальный инструмент; музыкант, играющий на нем.

— Что там? — с тревогой спрашивает он.

— Не знаю, паша девочек требует... хочет, чтоб они пели...

Дед Манук, больше не слушая меня, набрасывает на плечи Манушак свою потрепанную чуху и, взяв за руку, тащит ее за собой:

— Пойдем, дочка, Ерванд спрячет тебя...

Они побежали в сторону маслобойни, а я вернулась в хозяйский дом.

Пир продолжался. Откуда-то достали пастушью волынку, играли на ней и громко орали. Паша, сдвинув папаху набекрень, постукивал пальцами и пел, обнажая гнилые зубы. Сельские богатеи смешались с гостями-турками, вместе с ними орали, приплясывали. Мукуч, держа на голове огромный поднос, кряхтя, переваливался с боку на бок, как утка. У полуоткрытых дверей, мрачно поглядывая на пиршество, стоял тот самый парень, который зарезал беленького барашка у ног паши.

— Танцует перед пашой, как медведь на ярмарке,— хмуро проговорил он, когда я подошла к нему.— Есть же бессовестные...

— А ты кто? — спросила я.

— Кто я? Так себе, человек... пастух Мукуча.

— А я работница Мукуча... батрачка. Мы беженцы... А наши волы Башо и Коло теперь уже не наши, Башка забрал их себе.

— Пусть хапает, посмотрим, чем все это кончится. Перед пашой обезьяной прыгает, чтоб добро и шкуру свою спасти,— сказал парень, словно разговаривая с самим собой, и ушел.

А паша, должно быть, совсем обожрался. Он тяжело поднялся с тахты и пошел освежиться на воздух. Вот тут-то и произошел у меня с ним разговор.

Я собрала на поднос порожнюю посуду и, выходя во двор, лицом к лицу столкнулась с пашой. Увидев меня, он что-то сказал, скаля гнилые зубы. Мукуч сейчас же перевел мне:

— Паша спрашивает: ты девочка или мальчик?

— Что он, слепой, не видит, что девочка? — дерзко ответила я, уверенная, что при паше Башка Мукуч не ударит меня.

Я правильно рассчитала. Паша засмеялся, что-то говорит, а я стою перед ним, смотрю на его гнилые зубы, и словно мурашки бегают у меня по спине. Готова бросить посуду и убежать.

— Паша говорит, чтобы ты приходила к нему, он возьмет тебя с собой,— снова перевел Мукуч.— Говорит, яблоко тебе даст.

— Пусть он провалится в ад, не нужны мне его яблоки!..

— Чертовка, он понимает по-армянски...— шипит Мукуч и толкает меня: — Проваливай отсюда!

Не знаю, как это пришло мне в голову: я приложила руку ко лбу, как это делал паша, поклонилась ему и побежала в тонирную комнату.

— Что сказал тебе паша? — со всех сторон окружили меня женщины.

А я спряталась за спину Шушан и зарыдала, стуча зубами от страха.

ЯБЛОКИ ПАШИ

Я до сих пор не могу понять, как это произошло. Пашу угостили на славу, поднесли ему дорогие подарки, и он со своими приближенными и солдатами, поблагодарив за гостеприимство, ушел.

После этого прошла неделя, турецкие аскеры не появлялись в Уруте. Все говорили, что паша остался очень доволен урутцами и не будет теперь притеснять их. Больше всех хвалился Башка Мукуч.

— Я спас Урут,— говорил он.— Насытил глаз басурмана, спас народ. Если бы не я, турки давно сожгли бы село.

Многие соглашались, что он действительно спас Урут. Некоторые с сомнением качали головами: дескать, неблагодарной собаке доверять нельзя, паша и подарки примет и почести, а взбредет ему в голову — и опять поднимет меч над головой народа, потому что он паша.

А Мукуч, хвастаясь тем, что он насытил глаз басурмана, торопился припрятать все ценное, что было в доме. Все дорогие ковры и медную утварь уложили в яму, вырытую в хлеву. Волов и буйволов куда-то угнали, масло тоже припрятали. Башка-ханум собрала все свои украшения и наряды и ушла куда-то с Губошлепом Габо. В доме остались только я и невестка Арег.

— А почему они все прячут? — спрашиваю я Арег.

— Боятся,— говорит она,— очень боятся.

— Но ведь они же насытили глаз басурмана — чего же бояться?

— Кто знает... Говорят, придут большевики.

— Вай, да разве можно бояться большевиков? Пусть, пусть придут! — радостно говорю я.— Они не занесут над селом меч.

— Над селом, может, не занесут, а над головой дяди Мукуча... Ведь он дашнак.

— Ну, раз дашнак, пусть дрожит. Но все равно его не убьют. Большевики не убивают народ. Они сделают ревком и прогонят дашнаков.

— Откуда ты это знаешь? — подозрительно смотрит на меня Арег.

— Я была раньше большевиком, знаю.

— Ну и болтушка! — смеется Арег.

— Совсем не болтушка, вот придут — увидишь.

— Нет уж, не хочу смотреть, пусть лучше не приходят.

— Почему так говоришь? Ты же дочь пастуха, тебе-то что, пусть дрожит Башка Мукуч.

— Что из того, что я дочь пастуха? А Гогор? Я жена его.

— Раз он тебя бросил, какая ты ему жена? Вот мой дядя: куда бы ни уходил, всегда брал с собой тетушку Ашхен. Не то что твой Гогор!

— Не вмешивайся-ка ты в дела, которых не понимаешь,— сердится Арег.— Иди зажги в комнате лампу, сейчас явится дядя Мукуч.

Я бегу в комнату, но в это время на улице раздаются выстрелы, и я возвращаюсь к Арег.

— Зажгла?

— Нет. Слышишь, стреляют!

Выстрелы учащаются.

— Вай, что это? — бледнеет Арег.

— Не бойся! Может, большевики?..

Арег выхватывает из люльки, прижимает к груди маленькую Шогик, а я выскакиваю на улицу в полной уверенности, что идут большевики. В голове мелькает мысль, что, может быть, и Мушег среди них, и доктор, и учитель Хорен. Других большевиков я не знаю.

Выстрелы приближаются. Сначала казалось, что стреляли снизу, из ущелья, потом послышались выстрелы со стороны огородов, затем с противоположных скал, и вдруг стало ясно, что село обстреливают со всех сторон. В домах поднялся переполох.

— Турки окружили село! — кричат люди и в ужасе бегут, сами не зная куда.

А темень такая, что уже не различить лиц, видны только мечущиеся во все стороны тени...

— Ах, чтоб ты провалилась! Где ты запропала? — слышу я голос Шушан и бросаюсь к ней.

Наши уже взвалили на спины узлы и готовы отправиться в путь.

— Идите за мной! — кричит мастер Давид, размахивая ружьем.

Откуда-то появляются Ерванд и еще несколько мужчин. Все они тоже вооружены.

— Арег! Где Арег? — как безумный кричит Ерванд и бежит в хозяйский дом.

Через некоторое время он приводит к нам невестку Арег, передает ее деду Мануку, а сам исчезает.

Мы бежим.

— Давид, —задыхаясь говорит дед Манук,— надо идти к скалам.— Не слушая ответа Давида, он бросается в другую сторону и зовет: — Эй, люди, сюда!

Идущая за нами толпа раскалывается: одни бегут за дедом Мануком, другие — за мастером Давидом. Все, как стадо овец, завидевших волка, мечутся из стороны в сторону, рассыпаются и вновь собираются, а выйти из села нет никакой возможности — всюду видны вспышки ружейных выстрелов.

— Арег! — раздается вблизи хриплый голос Ерванда. Он находит Арег в толпе, хватает ее за руку и тащит за собой.— Не бойся, дед Манук,— слышится в темноте его голос,— я увожу ее!

В стороне разгорается зарево пожара, крики и вопли усиливаются, люди снова кидаются в дома, потому что турки уже вошли в село и гонят всех назад.

Мы бросаемся в первый попавшийся дом. Чей это дом, я не знаю, только слышу, как дед Манук говорит женщинам:

— Сидите тут и не выходите,— может быть, не тронут басурманы...

Мужчины снова выбегают на улицу.

— Прячьте мужчин! — кричит какая-то старуха.— Турки всех, кто мужского пола, ставят под нож.

Мы упрашиваем мастера Давида спрятаться, но он отказывается уйти от своей семьи.

Та же старуха вырывает у него из рук мосинку и вталкивает в толпу женщин. Мастер, стараясь избавиться от старухи, выходит из комнаты и встает за дверью.

— Детишек в хлев надо, в хлев,— решает дед Манук и, собрав всех нас в хлеву, сам садится у входа.— Пусть раньше мне отрубят голову, чтобы я не видел резни этих малюток.

Мастерова жена Шушан торопливо мажет сажей лицо Манушак и вталкивает ее к нам в хлев.

А на улице зловещие крики, стрельба, над головой раздается топот ног бегущих по крышам людей, где-то мычат коровы (они, как видно, тоже почувствовали беду), женщины рыдают, взывают о помощи, молятся, проклинают...

— Скотину гонят,— говорит какой-то мальчуган. Он притаился между мной и Манушак, я не вижу его лица, но его голос кажется мне знакомым.

— Откуда ты знаешь, что гонят скотину? — спрашиваю я его.

— Это наша корова мычит,— грустно отвечает он мне.

— А, ты Рыжик! — говорю я, вдруг вспомнив задиристого мальчугана, который подрался со мной на льду.

— А ты ослик Башки Мукуча,— угрюмо бормочет он и добавляет: — Меня зовут не Рыжиком. Мы тоже беженцы.

— Как же тебя зовут?

— Не скажу!..

Из тонирной комнаты, где сидят женщины, доносятся душераздирающие вопли.

— Женщин режут! Мама!..— кричит Рыжик и хочет выбежать из хлева, но мы удерживаем его.

Вопли продолжаются. Что там творится, в тонирной комнате, никто не знает. Вдруг распахиваются двери в хлев.

— Пришли!..— в ужасе шепчем мы и еще крепче прижимаемся друг к другу.

Но это загоняют скотину. Гонят и гонят, и скоро в хлеву

столько набивается коров и волов, что они начинают давить нас копытами.

— Вай, умираю! — стонет какой-то мальчик.

— Ногу отдавили! — плачет другой.

— Давайте заберемся в ясли,— предлагает Рыжик, и мы с Манушак ползем вслед за ним.

Наши испуганные голоса и поднявшаяся суматоха, по-видимому, привлекают внимание турок. Стоящий у двери аскер что-то кричит, к нему подходит другой с факелом в руке. Первый обнажает саблю, встает в двери и широко расставляет ноги; тот, что с факелом, входит в хлев. Подходят еще несколько турок... Один из аскеров нацепил себе на островерхую шапку головное женское украшение, другой весь обмотан шелковыми шалями, третий, держа в руках горшок с медом, запускает туда пальцы и жадно ест; лицо у него, одежда и даже кривая сабля выпачканы в меду. Что-то лопоча на своем языке, они кидаются шарить по углам хлева и находят нас. Тот, что стоит в дверях, размахивая саблей, что-то кричит.

— Велит выходить по одному,— переводит нам Рыжик.

Никто не двигается с места. Взбешенные турки хватают за руки мальчиков и девочек, швыряют их к двери, а там обыскивают всех, некоторых совсем оголяют. Девочек выталкивают во двор, а мальчиков возвращают в хлев.

— Мальчиков будут резать,— с каким-то удивительным спокойствием говорит Рыжик и вздыхает: — А что они сделали с мамой?..

У меня волосы недавно острижены, и я боюсь, как бы меня тоже не приняли за мальчика. Но, подумав, что ждет Рыжика, я содрогаюсь от страха. Как спасти его?

— Давай обменяемся одеждой,— предлагаю я.— Надень мою юбку, а мне дай твои шаровары.

Рыжик удивленно смотрит на меня.

— А если они тебя тоже...

— Но я же не мальчик, а девочка! Давай раздевайся.

— Нет, ничего не выйдет.

— Выйдет, раздевайся скорее!

— Стыдно...

— Ничего, мы смотреть на тебя не будем.

Я быстро снимаю с себя и сую ему в руки юбку. Но поздно — к нам подходит аскер. Рыжик бросает мне юбку и, вытянувшись как солдат, стоит с поднятой головой. Турок окидывает его злым взглядом и бьет по лицу. Рыжик летит в сторону, схватившись за разбитый, окровавленный нос.

Очередь за мной. Аскер хватает меня за руку и швыряет к двери.

Сзади раздается отчаянный вопль Манушак. Обернувшись, я вижу, что аскер схватил ее за косы, и бросаюсь обратно в хлев. Я цепляюсь за Манушак, стараясь оттащить ее от турка, но тот

обеих нас выталкивает во двор. Стоявший у двери другой турок проводит рукой по лицу Манушак, стирает сажу и, злорадно скаля зубы, начинает накручивать на руку ее черные косы... Что произошло потом, я почти не помню. Аскер ударяет меня по шее рукояткой сабли, я падаю, но тут же проскакиваю между его ногами и бегу к воротам... Пронзительно кричит Манушак... Из тонирной комнаты выбегают женщины... Слышится крик мастера Давида... Мычит скотина, хлопают выстрелы... Совсем обезумев от ужаса, я бегу не то по улице, но то по крышам, не понимая, куда и зачем. Бегу и зажимаю уши руками, чтобы не слышать рыданий женщин, не видеть, как турки тащат за косы Манушак...

Я бегу сама от себя, от этой страшной, кровавой ночи. Но куда мне убежать, где скрыться, когда по всей земле несется отчаянный, душераздирающий вопль Манушак?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ДРУЖБЕ С КОСЫМИ

Утро. Высокое, безгранично высокое чистое небо, такое прозрачное, что кажется, сейчас на нем высыплют звезды. В бездонной синеве неба ослепительно сверкает белоснежная вершина Алагяза, и как будто от нее исходит это удивительное сияние. Все мирно и бело вокруг, все покрыто чистым снежным покрывалом.

Где та страшная ночь, резня и кровавое зарево пожаров, бьющаяся в руках турок Манушак и тот турецкий аскер, что хотел схватить и меня!.. Нет больше ничего, кроме этой чистой синевы неба и ярко сияющего солнца. Оно не видело той кровавой ночи, которую видела я, не слышало тех душераздирающих воплей и стонов, которые слышала я, и потому так спокойно светит с высоты, согревая мое полуголое тело... Приятно сидеть на камне, где снег растаял от теплоты моего тела, и наслаждаться, бесконечно наслаждаться солнечным светом, удивительной красотой этого сияющего дня. Но где, в какой стороне остался Урут, что сталось с нашими, с маленьким Рыжиком, который с такой безнадежной храбростью стоял перед турком?..

Вокруг меня только белые от снега скалы, холмы.

Ноги у меня мерзнут. Они уже давно мерзнут, но я чувствую только то, что осталась живой, что у меня есть руки и ноги, которые могут чувствовать холод.

Надо бежать, чтобы согреться. Я бегу, но скоро начинаю задыхаться и опять присаживаюсь на камень. Мне чудится, что какие-то невидимые руки хватают, тянут меня в объятия той страшной ночи, в пламя тех пожаров, под нож турок. Нет, нельзя мне сидеть, надо бежать. Побегу хоть на край света, только

бы увидеть человеческое лицо, только бы уйти от этой тишины, от этой гнетущей, ничем не заполненной пустоты.

Вдали виднеется снежный холмик. Я решаю добежать до него, малость передохнуть и помчаться дальше. Но, подбежав, вижу, что это стог сена, засыпанный снегом. С одного бока сено повыдергано, образовалось довольно большое углубление. Это хорошо, в эту сухую, но страшно холодную пещерку сверху обваливается сено и совсем закрывает меня. Ничего, так даже лучше. Я дрожу от холода, свертываюсь в комок. Готова сжаться еще больше, стать совсем малюсенькой, превратиться в травинку, только бы не чувствовать этого холода, режущего, острого как меч. Постепенно согреваюсь, начинаю дремать и уж не знаю, бодрствую я или сплю. Под ухом шуршит, потрескивает сено, весь стог словно шевелится, наполнен какими-то странными пугающими шорохами, писками. Эти шорохи и писки все усиливаются, вот уже слышится громкое тарахтенье, поскрипывание. Я напряженно вслушиваюсь. Что это может быть?.. Понятно! Скрипят колеса арбы,— значит, рядом проходит дорога.

Скрип приближается, я уже слышу человеческие голоса. Сердце у меня так и стучит. Хочется сейчас же, выскочив из своей норы, побежать навстречу людям. Кто они — все равно, я буду плакать, упрошу, чтобы они взяли меня с собой. На глаза у меня навертываются слезы, я уже заранее плачу... Но вдруг раздается конский топот, слышатся другие голоса, кто-то говорит по-турецки.

Я еще глубже зарываюсь в сено. Турки, наверно, подожгут стог, и я сгорю... Ну и пусть. Перед смертью хоть согреюсь как следует.

Арбы остановились, скрип оборвался, только волы шумно отфыркиваются, и мне кажется, что я чувствую их горячее дыхание. Значит, есть жизнь, люди, они рядом со мной. Я так искала их, а сейчас не могу к ним выйти, сижу в своей норе и, как заяц, съежилась и дрожу.

Голоса турок раздаются совсем рядом. Один из них подходит к стогу, и я замираю от страха: наверно, сейчас подожжет!

«Хоть бы мать узнала, какой мучительной смертью мне пришлось умереть!» — думаю я с тоской.

— Тут, как видно, топталась скотина, берите сено с другого края,— говорит кто-то по-армянски.

Шорох шагов слышится по другую сторону стога. Турок что-то кричит, ругает кого-то.

— Проклятый, совсем разорвался...— доносится мужской голос с дороги.

— Да брось ты его к дьяволу! — кричит ему человек, стоящий у стога.— Нам-то что?

Слышатся удары плетью, кто-то стонет. Видимо, турки кого-то избивают. Возле стога тяжело шагают люди со своими ношами.

Все это длится невыносимо долго. Наконец снова раздается скрип колес, арбы удаляются.

Я осторожно высовываю голову из своей норы. Уже закат. Снег стал синеватым, и небо изменило свой цвет, потемнело. Звезд не видно, дует несильный, но режущий, морозный ветерок.

Не знаю, далеко ли ушли арбы,— в ушах все еще звучит скрип их колес. На снегу, там, где стоял обоз, виднеются какие-то темные пятна... Я решаю подползти к ним, посмотреть. Ведь я же слышала, как ругались на дороге. Что-то разорвалось у них. Не мешок ли с зерном?

Мое предположение оказывается правильным: на снегу рассыпано зерно — то ли пшеница, то ли ячмень. Я беру в рот горсть зерна, смешанного со снегом, и начинаю жевать. Чувствую под зубами пшеницу, жую с наслаждением, и мне кажется, нет ничего на свете вкуснее... Ем жадно, проглатываю пшеничные зерна почти непрожеванными. На зубах хрустят камешки, от пшеницы отдает навозом — ничего, зато насыщается мой желудок и уже не чувствуется боли под ложечкой.

Надо собрать оставшееся. Я смотрю на свое богатство и готова кричать от радости. Одеревеневшими руками царапаю снег, собираю пшеницу в подол рубашки... Довольно, больше некуда, остальное соберу утром. С полным подолом пшеницы я забираюсь обратно в стог и устраиваюсь так, чтобы не рассыпалось зерно. Теперь можно спокойно спать.

Как долго я спала, не знаю. Проснулась от назойливого шороха над самым ухом. Прислушиваюсь и замираю от страха: наверно, волки! Опять слышится шорох. Кто-то, чавкая, жует сено. Ну, значит, не волк. Разве волк стал бы жевать сено, не растерзал бы меня?

Какая-то странная беготня поднимается вокруг стога. Мои незваные гости, как видно, наелись и сейчас играют. Надо их предупредить, что хозяйка тут я. Крепко держа подол рубашки, чтобы не рассыпать пшеницу, я высовываю голову из сена, и в тот же миг сверху, прыгнув через меня, катится на землю заяц. Вот, оказывается, кто меня беспокоил!

Заяц отбегает немного от стога и приседает в снегу, в лунном свете мне ясно видны его торчащие длинные уши. Такой бессовестный — и не боится! А было время — не то что зайцы от меня удирали поджав хвост, даже собаки... Что поделаешь, времена изменились.

Ну ладно, надо снова ложиться спать. Я ложусь, но предрассветный холод пронизывает меня до костей. С нетерпением жду я восхода солнца и, как только лучи его засверкали на белой вершине Алагяза, вылезаю из стога, чтобы согреться, а затем позавтракать. Высыпаю пшеницу из подола на примятое сено в своей норке, а сама иду есть зерно, рассыпанное на дороге. Но зайцы, оказывается, успели за ночь уничтожить не меньше половины моего добра.

Ругая косых, я собираю остатки пшеницы и вдруг замечаю под камнем порванный мешок. Вот счастье, мое хозяйство мало-помалу приходит в порядок. Я накрываюсь мешком и собираю остатки пшеницы. Чего еще мне недостает? Будь здесь дядюшка Авет, он сказал бы, что у меня жизнь, достойная Манташева...

Я окончательно устраиваюсь на жилье в стоге сена. Днем греюсь на солнышке и потихоньку жую пшеницу — моих запасов хватит не меньше чем на неделю,— а на ночь забираюсь в свою сенную пещеру и укрываюсь мешком. Кажется, я всеми забыта, и даже волки не хотят попробовать, какова я на вкус. Вчера много помучилась, прежде чем с помощью зубов и острого комня отодрала два куска мешковины. А с косыми я подружилась. Сплю или не сплю — они без стеснения приходят ко мне, угощаются сеном, а наевшись, поиграют в прятки и убегают. Но они, кажется, свистнули у меня немного пшеницы. Проделали они это тогда, когда я грелась на солнышке. Бесстыжие, у турок научились грабить людей среди бела дня! Ну, погодите, воришки, вот я притворюсь спящей и поймаю одного из вас...

А что, если и в самом деле поймать зайчишку? Такой бы получился шашлык!

Я так загораюсь этим желанием, что даже не думаю о том, что мне нечем развести огонь. «Ладно,— решаю я,— сначала надо поймать, а там будет видно».

Накинув на голову мешок, я сажусь выслеживать зайца. Меня клонит ко сну. Почему-то мне все время хочется спать. Даже когда я сижу на солнышке и жую пшеницу, глаза у меня закрываются сами собой.

Во сне я чувствую прикосновение к лицу чего-то мокрого, холодного, кто-то урчит и лижет меня. Волк, огромный волк! Я вскакиваю, он с визгом кидается в сторону, но тут же бежит обратно и лапами обнимает меня.

— Топлан! — кричу я не то от ужаса, не то от радости и тоже обнимаю ее.

Топлан визжит, тычется мордой в лицо, бьет меня лапами и бешено машет хвостом. Вдруг она срывается с места и, громко тявкая, убегает.

Вот так чудо!.. Откуда взялась наша Топлан? Она же осталась на том берегу реки, в нашем ущелье. Я хорошо помню, как она, скуля и тявкая, плыла за мной до середины реки, затем вернулась к бабушке... А может быть, я все еще сплю? Но разве так бывает во сне? Я же ясно помню, как Топлан лизала мое лицо, и я все еще чувствую прикосновение к щеке ее мокрого носа.

Нет, какой там сон, вон она бежит ко мне. Бежит, тявкает как сумасшедшая, на секунду присядет, словно кого-то поджидая, и опять мчится ко мне. Не выдержав, я выбегаю ей навстречу. Она хватает меня зубами за подол, тащит, как видно хочет

что-то показать. Я иду за ней, и через некоторое время Топлан подводит меня к группе людей, сидящих на обочине дороги. Я с криком бросаюсь к ним.

— Бабушка!..

Меня хватают, передают из объятий в объятия. На лице я чувствую жесткие усы дядюшки Авета. Он целует меня, и слезы катятся по его заросшему бородой лицу.

— Ох, детка моя беспризорная, детка...— рыдает бабушка, обнимая меня.

— Арцвик, Арцвик! — с криком бежит ко мне маленький человечек, весь в лохмотьях. Это Гарик.

Дядюшка Авет снова подхватывает меня.

— Ну, хватит тебе, дай и другим...— отталкивает его Маран.

— А где Асмик и Аник? — спрашиваю я.— Где тетушка Ашхен, Осан, брат Умршат?

— Река унесла,— опережая отца, отвечает мне Гарик.

— Нет, нет, болтает он,— с притворным спокойствием говорит дядюшка Авет.— Все наши, наверно, тоже переправились через реку, только мы не знаем, где они. Найдем и их, как тебя нашли. Обязательно найдем!

— А дядю у...

Дядюшка Авет бросает на меня строгий взгляд и подносит палец к губам. Значит, бабушка еще ничего не знает.

Я веду родных к стогу, показываю им свое жилье, свои запасы пшеницы.

— Ешьте, очень вкусно...

Дядюшка Авет качает головой.

— Была птичкой и живешь как птичка,— вздыхает он.

Маран достает из узла черный от копоти медный котелок. Дядюшка Авет разводит огонь. И вот уже мы едим кашу из моей пшеницы. Как вкусно!

— А Манушак турки увели...— рассказываю я.— Меня тоже должны были убить, но я убежала...

Дальше говорить не могу: горло мне сдавливает, я зарываю голову в подол бабушки и плачу, горько плачу, вспоминая все пережитое в ту проклятую ночь, все свои мучения. Никто меня не останавливает, и я продолжаю рыдать, чувствуя, что слезы облегчают сердце...

СНОВА В УРУТЕ

Не понимаю, как мы оказались в Уруте, когда даже не искали дороги туда. Нам надо было идти в то село, куда уже пришли большевики. Где ж они и почему дядюшка Авет ничего толком не знает?

— Я точно знаю,— говорил он,— что большевики проходили здесь. Это от них удирали турки. А вот в каких селах большевики, не знаю.

— Где же ты был, почему не встретил их? — добивалась я от него.

Я еще ничего не знала о том, что произошло с нашими после того, как они переправились через реку.

— Ну, это длинная история, Арцив джан, как-нибудь расскажу.

Все же после настойчивых просьб дядюшка Авет рассказал мне, что случилось на переправе.

Мы с Мушегом переплывали реку на рассвете, а наши, оказывается, до полудня сидели на берегу. Переправиться не было никакой возможности. Когда схлынула волна беженцев, через реку стали переправляться отступающие войска.

Умршат упросил солдат перевезти на другой берег бабушку и дядюшку Авета с Маран и Гариком. Сам он с Асмик, Аник и Осан переправлялись уже позднее, с другими солдатами. В это время турки начали обстреливать переправу из пулеметов, солдаты и беженцы, успевшие переправиться на другой берег, попрятались за скалы, и никто не видел, сумел Умршат с детьми переправиться или нет.

Наши с дядюшкой Аветом во главе долгое время таскались из села в село, пришли в Александрополь. Там чуть не пропали от голода. Решили опять бродить по селам, но в это время стало известно, что большевики заняли Ереван. И дядюшка Авет решил двигаться им навстречу. Он повел наших в сторону Алагяза, на Урут.

Тут мы и встретились.

— В Уруте нет большевиков, это я хорошо знаю,— сказала я.— Если бы там были большевики, турки не осмелились бы начать резню...

— Вот в страхе перед большевиками они и устроили эту резню,— стал объяснять мне дядюшка Авет.— Почувствовали, что им несдобровать. Да не в одном Уруте, в других селах они тоже грабили и жгли дома, убивали людей, потому что взбешены и не хотят уходить отсюда. Но против Ленина им не устоять.

— Значит, Ленин хочет прогнать турок? — спросила я.

— Да, Ленин отдал приказ выгнать турок из Армении, да и дашнаков вместе с ними. Он послал нам на помощь войско.

— Ну что бы этому войску прийти пораньше! Тогда не обрушилось бы столько бед на наши головы... Манушак не увели бы... И Шеко не убили бы...

— Шеко? Кто это такой?

— Товарищ мой, очень хороший мальчик со светлыми волосами.

— Эх, Арцвнак,— вздохнул дядюшка Авет,— что случилось — то случилось, потерянного не вернешь. Нам надо думать теперь о том, чтобы в последний день владычества турок не попасться им в руки...

...Для того чтобы не попасть в руки турок, нам надо точно знать, куда идти, а мы ни сел, ни путей-дорог в этих краях не знали...

Под предводительством дядюшки Авета мы шли куда глаза глядят и однажды после долгих скитаний вернулись к тому же стогу сена, где было мое жилье.

Это случилось в тот день, когда дядюшка Авет послал меня и Топлан вперед на разведку и мы узнали, что в селе, куда мы должны были идти, полно турок. Об этом сказал нам один старик. Сначала он не хотел отвечать, но мы с Топлан заставили его.

Мы встретились со стариком у самого села.

— Здравствуй, дедушка,— сказала я.

«Гав!» — тявкнула Топлан.

Но старик, не обращая внимания на наше приветствие, продолжал свой путь.

— Дедушка, я говорю — здравствуй!

Старик остановился, часто мигая посмотрел на меня, почему-то покачал головой и снова зашагал по дороге.

Топлан, кажется, возмутилась больше, чем я. Не посоветовавшись со мной, она забежала вперед, тявкнула на старика — и тому отрезан путь.

Этот грозный «окрик» привел старика в себя, он поднял палку. Но Топлан и не думала кусать его, она добродушно виляла хвостом и настороженным взглядом смотрела на старика, словно хотела сказать: «Не ответишь нам, не дам сдвинуться с места».

— Тьфу, чего тебе надо? Пошла прочь с дороги! — закричал старик, размахивая палкой, но Топлан от этого только еще больше оживлялась.

— Не бойся, дедушка,— поспешила вмешаться я.— Ты скажи только, что это за село и кто там сейчас?

— Как это не укусит? Такая огромная собачища да не укусит?

— Говорю, не тронет. Ты только скажи.

— Господи, да что тебе за дело, куда я иду? — возмутился старик.— Готов уйти хоть в ад кромешный.

— Куда хочешь иди, дедуся, только скажи, кто в селе?

— Да как же не идти? Нагрянули турки, вот и иду, не знаешь теперь, где и приклонить свою головушку...

— Топлан, пошли! — окликнула я собаку.— Теперь мы знаем все, что нам нужно... А дедуся глухой.

«Гав, гав!» — подтвердила Топлан, и мы вернулись к своим.

Ночь мы провели в стогах, а утром пустились в путь, и дорога снова привела нас в Урут. Но лучше бы нам не возвращаться в это село.

Дом деда Манука был сожжен. Самого старика убили в ту минуту, когда он пытался отбить Манушак у аскеров. Мастер Давид и Шушан исчезли. Некоторые говорили, что аскеры убили

их; по словам других, они пошли за турками в надежде как-нибудь вызволить дочь. А Шеко и других мальчиков, как я узнала, турки увели неизвестно куда. Арег и Ерванда тоже не было в селе. Одним словом, я лишилась всех друзей, какие были у меня в Уруте, и, несмотря на то что была в родной семье, вновь почувствовала себя осиротевшей.

Говорят, что паша был в Уруте в ночь резни и что Манушак и других таких же красивых девушек отвели к нему. Будто бы только утром он оставил село, увозя с собой девушек и награбленное добро. В горах несколько вооруженных мужчин пытались отбить девушек, но не смогли. Это был, как я слышала из разговоров, отряд Ерванда, и мастер Давид будто бы тоже был в этом отряде... Но трудно сказать, что тут правда, что — нет, разное говорили.

Где же нам теперь остановиться? Дом деда Манука превращен в развалины. Ерванда нет, а с другими урутцами я не так близко знакома, чтобы попросить у них крова. Не с большой охотой пошла я к Башке Мукучу.

Дом у него был теперь уже не таким, как прежде: в нем было пусто — ни ковров, ни ценных вещей. В хлеву остались только волы мастера Давида да моя любимица — сиротинушка телка. Она сейчас же узнала меня и стала лизать мне руки.

— Откуда ты это вылезла? — спросил меня Мукуч с таким видом, словно я только вчера ушла от него.— А мы-то думаем: ежели убили, чего же трупа не видно... А ты, гляди-ка, жива, лохмушка!

— Какое там убили, я еще бабушку с собой привела! — радостно ответила я ему.— Дядюшка Авет и Маран тоже с нами, теперь у нас большая семья.

— Свет очей моих,— издевательски усмехнулся Мукуч,— а где же очаг этой вашей большой семьи?

— У маслобойни. Но там очень холодно, нельзя оставаться, замерзнем.

— Подумать только — они замерзнут! Ну, здесь дворцов и палат вам не приготовлено.

— Дворцы и палаты нам не нужны, но если бы дал нам местечко в хлеву, мы твое добро не забыли бы.

— Ой-ой-ой! Поглядите на нее, как она заносится. Видала, чем ответил паша на мое добро? Нет, кончено с этим, добрых дел нет больше на свете.

— Мукуч-ага джан, да умру я за душу твою, мы же не турецкий паша, мы беженцы. Бабушку мою пожалей... Дядюшку Авета тоже, он без ноги.

— Мукуч, а верно ведь она говорит, может статься, это доброе дело не пропадет,— неожиданно поддержала меня Башка-ханум.— Пусть устраиваются в хлеву. Кто знает, что еще может случиться?

— Ну, если ты не против, пусть приходят...

Вот так мы и устроились в одном углу двора Башки Мукуча, в хлеву.

В первые дни Мукуч совсем не интересовался нами. Только однажды начал расспрашивать дядюшку Авета, что он за человек, откуда пришел, но даже не дослушал его, ушел и больше глаз не показывал.

И что это приключилось с Башкой Мукучем? Ходил он какой-то задумчивый, рассеянный. Словно его подменили. Неужели на него так сильно подействовала резня той ночи? Не может быть. По рассказам соседей, Мукуч совсем не пострадал от турецкого погрома. Говорят, что он как-то узнал о готовящейся резне, успел все ценное спрятать, а сам за час до прихода турок выехал из села.

Обо всем этом я знала, кроме того, что он уезжал из села. Ведь в тот вечер мы с Арег как раз и ждали его. Потом началась стрельба, и все смешалось. Так вот, значит, как поступил этот мерзкий Башка Мукуч: бросил невестку Арег с ребенком, а сам убежал!..

«Наверно, совесть мучит его»,— подумала я, но это показалось мне неправдоподобным: я знала, что хозяева не любили свою невестку и всячески притесняли ее. Однако надо же было узнать, что они думали о ней.

— Черти бы ее поджаривали в аду! — зло ответила Башка-ханум, когда я спросила ее об Арег.— Неблагодарная собака, убежала со своим любовником. На весь свет опозорила мужа, бесстыжая дочь пастуха.

— А кто был ее любовником?

— Спрашиваешь, будто не знаешь. Не ты ли передавала ей от него приветы?

— Я?.. Умереть мне, если я что-нибудь понимаю, ханум.

— Ладно, ладно... И что это тебе втемяшилось в голову: «ханум» да «ханум»,— совсем рассердилась она.— Скажешь «матушка Шушан» — и ладно. А Мукуча зови «дядя Мукуч».

Вот удивительно! Башка-ханум отказывалась от своего ханумства. Мало того, она даже со мной начинала разговаривать по-человечески.

Но мне было трудно отвыкнуть. Никак не поворачивался у меня язык называть ее матушкой Шушан, а может быть, просто не хотела я звать ее именем мастеровой жены Шушан. Я продолжала называть ее «ханум», а она сердилась.

— Назло мне так говоришь? — однажды принялась пробирать меня Башка-ханум.— Сказано тебе, не называй меня «ханум».

— Ты — ханум, как же еще я могу тебя называть? — смутилась я.— Все так называют тебя, ханум джан, чего ты сердишься?..

— Змеиного яду тебе на язык, какая я ханум? Все добро разграбили басурманы, последними нищими стали...

— Разграбили? — удивилась я.— А то, что мы припрятали в яму... что в хлеву? Ведь турки не раскопали ее!

Башка-ханум, побагровев от гнева, сорвала с ноги чувяк и швырнула его в меня.

— Язык вырву, треклятая, если еще хоть раз сболтнешь об этом!

Я побежала к дядюшке Авету и рассказала ему обо всем.

— Ничего у них не выйдет,— выслушав меня, усмехнулся он.— Слишком поздно вздумала твоя ханум шкуру менять, красный всадник уже у порога.

— Они большевиков боятся, да?

— Нет, тебя! Не соображаешь, в кошки-мышки играешь с ними? Но это, пожалуй, и лучше,— хитро подмигнул он мне,— так и зови хозяев, когда придут наши,— «ага» и «ханум». Пусть побесятся.

— А что, разве наши не знают, кто хозяин и кто батрак? Дядя Мушег ведь с ними, а он хорошо знает Башку Мукуча.

— И то верно,— согласился Авет.— Для большевика тут нет никакой тайны, он очень хорошо знает, что думаю я и что твой Башка-ага. Отличить мокрое от сухого не такое уж трудное дело.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Зима становится все более лютой. Стоят такие морозы: плюнешь — ледяшки падают на землю, выдохнешь воздух — он инеем оседает на лице.

— Это не зима, а ужас какой-то,— говорит моя бабушка.— Нет, в наших краях не бывало такой зимы. Где это видано, чтобы вода в хлеву превращалась в камень?

Она почти не выходит из воловьего стойла, все время сидит там, согнувшись. Руки она держит на боку Коло, спину греет о бок Башо и все равно мерзнет. Хлев у Башки Мукуча огромный, его не согревает дыхание двух волов. На ночь мы наваливаем на себя сено, тесно прижимаемся друг к другу, но холод не дает нам заснуть.

Мукуч по-прежнему не обращает на нас никакого внимания. Он чем-то очень занят, по утрам уходит из дому, и не знаю уж, когда возвращается. К нам он не заглядывает и поддерживать огонь в очаге не позволяет.

«Кизяка нет»,— говорит он, а кизяка у него во дворе три огромные груды да еще отдельно — куча овечьих катышков.

Но Башка-ханум иногда заходит к нам и беседует с моей бабушкой. Бабушка и ей говорит, что зима в наших краях куда лучше.

— Нет, у нас божеская была зима, ни руки, ни ноги не мерзли...

— Бабушка,— перебиваю я ее,— а помнишь, как дикие голуби в морозы прилетали на ночь к нам в хлев?

— Э, благоустроенный был дом. Почему им не прилетать? Прилетали, привыкли к нашему дому.

— А помнишь, вода в реке замерзала так, что делалась тверже камня?

— В реке? Ну, река на то и река, чтобы зимой замерзать, какой тут может быть разговор?

— У нас была такая же зима,— настаиваю я,— просто ты не помнишь, бабушка.

— Как это не помню? Все помню,— обиженно говорит бабушка.— При свете-огне в моем доме чего мне еще недоставало, чтобы я боялась зимы?

— Вот это, мир праху твоего отца, ты верно сказала,— вмешивается в нашу беседу дядюшка Авет.— У нас были свои дома-очаги, свой свет-огонь, как ты говоришь. Что нам была зима? А теперь мы беженцы, матушка Нуно, понимаешь, беженцы!.. Помнишь, Умршат говорил, что на свете нет страны лучше, чем его страна. Потерянное всегда кажется самым дорогим, а на родине даже колючки и тернии слаще, чем розы на чужбине. Человек живет своей землей и водой, как дерево своими корнями.

Бабушка костлявой рукой отирает слезу. У меня сжимается сердце, и, чтобы не видеть ее горя, я выбегаю на улицу. Холод режет как меч, но мне все нипочем. Я подбираю подол, втягиваю голову в плечи и бегу.

Мне надо повидаться с Нушик. Неделю тому назад я узнала, что Нушик и матушка Ангин спаслись от резни и поселились у своих родственников в другом конце села. Я уже два раза побывала у них.

Когда я пришла к ним в первый раз, матушка Ангин обняла меня и заплакала, вспомнив Манушак, мастера Давида, Шушан. А вспомнив деда Манука, сказала, что очень горюет — бедняга мог бы еще лет двадцать прожить... Потом она стала проклинать турок, Башку Мукуча и всех богачей-притеснителей, из-за которых свалилось на наши головы это бедствие.

— Придет Ерванд, он покажет им! — пригрозила Нушик.— Сперва расправится с нашим сватом Башкой, а потом и с турками.

Одним словом, у меня с Нушик и матушкой Ангин есть о чем вспомнить, погоревать, и поэтому я бегу к ним облегчить свою душу.

Сегодня Нушик старается меня уверить, что на гумнах в эти морозы есть подснежники.

— Они под снегом,— говорит она,— но их можно раскопать.

Я не верю, но, чтобы не обидеть ее, иду с ней на гумна. Топлан бежит вместе с нами.

Нушик выводит меня из села на огороды. Откуда-то в ее руках появляется железка, и ею она начинает раскапывать снег. Копает, руки у нее коченеют, на ладонях вздуваются волдыри, а подснежника все нет и нет.

— Теперь ты,— говорит она, протягивая мне железку.

Я тоже старательно ковыряю мерзлую землю, мне становится даже жарко. И вдруг в рыхлой уже земле показывается розоватая головка моркови.

— Ну, разве я не говорила? — ликует Нушик.

— Ты говорила о подснежниках, а это морковь.

— Дурочка, да как же вырастет подснежник в этот мороз?

— А как выросла морковь?

— Морковь зарыли. Это огород Бариков. Осенью, когда еще не было снега, собрали ее и зарыли в землю. Я говорила о подснежниках, чтобы другие не узнали. Ведь мы же потихоньку пришли, если узнают, побьют.

— Значит, воруем?

— Нет, какое же это воровство? Просто нашли и едим. И потом — это же морковь, не что-нибудь.

— Верно, и у нас в селе был огород Никола, я тоже всегда таскала оттуда морковь.

Мы жадно едим грязную, немного подмороженную морковь. Я рассказываю Нушик о нашем селе, о Кружилом омуте и водяных старухах, а потом, как Осан, протягивая руку к далеким, покрытым снегом горам, вздыхаю:

— Вон за той самой высокой горой есть еще одна такая гора, а за ней — наше село. В нашем селе было так много рыбы...

— Рыбы? В селе? — удивляется Нушик.

— В реке, конечно.

— А река была в селе?

— Да, внизу, под нашим селом... У нас и зима не такая холодная, мы не мерзли. А я училась читать.

Нушик совсем поражена, широко раскрывает глаза.

— Ты умеешь читать?

— И читать и писать.— Я беру из ее рук железку и пишу на снегу: «Соrо долой Нушик Арцвик».

— Что это ты написала?

— Это,— показала я на первое слово,— Сого, он у нас в селе был хмбапетом... А вот это я твое имя написала.

— Рядом с хмбапетом?

— Нет, между вами есть еще одно слово...

Топлан вдруг поднимает уши и тявкает.

— Детки, что вы тут делаете? — раздается мужской голос, и мы отскакиваем в сторону.

В нескольких шагах от нас, держа за уздечку коня, стоял незнакомый всадник в овчинной шубе. Он медленно подходит к нам, а мы испуганно пятимся от него. Увидев в яме красноватые морковки, он наклоняется и берет одну.

— А, вон что тут у вас... Попробовать, что ли? — Незнакомец обтирает морковку о полу шубы, откусывает, с хрустом жует ее и подмигивает нам: — А ведь вкусно!

— Это, наверно, святой Саркис,— шепчет мне на ухо Нушик.— Давай убежим!..

Но я не могу сдвинуться с места, ноги словно приросли к земле.

— О чем это вы там шепчетесь? — смеется незнакомец.

— Дядя, а ты человек? — робко спрашивает Нушик.

— Человек. А кто же еще? Не сатана же я. А морковь у вас хороша.

— Это не наша, Бариков. У нас нет моркови.

— А что у вас есть?

— Они беженцы,— указывает на меня Нушик,— ничего у них нет, а мы пастухи. А теперь и пастухами не будем, отца убили.— Губы у нее кривятся, она отирает глаза рукавом.— Дядя, ты нас не побьешь?

— Кто у вас сейчас в селе? — не слушая Нушик, обращается незнакомец ко мне.

— Всякие люди есть,— отвечаю я.— Мукуч-ага, Нушик, дядюшка Авет, он только недавно пришел... Турки я не знаю где, мы ждем большевиков.

— Все ясно,— улыбается незнакомец и, сунув два пальца в рот, свистит.

Из-за скалы появляется еще один всадник. Оба о чем-то тихо разговаривают, потом наш знакомый берет за руку Нушик.

— Пойдем, посажу на коня, вместе поедем в село.

Нушик испуганно упирается:

— И Арцвик посади.

Другой всадник подхватывает меня и сажает в седло.

Кони шажком двигаются вперед, а я все еще не могу опомниться. Что это за люди, откуда они взялись и куда нас везут? Почему я села на коня с незнакомым мне человеком?

Я начинаю уговаривать всадника, чтобы он спустил меня с коня.

— Не хочу, боюсь ехать на коне... Мне надо вернуться к бабушке, я ее только недавно нашла.

— Вот и хорошо, верхом на коне приедешь к ней в дом. У вас есть теплый хлев? — спрашивает всадник.

— Хлев есть, только не наш, а Мукуч-аги. Он очень богат, и все боятся его. А мы живем у него в хлеву.

— Ничего, и мы там поживем. Мы простые люди.

— Что значит «простые»?

— Солдаты...

Так, оживленно беседуя, мы въезжаем в село, едем по кривым улочкам. Прохожие удивленно смотрят на нас. Топлан, держа хвост торчком, бежит впереди. Нушик, увидев кого-то из знакомых, кричит:

— Дядя Саак, мы приехали!

Заметив толпу на сельской площади, всадники останавливают коней. Я мигом соскальзываю с седла и мчусь домой.

В воротах меня останавливает Мукуч:

— В чем дело, что случилось?

— Солдаты пришли... тысяча всадников!..

Мукуч как-то съеживается, кряхтит, словно на плечи ему ложится тяжелая ноша. Потом вдруг выпрямляется, торопливо бежит в дом, одевается и уходит в село.

Постукивая деревянной ногой и сильно прихрамывая, выходит дядюшка Авет. Я кидаюсь к нему:

— Дядюшка Авет, солдаты пришли! Они там, на селе!

— Кто такие? Что они говорят?

— Не знаю кто. Хорошие люди. Я и Нушик привели их в село. Если бы не мы, они бы не пришли.

Лицо у дядюшки Авета светлеет. Он радостно смеется, хлопает палкой по своей деревянной ноге и, больше не обращая на меня внимания, бодро подпрыгивая, спешит на село.

Я не знаю, что делать. Мечусь как угорелая взад-вперед и в десятый раз рассказываю бабушке и Маран, как мы встретились с солдатами и привели их в село.

— Ладно, слышали,— недовольно говорит Башка-ханум.

— Ханум джан, если б ты видела! Мы ели морковь.

— Опять «ханум»! — сердится жена Мукуча.— Что ты привязалась к этому слову, никак не отцепишься?

Маран наклоняет голову, пряча улыбку.

— А куда делся твой дядюшка Авет? — спрашивает она меня.

— На село пошел к ним, к солдатам. Башка-ага... дядя Мукуч тоже туда пошел. Пойдем и мы, тетя Маран?

Не дожидаясь ее, я выбегаю за ворота, бегу по улице — и что же вижу? Мукуч, держа коня за уздечку, ведет к своему дому знакомого мне всадника и оживленно беседует с ним, а другой всадник едет за ними. По обеим сторонам идет большая толпа сельчан. Каждый старается ответить на расспросы всадников, но за всех отвечает один Мукуч. Он не дает никому и рта раскрыть, а сам говорит и говорит, не умолкая ни на минуту.

Дядюшка Авет ковыляет позади всех. Войдя во двор, Мукуч оборачивается к нему и дружески говорит:

— Принимай гостей, Авет джан, проводи парней в комнату, а я задам корму лошадям... Ну, слушайте,— кричит он сельчанам,— чего вы толпитесь, не видели, что ли, людей? — И, кивнув головой дядюшке Авету, ведет коней в стойло.

ЗАЧЕМ ПРИХОДИЛИ И ПОЧЕМУ УШЛИ

Второй день солдаты с нами, и в доме Мукуча все время полно народу. Люди приходят и уходят, разговаривают с солдатами, шумят, но я еще плохо понимаю, что к чему.

Солдаты никому не говорили, кто они и зачем пришли, но всех расспрашивали, всем интересовались. Башка Мукуч разговаривал с ними так, будто они были его давнишние знакомые. А урутцы все шли и шли, жаловались, рассказывали, как их грабили турки, кого убили, кого угнали в плен. Про всех говорили, а про Манушак никто и не вспомнил, словно такой девушки и не было на свете.

— Дядюшка Авет, и про Манушак скажи,— попросила я.— Так жалко ее.

— Скажу, конечно, скажу,— пообещал он,— только это ей не поможет. Увели, не вызволишь из неволи.

А Мукуч все рассказывал: дескать, с почетом принял пашу, а тот, неблагодарный, первым же и ограбил его, и теперь он стал последним бедняком на селе.

— Верблюд если и подохнет, шкура его непосильный груз для осла,— сказал, смеясь, дядюшка Авет.— От богатого — богатство, от бедняка — что возьмешь?

Солдаты тоже засмеялись.

— Э, парень, ты скажешь тоже...— начал укорять его Мукуч.— Какой дохлый верблюд, какой груз для осла? Все мое добро перед твоими глазами, взвалишь на петуха — понесет. Что там говорить, дружище! На что нам богатство? Говорят, большевики идут. Верно, ребята? — обратился он к солдатам.— А ежели так, чего нам горевать?!

Солдаты как-то смущенно умолкли, а дядюшка Авет продолжал дразнить Мукуча.

Они высмеивали друг друга, а окружающие слушали их и перемигивались.

— А этот одноногий беженец бедовый, кажется, парень,— перешептывались урутцы.— Все молчал, а теперь гляди как подкалывает Мукуча! Должно, силу почуял...

Дядюшка Авет очень подружился с Еноком — тем самым всадником, который первый подошел ко мне и Нушик и грыз подмороженную морковку. Как только Мукуч уходил и в комнате не оставалось посторонних людей, Енок и дядюшка Авет начинали шептаться.

Солдаты охотно прислушивались к тому, о чем говорил Авет. Это очень не нравилось Мукучу, и он иногда принимался уговаривать своих постояльцев: Авет, мол, человек неглупый, но он чужак — откуда ему знать, кто чем дышит в Уруте? Ежели им надо о чем-нибудь разузнать, пусть, дескать, спросят его, Мукуча.

Сам он старался разузнать, что это за люди, и, как видно, неспроста называл солдат «товарищами».

— Шушан, что, товарищи поели?.. Лошадям товарищей дали ячмень?..

А дядюшка Авет, не упуская случая позлить его, шутил:

— Товарищей лошадей и ячменем накормили и водой на-

поили. Мукуч-ага, товарищи лошади сказали, что премного благодарны хозяину.

— Шутник ты, Авет,— с притворным добродушием отвечал Мукуч на его слова.— Такой закон, потому так и говорим. Мы люди, уважающие закон...

— А откуда ты взял, что у них такой закон? — продолжал подшучивать дядюшка Авет.— Может быть, они вовсе и не товарищи...

Мукуч растерянно молчал, а Енок поднимался с места и, посмеиваясь, уходил во двор. Что ни говори, мучительны были эти дни для Мукуча.

А Башка-ханум, к нашему изумлению, стала в эти дни небывало доброй. С появлением в доме солдат она больше не позволяла нам спать в хлеву, а меня называла на иначе как Арцвик джан.

— Мало горя хлебнули, не хватает еще, чтобы лошади подавили детишек,— сказала ханум в тот день, когда пришли солдаты.

Она перевела нас в тонирную, дала даже укрываться два потертых ковра, а Маран велела взять из ямы в кладовой картошки и наварить нам ее.

Вечер. В тонирной слабо мерцает светильник. Башка-ханум не поднимает фитиль, чтобы масла много не выгорало, а вокруг так темно, что мы едва различаем лица.

Маран вынимает из горшка по одной картофелине, чистит и дает нам по очереди. Я и Гарик мигом проглатываем, что нам попадает в руки, а бабушка долго жует беззубым ртом и все никак не может прожевать. За последнее время она очень изменилась, похудела, стала какой-то маленькой. По целым дням сидит она голодная, а когда ей дают что-нибудь, не может есть.

— В горле застревает,— говорит она, глотая слезы.

Все думает о дяде, о наших потерянных детях.

— Ешь, матушка Нуно, ешь! — уговаривает ее Маран.— Не будешь есть, совсем ослабеешь.

— Авету отложили долю? — спрашивает бабушка и вздыхает: — Бедный, весь день на ногах...

— Две доли, вот, они! — говорит Гарик и берет в руки картофелины, отложенные для отца.— Бабушка, посмотри, какие большие. Как это отец съест их?

— Не съест,— смеюсь я,— тебе половину отдаст.

— А я тебе дам от своей доли,— обещает Гарик.

— Хватит вам болтать, съели свою долю, идите спать,— говорит Маран.

Мы с Гариком забираемся в постель, но нам не спится. Ждем дядюшку Авета. Мы очень соскучились по нему, потому

что целыми днями он пропадает неизвестно где, а когда остается дома, с ним всегда бывают люди.

С улицы доносятся голоса, фырканье лошадей. У двери раздается голос Мукуча:

— Сестра Маран, дай-ка сюда огня.

Маран берет светильник и выходит из тонирной. Слышатся торопливые шаги, конский топот.

— Авет, в стойле есть сено? — спрашивает Мукуч.

Маран возвращается, ставит светильник на место и стоит, глядя на дверь.

— Маран джан, что там за люди? — спрашивает ее бабушка.

— Не знаю, приехали какие-то товарищи Енока. Они там с Аветом ставят лошадей.

Наконец дверь распахивается, и на пороге показывается дядюшка Авет. Из-за его плеча выглядывает смеющийся парень в остроконечной шапке.

— Арцвник!

Я вскакиваю с постели и кидаюсь ему на шею:

— Дядя джан!

Это Мушег. Он похлопывает меня по спине, смеется, о чем-то спрашивает, но я ничего не понимаю.

— Ну, а где же... где остальные?

— Остальные?.. Это моя бабушка, а это Гарик...

— А Манушак? Где она?

— Нет ее с нами, турки увели... когда была резня. Схватили за косы и утащили.

Мушег как подкошенный опускается на опрокинутое деревянное ведро и обхватывает голову руками. Мы все молчим. Слышится только, как всхлипывает бабушка.

— А я думал... Раньше надо было, раньше!.. Погибла девушка,— стонет Мушег.

Дядюшка Авет смущенно кусает губы, не зная, что сказать.

— Мушег! Мушег! — кричат со двора.

Мушег поднимается, обводит нас затуманенным взглядом и выходит. Я хочу выбежать вслед за ним, но дядюшка Авет останавливает меня и велит ложиться спать. Я снова забираюсь в постель и горько плачу...

В эту ночь мы уже не могли уснуть. Во дворе все время шумели мужчины, слышались их голоса, топот ног.

Башка Мукуч уговаривал кого-то не уходить ночью, подождать до рассвета. Он упрашивал с такой настойчивостью, что Енок даже прикрикнул на него.

— Ребята, выводи коней! — резко прозвучал его голос, и во дворе застучали по камням подковы лошадей.

Мушег вошел в тонирную и тихонько позвал меня:

— Арцвник!

— Я здесь, дядя Мушег! — сейчас же откликнулась я.

— Будь здорова, сестричка, уходим. Не горюй, мы еще вернемся! — Мушег торопливо поцеловал меня и вышел.

Я так и не поняла, что произошло в эту ночь. Внезапно все стихло, словно весь мир опустел. Только деревянная нога дядюшки Авета тоскливо поскрипывала...

Утром, когда я проснулась, дядюшка Авет успел уже исчезнуть. Ода в хлеву была пуста. В очаге еще тлел кизяк, на полу валялись затоптанные окурки. И в стойле было пусто. На каменном настиле виднелись кучки конского помета, клочки сена. Телочка-сиротинушка жадно подбирала эти клочки сена, оставшиеся после лошадей. Мукуч, задумчивый, хмурый, стоял у двери.

— Убирай в стойле,— сказал он, увидев меня.

— А лошади больше не придут? — робко спросила я.

— Откуда я знаю, придут, не придут? Бери метлу, подметай,— кивнул он на стойло и, что-то ворча себе под нос, зашагал в село.

Около полудня вернулся дядюшка Авет. Лицо у него после бессонной ночи осунулось, глаза покраснели.

Увидев меня с метлой в руках, он горько улыбнулся.

— Опять взялась за батрацкую работу? Ничего, мети, все кончится хорошо.

— Авет,— спросила его Маран,— куда это так заторопились ребята?

— Ничего я толком не знаю. Это Мушег взбаламутил всех и увел.

— Значит, они больше к нам не придут?

— Сказали — придут. Откуда мне знать?.. Да нет, придут! — добавил он уже более уверенно, обнадеживая себя.— Служба ведь, может, приказ какой...

А вечером Мукуч объявил, что эти солдаты были большевики, что они убежали и больше не вернутся.

— Убирайте-ка отсюда свое отрепье,— сказал он бабушке.— Во вшивую чайхану превратили дом.

— Выбрасываешь мою семью? — мрачно спросил дядюшка Авет.

Мукуч на минуту задумался, потом угрюмо ответил:

— Где уж там... Выброшу — куда пойдете? Тебе повезло, что устроился ты в доме у совестливого человека. Идите в хлев, там тепло.

И мы снова начали устраиваться в хлеву.

— Э, мелкокопытные, как жили, так и будет жить. Хлев большой, кувыркайтесь сколько душе захочется,— шутливо подбадривал нас дядюшка Авет, но было видно, что скребет у него на сердце, и шутка не получалась такой веселой, как раньше.

— Что же это такое, Авет джан? — с растерянным видом спрашивала бабушка.— Зачем они приходили и почему ушли?

— Не беспокойся, матушка Нуно, придут еще эти парни, обязательно придут! — обнадеживал он ее и курил, без конца курил.

КОГО ЖДАЛИ И КТО ПРИШЕЛ

У меня, кажется, сердце лопнет от нетерпения. Когда же придут наши? Неужели они забыли об Уруте и больше не вернутся? Но ведь обещал же вернуться дядя Мушег и сказал мне, чтобы я не горевала. Что же еще могло случиться?

Дядюшка Авет волновался не меньше меня. Он старался не говорить об этом, но было видно, что нетерпение гложет его. Вспомнив свое прежнее ремесло, он начал изготовлять налики[1]. Как только была сделана первая пара, появилось много заказчиков. Весть о том, что одноногий беженец большой мастер по наликам, быстро распространилась по всему селу.

Заказов-то было много, да никто не хотел платить. Одни были так бедны, что им трудно было уплатить за налики мерку муки или пшеницы, а другие просто нахальничали. Глядишь, идет какая-нибудь краснощекая кума, ведет за собой такую же упитанную дочь или невестку. По всему видно, что желудок у нее не просит пищи, в очаге не угасает огонь, поставец полон хлеба. Сначала она расспрашивает Башку-ханум о житье-бытье, осведомляется о здоровье Мукуч-аги, жалуется, что басурман паша обобрал всех до нитки и невестка или дочь осталась босой, а потом заговаривает о деле:

— Слышала я, кума Шушан, что этот ваш жилец делает налики. Скажи ему, пусть и для моей невестки сделает пару. Не забудем твоей доброты, а в молотьбу отдадим что следует.

— Непременно, кума Вардануш, не такое уже большое дело — налики. Скажу, пусть сделает. А о плате нечего и говорить. Неужели уж у меня нет настолько уважения к своему крестному, чтобы пожалеть пару наликов для его невестки?

Кума Вардануш с довольным видом возвращается к себе домой, а Башка-ханум уже торчит над головой дядюшки Авета.

— Одну пару для невестки моего крестного сделай.

— Непременно, кума Шушан,— усмехается дядюшка Авет.— Труд — мой, подарок — твой!

— Злой ты человек,— укоряет его Башка-ханум.— За добро добром оплачивают. Мукуч не сын твоего отца и не обязан давать тебе кров. Да и что такое налики? Если говоришь о плате, так отдадут тебе в молотьбу, не бойся.

— Осел, погоди подыхать, придет весна, вырастет трава,— горько усмехается дядюшка Авет и снова принимается за работу.

Весь день он не выпускает ножа из руки, строгает, а мы с

---

[1] Налики — деревянные крестьянские сандалии.

Гариком собираем для него кусочки стекла — ими он отделывает налики так, что они начинают блестеть, как само стекло. Башка-ханум выхватывает у него из рук готовые налики, напяливает себе на ноги и, стуча деревом по каменному настилу, носится по двору. Она говорит, что у Авета золотые руки и что с такими руками грешно голодать.

Одну за другой дядюшка Авет изготовил десять пар великолепных наликов. Башка-ханум примерила все десять пар, отобрала самые легкие налики и заявила, что пошлет их невестке своего крестного.

Дядюшка Авет молча взял налики из ее рук и поставил вместе с другими.

— В молотьбу, в молотьбу, кума Шушан,— спокойно сказал он.— Вот когда принесут плату, тогда и возьмут налики — и пусть носят себе на здоровье.

Башка-ханум обидчиво поджала губы и отошла в сторону.

— Напрасно ты обижаешься,— продолжал дядюшка Авет.— В семье твоего крестного люди лопаются от жратвы, а моя семья голодает. Я сделал эти налики, чтобы выменять их на хлеб. Пойду с ними в соседние села.

— А наша плата — не плата? — заворчала Башка-ханум.— Живешь под кровлей такого человека, как Мукуч, и работа у тебя в руках, и покупатель стоит у дверей — на что тебе другие села?

— Из-под крова твоего Мукуча хочу сбежать,— как бы в шутку проговорил дядюшка Авет и добавил: — Не думай, Шушан-ханум, что я такой уж бессловесный ягненок.

— Свинья от дуба кормится, дубу же корни подрывает,— совсем разобидевшись, сказала Башка-ханум.— Надо было оставить тебя под стеной маслобойни, тогда так не разговаривал бы!

— Ладно, мне некогда разговаривать, надо идти...

Дядюшка Авет уложил налики в хурджин, взял в карман кусок ячменного хлеба, и мы собрались уходить.

Гарик плакал, топал ногами, возмущенный тем, что отец берет с собой «бабу», а не такого настоящего мужчину, как он. Маран говорит, что он подхватил это слово у солдата, который, уговаривая других солдат переправить через реку ее и Гарика, будто бы сказал: «Не оставлять же в руках турок эту несчастную бабу».

Мы пустились в путь, не зная, не видя никаких дорог. Все вокруг было покрыто толстым слоем снега, не встретилось ни одного прохожего, и некого было спросить. Около полудня мы заметили вдали тонкую струйку дыма.

— Вот и село! — обрадовался дядюшка Авет и заковылял быстрее; его деревяшка на ноге наполовину уходила в снег.— Ты уж помолчи,— что нужно, я сам скажу,— предупредил он меня.

— А чего тут говорить? Налики продаем, так и скажем! Никакой тайны тут нет.

— Налики? — усмехнулся он.— Что же мы, не могли их в Уруте продать? Нет, дело не в наликах.

— Зачем же мы потащились в эту собачью стужу?

— Надо узнать, что к чему, зачем приходили и почему ушли...

— Кто?

— Твой дядя Мушег и его товарищи.

— Господи, ну так и сказал бы сразу, что пойдем искать большевиков, а то выдумывает всякую всячину!

— А что я, твоего языка не знаю? Помнишь, в селе...

— Э, дядюшка,— недовольно перебила я,— времена изменились, теперь уж и я не та...

Дядюшка Авет внимательно посмотрел на меня и грустно улыбнулся.

Село, в которое мы пришли, казалось вымершим: двери домов закрыты, на улицах ни души.

— Налики! Вот новые скрипучие налики! — начинает выкрикивать дядюшка Авет.

— Налики, хорошие налики! — выкрикиваю и я тонким голосом и для приманки покупателей добавляю: — Налики, американская жвачка!

Дверь одного домишка открывается, из нее высовывается голова женщины, обвязанная тряпьем. Женщина что-то недовольно бормочет и скрывается.

— Погоди, что это ты болтаешь? — вытаращив на меня глаза, спрашивает дядюшка Авет.— Какая американская жвачка?

— Арутик-солдат так кричал, и у него все сразу расхватывали,— оправдываюсь я.

— Арутик... Может быть, у него и была американская жвачка, а это ведь налики, сделанные своими руками.

— Дядя, что вы продаете? — подбегая к нам, спрашивает маленькая девочка.— Жвачку, да?

— Налики продаем, малышка, американские...— Дядюшка Авет сердито дергает меня за руку.

Девочка, ничего не поняв, убегает от нас.

С палкой в руке идет по улице пожилой мужчина.

— Здравствуй, старший брат,— приветствует его дядюшка Авет.

— Добро пожаловать, брат,— отвечает мужчина и останавливается. Вынув кисет, он свертывает цигарку и протягивает табак Авету: — Кури, брат.

Они закуривают цигарку, говорят о том о сем.

— Опять, значит, американскую жвачку припутали? — говорит наш собеседник, настороженно поглядывая вокруг.— Вовремя сообразили...

— Какая там жвачка, брат! Пошутила девочка, ребенок еще... Налики продаем,— тихо отвечает дядюшка Авет.

— Ну, американская жвачка не такая уж беда. Вот американские прихвостни опять выскочили на божий свет — это будет похуже,— все так же озираясь вокруг себя, шепчет пожилой крестьянин.

— Не понимаю тебя, брат. Кто появился на божий свет? — притворяясь непонимающим, спрашивает дядюшка Авет.

— Хмбапеты... Кто же еще?

Авет оторопело смотрит на крестьянина, я тяну его за рукав:

— Дядюшка, пойдем отсюда.

— Да погоди ты...— сердито дергает он рукой и шепотом спрашивает крестьянина: — Неужто правда?

— Какой еще тебе правды? Ночью сорок конников двинулись на Кафтарлу.

— Что это за местечко?

— Ты не знаешь Кафтарлу? Откуда же ты пришел? — Крестьянин наклоняется к Авету и говорит: — Это село первым приняло большевистский закон, там было немало своих большевиков. Теперь не знаю, что случилось, большевики ушли, а вот эти проходимцы опять вылезли на свет.

Он вдруг умолкает и с недоверием смотрит на дядюшку Авета.

— Не подумай чего дурного, брат. Я человек неграмотный, в этих делах мало смыслю и ничего толком не знаю. Так другие говорят...— И он, взмахивая палкой, уходит, но несколько раз оборачивается и подозрительно смотрит на нас.

— Ну, Арцвнак, плохи наши дела,— задумчиво говорит дядюшка Авет.— Пошли!

— А налики?

— Не стоит с ними таскаться, пусть уж носят урутские кумушки...

Растерянные и подавленные, мы выходим из села.

Дорога нам кажется еще более тяжелой. Дядюшка Авет совсем не может идти, с трудом вытаскивает из снега свою деревяшку. Лицо у него бледное, хмурое, усы жалко обвисли.

— Дядюшка, ты устал, давай немножко отдохнем,— предлагаю я, но он, погруженный в свои думы, не слышит меня.— Дядюшка Авет, посидим, говорю.

— Э, нашла время сидеть. Пошли, доберемся до места, там будет видно, что делать... Значит, что же это такое получается,— рассуждает он сам с собой,— та же вода на ту же мельницу? Нет, не может этого быть. Войско прибыло, Красная Армия. Ленин ведь не шутил... Ну, а что ты думаешь, Арцвнак, будет для нас играть зурна?

— Ничего я не понимаю, дядюшка... Вот не продали налики и опять будем сидеть голодные. Хоть бы продать.

Дядюшка Авет вынимает из кармана кусок ячменного хлеба и дает мне:

— Возьми, ешь пока, а там видно будет...

Он присаживается на камень и свертывает цигарку.

Вдали показываются какие-то всадники. Я первая замечаю их и вскакиваю на ноги.

— Сиди, сиди,— останавливает меня дядюшка Авет.— Посмотрим, что за народ.

Но я вижу, что и он встревожен.

Всадники приближаются, и мы ясно видим, что это за люди. Нам давно знакомо снаряжение хмбапетов: на голове папаха, на груди скрещенные патронташи, на боку маузер.

Конник в черной бурке, в папахе, сдвинутой набекрень, пришпоривает коня и подъезжает к нам.

— Что за человек? — осаживая коня, обращается он к дядюшке Авету. Как видно, он сильно навеселе.

— Так себе, человек с двумя руками и одной ногой, армянин,— с усмешкой отвечает дядюшка Авет.

— А что случилось с твоей другой ногой?

— Не выдержала, износилась.

Конник хохочет, зовет своих:

— Эй, ребята, давай сюда! Тут такой шутник...

Конник хохочет, зовет своих:

— Что у вас тут? Выпить нет?

— Налики, дядя, мы налики продаем,— вмешиваюсь я.— Купи, дешево отдадим.

Конники громко хохочут.

— Ты мне скажи,— спрашивает какой-то пьяный, пьянее всех,— ты большевик или дашнак?

Дядюшка Авет, будто не понимая его, только пожимает плечами.

— Нет, ты скажи, раз тебя спрашивают: большевик ты или дашнак? — настаивает пьяный конник.

— Кем был, тем и остался,— спокойно отвечает дядюшка Авет.

— А кем ты был?

— Никем.

— Э, нет, ты не отвиливай, не осленок же ты осла!

— Отстань, что ты прицепился к этому горемыке! — останавливает пьяного другой конник.— Не видишь, темный человек, ничего не знает о том, что творится на белом свете... Ты вот что скажи нам, дядя,— обращается он к Авету,— что там делается, в этом селе? О чем говорят сельчане?

— Ждут вас.

— А мы — кто?

— Кем были, теми и остались.

— Ты, видно, и вправду шутник,— смеется конник и пришпоривает коня.— Айда, ребята!

Конники с хохотом, с гиканьем пускают коней и скачут в оставленное нами село.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«МЫ ВЫДЕРЖИМ, АРЦВНАК!»

Не понимаю, что и творится на свете. Словно весь мир оседлал коней и носится по нашим путям-дорогам. Несколько дней тому назад хозяином в Уруте был Енок со своими товарищами, дядюшка Авет был .весел и бодр, а Башка Мукуч покорно говорил, что он человек закона: в чьих руках, дескать, будет закон, тем он и будет подчиняться. А теперь опять в селе полно дашнаков, и опять Мукуч говорит, что он человек закона и порядка. Но все видят, что закон-то в руках самого Мукуча. Сейчас он в Уруте вроде нашего носача Симона,— задрав нос, расхаживает по селу с плетью в руке, всем приказывает, на всех орет. Вчера вечером к нему привели нескольких сельчан. Это были жалкие люди в рубищах, у одного не было даже трехов, ноги были обернуты тряпками. Они будто бы украли государственную соль и принесли продавать в соседнее село, а дашнаки схватили их и приволокли к Мукучу. Башка Мукуч разорался, отхлестал этих бедняков плетью и соль у них отобрал. И хоть бы соль была! В небольшом грязном мешке было что-то похожее на мокрый желтый песок.

— Мукуч-ага,— говорили крестьяне,— на небе — бог, на земле — ты, сам рассуди: эта соль — наша надежда. Пошли в город, на вокзале собрали ее прямо с земли, думали выменять на кусок хлеба детишкам. Голодные они...

— Что вы мне рассказываете! — заорал на них Мукуч.— Чтобы соль на вокзале была рассыпана? Врете! Люди тухнут, сидя без соли, а вы грабите государственное добро! Да за это вас надо в Сибирь угнать!

Я знаю, в Уруте нет соли и люди за одну горстку ее готовы вцепиться друг другу в горло. А дашнаки, должно быть, и в самом деле протухли; избив и прогнав крестьян, они стали жадно расхватывать соль. Мукуч, хоть и не очень нуждался в ней, тоже не отказался урвать свою долю.

Дядюшка Авет, поскрипывая деревянной ногой, взволнованно ходил вокруг и негромко ругался. На него не обращали внимания. Но вдруг один солдат-дашник ударил его по деревяшке плетью и захохотал:

— Придет весна, сойдешь за аиста!

— Да, ежели змеи доживут до весны, найдется дело и для аиста,— сказал Авет.

— Ты что, большевик? — сразу же стал серьезным дашнак.

— Кем был, тем и остался, а зовут меня Аветом.

Я с ужасом ждала, что дашнак изобьет его плетью, но в это время подошел Мукуч и послал дядюшку Авета за сеном.

Почему Башка Мукуч не трогает его? Неужели он не видел, что дядюшка Авет был с большевиками?

— Думает про черный день,— посмеивается дядюшка Авет.— О, это человек себе на уме, он хорошо понимает, что наступит время, когда ему придется отвечать за свои дела.

— Значит, наши...

— Ну конечно...— Он подмигивает мне: — Ничего, мы выдержим, Арцвнак!

Может быть, Мукуч и понимал это, но в таком случае почему же он нагнал в стойла столько скотины? В первый же день, как в село пришли дашнаки, неизвестно откуда в стойлах появились его буйволы и коровы, а вчера тот же молодой пастух, который резал беленького барашка у ног паши, пригнал с зимовья стадо овец.

Дядюшка Авет думал, что это ворованный скот, приведенный дашнаками, но я сказала ему, что все эти буйволы и коровы — Мукуча.

Видели бы вы, как Башка-ханум, шурша подолами, носилась из стойла в стойло! Она ласково гладила спины буйволов, коров заставила сейчас же подоить, да еще и накричала на Маран, что та, дескать, не умеет доить.

— Умереть мне за сладкий запах копытных! — ликовала она.— Без этих буйволов мой дом был похож на разрушенный монастырь.

— Если бы вернулась и невестка Арег, у вас в доме все было бы как прежде,— сказала я.— Без невестки очень скучно у вас.

— Коза для козы лучше стада овец,— сейчас же задрала нос Башка-ханум.— Дочь пастуха для тебя дороже всех, ведь это тебе поручала она передавать приветы своему любовнику. Нет, больше она не переступит порог моего дома. Опозорить такого человека, как Мукуч! Пусть теперь сама себя проклинает...

— Э, Шушан-ханум,— вздохнула Маран,— насильно мил не будешь. Не надо было брать ее против воли, раз она любила другого.

— А кто ее брал, я, что ли? — разозлилась Башка-ханум.— Из-за нашего Гогора все получилось. Лев парень, все девушки в селе были без ума от него. Но что поделаешь, приглянулась ему эта шальная пастушка. Был молод, не смогли мы его отговорить.

Башка-ханум всегда так расписывает брата Мукуча Гогора, что кажется — нет на свете другого такого молодца.

— Поглядели бы вы на него, когда он на коне! Сзади саб-

ля, на груди патронташи... Не ела бы, не пила, только глядела на такого красавца!

— Значит, ваш Гогор не похож на Мукуч-агу? — спрашиваю я.

— Как это не похож? Брат с братом — как две половинки яблока,— с гордостью говорит Башка-ханум.

— Тогда какой же это красавец?

Башка-ханум в бешенстве швыряет в меня чувяком:

— Сгинь, проклятая!

Я бегу к Нушик, чтобы разузнать, какой же он, этот Гогор, который носит саблю сзади, а не на боку, как наш Мушег.

— Он и в подметки не годится Мушегу,— сморщив нос, отвечает мне Нушик.

— Почему ты так говоришь о нем? Он же твой зять.

— Какой он нам зять? Он сестру насильно увел, и моя мать еще ни разу не делала для него «яичницу тещи».

— А у вас было из чего делать эту яичницу?

— Не было! — как будто даже с гордостью отвечает она.

Мы сидим на крыше их дома, и все село перед нами как на ладони. Нам видно, у кого открылась дверь, кто вышел, чья невестка с коромыслом на плечах отправилась за водой или какая старуха сзывает кур.

Вон въезжает в село довольно большой отряд всадников. Впереди с ружьем за плечами едет всадник на белом коне. Рядом с белым идет серый конь в яблоках. Сидящий на нем всадник, вытянув плеть, что-то указывает соседу, тот поднимается на стременах. У меня сердце чуть не выскакивает из груди. Не сказав Нушик ни слова, я вскакиваю с места и бегу навстречу всадникам.

— Это Гогор! — кричит мне вслед Нушик и бежит за мной.

— Нет, это Каро! — кричу я, задыхаясь от бега.

Всадники направляются к дому Мукуча, мы бежим туда же. Подбегаем и видим, что Мукуч обнимает такого же большеголового, как он, низкорослого человека:

— Брат мой дорогой!..

Потом и Башка-ханум обнимает и даже целует братца.

— Гогор пришел,— шепчутся собравшиеся у дома сельчане.

Но мне некогда разглядывать Гогора, меня интересует всадник на белом коне.

Коней уже разводят по стойлам, всадники, смеясь и весело окликая друг друга, заполняют весь двор.

Среди них я вижу усатого Сого — и меня словно обливают холодной водой.

— Откуда он появился?

— Кто? — спрашивает Нушик.

— Да этот усатый кровопийца?

— Наверно, они с Гогором друзья...

А куда исчез дядюшка Авет? Его нигде не видно. Я бегу в хлев. Там сидят в углу на сене Маран и Гарик, а бабушка стоит, словно приросла к месту, спиной заслоняет их.

— Бабушка, пришел Сого! — шепотом говорю я.

Она не отвечает, уставилась на всадников, глаза у нее блестят.

— А где дядюшка?

— Молчи, не суйся не в свое дело! — шепчет она.

Я мечусь по двору, вхожу в оду, заглядываю во все темные уголки, в кладовую — дядюшка Авет словно провалился сквозь землю.

Бегу к сеновалу, думая, что, может быть, он пошел за сеном.

Дверь сеновала полуоткрыта, на току кучками разложено сено. Полдень, время кормить овец, сейчас они выбегут из загона. Я осторожно просовываю голову в дверь. Дядюшка Авет, держа под мышкой охапку сена, прыгает на своей деревяшке, стараясь захватить еще одну охапку.

— Ладно, бери поменьше, раз не можешь,— заботливо говорит молодой пастух и, легко подняв на плечи целую копну, выходит на ток.

А дядюшка Авет все мучится. Я тихонько подхожу к нему и тяну его за рукав ветхой шинели.

— Дядюшка Авет джан...

— Даже «джан»...— смеется он и выпрямляется с двумя охапками сена под мышками.— Чего ты прибежала в такой холодище?

— Сого пришел...

Сено падает к ногам дядюшки Авета. Он растерянно смотрит на меня.

— Арарат знает?

Арарат — это и есть молодой пастух.

— Нет, я никому не говорила... Согошек в доме полно.

Входит молодой пастух.

— Аро джан,— обращается к нему дядюшка Авет,— такое дело... Нельзя мне теперь появляться в доме Мукуча.

— А что случилось? — с беспокойством спрашивает Арарат.

— Приехал негодяй один... Ежели покажусь ему на глаза, мне конец.

— Гогор вернулся,— объявляю я.

— Этот петушок, брат хозяина? — усмехнулся пастух.— Да чего же его бояться?!

— Не Гогор, другой... Прошу тебя, спрячь меня тут где-нибудь до вечера, а там будет видно.

Арарат на минуту задумывается.

— Нет,— качает он головой,— здесь не годится. Пойдем, я проведу тебя в другое место. Погляди-ка тут за овцами,— говорит он мне и идет открывать дверь загона.

Овцы, толкая друг друга, набрасываются на сено, а я с вол-

нением и грустью смотрю в сторону огородов: туда по снегу удаляются Арарат с дядюшкой Аветом. Вскоре они исчезают из виду, и мне становится так горько, что хочется плакать.

Перебегая от одного вороха к другому, овцы трясут рожками, теребя сено. Молодой козлик от радости прыгает, помахивая коротким, маленьким хвостиком. Я сердито стукаю его кулаком по голове. Он, кажется, удивлен, некоторое время с укором смотрит на меня и жалобно тянет:

— Ме-е-е...

ПАРТИЗАНКА НА ОДНУ НОЧЬ

Сколько уже дней скрывается дядюшка Авет! Где он скрывается, я не знаю. Арарат не говорит. Все время я верчусь вокруг него, поминутно заговариваю о дядюшке Авете, стараясь хоть что-нибудь разузнать о нем. Но Арарат, не поднимая головы, напевает свою пастушескую песенку и продолжает заниматься своими делами.

— Арарат,— пристаю я к нему.— Маран и бабушка плачут, скажи мне, где дядюшка Авет?

— Все там же,— коротко бросает он.

— А кто носит еду? Он помрет с голоду.

— Не помрет.

— Я пойду с тобой!

— Пойдем, пойдем, мне уже пора задавать сена овцам...

И так каждый день. Как ни приставала я к Арарату, ничего узнать у него не могла. Бабушка и Маран совсем не волновались, и я злилась на них.

— Не бойся, не пропадет,— успокаивала меня Маран.

Только Мукуч ругался: и что, дескать, взбрело в голову человеку уйти в такую горячую пору продавать свои налики?

Наконец Арарат сжалился надо мной и повел меня к дядюшке Авету. В этот день я так старалась раздобрить его! Помогала ему таскать сено, кормить овец. Потом мы сели в углу загона. Арарат дал мне овечьего сыра с хлебом и за едой стал рассказывать, как они пасли овец на Алагязе и как ловили фазанов в силки.

— Фазан,— говорил он,— самая глупая птица. Поставишь волосяной силок и спокойно сидишь себе за камнем. Вдруг слышишь, клохчут фазаны, значит идут к силкам. Идут, идут, видят приманку, сейчас же зарывают клювы в снег, задирают зады, и вдруг — хоп! — красные лапки уже в волосяной петле. Подходи и бери по одному. Случалось, штук десять — пятнадцать попадалось сразу. Ну и вкусное же мясо у этих фазанов!

— А мы с дядей ходили на реку рыбу ловить! — похвалилась и я.— Рыбы тоже глупые, сами в сеть плывут. И мясо у них тоже вкусное. Если бы дядю не убили, мы бы и здесь ловили рыбу. Я большой мастер рыбу ловить...

— Ну откуда здесь рыба? — усмехнулся Арарат.— На Алагязе тысяча родников, а реки нет. Вот за Алагязом есть озеро Айгр, там, говорят, водится хорошая рыба.

Я рассказала Арарату о нашем Кружилом омуте, а он рассказал об озере Айгр. Вода в этом озере идет будто бы с вершины Алагяза под землей и наполняет его, а на вершине Алагяза есть другое озеро — с такой чистой, прозрачной водой, что видны подводные дворцы гурий-пери. Арарат будто бы сам видел, как пируют в этих дворцах гурии-пери Алагяза.

— Долго я выслеживал их,— рассказывал Арарат,— хотел поймать одну из них. Но как только запущу руку в воду, чтобы поймать гурию-пери за волосы, она надевает на себя перья куропатки и улетает. Мучился, мучился, так и ушел...

— Это как в сказке,— сказала я.

— А я сказку и рассказываю,— засмеялся Арарат.— Эту сказку я сам выдумал. Когда остаешься в горах один, говоришь с овцами или с камнями и разные сказки выдумываешь. Иначе от скуки с ума сойдешь.

— Ты и теперь один. Только с овцами и разговариваешь.

— Почему один? Ты вот со мной.

— Я сейчас уйду, темнеет уже, бабушка будет сердиться.

— Нет, сегодня со мной пойдешь,— сказал Арарат и поднялся.

Он вытащил из своей соломенной постели какой-то узел, спрятал его под своей потрепанной буркой и, выйдя из загона, оглянулся по сторонам.

— Пойдем!

Я молча последовала за ним.

И вот уже мы шагаем по снегу. Его так много, что я вязну по самые колени и с трудом вытаскиваю ноги. Не знаю, куда ведет меня Арарат. Я еле иду, руки и ноги мерзнут, а он все шагает и шагает.

— Арарат, я больше не могу, холодно, давай вернемся.

— Потерпи, сейчас согреешься.

Мы проходим за огороды и спускаемся в ущелье. Арарат поддерживает меня за руку, чтобы я не скатилась с крутизны. Подувает холодный ветер, откуда-то тянет кизячным дымком, и трудно понять, кто мог зажечь очаг в этом безлюдном ущелье. Вдруг Арарат останавливается и начинает кричать филином. В ответ раздается козлиное: «Ме-е, ке-ке-ке...» Арарат берет меня под свою бурку, стоит, ждет. Через минуту перед нами вырастает какая-то тень.

— Аро?

— Я.

Незнакомец ведет нас в пещеру. Пещера довольно просторна, застлана сеном. Посередине дымится очаг. В тусклом свете огня я сразу узнаю дядюшку Авета. Не поднимаясь с места,

он протягивает мне руку, тянет меня к себе и, усадив рядом, просто, как будто мы расстались только вчера, спрашивает:

— Пришла?

— Не хотела идти, замерзла,— говорит Арарат и передает дядюшке Авету принесенный узел.— Хлеб и сыр, ничего больше не мог раздобыть. Очень голодны?

— Да нет, не очень. Парни раздобыли полудохлого петуха. Ну, съели — не заметили, но животы малость согрели.

— Арцвик, ты что же, не узнаешь меня? — спрашивает, подходя к огню, тот самый мужчина, который встретил нас.

— Дядя Джот! — удивляюсь я.

— Да, конечно, джот,— смеется он.

Я смотрю на Ерванда, он стал совсем другой. Лицо потемнело, весь он как-то окреп, и больше не воняло от него конопляным маслом. На нем была довольно хорошая теплая одежда, серая папаха.

— Дядя Ерванд, а куда ты увел Арег?

— Арег далеко...— весело говорит он.

— А где маленькая Шогик?

— И Шогик с ней.

— Знаешь, Гогор приехал. Оказывается, он такой же большеголовый, как и Мукуч. Ханум неправду говорила, что он красавец.

— Твоя ханум очень меня ругает?

— Тебя — нет, она все про Арег говорит нехорошие слова.

— Пусть говорит, душу отводит своими проклятиями... А как живет Нушик, не сердится на меня?

— Чего ей сердиться? За то, что ты увел Арег? Так ее все умыкают.

— Кто это ее умыкал? — хмурится Ерванд.

— Раньше Гогор... потом ты...

Все смеются.

— А как мой Гарик, с ним все хорошо? — спрашивает дядюшка Авет.

— Утром было хорошо, сейчас — не знаю.

— Смотри хорошенько за бабушкой, не позволяй, чтобы ее обижали. И пусть она не попадается на глаза Сого. Успокой ее, пусть не плачет. А Маран скажи, что я пошел продавать налики и скоро вернусь...

В пещеру входит еще несколько вооруженных мужчин, никого из них я не знаю. Они тоже приносят с собой еду и все отдают дядюшке Авету.

— Товарищ Авет, лаваш...

— Товарищ Авет, пирог на конопляном масле...

— А вот морковка, товарищ Авет.

Один даже подает мешочек табаку.

— Вот это самое дорогое,— радуется дядюшка Авет.— Те-

перь заживем не хуже Манташева,— смеется он и обращается ко мне: — Видишь, как хорошо мы живем!

— Товарищ Авет,— говорит мужчина, который принес табак,— собаки что-то пронюхали.

— Откуда ты взял? — сразу становится серьезным Авет.

— Так мне кажется. Сегодня двое все шлялись в этих местах,— может, что и заметили. Арарат уж больно неосторожно расхаживает...

Ерванд вскакивает с места:

— Раз такое дело, надо пугнуть. Так стукнем, что станут тише воды, ниже травы.

— Сиди! — приказывает Авет.— В партизанстве тоже должны быть свои порядки и законы. Пусть Саак и Сурен пойдут и разведают, не готовится ли облава.

Двое из мужчин поднимаются и берут свои ружья.

— Не стрелять! — говорит им Авет.— А если уж дойдет до этого, постарайтесь отвлечь их в другую сторону. Арарат, тебе придется остаться на ночь здесь, как бы не случилось чего с ребенком...

Мужчины с ружьями молча выходят из пещеры.

— Пусти и меня, товарищ Авет,— умоляет Ерванд.— У меня сердце лопнет, ежели останусь здесь.

— Сердцу тут делать нечего, ты головой соображай,— строго говорит Авет.— А здесь тоже без дела не останешься. Пулемет в порядке?

— В порядке, товарищ Авет! — по-солдатски отвечает Ерванд.

— А сколько у нас гранат?

Ерванд осторожно разрывает сено в углу, считает гранаты и говорит:

— Девять штук, товарищ Авет!

— По две нам, одну Арцвнак,— распоряжается дядюшка Авет.

— А что я буду делать с гранатой?

— Бросишь ее в Сого. Ты думаешь, быть большевиком — это писать на стенах «долой»? Нет, надо научиться еще и гранаты бросать, иначе не победишь врага.

— Дай брошу разок, выучусь.

— Э, да это настоящий партизан! — смеется один из мужчин.— Ты, дочурка, хочешь сразу покончить с нами?

Я смущенно умолкаю, а дядюшка Авет начинает рассказывать партизанам, как в нашем селе я писала свою листовку на воротах Артуш-аги. Он все преувеличивает, как и моя бабушка, и партизаны хохочут. У меня сердце так и прыгает от радости. Я бесконечно счастлива тем, что нахожусь среди партизан, что дядюшка Авет их начальник и мы по его приказу будем воевать с дашнаками. Мне вспоминается бой в нашем селе,

товарищ комиссар... Никол... И я шепчу на ухо дядюшке Авету:

— Ты товарищ комиссар?..

— Да... Жаль нашего комиссара,— грустно говорит он.

— Будем воевать, дядюшка Авет, и победим, да?

— Конечно, раз уже начали, так будем воевать.

Я, съежившись, сижу у огня и понемногу начинаю дремать. Партизаны ходят по пещере, негромко разговаривают. Как видно, спать им в эту ночь не придется.

...Рано утром я возвращаюсь в село с тем партизаном, который принес табак и ночью ходил на разведку. Вчера он был обвешан оружием и выглядел воинственно, а сегодня рядом со мной шагал самый обыкновенный крестьянин в залатанной одежде и рваных трехах. Он казался каким-то робким, приниженным.

Мы молча дошли до сеновалов. Здесь мой спутник взвалил себе на плечи огромную, набитую сеном корзину и, сгибаясь под ее тяжестью, поплелся в село.

— Бабушке скажешь, что ночевала у Нушик,— тихо сказал он и кивнул головой: — Ну, беги к своим.

— Чего это ты так рано поднялся, Сурен? — услышала я голос другого крестьянина. Тот с плетенкой на плече шел навстречу в сторону сеновалов.

— Да что, брат,— ответил ему Сурен,— ходишь за скотиной Сасунов и день и ночь. Все стараешься, как лучше... Свое так не бережешь, как добро хозяина.

— А что поделаешь, батрачим,— значит, все равно у кого в хлеву. Скотине сено давай, хозяину — плов с бараниной. А нам что выходит на долю, Сурен? Выходит, что скотине-то все же лучше, чем нам...

— Я, брат, что-то не понимаю, о чем ты говоришь,— прервал Сурен собеседника и зашагал к дому Сасунов.

А я иду и думаю: «Ночью Сурен партизанит, днем батрачит — что это еще за загадка?»

Я СЛЕЖУ ЗА СОГО

Я теперь по двадцать раз в день бегаю к Арарату. Как только Башка-ханум оставляет меня в покое, бегу в загон. Арарат поручил мне следить за Сого, все запоминать и сообщать ему. Он так и сказал:

— Следи за всеми движениями Сого, это приказ товарища Авета.

Для того чтобы лучше видеть все движения Сого, я устраиваюсь в темном хлеву и глаз не спускаю с оды. В хлеву темно, а в оде светло, мне все видно. Я уже знаю: когда Сого говорит с людьми, правый ус у него дергается, словно он собирается чихать. Этого движения раньше, когда он был в нашем селе, я

не замечала. Ест он левой рукой, сворачивает в трубку огромный лаваш и, держа его в левой руке, откусывает большими кусками, а правую руку все время держит на маузере. Папаху Сого совсем не снимает, даже спит в ней, и только когда горячится и бьет себя ладонью по голове, папаха сползает у него на глаза.

Все эти движения я хорошо запоминаю и потом бегу рассказывать о них Арарату.

— Три лаваша свернул в трубку и съел один за другим...

— Ладно, дальше? Змеиного яду бы ему на язык.

— Потом двигал усами...

— Потом?

— Так шлепнул себя по башке, что папаха сползла у него на глаза...

— Послушай, девочка, о чем ты думаешь? — нетерпеливо обрывает меня Арарат.— Что я тебе говорил?

— Говорил, чтобы я запоминала движения...

— Э, дитя еще!... А все хвалишься, что с малых лет была помощником дяде Авету. Ты смотри за тем, кто бывает у Сого, о чем там говорят, что задумывают. Следи за Мукучем, за Гогором и обо всем, что увидишь и услышишь, передавай мне. Поняла?

— Поняла. Это не трудное дело. Вчера к Сого приводили двух сельчан. Мукуч говорил, что они припрятали своих ягнят, не хотят отдавать их отряду Сого,— значит, большевики. Сого избил их плетью и сказал, что спустит с них шкуру. А один из сельчан так ответил ему: «Сдери и шкуру, ежели все еще не нажрался...» Его еще больше избили. А моя бабушка сидела в темном углу хлева, плакала и проклинала Сого. Ведь одно время ее так же били...

— А откуда были эти крестьяне?

— Говорят, саратаковцы.

Арарат задумывается.

— Потом что было?

— Потом Сого увидел меня, но не узнал, спьяну совсем окосел. Я убежала.

— А что сделали с крестьянами?

— Избили и прогнали. А ягнят у них забрали и сегодня, кажется, будут их резать. Когда я шла к тебе, Мукуч точил нож, а Гогор говорил: «Дай я саблей снесу им головы».

— Старая вода на старую мельницу,— задумчиво говорит Арарат.— Пусть рубят головы ягнятам, дойдет черед и до их голов... Ну ладно, иди. Гляди в оба и, если что увидишь такое, приходи и рассказывай.

Я бегу домой — и попадаю в когти Башки-ханум. Она страшно разгневана тем, что в последнее время я ничего не делаю.

— Прямо шальная какая-то стала! — орет она и стукает меня по голове.— Под скотиной не убрано, тут кровь — ягнят ре-

зали, в доме ни капли воды, а она разгуливает себе, как дочь падишаха!

— Матушка Шушан, а для кого ягнят резали?

— Какая я тебе матушка? — еще больше гневается она.— Сколько у тебя таких матушек?

— А разве не ты говорила, что тебя нужно звать матушкой?

— Оборвыш-сатана, волосы тебе выдеру! — Она хочет схватить меня за волосы, но я накрываю голову ведром и, смеясь, выбегаю за ворота.

Прежде чем идти за водой, надо бы забежать к Нушик. Три дня уже я собираюсь рассказать ей, что видела Ерванда, но все не решаюсь. Дядюшка Авет строго наказывал мне молчать.

— Нушик, идем за подснежниками! — кричу я с порога.

— Какие теперь подснежники? Столько снегу навалило, холодно, замерзнем,— неохотно отзывается она.— Иди, лучше поиграем у нас.

— А разве мало было снегу, когда мы нашли морковь?

— То морковь, она подмороженная была, а до подснежников еще целый месяц.

— Пойдем, может быть, встретим тех всадников.

— Откуда им взяться? Нет, не придут они.

— А я видела Ерванда... во сне!

Нушик сразу оживляется:

— Видела во сне? Что же он делал?

— Спрашивал, сердишься ты на него или нет. Я сказала: не сердишься. А у него была белая папаха на голове, в руках ружье... И у дядюшке Авета... Его я тоже видела во сне... А вот Арег, говорил Ерванд, далеко...

— Белая папаха, белый конь — это заветное желание,— улыбается мне матушка Ангин.— Хороший ты, детка, видела сон, добро бы исполнилось твое заветное.

— Скоро этот сон я снова увижу.

А сегодня произошло очень тяжелое событие. Утром я снова спряталась в хлеву, чтобы следить заСого, но его не было на своем месте. Конь стоял в стойле, а его самого не было. Бывало и так, что он, не садясь на коня, пешком шел в село, орал на людей, ругался, кое-кого «учил» плетью. Немного погодя Сого показался в воротах. Он был не один, человек пятнадцать его молодчиков вели вслед за ним трех незнакомых мужчин со связанными руками. Один из пленников был очень молод — без усов, без бороды, и лицо у него было нежное, как у девушки. Он был в военной форме, но без фуражки и шел гордо подняв голову, светло-русые волосы рассыпались по его белому лбу.

— Рус, рус! — слышалось в толпе сельчан, собравшихся у ворот.

Один из них негромко спросил: «Рус?», и пленник гордо кивнул головой:

— Русский.

Кто-то из молодчиков Сого ударил его плетью раз и другой, хотел ударить и еще раз, но товарищи русского, армяне, старше его годами, стали заслонять его от ударов.

— Изменники нации! — заорал на них Сого и принялся хлестать плетью.

Его молодчики словно взбесились, избили пленников в кровь и втолкнули в оду. Сельчане стояли, окаменев от страха. Во двор вошел Сасун. Он был в блестящих сапогах, как какой-нибудь офицер, при сабле. Только погон не было у него на плечах. Начали допрашивать пленников.

— Спроси,— обратился Сого к Сасуну,— сколько было русских.

Сасун перевел по-русски, но русский парень не ответил, только покачал головой.

— Говори, не то повешу! Зарублю! — с пеной у рта крикнул Сого.

Сасун снова обратился к русскому пленнику. На этот раз русский шагнул вперед и заговорил сильным, мужественным голосом. В его словах я разобрала лишь одно слово: Ленин.

— Говорит: «Я солдат Ленина и готов умереть, но ничего вам не скажу». Говорит: «Да здравствует Советская Армения!» — перевел Сасун.

— Да здравствует Ленин! — в один голос крикнули двое армян.

Снова удары плетьми, ругань, кровь. Все смешалось...

— Да здравствует Советская Армения! — крикнул кто-то в толпе сельчан и выбежал за ворота.

Я в ужасе кинулась к нашим.

— Бабушка, как товарища комиссара бьют!..

Пленников вскоре увели в какой-то сеновал и заперли. В толпе сельчан говорили, что они солдаты Красной Армии, приходили на разведку и были схвачены дашнаками. Говорили, что утром их повесят. И в самом деле, к вечеру на сельской площади стали готовить виселицу.

Я побежала сказать об этом Арарату, но, еще не добежав до загона, встретилась с Суреном. Он тащил на спине все ту же плетуху с сеном и, увидев меня, сказал:

— Иди к своей бабушке...

А на следующий день утром в селе поднялся переполох:

— Убежали!

— Дверь выломали!..

— Часового убили! — кричали люди и бежали туда, где были заперты красноармейцы.

Мы с Нушик, тоже крича «убежали», со всех ног пустились туда же.

Маленький, наполовину вросший в землю сеновал, где были заперты красноармейцы, находился на самом краю села. Дверь оказалась на месте, но замки были взломаны. Башка Мукуч держал в руках эти замки и без конца повторял:

— Это дело рук не наших людей, нет, не наших...

У дверей сеновала лежал один из молодчиков Соrо. Он был убит, а на груди у него, как говорили в толпе, была приколота бумага, а на ней написано: «Такой будет конец всем дашнакам!»

В толпе я заметила и Сурена. Когда я приблизилась к нему, он, втянув голову в плечи, словно мерзнет, сказал:

— Ну и холод!.. Чьи вы, детишки, идите домой, замерзнете. Чего вам тут смотреть?

Я поняла, что нам следует уйти, но ведь интересно же, какой будет конец!

Постояв немного, мы с Нушик все же пошли домой. Еще одна группа сельчан шла нам навстречу.

— А ведь молодцы ребята,— тихо говорил один из них,— здорово это у них получилось.

— Говорят, это дело джота Ерванда,— заговорил другой.— Гогор будто бы вне себя от бешенства орет: «Поймаю, шкуру сдеру!»

— Ловил бы тогда, когда Ерванд умыкал его жену. Теперь поздно, теперь о своей шкуре пусть подумает и как бы не попасть в руки Ерванда...

Так, смело разговаривая об этом, они подошли к кладовке и смешались с толпой.

...Не могу даже смотреть на Сого и его молодчиков, тошно видеть их рожи.

Как будто этот негодяй только для того и живет на свете, чтобы преследовать меня, куда бы я ни пошла. Из нашего села ушла, добралась до самого Урута, тысячу мучений перенесла, а от Сого так и не избавилась. И я, чтобы не видеть его мерзкой рожи, днем ухожу к Арарату, а ночую теперь у Нушик. Кажется, не против этого и дядюшка Авет. Он все еще скрывается в пещере и с Араратом наказывает мне, чтобы я поменьше показывалась на глаза Сого и крепко держала язык за зубами. Ну, не показываться на глаза Сого легко, я всегда найду причину, чтобы убежать из дому, а вот держать язык, если говорить правду, для меня не такое легкое дело.

Когда я прихожу ночевать к Нушик, мы с ней ложимся под одно одеяло. Ну, а ночь, как говорит матушка Ангин, тянется — что год: просыпаешься, снова засыпаешь, опять просыпаешься, а рассвета все нет и нет. И мы только о том и думаем, как бы укоротить ночь, а для этого рассказываем друг другу сказки. Я уже рассказала Нушик все, что когда-либо слышала от бабушки. Нушик тоже рассказала мне немало всяких интересных историй и сказок. Теперь, когда все сказки рассказаны и пере-

сказаны, мы заняты снами. Нушик до сих пор не может успокоиться: как это я видела Ерванда во сне, а она никак не может увидеть, как ни старается.

— Ты же любишь Ерванда не больше, чем я,— недовольно говорит она.

— Это ничего не значит,— отвечаю я ей.— Человек кого захочет, того и увидит во сне.

— Нет, не так,— спорит Нушик.— Во сне видишь того, кого больше всех любишь, по ком тоскуешь. Вот я, например, очень люблю арбуз. Во время молотьбы у нас в селе много арбузов продают, а мы еще никогда вдоволь не ели их. И вот, как только начинается весна, я до самой осени вижу во сне арбузы.

— Ну хорошо, пусть тебе снятся арбузы, и нечего тогда и говорить об Ерванде.

— Нет, я сейчас тоскую по Арег.

— А я по матери. Очень, очень тоскую.

— Раз так, давай поспим: ты увидишь во сне свою мать, а я — сестру Арег.

Мы умолкаем и закрываем глаза. Не знаю, как Нушик, а мне совсем не спится. Крепко зажмурив глаза, я жду, когда передо мной появится мать. Вспоминаю, что она говорила, как смеялась, как плакала, какая у нее была косынка и как она заплетала косы и укладывала их вокруг головы. У нее всегда, как у Ерикназ, был грустный взгляд, говорила она тихо, даже когда сердилась на меня...

«Кукареку-у-у!» — вдруг доносится со двора крик петуха и хлопанье крыльев. Нушик садится в постели.

— Уже светает.

— Ну, видела Арег?

— Нет, не видела, сколько ни думала о ней.

— И я не видела свою мать.

— Давай еще поспим.

Мы опять закрываем глаза, а через час повторяется то же самое.

— Видела? — нетерпеливо спрашивает Нушик.

— Нет.

— Я тоже...

ПУТЕШЕСТВИЕ С ТОПЛАН

Из наших попыток увидеть во сне тех, кого мы хотели, ничего не вышло. Мы с Нушик решили поискать мою мать и Арег. Я думала так: «Если Сого здесь, значит, и Каро должен быть где-то поблизости, а с ним моя мать».

Мы уговариваем матушку Ангин отпустить нас в соседнее село Саратак, к ее сестре.

— Пойдем, принесем оттуда немного картофеля,— говорит Нушик.

Матушка Ангин одно твердит: нет и нет. Но в конце концов она соглашается отпустить нас. Я и моей бабушке говорю, что мы идем в Саратак за картофелем, что там много картофеля. Уговорив двух старух, мы пускаемся в путь, но Топлан никак не хочет отставать от нас. После того как Топлан превратилась в беженку, она тоже очень изменилась, не хочет сидеть на месте, все шатается. А сейчас она, как видно, догадалась, что мы отправляемся путешествовать, и решила воспользоваться случаем повидать божий свет.

— Да ладно, пусть идет! — решает Нушик.— С ней даже лучше.

Топлан бросается вперед и, обнюхивая снег, прямо направляется к пещере дядюшки Авета. Мы идем вслед за ней. Дойдя до пещеры, Топлан как-то тоскливо тявкает и с опущенной головой отходит в сторону.

— Откуда Топлан знает, что там, в пещере? — спрашивает Нушик.

— Собака все чует, у нее нюх пристава,— говорю я и предлагаю: — Давай-ка заглянем в эту пещеру!

Нушик неохотно соглашается, боится, что там могут быть волки. Но я успокаиваю ее, говорю, что с Топлан нам никакой волк не страшен.

Еще не войдя в пещеру, я уже вижу, что она пуста.

— Видишь, никого нет,— говорю я и чувствую, как тревожно забилось сердце.

— А кто тут должен быть?

— Ты говорила — волки.

— Наверно, убежали.

— Да, видно, убежали. Ну, пошли!

Мы шагаем молча. Я уже подумываю, не вернуться ли домой. Тревога все больше охватывает меня. Куда исчез дядюшка Авет? Попал в лапы Сого или перешел со своими партизанами в другое место? Надо поскорее увидеться с Араратом... Но Топлан и Нушик не хотят возвращаться. Они, играя друг с другом, валяются на снегу и чувствуют себя как нельзя лучше. Конечно, победительницей всегда оказывается Топлан. Повалив Нушик в снег, она кладет ей на грудь свою волосатую лапу. Положит и лизнет в подбородок.

— Топлан, сдаюсь, отпусти! — просит Нушик, а через минуту все начинается снова.

Топлан и со мной хочется поиграть, но я пинаю ее в бок, и она, обиженная, отходит от меня.

Так, не торопясь, мы идем по дороге и к вечеру приходим в какое-то село.

Нушик удивленно смотрит по сторонам, а Топлан, насторожив уши, смотрит на нее и ждет, что она скажет.

— Если это Саратак, то где же тетушкин дом? — смущенно говорит Нушик.

— Может быть, ее дом, как ваш, турки сожгли?

— Нет, не сожгли, мы знаем. И церковь в Саратаке не такая, она с деревянным крестом, а эта, видишь, как монастырь, с золотым крестом.

— И не так уж далеко Саратак от Урута,— добавляю я,— а мы шли сюда целый день.

— Правда, Саратак ближе. Значит, мы заблудились...

Нам только и остается, что сесть тут же на снег и заплакать. Наступают сумерки, и никого у нас нет знакомых в этом большом селе. Мы садимся у церковной ограды, прижимаемся друг к другу, дрожа от холода. Надо плакать, но я не хочу. Вспоминается тетушка Ашхен,— она всегда говорила, что, если бы слезами можно было горю помочь, весь мир только и делал бы, что лил слезы...

— Холодно,— вздрагивая, говорит Нушик.— Давай залезем в стог!

Мы бежим к стогу, разрываем сено и забираемся внутрь. Топлан устраивается между нами. С обеих сторон мы жмемся к ней, греемся.

— Ты не спи, Топлан, стереги! — приказывает Нушик.

Топлан не отвечает. Согретая теплом ее тела, я тоже начинаю дремать.

...Еще не рассвело как следует, а Топлан уже просыпается и тявкает, будит нас. От холода мы совсем закоченели, не можем двинуться с места.

— Бежим, Топлан! — кричит Нушик и первая выскакивает из стога.

Топлан словно только этого и ждала — сейчас же кидается вперед, задрав хвост. От голода сосет под ложечкой, но мы, поспав, чувствуем себя бодро и начинаем кувыркаться на снегу. Маленькая девочка, увидев бешено кувыркающегося пса, ставит ведра на землю и приседает от страха.

— Не укусит, не бойся! — кричу я и подхожу к ней.

— Ну, раз присела, теперь не укусит,— соглашается она.— А чья это собака?

— Наша! — с гордостью отвечает Нушик.

— А кто вы? — улыбается девочка.

— Мы беспризорные, деточка,— говорю я.

— И вовсе не беспризорные! — возражает Нушик.— Я дочь урутского пастуха Манука, а она и Топлан — беженцы. Мы ищем здесь одного человека.

— Да, человека разыскиваем, одного беженца по имени Каро. У вас в селе нет такого беженца? Его зовут Лиса сухого ущелья.

— Нет,— подумав, отвечает девочка.— У нас в селе только один беженец. Но он совсем и не похож на беженца, очень богатый человек. У него большая борода, а зовут его Алек-ага...

— Алек-ага? А борода, говоришь, большая?

— Очень большая, как бараний курдюк. Да вон он идет сюда. Всегда так расхаживает,— заложит руки за спину и идет. Много золота у него, поэтому.

Я смотрю на бородача и замираю на месте.

— Дедушка Алек, это я...— робко говорю я.

Нушик и маленькая девочка удивленно глядят на меня, а дедушка Алек продолжает важно вышагивать по улице. Он совсем не изменился, все такой же сытый, здоровый дедушка.

— Большой дедушка, ты не помнишь меня? Я Арцвик.

Дедушка Алек, как и я его, разглядывает меня, потом, раскачиваясь, подходит поближе.

— Арцвик? Откуда ты взялась?

...И вот мы идем в гости к большому дедушке.

Подталкивая в дверь меня и Нушик, он говорит жене:

— Сандухт, принимай едоков! Дочь Сато объявилась...

Бабушка Сандухт сразу узнает меня. Обнимает, плачет.

— Ладно, ладно,— сердито ворчит большой дедушка,— поздравили с осленком осла, мол, свет очам твоим, а он говорит: «Свет очам, да в кормушке еще меньше, а на спине столько же».

— Посовестился бы так говорить, Алек, ведь это родная тебе душа,— укоряет его бабушка и заливается слезами.— Кто еще есть у нас на земле? Бесплодное мы дерево, и хорошо, что хоть это дитя объявилось.

Она поднимается с места и, взяв из поставца каравай хлеба, отрезает большой ломоть Нушик, а остальное протягивает мне:

— Возьми, детка, поешь. В чем только у тебя душа держится.

Топлан скромно сидит в углу и ждет. Нушик с ломтем хлеба в руке смотрит на меня, не зная, что делать. Я делю хлеб на три части и две из них отдаю Нушик и Топлан. Усевшись рядом, мы едим хлеб, дедушка Алек расхаживает по комнате, а бабушка Сандухт суетится вокруг меня, все расспрашивает о наших и с каждым моим ответом всхлипывает и вытирает глаза.

— А дядю убили...— говорю я, с трудом проглатывая хлеб, и тоже всхлипываю.

Бабушка Сандухт опускается на ковер, в отчаянии бьет себя по коленям, а большой дедушка останавливается и с растерянным видом смотрит на меня:

— Как, говоришь, убили Агабека?

— Да, а тетушка Ашхен с ним же была.

— Если сам не разрушишь свой дом, чужой не разрушит,— задумчиво говорит большой дедушка.— Стал большевиком, потому и погиб...

В доме дедушки Алека мы оставались три дня. Бабушка Сандухт радовалась и все говорила, что никуда не отпустит меня, вырастит себе дочку. За эти три дня я вдоволь поела хлеба, и лицо у меня, по словам бабушки Сандухт, начало округляться.

Дедушка не обращал на меня никакого внимания, только иногда ругал бабушку за то, что она давала мне слишком много хлеба: после такой голодовки нельзя, дескать, столько есть, кишки не выдержат. Но у нас с Нушик и у Топлан кишки очень даже хорошо выдерживали.

А к вечеру четвертого дня, когда бабушка опять заговорила о том, что я буду ее дочкой и останусь у нее навсегда, а большой дедушка начал сердиться и попрекать ее тем, что она кормит и Нушик, я не выдержала и заплакала.

— Чего ты, дочка, чего плачешь? — заволновалась бабушка.— Уж не заболела ли?

Я назло большому дедушке, чтобы досадить ему чем-нибудь, сказала, что непривычная к хлебу и кишки у меня, кажется, лопнули.

— Вот говорил же я,— сейчас же подхватил большой дедушка.— Кто ест сейчас столько хлеба, сколько она поедает? Хлеб — это хлеб, его мне не ветер приносит.

— Э, Алек, зачем так говорить при детях? — обиженно проговорила бабушка и умолкла...

В эту ночь мы с Нушик почти не спали. Мы ничего не говорили друг другу, но думали об одном и том же: надо убежать из дома большого дедушки. Утром я сказала бабушке, что мы пойдем играть на гумна, и попросила у нее один каравай хлеба. Она немного удивилась, потому что я еще ни разу не просила у нее хлеба, но все же дала маленький каравай. Мне было очень жаль бабушку Сандухт, я уже привязалась к ней, но трудно было ужиться с большим дедушкой, и я убежала.

Топлан молодец. Если бы не она, вряд ли мы добрались бы домой. Но как только мы вышли из села, она кинулась вперед и, разнюхивая дорогу, повела нас прямо в Урут.

Как оказалось, хоть мы и много плутали и забрели в село, где жил большой дедушка, но были не так уже далеко от Урута.

ПОДСНЕЖНИКИ

Уже неделя прошла, как я вернулась к бабушке. Я все рассказала ей, и она всплакнула. Когда я спросила, почему она плачет, она сказала, что у большого дедушки каменное сердце, потому и плачет.

За время нашего путешествия Сого исчез, а дядюшка вернулся и всем говорит, что ходил продавать налики. Мукуч, кажется, не верит этому. Большеголовый только теперь начинает догадываться о том, что у всех на языке:

«Одноногий беженец — большевик!»

А дядюшка Авет только посмеивается:

— Каким был, таким и остался...

Он стал прежним веселым шутником, и его, как видно, совсем не беспокоит, что нам нечего есть.

Башка-ханум уже давно не дает нам картошки, и единственная наша пища — мороженая капуста. Осенью, когда нагрянули турки, людям было не до огородов, капуста осталась под снегом, и теперь половина села питается ею. Мы с Гариком каждый день ходим на огороды, и всякий раз бабушка с тревогой говорит:

— Ой, не надо бы пускать детишек: станут, чего доброго, добычей волков.

Дядюшка Авет весело подмигивает мне:

— Ну, Арцвнак, кто кого съест — волк тебя или ты его?

— Кто больше голоден,— так же шутливо отвечаю я.

Гарик остается серьезным. Он пыхтит, завязывая трехи, затем надевает потрепанную шинель отца и по-мужски обращается ко мне:

— Ну, баба, пошли!

Я покорно следую за ним.

Снегом замело все тропы-дороги. Густой туман окутывает землю.

Гарик идет на два шага впереди, но я почти не вижу его.

— Гарик, иди рядом, такой туман!

— Пойдешь с бабой — беда,— недовольно ворчит он.— То иди рядом, то держись за ее подол. Надоело...

— Я, Гарик джан, за тебя боюсь, потеряешься в этом тумане!

— Гм, баба — баба и есть... Как это я потеряюсь среди бела дня? Мужчина идет с ней, а она: «Боюсь, потеряешься»,— передразнивает он меня.

Я смотрю на него, маленького, в длинной, до пят, отцовской шинели, и смеюсь — этому «мужчине» всего восемь лет.

— Чего ты скалишься,— возмущается Гарик,— не на свадьбу идем!

— А помнишь, Гарик, как ты расхныкался из-за кочерыжки?

— Я? Расхныкался? — Гарик задыхается от возмущения.— Что я, девчонка?.. Ты бы еще не так хныкала, если бы выбросили твои кочерыжки скотине!

— Это ты правильно говоришь,— соглашаюсь я.— Хозяева сидят в теплой горнице, дзаваровую кашу едят, а вся наша еда — вот эти капустные кочерыжки. Да и те они берут у нас и бросают своим телкам... Гарик, давай сегодня спрячем кочерыжки, чтобы Башка-ханум не нашла!

— Возьмет — я ей веретено сломаю! — угрожает Гарик.

Башка-ханум, как видно, решила нас извести: всю домашнюю работу взвалила на нас. Мать Гарика, Маран, превратилась в ее рабыню-служанку. Бабушка совсем выбивается из сил, глаза у нее так плохо видят, а она все прядет и прядет их шерсть. И так много шерсти у них, проклятых! Я с метлой в руках целый день хожу под хвостами буйволов и коров, чищу их хлевы и стойла. Не почистишь — Башка-ханум все волосы выдерет. Гарик водит поить волов на пруд. Даже дядюшка Авет со своей деревянной

ногой ни минуты не сидит без дела. С раннего утра и дотемна он таскает из сеновала сено, солому...

Мукуч в последнее время очень злится на меня и Гарика. Увидит валяющийся клок сена, орет:

— Так-то вы смотрите за хозяйским добром!

Заметит, что телочка отвязалась, щелкает меня по затылку:

— Ослепла, не видишь, что буйволы задавят телку?

И как мы ни ухитряемся потихоньку играть, когда на дворе никого нет, он все равно узнает и целый день будет ворчать: «Чего им не играть, на даровом хлебе сидят!»

Однажды он и бабушке такого наговорил, что у меня сердце защемило от боли. Бабушка разожгла тонир, готовясь печь лаваш, но ее даже не покормили, и от голода у нее закружилась голова. Она прилегла у тонира, чтобы немного прийти в себя, как вдруг Мукуч встал над ее головой.

— Ишь, разлеглась, старая кочерыжка, барыней стала! Новая ханум объявилась в доме!

Эту ночь бабушка проплакала до утра.

— Владыка небесный,— горестно причитала она,— видно, тяжки мои грехи, что ты отнял у меня и дом, и очаг, и сына, а меня на старости лет бросил на порог чужого дома.

На другой день, после того как наши хозяева нажрались до отвала, Башка-ханум пришла к нам, поставила горшок перед дядюшкой Аветом и меня позвала:

— Эй, оборвыш, тут каши на двух собак хватит. Иди поскреби.

Я хотела поскрести пригорелую кашу, но бабушка запретила.

— Не надо, детка, горька пища, посоленная слезами.

Дядюшка Авет тоже отказался от этой горькой пищи.

— Подумаешь, было бы с чего нос задирать! — фыркнула Башка-ханум и отнесла остатки каши собакам.

Вот с того дня мы и едим мороженую капусту.

Конечно, есть ее противно, все нутро от нее переворачивает, тошнит, но что поделаешь? Бабушка говорит: «Пища обездоленных — банджар».

Бабушка очень плоха. Сначала она страшно похудела, остались кожа да кости, а теперь почему-то стала полнеть.

— Ты поправляешься, бабушка,— говорю я, глядя на ее одутловатое, землистого цвета лицо.

— От такой поправки скоро ноги протянешь,— отвечает она мне и вздыхает.— Повидать бы перед смертью деток... моего Агабека, Сато, Асмик и Аник.

Бедная бабушка, она так и не знает, что дядя убит, все ждет. А я уж и ждать перестала маму. Только дядюшка Авет у нас не унывает, по-прежнему бодр и шутлив. Он всегда первый подсаживается к горшку, когда надо есть вареную капусту, и прежде всего зовет нас с Гариком.

— Налетайте, мелкокопытные! Ешьте,— приказывает он,—

ешьте, сколько душа принимает, не есть нельзя. Пока поживем и так, а потом заживем не хуже Манташева...

— Э, несчастный! — ворчит Маран.— Не был бы таким беспечным, давно смешался бы с тысячелетними мертвецами.

— Чего это ты, женушка, все на тот свет меня отправляешь? — смеется дядюшка Авет.— Погоди, мы на этом свете еще такое творить начнем, что поднимутся из могил все твои тысячелетние мертвецы. Вот как придет Иван...

Все чаще дядюшка Авет заговаривает об Иване. И откуда он знает, что дядя Иван придет? Правда, большевики подходят. Сельчане уже открыто говорят, что они появятся в наших краях, как только потеплеет. А этот несчастный Урут, будто ему не было другого места, приткнулся к самому Алагязу, от которого все время несет таким холодом. Кто знает, может быть, здесь никогда и не бывает тепла.

— Дядюшка Авет, а если большевики не придут?

— Придут. Обязательно придут и в прах развеют тех, кто не хочет, чтобы они пришли,— отвечает мне дядюшка Авет, бросая насмешливый взгляд на Мукуча.— Помнишь, как приходили Енок и Мушег? Вот так и они придут. И наш Ширак тоже станет большевистским.

— Голь ты перекатная, чему ты радуешься? Что, большевики соболью шубу тебе принесут? — смеется Мукуч.— Не видя воды, не снимай штаны.

— Что они мне принесут, не твоего ума дело, а вот что тебе принесут, я хорошо знаю,— едко бросает дядюшка Авет и уходит.

Я все думаю о дяде Иване. Вспоминаю дни, когда он работал на мельнице и мы втроем с моим дядей ловили рыбу.

— Когда придет дядя Иван, мы не будем есть мороженую капусту, правда?

— А что будем есть? — сейчас же подхватывает Гарик.

— Кишмиш, виноград,— смеется дядя Авет.

— Как царские кони в сказке?

— Да, как царские кони.

— Нашел тоже ребенка — обманывать! — хитро щурит Гарик глаза.— Я знаю, большевик возьмет у Мукуча пшеницу...

— Каким это ветром свистнуло тебе в голову? — становится вдруг серьезным Авет.

— Не ветром, я своими глазами видел! Мукуч закопал пшеницу в яму, чтобы большевик не нашел.

— Пусть он свою башку прячет, если найдется куда...— бормочет дядюшка Авет и выходит, сердито постукивая своей деревяшкой.

А Мукуч, несмотря на то что припрятал пшеницу, а нас и видеть не может, все же в последнее время опять старается подружиться с дядюшкой Аветом. Глядишь, входит к нему в хлев, вытаскивает из кармана кисет с табаком.

— Так, говоришь, подходят? — с притворным спокойствием спрашивает он, свертывая цигарку, но толстые пальцы у него дрожат, бумага рвется.— Ну что же, добро, тысячу раз добро.

Выпустив из ноздрей горький дым, он протягивает кисет дядюшке Авету:

— Возьми табачку, сверни.

— Спасибо, горек! — отказывается Авет.

— Ты, брат, не очень мучайся со скотиной,— говорит Мукуч.— Трудно тебе без ноги-то. Пастухи-работники есть, пусть они работают.

— Да уж как-нибудь поработаю, а то, как матушку Нуно, барином назовешь,— подкалывает его Авет.

— А какой большевик подходит — армянский или русский?

— Какой бы ни пришел, для меня хорошо.

— Э, а почему нам плохо?.. Кого мы хоть пальцем тронули, кого обидели? Не в попрек тебе будь сказано, ведь всему селу известно, что ты с самой осени под моим кровом, и нет ничего между нами, как братья живем. Те, что придут, наверно, поймут...

— Поймут. Как не понять?! — горько улыбается дядюшка Авет.

Так, испытывая друг друга, они беседуют и расходятся — один взволнованный, недовольный, другой спокойный, с веселой усмешкой.

На улице уже настоящая весна. С солнечной стороны быстро оголяются горы. Снег еще не сошел, а из-под него уже выглядывают голубые головки подснежников. Вскоре появятся синдз и сибех, эржнак и тысяча разных стебельков банджара, и мы перестанем есть противную мороженую капусту.

Одно плохо — заболел наш дядюшка Авет. Виноваты в этом я и Гарик. Прошлый раз мы уговорили его пойти с нами за подснежниками. Он так резвился с нами, так прыгал на одной ноге!

— Мелкокопытные, паситесь,— кричал он,— ваш день настал!

Мы кидались к нему, висли у него на плечах, валили его в мокрый снег. Разыгрались, как телята, только и не хватало хвостов, чтобы быть похожими на настоящих телят. Правда, мне никак не удавалось замычать. Я раскрывала рот, кричала, сколько хватало голоса, но у меня получалось что-то вроде козьего «ме-е-е».

— Э, баба! — пренебрежительно махал рукой Гарик.— Разве теленок — коза?

— Попробуй ты,— предложила я.

— Очень мне нужно быть теленком... Я конь! — объявил Гарик и пронзительно заржал по-лошадиному: — Ги-и-и, го-го!

Все в грязи, мокрые, мы вернулись домой. А к вечеру дядюшку Авета затрясло. Он лег в хлеву, прижался спиной к спи-

не коровы, лежит и дрожит. Мы укутали его всем, что нашлось у нас. А некоторое время спустя он сбросил с себя все тряпье, вытянулся и запел:

Подснежник глядит с горных круч,
Идет к тебе горе, Мукуч...

Вечером, когда доили коров, Маран выпросила для него кружку молока. А он смотрит на пенящееся молоко и поет про подснежник, который несет горе Мукучу. Так и не стал пить молоко.

В полночь дядюшка Авет забылся, а мне не спится. Как только я закрою глаза, передо мной появляется кружка с молоком. Она словно летает вокруг меня, и от приятного запаха коровьего молока у меня раздуваются ноздри. Вот уж сколько лет я не пробовала молока!

Кажется, и Гарик не спит. Я слышу, как он чмокает губами, и, повернувшись к нему, вдруг вижу: он вытягивает руку и опускает палец в кружку.

— Что ты делаешь, Гарик?

— Говорю, скисло, наверно, молоко,— шепчет он и облизывает палец.— Попробуй, вкусно!

Мы начинаем усердно пробовать — и в кружке не остается ни капли молока.

Ну, теперь можно спокойно спать. Я снова закрываю глаза, но с улицы доносится какой-то шум, конский топот. Вот уже слышится ржание коней, незнакомые голоса у самых ворот. Кто-то стучится к нам. Я вскакиваю, бегу к воротам, но там уже стоит Мукуч. Он шипит на меня:

— Молчи!

— По-русски говорят, Мукуч-ага,— шепчу я, прислушиваясь к голосам на улице.

— Стукнись башкой о камни! — сердито ворчит Мукуч.— Что я, не знаю по-русски?

Из-за ворот кричат:

— Хозяин, открой!

— Что он кричит? — смущенно спрашивает Мукуч.

— Говорят: дверь открой.

Мукуч сердито шлепает меня по затылку.

— Неси огонь! Разве можно разговаривать по-русски в такой темноте?

Наконец открываем дверь. На улице стоят пять или шесть всадников. Один из них, с большой бородой, выходит вперед и говорит по-армянски:

— Добрый вечер, брат джан.

Я не знаю, голос ли показался мне знакомым или его борода, но я как сумасшедшая кидаюсь ему на шею:

— Дядя Иван джан!..

— Кто ты, чья? — смущается бородач, нерешительно обнимая меня.

— Я Арцвик, дядя Иван! Помнишь меня?

— Арцвик, говоришь? Хорошая ты девочка,— радостно говорит бородач и прижимает меня к груди.

Его товарищи удивленно смотрят на нас. Мукуч совсем растерялся, ни слова не говорит, только машет руками всадникам, чтобы они вводили коней во двор.

— А еще хвалился, что знаешь по-русски! — злорадно кричу я ему и веду бородача к нашим. Веду и болтаю без умолку.— Дядя Иван джан, дядюшка Авет здесь! И бабушка здесь, и Маран... Дядю Агабека убили... А маму увез Каро... Мы едим мороженую капусту.

Бородач, подобрав полы шинели, опускается возле дядюшки Авета.

— Здравствуй, товарищ! — громко говорит он.

Дядюшка Авет открывает глаза, тусклым взглядом долго смотрит на бородатого человека в русской шинели и шепчет:

— Добро пожаловать, тысячу раз добро!.. Вовремя пришли...

Книга вторая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УТРО

Сегодня впервые через ертык в наш хлев прополз солнечный луч. Значит, уже весна. Бабушка говорит: если солнышко заглянуло в ертык,— конец зиме, у нее не осталось мо́чи.

Я просыпаюсь, чувствуя на своем лице приятную теплоту солнечного луча. Я только что жила в чудесном сне... Но разве это был сон? Ведь наш Иван действительно пришел! Я даже говорила с ним и, взяв за руку этого бородача, подвела к нашему дядюшке Авету. А потом его товарищи — солдаты — засмеялись и сказали, что это вовсе не Иван, которого я знала. Совсем другой оказался человек. А когда я, смутившись, отошла в сторону, тот, бородатый, снова погладил меня по голове и сказал, коверкая армянские слова:

— Ничего, девочка. Мы все твои дяди Иваны...

Но меня это, конечно, не утешило. Огорченная, я ушла в хлев, примостилась возле Гарика, да так и уснула.

А сейчас никого не видно. Нет и дядюшки Авета. Сено, заменяющее ему постель, убрано. Пустует и бабушкино место. Один только Гарик пока спокойно посапывает.

Вскакиваю и бегу в оду. Там много солдат, все в шинелях и островерхих шапках. Я ищу бородача — он мой единственный знакомый.

— А тебе нужен именно он? — лукаво улыбается солдат-армянин.— Нет, деточка, его ты вряд ли найдешь. Вот тебе Иван,— он указывает на молодого русского парня.— Этот в самом деле Иван. А тот — Сидор, и сейчас ему не до тебя, так что лучше отвяжись от его бороды...

Видно, ему очень нравится шутить. А я чуть не плачу от обиды. С веником в руках входит Маран, и солдат умолкает.

— Проснулась? — весело спрашивает Маран.— Ну, беги к своему дядюшке, он спрашивал о тебе, а я подмету тут.

Маран принимается за дело, но подшучивавший надо мной солдат вскакивает с места, выхватил у нее веник.

— Дай-ка, сестрица, веник. Мы ведь не царские генералы, чтобы ты убирала за нами!

Дядюшка Авет, укрытый рваным одеялом, лежит в тонирне в углу.

— Дядюшка Авет, как же так? Ты все говорил, что придет Иван, и я приняла того человека за Ивана.

Его обросшее лицо медленно проясняется, и маленькие черные глаза светятся лаской. Этот свет мне напоминает ту пору, когда мы еще жили в нашем родном селе.

— Глупенькая, они все Иваны, русские. Без них мы едва ли вывезли бы нашу арбу на ровную дорогу.

Последние слова он говорит уже не мне, а самому себе, задумчиво и медленно:

— Да, Арцвнак джан, подоспели они вовремя. Отвели нож от нашего горла. А то худо бы нам пришлось.

— Господи боже, я прах под твоей стопой,— дрожащим голосом бормочет бабушка, воздев руки к потолку.— Возврати всех скитальцев к их очагам. И мне верни моего единственного сына. Пусть он своей рукой опустит меня в могилу, кинет мне на гроб горсть земли. Нет у меня к тебе другой просьбы.

— Придет, матушка Нуно, вернется и Агабек. Видишь, уже весна, открываются дороги, появится и он, не горюй.

— Эх, Авет джан, много ли мне осталось жить! Знаю, придет когда-нибудь. Хочется, чтоб застал, пока я еще жива. Увидеть бы — и тогда пусть закрываются мои глаза,— вздыхает бабушка.

— Еще насмотришься, потерпи,— заверяет дядюшка Авет и грустно смотрит на меня: — Правильно я говорю, Арцвнак?

Я только повожу плечами.

Входит жена головастого Мукуча. Она сперва мрачно оглядывает нас, затем, вспомнив что-то, молча хватает деревянные ведра.

— Ханум джан, дай мне, я сама пойду,— вскочив с места, я останавливаю ее.— Дай, ханум джан...

— Нет, зачем? Ты посиди возле своего дядюшки. Схожу и сама, я же не калека,— бурчит она, кладя на плечо коромысло.

— Видишь, теперь тебе и лезть из кожи вон не надо,— улыбается дядюшка Авет после ее ухода.— Сама уравнялась с тобой.

— Да, это точно,— подтверждает бабушка.— Жизнь как лесенка: одного возносит, другого — спускает вниз.

— Дядюшка Авет, мы все время будем тут жить?

— Нет. Под крышей Мукуча мы не останемся. Дай набраться сил, заживем сами по себе. Или в Уруте, или еще где-нибудь. Страна теперь наша, земля — наша, чего нам бояться?

— Раз так, Авет джан, вернуться бы нам сразу в края, откуда ушли. К нашему дому, сынок,— советует бабушка.— И наши пропавшие ягнята, смотришь, вернутся. Свой дом притянет, найдут они в конце концов к нему путь. А то что пользы: страна моя, а я буду мыкаться по чужим дворам! Ты верни мне дедовскую ниву да гумно, а все моря и вся суша мира пусть остаются миру.

— Мне это не по силам, матушка Нуно,— вздыхает дядюшка Авет.— Правильно говорил когда-то Умршат: край наш — сахар, да попал собаке в пасть. Радоваться надо, что хоть эту часть смогли вырвать из собачьей пасти, а то ведь уже на ладан дышали. Осталось бы от армян на свете одно лишь воспоминание. Арцвик джан, подай-ка сюда мою ногу.

Я решительно беру стоящую в углу деревянную ногу, волоку ее, но, как всегда, что-то похожее на стыд останавливает меня.

— Ничего, детка,— заметив мое смущение, улыбается дядюшка Авет.— Мой деревянный братец привычен к этому; так что давай тяни! Эх ты, братец,— продолжает он, беря ногу.— Покряхтели мы с тобой, пока дотащили друг друга сюда. Ну, а после этого нам и смерть не страшна, наверняка проживем!

Я помогаю ему одеться и, ухватив за руку, веду к залитому солнцем уголку двора, усаживаю там. Дядюшка Авет с удовольствием потирает свой заросший подбородок и улыбается.

— Авет! Братец! — окликает его издали Сурен. Полы шинели у Сурена развеваются. Он обнимает дядюшку Авета.— Что у тебя за вид, товарищ комиссар! Ночью мы поздно пришли, еле добрались. Хотел зайти, повидать тебя, да подумал, что спишь. Разве сейчас время болеть? Не годится, товарищ комиссар. Мы столько рассказывали о тебе Варшаму, он даже повидаться с тобой хочет, а ты...

А я все смотрю на Сурена, вытаращив глаза. Наконец, догадавшись, спрашиваю:

— Ерванд тоже пришел? Да?..

И, не дожидаясь ответа, бегу к Нушик.

— Нушик! — кричу я, вбегая, и, удивленная, подаюсь назад. Да это Арег! Стоя на коленях возле люльки, она кормит грудью Шогик. На Арег солдатская ватная телогрейка, огромные ботинки.

— Арцвик, сестричка моя! — Арег обнимает меня.— Как я стосковалась по тебе, все расспрашивала Ерванда. Ваши нашлись, да? Хорошо, очень хорошо, а то все среди чужих...

— А воду сегодня нам Башка-ханум натаскала! — объявляю я, не найдя более подходящих слов.

— А ты что же меня обманывала? — появившись из-за моей спины, немного обиженно спрашивает Нушик.— А еще подруга...

— Когда я тебя обманывала, Нуш джан?..

— Когда обманывала? А вот: когда ходила к Ерванду и оставалась там... А мне так и не говорила. Боялась, что отнимем его у тебя?

Я стою растерянная, не зная, что сказать.

— Будет вам, радость в мир пришла, все братаются, а вы ссору начинаете,— вступается матушка Ангин.— Что было, то прошло. В такой день, как сегодня, нельзя обижать друг друга,

в каждом сердце роза распустилась. Жаль только, что наш старик не дожил до этого дня,— вздыхает она.— Правильно говорится: бог две радости одному не дает. Ерванд пришел со своим воинством, принес деревне мир, а вот бедному старику не пришлось увидеть...

— Да, да, бабушка Ангин, жалко дядю Манука. И Манушак была хорошая, и Рыжика — Шеко, всех жалко,— утешаю я ее.

— Кто такой Шеко? — любопытствует Нушик.

Кто такой Шеко?.. Это я его так назвала, потому что он рыжий. Я не знаю его имени, не знаю родителей. Но помню хорошо, очень хорошо, и кажется, до конца жизни буду помнить его — стоящего перед турками с высоко поднятой головой.

— Шеко был мой друг...

— Давай пойдем посмотрим, что делают солдаты,— оживляется вдруг Нушик.— Вся деревня полна солдат: армяне, русские, кого только нет. Смбат, сын глухого Нерсо, тоже здесь. Ну и парень этот Смбат!.. Ты ведь знаешь кривого Бабика? Смбат каждый год нанимался к ним, пас в горах ягнят. И как-то они подрались, Смбат ударил Бабика, попал по глазу. Тот и окривел. Дядя Бабика Айро-ага кинулся в горы, чтобы схватить Смбата, отправить в тюрьму. Смбат, конечно, сбежал. Так и исчез, говорили, умер. А выходит, не умер, а?

Это интересно. Я предлагаю пойти посмотреть сперва на Смбата, но она права: Смбата мы увидим и после, он больше не убежит, а солдаты ведь не останутся в Уруте навсегда. Значит, надо посмотреть сначала на них.

Чтобы увидеть солдат, не надо ни у кого спрашивать разрешения. Солдаты во всех домах, двери раскрыты, и к теплому духу свежевыпеченного лаваша сегодня примешивается незнакомый запах солдатских сапог и ремней... И мы заходим в первый попавшийся дом.

В сенях сложены шинели, винтовки, солдатские ранцы. Солдаты, кто с непокрытой головой, кто в нижней рубашке, сидят на корточках вокруг разостланной на полу шинели. На ней — гора черных, словно запыленных кусков затвердевшего хлеба. Пожилой солдат раскладывает их небольшими кучками. Закончив дело, он отходит, и его товарищи забирают каждый свою долю. В сенях только и слышно похрустывание — солдаты завтракают.

— Давай уйдем, неудобно,— люди завтракают,— шепчет мне на ухо Нушик.

Я могу уйти, но мне интересно — что еще будут есть солдаты. Не может быть, чтобы все кончилось одними этими черными кусками. Ведь могут зарезать овец, кур и гусей, как делали в нашей деревне парни Сого... Раздававший хлеб солдат, наверно, догадывается о моих мыслях и протягивает из своей доли два твердых куска, мне и Нушик. Нушик, застыдившись, отступает, я — беру.

— Что это?

— Сухари, доченька, солдатские сухари. Попробуй, какие вкусные, точь-в-точь тещина гата...

Я не имею понятия о вкусе гаты, испеченной тещей. Сама того не замечая, кладу в рот этот так называемый сухарь и тотчас убеждаюсь, что тещина гата самая никудышная вещь на свете, кисловатая и попахивает пылью. Но все-таки похрустываю, как и все, а то ведь могут обидеться.

— Хороши, а? — треплет меня по плечу угостивший нас солдат.— Ну-ка повтори: су-ха-ри! Царский трон и тот не устоял перед их мощью.

Съев эти могучие сухари, он начинает рыться в карманах и достает помятый кисет.

— Ну и хитер же ты, товарищ Тумик, говорил — не осталось больше! — радуются товарищи и накидываются на кисет. Они так быстро растаскивают махорку, что хозяину ничего не остается.

— Да, бывает и так, девочки. Вот я и оказался в положении одной старухи, которая раздала все яички внукам, а сама осталась голодной.

— Ну да, останешься ты голодным,— смеется один из солдат и протягивает ему окурок,— бери, а то небось переворошил в гробу кости всех моих дедов...

Свои окурки предлагают и другие. Тумик делает по затяжке и ухмыляется под нос:

— Вот так же получилось и у старухи: внуки рвут у нее из рук яички, а отдают ей одни желтки...

— А что, плохо это? — смеются солдаты.

— У едока ложка должна быть при себе.

— Подожди тут, я сейчас вернусь,— вдруг шепчет мне Нушик и убегает.

Вскоре она возвращается. В руках у нее мешочек с табаком.

— Дядя солдат, возьми, мама дала... Отцовский самосад, мама сохранила на память... я еле выпросила... Она говорит — пусть курят и поминают Манука — моего отца.

Тумик смущенно и с любопытством берет самосад, и мне приходится объяснить ему, кто был дядя Манук и почему надо его поминать.

— Много людей перебили? — задумчиво спрашивает Тумик.

Я рассказываю медленно, что-то все время давит мне горло, а когда дошла до истории с Манушак — уже всхлипываю.

— Э, доченька, мало ли таких Манушак мы теряли? — вздыхает кто-то.— А этот твой Шеко, говоришь, храбрый был парень? Ну, раз храбрый, не бойся, не пропадет. В конце концов где-нибудь да вынырнет.

Я ухожу от них, а на душе грустно, очень грустно. Зачем было вспоминать все это?.. Нушик шагает рядом мрачная, настроение испортилось и у нее.

Но вот навстречу катит целая гурьба ребятишек. Они напере-

бой спешат сообщить, что солдаты раздают крестьянам мыло и соль.

— В доме вашего хозяина, Мукуча,— объясняет один, самый маленький, все время подтягивая сползающие вниз продранные штанишки.— Гони туда стадо, пастухова дочка, пусть овцы налижутся соли,— дразнит он Нушик и убегает, придерживая штаны.

И нам снова становится весело. Мы откладываем расплату с оборвышем на более удобное время и спешим к дому Башки.

На столе, поставленном в дверях гостиной, высокий штабель мыла, на полу несколько мешков с солью. Возле стола стоят Сидор и Мукуч.

— Чтоб тебе сгинуть, тыква, ты-то зачем пришел и торчишь тут? — бурчит под нос Нушик и протискивается вперед.

А Мукуч хочет показать, что чувствует себя прекрасно. Архалук на нем новый, даже как будто поскрипывает, а на грудь Башка прицепил большой лоскут красной материи. Лицо хозяина сияет, но глаза почему-то неспокойны, так и бегают. Когда крестьянин из очереди подходит к столу, Сидор молча передает ему кусок мыла, а Мукуч обязательно что-нибудь да ввернет от себя, какое-нибудь словечко.

— Ну, сын Алмо, что это, по-твоему? — подтрунивая, спрашивает он низкорослого крестьянина в рубище, который стоит в глубоком раздумье, упираясь волосатым подбородком в руки, лежащие на дубинке.

— Это не мыло, Мукуч-ага? — недоумевает сын Алмо.

— Мыло-то мыло, это и слепому видно. А кто тебе дарует это мыло, влезают такие вещи в твою башку?

— Этот браток? — указывает сын Алмо на Сидора.

— Этот браток!.. Только под носом у себя и видишь, а вот в мире что творится — под твою папаху это не проникло. На, бери да обмойся,— может, этой ночью жена будет ласковей.

Сын Алмо берет кусок мыла, сперва хорошенько обнюхивает, потом, вглядевшись, удивленно восклицает:

— На нем припечатан серп!..

— Да, это серп, а что же еще,— снова заводит Мукуч.— А зачем он здесь? Не можешь догадаться? Тогда слушай. Что такое серп? Орудие земледельца. А что такое большевик? Государство земледельца. Для большевика самое почетное — земледелец: я, ты, другие, поэтому и напечатал он на своем мыле серп. Понял?

— Ну, если так, этим мылом в первую очередь надо вымыть дядю Шмо! — кричит Сурен.

— Да, ты хорошо сказал, Сурен джан,— подтверждает Мукуч и протягивает кусок мыла стоящему чуть поодаль старику.— На, дядя Шмо, из нас ты самый неимущий.

Я знаю старика, это он зимой работал джотом на маслобойне Мукуча да еще учил Ерванда: мол, криком да бранью ничего не добьешься, надо терпеть. Старик почти гол, из-под изодранного

архалука проглядывает его костлявое, желтоватое тело, а штаны — сплошная ветошь да заплаты.

Дядя Шмо берет протянутый ему кусок мыла, но, подумав, кладет его обратно и обращается к Сурену:

— Эх, Сурен джан, хоть бы постыдился: ты моложе моих портков, а насмехаешься. Зачем ты говоришь так, сынок, разве дела у тебя лучше моего?

— Вай, пусть умру на месте, если я насмехаюсь, дядя Шмо.— И Сурен выходит вперед.— Я говорил о том, что ярмо старшин да сельских старост больше всего натерло твою шею,— значит, прежде всего нужно отмыть эту грязь... а заодно и их самих.

На Сурена шикают, чтоб замолчал. Сидор продолжает свое дело. А Мукуч все шутит. Потом хлопает себя по лбу, будто вспомнил что-то, и быстро уходит.

Я рассказала дядюшке Авету все, что слышала при раздаче мыла. Он улыбнулся:

— Так всегда, Арцвик джан, утопающий хватается за пену.

Ясно, кто этот утопающий. Я поскорей выскочила вон. Интересно было посмотреть: за какую еще пену будет хвататься Мукуч. Я нашла его в сарае за домом, но Мукуч совсем не был похож на утопающего. Засучив рукава, он свежевал жирного барана, зато Шушан-ханум, которая держала бараньи ноги, действительно захлебывалась, но не оттого, что упала в воду, а в собственных слезах. Мукуч орудовал, как мясник, и при каждом его движении ханум хныкала:

— Горе тебе, Урут... если боша становится пашой...

Кто этот боша — ведь так у нас называют бродяг,— я не решилась спросить у Шушан-ханум. Она глядела на меня, как взбесившаяся кошка. Хорошо, что руки заняты,— непременно исцарапала бы мне лицо. А вот с Мукучем у нас началась прямо-таки задушевная беседа.

— Как ты полагаешь, Арцвик, сколько мужчин можно накормить этим бараном? — спросил Мукуч.

Тут я вспомнила пашу, для которого Мукуч резал барана.

— Если есть будет паша, надо подать и плов, чтоб наелся.

— Нет, не паша, а очень хороший и уважаемый человек.

— Помнишь, Мукуч-ага, как паша хотел дать мне яблоко, а я его выругала? Если б он понял,— наверно, снес бы мне голову. И не было бы меня и не увидела бы я, как пришли наши...

— Да, увидела, с чем и поздравляю,— пробурчала Шушан-ханум.

— И тебя поздравляю, ханум джан... До чего жирный баран!

Мукуч ухмыльнулся:

— Ты очень рада, что они пришли?

— А что ж, хватит нам в вашем хлеву... по чужим дворам жить.

— Разве мы были дурными людьми, товарищ Арцвик? — рассмеялся Мукуч. А Шушан-ханум, не сообразив, что он шутит, начала пробирать бедного Башку: как он не может понять — ведь шкура даже дохлого верблюда тяжелый груз для осла, не к чему заговаривать о старом...

Так, приятно беседуя и слушая шипение Шушан-ханум, мы освежевали барана. Мукуч велел мне и Шушан-ханум развести огонь в очаге, надел свой новый архалук и ушел. Я и не расспрашивая поняла — он, конечно, отправился к товарищу Варшаму. И рассердилась: даже Мукуч может пойти и побеседовать с ним, а я ждала его с таким нетерпением и вот не могу... Что из того, что у меня нет нового архалука, а на ногах налики, выстроганные дядюшкой Аветом. Мне ведь так хочется видеть этого большого начальника красноармейцев. Я рассказала бы ему о всех наших бедствиях: о моей матери, моих пропавших сестричках, об Осан, Умршате. И еще попросила бы его утешить бабушку — пусть скажет ей, что дядя вернется. Да, так и надо сделать. И, оставив Шушан-ханум у очага, я тихонько протиснулась через полуоткрытую дверь в гостиную.

О чем мы там говорили, я расскажу потом, а пока что знайте: из гостиной мы вышли втроем. Мукуч хоть и надвинул шапку на глаза, но всем было видно, что Башка сел в лужу. Дядя Сидор нес два ведра. Если бы не строгий наказ дядюшки Авета не распускать язык, я побежала бы и поведала всей деревне обо всем, что видела и слышала у товарища Варшама.

Одним словом, дядя Сидор собрал баранину в ведра, поблагодарил и ушел. Шушан-ханум поздно догадалась о том, что произошло, и, кажется, собиралась снова помянуть про бошу и пашу, но Мукуч заорал:

— Перестань, ради бога! Мельницу потеряли, так нечего гнаться за гвоздем.

Мне хотелось спросить: а когда же ты потеряешь маслобойню, но у Мукуча был очень страшный вид.

...Продолжение относится уже к следующему дню. В этот день и сын Алмо, и я с Нушик, и дядя Шмо с Суреном, и еще много голодных бедняков с большим аппетитом съели сваренный дядей Сидором борщ. О борще этом Нушик, уже насытившись, имела наглость сказать, что это всего-навсего похлебка, вроде той, что варила ее мать. Сын Алмо не сказал ничего, он внимательно смотрел на свою порцию и, должно быть, удивлялся — почему серп не припечатан и на борще. А Сурен после нашего общего обеда разгладил усы и сказал:

— Если раньше говорили, что свадьба овцы справляется в утробе волка, то теперь свадьбу и овцы и ее хозяина справили мы. Если и дальше так пойдет — мы и волку справим свадьбу.

— Опять пошел брехать,— одернул его дядя Шмо.— Дай сперва оглядеться, понять, что это было за чудо.

В самом деле, дяде Шмо, да и остальным было непонятно:

каким образом баранина старосты Мукуча оказалась в красноармейском борще. А я не удивлялась. Я все видела собственными глазами. Произошло это вот как.

...Хотя в гостиной кроме дядюшки Авета и Ерванда было несколько военных, я сразу же узнала товарища Варшама. Он был невелик, большим был лишь красный шрам, пересекавший весь лоб. Накинув на плечи шинель, он стоял у стола и внимательно разбирал рассыпанные там кусочки сухарей. Отбирал, клал в рот, аппетитно похрустывал и беседовал с дядюшкой Аветом и Ервандом. Когда Мукуч с низким поклоном пригласил его откушать баранины, дядюшка Авет усмехнулся, красивый армеец с широким лбом (потом я узнала, что это и есть бывший пастушонок Смбат) удивленно посмотрел на товарища Варшама, а Ерванд почему-то потянулся рукой к нагану.

— Так, говоришь, откушать баранины? — улыбаясь, спросил товарищ Варшам.

— Да, товарищ командир, убедительно прошу пожаловать...

— В прежние времена, когда я был молод, не был еще солдатом, может, и смог бы в одиночку съесть барана. Теперь я очень привык к сухарям, а твой баран вряд ли вкуснее наших сухарей...— Тут товарищ Варшам снова захрустел сухарями.— А много у тебя овец? — спросил он вдруг и стал серьезным.

Мукуч ответил не сразу. С подозрением посмотрел на дядюшку Авета, еще дольше — на Ерванда, по Смбату только скользнул взглядом, слегка покосился и на меня и тогда уже выдавил с трудом:

— Да разрушится дом турка, разве он оставит много?..

— Ну, раз у тебя так много барашков,— остановил его товарищ Варшам,— сдай этого одного нашему Сидору. Он хорошо готовит борщ, пусть сварит, поедят голодные крестьяне, и этим мы отметим назначение нового председателя...

Кто этот новый председатель, он не сказал, но так посмотрел на Ерванда, что и слепому стало бы понятно, кого он имеет в виду.

Мукуч растерялся. Долго искал дверь, но никак не мог найти. Если б я не растворила ее перед ним, так и стоял бы в собственной гостиной.

Я рассказывала об этом дяде Шмо, но досказать не успела: пришел товарищ Варшам, велел всем собраться и начал рассказывать сам.

Он, конечно, не стал распространяться о том, как Мукуч приглашал его отведать баранины, он даже не упомянул имени Мукуча, но я-то, да и Сурен и, наверно, дядя Шмо поняли так, что почти все из рассказанного Варшамом относится к Мукучу.

— Мылу и соли вы обрадовались, не так ли, товарищи? — сказал товарищ Варшам.

И сын Алмо первым подтвердил, что обрадовались и очень

благодарны брату Сидору, а также Мукуч-аге. Я ожидала, что Сурен опять скажет что-нибудь потешное, но он только фыркнул сердито и так посмотрел на сына Алмо, что тот почти весь ушел под свою папаху. А товарищ Варшам, мягко улыбаясь, сказал, что важны не кусок мыла или горсть соли и не из-за этого они пришли в Урут...

— Как звать тебя, дорогой товарищ? — спросил он сына Алмо.

Тот поразмыслил немного. Да, выходит, с самого детства его так и называли — сын Алмо.

— Только мать иногда называла меня Ишханом,— еле припомнил он напоследок и оглянулся на дядю Шмо, словно ожидая от него помощи.

— Видишь, ты даже своего имени не помнишь. И наверно, не можешь вспомнить, когда же были новыми вот эти твои штаны... Не помнишь, кто ты такой, что ты за человек, для чего живешь на свете.

Сын Алмо, весь потный, смотрел на него и ничего не соображал, а дядя Шмо, задумавшись, так сжал губы, что его длинные усы нависли над подбородком, как бычьи хвосты. Один лишь Сурен при каждом слове товарища Варшама кивал головой, будто сам все понимал.

— Так было, товарищи,— со вздохом продолжал товарищ Варшам,— крестьянина никто не считал за человека, в каждой деревне несколько мироедов зажимали в кулак душу крестьянина, расхищали его труд, его радость, заставляли забывать даже собственное имя. Так и жили — и отцы, и сыновья, и внуки. А мы, товарищ сын Алмо, пришли, чтобы сказать тебе, что ты человек, гражданин. Ты, товарищ Ишхан, будешь теперь решать свою судьбу сам. Тебе принадлежат и страна, и земля, и власть, потому что на твоем труде держится все, твоим трудовым потом живет человечество... А что касается мыла и соли, нужд народа, все это будет, товарищи, будет непременно. Ведь к нам же придет социализм, а потом будет и коммунизм...

Этих двух последних слов даже я не поняла, не говоря уж о крестьянах. Те начали сейчас же шептаться, высказывать догадки, и дяде Шмо пришлось тихо сказать, что не время сейчас ломать над этим голову. Когда придут, тогда и узнаем, кто они такие.

И в самом деле, не время было ломать голову: товарищ Варшам уже говорил о дядюшке Авете и Ерванде, говорил так, словно жил в нашей деревне, партизанил с дядюшкой Аветом, а с Ервандом работал на маслобойне у Мукуча.

Крестьяне слушали и добавляли от себя:

— Ерванд хороший джот, что и говорить...

— А отец был и того лучше, помните, как вместе с буйволом крутил пресс...

— Авет?.. Ничего, кажется, приличный человек...

— Беженец он, что с него спросишь, приютился под кровом Мукуча...

Но все сразу умолкли, когда Варшам сказал о назначении Ерванда председателем ревкома. Люди переглядывались удивленно и растерянно, а те, кто говорил о Ерванде как о хорошем джоте, спешили спрятаться за спинами других. Растерялся и товарищ Варшам. Он не знал, что раскрыться людям мешает присутствие Мукуча. А Мукуч стоял, надвинув шапку на глаза,— попробуй угадай, о чем он думает.

— Э, чем плох был Мукуч-ага? — вполголоса спросил сын Алмо и недовольно покосился на стоящего с ним рядом, такого же, как он, крестьянина. Похоже, что сосед и принудил сына Алмо задать свой вопрос.

— Как староста он знал честь и совесть,— добавил этот сосед и сейчас же перешел на другое место. И там забасили наперебой:

— К каждому он знал правильный подход, к старому и малому.

— Что ни говори, старостой должен быть солидный человек...

Не знаю, заметил ли товарищ Варшам, но я-то видела: люди начинали говорить, как только возле них появлялся тот крестьянин, что стоял вначале рядом с сыном Алмо.

— Хозяевам пришел конец, теперь наступило время джотов,— ядовито пропел чей-то голос, и дядюшка Авет распалился.

— Мукуч-аги стесняетесь, да? — скрипя ногой, закричал он.— Вот уже четыре или пять месяцев я живу под его крышей и очень хорошо узнал, каким старостой был Мукуч-ага. Как же вы, все до седьмого колена его соседи, до сих пор не узнали его? Знаете, очень даже хорошо его знаете, только боитесь. Чего вы боитесь?

— Снимите портки с сына Алмо, увидите, чего боятся,— выступил вперед Сурен.— Снимите портки, увидите, как разукрасила его зад дубина Барикянцев... Не с того конца вы начали, товарищ Варшам. Барикянцы давно замесили свое тесто, заготовили свою квашню. Ты тут разговариваешь по-человечески, а они еще до тебя все здесь наладили. Не смекаешь? Смотри, вон Макар Грибок. Ты думаешь, это сын Алмо спрашивал, чем был плох Мукуч-ага как староста? Все от Барикянцев идет. Они дуют, а Макара пищиком сделали для своей волынки, вот он и старается через этого послушного Ишхана баламутить всех. По-настоящему надо бы сперва всю эту семейку, всех до единого, засадить за решетку, а потом уже разбираться в наших делах.

— Правильно говоришь, Сурен,— подтвердил дядюшка Авет,— только сильно загнул. Куда нас это приведет, если мы начнем с арестов, Сурен джан? Всех Барикянцев вместе человек десять — пятнадцать, а таких, как ты,— несколько сот, вот и подумайте.

— Согласны на Ерванда!..

— Мукуч лучше!..

— Авета, Авета! Он беженец, в деревне у него нет кумовьев...

— Беженец сегодня здесь, а завтра, как откроется дорога в его Карс, бросит все и уйдет. Ерванда! Ерванд наш телок, сами растили, знаем его!..

Теперь уже все горланили, размахивали дубинками, папахами и даже свистели. Должно быть, из-за этого свиста Мукуч и отошел в сторонку, а на его место стал Ерванд. Бледный и мрачный смотрел он на галдящих. Долго смотрел, и люди, один за другим, умолкли и тихо сгрудились вокруг него.

Около Мукуча никого уже не оставалось.

...Вот так и был создан наш ревком. Ерванд стал председателем, дядюшка Авет, Сурен, Арарат и Смбат — его помощниками. А потом оказалось, что у дядюшки Авета есть и еще другая должность, и название этой должности — комячейка.

Товарищ Варшам подарил свою старую шинель дяде Шмо, и наши стали собираться в дорогу. Крестьяне сговорились провожать их долом-зурной [1],— таких хороших людей полагается и проводить как следует. К тому же еще с прошлой осени из-за турок в деревне не раздавался звук зурны, а людям хотелось повеселиться, разве можно было пропустить такой повод?

И все веселились, кто как умел. Я и Нушик тоже оказались в кругу танцующих, хоть ни один из парней, пляшущих с платочками в руках, не подошел к нам, чтобы пригласить. Сами пошли плясать — вот до чего дошло веселье! Но это было не столь уж важно. Любопытно другое — Смбат. Он плясал с невиданным рвением. И плясал очень красиво,— все вокруг таращили глаза. А он все плясал и плясал и приглашал такую же, как сам, высокую и тоненькую девушку. Сперва она стеснялась, пряталась за спинами подруг, но веселье подожгло в конце концов и ее.

— Эх, дядя Овасап, счастье твоей дочери зачирикало, как воробей,— сказали люди стоящему поодаль старику, который мрачно смотрел на Смбата и без конца попыхивал трубкой.

— Ослепнуть бы твоей матери, Ефрем! — простонал дядя Овасап, и шутники почтительно умолкли.

А когда настал самый последний миг, когда солдаты были уже на конях, после множества рукопожатий, товарищ Варшам обнял одной рукой Ерванда и Смбата, другой — дядюшку Авета и сказал:

— Ну, дорогие ребята, завтра вам продолжать уже путь без меня. Если трудно будет, обращайтесь к Авету, он вам укажет дорогу. Ну, друзья, желаю счастья...

---

[1] Дол — барабан; зурна (или дудук) — музыкальный духовой инструмент.

— Эти чертовы солдаты так загадили нашу гостиную, прямо сердце щемит,— не то дружески, не то возмущенно обращается ко мне Шушан-ханум.— А поясницу как разломило! Оф, намучилась я с солдатами за эти дни...

Она стонет, потирая поясницу. Ждет, наверно, что я ей посочувствую, а я стою с мрачной гордостью, словно я и есть председатель нового ревкома...

— Как же будем с полами, Арцвик? Мыть их надо... Взяла бы ты, как положено девушке, веник...— Шушан-ханум умолкает на полуслове, косо поглядывает на вошедшего дядюшку Авета и, отложив веник, неслышно уходит.

— Что она говорила?

— Поясница у нее болит... а солдаты натоптали в гостиной...

— Натоптали — надо почистить, Арцвик. Да, да, не таращи на меня глаза, поди и помой, как положено девушке.

— Э, дядюшка Авет, ведь теперь уже...

— Иди, иди.

От обиды и гнева я размахиваю веником, подымаю целые тучи пыли. Входит Ерванд с полным составом ревкома.

— Фу, фу, что это за метель святого Саркиса? — почесывая нос, смеется он.— В этой проклятой комнате, наверно, годами не убирали.

— Я чищу, что напачкали солдаты, до остального мне нет дела.

— Остальное оставь нам, Арцвик джан, почисти свою долю и, бога ради, кончай скорее, уходи. Пойди к нам, к Нушик.

Зачем же мне уходить, если в гостиную вошел Мукуч! Он идет, настороженно озираясь, словно в чужой дом входит, а не в собственную комнату. Разглядев сквозь тучи пыли членов ревкома, надвигает шапку на глаза и небрежно спрашивает:

— С чем, дорогие ребята, с добром ли?

— Понимай как знаешь, Мукуч-тацу [1], нам нужно твое помещение, придется забрать,— посуровев, отвечает Ерванд.

Мукуч кладет в рот мундштук, оглядывает Ерванда с ног до головы, молчит.

— Ну как, согласен? Или...— Широко расставив ноги, Ерванд становится перед Мукучем, тянется рукой к нагану.

— Стреляй! — улыбается Мукуч.— Скорей забудь про мою хлеб-соль, уложи тут мой труп.

— Погоди, Мукуч-ага, к чему это, мы не убийцы,— хладнокровно прерывает дядюшка Авет.— К чему эти горькие слова? Дослушай сперва.

— Мои слова не горше твоих, Авет джан, осрамил ты меня перед всей деревней, чего только не наговорил.

---

[1] Тацу — почтительное обращение к грамотею.

— Правда не бывает сладкой, Мукуч-ага.
— Может, ты и прав, Авет джан. Так вот, узнай и ты мою правду: гостиную мою вы не можете забрать, если я не отдам по доброй воле.
Все удивленно переглянулись.
— Ну и ну,— иронически пожимает плечами Сурен.
— Да, да, внук Мелко,— иронизирует и Мукуч.— Что из того, что ты ревком-партизан? А мы кто, по-твоему?
Сурен хочет что-то сказать, но Мукуч перебивает:
— Ладно, знаю, что ты скажешь: что я мучитель, мироед, то да сё. Все это известно, в тот день наш Авет очень толково говорил про все это. Так вот знай: мироед, нечестивый, бессердечный Мукуч по своей доброй воле передает гостиную ревкому...
— Что? — Ерванд снимает руку с нагана и отступает на несколько шагов.
Мукуч надвигается на него:
— Удивился, парень? Не удивляйся, Мукуч тоже человек и кое в чем разбирается. Тебя сделали старостой, то есть, хочу сказать, председателем. Ты должен управлять деревней, к тебе будут приезжать официальные люди, верно? Расспросы да разговоры, почет и уважение, верно? Куда ты будешь приглашать этих людей? В свою хибарку? А у Мукуча, по-твоему, нет ни чести, ни совести, ни разума, Мукуч не понимает, что значит крестьянская власть. Нет, дорогие ребята, честь Урута — моя собственная честь, и я не могу допустить, чтоб наш новый староста, то есть, хочу сказать, председатель, осрамился. Отдаю гостиную, вот! Я не раскаиваюсь и не стыжусь этого, пусть стыдятся другие,— он украдкой поглядывает на дядюшку Авета и присаживается на стул.
Дядюшка Авет отвечает ему таким же взглядом и говорит восторженно:
— Ты восхищаешь меня, Мукуч-ага!
...И все бы на том кончилось мирно и спокойно, если б Башка-ханум вслед за мужем не стала доказывать людям, что честь Урута — ее собственная честь. Или хоть бы помолчала. Но ханум смотрела на все иначе и высказала эту свою точку зрения немедленно.
Когда она вошла, Ерванд как раз пробовал сдвинуть с места деревянные нары, стоявшие вдоль всей стены, а Мукуч советовал не трогать,— ведь приезжающие в деревню официальные лица будут здесь спать. Башка-ханум встревоженно посмотрела на Мукуча, Ерванда, дядюшку Авета и, увидев меня, засопела мне в ухо:
— Послушай, что здесь делается?
— Понимай как знаешь, Шушан-ханум...
— Что ты говоришь, ничего не понимаю,— сильнее засопела ханум.
— Почему не понимаешь, ханум джан? Комната нужна нам...

Ерванд восторженно улыбается, дядюшка Авет орет на меня:

— Убирайся вон!

Но как же я могу убраться, если Башка-ханум, как Зорба-Зардар в нашей деревне, идет в наступление и ворот Ерванда вдруг оказывается в ее цепких пальцах.

— Ах ты поганый пес! — завопила ханум и потянула Ерванда за ворот.— Еще вчера ты грелся на золе, которую я выгребала в мусорную кучу! Что это тебя так расперло сегодня, кто ты такой, что разоряешь мой дом!

— Отпусти, Шушан-ханум, отпусти,— бормотал Ерванд.

Мукуч объяснил ей, что гостиную отдал на время, возьмет бумагу и расписку, а когда потребуется — и обратно отберет. Шушан-ханум молча выслушала, вылупила глаза и с новой силой накинулась — уже на собственного мужа:

— Ах ты идиот головастый! Среди бела дня суют ему в рот ослиную уздечку, а он пляшет как дурак. Какая еще бумага, какая расписка, разве можно верить большевистским бумагам-распискам?

— Ладно, помолчи. Глава семьи — я, сам знаю, что делаю.— Схватив за руку, Мукуч оттащил жену в сторону.— Не суйся в мои дела, по доброй воле отдал — ясно тебе?

Когда Мукуч сказал эти слова, под окнами было уже немало народу — все сбежались на вопли Башки-ханум. Мукуч еще раз громко повторил: «По доброй воле!» — и с достоинством удалился. А ханум продолжала бушевать, ее брань и проклятия были слышны на всю деревню.

— Ясно, будешь теперь прижимать, проклятый Ерванд! Голодранец, для того Мукуч вывел тебя в люди, чтобы ты подпиливал столбы, на которых держится его дом? Большевиком стал, да? Сшить бы мне большевистский саван тебе!

Она долго кричала, не раз еще прокляла Ерванда, не забыла и Арег, «эту бесстыжую потаскуху, которая втерлась в жены к большевикам, а теперь науськивает их на Мукуча». И в огород дядюшки Авета кинула камушек, но не очень внятно, потому что бабушка тут же оборвала ее, очень строго сказав, что пора ей знать свое место, кем бы она ни была — Шушан-ханум или иной какой дрянью.

...Все-таки я многого еще не понимаю. Мне бы хотелось, чтобы Мукуч не по доброй воле отдал гостиную. Пусть бы отобрали ее силой, а он поднял шум, и чтоб стреляли из наганов. Вот тогда это означало бы прижать по революционному закону злых мироедов, как часто говаривал дядюшка Авет. Но вот Мукуч отдал, они приняли, а дядюшка Авет сидит себе и спокойно покуривает.

— Хорошо ли поступили, Авет? — осторожно спрашивает Маран.

— А что мы сделали, жена?.. Не видела разве — отдал ведь по собственной воле.

— А почему Шушан-ханум скандалила?

— Во всем есть расчет, Маран. Ослы-то они сами, а сено хотят подсунуть нам. Жена вопит, собирает народ, а муж торжественно объявляет при всех, что дарит нам гостиную. Пусть кто слышал — призадумается.

— Как же быть теперь нам? — задумчиво спрашивает бабушка.— Ваше дело, вам виднее, Авет джан, но семью надо убрать из-под крова этих злодеев, а то ведь неладно получается, сынок. Верно говорили старики: «Змея не терпит мяты, а та, как нарочно, вырастает у нее перед норой». Ты мужчина, тебя целый день нет дома, а жена и дети все время под носом у Шушан.

Дядюшка Авет молча думает, потом встает и уходит. Вскоре он возвращается с Суреном и Смбатом.

— Матушка Нуно, собирайте все добро, уходим,— весело сообщает он.— Идем жить к Сурену.

А добро наше такое: прошедшая тысячи испытаний шинель дядюшки Авета, заштопанная шаль бабушки, черная от копоти кастрюля и несколько охапок сена, их мы оставляем Мукучу на память. У Сурена найдется сено нам на постели.

Смбат забирает все это, и мы торжественно покидаем хлев Мукуча. Одна только бабушка медлит, мешкает что-то, наконец собралась с духом и входит в тонирню. Ясно слышны ее слова: «Очень благодарны, Шушан-ханум, и за дурное и за хорошее. Наверху есть бог, и он, наверно, все сам видел и сумеет разобраться, что и как...»

Перед домом Сурена бабушка останавливается, вытирает глаза, сокрушаясь, что наш собственный «подобный монастырю» дом топчут турки, а мы обиваем чужие пороги... И разве так уж трудно было дядюшке Авету сказать словечко Варшаму?..

— Он не стал бы перечить, повел бы войско, перешел Ахурян, и мы вернулись бы к своему дому и своей земле,— всхлипывает бабушка.

— Значит, начали бы войну, матушка Нуно? — смеется дядюшка Авет.

— Зачем же войну, сынок, перед тобой ведь не стоят ни султан, ни шах, чтоб воевать с ними. Я от тысяч людей слышала, что наши земли пустуют, в деревнях ни души, ни одна собака не залает, какая ж тут война, с кем воевать?

— Матушка Нуно, и мне известно, что там наши земли заброшены и дома пустуют. Но не такая это земля, чтоб вернуть ее без крови, а проливать кровь нам сейчас ни к чему, еще не выветрился запах пролитой раньше...

Они беседуют, а мы изучаем наше новое жилье и хозяев дома. Сурен богаче нас одним только куском мыла, которое получил от дяди Сидора. Это мыло лежит сейчас на полке на самом виду и торжественно покрывается пылью. В углу стоит заржавленная берданка. Сын Сурена Паруйр объясняет мне, что берданку эту он нашел сам, недалеко от часовни отшельника.

— На наших полях сколько угодно сабель и ружей,— блестя

глазами, рассказывает Паруйр.— Вот станет теплее — пойдем подберем. Их побросали осенью, когда была война с турками. И мертвецы попадаются... Потом будем таскать с огородов морковь, знаешь, как здорово! — Паруйр, воодушевясь, рассказывает о том, с какого огорода и как можно таскать морковь. Не знает, что я сама — мастер по этим делам.

А жена Сурена — Арус — говорит дядюшке Авету о другом. У нее длинные черные волосы, а глаза бешеные, во взгляде ярость, и говорит она так, словно ссорится.

— Ты, товарищ Авет, не очень-то доверяй сыну джота. Что ни говори, бычок не забудет хлева, из которого вышел. Пусть Ерванд носит наган, пусть держит фасон. Он не ослушается Мукуча. Ты вот к кому поближе держись, к нашему товарищу Сурену. Если б Сурен послушался меня, не только гостиную Мукуча забрал бы. Весь их род, все племя Барикянцев погнал бы из деревни, да похороню я самый их корень. Раз они остались в деревне, слопают и тебя и нашего безропотного Сурена. Так и будет!

— Ну, жена, ты слишком нажимаешь,— смеется Сурен.

— Это я нажимаю? — сверлит его взглядом Арус.— Не ты ли уговаривал командира, что надо выгнать из деревни всех Барикянцев?

Сурен и дядя Авет хохочут.

— Прости меня господи, что это такое? — поражается бабушка.

— О, ты еще не знаешь мою маму! — с гордостью шепчет мне в ухо Паруйр.

— Смейся надо мной, смейся,— упрекая мужа, продолжает Арус.— Завтра увидишь, как они поднимут головы. Вот я слышала, приехал из города Айро. Зачем его принесло, что он здесь ищет? Пахоту и сев? Когда же он пахал и сеял сам? Для чего тогда пахари-работники? Для чего племянник, этот несчастный кривой?..

КАПЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

...Когда дождевая капля падает на чьи-нибудь нечесаные волосы, или на пышную грядку тмина на чужом огороде, или просто на лист подорожника у обочины, то будь у человека тысяча ртов, всей тысячей ему бы захотелось сказать: «Добро пожаловать, дождик, лейся еще, лейся сильнее, пусть все вымоется, станет светлее во всем мире, и пусть зазеленеют поля». Но когда на дворе оттепель, а дождь — не настоящий, а какой-то полудождь-полуснег, и льется он словно нехотя,— такой дождь сначала удивит людей, потом, если затянется,— надоест, а если затянется еще дольше, уже начинает злить. И люди, глядя на мутное небо, говорят: «Да не обрушится твой дом, так спешишь, словно за тобой послали семь партий дола-зурны. Побойся бога, безжалостный...»

Одним словом, дождь не посчитался ни с чем и начал поливать село, пронизывая и разрыхляя грязные сугробы под стенками, кучи мусора и земляные крыши. Прежде всего — крыши. И крыши, которые всю зиму впитывали снизу пар, а снаружи замерзли, заледенели от морозов, уже не выдержали дождевых капель и сами тоже — кап-кап-кап — стали течь то кому-нибудь на подушку, то на детскую люльку или на вынутый из тонира лаваш и даже на горячую кочергу.

Вот так и начала течь кровля Сурена. Начала в тот момент, когда мы обедали. Сорвавшаяся с потолка мутная капля плюхнулась в нашу общую с Гариком глиняную миску и испоганила похлебку. Потом та же честь была оказана и остальным.

— Арцвик, айда на крышу,— кладя ложку, сказал дядюшка Авет,— быстренько вместе с Гариком и Паруйром посмотрите, что там и как.

Топлан завиляла хвостом, и мы пошли выполнять приказ дядюшки Авета. Приказ этот мы понимали по-своему: Гарик и Паруйр должны были притоптать размокшую землю на крыше, проверить ее утрамбованность, а потом раза два сыграть в чехарду; я — попрыгать на месте, а Топлан, разрыв лапами землю, сунуть нос в ямку и воодушевленно залаять. И эту энергичную работу мы продолжали до тех пор, пока не поднялась на крышу Арус с палкой в руках. Правда, она успела стукнуть только одну Топлан. Она была так разъярена, что забыла даже свою постоянную мечту «похоронить самый корень Барикянцев». А мы, как на грех, вошли во вкус. Пришлось искать для нашей игры более крепкую крышу. Перепрыгивая с крыши на крышу и на каждой из них находя по товарищу для игры, мы добрались до крыши Мукуча и... попали в руки Башки-ханум. Почему-то не было видно ни Арарата, ни Мукуча, Башка-ханум сама утрамбовывала крышу. Увидев меня, ханум сильно обрадовалась, даже сказала несколько ласковых слов. Оказывается, я очень хорошая девочка, у меня доброе сердце, не забываю съеденных вместе с нею хлеба-соли. И, расхвалив меня, навязала мне тяжелый каменный каток (мальчики уже удрали, зная, чего может стоить ласка Башки-ханум).

Я принялась за работу, кляня свою слепую судьбу, которая привела и бросила меня в лапы бывших хозяев. И только лишь собралась удрать, как на крыше появился Мукуч. Он тоже сказал мне несколько сладких, как свекла, слов и обратился к соседям, работавшим на своих крышах. Одного спросил о самочувствии, другому дал дружеский совет, как лучше укатывать землю, с третьим пошутил: что-то этот сосед стал держаться от Мукуча на расстоянии, забыл старую дружбу; если он думает, что иссякла сила Мукуча, то очень ошибается, ведь шкура даже дохлого верблюда тяжелый груз для осла...

И хотя соседи видели, что Мукуча с его шкурой едва ли хватит, чтоб нагрузить петуха, все же постепенно подошли к нему,

польщенные его дружескими шутками, и на крыше неожиданно собралось много народу. Ну а если собрались, то надо и побеседовать. А ранней весной, когда падающие мокрые хлопья снега не примерзают к окоченевшей от холода земле, а катятся, словно слезы радости,— о чем могут говорить крестьяне в такие моменты, как не о весеннем севе? И, приложив козырьком руки к глазам, они смотрят в горные дали и с безнадежной печалью отмечают, что через неделю оголятся богарные земли, а там и земли на Чертовом мосту, на Красных скалах, на Утесе Отшельника... Но что из того, что оголятся, если нечем их засевать.

— Э, одно мучение, да и только. Не довольно нам было нашей тяжелой доли, так на же, еще этот подлый турок нахватал — унес,— вздохнул дядя Шмо.— Если в весенние дни хлебопашец не возьмется за чапыги плуга и не пройдет по дедовской борозде, то знайте — встанет дракон голода и проглотит весь мир.

Все согласились с ним, пригорюнились, посетовали, и кто-то в сторонке вдруг сказал, что если действительно это держава землепашцев, то, наверно, что-нибудь да придумает, не даст, чтоб люди остались такими беспомощными — с руками за пазухой.

Слова эти сорвались нечаянно,— хотел человек душу облегчить, а вовсе не потому, что слышно было что-нибудь достоверное. Но крестьяне ухватились за эту мысль, зашумели, все верили, что наверняка так и будет, и даже стали подсчитывать: сколько семян должна дать держава, чтобы все деревенские бедняки могли провести сев да еще смолоть кое-что, пока созреют новые хлеба.

Вот тут и появился незнакомый мне человек, и все сейчас же как-то напряглись.

— Айро-ага...

— Айро, из Барикянцев,— зашушукали кругом, и толпа почтительно раздвинулась.

Об этом Айро я слышала и раньше. Башка-ханум часто вспоминала о нем, говорила, что он в городе, скоро возвратится, и описывала его: статный, веселый, видный... Айро в самом деле оказался стройным, широкоплечим и красивым, у него были толстые рыжеватые усы, высокий лоб и острый глаз с постоянным прищуром. И одет был хорошо: ластиковые брюки, архалук с завязками из плетеных шнуров перехвачен серебряным поясом шириной в четыре пальца, на груди — золотая цепь от часов.

Айро медленно подошел, стал на освобожденное для него место и принялся неторопливо крутить цигарку. И сейчас же метнулась вперед некая личность — крестьянин, который на собрании все время менял место. Он поднес к морде Айро горящий трут. Именитый человек прикурил и вместо благодарности пыхнул дымом прямо в лицо холую. Приняв это за дружеский знак, крестьянин спросил, млея:

— Айро-ага... о чем говорят в городе?

— О том же, что и вы,— улыбнулся в усы Айро.

— О чем нам, бедноте, говорить? Собрались, болтаем для утешения сердец. Весна надвигается, а в руках у нас пусто, ну вот мы и видим во сне зерно, как бедная курица...

— Зачем ты сравниваешь себя с курицей, Макар? — насмешливо упрекнул Айро.— Ведь курица не знает, сколько зерна в кладовой у хозяина, и во сне не увидит его. А вы, как я посмотрю, знаете, сколько у державы зерна, вот уже и распорядились. Ну, если так, раздайте — к чему еще болтать? — Айро сдвинул шапку на затылок, шагнул вперед.— Ну, дядя Шмо, Мхик, сколько хлеба у государства? Сколько оно должно дать каждому, чтоб вы замолкли?

Дядя Шмо растерялся, Мхик собирался сказать что-то, но Айро перебил его:

— Вот дядя Шмо говорит: аскяры разграбили, унесли, поэтому сейчас нечем сеять. Это так, аскяр напортил дело, но ведь он забрал у имущего, а, дядя Шмо? Что он мог взять у неимущего? И раньше — всей деревне известно это — ты был тем же, что сейчас, работал джотом на маслобойне у нашего Мукуча и доедал поскребыши из его корыта. Когда же ты держал чапыги плуга, когда проводил борозду, если сейчас говоришь об этом?

— И то правда, Айро джан,— угасшим голосом простонал дядя Шмо.— Но почему я не имел?.. Завтра ты выведешь свой плуг, вскроешь дедовскую борозду, а я вот так, засунув руку за пазуху, буду глядеть и сокрушаться — почему? Объясни это, если ты человек с головой.

— Ты не захотел меня понять, а вот я тебя понимаю. И если разрешишь — скажу. Ну как, говорить?

На этот вопрос Айро никто не ответил, люди только теснее сгрудились вокруг него, и он, видя, что ждут его слова, начал:

— Вот вы собрались тут, судите да рядите — сколько хлеба отпустит государство, чтобы насытились бедняки в Уруте. Пусть даст сколько может, это дело его совести, но вы-то задумывались когда-нибудь над этим: что значит бедняк?

— Это ты должен задуматься, а не дядя Шмо. Душа бедняка под твоим жерновом расплющивается, а ты все еще не знаешь, что значит бедняк!

Это был красноармеец Смбат. В накинутой на плечи шинели, засунув руки в карманы, он стоял, крепко упершись ногами в землю, и смотрел прямо в глаза Айро. Но Айро не обратил на него внимания — только вздрогнули толстые усы — и продолжал свою речь:

— Государство, дядя Шмо, если у него в голове найдутся мозги, прежде всего должно разобраться в сказанном тобой: отчего это я завтра запрягу плуг, а ты будешь глядеть? И если государство теперь только начнет знакомиться с тобой, то я — твой вековой сосед, я давно знаю, что к чему. Мы оба с дедовских времен живем на этих самых склонах Алагяза, у нас одна и та же земля и вода. Я мужчина, и ты мужчина. Я обрабаты-

вал землю своим умом, ты — своим. Я, может, умнее повел дело, поэтому у меня есть что положить в рот. А у тебя — нет. Так при чем тут государство? Не может же оно раскрыть свои амбары перед всеми лежебоками и попрошайками и сказать: забирайте! Государству нужнее тот хлебороб, отдав которому можно и обратно получить. Почему говорится «государство трудовых крестьян»? Оно опирается на землепашца, а землепашец опирается на государство.

— А тот товарищ Варшам, что роздал нам солдатское мыло,— что он взял взамен? — робко пробормотал сын Алмо и подвинулся к красноармейцу Смбату.

— Ты подожди, сын Алмо, до тебя очередь еще не дошла,— насмешливо сказал Айро.— Варшам! Варшаму что, не из отцовской кладовой отдавал. Оставалось казенное мыло, а ему захотелось пофорсить, дал вам по кусочку. Вижу вот, дяде Шмо он и шинель подарил. Да, добрый был человек. Но одним куском мыла разве отмоешь твою грязную шею, сын Алмо, насытишь твою утробу? Может, для того дали тебе мыло, чтобы ты балабонил языком?.. Сколько лет существовала держава Никола? Триста лет, верно? Сколько же раз такая древняя держава давала семена сыну Алмо или дяде Шмо? Совсем не давала! А если б отдала, то ее войско, ее служивый люд остались бы голодными. Так что же вы думаете, наше новое государство, которое и само не знает, что будет есть завтра, станет вас кормить? Не дождетесь, не будет падать для вас сверху манна небесная, самим о себе придется подумать.

— Жми, жми! — закричал вдруг Смбат и стал прямо перед Айро.— Что у тебя в мыслях, Айрапет-ага? Ты хочешь заронить сомнение в сердца неимущих хлеборобов, от власти отпугнуть? Не выйдет! Мы так тебя прижмем за горло, что глаза вылезут! Ишь, лиса какая объявилась...

— Видно, что протухшее русское сало еще в желудке у тебя; когда облегчишь кишки, тогда и посмотрим, как ты заговоришь.

Айро не успел рта закрыть, как Смбат подскочил и двинул кулаком ему прямо в лицо. Люди всполошились, кто-то, кажется Макар, дал подножку Смбату, и тот споткнулся. Айро замахнулся, чтоб ударить его, но тут вырвался из толпы его племянник, кривой Бабик, и заслонил своей спиной Смбата. А Мукуч, который до этого молчал, схватил Айро за руку и, несмотря на свой карликовый рост, отшвырнул его, как цыпленка.

— Заткни свой рот, болтливый болван,— прошипел Мукуч.— Ладно, Смбат джан, не мути свою душу, смальчишествовал он, ему я сам всыплю... Убирайся отсюда! — заорал он на Айро, и тот исчез, не проронив ни звука.— Ну никак не дадут пожить спокойно,— переводя дыхание, продолжал Мукуч.— Теперь вот государственные дела разбирать собрались! Разве вашего ума это дело? В деревне есть власть, есть председатель и ячейка, дайте им самим подумать, кто как будет жить...

Мукучу никто уже не ответил, растерялись, молчали. Забыли даже про табачный кисет, который в таких случаях всегда выручает, умиротворяет сердца. Один лишь дядя Шмо тихо пробормотал: «Слава тебе, господи милосердный» — и, взглянув мутными глазами на небо, побрел прочь. Он шел медленно, растерянно озираясь. Остановился, разворошил палкой подтаивающие комья грязи и снова побрел, согнув спину, волоча за собой сползшую с плеч шинель...

УПАДЕТ ИЛИ НЕТ МАННА НЕБЕСНАЯ?

Я пошла к Нушик. И там выяснилось, что я желанная гостья, потому что матушка Ангин должна была посадить наседку на яйца. Какое отношение к этому обычному и вполне старушечьему делу имею я, понять было трудно. Но все немедленно прояснилось. Матушке Ангин, как и всякой хозяйке, сажающей наседку, очень хотелось, чтоб из всех яичек вылупились курочки. С этой целью она сперва отнесла яйца к попадье и попросила ее помолиться. Однако сообразив, что попадья вряд ли станет молиться от чистого сердца над яичками для тещи джота-председателя, скликала теперь всех соседских девочек, усадила себе на колени даже крошку Шогик. Мы должны были коснуться пальцами яиц, лежащих в решете, такой была народная примета.

Я коснулась пальцем яичка, и матушка Ангин, крестясь, зашептала: «Эта пусть будет пеструшкой, как моя Арцвик...» Прикасались другие девочки, и она говорила: «Эта пусть будет с хохолком, как моя Сусамбар... Эта — пухленькой, как моя Нушик... Эта пусть ходит фертом, как моя Шамам... эта...»

Вошел Ерванд, и матушка Ангин осеклась.

— Уйди, уйди скорей,— взмолилась она в ужасе,— уйди, сынок, а то все петушками вылупятся!

Ерванд ушел, смеясь, но матушка Ангин долго не могла прийти в себя от страха и все шептала, перекладывая яйца.

— Эта пусть сияет, как моя Шогик, а эта...

Но если бы она и не шептала, все равно из яичек должны были вылупиться только курочки, сияющие, как Шогик, потому что малышка Шогик, не дожидаясь очереди, прикладывалась ручкой ко всем яичкам без разбора да еще и ссорилась с бабушкой, когда та пыталась остановить ее.

Мы помогли матушке Ангин справиться с ее делом, и у меня стало легче на душе. Все-таки была весна! Пусть небо затянуто облаками, пусть вперемежку с дождем идет снег, а с крыши плюхается мутная капля, все-таки — весна. Люди сажают на яйца наседок, радуются завтрашним цыплятам... Как хорошо было бы, если б и моя бабушка могла посадить наседку... Пусть вылупились бы из всех яичек одни петушки, все равно бабушка чувствовала бы себя хорошо, стала бы такой, какой

была, когда ее звали «хлебопек Нуно». А я стала бы прежней Арцвик — «божьим наказаньем». Дядюшка Авет тоже стал бы прежним. А то стал какой-то непонятной «комячейкой»...

Так, думая свои грустные думы, вернулась я домой и у входа остановилась с разинутым ртом: бабушка была занята тем же самым — сажала наседку. Что же еще могла она делать — ведь рядом с ней в лукошке лежало несколько яиц, и Маран и Арус, сидя около нее на корточках, шептались о чем-то.

Все это было так неожиданно, что я растерялась и не смогла дать знак бабушке, чтобы она выгнала Сурена и дядюшку Авета. А бабушка не была ни взволнована, ни весела, она деловито совещалась с Маран и Арус: не лучше ли будет, если она положит и свою старую шаль, несколько пар носков и еще брюки дядюшки Авета, на которых меньше заплат...

— Что они делают, Паруйр? — став серьезной, как и они, шепотом спрашиваю я.— Наседку сажают?

— Какая наседка? Дядюшка Авет и Смбат уходят куда-то,— обиженно ворчит он.— Уходят, а куда — не говорят.

Так потихоньку и ушли они в этот вечер, никому ничего не сказав, словно шли воровать. Все мои попытки проводить их не привели ни к чему. Бабушка грозно посмотрела на меня и, посадив рядом с собой, велела, чтоб я своим невинным ртом помолилась об их благополучном возвращении. А я и молиться как следует не умела и не чувствовала невинности своего рта. И бабушка сама в этот поздний час принялась стучаться в двери бога, обещая ему богатое жертвоприношение, но, конечно, в счет наших будущих овец и ягнят.

Бабушка обещала богу наших несуществующих ягнят и овец, а люди уже выпускали из загонов своих наличных, живых, потому что на пригретых солнцем склонах уже показалась первая травка. А когда стали обнажаться и вершины холмов, а над деревней пролетел аист, пришло время выводить на волю рабочий скот. Нашлись, оказывается, люди, что готовились к весеннему севу. Конечно, в первую очередь это была родня Барикянцев, которые, будто сговорившись, в один и тот же день и час вывели свой тягловый скот. Вывели, и на миг деревня позабыла свое горе и лишения — ведь это так интересно, когда первый раз выводят скот,— того и гляди, разыграется какая-нибудь неожиданная забава для всей деревни. Когда гревшийся всю зиму в теплом хлеву сытый бык или буйвол в первый раз втянет ноздрями свежий весенний воздух, он так шалеет и мечется, задрав хвост, что, если не держать крепко, может умчаться куда глаза глядят, да еще и тебя потащить за собой.

Например, кто мог ожидать, что прежние наши Коло и Башо способны на такие выходки? Но когда работник Мукуча Арарат выгнал их из хлева, вы бы посмотрели, что это была

за потеха. Оба они, как бы соревнуясь, понеслись на красные штаны, забытые Шушан-ханум на веревке во дворе, потом загнали Мукуча на курятник, потом Коло своим коротким рогом поддел валявшуюся в сторонке корзину и замычал, закружился, нахлобучив ее на голову, как папаху. А Мукуч смотрел на все это с курятника и удовлетворенно повторял:

— Недаром сказано: «Скоту нужен хозяин, детям — отец». Пока за ними смотрел доброй памяти Давид, отощали, с ног валились, а теперь смотрите какие львы!

Мукуч расхваливал своих волов, а в это время сасуновский бугай, вырвавшись из рук работников, такого наворотил, что не дай бог... Находившиеся поблизости мужчины, вместо того чтобы удержать его, повскакали на крыши, девушки и молодые женщины убежали, попрятались по домам и замкнули изнутри двери, и только дети, трепеща от восторга, сквозь щели следили за подвигами бугая. А бугай, как единственный властелин деревни, яростно мыча, носился на приволье, бодая стены и изгороди. Хорошо, что дом Нушик стоял на косогоре и с его крыши можно было в полной безопасности следить за происходящим. Я смотрела и думала — почему никто не уймет этого забияку... И вдруг откуда-то появился всадник. Бугай, должно быть, удивился — замотал головой, разбрызгивая слюну, словно спрашивая: «Кто ты таков?» И помчался на всадника. А всаднику было некогда вступать с ним в переговоры,— он покрутил в воздухе веревкой, намотанной на руку, ловко накинул петлю на бугая, и началась бешеная таска. Бугай ревел, подогнув передние ноги, грохался грудью о землю, встряхивался, бросался в стороны и все больше запутывался. А всадник прилип к коню, он кружил, отскакивал и наступал до тех пор, пока не выбились из сил и бугай и лошадь. Бугай встряхнулся еще раз, приподнялся с колен, напрягся...

— Вардан, сюда! — крикнул всадник, и рядом с ним появился юноша, таща рыболовную сеть. И в тот момент, когда конь снова понесся на бугая, юноша подпрыгнул, накинул сеть на рогатую голову и, разворачивая веревку, побежал прочь. Теперь они уже вдвоем начали дергать и таскать бугая. Это последнее нападение решило все, бугай уже не сопротивлялся, мотал опутанной головой и бессильно мычал. Когда его увели, люди спрыгнули с крыш и окружили удивительного всадника. Подбежала и я, мне интересно было вблизи увидеть отважного человека и Вардана, этого юного храбреца.

Но вместо того, чтобы хвалить героев, люди стали шутить, подтрунивать:

— Эй, Торгом, откуда ты достал этого мула?

— Что ты ел сам, что так откормил его?

— Послушай, парень! Эй, беженец, оглянись, твой мул обронил хвост! — вместе со всеми бесстыдно хохотал и Сасун.

А Торгом, видно, умел ответить.

— Обронил, так подыми, Сасун-ага! Спрячь в карман! — крикнул он и, пришпорив коня, поскакал к гумнам.

— Пошел лисиц удивлять,— съязвил Сасун.

— Ничего, сынок, человек он посторонний, не знает порядков нашей деревни,— мирно прогудел дядя Шмо.

Что же это за порядки?

— А порядок такой, бала джан,— объяснила мне матушка Ангин.— Когда богатей впервые выводит скот из хлева, этот день — его день. Все остальные должны убрать подальше своих телят и телок. Не такое уж трудное дело изловить сасуновского бугая, мужчин у нас достаточно...

Холмы уже совсем оголились, снег медленно и бессильно отодвигался к верхушкам скал и вершинам Алагяза. Вышел в поле первый плуг, за ним другой, третий, и крестьяне, вздыхая, сообщали друг другу:

— Люди Барикянцев закончили поливные, скоро перейдут на Склоны...

— До Склонов еще далеко, сначала вспашут на Красных скалах, на Утесе Отшельника, потом уже перейдут к Склонам.

Пахари Барикянцев переходили с одного участка на другой, каждый день в новом месте раздавался их оравел, а дядюшки Авета все не было. Находились любопытные, спрашивали: куда девались Смбат и ячейка. И если вопрос задавали бабушке или кому-нибудь из нас, то ответ бывал один: ушли продавать налики. А если этот вопрос возникал, когда люди просто так сидели и грелись на солнышке, снова и снова вздыхая о том, что напрасно проходят весенние дни,— тут всегда находился кто-нибудь, чтобы сказать с насмешкой:

— Слепому что здесь, что в Багдаде. То же самое и беженцу, не все ли ему равно, где быть — в Уруте или в другом месте?

— Ушел, так забрал бы с собой и семью, у нас и без того хватит голодных ртов.

— Какая там семья? Мать — чужая, девчонка эта тоже найденыш, только жена да сын свои, да и они проживут как-нибудь, привыкли...

— А куда же ушел этот сын глухого Нерсо? Ведь недавно вернулся. Бедный старик — и порадоваться не успел.

— Смбат? Туда вернулся, где раньше гулял, он привык к русским матрешкам, не утерпел...

— Э, к чему эти разговоры, друзья? Эти люди были ревкомом, ячейкой, зачем бы они стали поступать так? Разве знает кто, зачем и куда они ушли?

— Ревком, ячейка — еще чего! Прошлогодними орешками нашей козы — вот чем они были. Остались и тут, в деревне, полтора таких, как они, а что толку? Чем они заняты?

Чем заняты оставшиеся в деревне ревкомы? Ерванд приходил иногда к нам, шептался с Суреном, шутил с нами, утешал ба-

бушку: мол, ничего, пусть говорят что угодно, а товарищ Авет придет, и придет вовремя. Он утешал бабушку, а бабушка — его:

— Не беда, сынок, я видела хороший сон: оба они шли по волосяному мосту. Авет шел передним, Смбат — сзади. Идут, идут, прошли волосяной мост и вышли к белому-белому, как облако, дворцу...

— Вошли они туда? — серьезно спрашивает Ерванд.

— Нет, не вошли. И хорошо, что не вошли. Во сне если входят через закрытую дверь,— не к добру, сынок. Иное дело, если бы дверь была отворена.

— Э, матушка Нуно, ошибаешься. Сейчас они должны бы уже и зайти и выйти. Так выходит по расчетам моего сна.

— В конце концов, терпение — это жизнь, сынок. Ушедший когда-нибудь да вернется, если его дожидаются,— соглашалась бушка и после ухода Ерванда возобновляла свои переговоры с богом, уточняла число обещанных в жертву ягнят.

...Ерванд пришел к нам еще раз, опять пошептался с Суреном, спросил, какой бабушка видела сегодня сон, и, когда она, потягивая нюхательный табак и чихая — апчих-апчих, стала докладывать ему, Сурен вдруг встал с места:

— Ребята, пойдем копать нашу бахчу.

— Пошли! — вскочил Паруйр.

— Кореньев наберем! — обрадовался Гарик.

Я взяла лопату, Арус, насмешливо посмотрев на меня, сказала:

— Уж эта девчонка, скажи ей: «Твой палец — огурчик»,— сейчас же за солью побежит.

— Огурчик вырастет потом, жена Арус,— улыбнулся Сурен.

Мы приступили к делу. Работали с таким рвением, что до полудня вскопали половину бахчи. Закончили бы и вторую половину, если б Арус поменьше нас дергала. Правда, руки мои уже покрылись мозолями, болела поясница, но это даже не замечаешь, когда от перевернутой лопатами сырой черной земли поднимается приятно пахнущий пар, по комьям перелетают скворцы и все это напоминает наше село, наши луга и переполняет сердце радостным покоем.

Арус продолжала шуметь.

— Эй, полоумный! Коротышка! Ты что — разуваешься, не видя воды? — допекала она Сурена.— Не зря, видно, говорят: когда медведю нечего делать, забавляется собственным пометом. Амбары у тебя полны зерна? Сеять собираешься?

— Не полон амбар — так наполнится, зачем торопишься, жена Арус? — в шутку, а может быть, и всерьез говорит Сурен.— Весна ведь не только для Барикянцев, мы тоже ходим под своей папахой, и нам хочется есть хлеб, не так ли?

Арус привлекла наконец своим визгом внимание идущих мимо бахчи крестьян. Они уже не проходили равнодушно,— за-

медляли шаг, прислушивались, а иногда и подходили поближе, спрашивали: зачем копает Сурен и откуда у него семена.

— Кто знает, с неба, может, свалится манна, хотя Айро-ага и объявил от имени бога, что у всевышнего нет таких добрых намерений,— ответил он дяде Шмо, который, усевшись на свежие комья земли, старался вытянуть из него хоть слово: куда же все-таки ушел дядюшка Авет.

— Торопыга, так и есть Торопыга. Все шуточки шутишь,— обиделся дядя Шмо.— А я по твоим глазам вижу: скрываешь ты что-то. Блестят они у тебя, как у черта. Не стал бы человек попусту в такую оттепель пускаться в дорогу, да еще на деревянной ноге. И все вы, ревкомы, или как вас еще зовут, так и примолкли, словно советники шахиншаха.

— Эх, дядя Шмо, если бы ты не был туг на уши, может, и услышал бы сейчас звон бубенцов,— рассмеялся на это Сурен.

«ВОЙНА, ДЯДЯ ШМО, ВОЙНА!»

Не знаю, что помогло — бабушкины молитвы или товарищ Варшам, приславший фургоны, но дядюшка Авет вернулся,— как раз когда крестьяне, отчаявшись, уже во весь голос говорили, что никакой державы земледельцев не было и нет и что Айро был прав. И эта мысль засела в головы так крепко, что люди даже не верили собственным глазам, когда наши парни, соревнуясь в силе, взваливали на себя по два мешка сразу, чтобы отнести их в амбар. Не верили, что в мешках действительно мука, огородные семена и пшеница и отпустило их Советское государство землепашцев, а привез в деревню одноногий беженец Авет...

Вместе с фургонами товарищ Варшам прислал и четырех солдат. Один из них был тот дядя Тумик, что ел «тещину гату». Пятым был тщедушный молодой человек в блестящих ботинках. Едва сойдя с фургона, он заявил, что очень устал, пусть укажут чистое место, где можно поспать... «Чистое место», конечно, нашлось, и молодой человек, съев яичницу, приготовленную Башкой-ханум, заснул.

Кроме молодого приезжего да еще Айро Барикянца, в эту ночь спали лишь мертвецы. И если не считать сельских петухов, то громче всех кричал Мукуч. Что делать, забыл человек, что он уже не староста, так и вертелся с коптилкой в руках, отдавая распоряжения:

— Солдат ведите в нашу гостиную! Лошадей — в конюшню! Ты, Авет, иди домой, простудишься, весь потный!

Тут как раз и подоспел Ерванд и сказал:

— Уйди домой и ты, Мукуч-тацу...

Пришлось Мукучу уйти домой. Не знаю, уснул он или нет, но, когда утром собрали народ, чтобы дядюшка Авет рассказал, как они пошли в город и с каким трудом добыли пшеницу, Мукуч

стоял в первом ряду, Айро — в последнем. Ерванд поднял руку, но ему не дали даже слова сказать, засыпали вопросами:

— Значит, пшеницу эту будете сеять для полка Варшама, да?

— Раз так, почему не говорили раньше?

— Беженец Авет, какие у тебя права на земли Урута, что...

Дядюшка Авет спокойно выслушал все и, крепко стукнув по земле деревянной ногой, выступил вперед.

— Для войска, говорите? — окинул он всех насмешливым взглядом.— Хорошо подстроено, товарищи, слов нет. Смотришь, кто-нибудь и поверит. Как же! Очень нужно было красному командиру Варшаму давать Авету фургоны, да еще в сопровождении солдат... А этот Авет... правильно вы говорите, на ваши земли у меня нет никаких прав, а мои дедовские земли остались вон там,— он указал рукой на запад, и все повернулись в том направлении.— Да, так получилось, турок отнял у меня дедовские земли, а у дяди Шмо его последнюю рубашку. Вижу, что с этим последним ты не согласен, Айрапет-ага?

Теперь все повернулись к Айро, а тот достал из кармана серебряный портсигар.

— Да, не согласен,— продолжал дядюшка Авет,— у дяди Шмо турку нечем было поживиться, дядя Шмо ничего не имел... А кто имеет, товарищи? Где ваша земля, которую, как вы опасаетесь, мы можем засеять для полка? Покажите! Когда мы уходили из деревни, да и сейчас, на обратном пути, я обошел вместе с Смбатом все ваши пашни. Все увидел: Чертов мост называется — это его, Айрапет-аги; Утес Отшельника — опять, говорят, его; Красные скалы, Склоны — все его или его родственников, одним словом — Барикянцев. Где же ваши земли, на которые вы бы имели права?.. Ведь турок не отнял этого, хотя, если б не подоспел Варшам и такие, как он,— отнял бы. Турок не отнимал, но отняли и засеяли разные айро... Айро-ага советовал вам самим позаботиться о себе, поскольку не падает для вас с неба манна. А сам, когда и снег не сошел еще, вспахал и засеял. Знал, что завтрашний день не готовит ему ничего хорошего. А теперь стоит здесь, спокойно крутит цигарку. Быстрей подавай огниво, товарищ Макар, ага хочет закурить...

Макар, стоявший возле Айро, спрятался за его спину, дядя Шмо, свесив длинный нос, покосился на торжественно накинутую на плечи шинель, а Смбат затянул пояс и стал рядом с дядюшкой Аветом.

— Зачем ты пришел, Айрапет-ага? — дядюшка Авет распалился, рука его, опирающаяся на костыль, дрожала.— Зачем пришел? Ты ведь сделал свое дело? Кто наговорил людям, будто хлеб должны сеять для полка? Эх, Айро-ага, не сказал бы, что ты наивен, но нас почему-то принимаешь за простачков. Ночью ты спал, я тоже пошел уснул. Но если у тебя был сон лисы, то у меня сон журавлиный. Я, как журавль, не закрывал один глаз и видел, с какой стороны ползла лиса к нашей стае — вот к этим

темным землепашцам... Нет, товарищи, вас мутят, не вы будете сеять для полка Варшама, а он вспашет вам землю, для вас самих, смотрите,— вот, прислал солдат, лошадей...

Все четыре солдата вытянулись и, высоко подняв головы, посмотрели на дядюшку Авета. Глухой ропот пополз в толпе, люди зашевелились, потянулись за кисетами. И Айро, отвернувшись от дядюшки Авета, сказал довольно внятно:

— Собачий сын, беженец... При чем же ты, если все делает Варшам? Правильно говорят: «У богача бешеной бывает собака, а у нищего — язык...»

Сурен и Смбат одновременно поднесли к его носу кулаки, и снова между противниками вырос Мукуч.

— Айро, заткни рот! — пригрозил он родственнику.— И вы тоже, дорогие ребята, нехорошо поступаете. Если хочешь управлять собранием — кулаки спрячь. Вы же не маузеристы, ребята! Каждый пусть говорит своим языком и выскажет, что у него на сердце. А этот должностной человек, что присутствует здесь, скажет нам, кто прав, кто не прав и что, например, думает государство землепашцев.

И должностной медленно встал с места, с гордостью взглянул на свои блестящие ботинки, с благодарностью — на Мукуча, на членов ревкома вовсе не взглянул и обратился к народу. Первое слово он адресовал своей груди: приставил к ней палец и объявил, что этой грудью он защищал революцию, пролил кровь за крестьян...

— А вы, товарищи, оскорбляете здесь друг друга, произносите речи... В этом нет необходимости, товарищи. Правительство отпустило вам семена. Это налагает на вас очень большое обязательство. Правительство доверяет вам, уверено, что крестьянин не останется в долгу, уплатит правительству в достойной форме. Все это для того, товарищи, чтобы крестьянину жилось еще лучше. Значит, надо подумать и о том, чтоб с честью возвратить этот почетный долг...

— Долг?.. Что еще за долг? — раздались голоса.

— Так и сказали бы сразу, а то городят не поймешь что!..— взвизгнул Макар.

— Мышь и так не может в дырку пролезть, а ей еще метлу к хвосту привязывают,— поддержали его.

Среди всеобщей суматохи заглох голос должностного, и, безразлично махнув рукой, он сел на свое место. Люди сперва толпились у стен, потом потихоньку по одному стали расходиться.

— Подождите, еще не кончили! — крикнул Ерванд.

Никто его не слушал.

— Идите вы... со своими делами! — отплевывались крестьяне.

Одним из последних двинулся и Айро. Он шел степенно, высоко подняв голову, заложив за спину руки...

— Вот и пролитая тобой кровь, товарищ Данелян,— с го-

речью проговорил дядюшка Авет. Должностной с удивлением посмотрел на него и пожал плечами.

— Да, немножко перестарались, ваша милость,— подтвердил Мукуч. Он стоял между дядюшкой Аветом и Данеляном.

...Собрание не закончилось, в его продолжении я не участвовала, потому что все происходило за закрытой дверью канцелярии. Но важно было решение, а оно стало известно просто так, само по себе, словно в стенах гостиной Мукуча были щели...

— Согласно революционной законности...— колотя в двери, объявлял Смбат, а за ним шли Сурен, Арарат, Торгом и целая стая детей, включая и меня.

Революционный закон решил отобрать у сельских богачей излишки хлеба и, присоединив к отпущенному государством, раздать неимущим. И в соответствии с революционным законом прощупывали шомполами земляные полы в хлевах, выворачивали каменный настил, поднимали в загонах пласты прессованного овечьего помета.

Зерно Айро нашли в хлеву под яслями. Нашли после того, как был исковырян весь хлев и погнулись шомпола, а сами ревкомы, устав и обозлившись, собрались уже уходить. Сурен в последний раз сунул шомпол под ясли, и он вбежал туда весь до конца.

— Джан! — удовлетворенно пропел Сурен. Айро, стоявший до того в стороне и ухмылявшийся в усы, повернулся и дал звонкую пощечину племяннику Бабику. Больше ничего — до конца он оставался неподвижным. Даже тогда, когда Бабик взял меру и спустился в яму — мерить собственное зерно. Бабик хорошо мерил, только ступни ног, выглядывавшие сквозь дыры трехов, были очень грязны, и жалко было смотреть, как он топчет светлую, сияющую пшеницу.

Пшеницу Айро все еще мерили, когда, запыхавшись, вбежал Торгом:

— Сукин сын Заяц, поджег овин!..

Заяц — это Сасун, а в его пылающем овине под соломой была спрятана пшеница, и аппетитный запах поджаренного зерна разносился по всей деревне. Ни огня не смогли потушить, ни Сасуна найти, он исчез.

Я с нетерпением ждала, когда очередь дойдет до Мукуча. Как хорошо было бы, если б к ним домой послали меня. Я явилась бы и сказала: «По революционному закону, будь проклят твой отец, всю зиму морил меня голодом, так держи теперь ответ...» Но никто не дал мне этого права и никто не пошел стучаться к нему в дверь. Мукуч сам пригнал арбу, стал перед амбаром и сказал Арарату:

— Аро джан, сними-ка эти мешки, занеси...

Чудо? Такому чуду не поверила бы даже моя бабушка, а не только Ерванд, тот даже плюнул от злости.

— Зачем ты беспокоился, Мукуч-ага, ребята пришли бы, забрали сами,— насмешливо сказал дядюшка Авет.

— И ты позволил бы, чтоб этот наш Смбат стал у моих ворот и сказал: сукин сын, контра, открой амбар? — дружески улыбнулся Мукуч.— А что сказала бы твоя совесть? Вот уже сколько дней собираете хлеб, разве не поняли, кто контра, а кто нет? Эх, Авет джан, немало времени прожил ты под моей крышей, но, видно, так и не узнал меня. Знай, что я таков, Авет джан: сегодня у меня есть — делюсь с соседом, а завтра, если не будет, пойду к нему — по совести и по праву — и скажу: соседи мои, друзья мои, помогайте теперь вы мне. Вот так, Авет джан! Потому и говорят: рука руку моет, а две руки — лицо. Если в такие трудные дни мы не будем помогать друг другу, так кто же придет нам на помощь?

Все улыбнулись, Данелян — удовлетворенно, Сурен стиснул при этом кулаки. Дядюшка Авет вдруг вспомнил, что три дня и три ночи он протаскался на ногах, можно бы немножко и отдохнуть. И, тяжело волоча костыль, направился домой. Я побежала за ним.

— Дядюшка Авет, как же это...

— Что?

— Мукуч...

Он ответил не сразу. Вошел в комнату, кряхтя, уселся, выпил целую кружку холодной воды и, подумав немного, обернулся ко мне:

— Что это такое, спрашиваешь? Снаружи молитва, внутри — бритва — вот что такое Мукуч. Такой человек, Арцвик, при случае так обрежет, что не успеешь сказать «ох!»...

Трудно было представить Мукуча за молитвой. Что касается бритвы — последующие события показали, что дядюшка Авет не ошибся...

— В Караберде родился теленок с рогами в два аршина, а на голове красноармейская коммунарка. Этот теленок мыкнул дважды, сказал человеческим голосом: «После меня на землю придет дьявол» — и околел.

— Только ли это? А про священника в Саратаке не слышали? Тамошние ревкомы, так же как наш Смбат, пришли, чтоб отобрать у священника хлеб. Открыли яму, видят — пшеница. Как свет белая. Насыпали мешки, чтоб унести,— пшеница превратилась в червей. Высыпали обратно — снова та же пшеница. Так и не смогли унести пшеницу священника.

— И поэтому, может, слышали, ромский папа, патриарх всех верующих в крест, собирает войско, чтобы с хоругвями идти на большевиков...

— Какой там ромский папа... Америка идет! Эту пшеницу она дала. Она с большевиком заключила договор: «Я дам тебе хлеба, ты мне дай рабочих, народ в моей стране изнеженный, не любит возиться с пахотой и севом». И теперь...

— Тьфу, будь проклят ваш отец, послушать вас, в самом деле свихнешься.— Дядя Овасап достает изо рта трубку, яростно сплевывает.— И не найдется ведь, кто бы спросил: «Зачем мутишь крестьян, щенок глухого Нерсо? Кто дал тебе право пойти привезти американский хлеб»... Взяли моего молодца, сгубили в боях, а теперь хотите, чтоб опять из глаз слезы кровавые полились? Чего им от нас надо?..

А дядя Шмо уже сидел у нас в доме, да еще не один, а с целой группой людей, и — без шинели. Мы давно приметили: если он приходит без шинели, значит, опять наслышался худого про «державу землепашцев». Раньше он рассказывал обо всем услышанном бабушке, и они вдвоем обсуждали все. На этот раз было иначе: они сидели лицом к лицу и оба молчали. Бабушка, сжав губы, выжидала, пока заговорит он: если присутствует мужчина, то он и должен начинать беседу, и будет очень стыдно, если женщина распустит язык и скажет слово первой. А дядя Шмо, который, вероятно, шестьдесят лет прожил на свете мужчиной, словно забыл об этом и также ждал, подобрав губы. Не говорили и другие, если не считать сына Алмо, который, не обращаясь ни к кому, бросил:

— Знать бы, где эта проклятая Америка...

Никто ему не ответил, и не знаю, сколько бы еще длилось это молчание, но дверь открылась, и вошел дядюшка Авет.

— Хорошо, что вы тут,— весело сказал он и, достав из каждого кармана по горсти пшеницы, протянул дяде Шмо: — Какая из двух нравится тебе?

Дядя Шмо сейчас же определил, что одна пшеница — местная, озимая. Потом взял в рот два-три зернышка из другой горсти, пожевал и, словно недовольный, что не нашлось никаких пороков, помрачнел:

— Ничего как будто... Раздалась, располнела, как нерожающая баба, как раз подходяще под жернов.

— Какой там жернов, дядя Шмо! — засмеялся дядюшка Авет.— Не жалко такой янтарь сыпать под жернов? Это на семена. Когда давали, так и сказали: ее урожай в несколько раз выше местной. И мы решили дать вам эту для сева, а остальную, сколько есть, раздадим на хлеб.

Заросшее лицо сына Алмо лишь на миг просияло, но он взглянул на хмурого дядю Шмо и, смутившись, снова весь сник.

— Сеять эту яловую американскую пшеницу? — раздельно произнес дядя Шмо.— Спасибо, брат. До сих пор не сеяли пшеницу Америки и наперед не будем. А ту, другую, говоришь, дадите на хлеб? Тоже благодарим...

Дядюшка Авет громко захохотал. Смеялся так, что сын Алмо, пытаясь удержать собственный смех, начал подергивать усы.

— Не скрою, Авет джан,— вздохнув, заговорил откровенно дядя Шмо.— Вот собрал я этих людей, привел к тебе — и заявляем: пшеницу Америки не будем сеять, это семена жаркой земли и у нас в горах не вырастут. А та, другая — хлеб Барикянцев. Если сейчас возьмем да съедим, завтра это зачтется нам как долг, а наши деревенские и без того на семь колен в долгу перед этими Лотами, и, не расплатившись со старыми долгами, нет толку влезать в новые. Вот сидит сын Алмо, вот наш кум Мхик и даже твой домохозяин Сурен — все мы задолжали им, и, если ты человек закона, подумай сперва об этом.

Дядя Авет задумался, опустив голову. Он думал долго, и, когда наконец поднял голову, лицо его было совершенно другим: осунулось, побледнело, а глаза горели.

— Зачем же вы пришли ко мне, дядя Шмо? — спросил он печально.

— Куда же нам еще деваться, сынок? Раз ты пошел и взял этот хлеб у державы, значит, твое слово имеет там вес. А раз это так, о своих бедах мы должны говорить тебе, чтобы ты пошел и рассказал, о чем, например, думает крестьянин. А сердце крестьянина замутилось, Авет джан. Так замутилось, словно тот пруд, куда в жару загоняют скотину.

— Прав ты, дядя Шмо, враги прямо в сердце нам целят,— вздохнул дядюшка Авет.— В самое сердце. И раз вы пришли ко мне, я тоже обязан сказать вам, зачем и кто это делает. Выслушай. Поверишь мне — спасибо, не поверишь — это уж как подскажет твоя совесть.

Война, дядя Шмо, идет война! Ни мечей, ни ружей в ход не пускают, но идет война. И стоят в этой войне лицом к лицу: с одной стороны я, ты, сын Алмо и нам подобные, а с другой — те, кто поджигает хлеб, чтоб он не достался нам, кто распускает такие вот слухи. А среди них — Айро, Сасун, Мукуч и прочие, все такие же. Ничего не значит, что один убежал, а другой отдал два мешка пшеницы «по своей доброй воле». Когда резали мою ногу, сперва под кожу влили лекарство. Влили, притупили все жилы, отняли сознание, и как ты ни разу не охнул там, около Айро и Мукуча, так и я не заметил даже, как отрезали ногу. А когда вернулось сознание, вот тогда проняла боль до самых печенок. И Мукуч так же действует: усыпил сердца простых людей, как дают ребенку макового зерна, чтоб уснул. Усыпил и ведет свое черное дело. Нам присылают помощь из российской Кубани, а мукучи шепчут тебе в ухо: «Не подходи, это американская пшеница и не выдержит холодов Алагяза». Мы по революционному закону забираем у богатеев их излишки, они снова шепчут: «Остерегайся брать, завтра все в мире перевернется, и тебе придется отдать хозяевам в десять раз больше...» А ты, человек напуганный, думаешь: «Лучше, брат, мне на собственной сковороде

жариться, чем снова влезать в долги». И не подойдешь, не возьмешь протянутую нами руку, останешься голодным. Вот тут они и залают: «Видишь, вот она, твоя держава, ты прыгал от радости, что она заступается за бедных, а она оставила тебя голодным...» Пойми, здесь кидают камни под колеса арбы, дядя Шмо, только не нашей, а Советского государства. Хотят, чтобы землепашец остыл к нему, отвернулся. А государство — это народ, и без народа оно как арба без волов — ни туда ни сюда.

Дядя Шмо молча выслушал, еще раз затянулся трубкой и встал. Поднялись и другие, один лишь сын Алмо замешкался. Чувствовалось, сказать что-то хочет, но не осмеливается. Он задумчиво посмотрел на свои дырявые трехи, потом почесал затылок и наконец решился:

— Товарищ брат Авет джан, ты говорил с большим разумением, только... ведь... скажи лучше ты, дядя Шмо...

— А что говорить?

— Эти солдаты товарища Варшама, что пришли сюда... Спроси-ка: для чего пришли?..

— Я же не твой адвокат,— насмешливо сказал дядя Шмо.— Я столько сегодня спрашивал, теперь спроси сам.

Сын Алмо ничего не ответил и, почесывая голову, поплелся за всеми.

ПАХТА, КОТОРУЮ ТЫ ОТВЕДАЛ, ЛУЧШЕ НЕОПРОБОВАННОГО МАЦУНА

Нет, дядюшка Авет, ты слишком доверчив. Думал, что, убедив дядю Шмо, убедишь и всю деревню. Впрочем, и дядя Шмо не вполне убедился. Но Сурен и Смбат с шутками и прибаутками усадили его в фургон и погнали лошадей к его ниве. Это было последнее поле, пахать которое помогали солдаты Варшама.

Задымилась первая борозда, дядя Тумик, державший чапыги плуга, дошел до края нивы и остановился.

— Лошади не идут,— объявил он и исподтишка посмотрел на Сурена.

Как видно, они условились заранее, и Сурен обратился к дяде Шмо:

— Дядя Шмо джан, ну-ка отложи шинель, возьмись за лукошко.

Вид свежей борозды и аромат земли словно ошеломили старика, и он, даже не соображая, что делает, повесил на шею мезар — фартук сеятеля — и завязал его за спиной. Сурен засыпал ему семена и отогнал нас.

— Отойдите, дядя Шмо собственной рукой засевает свою пашню. Ну, бог на помощь, дядя Шмо...

— Да будет тебе бог заступником, сынок, пусть с сухими глазами уберем урожай...

С первой горстью семян скатилась в борозду с седых усов и мутная стариковская слеза.

А Сурен засеял вскопанную нами бахчу. Он сеял, мы вместе со скворцами прыгали по бороздам, а Арус опять вопила во все горло:

— Не взойдет, что хочешь делай, не взойдет! У кого взошло, чтоб у тебя всходило!

— Э, жена Арус, крестьяне Торопыгой меня прозвали, но, видно, больше спешишь ты,— пошутил Сурен.— Зерно еще на землю не упало, а ты хочешь, чтобы взошло? Это тебе не рождество Христово.

— Ни сегодня, ни завтра не взойдет, эта пшеница яловая!

— Если не взойдет, значит, твои вопли испортили все дело, жена Арус,— подмигивая солдатам, захохотал Сурен и рассыпал последнюю горсть семян.

Любопытно получилось с сыном Алмо. У него было пятеро детей, и поэтому семян ему дали чуть больше. Шаркая дырявыми трехами, он бегал, покрикивая на детей, торопил жену:

— Быстрей, Смбул, не задерживай товарищей командиров, они ведь и другим должны вспахать.

Смбул, краснощекая, пухленькая, бойкая женщина, собралась сесть в фургон, но дети повисли у нее на подоле:

— Ма, и мы тоже!

Вся семья торжественно водворилась в фургоне, влез и сын Алмо, и семь пар рук обхватили мешок пшеницы. Солдат Тумик взмахнул кнутом, лошади тронулись, мы повисли позади, как вдруг сын Алмо притронулся к плечу Тумика:

— Быть мне твоей жертвой, товарищ командир, сделай милость...

— Что задумал, сын Алмо?

— Смбул, спусти детей.

Все спустились с фургона, и сын Алмо повел семью назад, к своему порогу. Там еще стояли дядюшка Авет и Ерванд.

— Товарищ брат Авет джан, Ерванд джан,— начал сын Алмо, комкая в руках папаху,— благодарен от всей души...

— Чудак, иди посей, потом поблагодаришь,— засмеялся Ерванд.

— Правильно говоришь, Ерванд джан, посею, только... вот какое дело...— Сын Алмо неуверенно оглядел всех.— Поле, оно ведь не в моих руках...

— Что? Растолкуй яснее, что ты говоришь?

— Скажу, Ерванд джан, скажу. Отпустили семена, от всей души благодарен... Смбул, Смбул джан, говори лучше ты...

Почесывая затылок, он уставился в лицо жене. Смбул презрительно махнула рукой, натянула на рот и лицо край платка и, отвернувшись от мужчин, прошептала:

— Нет у нас земли. В военный год, брат Авет джан, братца твоего Ишхана взяли в обоз, нива осталась незасеянной. Этот

и говорит тогда: «Я скошу сено, все равно пропадет». Я сказала: «Бог да хранит твоих детей, ага, на небе решает бог, внизу ты...» В тот год скосил сено. В следующий тоже скосил... На третий сказал: «Смбул, у тебя дети, отдай ниву мне, вспашу, засею, а тебе дам что-нибудь, все-таки не пропадешь с детьми...» И теперь поле в его руках...

— В чьих, в чьих руках? — закричал Ерванд.

Сын Алмо, озираясь, тихо бормотал:

— Я ведь был в обозе... Он дал детям несколько пудов, как же я теперь пойду, скажу... Мукуч-ага, поле...

Все словно окаменели на месте, молча смотрели на сына Алмо. Молчал и он. Стоял в окружении пяти детей, склонив голову к жене, будто дожидаясь: что еще скажет Смбул?

Нога дядюшки Авета тихо скрипнула, и, подняв голову, он сказал:

— Иди, сын Алмо, иди неси семена на мельницу. Пеки хлеб — твое поле уже засеяно.

Случай с сыном Алмо был не единственный. И в этот день, и позднее нашлись люди, которые потеряли свои подушные наделы, а у кого и была земля, тот избегал помощи солдат,— не верилось, что войско может оказать такую помощь без всякой корысти. Такого ведь никогда не было. Иные все еще не хотели брать привезенные семена. Люди с гомоном вваливались в канцелярию, заявляли, что незнакомые семена не с руки им, пусть ревкомы придумают что-нибудь другое. Все это слушал тот должностной, Данелян. Дядюшка Авет и Смбат снова и снова повторяли сказанное тысячу раз: семена хорошие,— Ерванд тянулся рукой к нагану и грозно смотрел на людей, а Данелян слушал. Он слушал все это, молча брал бумагу, писал что-то и подзывал упорствующего крестьянина:

— Значит, не хочешь? Так?

— То есть я не говорил, что не хочу. Кому захочется, чтобы у него ослепли глаза? Дайте, почему и нет? Только в этих американских семенах я ничего не смыслю, раз уж делаете доброе дело, дайте местных...

— Здесь нет американских семян, а если не хочешь, твоя воля, не будем принуждать,— прерывал Данелян и совал крестьянину в нос бумагу: — Подпиши, не бойся! Я здесь написал, что ты по доброй воле отказываешься от привозных семян и просишь, чтоб дали местных.

— Да, брат, снова повторяю: «Пахта, которую отведал, лучше неопробованного мацуна» — и потому специально прошу, чтоб дали мне местной пшеницы,— подтверждал тот, но подпись ставить остерегался.— За меня подпишись ты, я писать не умею...

И Данелян с удовольствием брал перо и подписывался: «за неграмотного — прикрепленный товарищ Беник Данелян».

Что означает «прикрепленный товарищ», никто толком не мог объяснить. Ни при Николе, ни при дашнаках такой должностной человек в деревню не приезжал,— значит, эта должность выдумана большевиками, и сам Беник при каждом подходящем или неподходящем случае напоминал, что он большевик.

...Не умел писать и сын Алмо. Но ему ведь выдали семена, поэтому он тоже закрасил палец чернилами и припечатал на бумаге вместо подписи. Когда же дядюшка Авет потребовал, чтоб он припечатал палец под протоколом, где было написано, что Ишхан Алмоян обязуется возвратить Мукучу Барикянцу после уборки урожая семена, которые тот уже посеял на принадлежащей Алмояну земле, сын Алмо с ужасом отступил на несколько шагов:

— Сделай милость, товарищ брат Авет джан, не понимаю...

Он не понял, но зато понял Беник и стукнул карандашом об стол:

— Что ты делаешь, товарищ Авет?

— То, чего требует справедливость.

— То есть...

— То есть? Ишхан Алмоян не мог в течение многих лет засеять свой земельный надел, этим воспользовались мироеды и постепенно «были проглочены и осел и его хвост».

— Странное что-то ты говоришь... А проверял,— может, не так было?

— Проверяли, товарищ Данелян. Когда ты тут подписывался «за неграмотного», мы как раз и проверяли,— едко улыбнулся дядюшка Авет.

— Но ты нарушаешь революционную законность! Никто тебе не давал права раньше времени проводить захват земли, я не разрешу этого. Наконец, надо спросить и другую сторону.

— С этим я согласен. Зови сюда другую сторону,— сказал мне дядюшка Авет.

Пришел Мукуч, внимательно выслушал составленный дядюшкой Аветом протокол и добродушно улыбнулся:

— Ничего, я не такой человек, чтоб противиться закону. Подал соседу руку помощи, только и всего. Не хотите — ваше право.

Данелян не ждал такого ответа и смутился. Тут же предложил людям выйти из канцелярии, сказал, что необходимо посовещаться.

— То, что хочешь сказать, говори при всех, у нас нет секретов от народа,— прервал его дядюшка Авет.

Данелян хмуро взглянул на него и достал из ящика стола пачку бумаг.

— Вот, товарищи, и вот, и вот... Что это такое? — он затряс листками.— Это все ваши отказы. Почему отказываетесь проводить сев?

Люди переглянулись. Кто отказывается, о чем он толкует?

— Товарищ Данелян, такое ты говоришь, что не свезет ни осел, ни лошадь,— насмешливо сказал кто-то.— В такое-то время да отказ, тьфу!..

— Да, да, отказываетесь,— разъярился Данелян.— Одним не нравится привозная пшеница, другие требуют непременно местную, как будто не все равно, что сеять.

— Конечно, не все равно, товарищ Данелян,— выступил вперед Сурен,— кубанки было мало, не хватило, остальное брали вот у этих людей,— повернулся он в сторону Мукуча,— а они озимую дали, как же ее посеешь?

— Лишнее говоришь,— пригрозил Данелян.— Кому нужно — посеет, не будет спрашивать, озимая это или яровая... Но в этом не вы, а вот кто виноват — ваши руководители. Не сумели уговорить вас сеять.

— Озимая пшеница весной не взойдет, товарищ Данелян,— не отступал Сурен,— не взойдет, как ее ни уговаривай. Если б было можно, то уговорами и мула заставили бы рожать.

Люди захохотали. Хитро взглянув на Сурена, Ерванд спросил Данеляна:

— Что же ты хочешь делать теперь с нами, товарищ прикрепленный?

— То, чего требует закон: надо вернуть семена государству. У страны тысячи нужд, а мы губим ту пшеницу, это преступление, и я, как прикрепленный товарищ...

— А ну, дай сюда свои бумажки! — Ерванд вырвал у него из рук листки.— Вот это и есть отказы?

И он стал яростно разрывать их, все до одного разорвал.

— У кого ты хочешь хлеб отнять? — перевел он наконец дух.— Голову свою положу, а зерно из деревни не выпущу. Иди жалуйся на меня!

— Что же это получается, товарищи? Существует революционный закон, а они здесь устраивают авантюру!..

Голос Данеляна потонул в дружном шуме. Махали руками, орали, бранились. Дядюшка Авет слушал-слушал, а потом, оттолкнув Данеляна, стал на его место:

— Видите, где собачья голова зарыта, товарищи? Урут дал подписку, что не нуждается в семенах, и зерно надо возвратить!.. Значит, говоришь, авантюра, товарищ Данелян? Так кто же ее устраивает — мы или ты? Хорошо же ты нам помогаешь, нечего сказать. Так вот, знай: зерна не получишь! Не сеем, нехорошо это, конечно, но от еды голодный человек не откажется. Зерно я оставляю здесь и сам за него отвечу. До нового урожая много еще голодных дней, раздадим, съедят помаленьку. Согласны, товарищи?

И все закричали, зашумели весело — все были согласны.

Данелян посмотрел на крестьян, покачал головой и сказал, кривясь:

— Вот кто портит наше дело.

— Бывают дела, которые надо портить, товарищ Данелян,— многозначительно отчеканил дядюшка Авет.— Да, надо портить такие дела, а то революция, о которой ты постоянно говоришь, пойдет прахом.

На этом и кончилось совещание, которое возникло как-то нечаянно, чтоб решить маленький спор о земле сына Алмо. Когда все ушли, дядюшка Авет снова подозвал сына Алмо и, взяв ручку, в его присутствии подписался: «за неграмотного Авет Авакян».

Мы думали, что после этого Беник уже не останется в деревне, но он остался...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛИСА СМЕНИТ НОРУ, НО ПОВАДОК СВОИХ НЕ ИЗМЕНИТ

Только что наступил рассвет. Солнца еще не видно, но из-за холмов будто кто-то вознес вверх собранные в огромный сноп золотистые, раскаленные копья. Сноп вырастает, распускается, и копья своими острыми концами начинают прощупывать узенькие улочки деревни, грязные дворы и пахнущие давней плесенью углы. Подымающийся с крыш пар, голубой и прозрачный, вместе с дымом тониров плывет над деревней. Копья постепенно прокалывают эту завесу, рассеивают ее и сами постепенно превращаются в сплошной яркий и лучистый свет. Восходит солнце, молодое, красивое и смеющееся весеннее солнце, стирает последние тени...

Чувствуя под ногами приятное тепло разогретой земли, я бегу, сама не зная куда и почему. Меня позвало на улицу это чистое весеннее утро, заполнившее весь мир родными, знакомыми звуками. С ближнего двора доносится слабенькое блеяние новорожденного ягненка, к нему присоединяется победное кукареканье петуха. Поет сначала один петух, потом второй, третий, каждый со своего двора, со стены, с крыши... Поют наперебой, словно у них состязание, и хлопают, сверкают на солнце своими желто-зелеными крыльями. И собаки подают голос, но это не тот яростный гам, что поднимают они в метельные зимние ночи, когда вокруг деревни бродит голодная волчья стая. Сейчас собакам хорошо, день такой теплый, и можно спать, завалившись под согретые солнцем стенки. И они тявкают об этом, коротко и добродушно: «Гав-гав-гав!»

Вот, размеренно покачиваясь, как стая гусей, возвращаются с родника девушки. Они слегка запыхались, качаясь под тяжелыми ведрами, и тихо шепчутся. Хотелось бы и мне послушать, о чем беседуют девушки в это весеннее утро. Но я ни за что не рискну к ним подойти. Правда, бабушка иногда кричит, что

я уже девушка на выданье и стыдно мне вечно таскаться по деревне. Эх, бабушка, бабушка, взглянула бы ты, как равнодушно проходят они мимо твоей «девушки на выданье», мимо этого худенького существа с черными, растрепанными волосами и дикими глазами, которое напоминает скорее вожака в козьем стаде Мукуча... И девушки, мельком взглянув на меня, а может быть, и мимо, продолжают свой путь до конца улицы и там, на обочине, опускают ведра, чтобы передохнуть. Опускают ведра и, сгрудившись, шепчутся, шепчутся, сдержанно смеются, хлопают друг дружку по плечу. «Хоть бы случилась с вами какая беда, а я бы порадовалась»,— думаю с обидой. И, словно в угоду мне, из-за угла выходит буйволица. Девушки так увлечены беседой, что не замечают ее, а я молчу... Буйволица подходит не торопясь, тупо уставясь своими глазищами в ведра, и, убедившись наконец, что это вода, сует морду в одно из них.

— Вай! Чья это, проклятая? — раздается дружный визг, и девушки, перепуганные, разлетаются в разные стороны. Буйволица осушает одно ведро, потом другое, на третьем она подымает голову, слюнявыми ноздрями втягивает воздух, фырчит, словно собирается бодаться. Но меняет намерение: подняв хвост, возвращает земле часть выпитой воды и медленно удаляется. Теперь можно бежать к ведрам, и девушки осыпают проклятиями хозяев буйволицы. И вдруг, словно почуявшие ястреба куры, они снова замирают, умолкают... Ни я, ни они до сих пор не замечали, что с соседней крыши смотрит Айро. Вероятно, стоит он там давно, потому что на его лице злая и довольная улыбка.

— Что, испугались?.. Эта наша буйволица, ничего,— нагло хохочет Айро и отворачивается.

Схватив ведра, девушки снова идут к роднику, а я беру комок грязи и, укрывшись за стеной, целюсь в спину Айро. Швыряю и лечу по улочке, не оглядываясь. Тут и хватает меня чья-то сильная рука.

— Куда так?..— Это Смбат. Он с любопытством смотрит на меня.— Что случилось?

А там, на крыше, Айро озирается по сторонам: кто же швырнул в него грязью? Смбат смотрит на него с легкой презрительной улыбкой, Айро — хмуро и напряженно. И вдруг Смбат затягивает пояс, заламывает коммунарку на правое ухо и бравым молодцом становится посреди улицы. От родника идут те же девушки. Проходят мимо легким шагом, веселые, и только одна из них, не вытерпев, склоняет красивую голову и через плечо вороватo взглядывает на Смбата...

Айро уже нет на крыше, я тоже бегу, мне легко и весело, и вдруг вспоминаю: ведь сегодня я еще не была в канцелярии...

Хотите напомнить мне о бабушкиных словах? Не стоит, не забыла. Знаю, что вечером, когда вернусь домой, она снова будет упрекать: зачем я вмешиваюсь в дела мужчин, зачем хожу к порогу этих злодеев. Эти злодеи —Мукуч и его жена, а

канцелярия помещается в их гостиной, и я все-таки хожу туда, потому что сейчас там происходят интересные вещи. Самое интересное, конечно, то, что посетители, по какому бы срочному делу ни пришли, обязательно усаживаются там на дощатом полу, который когда-то блестел и был алым как мак, чертят ножом квадраты, играют в дамки и беседуют. Играют час, другой, беседуют и, понятно, устают от этого, и им хочется пить. А кто же поднесет им кружку, если меня там не окажется? И как только я появляюсь на пороге, все начинают просить воды. Понятно, я не побегу к роднику, когда тут же, в сенях Мукуча, стоит ведро воды и сам Мукуч не против, чтоб вода эта пошла на пользу державе землепашцев, как и его гостиная... Притаскиваю ведро, ставлю на середину комнаты, люди пьют, с удовольствием говорят «ох» и благословляют меня.

— Да быть тебе ясной, как эта вода...

— Чтоб попала ты невестой в богатый дом...

И кто-нибудь, напившись и обсосав мокрые усы, скажет:

— Доченька джан, бери-ка веник, подмети пол, как девушке положено,— задыхаемся среди мусора.

...Все это стало моей каждодневной обязанностью, так же точно как обязанностью Мукуча стало постоянно приходить, садиться рядом с играющими в дамки, смотреть и давать советы. Любопытны эти советы Мукуча. Вот, например, играет Сурен. Башка смотрит молча и ничего ведь не скажет, если камушки Сурена рассыпаются неудачно и дают возможность камушку соседа выйти в дамки. Когда это произойдет, Мукуч лишь улыбается насмешливо:

— Открыл свой зад, умник, конечно, волк схватит за курдюк!

А вот когда играет Макар, Мукуч даже сам иной раз передвинет его камушек и говорит наставительно:

— Не спеши, Макар, жена того, кто торопится, не родит сына. Сопокойно, тихонечко схвати его за слабое место... Э-э, нет, не выйдет, не кидайся сразу, застрянешь в пути. Осторожненько действуй, парень, осторожненько, чтоб он не догадался, что у тебя на уме... Бей врага неожиданно, он только растеряется от боли, и победа — твоя.

После таких советов Макар всегда выходит в дамки, и Мукуч одобряет его:

— Молодец, слушайся меня...

Сурен и Макар опять играют в дамки. Камушки Сурена, кажется, хорошо расположены: он вошел в азарт и непрерывно повторяет:

— Брат Грибок, дела твои незавидные... Сейчас отхвачу тебе курдюк, Грибок...— Не оборачиваясь, он протягивает назад руку: — Дайте покурить, ребята.

Мукуч достает свой кисет.

— Даже по табаку видно, что хозяин его — барин,— затягиваясь цигаркой, смеется Сурен и снова хмурится, уходит в игру.— Хороший табачок, Мукуч-тацу.

— То есть что хочешь сказать этим? — шевелит ушами Мукуч.

— Мукуч-ага, давай вместе с гостиной подари и свой табачок ревкому. Верно я говорю, табачок хороший, а ты — человек, любящий соседей.

— То есть к чему эти слова? Разве я не подарил гостиную? Если б я не захотел отдать по доброй воле, то даже багдадский халиф не смог бы ее взять.

— Ты думаешь?..

— А как бы ты стал называть свой поступок, если б захватил силой, товарищ Сурен? Говоришь: барин я? Так прочти теперь эту бумагу и посмотри, какой я барин.

Он достает из нагрудного кармана бережно сложенный лист и протягивает Сурену. Сурен с любопытством смотрит на бумагу, переворачивает ее и начинает читать, шевеля усами.

— Зачем читаешь про себя? Вслух, вслух читай, пусть все слышат... Беник джан! Беник! Прочти-ка ты, этот профессор Торопыга не может разобраться. На!

Беник, оторвавшись от своих бумаг, подымает голову и, протирая слезящиеся от едкого дыма глаза, вопросительно смотрит на Мукуча:

— Что тебе, товарищ Мукуч?

— Прочти-ка эту бумагу, Беник джан.

— Чего ж читать, я уже читал,— устало и равнодушно ворчит он, но все-таки берет лист.— «Справка,— начинает он, чуть повысив голос, и это заставляет всех умолкнуть.— Дается сия жителю Урута Мкртичу Барикянцу в том, что его хозяйство не признано кулацким, так как маслобойня и две пары подъяремных волов принадлежат его жене, как полученные в наследство от отца; большая гостиная принадлежит дочери его пропавшего без вести брата Шогик Барикянц, которая, будучи несовершеннолетней, своей собственностью пока не пользуется».

Прочитав, Беник снова склоняется над своими бумагами. Наступает тягостная тишина.

— Да, вот это я забыл,— задумчиво говорит Макар,— в самом деле, ведь маслобойня — приданое Шушан, не так ли?

— Вот-вот, пусть помянут добром твоего отца,— оживляется Мукуч.— Что я имел, когда женился на этой девушке? Два хвоста телков да эту дедовскую развалину — дом. А тесть был человек пожилой, и у него, представь, одна-единственная дочь. Человек не хотел, чтобы после смерти его имущество досталось собакам да волкам, записал все на дочь. Это же всей деревне известно!

— Да, брат, известно,— подтверждает Макар.

— Ты договаривай, что дальше! — кричит Сурен.

— А что дальше, Сурен джан? Маслобойня Дарбиняна Мнацакана совсем разваливалась, женился на дочке и маслобойню постепенно...

— Постепенно наладил и забрал в руки весь уезд, верно?

— А что мне было делать, Сурен? Закон мира таков: «Сыну нужен отец, добру — хозяин». Имущество перешло в мои руки,— что делать? Не мог же я допустить, чтобы все разорилось, пропало? Плохо, что я пустил в ход маслобойню? Не позволил, чтоб крестьяне, взвалив на себя по два пуда льняного семени, тащились с мешками до самого Караберда,— это вам не нравится? Вот так — льешь праведный пот, превращаешь ночь в день, честным трудом откладываешь себе на кусок хлеба — и вот будешь, конечно, плох. Зачем ты попрекаешь меня этим? Один, один работал. Что делал этот непутевый Гогор? Пока был маленький, жена моя стирала ему пеленки, вырос — женился самовольно, оставил ребенка на моей шее и ушел, пропал. Какую я от него имел выгоду? А сейчас вы и это вешаете на меня: «Брат был дашнаком...» Ну и черт с ним, что был дашнаком, что мне за дело, поймайте, разделайтесь!

— Хорошо все разметил, Мукуч-ага, очень хорошо. Работал ты, а Шмо и Ерванд, что жарились у тебя в маслобойне, как льняное семя,— что это, по-твоему? Прошло и забылось?

— Нельзя так, Сурен, ты провеиваешь старую труху. Не даром же работали эти люди? Я платил им. В коптилке Шмо до сих пор горит наше масло, и у Ерванда горит. Ты не забывай о плате — все в ней. Мне, к примеру, нужны работники, им — заработок. Вот так мы и подсобляли друг другу. А ты что хочешь, чтоб я один своими силами справлялся с маслобойней для всей деревни? Женщина в одиночку не родит сына, Сурен джан. Только при взаимной помощи налаживается дело, ты это знаешь.

— Да, конечно, это так. Тебе видней, каким путем ты раздобыл эту бумагу, только не думай, что началось братанье волка с овцой. Мукуч-ага, если б даже сам Ленин выдал эту бумагу, овца остается овцой, а волк — волком. И если лиса даже нору сменит, то повадки все останутся при ней, вот о чем я толкую.

Один говорил ровно и спокойно, другой горячился и размахивал длинными руками, и люди примолкли, задумались. Только Макар изредка бормотал что-то под нос.

Впрочем, он никогда и не говорит громко: или играет в дамки, или сидит себе в уголочке и слушает, уставясь на собственный нос, пока люди не распалятся. Тут он и вставит осторожно свое слово и снова сгорбится под папахой. А папаха его так велика, что с первого взгляда и не различишь, что под нею кроется.

Очень трудно определить, что за человек Макар. О нем говорят, что он лает у ворот Барикянцев, но я-то знаю точнее: эту должность он выполняет у порога Мукуча. Увидит: идет Му-

куч с плетеным коробом за спиной,—подбежит, хватает короб; увидит: Башка-ханум вышла за водой,— перехватит коромысло с ее плеч. Оба Башки так его используют, словно Макар их батрак. Не так и молод Макар, чтоб сказать, что он из уважения помогает старшему годами Мукучу. Впрочем, возраст Макара определить трудно. Это человек с толстой шеей, широкими плечами и короткими ногами. В папахе он похож на гриб, потому его и прозвали Макар Грибок. Под этим огромным навесом из овчины не всегда разглядишь его мутные, серые глаза, которые никогда не смотрят прямо в лицо собеседнику. Словом, очень непонятный человек этот Макар.

И еще более непонятно — почему Беник Данелян дружит с ним. Несколько раз, войдя утром в канцелярию, я видела, как Макар что-то шепчет, навалясь всей грудью на стол и будто втянув Беника под свою папаху. Когда приходят дядюшка Авет или Ерванд, он сейчас же исчезает, разумеется унося с собой грубую брань Ерванда и снисходительную улыбку Беника: «Вот ведь темная голова, втолковывай ему сколько хочешь, а он опять свое: «Товарищ Данелян, когда же и мы станем как все люди?»

— Нет, Мукуч-ага, если б легко было с помощью таких бумажек сменить шкуру...— снова начинает Сурен.

— Если он в мирни време держал батраков, то ваши большевики держат их теперь,— бурчит за завесой дыма Макар.

— О чем ты говоришь? — вскидывается Сурен.— Кто, какие батраки?..

— Пойди самого спроси, вашу ячейку... Разве не используют бабушку и внучку как батраков?..

Люди делают ему знаки: «Замолчи!» Мукуч исподтишка смотрит то на меня, то на Макара. Сурен, раскрыв рот от удивления, гневно озирается вокруг, а у меня горят уши...

— Глупости болтаешь, Макар! — строго кричит Беник.— А вы? Почему все здесь собрались? Что вам тут надо? Дайте работать!..

Никто не двигается с места. Беник достает из-под бумаг газету и как бы ныряет в нее. Ухожу только я. Бегу с затуманенными от слез глазами и осыпаю самыми горькими проклятиями голову Макара, Беника и всех...

ДУНЬ — ПОТУХНЕТ, А ДУНЬ — РАЗГОРИТСЯ...

Хотелось сейчас же найти дядюшку Авета, но где, как? От зари до зари он на ногах, совсем не щадит себя, извелся. Сурен верно сказал однажды, что если наш Урут — крепость, то нога дядюшки Авета — деревянный таран. Так он таскается весь день: то в поле уйдет — посмотреть, как у кого поднялись всходы; то занимается огородами,— ведь если сам раздавал семена редьки

и моркови, то за их ростом должен сам проследить. Все время собирается по вопросу о ниве сына Алмо сходить в Кафтарлу, где работает его товарищ в какой-то большой должности, и все время откладывает — некогда. Ведь есть еще Ерванд, а это такой человек, что, если хоть на час дядюшка Авет выпустит его из поля зрения, готов всех перестрелять из нагана. Ерванд считает, что и тут, в деревне, разговаривать с людьми надо по-партизански и, если кто сопротивляется, с тем нянчиться не следует. И дядюшка Авет убеждает его, сердится, наставляет. Так он мучается весь день, а когда приходит домой — от усталости язык во рту не повернет. Он и дома не успокаивается. Как только сжует кусок хлеба, достает из кармана какую-нибудь мятую книжонку и начинает шептать — читает. Сидит иногда до поздней ночи, делает в книжке какие-то пометки карандашом и опять читает все сначала.

— Да не разрушится твой дом,— иногда выговаривает ему Маран.— Ты что, может, в пещеру отшельником пойдешь?

— Подожди, жена, надо посмотреть, как мы одолеем этот нэп,— растолковывает дядюшка Авет.— Не понимаю, о чем тут говорится?..

Бабушка удивляется — такой умный человек и может чего-то не понимать. А Маран снова ворчит:

— Довольно, дай уснуть! Не убежит твой нэп, утром разберешься.

По мнению Маран, во всех книжках дядюшки Авета написана все та же сказка про нэп. Вытряхивая или латая одежду мужа, Маран вытаскивает из каждого кармана по книжке и сердится:

— Нет покоя от этого проклятого нэпа.

...Вот он читает снова. Почему он дома? В руках у него все та же книжка о нэпе, а под колено заложена газета. Я кружу около него, хочу рассказать про то, что болтал Макар, но он не замечает меня. Подхожу, присаживаюсь рядом и вытаскиваю газету из-под его колена.

— Ого, удивила! Читаешь? — насмехается Паруйр. Его оскорбляет это: я, девчонка, и умею читать.

— Хорошо делает, пусть читает,— не глядя на меня, поощряет дядюшка Авет.

С трудом разбираю самые крупные буквы. Ничего не понимаю. Хочу спросить, но он весь ушел в свой «нэп».

— Дядюшка Авет, что это — «Рурская область»?

— Помолчи, Арцвик.

— А «Чемберлен»? Ну скажи-и...

Он по-прежнему молчит, но уже не читает, думает. Затем, подняв голову, печально смотрит на меня и, взяв из моих рук газету, показывает на один из заголовков:

— Чемберлен бешеный, держись от него подальше. Ты прочти вот эту заметку... Прочти, посмотри, верно или нет?

Я кладу палец на указанное им место и медленно читаю. Один раз прочитала по слогам. Нет, что-то не так. В глазах, должно быть, мутится...

— Ну, застряла? — улыбается дядюшка Авет.— Дай мне.

Он забирает газету и читает вслух:

— «В деревне Урут свила гнездо группа аферистов (пусть дочитает, тогда спрошу, что за птица «аферист»), которая занимается шкурничеством (э, нам-то какое дело до шкур?). Единственный в деревне коммунист Авет Авакян стал игрушкой в их руках. Выданную государством семенную ссуду они не смогли вовремя освоить, часть роздали таким людям, которые не в состоянии были провести сев, например Ишхану Алмояну, а другая часть лежит в амбаре, мыши едят зерно с одной стороны, а Авет Авакян — с другой. Требуем призвать к порядку Авета Авакяна. Наблюдатель».

Пока он читает, у меня перехватывает дыхание, и я, как выброшенная на берег рыба, открываю и закрываю рот. Бабушка, сучившая нитку на прялке, бросила веретено и, уткнув руки в бока, стала перед нами, словно собираясь драться.

— Это кто же говорит такое, Авет джан? — сердито вопрошает она.

Дядюшка Авет улыбается:

— Наблюдатель, матушка Нуно.

— Кто такой Наблюдатель? В Уруте есть человек с таким именем?

— Это значит видящий, ну, такой, что все видит навыворот, поэтому не осмеливается подписаться собственным именем и пишется так.

— Пусть ослепнут его глаза, если видят навыворот. Что ж это такое? Слыхано ли, чтоб о живом-здоровом человеке писали в газете? Язык, что ли, отнялся у этой проклятой газеты? Не могла сказать: наговариваете, не такой парень Авет...

— И про нашего Сурена наговаривают так, да похоронить мне самый их корень! — вмешивается Арус.— Знаю, чьи это дела, наши мужья стали советом и ячейкой, так они и лопаются от злости.

— Авет джан, умереть мне за твое солнце, спрячь эту газету,— советует бабушка, косясь на меня и Арус.— Пусть никто не узнает, осрамимся на весь мир, сынок. Дай мне, я так упрячу, что следа не останется.

Она крутится на месте, не зная, куда спрятать газету, а снаружи вдруг слышатся чьи-то голоса. Бабушка проворно садится на газету, а мне подмигивает, дает понять, чтоб я молчала.

Входят Ерванд и Смбат.

— Читал, что настрочил Наблюдатель? — не поздоровавшись, начинает Ерванд и, сняв папаху, достает оттуда сложенную газету.— На, прочитай, если еще не видел.

— Вай, и в этой тоже написано? — меняется в лице бабушка.

— Значит, знаете? — спрашивает Ерванд.— Что же будем делать?

— Пусть пишут. Теперь по всей Армении узнают, что в Уруте есть такой человек Авет,— улыбается дядюшка Авет.

— Блаженный, нашел чему смеяться! — Бабушка уже не на шутку рассердилась.— Что же это такое, Ерванд джан, ребята джан? Агабека нет здесь, чтоб защитить его, сам Авет парень с мягким сердцем,— так, значит, должны нести напраслину на бедное мое дитя? Какие же вы товарищи? Бедное мое дитя весь день мучается, старается для народа, и ест-то он один банджар, собранный в поле. Какая же совесть у этого человека, если он пишет такое: «Авет съел пшеницу»!..— Бабушка на миг переводит дыхание, потом, решив, что об этой истории надо поставить в известность и бога, воздевает руки: — Господи, я прах под твоими ногами, разберись, кто прав, да ослепи поскорей глаза этого проклятого Наблюдателя, как мне того хочется...— Слезы у бабушки текут все обильнее, и она замолкает.

— В этой заметке есть и доля правды, ребята,— говорит дядюшка Авет.— Верно, семена мы распределили неправильно, затянули, не подумали вовремя об обмене озимых на яровые. А что касается мышей и меня... что тут говорить, вы же видите, что я ем...

— Ах, Авет, поделом тебе,— пыхтит Ерванд.— Я тогда говорил, говорю и сейчас: наган, наган надо сунуть им в рот. Надо всех их перехватать — и в кутузку, проучить, чтоб не было дальше такого сраму. Ведь если крест мой, то сила его известна прежде всего мне, верно? Знаю я наших крестьян. Не уймутся, пока не посадим одного-двух.

Ну, если речь зашла об арестах, я знаю — теперь у них пойдет горячка. То есть горячиться будет Ерванд, а дядюшка Авет станет убеждать его и сердиться. Удивительный человек этот наш дядюшка Авет. Пока мы жили в нашем селении и Костан со своими дашнаками драли с нас по семь шкур, дядюшка Авет говорил: «Пусть только власть перейдет в наши руки, увидишь, как мы их всех перекроим на бурдюки...» — а сам до сих пор на бурдюк никого не перекроил. Он и Ерванд уже несколько раз ссорились из-за этого. Ерванд требовал арестовать хотя бы Макара из-за его вредной болтовни, а дядюшка Авет знай твердил свое: «Ты не прав, Ерванд, мы народное государство и не можем переполнять людьми тюрьмы. Макар и все остальные должны видеть наши дела, наш честный труд, и тогда они в конце концов поверят нам. А если будем сажать таких бедняков, как Макар, в чем же тогда разница между нами и печальной памяти хмбапетами?»

— Интересно, Ерванд, как бы ты говорил с людьми, если б у тебя сбоку не висел этот наган? — вздыхает дядюшка Авет.—

Да и как арестуешь, братец мой, кого арестуешь? Этот человек сам знает, что врет, потому и не поставил настоящего своего имени.

— Вот это мне нравится! — орет Сурен, который тоже вошел и слушал, стоя у порога.— Товарищ Авет джан, иногда ты такое скажешь, что лучше лопнуть. Да если каждый, кто захочет, будет дуть в эту дудку, то ветер превратится в бурю, а буря в ураган и так тебе заметет дорогу, что не будешь знать: откуда шел, куда надо идти... Нет, не прав ты, надо закрыть им рты. Пойди в канцелярию, послушай, о чем там говорят. А этот болван прикрепленный — нет чтобы одернуть людей, сидит и мотает головой, как заговоренный осел.

— Я этого Данеляна выгоню! — вскакивает с места Ерванд.— Как хотите, а собачий хвост зарыт именно под ним, это он мутит деревню. Наши мужики любят разглагольствовать впустую, но такого среди них нет, чтобы написать письмо в газету.— Он хватает газету и начинает читать, как я, по слогам.— Ну вот, кто в нашей деревне может писать такие слова: «с-ви... свили гнездо а-фе-ри-сты...»? Что это, сам не пойму.

— Вот и плохо, что не понимаешь,— устало улыбается дядюшка Авет.— Этот Наблюдатель хочет сказать: я, ты и все, кто управляют деревней,— все мы что-то вроде башибузуков, разбойников, грабителей... Сумей докажи теперь людям, что это не так, что ты честный человек.

— А ты даешь доказать? Шею мне рубишь, Авет,— обиженно крякает Ерванд и собирается выскочить вон, но его удерживает бабушка:

— Не ссорьтесь, ради бога, ребята, не говорите друг другу обидных слов. Авет мой сказал, что раздувают ложь, а мой Сурен сказал, что, если будут так дуть, ветер вырастет в бурю. Правильно, Сурен джан. И я говорю: можно дуть так, что разгорится, можно и так дунуть, что потухнет. Дунешь на огонь — разгорится, на лампаду дунешь — потухнет. Этот бессовестный Наблюдатель подул на лампаду. Лампада — это вы, ребятки мои, ваши дела, ваше разумение. Если вы в нужную минуту будете стоять плечом к плечу и лицом к этому урагану, о котором говорил Сурен, то, сколько бы ни дули, не погаснет ваша лампада. Ваша сила, сыночки, в вашем братстве.

Бабушка молчит. Молчат все. Дядюшка Авет ласково смотрит на нее.

— Молодец, матушка Нуно, ты видишь дальше нас,— виновато улыбается Ерванд.

Я вспоминаю: когда мы еще жили в нашем родном селе, дядюшка Авет говорил: «Село бурлит, как котел на огне...» Сейчас Урут как раз так и бурлит. Стоят самые горячие дни — надо полоть огороды,— а они, как только рассветет, говорят о дядюш-

ке Авете, и так до самого заката. Не помогают ни наган Ерванда, ни разъяснения Смбата и Сурена — то спокойные, то гневные. Лишь сам дядюшка Авет спокоен. Только изредка, если я и Арус наперекор друг другу слишком подробно рассказываем ему о том, кто что болтал по дороге на родник и что мы слушали у церковных дверей, дядюшка Авет говорит с грустной улыбкой:

— Вот сейчас и смотри, Арцвик, что значит: «снаружи — молитва, внутри — бритва».

— А ты арестуй этого вредного Башку...

— Не разрешает.

— Кто?

— Прикрепленный товарищ.

Прикрепленный товарищ не разрешал и Ерванду, но тот все же арестовал Макара. А Мукуч тем временем объявил, что работника держать больше не будет, и рассчитал Арарата. Тот пришел к дядюшке Авету.

— Хочу уйти из деревни, товарищ Авет.

— А разве ты не член ревкома?

— Ревком или не ревком — та же вода, та же мельница. Без работы хлеба есть не будешь.

— А как я ем?

— Что ты ел, я не видел, вижу только, как попрекают.

Арарат не ушел. Но ушел Беник. Уехал, не сказавшись никому. И пополз новый слух: прикрепленный товарищ уехал добиваться, чтоб их всех выгнали из ревкома. Будет новый ревком, и в нем больше не будет беженцев...

Ревком остался старый. Беник вернулся с двумя другими людьми. Два дня они сидели, запершись в канцелярии, проверили все списки: сколько у кого взяли зерна, что кому выдали, что осталось. Кончили проверять и пришли к нам домой. Собрался весь ревком.

— Этого товарища Данеляна уберите из нашей деревни,— потребовал Ерванд. Беник снисходительно улыбнулся.— И еще: соберите всех крестьян и объявите, что про Авета все было вранье.

— Это последнее сделайте сами, от работы крестьян не отрывайте, но разъясните. Объясните, что это была клевета,— сказали проверявшие.

— Раз поручаете мне, то я сам найду как объяснить. А насчет Беника что скажете? Я ему не разрешу оставаться в нашей деревне.

— Отзовем, отзовем. Как только состоятся выборы сельсовета, мы отзовем товарища Данеляна, но повремените, нет другого, чтоб прикрепить,— сказали они и ушли, выпустив на свободу Макара.

— Ну, что ты скажешь на это, матушка Нуно? — горько улыбнулся Ерванд.— На лампаду они дули или на огонь?

Бабушка достала свой нюхательный табак.

...Крестьяне поверили прежде всего в невиновность Макара да еще добавили от себя: «Этой бедной скотине не разделить меру ячменя между двумя ослами, разве его ума дело писать письма в газету?..»

А к заявлению Ерванда, что дядюшка Авет оклеветан, отнеслись по-разному: кто поверил, а иной и зашушукал в ухо соседу:

— Концы в воду спрятали...

В этой атмосфере и состоялись выборы в сельсовет.

Сначала мы с ребятишками, прижавшись носами к оконным стеклам, заглядывали внутрь канцелярии и шумели. Было очень интересно, когда Смбат, высунув в дверь голову, громко позвал:

— Ишхан Алмоян!..

Сын Алмо, сидевший недалеко от нас и спокойно дымивший цигаркой, не обратил на это никакого внимания.

— Ишхан Алмоян, тебя, тебя зову! — рассердился Смбат и высунулся уже всем телом.— Послушай, человечина, мы называем твое имя, не понимаешь?

Сын Алмо, смутившись, поднялся с места:

— На кого обижаешься, Смбат джан?..

— Да на тебя, на тебя, чурка деревянная. Ишхан Алмоян — не ты? Или опять забыл, как зовут?

— Что?.. Я?..— Сын Алмо приложил палец к груди и выставил вперед заросшую рожу.— Эге, Смбат джан, спрашиваешь совсем как товарищ Варшам. Я, Смбат джан, я! Думал, пойду, покалякаю в канцелярии, пришел, а тут собрание...

И Смбат, который постоянно и с удовольствием объяснял всем, что такое рабоче-крестьянская смычка, боевой товарищ и тому подобные вещи, тут же на месте растолковал сыну Алмо, что его имя действительно Ишхан, фамилия Алмоян, что он бедняк, но все равно свободный гражданин и сейчас же должен войти и проголосовать. Не знаю, что понял из этого объяснения сын Алмо. Но он последовал за Смбатом, говоря, что стукнется головой об камень, а такого славного парня обязательно уважит. Они вошли. Воспользовавшись случаем, проскользнула внутрь и я — в тот момент, когда Беник держал речь.

Можно было бы и не слушать этой его очередной речи,— я давно уже знала, как все они начинаются и чем кончаются. Но на этот раз прикрепленный товарищ скромно умолчал о своей пролитой крови, не упомянул даже о коммунизме и мировой революции, только сказал, что Советское правительство великодушно, мудро, дальновидно, как и он сам, и не может не видеть и не оценить тех, кто честно становится на советскую платформу... Вероятно, никто на этом собрании не понял, что такое платформа, на которую надо честно становиться. Беник не придал этому значения и заявил: человека, стоящего на этой платформе — пусть это кулак или такой, как Макар, все равно,— мы обязаны уважать и ценить...

— Хорошо ты рассуждаешь, товарищ Данелян, нечего сказать,— не удержался дядюшка Авет.— Кто этот честный, давайте поставим ему свечку!

— Не перебивайте меня, товарищ Авет, не перебивайте. В конце концов, здесь и я и вы люди новые, а они все давние соседи и лучше знают друг друга. И если кто-нибудь из них пошел в прошлом по неверному пути, это простительно. Мы — совсем другое дело. Как большевики, ни я, ни вы не имеем права идти по такому пути. Да, собственно, к чему спорить, голосование покажет, кто из нас прав.

— Будем голосовать поименно! — заорал дядюшка Авет.

— Зачем поименно? Список уже прочитали, всем известно, кто есть в списке. Ставлю на голосование весь список.

— Погоди, товарищ прикрепленный, почему именно ты ставишь на голосование?

— Потому, что ты больше не председатель, товарищ Ерванд. С этой минуты в вашей деревне нет власти, мы ее создаем сейчас, и я уполномочен руководить этим делом,— четко заявил Данелян и поднял над головой клочок бумаги.— Кто согласен с этим списком, пусть подымет руку.

Среди леса поднятых рук я не увидела руки дядюшки Авета, а Макар одну руку поднял над собой, а вторую высунул из-за плеча сына Алмо...

Вот так и проголосовали и выбрали сельсовет. Кроме бывших членов ревкома в него вошли Торгом, сын Алмо и... Мукуч.

Многие не дождались, пока Беник Данелян закончит речь, которая называлась заключительным словом, и с шумом, толкая друг друга, высыпали из канцелярии. И удивительно — одним из первых вышел на улицу Мукуч. В ином случае он бы медлил, принюхивался, чтоб узнать, что у людей на уме... На этот раз он не зарезал барашка, но по лицу Шушан, по суматохе в доме видно было — там готовится что-то, и Мукуч торопился.

— Одну минуточку, товарищ Авет,— окликнул Беник, когда дядюшка Авет хотел выйти, и дружески положил ему руку на плечо.— Ты говорил: голосовать поименно. Неправильно ты предлагал. Если б сделали по-твоему, ни один из наших людей не прошел бы. Как ты мог не видеть настроения людей?

Дядюшка Авет усмехнулся:

— Почему же, товарищ Данелян? Те из *ваших людей*, которые должны были пройти,— прошли.

Дядюшка Авет сел за работу. Он решил наконец выстрогать нам по паре наликов (благодаря чему стал «светом очей» для Арус).

Дядя Шмо следит за его ловкими движениями и говорит:

— Ремесло — дело доброе, Авет джан. Такое ремесло в твоих руках, а ты кладешь безвинную голову под евангелие.

— Хочу жить головой, дядя Шмо,— хитровато щурится дядюшка Авет.— Что руки? Руками я самое большее дотянусь до каблучков наликов, дальше не достану.

— Видно, сынок, наше разумение не доросло еще до того, чтоб мы обходились своим умом. Мы как слепой — его угощают миской арисы[1], а он, вместо благодарности, шум подымает: «Если ты столько даешь мне, значит, сам целый горшок съел». Волнуемся, кипим, а кончается чем? Староста снова садится на то место, с которого его сбросили. Никто не скажет: болваны, что с вами будет, если вы подпеваете каждому? Если снова суете шею под ярмо Мукуча, как оскопленные бычки, зачем тогда петушились?.. Голова пухнет от всего этого, Авет джан. Что же дальше, когда будет конец этой неразберихе, когда станут чистыми воды?..

— Воды? Верно это, дядя Шмо, воды должны стать чистыми. Но не сразу. Скажем, роешь ты новый арык и хочешь провести воду. Арык новый,— значит, будут осыпаться земля и камни, замутят воду, тина и ил засорят, запрудят дорогу, а если кое-где дно песчаное, вода еще и убудет — песок утянет свою долю. Так и будет продолжаться, пока арык не посадит все на свое место. Только тогда прозрачная и ясная вода дойдет до твоей грядки. Так и наше дело теперь, дядя Шмо. Порядочно еще будут мутить нашу воду, пока она станет чистой. Ну, а когда очистится...

Дядюшка Авет говорит медленно, задумчиво. Дядя Шмо, попыхивая трубкой кивает головой, а иногда, не поняв чего-нибудь, переспрашивает, и мы с ним оба удивляемся: оказывается, наш дядюшка Авет знает много интересного.

...Солнечный луч попал на почерневшую от кизячного дыма и времени потолочную балку, и оттого, что балка черная как деготь, мне кажется, что из ертыка свесился кусок оранжевого шелка, который сейчас медленно тянут вверх. Луч скользит, скользит и, сжавшись в маленький лоскут, повисает у самого края ертыка, в том месте, где косо сходящиеся концы балок образуют остроугольную нишу. В этой нише гнездо ласточек. Солнечный луч обнял и словно укачивает эту слепленную из соломы и глины корзинку. Через ертык влетают и выпархивают ласточки. Их две, у одной грудь сероватая, голова крупная, другая — вся черная. и проснулись на заре и чинят свое гнездо. Вот та, что с сереньκой грудкой, несет в клюве перышко. Сунув голову в ертык, она оглянулась вокруг и скользнула в гнездо. Потом вылезли обе и, присев на краешек гнезда, защебетали. Беседуют, наверно, о том, что скоро выведут птенцов, потом научат их летать...

Э-э, ласточки, думаете, одни только вы радуетесь завтрашнему дню? Если б вы могли понять, о чем рассказывает дядюшка Авет...

[1] Ариса — каша из заварной пшеницы с курятиной или бараниной.

Я закрываю глаза — так увижу яснее. И множатся, расстилаются дороги. Мне кажется, будто слышу журчание вод, бурлят и пенятся все ручьи и родники Алагяза. Вот голубые озера, и над ними голубое небо, зеленеют поля, вот наш Алагяз, сверкающий как серебро. Вижу Ярут, наше далекое родное село, наш дом, луга — все, все вижу. Узнаю и... не узнаю. Красивы наши дома, на улицах — деревья, а слепящих ярким светом фонарей больше даже, чем звезд. Будто солнце раскололось на кусочки и рассеяло их по всей земле. Но есть и солнце. Огромное, близко и тепло сияет оно, и мне кажется, что я легко и радостно лечу сквозь этот свет, сквозь огни, пеструю зелень, под разноцветными аркадами радуги...

Я вскакиваю с места и выбегаю из дому.

— Арцвик, бала джан, сбегай к нам домой, принеси мне шинель,— слышу за собой голос дяди Шмо.

«Эх, дядя Шмо,— улыбаюсь я мысленно,— опять забыл дома шинель? Так и оставайся без шинели...» А я должна видеть своих друзей: Нушик, Вардана и Паруйра, который, если бы не Арус, даже на ночь не приходил бы домой, оставался бы с Варданом и их конем — Булатом. И я бегу по плоским крышам, как бегала когда-то еще в родном селе. Мне и хочется и не хочется, чтоб люди заметили меня. Хочется — чтоб рассказать им все, что слышала от дядюшки Авета, не хочется — потому что хочу рассказать сначала своим друзьям.

И не знаю, я ли предложила или Нушик, Вардан или Паруйр, а может, Гарик? Нет, он только прыгал и кувыркался с Топлан, когда, перебивая друг друга, мы обсуждали рассказ дядюшки Авета. Мы столько в него добавили, так разукрасили этот рассказ, столько возникло у нас планов, что сами запутались в них и в конце концов решили взять с собой Булата и отправиться на весь день в луга,— может, там, на просторе, мы выясним, что надо сделать, чтобы осуществились все наши мечты и планы...

О КОММУНИЗМЕ И БУЛАТ ТОРГОМА

По склонам Алагяза, журча, сбегают ручейки. Чистая, голубая вода все еще отдает на вкус снегом, она как лед, сунь в нее палец — будто ножом отрежет. Журчат, бормочут ручьи. Вытащишь из дерна ногу, тут же натечет мутная лужица, а из нее поднимает головку молочно-белый бутончик смбула — горного ковыля. Он еле виден над землей, но присоединяет свой слабый аромат к журчанию вод, веющему с гор ветерку и запаху этой земли, которая еще вчера была покрыта снегом, а сегодня раскинулась зеленым ковром и словно зовет нас бегать по ней и кувыркаться.

Хорошо шагать вместе с этими ветерками и ручьями, насквозь пропитавшись ароматом смбула и приятной весенней свежестью.

Шагать, только шагать! Кто же согласится оставить эту молодую зелень и лезть на спину Булату? И хоть после нашего бегства от турок прошло два года, а с тех пор я ведь ни разу не садилась ни на осла, ни на лошадь,— с удовольствием уступаю свою очередь Нушик, а сама бегу впереди коня. Вот тогда Топлан нюхом отыщет ту дорогу, которая поведет в деревню, где живет Каро... Тогда я, конечно, сяду на коня.

Только тот, у кого пропала мать, понимает, как это тяжело... И как не пойти на поиски матери, когда дядюшка Авет рассказал столько интересного про справедливость, правду и хорошую жизнь. Он, правда, сказал, что все это придет не сразу, а потихоньку, но мы, выйдя из деревни и достаточно набегавшись, решили, что Каро надо поймать сейчас и тут же расправиться с ним. И вот мы свернули в сторону Кафтарлу. Конечно, такому разбойнику, как Каро, там нечего делать, но там живет Гарегин, товарищ дядюшки Авета, он занимает очень большую должность, и все идут к нему заявлять свои протесты и жалобы государству.

Наше решение, кажется, больше всего пришлось по сердцу Топлан, и вот она, свернув хвост кольцом, бежит вперед. В конечном счете хорошо, что она с нами. По словам Паруйра и Нушик, все в этом Кафтарлу: люди, собаки, коровы и поп — все франки, или, как их еще называют, католики, и, пожалуй, могут закидать нас камнями, так что присутствие Топлан будет излишним. И Паруйра собака выручает — он поссорился с Нушик, даже ударить хотел, а виноват был сам. Вардан отогнал его, и сейчас Паруйр, чтобы скрыть свое смущение, возится с Топлан, шумит, науськивает собаку — не поймешь, на что,— а Топлан, видя, что лаять не на кого, снисходительно смотрит и помахивает хвостом, будто говорит: «Молод ты, не знаешь сам, чего хочешь».

Одним словом, интересное и веселое получилось путешествие. В особенности потому, что у Нушик завернут в подол целый каравай, который мы должны съесть, как только он станет вкусным... Однако что-то не спешит этот хлеб делаться вкусным...

— Но ведь чем дольше носить хлеб по лугам, тем вкуснее он делается,— внезапно говорит с лошади Нушик.— Когда отец мой был пастухом, он каждый день брал с собой горячий хлеб и носил по лугам, а когда вечером принесет домой, таким хлеб делался вкусным, что мы готовы были съесть с ним и собственные пальцы.

— Ты и сейчас хочешь сделать так? — не удерживаюсь я.— Хватит, он уже стал достаточно вкусным, давай поедим.

Гарик тоже готов есть хлеб, ставший вкусным лишь наполовину, и Нушик слезает с лошади. Разломив ячменный хлеб и сунув мне в руку два куска, она подмигивает:

— Один дай этому драчуну шальному.

Паруйр, стесняясь, берет свою долю и спускается в ближайший овраг.

— Эй, послушай, ты ведь поссорился с Нушик, чем же хлеб виноват, куда понес? — кричит ему вслед Вардан.

Немного погодя Паруйр возвращается, в руке у него пучок свежевымытого речного салата. Смущенно глядя в сторону, он кладет салат в подол Нушик.

— Берите, салат с хлебом — вкусно.

Мы с аппетитом едим сорванный на берегу ручья свежий, чуть горьковатый салат. А ячменный хлеб так хорош, словно к нему примешались вкус и аромат всех цветов, ветерков, земли и воды. Не знаю, от сытости или по другой причине, чувствую я себя легко и радостно. И опять хочется бежать, кувыркаться.

— А как же, это луговой хлеб. У него такая сила,— говорит Нушик, а Гарик и Паруйр уже схватились, таскают друг друга, смеются, валятся на мокрую землю, вывозились в грязи с ног до головы.

— Разве можно ходить с ними куда-нибудь? — поддевает их Нушик.— Сцепились, как бараны, всем на удивленье. Гарик, ты-то чего связываешься с этим шальным, не видишь, у него ветер в голове гуляет!

— Думаешь, тебя не одолею? — пыхтит Гарик и кидается на нее.— Давай бороться!

А Нушик-то, Нушик какова! Обхватив Гарика, она дает ему подножку и валит на землю... Срам! Гарик не знает, куда деваться от стыда.

— Выходите и вы, если есть охота,— Нушик наступает на хохочущих Вардана и Паруйра, но те улепетывают.

Так мы веселимся, Булат, фыркая, щиплет траву, Топлан хватает за одежду то одного из нас, то другого или, вдруг принюхавшись, находит травы, вкус которых известен лишь собакам.

Наша радость уже перехлестывает через край, когда вдали показывается большая группа всадников. Они едут легкой рысью, сверкая на солнце оружием, и над ними вьется красное знамя.

Кто же это еще, если не товарищ Варшам со своим войском, ведь он обещал приехать и посмотреть, как нам живется.

Первым очнулся Вардан. Он вскакивает на Булата и мчится вперед. По ветру развеваются его рваная рубашка и грива коня. Вардан размахивает руками, подскакивает на крупе лошади, несется, радуясь, гогоча.

А мы? Мы бежим, перегоняя друг друга, бежим, бежим и добегаем, когда Вардан... Сам он слезает с лошади или... Погодите, что это такое, зачем они окружают Вардана?

— Вардан, не слезай! — кричу я и бросаюсь вперед. Всадник с красивым холеным лицом и блестящими сапогами отталкивает меня ногой, я не заметила — своей или конской.

— Ты откуда тут выросла? — скалится он.

— Дядя джан, сейчас скажу, ведь Вардан... ведь мы... дядя-джан, а моя мать...

Этот сверкающий дядя, склонив голову набок и моргая округленным глазом, смотрит на меня, как петух на найденное в мусорной куче зерно, и смеется по-петушиному.

— Забираю лошадь для армии. Скажешь отцу: военный коммунизм забрал лошадь.

— Будь проклят и твой отец, и твой коммунизм! — рявкает Вардан и в бешенстве кидается на него.— Не дам Булата, не дам! Сукины сыны, бандиты, отцу скажу!..

Некоторые из военных недовольно бормочут что-то, один даже выдвигается вперед и становится между Варданом и этим дядей-бандитом, когда тот подымает кнут.

— Товарищ командир...

— Молчать! Нарушаешь воинскую дисциплину? — взвизгивает командир и велит вдеть в рот Булату новую уздечку. Приказ выполняют, несмотря на то что Вардан мычит. Паруйр проворно набирает камни за пазуху, а Топлан, заслонив трясущегося от страха Гарика, яростно рычит.

Все кончено, сверкающий дядя достает из кармана тетрадку, что-то чиркает в ней и протягивает нам листок:

— Берите, здесь написано: лошадь забираем для армии.

Никто из нас не двигается с места, и он бросает бумажку на землю. Пришпорив коней, отряд уносится, и вот уже никого не видно вдали.

Мы окружаем лежащую на траве бумажку и долго рассматриваем в молчании, пока Топлан не кладет на нее лапу. Самой храброй среди нас оказывается Нушик, она вытаскивает бумажку из-под лапы Топлан.

— Грамотей — она, ей отдай,— насмешливо кривясь, кивает на меня Паруйр.

Я беру бумажку, раза два подношу к носу и наконец решаю, что написано по-ассирийски, а этому языку учитель Хорен меня не обучал.

— Домой пойдем? — растерянно спрашивает Паруйр, вываливая из-за пазухи камни, которые больше не нужны. Домой-то домой, а что дома скажем, куда девали лошадь?

— Я больше не покажусь отцу на глаза,— заявляет Вардан и садится на камень,— что мне там делать? Все...

Гарик испуганно смотрит на него:

— А если с голоду умрешь?..

— Зачем мне жить на свете после Булата?

— Не причитайте, как старухи,— перебивает их Нушик.— Не разрушился мир, и пусть этот командир с белым лицом не задается. Я знаю, что сделаем.

— Что?

— В Кафтарлу пойдем, прямо к приятелю дядюшки Авета и скажем: так и так, коня забрали, дали эту бумагу.— Нушик со-

пит носом, в глазах у нее слезы, и, чтобы удержать их, она крепко стискивает кулаки.— Пойдем, я знаю!

Слова Нушик подымают нас на ноги, и мы бежим так стремительно, что даже Топлан протестует.

Так и бежали бы мы до конца света, но Кафтарлу оказался сам на нашем пути и остановил нас. Сперва я подумала, что это город: сады, парки и железные крыши. Но под которой из этих крыш находится тот человек, что выслушает нас, как надеется Нушик, и «проклянет отца» того сверкающего бандита?

Первый прохожий ничего не сказал нам и пошел своей дорогой. Следующий долго выспрашивал, какое нам нужно начальство: если мы ищем рассыльного, то как раз на него и попали, даже у самого царя нет более важного рассыльного, чем он. Но когда мы рассказали о происшедшем, он почесал темя и сказал, что по такому вопросу надо обратиться к другому начальству. И сам привел нас к дверям другого, главного, и, перед тем как мы вошли, тихо шепнул:

— Скажете: товарищ председатель, нас прислал товарищ рассыльный.

Смущенно сопя, мы выстроились в большой комнате вдоль стены, и Топлан вместе с нами.

— Ого, целая банда! — подымая голову, улыбается сидящее за столом начальство. Это человек с крупным, рябым лицом, он в военной форме, и револьвер на боку.

— Дядя, мы пришли к тебе...

— Вижу. Еще и почтили меня — привели собаку.

— Не укусит,— сказал Гарик.

Начальник громко хохочет и, встав с места, подходит к нам. Гладя Гарика по голове, спрашивает:

— А ты как, кусаешься?.. Ну, говорите, посмотрим, что вам надо. Опять детдом? В плохой день вы пришли, ребятки, у меня совсем нет времени...

Скоро все налаживается. Председатель, обхватив пальцами свой огромный лоб, слушает нас и, то хмурясь, то улыбаясь, потирает подбородок. А мы рассказываем, торопясь и перебивая друг друга. Я нахожу нужным сообщить и то, что слышала от дядюшки Авета: ничего, воды сначала должны замутиться, чтоб стать потом прозрачными, все равно в конце будет справедливость, и маму тоже найдем. Я говорю, а Нушик грозно поводит на меня глазами. И, видя, что это не помогает, тихонько протягивает председателю нашу бумагу.

— Что это? — сперва небрежно спрашивает он, но вдруг его взгляд делается напряженным.— Подожди, доченька, кто это дал?..

— Ну, тот командир, блестящий...

Председатель медленно возвращается на свое место и снова читает бумагу.

— А потом?

Мы рассказываем. Нушик все громче бранит того «воображалу», Паруйр размахивает кулаком, а Вардан сообщает, что после Булата ему нет никакого смысла жить на свете.

— Почему? Что такое? — мрачно протестует Паруйр.— Разве плохие мы товарищи, что ты хочешь умереть?

— А этого человека знаете? — вдруг спрашивает председатель, указывая пальцем на висящий на стене портрет. Из рамы на нас смотрит человек с выпуклым широким лбом и прищуренными глазами. Единственная знакомая на нем вещь — галстук в крапинку. Таким как раз и был галстук учителя Хорена...

— Нет, не знаем,— подумав, заявляет Вардан.

— Это Ленин... Не слыхали?

— Слыхали! Дядюшка Авет рассказывал, доктор Аршак... это было давно, еще там, в нашем селе,— шепчу я.

— Почему только в вашем селе? — протестует Нушик.— Моя сестра Арег говорила, что у них в горах была песня о Ленине, сами сложили...

— Песня? Ну-ка, ты знаешь эту песню? — притягивая ее к себе, спрашивает председатель, и Нушик ошеломляет всех своим писком:

Ленина век! Ленина век!
На дашнака свалился камень!
Ленин пришел, войско привел,
Ленина век...

— «Ленина век»,— присоединяется к голосу нашей подружки рык этого удивительного председателя, и он смеется.— Хорошо, очень хорошо! Ну, раз так, погодите, я угощу вас.— Он достает из ящика стола полкаравая и раздает нам, не забыв и Топлан. Мы жуем, а он, прикурив, отходит к окну.— Трудно, ребятки,— говорит он мягко,— еще и голод будет, и от контры будет еще не раз беда, но ничего, выдержим. Ленина век — говоришь? Чего же тужить? Ну, а теперь уходите, поздно уже, стемнеет, пока дойдете. Передайте привет от меня Авету. И Ерванду, и всем вашим. Скажите, товарищ Гарегин передал привет...

О себе промолчу, но вот Нушик — та онемела от удивления и радости. Она кривит губы и одергивает платье, потом берет себя в руки и наскакивает на нас по-петушиному:

— Ну что, ну что я говорила?..

Мы шумно выбегаем из комнаты этого интересного председателя, забыв даже, что он ничего не сказал о Булате, только заботливо сложил нашу бумажку и спрятал в карман.

...В самом деле, ведь как хорошо было бы, если б председатель сейчас же приказал: найти и привести Булата. Тогда мы все пятеро въехали бы в деревню верхом на лошади и какой гордый был бы у нас вид! Как говорит бабушка: «Помет даже на кончике копья до носа не дотянешь».

Но что делать, если нет у меня ни счастья, ни бедной моей матери. И кого винить,— ведь виновата я сама, только я, выпотрошить меня за это на бурдюк — и того будет мало.

Только никто не думает о наказании. Который уже раз колотят моих несчастных друзей, а я все еще лишена этого их мучительного счастья... Неужели я чужая всем, неужели недостойна даже порки? Как хорошо было в нашем селе, хоть я тогда еще не знала, что такое коммунизм, а бабушка давала мне трепку за малейшую провинность. Бабушка... Она смотрит на меня так, словно я жертвенный ягненок, которого скоро потащат резать. «Режьте скорей, зачем мучаете!» — хочется мне крикнуть, и я снова иду бродить по тем тропам, где мы прошли вместе с Булатом. Поведать бы хоть кому-нибудь о моем горе, но дядюшка Авет так жесток, что запретил мне и это. Нам строго велено молчать, и, кроме наших семейств, никто в деревне не знает, куда исчез Булат...

МОЕ ГОРЕ, ЗЕЛЕНЫЕ НИВЫ И НЭП

Возле маленькой нивы стоит дядя Шом. Высокий, сутулый, с пожелтевшими от табачного дыма обвислыми усами и длинным носом, он похож на старого аиста, особенно когда с присвистом цокает беззубым ртом.

Цокая, он опускается на корточки, берет комок земли и перекидывает в ладонях с такой осторожностью, словно это огонь и может обжечь его. Растерев комочек, он бережно ссыпает землю на ниву, и опять слышно его свистящее цоканье. Что так удивляет дядю Шмо? Нива как нива, вы же помните, когда и как ее пахали и чем засеяли. Посев уже дал ростки в полторы пяди высотой, и веющий с гор ветерок тихо колышет их. Вот это и растрогало, удивило старика.

Это поле, что лежит недалеко от сельских риг,— ведь оно не больше шали моей бабушки. Совсем недавно было оно и с виду таким же потрепанным и вытертым, как эта самая шаль. Проезжали по нему арбы, шли прохожие, топтало стадо, и земля затвердела, убилась, полез по ней чертополох, встал стеной бурьян. И так продолжалось столько лет, столько десятилетий! Дядо Шмо, наверно, и не припомнить, когда в последний раз стоял он с косой на плече возле этой нивы... А сейчас — вот, нива зеленеет...

Старик нежно проводит рукой по зелени и, подняв к небу усы, бормочет:

— Слава тебе, господи милостивый, удостоил... Удостоил этого дня...

Я слежу за дядей Шмо, слышу его задушевное бормотанье и чуть не кричу от горя. За что же меня лишили права радоваться? Почему так обошлись со мной, что я одичала, слоняюсь одна по горам? Ведь есть и у меня мама, так почему же я не могу

найти ее, прижаться к ней и сказать, как дядя Шмо: «Слава тебе, господи милостивый, удостоил этого дня...»?

Нет, я еще не потеряла надежды найти мать, а бабушка — та твердо решила, что осенью пойдет искать наших родных. После беды с Булатом она сказала: если б у меня над головой был дядя, была мать, я не принесла бы такого несчастья бедняге Торгому. Правду говорила бабушка. Но где моя мать и разве воскреснет мой дорогой дядя-рыбак?.. Бабушка счастливей меня — уверена, что дядя жив, и собирается на его поиски. Она и дядя Шмо уже решили пойти с этой целью на озеро Севан. Еще задолго до истории с Булатом она говорила об этом с дядей Шмо. Но тогда, прежде чем перейти к главному делу, старики садились рядом, и один, попыхивая трубкой, а другая, нюхая свой табак, рассказывали друг другу о своей молодости. Сейчас, после случая с Булатом, их беседы стали иными. Когда я, вот так одиноко побродив, вечером, словно тень, приплетусь домой, бабушка смотрит на меня, как на жертвенного ягненка, и, положив мою голову себе на колени, шепчет: «Боже! Бог беспомощных, одиноких сирот, ты знаешь все...» И если окажется у нас дядя Шмо, он утешает бабушку: «Ничего, сестрица Нуно. Ребенок ведь. Не понимала, что делала. Пусть только без беды и грозы поспеют хлеба, дело с Севаном не трудное, пойдем».

Бабушка твердо убеждена, что мой дядя на Севане и ловит рыбу. Взяли туда дядю турки. Только один остался, товарищей перебили (я, конечно, не напомню ей, что Сако и Умршат были живы и дошли до нашей реки...). Дрался как лев. А что лев — будь он хоть Мгером Сасунским, что сделает один против тысячи?

«И схватили моего единственного, взяли в плен, увели к Севанскому морю. Сначала ловил рыбу для турок, а теперь — для большевистской армии. Он, конечно, понимает долг и уважение, не скажет ведь так, спроста: отпустите меня, у меня мать пропала. Нет, брат Шмо, пойду я. Пойду, отыщу своего единственного, и пусть тогда бог берет мою душу».

Вот как заканчиваются теперь вечерние беседы бабушки и дяди Шмо.

Я смотрю на солнце — нет, не скоро еще стемнеет. Дядя Шмо тоже смотрит вверх. Потом его взгляд скользит по полям и горам, старик замечает меня и подзывает пальцем.

— Бродишь по полям? Как горемыка Меджнун? — весело спрашивает он.— Ходи, бала джан, ходи,— может, найдешь того, кого ищет сердце...

А мне хочется крикнуть ему: «Сперва про мое горе спроси, а потом шути». Но дующий с гор ветер слегка свежеет, и дядя Шмо, замолчав на полуслове, снова устремляет взгляд вдаль. Попыхивая трубкой, он долго изучает горизонт, изрезанный сверкающей снегами горной цепью.

— Что скажешь, всезнайка, будет дождь?

— Не знаю, дядя Шмо...

— Не знаешь. А почему не знаешь? Какая же ты крестьянская дочь, если не знаешь таких вещей? А я говорю — будет. Вон видишь убежище наших облаков, во-он на той вершине, по правому крылу Алагяза? Там убежище наших облаков. Уже неделя, как я глаз не свожу: идут облака, идут плавно, как невесты, и только хотят войти в убежище, как выскакивает ветер и спугивает их. Сегодня облака наконец вошли в свое убежище. Теперь жди, будет дождь. Не думай, не град. Та туча, что с градом, рождается сразу, выскакивает с края неба, черная, лохматая. Смотрит, смотрит на зеленые нивы, а потом как ударит...

Неподалеку проходит крестьянин с лопатой на плече, и дядя Шмо, опять прервав себя на полуслове, окликает его:

— Привет, кум! Куда шагаешь?

— Здравствуй, дядя Шмо, иду на баштан.

— Баштан... Что такое баштан? Эй, ты поди лучше сюда, тут есть на что посмотреть. Видишь, какой росток? Смотри, как он раскрыл ладошки, как хлопает!

Так называемый кум знает: как ни отнекивайся — не поможет, дядя Шмо обязательно потащит к своей ниве. Сейчас у дяди Шмо самое дорогое на свете — его нива, и поэтому все для него или кумовья, или сваты. И когда вокруг нивы собирается пять-шесть таких кумовьев, начинается длинная беседа, во время которой одни восторженно цокают языком, другие недоверчиво улыбаются, а самые горячие затевают спор.

Так было и вчера. Дядя Шмо притащил дядю Овасапа полюбоваться на ниву, а я, устав бродить в одиночестве, глядела на них издали. Взвешивая на руках сорванный с края нивы стебелек, дядя Овасап сказал:

— Это как раз подходяще для наших полей: сеешь поздно, заботишься не слишком, а смотри, как вытягивается в дудку — ни град с ним не управится, ни засуха.

Сказав это, он присел на корточки и, расковыряв пальцем землю, вытащил весь росток. Корешок оказался тоже подходящим, и по этому поводу было бы сказано веское слово, но подошел Смбат.

— Корни щупаешь, дядя Овасап? — хитровато улыбнулся он.— Крепкие, не сомневайся, очень крепкие и могучие.

— Да, Смбат джан, и корешок крепкий,— согласился старик, внимательно разглядывая ветвистые, сочные корни.— Почему я не посеял этих семян? — обернулся он к соседям.— Видно, бог отнял у меня разум. Ведь как раз Смбат и говорил мне: «Дядя Овасап, ты честный мичнак» [1]. А я не поверил...

— Вот, вот, не поверил,— подтвердил Смбат.— Не поверил, да еще и посмеялся надо мной.

---

[1] Дядя Овасап перепутал: Смбат говорил, что он честный м и ч а к, что значит середняк. М и ч н а к — по-армянски — межа.

— Что я говорил такого, сынок?..

— Что говорил? Не помнишь, я тебя попросил: дай мне пуда два яровой пшеницы, бери взамен кубанку, а ты что сказал? Ты сказал: «Хочешь навязать мне свою засидевшуюся девку? Не стоит, я человек пожилой...» И так далее.

— Да, говорил, верно,—согласился дядя Овасап.—Тогда дело было такое, а сейчас — совсем ведь другое, теперь я вижу собственными глазами, а тогда были только слова. На будущий год посею. Если даже весь мир перевернется, словам твоим прекословить не стану. У твоего же отца выменяю пудов десять и посею.

— Значит, теперь ты уже свою дочку хочешь навязать моему отцу? — засмеялся Смбат.— Между прочим, моему отцу требуется невестка... И как раз такая.

Старик положил на землю кустик и печально посмотрел на Смбата:

— Эх, Смбат джан, девушка — что кувшин из необожженной глины, надо обжечь вовремя, чтоб для чего-нибудь годилась. Но ведь Ефрем... Каждый раз, как взгляну на его молодую жену, сердце кровью обливается. Лишенная опоры в семье молодая женщина — перепелка в клетке. Как могу я устраивать свадьбу и дуть в зурну, если его место пустует.

Смбат смутился, дядя Овасап закручинился и, словно для того, чтобы уйти от скорбных мыслей, снова протянул руку к зелени.

— Ай да Шмо! Как ты справишься с таким урожаем, ведь вас всего-то два старика, да и то без зубов!..

— Вай, да не рухнет твой дом,— рассмеялся кто-то.— Лошадь еще в ущелье, жеребенок — в утробе, а ты уже торгуешься. Погодите, посмотрим еще, какой будет колос. Ведь нива дяди Шмо лет пятнадцать была под паром, земля отдохнула, теперь и погонит в рост одну зелень, вытянется, как наш оглобля Сурен. Когда колос покажется, тогда и...

Тут дядя Овасап так заорал; что бедняга сразу осекся.

— От зависти лопаетесь, потому говорите так! А бахча Сурена не была под паром? Бедный Торопыга что ни год сеял там лук да перец, перец да лук, а посмотрите, что там теперь? Не хлеб, а девушка, в которой кипят соки... Нет, друзья, Шмо и Сурен и многие другие выходят в этом году на простор.

Сурен... Ему бы, конечно, очень хотелось, чтоб и около его бахчи вот так же собирались люди и беседовали, радовались, спорили. Но Арус... Такая отпугнет любого. Удивительная женщина, решила, что если на бахче у нее зреет такой богатый урожай, то она может ссориться со всеми соседями.

Скажем, шагах в сорока от бахчи беспечно копается чья-нибудь курица. Увидев ее, Арус сейчас же швыряет в бедняжку что

под руку попадет. И долго после этого вся деревня слышит, как она остервенело ругает хозяев курицы, которым завидно, что ее семья «бросила в землю горсть семян». А если явится хозяйка подбитой курицы, Арус, уткнув руки в бока, переходит к более серьезным вещам:

— Не ты ли называла моего мужа Торопыгой? Ну так что? Видишь? И торопящаяся женщина может родить сына...

— Помилуй бог, Торопыгу к чему приплела? — поражается соседка и поскорей уходит, неся на руках раненую курицу.

Но Арус уже не унять.

— И правильно делаю! А то у всей деревни только мы на языке, как будто капля меда: «Торопыга Сурен опять чудит, Торопыга Сурен хочет удивить мир, российскую пшеницу сеет». Не говорила ли я тебе: не обращай внимания на этих звонарей, копай быстрее бахчу, вот видишь, кто прав? — обращается она к Сурену. И теперь, изумленно отступив на шаг, крестится он, как только что крестилась хозяйка курицы:

— Господи помилуй, Арус-ханум! Да ведь ты лопату чуть не сломала о мою голову, как же это теперь получается?

— Да, если б не я, ты не посмел бы сеять.

— Вот это правильно, Арус джан,— мирно соглашается Сурен и, вскинув лопату на плечо, зовет нас: — А ну, львята, айда на огород, пока Арус-ханум и нам не переломала ног.

Я, Паруйр и Гарик смиренно следуем за ним, а нам вслед летят угрозы Арус:

— Если тронете хоть один огурчик — плохо вам будет. Два дня назад я считала: на грядке распустилось тридцать два цветка, сейчас там уже огурчики. Ох, смотрите, если недосчитаюсь хоть одного...

Тридцать два... Да, огурцы еще только цветут, а Арус уже ведет им счет. Вы помните, бабушка обещала в жертву богу своих несуществующих овец и ягнят, лишь бы благополучно возвратились Смбат и дядюшка Авет. Сегодня Арус оберегает от нас завтрашние огурцы и совсем забыла, что семена привез тот же дядюшка Авет.

В эти печальные дни, когда мы, помня о Булате, не могли взглянуть людям в глаза, единственным нашим утешением был Сурен, а вернее — огород, где в самом деле началось цветение огурцов. Тайком от Арус мы тоже ведем подсчет цветов. А огород Сурена, между нами говоря, это всего-навсего узкая и длинная полоска земли, словно ступенька лестницы на склоне горы. Ниже огорода склон падает так круто, что спускающийся сверху может кувырком покатиться. Склон горы прорезала проселочная дорога, она подходит к ветхому деревянному мосту, перекинутому через глубокое ущелье, и вьется дальше. А на дне ущелья шумит прибежавшая с Алагяза речка. Под самой деревней она остав-

ляет ущелье, идет орошать огороды и богарные поля на равнине. Эта речка многоводна только весной и осенью, а в летний зной так мелеет, что и рыба не напьется вволю, как говорят наши крестьяне. У некоторых огороды разбросаны высоко по склону, речке туда не достать, и для их полива найден другой способ. У нас ведь почти все трещины в скалах сочатся ключевой водой. Люди по канавкам собирают эту воду в большие ямы, вырытые на огородах. Из такой ямы поливаем и мы свои огурцы.

Такой полив — тяжкий, утомительный труд, воду к грядкам надо таскать ведрами, но мы уже привыкли и охотно делаем это, ведь после каждого полива на огуречной грядке появляются новые цветы и тянут за собой ворсистые огурчики величиной с палец... А кроме того, на огороде растет картошка-скороспелка. Поспевает она рано, иногда раньше огурцов, и за это ее называют кавурмой[1] бедняков. Это такая вкусная вещь, что можно ради нее полить и десять огородов в день.

В этот год нас голодает больше половины деревни, все хвалят свою скороспелку и ждут не дождутся ее созревания. Пройдите мимо огородов — обязательно услышите:

— Как ваша, кум Мхик?..

— Вот-вот начнем копать. Уже с орех...

— А я вчера пальцем потрогал под гнездом, жидкая еще.

— Значит, будет еще доспевать.

— Э, долго ли ей доспевать? Пройдет денька два, станет с яйцо. Скороспелка ведь крупнее не бывает...

Так, окликая друг друга, беседуют огородники. А дядя Шмо, наш постоянный гость, разглаживая усы, рассказывает, как урутцы едят первую скороспелку.

— Поскольку это вроде манны небесной, Авет джан, надо ее есть в компании. В одиночку есть нельзя: застрянет в горле. А если позовешь соседа, родича — пойдет впрок. У кого нет своей, тому должен послать с ребенком подол скороспелки, чтоб и те поели. Таков порядок.

— Это вы хорошо делаете, что скороспелку едите сообща и уделяете долю неимущим,— одобряет дядюшка Авет,— но вот об остальном вы почему-то не подумаете.

— А что остальное, сынок?

— По ущелью бежит вода, течет себе беззаботно, и невдомек ей, с каким трудом вы вырастили эту картошку...

Старик вынимает изо рта трубку и с любопытством смотрит на него:

— Постой, Авет джан, о чем ты? Ты хочешь, чтобы вода... Нет, сынок, груша эта еще не созрела, как в старину говорили. Много мы думали, ничего не выйдет. Э, еще во времена Никола мы писали письмо. Просили государство, чтоб за счет казны провело в деревню воду. Не получилось. Прислали анжинера, похо-

---

[1] Кавурма — заготовленная впрок баранина (*турецк.*).

дил, померил, подсчитал и сказал, что тысяч в пятнадцать обойдется и таких денег у государства нет. А крестьяне... откуда крестьянину достать столько денег?

Дядюшка Авет молча слушает его и концом костыля чертит на земле какие-то знаки. Потом он встает и, тяжело хромая, спускается в ущелье.

Несколько дней подряд дядюшка Авет, волоча ногу, спускался в ущелье и подымался, советовался с дядей Шмо, дядей Овасапом, Суреном и Ервандом. Спрашивал даже сына Алмо — как, по его мнению, можно было бы отвести текущую по ущелью речку и повернуть к деревне. И все эти беседы кончались тем, что дядя Шмо говорил: «Мало тебе — не болит голова, так опять кладешь ее под евангелие»; дядя Овасап разводил руками: «Как люди, так и я»; Сурен молчал, а сын Алмо скреб голову.

Тогда дядюшка Авет вытаскивал из кармана одну из нэповских книжек и, размахивая ею, объяснял, что это дело рекомендовал руководителям Урута Ленин.

— Ленин сказал, что во все деревни надо провести каналы и арыки, дать воду земле и народу. Без воды не будет ни хлеба, ни изобилия.

— Братец Ленин хорошо сказал,— осторожно вступали старики,— но ему сперва надо было бы посмотреть на наши ущелья и обрывы...

...А Ленин не видел ни ущелий, ни обрывов, не знал ни дяди Шмо, ни дядюшки Авета, но до него, наверно, дошло, с какими мучениями поливали мы огород Сурена. Потому, я думаю, и советовал он вывести из ущелья речку и облегчить наш труд. Хороший был совет.

Но как мог так много думающий о нас Ленин позаботиться и об Айро? Почему позволил этому Айро открыть в деревне ту же самую лавку, в которой раньше торговал его отец?

Да, в те дни, когда люди пальцами щупали землю под картофельными кустами, мечтая о миске с вареной скороспелкой, а озабоченный дядюшка Авет вышагивал по камням и скалам,— Айро в арбе возил из города товары. И не говорил ведь никому, зачем заполняет свой дом таким количеством мыла и керосина. Возил, возил — и вдруг стало известно, что он открывает лавку.

Взбесившийся Ерванд ворвался к нам:

— Видал, что сделал этот сукин сын?

— Что я могу поделать, Ерванд джан, все по закону,— сказал дядюшка Авет.

— Какой закон? Ты знаешь?..

— Знаю. Ленин разрешил. Это нэп, то есть то, про что написал Ленин.

Ну, если разрешил Ленин, Ерванду приходится забыть о своем гневе, ему остается только сказать, что он ноги себе перело-

мает, а мимо лавки Айро не пройдет. Сурен рассудил иначе: надо сначала посмотреть, что это за лавка, а потом и решать, что и как.

И он, а за ним и весь наш табун поспешил туда, куда стекались все. Собрались, обступили дверь, столпились на плоской крыше, но лавка была пока заперта. На запоре была лавка, но не языки. Вся толпа взволнованно гудела. Некоторые считали, что наконец-то начнется жизнь, как при «мирни времи», другие возражали, что время тогда было другое и прошло, не вернется. Молодые горячились, пожилые солидно кивали головами, и только Сурен, вопреки своей привычке, молчал.

Вот вдали показался хозяин лавки, и замолчали уже все. Айро шел медленно, как всегда надвинув шапку на лоб и заложив за спину руки, а висящая на груди цепочка от часов играла и поблескивала так, словно смеялась над людьми и всем миром. Люди расступились, давая дорогу, но Айро не спешил. Не поклонившись никому, он подошел к лавке и, увидев там спавшую под стенкой собаку, ударил ее ногой.

— Сгинь... Мало собралось, так еще ты тут пристроилась,— зашипел новый лавочник. Собака, жалостно скуля, отбежала в сторону.

— Ну ладно, ладно, что ты заголосила? Допустим, проучил тебя разок старший брат, зачем же выть? — не без яда выговорил собаке Сурен и ушел под общий хохот.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОСЛЕДНИЙ КАРАВАН

Сегодня мы снова поливаем огород Сурена. Поливку начали засветло, остается только последняя грядка, и мы торопимся: солнце зайдет, и с Алагяза подует свежий ветер, а мы промокли с ног до головы...

— Молодцы, ребятки,— поощряет нас Сурен,— вот польете сегодня, огород напьется на всю неделю, и мы хорошенько отдохнем.

Паруйр и Вардан, стоя по пояс в грязной воде, кряхтя, наполняют ведра и передают стоящему повыше Гарику; я, стоя вверху — на краю ямы, подхватываю ведра и выливаю в арык, берущий начало у самой ямы. Сурен с лопатой в руках гонит воду дальше.

Ведра должны переходить из рук в руки с такой быстротой, чтоб в арыке не прекращался ток воды. Мальчики посинели от холода, но не перестают болтать.

— Сколько верст будет отсюда до вершины Алагяза? — спрашивает Гарик.

— Не знаю, сколько верст. Если побежишь одним духом, то на рассвете будешь там,— убежденно говорит Паруйр.—Вот красота была бы, ребята,— стать на самой высокой вершине Алагяза и увидеть весь мир!..

— Весь мир оттуда не увидишь,— возражаю я.

— Весь будет виден, да еще и Петропол вместе с ним. Ведь наш Алагяз — самая высокая гора, а весь остальной мир плоский.

— Мир вовсе и не плоский, он круглый. Как арбуз.

— Опять вмешалась всезнайка,— усмехается Паруйр.— Откуда тебе знать, что круглый? Был бы круглым, вода из этой нашей ямы проливалась бы, а не оставалась на дне.

— А вот и круглый, наш учитель Хорен говорил. Ничего вы не знаете.

Паруйр презрительно плюет, Вардан с любопытством смотрит на меня, а я думаю об учителе Хорене. Где он? Что делает? Быть бы нам опять в нашем селе, занимался бы он с нами...

В последнее время я очень тоскую по нашему селу. Может, оттого, что огород Сурена напоминает мне огород нашего Никола, а это глубокое скалистое ущелье похоже на наше? А когда я прохожу мимо часовни отшельника, вспоминаю наш разрушенный монастырь, мастера Давида... В самом деле, как же будет дальше? Неужели мы никогда уже не увидим нашего села, не найдем наших знакомых, родных?

Каждый раз, как возвращается в деревню кто-нибудь из пропавших без вести урутцев, мы с бабушкой и терзаемся и обнадеживаем себя: кто знает, может, когда-нибудь и наши появятся вот так. Не все же умерли?.. И кто бы ни вернулся, ба́бушка обязательно найдет его и расспросит: не встретил ли на своем пути кого-нибудь из наших? Нет, никто никого не встречал, бабушка возвращается домой с разбитым сердцем и снова начинает думать о поездке на Севан.

Не знаю, верит ли в это сам дядюшка Авет или говорит так для успокоения бабушки, но он утверждает, что те, кто остался в живых, непременно придут, найдутся, потому что в стране наступил мир и все дороги открыты. Хоть бы открылась дорога и в наше село, полетели бы мы к себе домой и вернулись бы наши родные. Вернулась бы мать, пусть даже с Каро...

Я увлеклась своими мыслями и не замечаю, что Гарик протянул мне ведро и ждет.

— Ч-что ты отк-ыйа йот, м-мух ловишь? — кричит он заикаясь.— Хочешь к-кушать огуйец, так п-подхватывай...

— Штаны свои подхватывай,— злорадствую я.

— Пусть себе п-падают, нич-чего не будет в-видно, я стою в воде,— смеется он, но все же подтягивает свои отяжелевшие от воды лохмотья.

— Вот придет осень, купим себе галифе, красота! — сладко цокает языком Паруйр.

С того дня, как Смбат снял шинель, полностью открыв для взоров свое красивое синее галифе, все ребята, большие и малые, мечтают о галифе. И если кому-нибудь удается раздобыть такие брюки, он привлекает всеобщее внимание, за ним ходят табунами, а по вечерам во многих домах дело доходит и до слез: сыновья требуют галифе.

— Вы еще от горшка два вершка, зачем вам галифе? — смеюсь я.

— До осени еще на вершок вырастем, правда ведь, отец? — спрашивает с надеждой Паруйр и вытягивается, словно с этой минуты он и должен начать расти.

— Да, бала джан, расти на здоровье, остальное не трудно,— обещает Сурен.— Ну, поливайте, а я пойду накопаю картошки, огонь уже угасает.

Наконец-то и нам улыбнулось счастье,— сегодня мы будем есть собственную (вернее, Сурена, но не все ли равно?..) картошку-скороспелку! Одного не пойму — почему Сурен, который ходил ко многим попробовать первины, никого сам не пригласил?

— Сначала мы одни попробуем, можно ли копать, потом позовем других, так все делают,— говорит он, но Паруйр сообщает шепотом, что Сурен не зовет никого, потому что побаивается Арус.

— Ты думаешь, моя мать считает только огурцы? Сколько гнезд картошки на грядке, сколько фунтов под каждым гнездом — она все знает.

Как бы то ни было, запах испеченной в золе картошки манит и подгоняет нас, и мы работаем молча, с таким рвением, что даже проливаем из ведра половину, не донеся до места. Только и слышно, как сопит Гарик и плещет вода.

— Все вычерпали, шабаш! — радостно кричит Вардан со дна ямы.— Протяните руку, выйду на белый свет.

Подсаживая друг друга, они выползают из ямы, а я уже стою у огня. Жду, жду, а мальчиков все нет. Ах, вот в чем дело — пошли к огуречной грядке. В свежем вечернем воздухе ко мне вдруг доносится приятный огуречный запах,— значит, они все-таки прикоснулись к грядкам.

— Что вы там застряли? — не сердясь, окликает Сурен.— Не трогайте, ребятки. Притронетесь — огурцы станут горькими...

— Мы не трогаем, отец! — отвечает Паруйр с набитым ртом.— Огурцы быстро растут, до утра на грядке будет полно!

— До утра огурцы тоже подрастут на полтора вершка, и дядя Сурен им всем купит по галифе,— шучу я, но в голосе обида. Пошли за огурцами и ничего не сказали мне! Хочу бежать туда сама, но не позволяет гордость. Вместо меня бежит к ним Топлан. Начинает играть, прыгает с ребятами на зеленой травке между грядок.

И вот уже идут сюда, напрыгались, устали. Никого из них не хочу видеть. Опустившись на корточки возле костра, Вардан

тихонько находит мою руку и сует мне шершавый огурчик. Я удивленно смотрю на него. Отчего так разрумянилось лицо Вардана — от огня или... Он отворачивается, и я вижу его черный, заросший затылок. Волосы у Вардана такие черные, что видны даже в этой тьме, зубы светятся белизной, их увидишь, как бы ни было темно, если, конечно, Вардан улыбнется. Но он очень мало смеется, мало говорит. Тихий, молчаливый мальчик. Нушик называет его сычом, но это неправда. Вардан не говорит, потому что все время думает. Он думает о своей умершей матери, о Булате и о том, что надо уйти из деревни, потому что отец нашел в Саратаке какую-то женщину и хочет привести ее домой.

— Как только он это сделает, брошу все, уйду,— сказал он однажды.— Жить под мачехиной волей не останусь. Уйду, и все вы забудете меня.

— Мы же не мачехи, чтоб забыть тебя,— пошутила я, и смуглое лицо Вардана зарумянилось, зубы блеснули. Он обрадовался — не понял, что я шучу.

— Если дашь слово, что не забудешь, я прямо сейчас встану и уйду,— сказал он.

— Я только одну ночь видела Шеко, и то не забываю его,— сказала я.

Вардан так и вспыхнул, глаза сердито засверкали.

— Что ты делала с ним ночью?..

— Нас резали... Убили и Шеко.

И с этого дня Вардан все время ходил со мной. И огород Сурена поливать пришел опять-таки из-за меня. А я, как только увижу его, вспоминаю Шеко, и, не знаю почему, мне жаль Вардана...

Костер горит тихо, без пламени. Вокруг — сплошная темь, и только около грядок слабо мерцают лужицы воды под бледным светом полумесяца. Тишина. Лишь иногда вдали слышится равнодушное:

— Гей, кто там?..

Это кричат сторожа огородов, предупреждают, что они не спят, о воровстве нечего и помышлять, бесполезно. В траве неустанно и однообразно верещит сверчок, ветерок наступающей ночи чуть слышно шелестит в траве, и изредка шлепается на дно ямы капля воды. Паруйр и Гарик снова начинают возиться, а Вардан сидит, опершись подбородком на руку, и задумчиво, как взрослый мужчина, смотрит на огонь. Хочется побеседовать с ним, но лень. Мокрое платье нагрелось, и я теперь вся окутана паром. Пар приятно пригрел меня, и, если бы не картошка, я тотчас бы уснула. Но Паруйр с таким восторгом расхваливает скороспелку, так чмокает — слюнки текут.

— Даже плов из риса не сравнится со скороспелкой!

— Если б еще ложку масла,— мечтает Гарик.

— Нет, скороспелка и без масла вкусная. А масло без скороспелки — ничто.

Сурен отгреб угли и осторожно достает из золы удивительно гладкие картофелины величиной с куриное яйцо. Они рассыпаются, как только притронешься,— в самом деле плов из риса.

Мы с аппетитом едим вкусную скороспелку, подталкивая друг друга. Чуть поодаль от костра, положив голову на лапы, дожидается Топлан. Она иногда тихо повизгивает, беспокойно поводит ушами.

— Топлан! Угощайся и ты,— Паруйр подносит к ее носу половинку картофелины. Собака обнюхивает горячий картофель, словно дует, чтоб остудить, и спокойно, сосредоточенно съедает. Но после этого она начинает чаще повизгивать, не находит себе места, волнуется.

— Не обожгла ли ты язык, Топлан? — спрашивает Гарик.

Топлан будто дожидалась этого вопроса. Вскакивает и, отрывисто лая, уносится куда-то. Должно быть, почуяла что-то знакомое. Но Гарик беспокоится:

— Может, взбесилась от горячей картошки? — И он бежит за Топлан.

А лай все дальше, затухает. «Топлан, Топлан!» — удаляется и голос Гарика.

— А ну, бегите посмотрите, что там,— дает распоряжение Сурен. Я и Паруйр бежим. Топлан лает где-то в стороне, где большая дорога. То взлаивает, то скулит радостно, словно встретила знакомого.

Вот и дорога. На ней виднеются какие-то черные силуэты. Навьюченный скот или люди? Смутно доносятся голоса, оскорбленный визг Топлан, затем громкий мужской голос: «Ошт! Ошт! Пошла вон!..»

— Эй, кто там бьет собаку?.. Осторожнее, бешеная! — кричит Гарик. Топлан опять радостно визжит.

— Беженцы мы, лао [1], беженцы! — кричит кто-то из тьмы.

У меня что-то рвется в сердце. Таща за руку Паруйра, я бросаюсь вперед. На дороге сбился в тесный круг небольшой караван людей и скота. Есть женщины, слышны и детские голоса. Впереди стоят мужчины.

— Старший братец, спроси, не Урут ли это,— говорит кто-то.

— Старший братец джан!..— Я кидаюсь в темноту. Еще до меня Топлан обвилась вокруг ног этого человека. Умршат!

— Исус Христос, Исус Христос...— крестясь, отступает Умршат.

— Арцвик! — кричит какой-то мужчина, и сильные руки отрывают меня от земли.

Я не знаю еще, кто обнимает меня. Из мрака кидается ко мне что-то маленькое, горячее:

— Арцвик! Сестричка моя, я Осан...

Выскользнув из рук мужчины, я обнимаю Осан.

---

[1] Лао — сынок *(курдск.)*.

...Действительно, мир полон чудес. Кто бы мог ждать нашего Умршата, притом опять во главе каравана, как в те годы, когда он появился в нашем селе. И если тогда в его караване были только беженцы из Турецкой Армении, то сейчас есть крестьяне и из нашего села: Сако — ведь это он обнимал меня, бабушка Санам и еще несколько человек.

Расспрашивать, обниматься со всеми некогда. Тем более что поднятый нами шум уже услышали в деревне и оттуда бегут какие-то тени.

— Кто вы? Что за люди? — это голос Ерванда.

Прихрамывая, появляется и дядюшка Авет.

— Что за шум, дети? — спрашивает он, и Умршат, оставив нас, бежит к нему.

— Авет джан, младший братец!..— Голос его дрожит. Выпустив дядюшку Авета из объятий, он обращается к своим: — Ну, парни, на этот раз я, можно сказать, честь честью вспахал свою землицу, до самого края дошел. Слава богу, добрались до места, кончились наши мучения...

А Ерванд продолжает расспрашивать, шумит, никак не возьмет в толк, в чем же дело.

— Эх, Ерванд джан, остатки разоренного, бездомного народа,— заикаясь, как Гарик, объясняет дядюшка Авет и подносит к глазам платок.— Последний караван пришел...

КУСОЧЕК ПРОШЛОГО

— Идите, идите, мои пропавшие ягнята,— глотая слезы и принимая каждого в объятия, всхлипывает бабушка.— Боже мой, дождусь ли я того дня, когда и мой Агабек вот так же войдет в эту дверь?..

При этих словах бабушки Умршат выпускает из трубки клубы дыма и как-то странно виновато смотрит на свои пыльные трехи. Дядюшка Авет в волнении покусывает усы, Маран гремит какой-то посудой в углу комнаты, а я и Осан молчим, обняв друг дружку за плечи.

Между тем в доме Сурена становится все теснее.

— Новые беженцы пришли, эй! — зовут друг друга люди и втискиваются внутрь. И каждый спрашивает: что за люди, откуда, как пришли в Урут и тысячу подобных вещей. А спросив, садятся где попало или стоят с разинутым ртом.

Уже который раз Умршат начинает рассказывать. Доходит до половины, но опять кто-то протискивается в дверь, и ему приходится начинать снова. Вопросы так и летят, и люди, не дожидаясь ответа, начинают сами говорить о том, что пришлось пережить прибывшим. Люди хотят узнать сразу все. А Умршат рассказывает медленно, попыхивает трубкой при каждом слове:

— ...Бродили, бродили, спрашивали и пришли наконец в одну деревню. А там братец Совет, очень добрый человек. Говорит

мне: «Братец Умршат, тот, кого ты ищешь, не очень далеко отсюда. Урут называется, он там, сам он ячейка, одна нога — деревянная, зовут его Авет». Я говорю: «Братец Совет, пусть здравствуют твои дети, нам нужен как раз этот Авет, укажи скорей дорогу».— «Нет,— отвечает,— поживите несколько дней. Устали, передохните, а потом, если наша деревня будет вам не по сердцу, идите, бог вам в помощь». Э, Авет джан, оставаться, если узнал, где ты,— выдержало бы мое сердце? Ребята, говорю, собирайся, пойдем поскорее к нашему Авету.

— Умршат, братец джан, а наши пропавшие ягнята, мои дети? — прерывает его бабушка.— Как это так — все на свете находят друг друга, а моих все нет и нет...

По избе проносится глухой, сдержанный шепот, вздыхает какая-то женщина, грустно и как-то несмело скрипит нога дядюшки Авета.

— Ваши дети живы, сестрица Нуно,— после долгого молчания говорит Умршат. При этих его словах Осан вздрагивает и крепче прижимается ко мне.— Да, как мне известно, должны быть живы. Я передал их одному солдату, этот человек посадил их на пушку, перешел реку. Говорят, есть приказ Ленина: всех детей без отца-матери собирают и везут в Урусет[1]. Там государственный приют есть, живут там...

— Маран, чем ты занимаешься? — словно для того, чтоб перебить Умршата, кричит дядюшка Авет.— Быстрей, люди есть хотят.

Маран делает ему какие-то знаки глазами, бровями, он что-то должен понять, но кругом чужие люди, говорить при них нельзя. Наконец подзывает Гарика и шепчет ему на ухо.

— Отец, ничего нет, нечего варить,— шмыгнув носом, громко объявляет Гарик. Люди улыбаются, Маран в сердцах замахивается на Гарика. Дядюшка Авет тоже улыбается, но видно — смущен.

И тут выступает вперед Сурен. Он молча смотрит вокруг, ждет чего-то, но никто не издает ни звука. И он подзывает к себе Паруйра:

— Аслан-бала[2], лети! Вот видишь, плюю. Пока высохнет — картошка должна быть здесь.

Паруйр и Гарик выбегают. Я мысленно подсчитываю всех беженцев. Плохо дело: чтоб накормить их, потребуется половина огорода Сурена... Конечно, дядя Сурен хороший человек, но и другое верно — он во всем торопится, не зря крестьяне называют его Сурен Торопыга. Он сделал это, чтобы пристыдить других, а люди притворились, будто ничего не поняли. И сейчас придется ему одному нести весь груз. Я все-таки сообразила, что надо делать, и, отпустив руку Осан, тихонько выскальзываю.

---

[1] В Россию.

[2] Аслан-бала — львенок.

Мальчики убежали довольно далеко, но по лаю Топлан можно догадаться — они идут не напрямик, а через огороды. Кто-то уже кричит им из темноты:

— Гей, кто это?

— Это мы, дядя Шмо! За картошкой для беженцев идем,— отвечает Паруйр.

— Да, это мы, собираем картошку! — захлебываясь, добавляю я и протискиваюсь вперед.

— Паренек Сурена? — узнав Паруйра по голосу, спрашивает из тьмы дядя Шмо.— Какая картошка, откуда берете?

— Сказали: берите с каждого огорода по подолу,— отвечаю я за Паруйра.

Тот смотрит на меня вытаращив глаза, а дядя Шмо, улыбаясь в усы, замечает:

— Там, где говорит мужчина, женщина должна придержать язык, доченька. Ну, говорите теперь, объясните по-человечески.

— Так я и объясняю, дядя Шмо. Ребята не дослушали, убежали, а товарищ Ерванд и дядюшка Авет сказали мне: догони, скажи, чтоб с каждого огорода взяли по подолу, не набирали много. Ведь беженцы братца Умршата голодные.

— Э, как это так подол, бала?..— недоумевает дядя Шмо.— А как же мы будем знать, сколько у кого берете? Весов не взяли?

— Нет, спешили. Отнесем — там взвесим,— выдумывает Паруйр.

— Несите-ка лопату,— поколебавшись немного, говорит дядя Шмо.

Он идет копать картошку, а мы молча стоим, смотрим друг на друга. Паруйр, у которого, как и у меня, голова шальная, и не подозревает, что я могла соврать, но Гарик, не знаю почему, сомневается. А я, увидев, что Паруйр на моей стороне, сама уже верю в собственное вранье.

— Если придумала все, отец задаст тебе, девчонка,— ворчит Гарик.

— Что придумала? Соберем картошку, отнесем, и увидишь, что правда. И потом: сможешь ты одним огородом накормить столько беженцев?

А дядя Шмо уже тащит ведро картошки, пересыпает в наш мешок.

— Дядя Шмо, пусть это пока остается здесь, мы пойдем соберем и у других,— решает вдруг Паруйр и подмигивает мне.

— Ай, бала, среди ночи лезть в собачьи пасти, зачем это вам? — советует разумный дядя.— Кликну ребятам, пусть несут, сколько кому по сердцу.— И, уже не слушая нас, он идет к краю своего огорода и кричит: — Гей, Мхик, Асо, кум Сето! Несите картошку, с каждого по нескольку гнезд...

— Какую картошку? — спрашивают из тьмы.

— Несите, несите. Для беженцев... Председатель и ячейка велели.

Ночь лунная, тихая. Ясно слышно, как на соседних огородах звякают лопаты, бренчат ведра. Вот уже наш мешок полон картошки, и сверх того есть еще ведро.

Плохо то, что каждый обстоятельно расспрашивает: что сказали председатель и ячейка, сколько человек беженцев, у кого остановились и сколько еще дней будут жить за счет деревни... И я вынуждена каждый раз выдумывать какую-нибудь небылицу, отчего Паруйр сияет, а Гарик, сжав кулаки, так и кипит, вот-вот кинется на меня. А когда я, чтоб рассеять подозрение, начинаю вдохновенно рассказывать, какой хороший человек братец Умршат и какие он совершал героические дела, Гарик пинает меня ногой и шипит:

— Не налегай на язык...

— Ну, дядя Шмо, да благословит тебя бог достатком,— утрусив мешок, кряхтит Паруйр.— Посмотрим теперь, как снесем,— он упирается коленом в землю, взваливает мешок на спину, но встать с места не может.

— Отойди, отойди, бала джан,— смеется дядя Шмо.— Берешься за мужское дело, а поясница еще не окрепла, надорвешься.— Он с трудом взваливает на спину мешок.—Ну, пошли.

Кое-кто из огородников из любопытства, а может, для того, чтобы взвесить свою картошку на месте, идут за нами.

— Вот, принесли, что требовали,— кряхтит дядя Шмо и сбрасывает к ногам Ерванда тяжелый мешок.

Сурен в ужасе смотрит на сына и, проглотив слюну, спрашивает:

— Это у нас нарыли столько?

— Зачем только у вас,— вытирая пот, говорит дядя Шмо.— Разве никого больше нет в деревне, что послали детей собирать картошку для беженцев? Конечно, без весов, но ничего, мы собрали, сколько кому подсказало сердце.

Я хотела было скрыться за широкие спины крестьян, но дядюшка Авет успел схватить меня за ухо.

— Это твои выдумки, Арцвик! — заикается он от ярости.— У кого брали?

— О-о, обманули?..— дядя Шмо моргает растерянно.

Одни хохочут, другие говорят что-то строгое, кажется в мой адрес. А я, опустив голову, жду, чтоб дядюшка Авет еще раз дернул меня за ухо и я могла бы с плачем выбежать, уйти от этого срама.

— Ну, ладно, ладно,— смеется Ерванд,— недаром же говорят: «Поручи ребенку, а сам за ним иди». Не горюй, дядя Шмо, составим акт, сельсовет что-нибудь придумает.

— Ничего, товарищ Ерванд джан,— лепечет дядя Шмо,— что же поделаешь, пришел этого Тороп... то есть Сурена шальной сын, эта девочка. Мол, председатель велел...

...Я и Осан лежим рядом. Коптилка потушена. Все молчат, но спит только Гарик. Среди этого молчаливого бодрствования

слышатся лишь медленные и глубокие вздохи Умршата — будто лежит и отдыхает усталый вол. Дядюшка Авет время от времени бормочет что-то. Бабушки не видно, но я угадываю: она сидит в постели, нюхает табак и вытирает слезы.

— Сестрица джан! — Осан прижимается ко мне.

— Осан джан, как хорошо, что ты пришла. Я столько о тебе рассказывала Нушик...

— Кто такая Нушик?

— Дяди Манука дочка, очень хорошая девочка. Теперь будем дружить втроем.

— Да, будем втроем...

— Жаль, нет пока наших Асмик и Аник.

Осан молчит. Но я чувствую — она хочет сказать что-то.

— Ты бабушке Нуно ничего не скажешь? — шепчет она наконец.

— Зачем же говорить?

— Нет, поклянись, что не скажешь.

— Клянусь твоим солнцем [1], Осан джан, моим солнцем.

— Еще. Еще поклянись.

— Клянусь солнцем дядюшки Авета, солнцем моей матери, Артика...

— Хватит, верю,— прикрывает она мне рот рукой.— Давай накроемся, расскажу.

Мы обе залезаем с головой под одеяло.

— Я видела, как все это было,— еле слышно шепчет Осан.— Ведь старший братец бабушку обманул, сказал — живы. Не живы они...

У меня дыхание сперло, и я высунула голову.

— Накройся, сейчас расскажу. Старший братец отдал Асмик и Аник одному солдату. Солдат посадил их на арбу. На этой арбе была пушка. Погнал солдат лошадей, вошел в реку. Старший братец говорит: мы с другим солдатом перейдем, а турки как раз и выстрелили из пушки. Попало в воду, и я закрыла рукой глаза. А когда открыла, солдата не было... и детей не было. Вода унесла. Потом опять выстрелили из пушки, всё в реку стреляли. Старший братец взвалил меня на спину и побежал по ущелью вниз. Пушка стреляет — мы бежим, она стреляет — мы бежим. А потом спрятались в пещере. Там были еще люди, все и сидели там, пока не стало светать. Было холодно, и хотелось есть. Когда рассвело, видим — в ущелье много скота. Коровы мычали, вымя у всех набухло, никто ведь не доил. Старший братец говорит: давайте подоим коров. Выпили молока. А потом собрали коров, погнали через реку. Старший братец сказал: жалко оставлять скот туркам. И тут увидели — река несет мертвое тело...

---

[1] Клянусь солнцем — значит: клянусь жизнью.

Слезы катятся по моему лицу, такие холодные, что я вздрагиваю.

— Ты плачешь? — спрашивает Осан.— Не плачь, не поможет... А дальше было так: старший брат принес из деревни два бурдюка и молотильную доску. Бурдюки надули, сделали плот. Сели на него, поплыли через реку. Потом шли, шли, там была одна деревня, в той деревне нашли Сако и бабушку Санам. А сестра Сако пропала. Много народу пропало...

УМРШАТОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ

Выходит, что и урутцы вроде наших селян: любят выдумывать разное и раздувать из мухи слона.

Бедный Умршат дошел до Урута вечером, а утром о нем говорила уже вся деревня. И если верить этим рассказам, Умршат один уничтожил сотни турок. Всех беженцев из дальних стран спас, привел в наше село. Потом его схватили, посадили в Карскую крепость, да еще и повесили, но он оборвал веревку и убежал. Вот уже сколько лет он не снимает одежды и не ложится в постель, а все потому, что турки вырезали его семью и он дал обет до конца жизни оставаться в своей одежде...

Удивительно, откуда взяли урутцы все это? Насколько мне известно, ни бабушка, ни дядюшка Авет ничего такого о нем не рассказывали. А я... Правду говоря, сама не помню, что я рассказывала в тот вечер, когда мы собирали картошку...

Братец Умршат, конечно, слышит все эти россказни о себе, но не обращает внимания. Он очень занят. Строит дом...

Строим дом мы все — урутское царство беженцев, как говорит о нас дядюшка Авет.

Произошло простое и вполне понятное дело. Когда Умршат со своим караваном пришел в деревню и, не имея других знакомых, остановился у дома Сурена, где жила наша семья,— радость само собой, слезы тоже,— но бабушка первая сказала дядюшке Авету:

— Авет джан, деревня с деревней поладит, а вот семья с семьей не будет ладить, сынок. Этим разоренным людям нужны место и покой, и если урутцы не согласятся, давай и мы соберемся в дорогу. Пристанем к каравану Умршата и уйдем с ними...

Вам, полагаю, ясно, почему бабушка хотела уйти из Урута. Ведь у нее в мыслях все новые и новые планы — как найти наших. Пойти к озеру Севан — это статья особая, а вот когда появился Умршат, она решила: если мы не можем вернуться в наше село, то надо идти к берегу Ахуряна[1], осесть где-нибудь, чтоб хоть издалека смотреть на дорогу, ведущую в наше село...

Но выяснилось, что о беженцах думают и другие, и, конечно, в первую очередь Сурен. Он сказал: наша семья может жить

---

[1] Ахурян — река на границе между Арменией и Турцией.

в его доме хоть тысячу лет, он будет только счастлив. Но есть нечто лучшее. Надо лишь пораскинуть мозгами вместе с председателем, посоветоваться. И сейчас же вмешалась Арус:

— С каких это пор ты начал жить умом председателя? Ты такой же партизан в папахе, как и он, а эти беженцы пришли к твоему порогу. С какой стати ты должен клянчить у председателя, просить совета, как управлять ими?

— Ой, жена Арус, узнай сначала, где начало и где конец дела, потом уж заботься о моей папахе,— остановил ее Сурен.— Дело ведь не простое: мы должны клянчить совет и у председателя Саратака, без него не обойдемся.

— У председателя Саратака? У этого вислоухого лентяя? — так и взвилась Арус.— Горе мне, если мой подобный енералу муж должен учиться уму-разуму у этого лопуха... Опять ты хочешь превратить меня в каплю меда, кидаешь в рот всей деревне?

Сурену осталось лишь надвинуть на лоб папаху, хоть она все-таки не придавала ему генеральского вида, и, подмигнув дядюшке Авету, выйти из дому. Арус, которая в иных случаях, когда мы таскались за взрослыми, так смотрела на нас, словно хотела живьем съесть, на этот раз приказала:

— Бегите, посмотрите, куда еще пошел этот полоумный.

Мы нашли его у полуразрушенных сеновалов, что стояли между Урутом и Саратаком — на границе двух деревень. Обе деревни считали их своими, и жители обеих сторон с равными правами и замечательной энергией еще больше разоряли эти развалины. Снимали двери, вытаскивали жерди из потолочного настила, уносили камни из стен. Вот так — с одной стороны люди, с другой — дождь и снег совсем опустошили эти саманники, и тогда обе стороны забыли о них.

И вот дядюшка Авет и Сурен бродят среди этих развалин, мерят, высчитывают, спорят. Сурен, как только увидел нас, велел бежать за Ервандом. Поручение мы выполнили с успехом, включив в состав вызванных: Умршата, Смбата, Нушик и всех, кого встретили по дороге. Вернулись, ведя за собой половину деревни, и Сурен за это поручил нам более серьезное и ответственное дело:

— Бегите в Саратак, найдите их председателя и приведите сюда.

— За председателем детей посылаешь, неудобно,— сказал дядюшка Авет.

— Не беда,— засмеялся Сурен,— скажем, не нашлось других. Ведь и саратакцы не нашли другого в председатели.

Всполошив саратакских собак и телят, молодых женщин и кур, мы ворвались в канцелярию сельсовета, как раз когда парикмахер Манас Ножницы, иногда прохаживавшийся бритвой и по лицам крестьян нашей деревни, собрал вокруг себя все заросшие шерстью физиономии и занимался бритьем.

— Нам нужен ваш товарищ председатель!..

— О-го-го, даже товарищ председатель! — захохотал Манас Ножницы.— Может, еще Лорис-Меликов нужен?

— Да, так и есть,— подтвердила Нушик.— Меликов, дядюшка Сурен зовет его.

— Зовет? А взял разрешение у Вардевана? Ведь над головой у нашего председателя есть еще один председатель, дети. Значит, вы должны пойти сперва к тому, к большому председателю, вон в том доме с кришей, там найдете и младшего председателя.

В дальнейших разъяснениях не было необходимости, на весь Саратак был только один-единственный дом с кришей, то есть крытый железом, и его мы увидели сразу.

Во дворе этого дома мы встретили человека в дырявых трехах и изношенных штанах, он точил косу,— значит, не был председателем. Но Нушик стала утверждать, что у саратакцев председатель и не может быть иным.

Человек в трехах выслушал нас, потер пухленькие ладоши и недоуменно сказал:

— Оно верно, председатель вроде я... Погодите, скажу дяде, посмотрим, что он скажет.

Так называемый дядя вышел сам. Хорошо одетый, как наш Айро, старик, похожий на барина.

— Что там еще, парень? — промурлыкал он.

— Урутский председатель вызывает, дядя.

— И ты председатель, и он, почему не ты вызываешь его?

— Откуда мне знать, дядя?

«Дядя» провел большим пальцем по своим толстым усам и сказал, чтоб председатель шел не торопясь и держался солидно. А он тоже пойдет вслед, потому что, «если телят сам не отведешь к стаду, они разбегутся по полям».

На обратном пути мы опять прошли мимо дверей канцелярии сельсовета, и Манас Ножницы присоединился к нам со всей своей бритой и волосатой публикой.

Таким образом, возле старых сеновалов собралось пол-Урута и столько же от Саратака.

— Прежде наша и ваша деревни были одно село,— сказал Сурен.

— Предположим,— промурлыкал Вардеван.

— И теперь одно,— добавил Манас Ножницы,— усы и бороды в обеих деревнях проходят под моей бритвой.

— На две деревни один родник, только вы уперлись, не даете поставить трубу и отвести нашу долю воды,— сказал один из урутцев.

А кто-то из саратакцев припомнил драки из-за лугов. Потом обе стороны согласились, что наковальня не зазвучит без молота и у веревки есть два конца, и Сурен приступил к делу:

— Вот, к примеру, эти наши развалившиеся саманники...

— Что саманники — развалины, это видно и нам,— пробурчал Вардеван,— только почему они ваши?

— В вашей деревне есть председатель? — спросил Сурен.

— Даже два,— хитро ухмыльнулся Манас.

— Подстрижем второму хвост, останется один, молодой.— Сурен взял за локоть их председателя.— Эти развалившиеся сеновалы надо отдать беженцам.

Еще не все догадались, о чем он говорит, а Манас засверкал, как его бритва, и подтвердил одно из мнений Арус о Сурене:

— Генеральские у тебя мозги! Побрею задаром.

— Снова хотите объединить Саратак и Урут? — сказали товарищи Манаса.

— В конце концов и получится так,— согласились товарищи Сурена.

После этого председатели обеих деревень повторили свои обычные жесты: один сильно сморщил лоб и почесал затылок, другой погладил рукоятку нагана, а вардеваны обеих деревень (один — Вардеван, второй — Башка Мукуч), сославшись на то, что все болтают и ничего не разберешь, отошли в сторону.

Они отодвинулись, и выступили вперед беженцы.

— Пусть бог воздаст вам по вашему сердцу,— растрогался дядюшка Умршат,— раз вы хотите, чтобы мы строили дом,— выстроим.

Вот так и отдали нам развалившиеся саманники. Жилье не ахти какое, но нам как раз такое и нужно. Нет времени, да и не на что строить новые, настоящие дома, а тут выложишь в одном развалившуюся стенку, в другом поставишь дверь, в третьем крышу поправишь — и входи, живи. Бабушка тоже считала, что мы строим не настоящий дом, а только приспособляем для жилья то, что есть. Но на днях, когда братец Умршат разобрал рухнувшую стену отведенного нам саманника и готовился начать новую кладку, бабушка пришла и торжественно стала над ним. Молча порылась в своих многочисленных карманах, достала завязанную узелком тряпку, вынула из нее три николаевских двугривенных и, перекрестившись, положила их в фундамент.

— Пусть, как это серебро, всегда звенят под твоим кровом песня и радость, пусть будет черной балка потолка и алым сердце живущего под ним, тонир твой пусть будет всегда горячим, вода в кувшине — холодной, и дверь твоя всегда пусть будет открыта, а на столе — хлеб...

Так благословила нас бабушка, и хотя на нашем доме еще не выложен настил, но песня и радость, шутки и смех уже звенят — и здесь, и вокруг, во всем поселке беженцев. И не разберешь сразу, кто больше радуется — мы или Сурен и Смбат, Ерванд и дядя Шмо, дядя Овасап и... представьте себе, даже Арус.

Люди собираются вокруг нас, спорят, дают советы, а иногда,

не выдержав, швыряют в сторону свои архалуки и берутся за лопату. А что касается нас,— верно сказал братец Умршат,— мы окрылились и летаем... И конечно, окрылен сам братец Умршат. Он встает еще до рассвета, и по всей деревне разносится его мощный хриплый голос:

— Эй, народ! Сако, Гаре, Гаспар! Вставайте, полдень скоро! Подымайтесь и вы, дети. Вставайте, вставайте, лао! Кто встает вместе с солнцем, весь день будет работать, как солнце, и не устанет...

Не знаю, как другие, но я мгновенно вскакиваю с места.

Можно подумать, что я до утра стояла вот так наготове, ожидая призыва Умршата. Ничего, что руки и ноги все еще ноют, словно избитые камнем, и болит спина, но, когда я бегу к нашему недостроенному жилью, усталость сейчас же проходит, и я чувствую в себе такую силу, что готова взвалить на спину даже Алагяз и притащить его в наш будущий двор, если Умршат скажет, что так нужно.

А братец Умршат... видели бы вы его! В зубах длинная трубка, за поясом пила и топор, весь с ног до головы в грязи — переходит из одного саманника в другой и дает советы, показывает, что и как надо делать.

— Кладите, кладите камни, лао! — покрикивает он.— Фундамент на этот раз крепкий — не развалится. Кладите камни, пора нам пожить без слез и в радости. Джан, как приятно журчит! — вдруг замирает он, прислушиваясь к бегущей в ущелье реке.— В нашем разоренном краю тоже было так: горы высокие, на них снег. Летом снег таял, и на наши поля скатывались ручьи, а вода такая была холодная, что зубы ломило. Эй-вах, мой край, родина...— Мохнатые брови Умршата делаются словно гуще и как темные тучки нависают над глазами, лоб мрачнеет, и, тяжко вздыхая, братец выпускает клубы дыма. Меня так и подмывает спросить: опять он курит табак своего края или... Нет, зачем спрашивать, снова опечалится его сердце, а может, уже и опечалилось,— почему-то, подымая очередной камень, он кряхтит громче обычного и даже остановился, чтобы передохнуть.

— Старший братец, довольно, ты уже устал,— говорит Осан, не отходящая от него.

— Нет, детка, если до этого дня не устал, то уже не устану,— задумчиво улыбается Умршат.— Армянин успокаивается под землей. Пока мы на земле — будем работать. Что такое усталость?

— Старший братец! — окликает вдруг Гаре.— Не надо мне в доме тонира, думаю. Как по-твоему?

Умршат достает изо рта трубку, недовольно смотрит в сторону соседа и наклоняется за камнем.

— Что ты скажешь, старший братец? — не отстает Гаре.

— Скажу — недалеко думаешь,— ворчит Умршат.— Дом, где не дымит тонир,— разве это дом армянина?

— Старший братец, ведь крыша плоская, дым не будет тянуть. Думаю, пусть тонир остается на будущий год, а? Жены у меня нет, детей нет, на что мне тонир?..

— Крыша плоская... Мозги у тебя плоские, парень Гаре,— смеется Умршат.— Крыша плоская — подымем, сделаем азарашенк[1], не в наших ли это руках?..

И, уже не слушая Гаре, продолжает свое дело. Оседлав бревно, попыхивая трубкой, он, как наш мастер Давид, приложит, снимет одну и ту же балку тысячу раз и опять прикладывает, примеряет, пока не приспособит как надо. И постепенно получается азарашенк. Для этого Умршат укладывает потолочные балки, как в церковном куполе: одну на другую, косой лесенкой. А в середине такого куполообразного потолка он оставит дыру— ертык, куда и будет проходить тонирный дым.

— Говорит: тонира не надо. Знаю, почему ты так говоришь, парень Гаре,— продолжая свою работу, ворчит под нос Умршат.— Боишься, что снова придется бежать. Нет, лао, больше не побежим. Раз уж над нами нет османского ятагана, нашему тониру всегда гореть и дымить. Тонир — для оседлого, а ты уже не беженец.

— Пусть бог услышит тебя, братец Умршат джан, справедливая у тебя душа,— говорит бабушка Санам.— Выстроим дома, осенью женим Гаре и Сако. Ах, нашлись бы моя Нвард и пропавшие дети сестрицы Нуно, зажили бы себе мирно...

— И заживем, сестрица Санам, заживем. Если до сих пор не умерли, нет нам уже смерти. Кто из пропавших жив — найдется.

Что Сако и Гаре должны жениться и для этого нужен тонир — я понимаю. Но вот и братец Умршат оставил в своем домике место для тонира, да еще интересуется, где берут урутцы глину для тонира. Неужели и он думает жениться? Я не могу удержаться и спрашиваю его об этом.

— Э, Орленок,— улыбается Умршат,— и ты не умнее Гаре. А моя дочка? Разве не выйдет замуж моя Осан?

— Сказал тоже! Осан выдадут замуж, у жениха найдется и тонир.

— Не уйду я никуда от старшего братца.— На глаза Осан набегают слезы, словно вот сейчас, сию минуту хотят увести ее в невестки.

— Моя родная, конечно, не пойдешь,— подтверждает Умршат.— Вырастешь, сыграем твою свадьбу с молодым удальцом, а я состарюсь, буду жить у вас под крылышком.

Так, с разговорами и шутками, идет наша работа до сумерек. А когда становится совсем темно и нельзя уже отличить камень от глины, усталые и довольные собираемся вокруг костра.

---

[1] Азарашенк — конусообразная связка балок в середине потолка.

А Сурен — если он днем был занят и не показывался — вечером обязательно приходит, да еще с бумагой и карандашом в руках.

Хотя сбор картошки в тот первый вечер и рассердил дядюшку Авета, но позднее и он и Ерванд решили все-таки: как бы то ни было, а беженцам надо помогать. Ерванд предложил сейчас же открыть амбар и раздать им ссыпанные там на осень семена озимой пшеницы. Но дядя Авет не согласился. Он отправил Ерванда в Кафтарлу и получил оттуда распоряжение: раздать беженцам оставшиеся семена и собрать для них с крестьян продукты — в счет продналога. Пшеницу тут же роздали, а продукты собирать поручили Сурену.

И вот, с карандашом и бумагой в руках, он медленно читает при свете костра:

— Барикянц Мукуч, то есть Башка-ага,— десять фунтов картошки, дал пока половину, остальное возьмем сегодня. Пусть душа из него выпрыгнет, а дать придется. Дядя Шмо... но он же дал в тот день! Ладно, пусть пока так остается. А вы пойдете к Сето, его картошка, наверно, поспела, пусть даст пять фунтов. Товарищ Ерванд, председатель,— полфунта постного масла. Что ни говори, он джот, масло где-нибудь в уголочке сохранилось. Айрапет Барикянц! Уй, будь проклят этот шакал, разве что-нибудь у него вырвешь? Ладно, полмеры пшеницы да еще ведро пахты, душа из него вон... Меликян Сурен, то есть я. Аслан-бала, посмотришь сам, сколько там понадобится,— говорит он Паруйру.

Умршат хотя и знает, для чего собирает Сурен продукты, но каждый раз, когда тот читает свои списки, не может утерпеть и говорит:

— Эй, братец Сурен, хватит, не для того мы пришли в Урут, чтобы объесть весь твой огород...

— Старший братец, тебе слово не дается, как Совет решил, так и делаем. Видишь, записываю — осенью вычтем из продналога, не волнуйся,— успокаивает его Сурен. И к нам: — Ну, чертовы пятки, мчитесь! Только смотрите у меня: говорить по-человечески, вежливо! Попробуйте только кого-нибудь обидеть...

— Дядя Сурен, а про ту пахту, что сейчас возьмем у Айрапета, тоже сказать, что в счет осеннего налога? — спрашивает Нушик.

— Нет, не в счет. Принесем из Индустана большой кувшин пахты и отдадим этому шакалу Айро, пусть купается,— смеется Сурен.

И мы, зная назубок список, бежим выполнять наказ Сурена.

Вечер у костра беженцев. В горшке клокочет, варится картошка, бабушка Санам и жена Гаспара Атлас готовят похлебку из пахты, а мужчины собрались, сидят вокруг Умршата и беседуют. Попыхивая трубкой, Умршат снова и снова рассказывает про голосистые ручейки, высокие горы и душистые цветы своего

края. Потом Гаспар, приложив обе руки ко рту, начинает дуть, и в кулаке у него рождается тихий звук — будто играет настоящий дудук! Гаспар выводит задумчивые, нежные колена нашего родного напева, хочется слушать его без конца.

— Спой, Гаре,— устав дуть в дудук, просит Гаспар.

Гаре, оказывается, очень хорошо поет. Он будто только и дожидался просьбы. Грудь его открыта, он похлопывает по ней ладошами, как по коже барабана, и запевает хриплым, но приятным голосом:

Ле-ле-е,
Ниву засеял я просом весной,—
Яр [1] черноволосая, нежная...
Ле-ле-е,
Стала мне ночь словно день золотой,—
Куропаточка с красными лапками...
Ле-ле-ле-е...
Градом вчера мое просо побило,
Вай ле, вай ле,
Черная туча мне солнце закрыла,
Ле-ле, вай ле.
Отсохни, рука, что всучила мне посох,
Сумой наградила, избой на колесах...
Вай ле, ле-ле...

Мужчины слушают, опустив головы, женщины после каждого «ле-ле» грустно кивают, а Умршат, не отрывая взгляда от огня, молча дымит трубкой.

— Ребята, давайте плясать кочари! — оживляется вдруг Гаспар.— Град побил только просо, мы остались. Вставайте!

Сорвав с головы жены пестрый, истрепанный платок, он вскакивает и становится посредине лужайки.

— Гаре, иди! Сако! Братец Сурен, становись и ты.

Мужчины крепко обхватывают друг друга за спину, рука в руке, плечо к плечу, и начинают пляску.

Тарай- най-най, кочари,
Кочари, мера ржи,
Два шага туда, один сюда,
Ай на-на-най, кочари...

Гаре поет, и, подпевая, громко дыша, вся их плотная шеренга пляшет. То все вместе бьют одним коленом в землю, то выкидывают вперед ногу и потом подаются назад, как отхлынувшая волна. Пламя костра освещает их пыльные и обожженные солнцем лица, вспотевшие, раскрасневшиеся от пляски, а тень от крепко слившихся плеч кажется густым рядом деревьев. Когда они бьют коленом, этот ряд деревьев будто валит бурей, а когда выкидывают ногу вперед, деревья выпрямляются и, качнувшись на месте, тянутся вверх, вверх...

— Вот вам и кочари,— устало, но радостно выдыхает Гаспар.— Атлас, готова картошка? Неси!

[1] Яр — любимая, возлюбленная.

Мужчины садятся вокруг разостланной на траве скатерти. Наступает тишина — все с аппетитом набрасываются на картошку. А мы, пользуясь случаем, отходим чуть подальше и пробуем при лунном свете повторить кочари Гаспара. Но у нас ничего не получается: когда Паруйр и Вардан хотят дружно стукнуть коленями о землю, мы с Нушик только еще покачиваемся на месте.

— Эх, где девчонкам плясать кочари! — Паруйр бросает пляску.

— Родные мои, хватит, напрыгались,— окликает нас Умршат.— Ложиться пора, поспите — с рассветом много будет дела...

МОЙ ПРИГОЖИЙ ХОРУРДАКАН

— Гаре, Гаспар, Сако! — снова на заре загремел голос Умршата, и снова проснулись мы, а с нами и вся деревня. Каждый из нас знает, что надо делать: мы должны носить раствор и камни, мужчины класть стену, крепить балки крыши, навешивать двери. А на закате снова соберемся у костра...

И мы работаем; каждый над своей стеной, в своем дворе, на своей крыше: никто не удивляется тому, что Гаспар взваливает первый камень на спину Атлас, а уже второй — на свою; если сам подымается на стену, ей велит подавать в ведре глиняный раствор, а когда приступили к перекрытию, Атлас поднимала бревно за один конец, он за другой, и вместе они клали его на стены...

Да, в этом нет ничего удивительного. Атлас — молодая, гибкая и ловкая женщина, и трудится она над собственным домиком. Но вот, поднимая очередной камень, она не выпрямилась с маху, как обычно, а уперлась коленом в землю, осторожно откатила камень в сторону, да так и осталась — на коленях.

— Гаспар...— еле слышно позвала она.

Гаспар, растерявшись, забыл выпустить из рук камень и так, держа его перед собой, подошел к жене и опустился на корточки.

Скоро в руках у бабушки трепыхался новорожденный. «И-и-га, и-и-га, и-и-га»,— то ли плакало, то ли звало это маленькое существо. Наверно, звало. Малыш звал и звал до тех пор, пока не собрались вокруг Гаспара все, кто строил дома, кто давал советы строителям и кто глазел издали... Собрались, и братец Умршат, взяв в руки спеленатого младенца, сказал ласково и торжественно:

— Какой замечательный мальчишка! Расти большим, вырастай молодцом, тебе повезло, на советскую землю пожаловал.

И новорожденного так и назвали Хорурдакан, что значит — советский.

Атлас не захотела воспользоваться правом роженицы, около полудня уложила спать своего Хорурдакана, отдала присланное из дома дяди Овасапа молоко мне и моим друзьям, а сама вы-

шла из-под карпета и снова принялась таскать камни. Напрасны были уговоры бабушки, напрасно упрашивала ее Санам.

— Гаспара жалко, один остался,— твердила Атлас.

В этот день мы работали быстрее и не чувствовали усталости. Камни будто сами подымались на стены, балки перекрытий сами укладывались — послушно и красиво. А Гаре взял лом и начал в своем доме долбить яму для тонира! Что же принесло нам чувство такой легкости?

Один лишь Гаспар работал молча, ступал чуть слышно и не сводил глаз с новорожденного...

И вот наш домик готов. Уже который раз мы обходим его. Дядюшка Авет стучит костылем по стенам, Гарик упирается в каждую спиной и, покраснев, жмет изо всей силы, проверяет, выдержат ли. И радостно объявляет, что даже стены Ани не имеют такой крепости, как наши.

Маран решает: пустырь перед домом не должен пропадать зря.

— Там, под стенкой, устрою курятник. Что это за дом, если не будет кур и цыплят? Надо еще сделать какой-нибудь закуток для коровы и теленка. Будем живы — и корову купим, не останемся же так. На остальной земле вскопаю огород, а у порога грядки сделаю — для кинзы, лука, редьки и свеклы, не буду каждый раз просить у соседей...

Маран намечает, а бабушка задумчиво смотрит вокруг и потягивает свой нюхательный табак. О чем думает бабушка? Сказать, что не рада,— грешно, ведь она первая высказала пожелание, чтоб в нашем домике всегда звенели смех и песня, да и раньше все муки приняла вместе с нами. Но сейчас увлажняются бабушкины глаза, слезинка блуждает в морщинах, и она тайком вытирает ее. Я знаю, о чем думает моя бабушка, она очень, очень часто с тоской говорила об этом: «Весь мир свил себе гнездо, лишь детки мои остались...»

— Когда у нас будет корова, назовем ее Джейран, ладно?..— скачет по дому Гарик.

— Зачем? Назовем лучше Цахик! — протестую я.

Мы слегка горячимся, но дядюшка Авет мирит нас: пусть одна называется Джейран, другая — Цахик. Я улыбаюсь с сомнением, а он продолжает — то ли в шутку, то ли всерьез:

— У нас будет не две, а сорок, пятьдесят, даже сто коров.

— Как же мы будем смотреть за таким стадом, кто съест столько молока, мацуна?..

— Найдется кому смотреть за ними, Арцвик. Есть и едоки. Сосчитай-ка на пальцах: Гаре, Гаспар, Сако, Умршат, я, ты, все урутцы...

— Хорурдакан...

— И Хорурдакан, а потом ведь еще родятся Хорурдаканы,

все мы объединимся, будем ухаживать за нашими коровами, будем есть молоко и мацун. Поняла? Другого пути нет, да и не хотим другого. Плечо к плечу, сердце к сердцу — и работа будет приятней, и хлеб...

— Так и создадим рай,— подтрунивает Маран.

— А что ты думаешь? Не довольно ли? Сколько веков рай был на небе? Пора перенести его сюда. Что нам пользы от того, что где-то в раю попрыгивают себе ангелы,— смеется дядюшка Авет.

А Маран уже не слушает его, голова ее полна планов, что и как надо сделать.

Братец Умршат — тот, кто создал все это,— молча курит, стоя в сторонке. Лицо у него утомленное, усы и борода словно еще больше покрылись пылью, в складках войлочной шапки застряли комочки земли, но глаза улыбаются.

— Старший братец джан, как хорошо...— Я старательно отряхиваю пыль с его одежды.— Если б не ты, у нас не было бы дома...

— Хвали, хвали, Орленок. Я девушка на выданье, хвали, чтоб не засиделась,— смеется он.— Раз настало время, дом должен быть выстроен. Не я, так другой, все равно выстроили бы.

— А почему там, в нашем селе, не выстроил?

— Ваше село не осталось ни вам, ни мне, лао, чего же строить?

— Правильно ты говоришь, братец Умршат, наше село было последней голгофой, которую мы прошли. Оставили там наши сердца, но выдержали,— подтверждает дядюшка Авет.— И этот дом, верно, выстроили бы все равно, потому что пришло время. Как и наш Хорурдакан: пришло время — и не выдержал, появился на белый свет.

Хорурдакан... как же могла я забыть про это маленькое, несмышленое существо? Ведь он — любимец не только Атлас и Гаспара, его любят все наши новоселы и приходят посмотреть на него. Но я по-иному люблю Хорурдакана: он очень, очень похож на нашего Артика, смотрит, как он, круглыми, словно невидящими глазами и, как он, пускает фонтанчик прямо в лицо говорящему с ним. Только жалко, что я уже не прежняя...

Гаспар и Атлас поднялись на свою крышу, притаптывают свеженасыпанную землю. Гаспар сдвинул на затылок пеструю шапочку, уперся руками в бока и переминается с ноги на ногу— так задорно, будто пляшет. Атлас привязала к спине туго спеленатого Хорурдакана, и каждый раз, как подымает и опускает ноги, из свивальника, словно свежий росток, машет вверх и вниз его маленькая ручка. Мать топает, и он в такт ей выводит что-то свое: «а-а-а...»

— Джан, джан, джан, солнышко мое красное Хорурдакан, мое деревцо зеленое, ягненочек маленький,— тихо воркует Атлас.

— Птенец орла! Лети ко мне, вместе топать будем! — кричит радостно Гаспар.— Вы все уже кончили?

— Ко мне, ко мне иди! — зовет Гаре.— Вас, Гаспар, трое, а я один, пусть идет ко мне...

— Двое нас, откуда трое? — недоумевает Гаспар и сейчас же поправляется: — Вай, ослепнуть мне, Хорурдакана своего забыл! Такого удальца.

И для того, должно быть, чтобы искупить свою вину, затягивает:

Дорогой Хорурдакан!
Золотой Хорурдакан!
Выйду в поле с верным другом,
С нашим старым, черным плугом.
А под вечер я сорву
На меже мандак-траву.
Мы с женой травы пучок
Под сынишкин тюфячок
Ночью сунем и шепнем:
«Крепни, крепни с каждым днем».
Закаляйся, бегай вволю,
Станешь сильным, выйдешь в поле.
Глянет мать, сердечко — стук! —
Сын повел отцовский плуг!

Хотя Гаре жаловался, что он одинок, я застаю у него дядю Шмо. Он учит Гаре, как приготовить из корневищ заслонку для ертыка.

— А вот и девушка сама явилась,— подымаясь с колен, говорит дядя Шмо.— Шустрая девчонка, хватай ее за руку да веди в церковь. Оба вы сироты,— смотришь, вдвоем как-нибудь поддержите огонь в очаге...

— Кто девушка? Арцвик? — краснеет Гаре.— Что ты говоришь, дядя Шмо, Арцвик сестра мне... И потом, она еще маленькая...

— Что для девушки возраст, сынок? Чем моложе ива, тем легче гнуть. Знай и другое: кто в нашей деревне выдаст девушку за беженца? Нужен тебе прутик, срезай со своего дерева.

— Дядя Шмо, ты совсем спятил! — гневно ору я и выбегаю.

Следующий — домик Сако. Сам хозяин навалился всей грудью на дверь, вздыхает и пыхтит, пишет на ней что-то. Когда он кончает этот труд и отодвигается, читаю: «Сако Пайлеванян, проживающий в деревне Урут. Да здравствует!»

Умно придумано! Как же я не догадалась? И, не дожидаясь, пока Сако заговорит, я вырываю у него из руки карандаш и лечу к себе. Напишу все наши имена! Пройдет человек, будет знать, кто живет в нашем прекрасном домике.

Когда я поравнялась с дверью братца Умршата, у меня вспыхнула новая мысль. И, хорошенько смочив слюной белую доску, я вывожу на двери буквы в целую пядь величиной: «Старший братец Умршат. Осан...» Хочу прибавить рядом «Да здравствует!», но подбегает Осан и отталкивает меня.

— Опять делаешь что-то большевистское? — испуганно спрашивает она.— Не делай этого, старшего братца пожалей...

— Ай, Осан, не понимаешь, а вмешиваешься! Теперь ведь уже нет Соrо, чтоб я назло ему делала по-большевистски. Просто написала имя старшего братца.

— Зачем написала?

— Чтоб знали все: это ваш дом.

— Пиши не пиши, дом все равно наш. Никому больше не отдадим. Нарек[1] сохранит наш дом.

— Кто это — Нарек?

— Не скажу,— таинственно улыбается она.

Я догадываюсь:

— Этот тот парень, что женится на тебе?..

— Вай, как не стыдно,— заливается слезами Осан.— Грешно говорить так! Узнает Нарек, выколет тебе глаза.

— Еще не женился на тебе, а уже собирается выколоть мне глаза? А если я сама ему выколю?

Осан, махнув на меня рукой, уходит в дом. Совсем сбила меня с толку. Кто же такой этот удивительный Нарек? Никто в Уруте не носит такого имени...

КУДА ДЕВАЛИСЬ ЯИЧКИ МАТУШКИ АНГИН?

Ни Умршат, ни дядюшка Авет не сказали мне, кто такой Нарек. Дядюшка Авет даже рассердился на меня, не любит, когда я болтаю лишнее. А Умршат лишь улыбнулся и промолчал. Мне даже показалось, что он хотел сначала что-то сказать, но постеснялся дядюшки Авета. И не знаю почему, но я окончательно убедилась, что Нарек — жених Осан.

Могла ли я держать при себе такое важное открытие? Надо было немедленно найти Нушик, чтобы вместе решить, что нам делать. И вдруг бежит Нушик.

— Нуш, ты слышала, что случилось?

— Еще бы не слышать,— вон слез с лошади, идет сюда сам...

— Нарек?

— Какой еще Нарек? Товарищ исполком Гарегин идет...

Товарищ Гарегин! Мы бежим сломя голову, бежим встречать человека, которого ждем с того дня, когда ходили в Кафтарлу...

Как вы помните, в тот день он ничего нам не сказал о своем приезде, и до этого ни один человек с должностью не приезжал к нам в Урут. Если не считать товарища Варшама, который был командиром, а не человеком с должностью. Да еще Беника Даneляна, который был прикрепленным товарищем и, прожив несколько недель в деревне, кажется, заскучал и уехал. И вот на-

---

[1] Нарек — народное название «Книги скорби», поэмы гениального поэта и мыслителя Григора Нарекаци.

конец прибыл к нам в деревню, и не кто-нибудь, а сам товарищ исполком Гарегин!

Несмотря на то что никто у нас не видел раньше этого человека, ведущего лошадь на поводке, что-то потянуло к нему наших деревенских. Мы еще бежали, а товарища Гарегина уже окружил народ.

Как здоровье, как настроение, как зреют хлеба, чей дом он ищет... два-три вопроса — и люди узнали друг друга, и несколько рук сразу протянулось к поводку лошади. Многие даже стали звать гостя в свой дом.

— Спасибо, спасибо,— весело сказал Гарегин.— Я приехал посмотреть ваши новые выселки, пойдем сперва туда.

Тут, понятное дело, я должна была выступить вперед и вырвать поводок из руки Сурена.

— А-а! Вот и мои старые знакомые! — похлопывая меня по плечу, смеется Гарегин.— Ну, где твои друзья?

— Все мы здесь, товарищ... дядя исполком,— сейчас же вмешивается Нушик.— А зять мой, Ерванд, председатель деревни...

— А какие вести о нашем Булате, дядя джан? — припав к нему, шепчет Вардан.

Люди недоуменно пожимают плечами: откуда знает нас товарищ исполком? Наконец кто-то говорит:

— Э, кто поймет дела нынешних детей?

У нашего порога гостей встречают бабушка и Умршат. Дяди Авета не видно, поэтому вперед с глубоким поклоном выступает Умршат:

— Наш дом и все, что есть, возьми себе в дар, братец... исполком.

— Владейте на радость, отец. Ты беженец? — Гарегин пожимает ему руку.

— Да, до этого дня были беженцами...

Бабушка, пригласив всех войти и сообщив, что это дом Авета, сейчас же пускается в расспросы: откуда родом товарищ исполком, есть ли у него отец, мать, жена, дети? Бог да хранит их на радость родным. А у кого нет... Она уже переходит к своей основной теме: дороги велики и запутанны, не пришлось ли когда-нибудь товарищу Гарегину встретить моего дядю или других наших родных? Я со страхом жду, что, спрашивая о моей матери, бабушка назовет Каро, и уже приготовила длинную речь о том, что Каро подлец, дашнак, Лиса сухого ущелья и прочее... Но бабушка все же разумнее меня.

— Такого роста Агабек, как ты. Крепкий, осанистый парень,— описывает она.— А когда смеется, на щеке — ямка. Ах, будь я тебе жертвой, Агабек джан, и такой он добрый парень, рубашки с тела не пожалеет, отдаст. А моя невестка Ашхен! Как джейран, в речи тихая, в работе — огонь, почтительная со старшими, скромная...

Слезы бабушки снова портят все дело.

Товарищ Гарегин утешает ее: и второй сын бабушки, Авет, тоже хороший человек, он его знает с партизанских времен.

— Да, бала джан, пусть он не лучше тебя, но все же другого такого нет на свете,— подтверждает бабушка.— Бога не прогневлю: и меня и девочку Авет бережет как зеницу ока, но материнское сердце, сынок, сам знаешь... Бог дал матери два наказания: одно — страдания роженицы, второе — муки сердца. И если одна боль помучает и пройдет, то другая не отступит никогда. Терзает и терзает...

Эту грустную беседу прерывает Авет. Он входит, спешит к Гарегину. Друзья обнимаются, потом, отстранившись, долго и радостно оглядывают друг друга. Должно быть, оба изменились с тех пор, как вместе были партизанами. Я слежу за всем этим, и от гордости мой нос постепенно задирается все выше...

— Так, значит, Гарегин джан,— хлопает его по плечу дядя Авет,— те дни не вернутся, мы уже построили дом и завели огонь в очаге. Что еще нам надо?

«Надо, чтоб товарищ исполком посмотрел все дома»,—думаю я, и они, как бы поняв мои мысли, выходят.

— «Старший братец Умршат...» — едва разбирая выведенные мной буквы, читает Гарегин и смеется.— Кто это так разукрасил?

— Арцив написала,— жалуется Осан.

— Я хотела написать и имя Нарека, а она не разрешила...

— Нарек?..— Гарегин пытается вспомнить что-то. Умршат берет его за локоть, приглашает и остальных, и мы входим в дом.

Мы стоим перед маленькой квадратной нишей в стене. Там лежат вылинявшие шелковые платки, связанные в узелок. Обнажив голову, Умршат берет в руки узел и осторожно развязывает его.

— Это наш дедовский Нарек, товарищ исполком,— говорит он, протягивая товарищу Гарегину маленькую сероватую книгу, страницы которой сделаны из чего-то незнакомого, не из бумаги, и странно пахнут не то ладаном, не то плесенью.— Дед моего деда, спрятав ее за пазухой, принес из Хута в наш разоренный Алашкерт. Пока мы были в нашем краю, Нарек лежал в такой же нише и перед ним горела свеча. Бежали с родины — я спрятал его за пазуху и донес до села Авета. Сколько раз хотелось мне достать его и отдать сестрице Нуно. Но Нарек словно говорил: «Пока видишь бегство и пока народ не осел на земле, мое место у тебя за пазухой...» Так и сохранил на груди до нынешних дней. Построили мы этот дом, и Нарек сказал: «В стране наступил мир, достань меня, клади на место...»

Умршат умолкает. Молчат все. Дядя Овасап, вошедший позднее других, крестится и берет в руки книгу.

— Святая книга,— говорит он,— одна такая есть еще у саратакского дьячка Матоса. В монастыре Арич тоже есть такие книги.

Книга переходит из рук в руки, одни нюхают ее, другие удивленно щупают плотные, пожелтевшие страницы, на которых нарисованы красной краской и золотом цветы и узоры.

— Зовите Тер-Бардоца, пусть читает,— полушутя говорит Сурен.

Смбат по привычке затягивает пояс и читает:

Был я сокрушен — я же стою.
Был я унижен — я же победитель.

— Ничего не понимаю,— вытирает он вспотевший лоб,— что тут говорится, товарищ Авет?

— По-моему, говорится вот что: сколько бы ни сокрушали нас, мы снова становились на ноги, сколько бы ни испытывали нужды, все-таки побеждали. Гарегин, как ты думаешь?

— Наверно, так и есть, Авет,— подтверждает он.— А ты, отец Умршат, хорошо сделал, что сохранил свой Нарек. Это тоже творение нашего народа и, если после стольких испытаний дошло до нас, пусть живет, сейчас и для него найдется место в мире.

В тишине снова тот же дядя Овасап делает несколько шагов вперед и, глядя в упор на Гарегина, спрашивает:

— Пусть простят мне, все-таки спрошу: товарищ исполком, ваша милость настоящий большевик?

— Должно быть, настоящий, папаша, зачем спрашиваешь?

— Так. Голова кругом идет. Ничего в этом мире не поймешь.

— Будет еще время, поймешь, папаша. А сейчас хочу знать: здесь хозяин того коня?

— Что за конь, какой хозяин? — этот вопрос от имени всех выражает круглый от удивления рот дяди Овасапа. И мы, мужественно хранившие до сих пор тайну, опережая Торгома, протискиваемся вперед.

— Не думайте, что они не имеют отношения к этому,— начинает Гарегин.— Первыми пришли ко мне и заявили. Потом Авет несколько раз писал протест. Правда, Булата вашего разыскать так и не удалось...

Он говорит медленно, подробно рассказывает, как разыскивали Булата. Все слушают затаив дыхание, ахая, негодуя. Я тоже стараюсь принять серьезный вид, но не получается... И когда Гарегин говорит, что государство взамен коня выплатит Торгому его стоимость, потому что военный коммунизм не трогает таких, как он, бедняков, я уже не могу дожидаться, пока дядя Овасап закроет свой все еще открытый рот... Я выскакиваю, и Нушик со мной.

— Нуш джан, чем мы теперь будем угощать товарища Гарегина?

— Что у вас есть?

— Осталось немного похлебки с банджаром.

— Стыдно. Такой огромный мужчина, сам ведь он и испол-

ком и председатель, это просто позор будет — поставить перед ним похлебку из банджара. Мой зять Ерванд тоже председатель, так мама для него всегда яички варит.

Нушик раздумывает минутку и куда-то тащит меня. Мы, запыхавшись, вбегаем в их хлев. Я еще не знаю, что к чему, а она, словно кошка, уже обнюхивает ясли.

— Не здесь, пойдем в кладовую.

В кладовой она приподнимает перевернутую кверху донышком корзину и сует под нее руку. Слышится сердитое квохтанье.

— Наседка? — Я отступаю к двери.

— А что же еще? Моей матери только позволь — она всю деревню посадит наседкой на яички. Одну — помнишь? — посадила, собрала вокруг всех девчонок, какие только нашлись, а вылупились все петушки. Теперь посадила снова.

— Понесем наседку угощать Гарегина?

— Наседка пусть остается, возьмем яички. Вчера вечером заложила, за одну ночь не стали ведь цыплятами.

Мы торопливо суем яйца за пазуху.

Вернулись мы вовремя. В самую точку успели. Бабушка как раз поставила на огонь полную кастрюлю воды и терпеливо ждет. Надеется, видно, что бог что-нибудь придумает...

— Видишь, бог послал,— радуется она и даже не спрашивает, откуда яйца. Уверена, должно быть, что они действительно посланы богом.

Несмотря на то что сидящих за нашим столом гостей больше, чем награбленных у наседки Нушик яичек, угощение получилось на славу. Бабушка так и плавает вокруг стола и просит гостей, чтоб ели. После бегства из нашего села она впервые развернула скатерть под своим кровом. Спина бабушки выпрямилась, все морщинки на лице сияют. И гости разговаривают, смеются, все они радуются, как и моя бабушка. Я смотрю на них и вспоминаю наше село. Тогда было не так. Приходили Сого, Костан или пристав, и после каждого такого гостя наши крестьяне угрюмо молчали...

Гарегин ушел, а крестьяне все еще толкуют о нем, рассказывают друг другу: что говорил товарищ исполком Умршату, дяде Овасапу и как он поцеловал и приложил ко лбу Нарек Умршата.

Одно плохо: матушка Ангин не унимается, все клянет потерявших совесть мышей, которые унесли из-под ее наседки все яйца...

— А эта проклятая курица! В другой раз все пальцы мне исклюет, не дает покормить толком, а тут, как тупой осел, допустила, чтобы мыши вытащили из-под нее все яички...

— Таковы мыши, матушка Ангин,— скромно замечаю я.— Если б мясо вашей наседки было вкусным, забрали бы и ее.

— Может, у мышей были гости и яичница понадобилась? — смеется Нушик.

Теперь уже матушка Ангин, забыв мышей, принимается за нас. Ничего мы не понимаем, ведь она собиралась подарить эту наседку вместе с цыплятами сестрице Нуно...

— Ну вот, надо было раньше сказать,— искренне сочувствую я ей.— Знали бы, что такое дело...

— Обстригли бы мышам хвосты?

— Накормили бы товарища исполкома чем-нибудь другим...

Матушка Ангин, потеряв голову от удивления и гнева, хватает веник и накидывается на Нушик.

— Все равно, все равно из всех яичек вылупились бы петушки,— упрямо повторяет при каждом ударе Нушик.

Я освобождена от этого угощения, но матушка Ангин грозится рассказать все дяде Авету, как только он вернется.

А дядюшка Авет ушел. На этот раз не для того, чтобы продавать налики или пшеницу. Пока его нет, матушка Ангин, наверно, еще раз посадит наседку, будут новые цыплята, и она, конечно, забудет нашу провинность.

Хотите знать, куда ушел дядя Авет? Он уехал в школу...

Как несправедливо все на свете! Я всю жизнь ждала: вот придут большевики и откроют для меня школу, а они взяли да открыли школу для огромных мужчин. А дядя Авет, уходя, сказал: ему нужно знать, что такое советская власть, и поэтому он идет в школу учиться, будет жить в городе две недели и прочитает все книги. Для чего? Никак не пойму. Ведь теперь даже ребенок знает, что такое советская власть. Пусть спросит меня, не побоюсь, отвечу. Вот, пожалуйста: советская власть — то, что дядя Шмо засеял ниву, беженцы Умршата и мы выстроили дома и товарищ Гарегин сказал Умршату, что можно хранить Нарек. А остальное — пустяки. Ерванд постоянно грозит всем проклясть их отцов, дядя Овасап долго не мог догадаться, что он «честная межа»,— все это мелочи. Зато Вардан все время просит научить его читать и писать, чтоб он мог своей рукой написать на всех дверях: «Да здравствует товарищ Гарегин...» По-моему, все понятно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СБОР КОЛОСЬЕВ

Первым вступило в восковую спелость ячменное поле дяди Овасапа — узкая и длинная полоска земли. Она почему-то была овасаповская, а не барикянцевская, как все остальное поле, которое называлось Поливным. Налился колос, отяжелел и, потому что был он ячменный, а не пшеничный, направил свои золо-

тистые усы прямо к солнцу и заиграл, заходил под ветром. И все поле заиграло, плеща волной и рассыпая по морщинистым лицам людей и по всей деревне такие же, как эти волны, широкие и сияющие улыбки.

Хотя самым значительным человеком в эти дни был хозяин нивы — дядя Овасап, но люди поздравляли друг друга:

— Поспел, поспел хлеб! Как только зазвенит коса, дракону голода уже не шевельнуться.

И зазвенели косы! Сперва на ниве Овасапа, потом на всех богарах, а там уже и на остальных полях деревни.

У кого однодневная пахота или половина того, тем просто: навалятся всей семьей, сожнут — и делу конец. Были и такие, у которых и надел — всего ничего, шапкой накроешь, но некому браться за косу. Таким помогали соседи. А иные просто не могли справиться одни, должны были нанять иргадов, как у нас называют наемных косарей. К таким относится прежде всего дом Барикянцев. Их посевы так велики, что половина деревни нанялась к ним иргадами.

«Ребятки» Умршата тоже подрядились косить. Сперва никто не хотел замечать их: ведь они горцы, пришли с Сасунских гор, где им было увидеть жатву да снопы. Но когда Умршат вместе с дядей Шмо за полдня скосил его кубанку, а Гаре и Гаспар показали свою сноровку на ниве дяди Овасапа, отношение крестьян изменилось настолько, что даже Айро зашевелился. Собственные ноги привели его к Умршату.

— Дядюшка беженец, я слышал, хорошо справляешься с косой?

— Справляемся кое-как, Айро-ага. Если не очень хорошо, то и не плохо...

— Сколько же заплатить тебе, чтоб ты пришел иргадом?

— Да ничего...

— Почему? Нива твоя перезрела или стада твои нагуливают жир на яйлагах? Впереди зима, а ты ведь ешь хлеб? Иди поработай, что-нибудь заплачу.

— Моя нива и перезрела и осыпалась, Айро-ага. На ней теперь растут колючки да чертополох. За такие слова не ходить бы мне на твое поле, но пойду...

— Зря ты уважил этого живодера, братец Умршат,— сказал Сурен после ухода Айро.— Не стоит он того.

— До человека мне нет дела, братец Сурен,— объяснил Умршат,— но хлеб я даром есть не буду. В твоих списках стоит имя Айро. Дал ли он кувшин пахты или горшок мацуна, все равно. Я тоже должен дать, что имею, чтоб покрыть этот долг.

— Эй, опять полез в дела сельсовета? — даже чуточку вспыхнул Сурен.— Все, что мы брали, взято по закону, в счет продналога...

— Нет, братец Сурен, нет. Если рука в состоянии работать и возьмет бесплатный хлеб, такая рука отсохнет,— ответил Умр-

шат и вместе со своими «ребятками» пошел косить на нивах Айро.

Они работали для Айро от зари до заката и еще от заката и до утренней зари. И как только Умршат, прикинув на глаз, увидел, что они заработали в три раза больше, чем могли стоить полторы меры дзавара и кувшин пахты, взятые у Айро, положил косу и сказал:

— Хватит, Айро-ага, мы отдали свой долг, ищи теперь других косарей.

Айро сверкнул глазами, стал доказывать, что иргад не имеет права бросать недоделанную работу, даже пригрозил. Но Умршат только улыбался.

— Не заносись, Айро-ага, я не буду проливать свой пот на чью придется ниву. Коса наткнется на камень, если я еще раз взмахну ею на этом поле, ведь коса тоже понимает, какое у кого сердце в груди...

Вот так Умршат и его ребята, отработав за съеденную скороспелку, пройдясь с косой по нивам у всех, кто был в списке Сурена, теперь косят не в Уруте, а выше, в горных деревнях. С ними Сако и Смбат. Сурен тоже хотел пойти, но Арус показалось, что если уйдет и он, то деревня останется совсем без хозяина, ведь дяди Авета нет, а Ерванд... По мнению Арус, он без Сурена ничто, только неизвестно почему «проклятая птица счастья садится на другие головы...».

Начиная с первого дня жатвы изменились и наши занятия. На огород Сурена уже не ходим, не убегаем играть на зеленые горные склоны. Мы теперь подбираем колосья.

Гарик прикатил в дом плоский камень и положил на него огромный сотканный из шерсти мешок — джувал. Туда мы и ссыпаем нашу пшеницу, собранную по колоску. Мы, правда, набрали всего лишь с полтора пуда, но, по нашему мнению, такой пшеницы не может быть ни у Башки Мукуча, ни даже у Айро, несмотря на то что они молотят по целому току в день. Если спросить Маран, то это не пшеница, а янтарь, жемчуг, все вместе взятые драгоценные камни и даже зеница ока. Бабушка говорит вернее: не все хорошо, что растет на земле, она родит и глупые сорняки и бурьян; пшеница дорога тем, что в ней — трудовой пот крестьянина. И действительно, это так. Кто сосчитает, сколько тысяч капель пота пролили я и Гарик за нашу пшеницу...

Маран с каждой зарей будит Гарика, уговаривает его. Если он пойдет сегодня подбирать колосья, если и завтра пойдет, и послезавтра, да еще недельку походит, то джувал наполнится и Гарик сможет спать сколько его душе угодно. Гарик, конечно, понимает это, но ведь трудно, очень трудно на рассвете расставаться с теплой постелью...

И каждое утро у нас в доме все то же зрелище: Гарик, хныча и посапывая, натягивает штаны, а иногда со зла сует обе ноги в одну штанину. Эти штаны когда-то принадлежали дяде

Авету и слишком велики для Гарика. А Маран в это время громко ведет свои подсчеты. Если прислушаетесь к этим подсчетам, увидите, что Маран собирается два пуда собранной нами пшеницы ободрать на дзавар, полтора пуда пойдет у нее на булгур — крупу из заваренного зерна, полпуда на погиндз — поджаренную муку для каши, потому что Гарик очень любит эту кашу. Потом надо смолоть два или три пуда муки, да еще около пуда задолжала другим, пора отдать... Эх, все это очень необходимо и должно быть выполнено,— значит, долго еще придется мне и Гарику подбирать колосья.

Мое дело легче, я не хнычу и не дуюсь, как Гарик, если меня разбудят, и не натягиваю штанов дяди Авета, у меня нет даже трехов. Правда, когда дядюшка Авет рассказывал дяде Шмо про то, что такое коммунизм, я так и подумала, что на следующий же день меня закутают в шелка и атлас и будут кормить медом и маслом, но прошли дни, недели, месяцы, а я осталась все таким же оборвышем, а дядюшка Авет, видя, что получается не совсем так, как он говорил, поехал в город, чтобы в школе разобраться, что и как... Одним словом, скажу короче: солнце уже показалось, надо отправляться в поле.

Трудно заранее решить, на чью пойти ниву. Кто беден и имеет всего пахоты на один день, так дрожит над каждым колосом, что снимет с неба птицу, если той вздумается пролететь над его нивой. А богач есть богач, он опять-таки будет трястись над своим добром. Конечно, мы берем только колосья, оставшиеся после грабель, но и за это сердятся на нас и гонят со жнивья. Гонят с одного места,— идем на другое. Иногда заходим на поля соседних деревень, и так до вечера каждый из нас собирает по пять-шесть фунтов колосьев, а это — огромное богатство. Правда и то, что из-за каждого колоска приходится согнуться и выпрямиться, а от разогревшейся на солнце стерни веет таким жаром — хоть закрывай лицо, чтоб не обжечь. Тысячи всяких жучков и шмелей кусают нас, стерня колет наши босые ноги. Зато вечером мы возвращаемся с полными мешками, бабушка начинает сейчас же молотить скалкой наши колосья, а Маран, погрузив пальцы в блестящую россыпь зерна, продолжает утренние подсчеты.

Она хвалит нас, говорит бабушке: не приготовить ли домашнюю лапшу — аршта? А бабушка притворяется, что не слышит, или отвечает кое-как. Это значит, что она хочет возобновить вчерашний, все тот же разговор.

— Не поймешь, почему эта женщина оседлала чертова коня,— ворчит бабушка.— Весь мир так, не мы одни. Что я, жена генерал-губернатора или мать шахиншаха? Почему не разрешаешь мне...

— Опять? — меняется вдруг в лице Маран.

— А что, ведь нельзя так, пришли вдвоем, насели на бедного парня. Так ли просто дается ему прокормить собственную семью,

чтоб нести еще и нашу заботу? Что особенного — собирать колоски? Что тут такого? Пойду вместе с детьми, похожу по нивам,— может, и на сердце станет легче...

— Прекрати, матушка Нуно, ты хочешь, чтоб Авет погнал меня из дому? Не такое он давал Агабеку обещание, чтоб их мать пошла бродить по полям да лугам.

Бабушка замолкает. Немного погодя я вижу: слезы ее скатываются на золотистую пшеницу. Бедная бабушка джан... Чем утешить ее, что ей сказать? Она хочет идти на сбор колосьев не только из-за нашего хозяйства. Все надеется встретить кого-то, кто передаст ей весточку о дяде. Умршату, Сако и Смбату и всем, кто ушел работать иргадами, она уже поручила расспрашивать людей, узнавать, где дядя. Но хочет и сама пойти. А Маран правильно делает, что не отпускает ее. Она и нас, детей, не станет пускать, если узнает, что нам приходится слушать на улице. А нам, в частности мне, говорят много горьких слов. Говорят, что дядюшка Авет считает себя большевиком, все твердит о равенстве, но вот сам уехал, гуляет себе в городах, а такую сироту, как я, заставляет работать... Иногда бывает уж очень обидно, и я тайком рассказываю обо всем бабушке.

— Если станешь слушать, что лают собаки, забудешь и церковь и молитву, бала джан,— утешает бабушка.— Не обращай на них внимания и делай свое дело. Авет! Ведь он не отличает нас от своих кровных родных — разве мало это? Мы приютились, живем под его тенью, разве не должны мы помочь ему чем можем? Коза и та сначала поскребет землю копытцем, потом уляжется. Даром что скотина. Таков порядок мира.

Бабушка, конечно, права, когда говорит, что есть хлеб, не работая,— это очень похоже на свинство. И Маран правильно делает, что думает о завтрашнем дне. Но обе они так увлечены своими расчетами и планами, совсем забыли о нас — обо мне и Гарике, а мы ведь почти голые. Штаны Гарика в очень плохом состоянии, уже никакой веревкой не привяжешь их, чтоб держались. Каждый день с них отрывается по лоскутку, все больше и больше обнажается его тело. В таком же состоянии и я. Но с Маран не поговоришь об этом. Стоит только Гарику пожаловаться, что штаны у него совсем сваливаются, как Маран начинает шутить, смеется: Гарик мальчик, а не девочка, и ему нечего стесняться, можно и голым походить. А когда я, приняв всерьез ее слова, напоминаю о себе, Маран отделывается одной и той же лукавой шуткой: «Ты еще маленькая, вот станешь девушкой на выданье, тогда и сошьем тебе красивенькое платье...»

Я знаю, Маран и самой очень хотелось бы иметь новое платье, но если до этого руки не доходят, успевай хоть о еде подумать, о дзавар-булгуре.

— Все они таковы,— говорит Нушик.— Моя мать тоже прячет все колосья, что я приношу, не дает даже горсточки, чтоб я поджарила и съела. Если мы будем слушаться их, никогда не станем девушками на выданье...

— А почему не станем?

— Если девушка не носит хороших платьев, не расчесывает волос и не идет, покачиваясь с коромыслом на плече, по воду, кто ее увидит? Кому она может понравиться? Кто пошлет сватов?

— Что же теперь нам делать, Нуш джан? — Я все-таки надеюсь на ее смекалку.

Нушик поджимает губы, морщит нос и заявляет:

— Нашла! Мы будем собирать для себя тайный фонд. Как дядя Авет и зять Ерванд собирали семфонд. Мы тоже будем собирать фонд — на платья и штаны — и потом купим все, что надо, в лавке Айро.

— А где прятать, чтоб не узнали?

— Устроим и это,— сверкает она глазами.— Понесем на хранение к Осан. Если будет умной, и себе купит новое платье.

В этом я сомневаюсь. Осан очень странная девочка. Все лето она собирала с нами колосья, но всякий раз, когда я заговаривала при ней о покупке новых платьев, она подбирала подол, залатанный в тысяче мест, и плаксивым голосом говорила, что никогда не расстанется с платьем, которое ей сшила мать, что платье — память о матери и она будет носить его до конца жизни. Посмотрим, что получится, но пока приходится думать о том, как задобрить Осан.

Нушик известным только ей путем утаскивает из дому несколько яичек, в обмен на них мы получаем от попадьи пару свечей и бежим к Осан.

— Осан джан, пришли поставить свечку перед Нареком.

— Нарек не нуждается в ваших свечках... нам не нужны свечи язычников.

Нушик неистово осеняет лицо, я тоже клянусь, что мы не язычники, а верим только в Нарека, каждую ночь беседуем с ним во сне...

— Исус Христос, Исус Христос,— вдруг испуганно шепчет Нушик.— Что там во сне? Послушай, Нарек говорит и сейчас.— Лицо Нушик бледнеет, глаза закатываются, губы дрожат.— Вай, девочки, говорит!..

— Что же он говорит? — еле догадываюсь спросить я.

— Говорит: не устраивайте базара, принесли свечки — скорей зажгите.

Зажигаем свечи. И вот уже получено согласие Осан: отныне часть собранной пшеницы будет хранить от мышей Нарек.

— Ну и фокусница ты! — смеюсь я, выбегая с Нушик на улицу.

— Почему фокусница? Этот Нарек, наверно, добрый дядька, вроде моего отца Манука, а его я всегда вижу — как только вспомню и закрываю глаза,— говорит Нушик.

Ну и нива же у Айро! Такая большая, такая длинная, что, если на одном конце дунут в зурну, на другом не услышишь. А какая там стоит пшеница! Высотой в рост человека, каждый колос плотный, налитой, чуть не ломит своей тяжестью стебель, вот-вот повалится на землю. Косцы — десять — пятнадцать сильных мужчин — идут друг за другом уступами, косы так и поблескивают, и подкошенный хлеб ложится густыми волнами. Да, после того как свяжут снопы из такой высокой пшеницы да еще подгребут граблями, на стерне уже ничего не остается. Но я вижу — идущие с граблями жещины подмигивают нам. Что они хотят сказать? Нушик сейчас же вступает с ними в переговоры и приказывает нам:

— Каждая из вас пусть идет за одной женщиной. И не будьте разинями...

Я еще стою, стараюсь уразуметь, что к чему, а она поскорей подоткнула фартук и принимается за дело. Не проходит и получаса, а фартук ее уже полон, и она перекладывает колосья в мешок. Тяжелеет и мой фартук, да и Гарика тоже. Откуда такая благодать? От такой высокой и еще свежей пшеницы не может оставаться столько колосьев,— значит... Значит, женщины с граблями не зря подмигивали — они кое-что оставляют и нам, на наш штанофонд.

Правильно говорил в свое время братец Умршат: «Оторвать от собаки клок шерсти — не грех...»

Мы подбираем колосья, а косари, подшучивая друг над другом, мерно взмахивают косами. Твоя пшеница или чужая,— если она выросла высокой да густой, косить — удовольствие. Люди так увлеклись, что никто не замечает Айро.

А он — вот он, верхом на красивом коне въезжает на поле. Его замечают только тогда, когда он собирается сойти с лошади. Один из скирдовальщиков поднимает на вилах сноп и, держа его над головой, идет навстречу хозяину.

— Бакшиш, Айро-ага, бакшиш!

Айро опускает руку в карман, чтоб дать бакшиш скирдовальщику. В ритмичной работе косцов вдруг наступает перебой,— «фр-р-р» — серая тень выпархивает прямо из-под косы.

— Перепелка, ребята, перепелка! — кричат косцы. Ошалевшая птица летит к только что сложенному скирду. Гарик бросается за ней.

— Лови, малышок, хватай! — кричат со всех сторон. Гарик поравнялся с Айро, и... штаны его предательски сваливаются — до самых щиколоток.

— Вай! — смеется и бьет себя по коленям Нушик.

Я, сама не зная почему, бегу к Гарику, а он преспокойно

повернулся спиной к Айро и наклоняется, чтоб поднять штаны. Айро делает шаг вперед.

— Сукин сын,— шипит он и — щелк! — кнутом по остренькому задку ребенка.

Гарик убегает, волоча по земле штаны, мы — за ним. Веселый гомон косарей как ветром унесло...

ЛИСА НЕ УЙДЕТ ДАЛЕКО ОТ КУРЯТНИКА...

Еще до рассвета каждый работник уже стоит с косой у края нивы. И как только зарумянятся вершины Алагяза, он крестится и делает первый взмах. Вязальщик снопов легко закручивает размякший от ночной росы жгут, женщина ловко расчесывает стерню граблями, и не захваченные деревянными зубьями колосья принадлежат уже только нам и птицам. Птицы не торопятся унести свою долю, они ведь не нуждаются ни в дзавар-булгуре, ни в штанах. И нас нет — мы таскаемся по улицам Саратака.

Солнце садится, косари возвращаются к себе домой, аппетитно пожирают похлебку из пахты, отирают пот, сытые и усталые, растягиваются возле очага. А мы все еще бегаем по улицам Саратака.

Саратакцы не знают, что мы влюбились в их деревню. Неизвестно и нашим, почему мы в нее влюбились. Саратак — деревня маленькая, за день можно несколько раз обежать вдоль и поперек, заглянуть через заборы, повозиться под стенками, а иногда и дверь чью-нибудь открыть...

— Где ваш торгаш?

Ответ зависит от того, в какое время суток задан вопрос.

— Что за торгаш среди ночи? А ну, кшш, убирайтесь!

Убираемся и стучим в другие двери:

— Дядя джан, вы не торгаш?..

— Тебе нужен нэп Аристо? Кто поймает этого кривого черта? Зачем он вам?

— Штаны надо купить...

Дядя весело смотрит на нас.

— Зачем? По новому закону девочки штаны будут носить?

Мы объясняем, что тот, кто должен носить их, стоит рядом, за стеной, звать его Гарик, на нем только половинка штанов, он стесняется и не хочет показываться чужим.

— Плохо ваше дело,— думает вслух дядя.— Приходите в другой раз,— может, и поймаете торговца.

Ходили и в другой раз, и в третий, до полудня и после полудня. Близко узнали псов, телят и пастухов Саратака, познакомились и с кривым Аристо, не видя даже его лица. Аристо — торгаш, он продает ношеную одежду из американских тюков, есть у него и нитки, иголки, наперстки, смола для жвачки, ладан и свечи. Принесет товар, оставит у кого-нибудь в доме на хра-

нение и исчезает. Продают этот товар сами крестьяне, а он приходит с тачкой и увозит собранную пшеницу, яйца, масло. И вот мы должны бегать по следам этого неуловимого бродяги торговца, потому что после происшествия с Гариком было бы нехорошо оставить его голым, а наш собственный нэп, Айро-ага, решил не торговать готовой одеждой.

Нушик гневается и на Айро и на этого кривого торгаша. Она считает, что надо примешать к собранной пшенице куриного корма и тогда уже покупать штаны для Гарика.

— Бесстыжий горожанин. Надо его проучить, чтоб не мучил нас,— сжимает кулаки Нушик.

— Откуда ты знаешь, что он городской?

— А как же. Только городские могут так бездельничать. Им что, мы мучимся, а они объедаются.

Я хотела бы понять, откуда у Нушик, ни разу в жизни не видевшей городских, такая к ним неприязнь?

— А чем был Артуш-ага в вашем селе?.. А дочки его, те, что, как ты говорила, кривлялись?..

Нушик лучше меня запомнила мои рассказы. Если б она и раньше — в нашем селе — была со мной, как было бы хорошо! Тогда перед нами не устояли бы ни рябой Вано, ни Нос Симон, ни Каро.

Что бы там ни было, а найти саратакского торгаша надо. Сегодня мы не пошли собирать колосья и разыскиваем его. Переходя из дома в дом, доходим до околицы и, увидев, что возле одного домика толкутся люди, входим туда. Внутри — теснота, там большей частью женщины, они, шумно переговариваясь, роются в тряпье Аристо.

— Эта курточка подойдет мне, кума Заро? — обращается к соседке молодая женщина, вся в лохмотьях, и, растянув за рукава, прикладывает к груди что-то вроде мужской рубахи.

Кума Заро не отвечает, она натянула на себя полуизношенную юбку и теперь, сжатая ею, не может шевельнуться. Две девушки развернули головной платок, не могут наглядеться на узоры. Манас Ножницы любуется военным галифе и грозится тут же примерить его, если женщины не выйдут вон. А кривой Аристо сунул руки в карманы и стоит себе в сторонке, наблюдает, как ворошат его тряпье. У него короткие черные усики, довольно молодое лицо, и на правом глазу черная кожаная повязка, под которой иногда угадывается движение глаза. Он натянул почти до бровей вылинявшую военную фуражку и перекатывает в самый уголок рта очень длинную папиросу. В комнате стоит запах этой папиросы — незнакомый и приятный.

— Сколько будет стоить эта вещь, брат Аристо? — спрашивает кума Заро, выползая наконец из юбки.

— Пятнадцать фунтов пшеницы...

— Что с тобой, сколько ты просишь? Да не разрушится твой дом, пожалей, есть ли у тебя душа?

— Душа теперь не в ходу, матушка.

— Как это не в ходу? — удивляются женщины.

— А что, неправду я говорю? — продолжает шутить Аристо.— Душу, бога, все сейчас унесло водой, они ведь не кормят брюхо...

— Почему? Не сатана же пришел на землю? — возвышает голос Заро.— Продаешь две-три тряпки, так еще и нашу веру пошатнуть хочешь?

— Это я-то пошатну вашу веру? Скажи это тем, кто действительно ее пошатнул, а я что. Я для вашей же пользы работаю. Не хочешь — не бери, мой товар не залежится.— Аристо вырывает у нее из рук юбку и швыряет на кучу одежды.— Пусть лежит, а ты иди, купи себе нового ситцу, чтоб хрустел. У меня такого нет.

— Можно было бы ситец достать, так не ходили бы к тебе.— Заро обиженно отодвигается.

— Нет ситцу, нет хлеба, жить не на что... А если кто хочет вам подсобить, говорите — нет души. Нет так нет, что вы еще хотите?..

Аристо достает изо рта папиросу и, оттопырив пальцы, небрежно стреляет ею в дальний угол. Молодой парень, оглядевшись, идет туда, подымает окурок.

— Что делаешь? — с кривой улыбкой спрашивает Аристо.

— Хотел посмотреть, что за папироса. Ну и запах... Бессмертный запах! Разве состаришься, если куришь такую?..

Аристо достает из кармана большую красивую коробку и протягивает мужчинам:

— Пожалуйста, прошу...

Среди мужчин — секунда неловкости. Потом, оттесняя друг друга, они расхватывают папиросы и начинают жадно курить.

— Что, хорошо? — улыбается Аристо, закуривая с ними.

— Слов нет, царский, царский товар,— облизывает губы какой-то человек.

— Себе спасибо скажите! Свалили царя, а теперь рвете друг у друга из рук всякое дерьмо,— то ли в шутку, то ли всерьез говорит Аристо и смеется.

— Осел нас в голову лягнул! — кричит кто-то из затененного угла. Лицо этого человека плохо видно. И голос как будто незнакомый, потому и насторожились все люди, смотрят в этот угол.— Я правду говорю,— незнакомец выходит вперед,— да вы и сами знаете, что кругом говорят...

— О чем ты? — словно просыпаясь, спрашивает Манас.— Если что-нибудь тебе известно, скажи по-человечески, чтоб и мы поняли. Откуда ты?

— А что говорить, побратим?.. Для чего галифе покупаешь?

— Чтоб носить.

— В одиночку или с товарищем?..

— Ты что, парень? С кем это я должен делить брюки?

— Да ведь не только брюки. Тебе столько всего придется делить... Дом, вещи, хлеб... А там и одеяло свое разделишь.

— Да ты что? Ты что мелешь? — тяжело дышит Манас и хватает его за ворот.— Ну-ка, выходи. Говори, что у тебя под зубом! Говори! А то сейчас стукну, вышибу этот зуб.— Он трясет незнакомца.

— Тише, тише, ребята,— пытается разнять их Аристо.

— Он из твоих псов? — резко оборачивается к нему Манас.— Пришли сюда, мараете честь людей — кто вы такие? А ну, выметайтесь! — Он побагровел, расшвыривает и поддевает ногой товар Аристо. Несколько крестьян пытаются унять его.

— Что случилось, что ты так разошелся, дядя? — урезонивает его Аристо.— Этот человек, наверно, слышал что-нибудь, потому и говорит...

— А ты? Тоже слышал? Да я вас обоих сейчас, как сноп...— орет Манас.

И срывает фуражку с Аристо. Разорвалась, спадает и черная повязка, все видят широкий белый лоб и на нем, чуть выше брови, красный шрам. Закрыт ли глаз или Аристо только что, сейчас закрыл его, трудно сказать. Я, оцепенев, гляжу на знакомое лицо. Дрожь пробегает по телу. Хочу крикнуть, но язык как будто исчез. И, подбадривая сама себя, спрашиваю тихо:

— Офицер-ага, когда это ты окривел?

Нушик говорит, что я дура,— наверно, она права. Разве умный человек оставил бы офицера-агу, выбежал вон? Хотя и Нушик не лучше, она ведь тоже вылетела вслед за мной. Но откуда ей было знать, кто такой кривой Аристо? А я-то знала, знала очень хорошо... Обрадовалась, думала: как только назову его настоящее имя, люди сейчас же накинутся и сломают шею этому сменившему шкуру офицеру... А они и внимания не обратили на мой робкий вопрос, продолжали спорить. Только Аристо, мне кажется, догадался, кто я такая, но виду не подал.

Конечно, моего имени он не мог знать, потому что офицером-агой в нашем селе был он, а не я. Но когда он поправлял повязку на глазу, руки его дрожали.

Что же еще я могла сделать?

Выбежали и одним духом домчались до нашей деревни. Но к кому пойти и что сказать? Иное дело, будь здесь дядюшка Авет или хотя бы Сако и Умршат. Не было никого. А бабушке и Маран я не хотела говорить, почему ходила в Саратак.

Самым заманчивым было предложение Вардана:

— Пойдем изобьем!

— А саратакцы не спросят — почему бьем торгаша?

— А сколько раз бил этот торгаш тебя?

Офицер-ага много натворил в нашей деревне, но меня он не

трогал. Я честно призналась в этом Вардану, но он, сжимая кулаки и сверкая глазами, пригрозил:

— Ему это все носом выйдет!..

Но нам не удалось даже увидеть нос офицера-аги. Мы несколько раз ходили в Саратак, кружили около его домика, расспрашивали соседей и получали все тот же ответ: «Кто поймет этого кривого черта?». А потом встретили на дороге Беника Данеляна. Он шел, глубоко задумавшись, и вел за собой лошадь. Мы так и решили: он пройдет и не заметит нас. Но он заметил, даже узнал и пошел вместе с нами. Шел, толковал о всякой всячине, расспрашивал: куда мы идем, когда вернется дядюшка Авет, что делает Ерванд. Разумеется, мы, дети, народ свободный, можем делать все, что нашей душе угодно. А вот ему приходится таскаться из деревни в деревню — этого требует дело, нелегко быть солдатом революции... Вот и сейчас он идет в Саратак. Не бывал там еще ни разу, интересно, что это за деревня, какие там живут люди, ведь человека не узнаешь с первой встречи...

— Саратак хорошая деревня. Правда, есть там один сукин сын торгаш,— начал Вардан, совсем не обращая внимания на мои предупреждающие толчки.

Данелян весело рассмеялся:

— Торгаш? Какое же сукинсынство выкинул этот торгаш?

Кулаки Вардана снова сжались, глаза засверкали. И он рассказал все. Данелян слушал с легкой улыбкой и в конце громко расхохотался:

— Ну и горячая у тебя голова, мальчик. Офицер! Сейчас офицеры не валяются просто так: иди лови и бей. Мы им обстригли хвосты еще тогда, когда ты молоко сосал. Но вот за то, что этот торговец болтал разные глупости, я ему оборву уши. Ишь, распустил язык, дурак...— Данелян вдруг вскочил на лошадь, покружился на месте и снова заговорил с нами: — Все-таки вы храбрые ребята, только не знаете еще, как делаются такие дела... Прежде всего — молчок, остальное предоставьте мне.— И он погнал лошадь.

...Возвратился дядюшка Авет. Выслушал меня и покачал головой:

— О молчании Данелян сказал правильно. Но надо, чтоб хоть кто-нибудь остриг хвост самому Данеляну. Как могла ты рассказать ему о своих подозрениях?

Так он говорил со мной. Но вот к нам домой пришел Данелян, весело рассказывает, как встретился с нами и как потом он взял за шиворот этого торговца. И дядюшка Авет смеется вместе с ним!

— Что у тебя, что у Арцив — один и тот же ум, товарищ Данелян! — говорит и хохочет.

— Да-да! — радостно поддакивает Данелян.— Вызвал к себе этого торговца и крепенько прижал. И ведь сознался! Действи-

тельно занимался болтовней. А когда я сказал, что он бывший офицер, бедняга чуть сознание не потерял. Я все проверил — глаз он повредил в детстве.

— А потом?

— А потом дал ему полчаса сроку. Чтоб убирался на все четыре стороны. И ушел. Но знаешь, Авет,— Данелян вдруг стал очень серьезным,— пример этот показывает, что рано нам закрывать глаза. Не имеем права. Ведь разное могло случиться... Этот подлец действительно мог быть опасным человеком, переодетой контрой. Разве не бывало? У таких ведь иногда и партбилет в кармане...

— Верно, товарищ Данелян,— улыбается дядюшка Авет.— Но все равно, и за партбилетом недолго спрячешься.

Беник задумчиво смотрит на него и начинает прощаться.

— Что будем делать теперь, дядюшка Авет? — спрашиваю я после его ухода.

— Ты иди гуляй со своим народом. Посмотри, какая хорошая осень на дворе. Если б у меня были ноги, как твои...

— Дядюшка Авет, скажу одно только слово, но не обижайся.

Он удивленно смотрит на меня.

— Почему ты принимаешь меня за ребенка? Я все хорошо понимаю... Дяде Шмо ты говорил, что хочешь жить головой, и уехал в школу, а меня... всех нас оставил, и мы не учимся, так и живем в темноте. А теперь смеешься надо мной за то, что у меня есть ноги и я бегаю... Если б в ногах этих был ум, Аристо не убежал бы...— Глаза мои переполнены слезами, голос дрожит, и выйти из этого неожиданного состояния мне все-таки помогают ноги.

— ...Вот так и получается: растет, растет на глазах у тебя, а потом смотришь — вдруг появился над тобой судья,— рассуждает мне вслед дядюшка Авет.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСЕНЬ...

Где сейчас весенние, так старательно ухоженные грядки, которые, чуть зазеленев, уже заполонили весь огород приятным и пряным запахом тархуна, рехана и цетрона? [1] Где сочные, широколистые побеги тыквы, а на них большие золотистые чашки цветов, все в капельках утренней росы,— где они? И наконец, где наши любимые огуречные грядки? Не скоро теперь услышим мы шевеление созревающих огурцов, которые нам даже снились вместе с грозными окриками Арус: «Подальше, подальше от огуречной грядки...»

Ничего уже не осталось от красивого, нарядного огорода Сурена. Наступает осень, все вянет, сохнет. Везде запустение. Как

---

[1] Тархун, рехан, цетрон — душистая зелень, которую кладут в пищу как специи.

толстые растрепанные веревки, переплелись стебли тыквы и огурцов, они так и цепляются за ноги. И если случается найти на такой плети согнутый в три погибели желтый огурчик, это такая радость... А ведь все лето, не обращая внимания на угрозы Арус, мы лакомились ее подсчитанными огурцами.

Огороды пустеют, а погреба наполнены луком и картошкой, морковью и свеклой, солеными огурцами, капустой, редькой. Только тыквы не убраны еще туда, молча, торжественно восседают на крышах хибарок, румяные, как только что вынутые из огня глиняные кувшины. Да еще кое-где покачивается оставленный на семена подсолнух, клонит к земле свою круглую, тяжелую голову и слабо шевелит желтеющими листьями.

Подсолнух... Каждый раз, увидев его, я вспоминаю рассказ дяди Шмо. В жаркие летние дни, когда подсолнухи один за другим раскрывали свои оранжевые венчики, дядя Шмо рассказал такую историю: будто подсолнух был когда-то молодой и красивой невестой, с подвесками из золотых монет вокруг шеи и на груди. Не прошло и сорока дней после свадьбы, как началась война и отважный муж ее ушел сражаться. Уходя, сказал: «Не горюй, я вернусь или на утренней заре, или на вечерней...» И каждое утро на заре выходила молодая и смотрела из-под белой свадебной вуали на солнце, пылала от тоски как огонь,— до тех пор, пока не закатывалось солнце. Но не вернулся ее храбрец, и молодая жена превратилась в цветок подсолнуха, обращенный всегда лицом к солнцу, с пылающим от тоски венчиком вокруг головы...

Каждый раз, когда я смотрю на подсолнух, я вспоминаю этот рассказ дяди Шмо. А вспомнив его, думаю о Вормиздухт, о невестке дяди Овасапа.

У Вормиздухт золотистые волосы, совсем как подсолнух, и большие карие глаза, которые, мне кажется, только и глядят на солнце да на дорогу. Она, наверно, тоже ждет своего Ефрема и тоскует. Поэтому и на щеках ее всегда тревожный румянец.

В жаркие летние дни, когда многолюдны были огороды, Вормиздухт приходила иногда, приносила поесть дяде Овасапу. Красивая, стройная, всегда в чистой одежде, она шла между грядок, закинув назад золотистые косы, прикрыв половину лица тонким тюлем. И как только она появлялась, молодые женщины и девушки окликали друг друга:

— Овасаповская Вормузд пришла...

Звали ее, но она не шла. Садилась на пороге хибарки или в тени подсолнухов и глядела на дальние горы.

Я иногда смотрела на нее издали, и, не знаю почему, мне становилось грустно. Хотелось подбежать к ней, сказать хорошие, сердечные слова, но стеснялась. Однажды она сама увидела меня и позвала. Я подбежала, стала перед ней, покраснев от смущения.

— Давай посидим, побеседуем,— она потянула меня за руку.

— Не умею я беседовать, невестушка Вормиздухт...

— Твой дядя тоже ушел на войну? — спросила Вормиздухт, выбирая из моих взлохмаченных волос соломинки.— Ушел — и нет вестей?

— Нет. Моего дядю убили...

— Черная бумага пришла?

— Нет. Братец Умршат видел. Все видели, только бабушка не знает.

— От нашего Ефрема тоже пришла черная бумага.

— Когда?..— Я подскочила в испуге, не знаю, от слов ли Вормиздухт или потому, что услышала рядом шаги. Это был дядя Овасап. Вормиздухт сейчас же закрыла лицо тюлем, поднялась и стала, склонив голову.

— Сиди, бала джан, сиди, зачем вскочила? — словно жалея ее, сказал дядя Овасап.— И откинь этот тюль с лица, бала джан. До сих пор стесняешься меня?

Вормиздухт продолжала стоять. Дядя Овасап, видя, что в его присутствии она все равно не сядет, решил уйти.

— Скажи моему свекру, что я принесла ему чистое белье. Пусть сменит, я унесу грязное, выстираю,— сказала мне на ухо Вормиздухт.

Я передала ее слова, сказала, чтоб дядя Овасап сбросил белье, а я и Вормиздухт тут же простираем его в речке.

— Мало, что ли, бездельниц дома, зачем тебе стирать, бала джан? — сказал ей дядя Овасап.— Погуляй по огороду, я припрятал тут для тебя свеженьких огурчиков, сорвите, съешьте с этой девочкой. Не твое дело стирать белье.

После его ухода Вормиздухт села и долго молчала.

— Свекор мой очень хороший человек,— грустно сказала она.— Даже если весь дом подпалю, меня и словом не обидит. Говорит: буду беречь тебя, как розу, пока Ефрем... Бедный старик не знает, что Ефрем уже не вернется...

— Откуда знаешь? Может, и вернется...

— Нет. Черную бумагу рассыльный Нерсо принес. Всего два месяца я была замужем, и пришла черная бумага. Как раз молотили, все наши были на току, одна я была дома. Сердце так и почуяло, что это черная весть,— взяла и спрятала. Потом дала прочитать священнику. Так что знаем об этом только я да батюшка. Сколько лет уже никому ничего не говорю.

На ее ресницы набегали крупные капли, она вытирала глаза краешком косынки.

— Вормиздухт, невестушка, эти священники... Они неверно читают...— Мне хотелось ее утешить.

Она грустно улыбнулась:

— В таких делах лжи не бывает.

До вечера я ходила сама не своя — думала о Вормиздухт. Как это тяжело — молча хранить такую тайну, страдать в оди-

ночку. Может, кто-нибудь рядом со мной так же молча хранит тайну о смерти моей матери и не говорит мне?.. Если есть такая тайна, то пусть хранит ее Вормиздухт...

Не знаю сама, как это получилось, но я стала постоянно искать Вормиздухт, поджидать ее на тропинке к роднику, около их огорода, везде, где можно было ее встретить. Проходя мимо, она молча смотрела на меня и будто спрашивала взглядом: не сказала ли я кому-нибудь о Ефреме?.. Спросить бы ее о моей матери... но я тут же убегала, сердясь на собственную глупость. Вот в эти-то дни и начал Гаре расспрашивать меня о Вормиздухт. Он сказал, что видел ее, когда косил ячмень дяди Овасапа, очень понравилась она ему.

— Будто горная лань она, Орленок. Никому не говори, сердце мое загорелось...

И хоть сама я ничего о ней не знала, принялась расхваливать Вормиздухт, наговорила ему много всякой всячины, а напоследок даже сказала нечаянно, что у нее есть «черная бумага» о Ефреме. Гаре задумался, вздохнул, свернул самокрутку и, словно каясь, сказал:

— Орленок, мне все казалось, что я совершаю грех. Вечно цвети, с сердца моего свалился камень, остались любовь и надежда.

После этого встречать Вормиздухт стали уже двое — я и Гаре. Если Гаре бывал один, он, так же как и я, опустив глаза, цепенел и уходил. А если с ним были еще Смбат или Сако, он громко окликал меня:

— Куда идешь, Арцвик?

Спрашивал-то он меня, но взгляд его следовал за Вормиздухт.

А по вечерам, сидя на пороге своего недостроенного домика, Гаре пел с особенным жаром — не пел, а тосковал...

Вот Гаре поет опять. На этот раз он сидит над краем ущелья. Гаре не один, с ним Сако, кривой Бабик и еще несколько наших парней. А Смбат, тоже с дружками, сидит на противоположном краю. Когда поет Гаре, они молчат, но, как только кончается песня, начинается веселая перекличка, шуточки так и летают с одного края ущелья к другому.

— Эй, парень Сако! — кричит Смбат.— Ты говорил, что осенью хорошо ловить рыбу. Может, выловим из нашей речки парочку хорошеньких рыбок?

— Что там за рыба, стоит ли ловить? — иронизирует Сако.

— Еще как стоит, смотри, какие форельки играют в воде, тут как раз место настоящему рыбачку. Надо только закинуть сеть,— смотришь, и заграбастал пестренькую форель!

— А сам почему не ловишь?

— Эх, мое дело другое...

Так они шутят о какой-то форельке, но даже ребенок знает, что в этой урутской речонке вообще нет никакой рыбы, не то что форели. Вместо рыбы в речке только и кувыркаются голые ребятишки.

Текущая по каменистому ущелью речка, которая летом совсем высохла и умолкла, сейчас стала многоводной, бьется о камни, скачет с гоготом, заполнила шумом все ущелье. Воды стало больше, потому что не надо нынче поливать огороды. Тоненькие ручейки, выбивающиеся из-под каждого камня, сейчас смело и свободно пробегают по лужкам и, шепчась друг с другом, спрыгивают в ущелье. Никто уже не дожидается с лопатой в руках, чтоб тайком от соседа погнать воду на свой огород, а в случае чего и защититься той же лопатой от разъяренного соседа...

Осень, и в воде уже никто не нуждается, если не считать молодых женщин и девушек, которые собрались и вот уже три дня моют в речке ковры и карпеты. Поэтому-то все молодые парни, все шутники и певцы собрались у края ущелья...

Конечно, каждый понимает, что, говоря о форельке, Смбат имеет в виду дочку дяди Овасапа, Баласан, которая, подоткнув пеструю юбку выше колен, вместе с Вормиздухт моет большой красивый ковер. Но, пожалуй, никто, кроме меня, не знает, из-за кого пришел Гаре, скрывается в толпе этих парней и поет, поет от всего сердца:

Как в море зыбь колышет лодку малую,
Так сердце мне твой взгляд тревожит робкий.
Покачивая стан, идешь ты с ведрами —
По сердцу пролегла любимой тропка.
Идешь как куропатка-перепелочка.
Сияет мне твой лик, луны круглей.
Брожу под этим светом, заколдованный.
Ах, милая, довольно, пожалей!
Тугой косой так нежно не покачивай,
Мне сердце красотой не береди.
Я сокол молодой, лежу израненный,
Не будь так равнодушна, пощади!

Гаре поет так приятно и вдохновенно, что кажется, даже ручей перестал журчать и прислушивается. Я уж не говорю о молодых женщинах и девушках, которые хоть и не смотрят в сторону Гаре, потому что это стыдно, но шепчутся, дают понять друг дружке, что песня «шального из Муша» им по душе. Я смотрю на Вормиздухт. Почему так раскраснелось ее хорошенькое личико,— может быть, заходящее солнце всему виной? А длинные свои ресницы опустила зачем? Может, ей мешают солнечные лучи?.. Не знаю, не знаю. Ничего не могу сказать. Я только кружу около нее и прыгаю от радости.

Гибкая, тоненькая Вормиздухт наклонилась, старается поднять отяжелевший от воды ковер. Ей не под силу это, и она просит, чтоб я и Баласан ей помогли.

— Орленок, берегись, задавлю! — раздается вдруг рядом голос Гаре. Как он соскочил сюда, не понимаю. Он легко подымает ковер и спрашивает меня: — Что делать с ним?..

— На голову себе натяни, шальной мушец, — смеется Баласан. — Не видишь, хотим перевернуть? Не так разве, Вормузд?

Вормиздухт отворачивает лицо и шепчет в сторону:

— Скажи братцу Гаре, пусть расстелет на камнях.

— Э-эх, куропаточка, краснолапенькая, — пыхтит Гаре и бросает ковер на береговые камни. — Орленок, вот бы мне да на этом ковре, а?..

— Откуда мне знать...

А Вормиздухт улыбается украдкой.

Гаре — прыг и снова оказывается на камнях, садится и опять поет.

— Эх, молодость, молодость, — вздыхает дядя Шмо. Он сидит на пригретом солнцем камне неподалеку от стирающих женщин и, накрыв голые плечи шинелью, ждет, пока просохнет выстиранная только что рубашка. А рубашка, похоже, и не собирается высыхать — она утолщена тысячей заплат, стала как ватник, и дядя Шмо ворчит на свою старуху: не может даже одной рубашки высушить.

— Хватит, сколько ее сушить, надевай, — смеется жена, тряся в руках сыроватую рубашку. — Надевай, досохнет на тебе.

— Эх, жена, ведь я не влюблен, как этот шальной мушец, — хитро улыбается дядя Шмо. — Вот на нем рубашка сразу высохнет, даже загореться может.

— Видали и тебя в ту пору, — подтрунивает жена.

— А что, уже и забыла?.. Тебе-то грех забывать. Разве так я пел, как Гаре? Ущелья гремели, горы звенели...

И дядя Шмо, попыхивая трубкой и потирая волосатую грудь, начинает рассказывать, как он когда-то потерял покой из-за этой маленькой, иссохшей старушки.

— Да, вот это и есть любовь, Арцвик, — серьезно говорит он мне. — Видишь, как соловьем разливается Гаре?

Вот тебе и дядя Шмо... Значит, не я одна знаю тайну Гаре. Но ведь Гаре и мне не говорил ничего определенного...

...В эту ночь я спала неспокойно. Как только закрывала глаза, передо мной вспыхивал большой, яркий подсолнух, он превращался в Вормиздухт, и, удивительное дело, тут же был Шеко, тот рыженький храбрый мальчик, что в ночь резни не захотел надеть мою юбку да так и погиб. А потом появился Вардан. Интересно, могли бы они петь, как Гаре?

...Через два дня на дороге, ведущей к огородам, повстречался мне Гаре. Он был печален, взор его блуждал, ни на чем не останавливаясь. Лицо было усталое, запыленное.

— Куда идешь, Арцвик? — спросил он.

— Так. Иду домой.

— Ты моя сестра, Орленок. Моя дорогая сестричка...

Что я могла ответить? Если у меня нет родного брата, можно взять и такого, как Гаре.

Он сунул руку за пазуху и достал два больших румяных яблока.

— Это возьми себе... а это той, заблудившейся голубке отнеси... только не говори ничего. Скажи: кушай на здоровье... Или лучше так: Гаре сказал — кушай на здоровье. Ходил к Кафтарлу, сорвал там в садах.

Ты, куропаточка-красотка, лапки алые,
Проходишь мимо нашего гумна...
Я сокол молодой, лежу израненный,
Тоскою по тебе душа полна...

Гаре пропел это вполголоса и ушел, сунув мне в руки яблоки. Я стояла растерянная, не знала, что же делать. Прошла на огород Сурена, завернула яблоки в листья подсолнуха и спрятала под сеном.

Ждала до самого вечера, и вот показалась наконец Вормиздухт. Она еще и заговорить со мной не успела, а я уже сунула ей в руку яблоки.

— Бери, невестушка Вормиздухт, кушай на здоровье. Это тебе, а это... тоже тебе...

СОВЕЩАНИЕ ДЯДИ ШМО

Поняла ли Вормиздухт, кто послал эти яблоки? Она так и осталась на месте, застыв от смущения, а я убежала. И только потом поняла, что совершила героический подвиг, подарив Вормиздухт и свое яблоко. Я была очень рада, что все так хорошо получилось.

Мне хотелось только, чтоб Гаре спросил, а я бы рассказала: так, мол, и так, взяла она яблоки и говорит: «Большое спасибо, Арцвик джан, и тебе и Гаре...»

Но Гаре ничего не спросил и даже петь перестал. Ходил задумчивый вокруг своего домика, принимался заново утаптывать крышу, подметал и без того чистый двор или шептался нос к носу с дядей Шмо и Умршатом. Я уже всерьез решила разведать, о чем это они шушукаются, когда дядя Шмо выложил все сам.

Не мне выложил, а бабушке, дяде Авету и дяде Овасапу; Умршат и другие наши соседи, должно быть, догадались обо всем раньше. Но дядя Шмо, видно, плохо знал меня: я ведь такая — разведаю все, сколько бы ни шептались они, как ни гнали меня из дому...

А меня и в самом деле выгнали. Это произошло после того, как дядя Шмо, собрав всех стариков из нашего нового поселка, пришел к нам. Бабушку, которая виделась с ним ежедневно и вела приятные беседы, на этот раз охватило такое смятение, словно дядя Шмо был незнакомым и важным гостем и появился

у нас впервые. Усадив всех и торжественно сказав старикам, что полагается в таких случаях, она повернулась ко мне:

— Айда, убирайся отсюда...

Ясно: они собрались на совещание и начинали его изгнанием детей, как это делал и председатель сельсовета Ерванд. Хорошо еще, что не посадили у дверей дядюшку Нерсо, чтоб он грозил нам дубинкой: «Эй, чертовы веретена, убирайтесь подальше!..»

Надо было сейчас же выяснить, что у них за совещание. Я сбегала к Нушик, и мы с нею спрятались за нашей дверью. Хоть дверь и новая, но в ней много щелей. Очень удобно: приложив ухо, можно принять участие в интересном совещании наших стариков и даже высказать свое мнение.

...Вот дядя Шмо кашляет (и наверняка после этого поглаживает усы, попыхивает трубкой). Потом начинает говорить. Очень медленно, долго говорит дядя Шмо и к тому же, сказать по правде, очень туманно. Я никак не пойму, куда он клонит.

— Язык не двигается, чтоб сказать: мир костям его,— слышен его голос.— О молодых такого не говорят. Но что делать, богу, наверно, угоден был этот молодой человек, потому и призвал его к себе. Кто может рассудить дела... всевышнего...

Здесь к охрипшему голосу дяди Шмо присоединяется скрип деревянной ноги — дядюшка Авет встал с места и расхаживает. А что ему еще делать? Дядя Шмо ведь не Маран, чтоб посмеяться над ним: довольно, мол, виснуть на подоле бога.

Закончив с богом, дядя Шмо переходит к своему огороду... Не ко всему огороду, а только к нарциссу, что там рос:

— Если человек даже луковицу нарцисса посадит собственными руками, как защемит у него сердце, если вол или проклятый козел растопчет цветок...

Скрип ноги дяди Авета прервался, а под ухом у меня шепчет Нушик:

— Вовсе и не проклятый козел. Этот нарцисс сорвала я. Такой красивый, оранжевый цветочек распустился, что я не выдержала...

— И я два раза сорвала в его огороде подсолнух. Он и об этом станет рассказывать? — беспокоюсь я.

Но нет, теперь дядя Шмо говорит о какой-то молодой голубке.

— Сейчас эта молоденькая голубка на глазах у тебя стонет от тоски, надрывает и твое сердце. Трудно тебе, Овасап джан, но, как бы ни было трудно, зажми свое сердце в кулаке и дай согласие, чтоб и голубка нашла свою долю в этом мире... Сама она не скажет тебе: позволь, полечу за своим счастьем... Не скажет, если пройдет и тысяча лет. Останется так, бесплодной увянет на корню. Зачем? Человек один раз только приходит в этот мир, и грешно лишать его прав, дарованных богом. Всякое дерево дает свой плод, всякая живность, любое существо — продолжение рода...

— Ты что-нибудь поняла? — недоумевает Нушик.

— В трудном месте ты меня поймал,— вместо меня вздыхает дядя Овасап.

Дальнейших его слов я не слышу, еле удерживаю себя, чтоб не крикнуть во все горло: ведь речь идет о Вормиздухт!

— ...И мне и свекрови давно известно это, но молчим, не говорим,— дрожит голос старика.— Буря, она ведь так может согнуть молодой ствол, что больше и не выпрямится. А вот карагач, над головой которого пронеслись тысячи ужасов, выдерживает. Так и наша бедняжка молодая. Ну как ей скажешь: нет твоей опоры, нет главного в твоей семье, ничего не дала тебе судьба, иди ищи новое счастье. Разве повернется язык? Нельзя, Шмо, не выдержит...

Все молчат. Потом слышится голос бабушки:

— Так было и с моей дочкой, братец Овасап джан.— Она при этом громко втягивает щепотку нюхательного табаку и чихает (и кто-то говорит: «на здоровье»).— Да-а... Красивая, как двухнедельная луна, с блестящим тюлем на лице. Но что толку, если ночью у нее подушка мокрая, а днем — платок. Главный, как и твой Ефрем, отдал свое солнце живущим на земле, и бедное мое дитя осталось одиноким. Лицом румяная, а на сердце — черно. За спиной у нее брат как гора стоял, дом и добро — все у ее ног, а на лице ее все равно не видели улыбки. Ведь это не нами сказано: «Горе той сестре, что на попечении брата, и невестке, что на попечении деверя». Будь ты даже маслом на ее хлебе, лампадой над ее головой — все равно: если не падает на нее тень главного, мир для нее как бездонный карас...

— Да, сестрица Нуно джан,— подтверждает дядя Шмо,— каждый раз, как вижу эту молодку с рукой на сердце, словно ударяют мне в грудь кинжалом. Отчего же, думаю, все так сложилось? Ведь не одна Вормузд. В деревне пятьдесят женщин остались вдовами, и у каждой или турок сгубил главного, или война проглотила...

— Э, если так пойдем, эти старички всю ночь будут вести счет,— нетерпеливо сопит Нушик.— Кончали бы скорее, я все еще не пойму, в чем дело.

Но старички не собираются кончать, говорят и говорят.

— Все вы умно рассуждаете,— неторопливо тянет дядя Овасап,— ягненок должен быть с маткой, невестка с главным в своей семье. Но как я узнаю: такой ли характер и повадки у молодца, чтоб отдать ему Вормузд, которую я берег, как розу.

— Этого не говори, братец Овасап! — Похоже, что Умршат вскочил с места.— Гаре вырос на моей груди, я знаю... Его отца звали длинный Алек. Как тополь был высокий, крепкий...

— Длинный или короткий, какое нам дело? — снова ворчит Нушик.— Гаре не высокий, а песни поет очень хорошо.

— ...Да, не было такого певца,— продолжает братец Умршат.— Когда он, бывало, затянет песню,— горы и скалы пели с

ним. Мы бились с турками, а длинный Алек пел песню. Так с песней и пал. Четыре сына легли рядом с ним. Остался этот один. Весь мир исходили, пришли наконец сюда. Гаре, когда строил дом, говорит мне: не буду делать тонира, нет у меня жены, нет детей. А я сказал: парень Гаре, ты — дурень, твой тонир должен дымить; то, что пережито, не повторится, что потеряно, второй раз не пропадет, у кого разрушен очаг — заново отстроит. Брат Овасап, дай овечку из своего стада, чтоб наш Гаре не остался одиноким, пусть дымится очаг длинного Алека...

«Что скажет дядя Овасап?» — беспокоюсь я.

— Эх, что мне сказать вам? — вздыхает он.— Раз уж уйдет из моего дома, пусть хоть в деревне остается. Достойная была невестка... Раз дошло дело до этого — счастья да здоровья.

Теперь уже можно войти. Но я не успеваю открыть дверь. Сильная рука в темноте хватает меня за плечо.

— Орленок, что решили?..— это Гаре. Лица его не видно, но я чувствую: он бледен, губы дрожат.

— Счастья да здоровья, Гаре...

Он срывает шапку со лба и грудью распахивает дверь.

После совещания стариков мы должны были пойти с долом и зурной и привести Вормиздухт, ведь дядя Овасап сказал: «Счастья да здоровья»... Но после этого, оказывается, он еще говорил. Что он сказал, я не слышала,— спешила сообщить замечательную новость своим знакомым, а мои знакомые, как вам известно,— это весь Урут... А дядя Овасап сказал, что, когда пойдут за Вормиздухт, не должно быть дола-зурны. И Гаре, конечно, может сыграть свадьбу, потому что женится в первый раз, только зурна пусть играет в его доме.

Но все равно, когда мы шли за нашей невестой, начали дуть в зурну, и не в одну. Только это были не приглашенные из Саратака музыканты, которые дожидались в доме Гаре, а все ребята Урута. Они уже были наготове, сидели на своих крышах и ждали с нетерпением, когда появятся родичи жениха, то есть я, Нушик, братец Умршат, Гаспар, Атлас, Сако и, конечно, сам Гаре. А теперь скажу, у кого какие были обязанности на свадьбе Гаре. Я и Нушик, разумеется, должны были пойти, потому что бабушка сказала: «Свадьба без ослиной головы не обойдется» — и это относилось к нам; братец Умршат стал посаженым отцом Гаре,— другого отца у Гаре не было; Гаспар был кумом, Атлас — кумой, а Сако — дружкой жениха. Вторым дружкой был Смбат, он сказал, что и сам пойдет в дом к дяде Овасапу с долом-зурной, только не сейчас, а следующей осенью.

И вот мы входим. Дом у дяди Овасапа большой, просторный. Начиная от порога с двух сторон вдоль стен стоят карасы. Чуть выше над ними — полка, вся уставленная цветастой посудой. На тарелках нарисованы яблоки, петухи и Воронцовы. В обширных

стенных нишах сложены постели. Это целые склады, они открыты, чтобы сваты (то есть мы) видели, какие в этом доме роскошные постели. И в самом деле есть на что посмотреть: зеленые, красные, желтые и синие одеяла и тюфяки сложены пестрыми стопами, радуют глаз. Дальше — мучной ларь, огромный деревянный ящик, шириной и высотой в добрых четыре аршина. На стене — поставец для ложек, я насчитываю там двадцать четыре ложки, то есть столько, сколько членов семьи у дяди Овасапа.

И все эти двадцать четыре члена семьи сейчас налицо. На тахте сидят дядя Овасап и его жена. Их три сына, невестки, внуки, дочери стоят. Вся семья стеной выстроилась за спиной стариков. Тишина так давит, что я не сразу замечаю Вормиздухт. А она — посреди тонирни, возле столба. Рядом с ней младший деверь. И еще стоит какой-то незнакомый человек.

Тюль с лица Вормиздухт снят, на ресницах у нее слезы. Я хочу подбежать к ней, обнять и сказать: «Невестушка Вормиздухт джан, не плачь. Гаре очень хороший...» — но Гаре сам здесь, без шапки стоит на коленях перед дядей Овасапом.

— Позволь мне перенять подушку твоего Ефрема, отец Овасап,— тихо говорит Гаре и кладет лоб на колено старика.— Лоб мой на твоем колене, честь твоей невестки выше моей головы...

Дядя Овасап осторожно приподымает его голову, пальцем сбивает слезу, скатившуюся на седой ус.

— Пусть бог позволит, бала джан,— бормочет он.

Гаре опускается на колени перед старухой:

— Старшая мать, ты не упиралась коленом в землю, рожая меня на свет, я не брал твоего соска. Возьми меня за руку, поставь к своим сыновьям. Нет Ефрема, пусть будет Гаре...

Старуха достает чистую полотняную рубашку и накидывает ему на плечи:

— Рубашка моего Ефрема — честь моего Ефрема. Даю чистой, сохрани ее чистой и ты.— И катятся горькие старушечьи слезы.

Потом дядя Овасап медленно подымается с места и подходит к Вормиздухт. Поцеловав невестку в лоб, он берет ее руку.

— Сват Асо, если Вормиздухт тебе сестра, мне она невестка. По воле божьей теперь она не будет мне невесткой, но сестрой твоей останется. Непорочной голубкой вошла она в этот дом и была верной моему очагу, чистой, как вода в моем кувшине и хлеб на моем столе. Такой и передаю ее тебе, а ты передай Гаре, который с этого дня — брат моих сыновей и твой зять...

Сват Асо соединяет руки сестры и Гаре.

— Пусть бог даст счастье.

Значит, молодую нам вручили, теперь можно уходить. Но Вормиздухт припала к столбу и плачет так горько, что у меня сердце разрывается. У всех на глазах слезы, плачет и Гаре. Он хочет сказать что-то, смотрит на Вормиздухт, но глаза его пере-

полнены, и он опускает голову. А Вормиздухт все рыдает и рыдает.

— Пока была невесткой, рот твой был закрыт передо мной, бала джан, сейчас стала мне дочкой, открой рот, скажи что-нибудь, прежде чем уйдешь,— просит дядя Овасап, глотая слезы.

— Спасибо, отец... не закрывай свою дверь передо мной. Как невестка выхожу отсюда, буду входить как дочь,— шепчет Вормиздухт.

...Вормиздухт и Гаре венчаются не в церкви, а в доме Гаре. Об этом тоже просил дядя Овасап.

Атлас разводит в тонире небольшой огонь, пришлепывает к его стенке несколько лавашей и ставит над тониром венчающихся — головой к голове. Священник кладет крест на их склоненные головы, молится, задает какие-то вопросы, и оба согласно кивают.

— Запах хлеба вознесся к богу,— говорит кум Гаспар и накидывает на плечи новобрачным вынутые из тонира лаваши.— Будьте счастливы, как хлеб, и горячи, как тонир.

Теперь уже можно пировать. Дуют в зурну, и Гаспар запевает айрен [1] — свадебную песню:

Айрен пою для вас двоих,
Твою невесту чту, жених.
Ты — горный склон, она — родник,
Ручью с горою — слава!

Айрен пою для вас двоих,
Невеста, славен твой жених.
Он — волны, ты форель средь них,
Волне с форелью — слава!

Айрен пою для вас двоих,
Твою невесту чту, жених,
Ты ветра вздох, она — тростник,
Тростинке с ветром — слава!

Айрен пою для вас двоих,
Невеста, славен твой жених,
Он — солнца луч, ты — лунный блик,
Луне и солнцу — слава!

СОБРАНИЕ СКВОРЦОВ

В Уруте нет деревьев. Поэтому скворцы устраивают свои собрания или на стогах сена, или на заборах, окружающих риги. Я думаю, больше всего хотелось бы им собираться на колокольне, но Тер-Бардоц считает, что «всякое зло берет начало со сборища», и приказал звонарю почем зря гнать этих проклятых любителей собираться. Я еще скажу в свое время, откуда взялась у Тер-Бардоца такая неприязнь к собраниям, а что касается сквор-

[1] **Айрен — вид средневековой народной поэзии, четверостишие.**

цов, знайте: теперь у всех такой порядок — прежде чем предпринять что-нибудь, устраивают собрание, потом только переходят к делу. Вы ведь помните, как это началось в Уруте? Сперва созвал собрание товарищ Варшам, потом были собрания по поводу семян — отдельно для сбора семенного фонда, отдельно для распределения — и еще специальные собрания в связи с севом и уборкой. Умршатовский квартал тоже не обошелся без собрания. И наконец, не женился бы и Гаре, если б дядя Шмо не провел своего собрания... Короче, сейчас срочно нужны два новых собрания: скворцам — перед отлетом, нам — перед тем, как пойти в школу...

Но все-таки на свете еще остаются несправедливости. Больше всего меня злит Сурен. Начиная с того дня, как в Уруте был создан сельсовет, он командует во весь голос и не успокоился до сих пор. А нас между тем упрекает.

— Много вы шумите, нельзя так,— говорит он.— Сейчас наоретесь, устанете, а на уроках у вас не будет голоса, чтоб отвечать учителю.

Я, конечно, могу в угоду Сурену не издавать ни звука или думать о школе только ночью, но мои друзья не согласны с этим. Они хотят все обсудить.

— Пусть еще откроется школа,— говорит Паруйр.— Столько навалится людей, что нам места не останется. Моя мать уже сейчас ссорится с отцом... Говорит, зачем собираешь вместе всех детей деревни? Какая часть от этой науки достанется нашим людям? Хочет, чтоб я научился больше всех.

— Учеба не грабеж Чло-хана, чтоб все заграбастал и другим не осталось,— смеется Вардан.— Сколько чья голова вместит — столько и унесет.

— А если и взрослые хотят пойти учиться с нами? — ахает Паруйр.— Отец говорит, что он учился читать только по церковной книге. Там ничего не было написано о сельсовете. А он ведь член сельсовета, ему надо учиться, чтоб разбираться в этих делах. А мать говорит: бери и меня с собой, я тоже хочу разбираться в этих делах. И целый день ссорятся.

— Твоей матери и отцу школа нужна, только чтоб ссориться! — визжит Нушик.— А мой зять Ерванд читает даже хуже его, как же он справляется? Да еще председатель...

— Твоего зятя Ерванда учит уму-разуму дядя Авет,— язвит Паруйр.— Не будь дяди Авета, он перестрелял бы из нагана всю деревню.

Тут уж дело доходит до драки. Я оттаскиваю Паруйра, а Вардан — Нушик.

— Нет, надо сделать тайную школу,— решает Паруйр.— Такую, какая была у Арцвик в селе. Среди стольких ребят вряд ли нам достанется место. Ты согласен, Вардан? А ты, Гарик? — Он хотел спросить и Нушик, но вовремя прикусил язык и повернулся ко мне: — Арцвик, ты устрой это, ты знаешь, как это делает-

ся. Кто хочет — будет с нами, а кто не хочет — виснуть на подоле не будем.

От радости я не нахожу себе места. Паруйр удивляется, почему я так радуюсь, а я молчу: ведь я боялась, что девочек и здесь не будут брать в школу, как там, в нашем селе...

Дома у нас никто о школе не спорит. Маран пока что не собирается учиться читать. Когда дядюшка Авет завалил весь дом своими нэпами, она сразу поняла, какое хлопотливое дело грамота. Я жду, что бабушка, как раньше в нашем селении, опять скажет: «Зачем девочке грамота?» Но нет: она с нетерпением ждет открытия школы.

— Такая большая была семья, осталась ты одна-единственная, бала джан,— говорит бабушка.— Иди в училище, учись грамоте, учись науке, пропадешь без этого. Не всегда же за тобой будет стоять бабка. Состарилась уж, не сегодня завтра отдам богу душу, ты понесешь в жизнь имя моего очага. С честью неси.

Потом она вспоминает наше селение, учителя Хорена, дядю, и, конечно, все это завершается слезами. В эти дни она особенно часто вспоминает моих пропавших сестричек и кручинится: ведь если бы сейчас они были тут, тоже пошли бы в школу.

— Ах, заблудились, пропали мои ягнята,— сокрушается бабушка.— Мои детки, угодившие в пасть к волкам да зверям неверного Хасана,— куда, в какую реку, в какой огонь вы попали? Сказал вам хоть кто-нибудь напоследок ласковое слово?..

— Бабушка джан, я буду хорошо, много учиться и всех наших найду. Напишу письма всем начальникам, напишу Ленину, попрошу, чтоб нашел наших.

Эти слова утешают бабушку.

— Да, бала джан, да. Пиши. Напиши братцу Ленину. Если у него есть дети, поймет, что такое рана сердца. Проси, умоляй, скажи, бабка старая, жалко ее. От меня напиши, с моих слов...

Школа не оставляет меня и во сне. Но это уже не золотой дворец из бабушкиных сказок. Я уже знаю, что собой представляет наша школа. А еще лучше знает это урутский священник Тер-Бардоц.

Наша школа, во имя отца и сына и святого духа, как говорит Сурен, должна открыться в гостиной Бардоца. Мне трудно поверить, чтоб дядюшка Авет или Ерванд такими словами объяснялись с Тер-Бардоцем. Но Сурен и особенно Нушик твердят, что так и было: на собрании сельсовета, когда стало ясно, что школу не открыть, если нет помещения, Ерванд вызвал Тер-Бардоца и, положив руку на наган, сказал:

— Если хочешь, чтоб борода твоя осталась при тебе, отдавай временно свою гостиную под школу. Построим помещение — освободим.

Нушик рассказывает об этом с гордостью:

— Тер-Бардоц перекрестился и сказал: «Господи боже, пресеки зло». Тогда мой зять Ерванд достал наган и говорит: «Будь

проклят твой отец! Во имя отца и сына и святого духа, я беру твою гостиную...» Не так ли, дядя Сурен?

— Так,— подтверждает он.

— А что значит: во имя отца, сына и святого духа?

— Отец — я, сын — вот этот львенок,— указывает он на Паруйра.— Мы должны учиться в школе. Святой дух?.. Ну, придет время — увидим, кто это. А теперь, во имя отца и сына, пойдемте-ка посмотрим, что делают мастера.

Окружив его, мы идем во двор к Тер-Бардоцу. Там работают два плотника из Саратака — делают из длинных досок ученические парты. Сурен останавливается около них:

— Братец мастер, так не годится, еще раза два пройдись рубанком по этой доске. Надо, чтоб было гладко, у детей штаны чтоб не трепались. А эту ты поставил высоко, опусти, ноги у детей должны доходить до полу.

— Не высоко, братец Сурен, у нас есть все размеры,— возражает мастер.

— Эй, девочка! Дочка Манука, поди сюда! — Сурен берет за руку Нушик и сажает на парту.— Доходят до земли ноги? Как следует садись, что ты, как коза, стала на кончики копытец!

От смущения и радости Нушик не может сесть так, как хочется Сурену, и он поэтому сам втискивается на сиденье.

— Ну, разве можно так? Колени мне в рот лезут. Нет, шире сделай!

— Послушай, братец, скамейка — для детей, а ты по себе меришь,— сердится мастер.— Душу только выматываешь...

— Братец мастер, учеба такая штука, все зависит от головы. Если тело не будет спокойно и ровно сидеть на месте, голова не примет эту учебу. Если б Тер-Бардоц спокойно и ровно не сидел на шее деревни, разве знал бы он наизусть столько псалмов и молитв?

— Что ты говоришь, проклятый нечестивец? — вдруг раздается позади нас голос священника.

— Говорю: если б не было у нас Тер-Бардоца, у него не было гостиной, где бы учились дети?.. Очень хорошо, что и ты пригодился на что-то. И наган нашего Ерванда, конечно, тоже полезная вещь.

Священник крестится в гневе, а мастера смеются.

Нас и Сурена очень беспокоит вопрос: как разместятся в одном-единственном классе все дети деревни. Все урутцы непременно пошлют в школу своих детей — это ясно уже сейчас. Кто-то уверил их, будто все, что касается школы, зависит от Сурена, и, как только тот приходит во двор Тер-Бардоца, сейчас же появляются откуда-то и просители и начинают издалека разговор о школе. Обосновывают, объясняют и наконец переходят к делу. Они уверены, что Сурен, который столько лет ел с ними хлеб-

соль, не забудет ребенка кума Мхика или свата Сето. Забыть было бы бесчестно. Сурен старается не говорить ничего определенного, ведь он действительно не имеет никакого отношения к приему детей в школу. Но вот беда — при этих беседах всегда присутствует священник. Нет-нет да и вставит что-нибудь от себя.

— Что ты разуваешься, не видя воды, божий человек? Один создатель знает, чей ребенок удостоится этого счастья. Гостиная маленькая, а Сурен ведь не пророк Моисей, чтоб двенадцатью рыбами накормить всех ханаанцев...

— Зачем говоришь так, батюшка? Я, конечно, не пророк, которого ты назвал. Я — Сурен и говорю: что бы ни было, а ребенок свата Сето будет сидеть на первой скамейке. Как бы ни было тесно, но прежде всего нужно накормить той рыбой, что ты упоминал, детей неимущего класса.

— Ребенок есть ребенок, божье дитя,— смиренно возражает священник.— Это нехорошо: один будет пользоваться божьим даром, а другого — лишат.

Свата Сето, который уже успокоился, после слов священника опять берет тревога.

— Сурен джан, ты знаешь, это мой единственный ребенок, вся моя надежда. Сделай, чтоб учился грамоте, не остался темным, как я. Пожалей нас.

— Не останется, сват Сето. Раз я сказал — сделаю,— назло священнику, уже твердо обещает Сурен, и Сето уходит удовлетворенный.

Но не все уходят спокойно, как Сето.

Вот хоть вчера: кума Башки Мукуча Вардануш подняла такой шум, что Сурен голову потерял.

Мы с ним опять ходили смотреть, как собирают мастера школьные парты, и Сурен опять принялся учить их — надо поглубже вбивать гвозди, ведь ребенок что телок, метнется туда, прыгнет сюда и все разломает. Мастера, конечно, жаловались, что Сурен вымотал им душу, и в эту-то самую минуту из дома священника вышла Вардануш, ведя за руку своего пятилетнего внука.

— Эй, Сурен, смотрю я, ты всех определяешь-распределяешь, а нашего невинного ягненка и не вспомнил? Думаешь, сельское училище только для тебя да для твоих сватов?

— Тетя Вардануш, каких детей я определял-распределял? Потерпи, придет учитель, сделает. Ему будет видней.

— Понимаю. Кладешь нам под голову подушку помягче, а шального сына Сето тем временем записываешь в свой список. Завтра сунешь учителю в руки: «Вот, кроме этих, никого не принимай». Так? Ой, Сурен, я прежде тебя самого знаю, что у тебя в мыслях. Тресни, лопни, но мой Абетнак должен сидеть в училище на самой первой скамейке. Почему это разные оборванцы должны ходить в училище? Все беженское отребье будет учиться

читать-писать, а внук судьи Навасарда останется неграмотным?

— Тетушка Варднуш, ваш Абетнак собственные сопли не умеет еще вытирать, разве время ему учиться, что ты так расшумелась?

— Да, очень ты умен! Что из того, что ребенок еще мал. Какой есть. Ты запиши имя моего внука в список, запиши, а то ведь, клянусь святым саном нашего священника, можно и усы тебе оборвать. Недаром я Варднуш, жена судьи.

— Оборви, не беда. За советский закон люди жизнь отдали, а мы усы дадим, что тут такого...

— Советский закон! Какой советский закон, если опять неравенство? Сейчас не мирни времи, когда судья и голова, как вы говорите, поедом ели деревню... Доведешь — возьму ребенка за руку, пойду к вашему самому большому. Отдал, скажу, деревню в руки джотов да таких бесштанников, как Сурен, и теперь они творят здесь что хотят...

— А на тебе самой есть штаны? — засмеялся Сурен. Но лучше бы ему не смеяться. Тетушка Варднуш побледнела, покраснела и вдруг задрала край юбки.

— Смотри! Смотри хорошенько, штаны это или не штаны? Только не ослепни! — завизжала она, показывая Сурену край красных штанов. — Тебя еще в живых не было, когда мой судья покупал этот красный сатин времен Никола! Бесстыжий, совести у тебя нет!..

После этого дядюшка Авет и Ерванд вызвали Сурена и сказали ему, чтоб он никому больше не давал обещаний и ни с кем не спорил, даже если ему покажут что-нибудь вроде штанов тетки Варднуш.

Скворцы улетели, наша школа-класс готова, и ключ в кармане Сурена. Каждый день мы, трясясь от холода, бежим в поле за деревню — показать дорогу учителю, если он придет. Мы боимся, как бы он не передумал и не свернул в другую деревню.

Это опасение беспокоит и крестьян: в прошлом уже было что-то вроде этого. Крестьяне написали прошение губернатору, просили открыть школу, губернатор согласился, но саратакцы оказались ловчей и школу перехватили. Урутцы обиделись, решили не посылать своих детей в Саратак, посылали в школу монастыря Арич, а Арич — это ведь очень далеко. Так что тревожиться есть о чем. И люди приходят с этой заботой к дядюшке Авету.

— Ну как, училище — верное дело?

— Очень верное,— успокаивает их дядюшка Авет.

— Да, товарищ Авет, устрой нам это одно, а остальное — дело ваше...

ГЛАВА ПЯТАЯ

НАШ ТОВАРИЩ ХАЧИК

Теперь я чаще вспоминаю тебя, учитель Хорен джан. Ведь до самого последнего дня я боялась — вдруг меня не примут в школу — и очень жалела, что не ты наш учитель: опять ты тайком обучал бы меня. Но все обошлось, страх мой был напрасным, в школу меня приняли, и теперь я знаю, что значит засесть за уроки. И всякий раз, как наш товарищ Хачик входит в класс и начинается урок, я вспоминаю тебя, учитель Хорен. Ты ведь приходил к нам в село тайком, а нашему учителю легко, ему некого бояться. Эту школу, учителя и учебники нам дали по праву и закону. Была бы я хоть немножко старухой,— воздела бы руки, как моя бабушка. «Пусть тысячу и тысячу лет живет самый большой большевик, товарищ Ленин,— вот что сказала бы.— Если он ступит на камень, пусть под его ногой камень станет зеленой травой, если пойдет в пустыню, пусть разольется пустыня морем...»

Ничего, что наша школа еще очень маленькая и это доставляет нашему товарищу Хачику много хлопот. Он молодой парень и, видно, очень любит и нас и нашу школу. Да разве можно не любить такую школу,— с утра до вечера жужжит она как улей. Урутцы тоже видят, что товарищ Хачик любит школу, и спешат ему помочь. Не могу сказать, облегчает ли эта помощь дело, но каждый из урутцев глубоко убежден, что без его поддержки школа развалится...

Многие из них теперь уже не сидят под стенами за привычной беседой, а приходят на школьный двор и, дождавшись перемены, снимают с себя ремни и вместе со школьниками играют в жгут. А случается и так: идет урок — и вдруг в открытое окно втискивается косматая папаха. Обведя нас удивленным взглядом, этот странный дядя потирает подбородок и громко рассуждает:

— Эх, времена, времена! Да-а... А что мы видели в детстве? Ни училища не видали, ни учителя. А сейчас смотри-ка, даже девчонок приглашают: приходи, учись разбирать, где черное, где белое.

— Дядюшка, ты нам мешаешь,— тихо говорит учитель.

— Как же ваша милость справляется с такой оравой ребят? — сочувствует косматый дядя.— Это же с ума можно сойти...

— Если не будете приходить и мешать, я ничего, справлюсь.

— Да, да, ты справишься. Доброго здоровья тебе, выведи их в люди, пусть не растут скотиной, как мы. Эй, чертовы веретена, не обижайте учителя, все, что скажет, повесьте как золотую сережку на ухо! — велит напоследок дядя и уходит, убежденный, что внес свою долю помощи.

Товарищ Хачик — молодой и храбрый парень. Он выходит бороться с любым третьеклассником (пока что он очень ловко повалил на землю одного только Аршо). То, что в наш единственный класс собрали всех урутских детей, нисколько его не смущает. Другой на его месте бросил бы все и убежал, а он нашел хороший способ заниматься со всеми сразу. На семи из двенадцати рядов длинных скамеек он усадил первоклассников, которые, по его словам, должны быть не старше восьми лет, но, как заметил Вардан, бывают и пятнадцатилетними. Четыре следующих ряда занимают второклассники, среди них и я. А в последнем ряду сидит третий класс. Здесь самый маленький ученик лишь на четыре пальца ниже товарища Хачика.

Товарищ Хачик славно все придумал, особенно если учесть, что только половина учителя принадлежит нам. До полудня он занимается с нами, а потом бежит в Саратак.

Некоторые из урутцев очень недовольны этим и находят, что вторую половину товарища Хачика надо отнять у саратакцев, как отнимали когда-то воду. Другие считают, что и пол-учителя хватит для таких неугомонных собачонок, как мы. А кое-кто старается вместо этой половины навязать нам на голову Айро Барикянца.

Хотя Мукуч сам об этом не говорит, но, когда заводит речь Макар, ясно: во рту у него язык Мукуча.

— Ученый, образованный человек, сам из наших крестьян, знает подход к каждому ребенку,— говорит Макар.— И еще: Айро будет учить бесплатно, не скажет державе: открой карман, дай мне жаловни...

Сурен не оставляет такие речи без ответа.

— Дядя Шмо, помнишь, у нас была кошка? — играя усом, говорит он.

— Э, нечего мне больше делать, должен вспоминать, какая у вас была кошка, какая собака...

— Да нет, я о другом говорю. Очень наглая была кошка, бессовестная. Мало ей было богом данных мышей — сливки с мацуна, приготовленного моей матерью, тоже попадали к ней в желудок. Бедная мать не знала от нее покоя. Гонит в дверь, как эта дрянь лезет в окно, гонит в окно — врывается в дверь. Съест мацун, облизнется и исчезает. Вот так один раз слизнула мацун и убежала. «Ну, попадись мне только — отрублю хвост»,— говорит мать. А отец только рукой махнул: «Даже если поймаешь и подкуешь ее, будет делать по-своему». Начали искать. Мы туда, мы сюда — нет кошки. И вдруг видим: отцовская праздничная папаха, что лежала в нише, приподнялась сама собой, а под нею — наша кошка. Сидит с папахой на голове!.. Я хотел тут же пристукнуть ее, отец не разрешил. «Раз она влезла под папаху, сынок,— сказал он,— значит, хочет стать приятной, помириться с нами, не убивай».

Я послушался отца, но ошибся. Кошка остается кошкой даже

под папахой, и, если все ей прощать, она съест твой лучший кусок да еще и под папахой твоей обогреется...

— И что ты хочешь сказать этим? — улыбается дядя Шмо.

— Да ничего. Хочу сказать, что не надо пускать такую кошку в дом... Мало того что мацун съест,— ведь и горшок разбить может.

Всем, конечно, ясно, что кошка — Айро, а горшок — наша школа, и я согласна: нельзя пускать Айро в нашу школу. Может, товарищу Хачику и трудно заниматься так, со всеми вместе, зато нам очень интересно, и мы слышим и узнаем гораздо больше. Вот, например, в тот момент, когда товарищ Хачик показывает первоклассникам букву «ж» и требует написать слова с этой буквой: «вожжи», «жатва», «жар»,— Нушик — она ведь в первом классе — поворачивается ко мне и тихонько говорит:

— Вж-жик!..

— Помолчи,— строго говорит товарищ Хачик.

— Эй, девчонка, так вжикну, сразу вылетишь! — грозит с последней парты огромный парень.

— Ты почему мешаешь? — учитель краснеет.— Дадут мне заниматься наконец?..

— А зачем она обижает тебя? — оправдывается верзила.

— Она меня не обижает, помолчи.

— Обижает, товарищ Хачик, ты не понимаешь,— гнет свое третьеклассник и, снова погрозив Нушик кулаком, садится наконец на место.

Вот так, все вместе мы учим всё — от буквы «ж» до стихотворения «Старинное благословение», над которым товарищ Хачик бился четыре дня, пока научил третьеклассников, да и то с помощью Нушик. Все-таки тупицы эти третьеклассники: посмотришь на них — каждый ростом с дерево, усы и бороды уже пробиваются, все время хвастают, что когда-то в школе монастыря Арич они выучили все, но «Старинное благословение», как черствый хлеб, застряло у них в глотке и никак дальше не проходит. Ни один из них не смог как следует выучить стихотворение. Стояли, вытянувшись во весь свой огромный рост, озираясь растерянно, и запинались на каждом слове, как деревянная соха в каменистой земле.

— Тогда давайте говорить хором,— решил товарищ Хачик. И как только он сказал: «Внимание, начинаем!» — среди грубого рева этих верзил прорезался тоненький писк:

Там, под орешником, развесившим листву,
На бархатном ковре, по старшинству...

То была Нушик. Она даже не заметила, что мы все умолкли и слушаем ее. Но догадалась наконец и спрятала голову за спиной Бако. Мы расхохотались, а Бако, вообразив, что учитель за это надерет уши Нушик, заслонил ее рукой:

— Сделай мне милость, авале[1] учитель джан, я виноват, мои уши дери...

Этот Бако вообще презабавная личность. Он появился у нас через две недели после начала занятий, когда овец уже перегнали с яйлагов на равнинные пастбища.

Шел урок, вдруг открылась дверь и порог переступил громадного роста курд с дубинкой на плече.

— Вай, Бако! — вскочили ребята.

— Голова у Бако умер,— зарычал пастух и двинулся прямо к третьеклассникам.— Вы делали нехорошо, Саргис... Бако на горе пастух, вы здесь читайт. Почему меня не жалко?

— Постой, кто ты такой? — еле опомнился товарищ Хачик.

— Я Бако, авале учитель джан. Я твой нога поцелуем, я твой овца пасем, дай мне ученье... Ей-бог, жалко...

Так и не удалось вывести Бако из класса. Хорошо, что он хоть согласился сесть в первый класс, рядом с Нушик.

— Я очень большой человек, как самый большой козел, зачем меня смешаешь с козлятами, авале учитель джан? — жалостно просил Бако.

— Большой, да неграмотный. Садись тут, ближе ко мне, чтоб раньше всех слышал, что буду говорить, и выучил чтоб раньше всех.

— Да, ты очень добри учитель, правду говоришь,— согласился наконец Бако и сейчас, сидя рядом с Нушик и Паруйром, выводит большие буквы. Но скамейка все же низка для него, хоть Бако и гнется в три погибели. Поэтому он берет свою тетрадь, кладет на подоконник и пишет стоя, бормоча что-то и ссорясь с буквами, которые никак не хотят становиться в ряд.

А иногда во время урока Бако вскакивает с места:

— Авале Хачик, овцы голодный сдохли, Айро-ага меня побей. Пусти, пойду...

Бако уходит, дает овцам Айро воды и корма и возвращается, когда урок уже закончен.

— Вай, моя голова умер, я отставал,— всплескивает он руками.

Но чтоб «умерла голова» Бако, первой пожелала тетушка Вардануш. Это случилось на следующий день после появления Бако.

Прозвенел звонок, мы гурьбой ввалились в класс. И видим: сидит в первом ряду один-одинешенек Абетнак и ковыряет в носу, а жена судьи, подбоченясь, стоит рядом с внуком. Товарищ Хачик, уже знакомый с историей Вардануш, чуть заметно улыбнулся, велел нам молчать, а сам подошел к Абетнаку.

— Деточка, беги к маме, скажи, чтоб вытерла тебе нос.

Ребенок хотел было уже бежать, но Вардануш поймала его за руку и, размахивая кулаком у носа товарища Хачика, кри-

---

[1] Авале — товарищ *(курдск.)*.

чала, визжала, тараторила так, что мы разинули рты. А товарищ Хачик — нет чтобы взять ее за руку и вышвырнуть за дверь,— смущенный и растерянный, повторял одно и то же:

— Успокойтесь, сударыня, не мешайте, сударыня. Я не имею права...

Он столько повторял «сударыня» да «сударыня», что Вардануш совсем вышла из себя и набросилась теперь на Бако:

— Пусть умрет твоя голова, паршивый пес, с каких это пор ты оказался первым?.. Последними вы были, последними и останетесь!..

Кричала, топала, сорвала нам урок и убралась лишь после того, как пришел Тер-Бардоц и угомонил ее, поклялся своей бородой, что читать Абетнака научит сам, и пусть жена судьи не волнуется из-за этих проклятых неверующих...

Вот какая у нас школа. Кое-кто говорит, что эта школа снаружи колет глаза чужим, а изнутри нас самих лишает глаз. Но это неправда — в школе до сих пор слегка подбит глаз у одного только Губошлепа Габо. Жаль, что слегка, на месте Паруйра я подбила бы ему не только глаз.

Из-за чего все получилось? Все из-за того же Сурена. Немножко виноват и... бог. Вы удивляетесь: каким образом бог стал причастным к нашей драке. Представьте себе, причастен, да еще и как!

Сурену, как члену сельсовета, поручено присматривать за школой и, если что-нибудь будет нужно, вовремя достать. Но ему кажется, что он должен присматривать и за нами. Вот он и приходит иногда к нам на урок, сядет и слушает. Это ничего, тем более что в его присутствии мы стараемся отвечать лучше. Но ему тоже хочется показать свои знания при нас и нашем учителе, и он нет-нет да и вмешается в наши занятия. Из-за этого Губошлеп Габо и получил свой синяк под глаз.

...Товарищ Хачик проходил с третьеклассниками географию и сказал, что земля круглая, как арбуз, и что наша советская родина — одна шестая часть этого арбуза. Потом он рассказал очень интересные вещи о небе и звездах. Сурен, сидевший на своем обычном месте — на краешке последней скамейки, слушал вместе с нами. И вдруг его скамейка скрипнула.

— Извини меня, учитель джан,— послышался его голос, и все мы обернулись.— Вам чего надо? — одернул он нас и продолжал: — Из твоих слов не видно, что наша страна такая громадная. Скорее наоборот...

— Почему же? — удивился товарищ Хачик.

— А вот почему. Если это страна неимущего класса, значит, она должна быть самой большой в мире. Ведь неимущего класса больше всего. А у тебя получается, что арбуз разрезали на шесть ломтей и неимущим дали только один ломоть. Значит, опять большинству дали мало, меньшинству — много. Разве можно так, товарищ Хачик?

На этот раз товарищ Хачик не смог рассердиться, потому что Сурен задал серьезный вопрос и ответить на него надо было серьезно. Он сказал, что верно, произошла несправедливость, но это ничего: как только мы наберемся сил, этот арбуз переделим снова, а может, и целиком отдадим его неимущему классу.

— Красота! — прошептал Паруйр, а Сурен снова спросил:

— Учитель джан, хочу еще знать: ты говоришь, что наш мир — круглый арбуз и мы, сидя на нем, кружимся вокруг солнца. Ну, если кружимся, значит, как-нибудь хоть разок, должны были... увидеть бога. Ведь, по церковным книгам, он там, на небе...

Товарищ Хачик замолчал. Я уже тревожилась: что, если он не знает, как ответить, и оскандалится? Но он улыбнулся краешком рта и сказал — не то в шутку, не то всерьез:

— Разве можно увидеть то, чего не существует, товарищ Сурен?

Вы думаете, мы окаменели от удивления? Удивиться, конечно, удивились, но не окаменели, а подняли страшный вой. Нельзя было разобрать, кто о чем кричит, услышали только, что Губошлеп Габо назвал учителя нечестивцем и сейчас же получил от Паруйра удар кулаком под глаз. А Осан, крестясь, выбежала вон. Эх, раз убегать, так убегать всем... Товарищ Хачик кричал, сердился, но напрасно — мы все высыпали во двор. В классе остались только Сурен, товарищ Хачик и Бако.

— Выходи, Бако,— позвали его со двора.

— Зачем ему выходить? — сказал Вардан.— Его доля — черт, а черт, пожалуй, все-таки существует.

На наш шум, конечно, вышел во двор и Тер-Бардоц и, когда он узнал, в чем дело, принялся крестить нас, взмахивая рукой, точно так же, как взмахивала когда-то бабушка, считая своих кур. Потом он перекрестил и свою бороду и, подобрав полы рясы, вошел в наш класс.

О чем они говорили там, не знаю, мы видели только, как выскочил оттуда бледный и перепуганный Бако:

— Вай, умрешь, моя голова, священник говорил, что авале Хачик — сатана...

В СЕТЯХ ТЕР-БАРДОЦА

Мы думали, что дальше синяка под глазом Габо дело не пойдет. Но скоро выяснилось, что об этой истории слышали все и у каждого есть собственное мнение... Раньше, когда товарищ Хачик шел улицей, сидевшие под стенами люди обязательно вставали и, сняв шапки, кланялись, приглашали посидеть с ними, побеседовать. А теперь смотрят ему вслед и ворчат:

— Вот тебе и учитель. Младенец, а критикует божьи дела. А почему же исполком Гарегин крестился перед Нареком Умршата?

— Исполком — другое дело. Этот еще молод. Новые куры хотят нестись железными яичками.

— Вот-вот... Если вожак стада — телок, копытца всего стада будут в брюхе волка. И раньше у нас бывало училище, был и у нас учитель, но слыханное ли дело, чтоб учитель встал и сказал, что мир — это арбуз, а бога (помилуй господи!), к примеру, нет...

Так говорили люди: что вздумается, то и несли о товарище Хачике. Расхваливали старую школу, которая и была-то не в их деревне, а в Саратаке. А учитель какой был в этой школе — библию знал назубок! А прошение написал какое — сам губернатор, прочитав, опешил! И качали головами в сомнении: чем же все это кончится?

А кончилось тем, что появились рыбы Тер-Бардоца...

В Уруте, конечно, нет никакой такой реки, где люди или батюшка могли бы поймать что-нибудь похожее на рыбу. Да и нигде в мире не найдешь реки, в которой водились бы такие рыбы, как наша Осан или овасаповский Аршо... Что, непонятные вещи говорю? Ничего не поделаешь, даже я, ученица второго класса, знающая наизусть таблицу умножения, долго не понимала, чем это занят Тер-Бардоц, а поняла только тогда, когда сама чуть не угодила в его сети. Вернее, уже угодила, но слава кувшину попадьи — вовремя разбился, а то, пожалуй, я так и осталась бы в сетях батюшки.

Ну не мог же Тер-Бардоц, который без конца проповедовал, что все люди овцы создателя и должны помогать ближнему,— не мог же он со спокойным сердцем смотреть, как мы скачем у него во дворе и переворачиваем все вверх дном. Сперва он лишь хмурился, когда, играя в прятки, мы поднимались на крышу сарая и оттуда, крикнув «гоп!», прыгали на сметанную под стенкой копешку сена. Но дело ведь не только в сене. Когда начиналась чехарда, ребята расчищали себе место, и все летело за изгородь со двора священника: корзины, разбитая арба, старое ярмо, колесо с выбитыми спицами; доходило даже до кувшинов попадьи, которые она выставляла сушить на солнце. Конечно, иногда после игры все снова раскладывали по местам, но бывало, что и поленимся или забудем. Мы столько раз «забывали», что наконец терпение батюшки лопнуло, и он решительно заявил товарищу Хачику, что дети или не должны играть, или пусть сами же и убирают после себя. Товарищ Хачик сейчас же принял последнее условие, потому что и сам был большим мастером играть в чехарду. Игры продолжались — в прятки, горелки, чехарду, и мы при этом поднимали такой вой, что священник даже бледнел. А когда приходил в себя — становился посреди двора у нас над душой и лично следил, чтоб мы выполняли его условие.

Аршо, который, играя в чехарду, бывал проклятым нечестивцем, после игры превращался в благословенное чадо: батюшка

взваливал ему на спину плетеный короб и посылал за соломой для коров. Осан по приказу попадьи хватала ведро и бежала за свежей водой, чтоб благочинный напился перед обедом. А иногда попадья совала в руки Нушик метлу:

— Подмети-ка двор, сами ведь насорили. Не стыдно вам будет, если я, попадья, буду мести за вами?

Так Тер-Бардоц и попадья помаленьку заставляли нас работать, хоть такого условия и не было. А товарищ Хачик ни разу не сказал им об этом.

Даже я однажды помогала попадье: взялась отнести кувшин с молоком из тонирни в сарай. В это время ребята играли в горелки, Паруйр хотел поймать Вардана, упустил и крикнул мне:

— Арцвик, лови его!

Я выпустила из рук кувшин, бросилась за Варданом. Вардан убежал, молоко тоже, а от кувшина остались только черепки. Удачно получилось: попадья сказала, что я чабан, а не девочка и больше она никогда мне ничего не поручит.

«Эх, матушка,— смеялась я про себя,— новенькое что-нибудь скажи, чтоб меня удивить. Еще за десять лет до тебя моя бабушка догадалась, что я чабан. И если это стыдно, то почему же твой отец благочинный постоянно твердит, что он чабан, или, как он говорит, пастырь Урута?..»

Словом, я освободилась от служения попадье. Хотела научить и Осан, как это сделать. Но Осан набросилась на меня:

— Язычница, нечестивая, все делаешь наперекор батюшке. Он святой человек, зачем же я буду бить кувшины? И твой товарищ Хачик нечестивый, и дядя Сурен, все вы язычники.

После этого она долго не разговаривала со мной. Из-за кувшина попадьи я потеряла такую подругу, как Осан... А ведь Осан была мне почти сестрой, она тоже сирота, пригрелась возле Умршата, как я возле дядюшки Авета...

Мы не разговаривали, но следили издали друг за дружкой. Я все-таки знала, что делает Осан, куда ходит. Она постоянно бывала в доме священника, распоряжалась у него в хозяйстве, как свой человек, носила воду, подметала, кормила кур. Я не могла выдержать и по вечерам стала наведываться к Умршату. Ни разу Осан не было дома.

— Не знаю, сказала, пойду к Нушик, готовить уроки,— всегда отвечал Умршат.

Что же это за дружба без меня? Я уже стала обижаться на Нушик. Дальше терпеть было нельзя, и однажды я сказала обо всем Нушик. Она очень удивилась и пообещала разузнать, в чем дело. В тот же день они пришли ко мне обе.

— Пойдем с нами,— таинственно улыбаясь, сказала Нушик.

— Куда?

— Не скажем, пока не поклянешься,— перебила ее Осан.— Крестись и говори: клянусь богом, никому не скажу.

Чтоб помириться с Осан, я перекрестила бы и спину!

После того как отношения наши стали наконец на свое место, она сделала знак, чтоб мы следовали за ней, а сама пошла впереди. Шли, шли и оказались опять... у дома священника. Входим следом за Осан, настороженно замираем в темных сенях.

— Матушка, вот я еще привела,— объявляет Осан попадье, подозрительно оглядывающей нас.— Это мои подружки, они поклялись...

— Эй ты, чабан! — дружески окликает меня попадья.— Взялась наконец за ум? А кто эта? Дочка дядюшки Манука? Хорошо, очень хорошо, умницы. Вы — девочки, уж если и вы отречетесь от своей веры и бога, сатана встанет на дыбы и проглотит весь мир. Ну, идите, идите в хлев...

В хлеву, по знаку Осан, мы садимся на пристроенную в углу тахту и молчим. Никого нет, одни лишь коровы священника вяло жуют жвачку, да еще маленький осленок сует свою морду то в те, то в другие ясли...

— Вот сейчас сесть бы на этого осленка и покататься по хлеву! Батюшка подумает, что это черти джигитовку устроили...

— Опять языческие вещи говоришь,— шипит Осан, и я замолкаю.

— Ну, говори, зачем привела нас в этот проклятый хлев? — Нушик уже надоело сидеть на тахте.— Я беру обратно свою клятву. Арцво, пойдем! Может, и правда, тут черти водятся...

И действительно, сверкая глазами, как черти, перед нами вырастают Саргис и Аршо, за ними входят еще несколько ребят, и все молча садятся на тахту. А осленок священника будто этого только и ждал, подходит, ставит передние ножки на тахту и хочет влезть на нее. Мальчики со смехом втаскивают осленка, и он ложится, привалясь к спине Саргиса.

— Беззаконник, нечестивец! — Саргис очень ловко подделывается под голос батюшки и осеняет осленка крестом.— Ну, говори, четвероногое: господь наш Иисус Христос...

— Не будь язычником,— шипит Осан и на него.

Появляется священник с маленькой книгой в руках. Молча, торжественно протягивает нам книгу, и все по очереди целуют ее. Вот уже и моя очередь подошла прикладываться к мокрому от поцелуев кожаному корешку. Я замялась. Осан все видит, толкает меня в спину:

— Иди, иди целуй евангелие.

Выставив подбородок, я тянусь к книге.

— Постой, ты кто такая? — священник отодвигает евангелие.

— Я?.. Я — Арцвик, батюшка...

— Заблудшая овца, вот кто ты. Отделилась от стада господня. А теперь вернулась. Это добрый знак.

— Есть еще одна овца... Нушик,— тихонько говорю я.

— Да, и Нушик. И все, все вы — заблудшие овцы, но господь всеблагий видит возвращение своих овечек и благословляет вас... О чем была наша беседа в прошлый раз?

— Собирались зарезать Саака,— подсказывает Саргис.

— Исаака, Исаака, болван. И не зарезать, а заклать в жертву. Ну, рассказывай.

Саргис встает и, пристально разглядывая уснувшего рядом осленка, начинает:

— Отец Абрам спит и видит хороший сон. Во сне к нему подходит один старичок и говорит...

— Стой, еретик,— перебивает Тер-Бардоц.— Какой старичок? Господь посылает к Аврааму своего ангела.

— Ну да, бог одел своего ангела как человека и посылает. Мол, Абрам, хочешь не хочешь, а своего единственного сына Саака зарезать должен.

— Нет, не так говорит,— вмешивается Аршо.— Вот как: должен заклать на алтаре господнем.

— Ну да,— кивает Саргис.— Абрам проснулся, замахивается ножом на сына, как вдруг...

Как вдруг буйволица священника, став в удобную позу и подняв хвост, изготовилась к некоему невинному таинству. Пока Аршо, по знаку батюшки, подносит лопату, буйволица успешно завершает свое дело. Аршо, убирая за нею, спрашивает:

— Батюшка, а ножи тогда были?

— Нож, сынок, всегда был и будет. Это святой меч создателя, он опускается на головы отступающих от господа нечестивцев.

— Значит, дела нашего учителя Хачика плохи,— в раздумье шепчет Аршо.

— Все отступившие не уйдут от господнего гнева.

— А разве отец Абрам отступник, батюшка?

— Ты, ты отступник и еретик,— сердится Тер-Бардоц.— Дела господни неисповедимы.

Я осторожно дергаю Нушик за рукав:

— Давай убежим...

— Не делай этого! Грех! — щиплет меня Осан.

— Вот еще, грех! — И, набравшись храбрости, я выбегаю из хлева, а за мной — Нушик.

Уже густые сумерки, и мне кажется, что из всех темных углов двинулись и идут на меня, поблескивая ножами, какие-то старцы в лохмотьях. Прижавшись друг к дружке, перепуганные, мы бредем почти на ощупь. Вдруг перед нами встает фигура Аршо.

— Зачем убежали? — грозно шипит он.

— А что делать? Страшно было...

— Попробуйте проболтайтесь только — обеих вас вот так.— Аршо словно ножом проводит пальцем по горлу.— Ладно, идите. Ничего не видели и не слышали...

Я быстро листаю учебник. Никак не найду заданный урок, глаза слипаются. И все время чувствую на себе взгляд дядюшки Авета. По-моему, он даже улыбается.

— Уроки учишь, Арцвик?

— Да... Только... забыла, что задано.

— Ничего, ты другое смотри не забудь.

— Что?

— Чему священник вас учит.

— Батюшка?.. Он уроков не задавал...

— Не бойся, бала джан.— Дядюшка Авет кладет руку мне на плечо, улыбаясь, смотрит в глаза.— Стойко держись, мы все выведем на чистую воду...

Плечи мои вздрагивают. Неужели я плачу?

На следующий день меня вызвали в сельсовет. Вы же знаете, я бегала в канцелярию в любую минуту, когда бы мне ни захотелось. А тут получилось совсем иначе: рассыльный Нерсо принес бумагу, и было в ней написано: «Товарищ Арцвик Арамян, в качестве свидетеля...»

И вот мы, все свидетели, сидим рядышком. Нушик смотрит на меня в упор, надувает губы и морщится. Ей хочется рассмешить меня. Осан спряталась за Аршо и что-то быстро бормочет, наверняка — молитву. Аршо выводит карандашом на спинке скамейки буквы — свое имя — и, склоняя голову то налево, то направо, как художник, смотрит на свою работу. Нет, можно написать еще лучше — и он пишет снова. А Тер-Бардоц, опустив глаза, смиренно перебирает четки.

— Ну, рассказывайте. Как было дело? — мрачно начинает дядюшка Авет.

Кто должен рассказывать? Никто не издает ни звука, священник даже как будто не слышал вопроса.

— Батюшка, я к тебе обращаюсь...

— Что рассказывать, благословенный? Я — слуга церкви, церковь пусть и судит меня, мирянин не имеет права...

— Слушай, Тер-Бардоц, хвостом не виляй, а то знаешь? — Ерванд поглаживает наган.— О деле спрашиваем.

— Стой, не горячись,— сдерживает его дядюшка Авет.— Никого мы здесь не судим. Батюшка, все-таки расскажи нам, что за школу ты устроил? Может, что-нибудь хорошее, надо же нам знать.

— Что еще за школа, сынок? Службу в церкви исполняю? Возвращаю на путь истины заблудших овечек? Так это мой долг. Крестины, венчание, причащение? Это тоже — мое дело, о какой школе ты говоришь? Школа — вот у него,— священник указывает пальцем в сторону товарища Хачика.— Так я же ему гостиную отдал, а сами остались в хлеву. Создатель примет молитву и из хлева...

— Ладно, остальное скажут дети.— Дядюшка Авет переводит взгляд на Аршо.

— Я ничего не видел, дядя Авет,— беспечно отвечает тот.

— Ничего не видели,— повторяет за ним и Саргис.

— Вай, не ты разве говорил: тот человек... Абрам видел сон,— вскакивает Нушик.— Аршо сказал, что зарежет нас, если скажем кому-нибудь!..

— Э, Аршо сказал вам это на дворе, а я где был?

— Мы пришли, батюшка говорит: вы заблудшие овцы,— уже не слушая Саргиса, продолжает Нушик.— Потом мы целовали книгу. А буйволица батюшки...

— Этого не говори, стыдно,— шепчу я.

— Уф, зачем не говорить? Разве не тогда это было? Батюшка сказал: и товарища Хачика должны зарезать, потому что он... как он сказал?.. Да, вот: он от-сту-пивший...

— Аршо спросил, он и ответил,— честно признаюсь я.

— Ясно, все ясно,— Ерванд нетерпеливо барабанит пальцами по столу.— Как слепых рыб, поймал детей в свои сети, батюшка. Против закона идешь, поэтому тебя...

— Против какого закона, сынок? У тебя свой закон, а у церкви свой. Когда ты говоришь: да здравствует Ленин,— закрываю я тебе рот? Не закрывай мне рот и ты, когда я говорю: да здравствует господь наш Иисус Христос,— священник крестится.

— Кончай! — Ерванд пришел в бешенство, даже приподымается.

— Ерванд джан, оставь нас на минутку, я хочу сам поговорить с батюшкой.— Дядюшка Авет берет его, внезапно притихшего, покорного, за руку и выводит.— Ну, теперь власть ушла отсюда и унесла наган,— смеется он.— Теперь говори: знал ты, что по закону в наших школах запрещены уроки закона божия.

— Школа одно, мы — другое, я же говорил, Авет джан. Я — слуга церкви. Верующий приходит ко мне и просит: батюшка, немножко поучи наших детей псалмам, прочитай им главу из евангелия, чтоб дети не росли без веры,— что я должен отвечать? Что не могу этого делать? Я же не силой затаскивал этих заблудших овечек! За одних просил родитель, другие... Например, вот эта, что в твоем доме... помогает. Сама пришла.

— Она моя дочь, батюшка,— вспыхнув, обрывает его дядюшка Авет.

— Пусть бог воздаст тебе по твоей щедрости и по твоему сердцу, сынок. Сирота она, ест твой кусок хлеба, работает на тебя. Ну и что же, что твоя милость большевик? Человек слуга и человеку и богу...

— Батюшка, сейчас же уходи. Уходи отсюда!.. — Дядюшка Авет берет костыль, и я даже вскакиваю от радости: сейчас он угостит священника! Но он первым уходит из канцелярии.

В комнате остаемся только мы — притихшие, растерянные рыбы Тер-Бардоца.

Справедливо ли это, Тер-Бардоц? Сказал, что человек слуга и человеку и богу, а я — слуга дядюшки Авета!.. Даже на бога сослался! Жаль, что дядюшка Авет только поднял костыль, не стукнул тебя по голове. И жаль еще, что до этого бога не доходит молитва бабушки и не пошлет он говорящим такое язву на язык. Жаль, очень жаль, что дядюшка Авет не разрешает мне, а то я ответила бы всем этим злым языкам.

Что им надо от меня, от дяди Авета, нашей семьи? Кому какое дело, что я и бабушка нашли приют под крылом доброго, честного и терпеливого человека? И что стало бы с нами, не будь на свете дяди Авета, Маран, Гарика и этого домика, под навесом которого Маран разжигает сейчас очаг, дядя Авет и Умршат мирно беседуют, Топлан, положив морду на лапы, задумчиво глядит на огонь, бабушка и Санам перебирают свои воспоминания, а я, еле различая буквы при тусклом свете, учу уроки.

«...Красное солнышко, красное солнышко»,— учу я стихотворение, и мне кажется, что солнышко пришло сюда и смотрит на меня через ертык. А откуда-то издалека доносится до меня прерывающийся голос бабушки:

— Помнишь, Санам, как мы с тобой ходили на могилу молодого комиссара? И Арцвик моя была с нами... а Ашхен оделась во все мужское. Помнишь?..

— Да, сестрица Нуно, вижу все, как сейчас. А мой Сако — помнишь — вышел из-за скалы, как будто солнце взошло среди ночи.

— Пусть бог продлит солнце Сако, Санам джан. Пришел бы и мой Агабек, хоть раз показался бы на глаза, услышать бы только его голос, нет у меня других просьб к богу...

Милая бабушка, ведь не выдержишь, а то я сейчас, сию минуту обняла бы тебя за дрожащие плечи, сказала бы всю правду. Не перенесет этого бабушка. И я тоже не выдержу, если кто-нибудь скажет мне, что нет у меня матери, умерла... Ведь и я, как бабушка, жду, думаю о ней. Иногда мне кажется, что я невидимая, разыскала мать и, как ветер, шепчу ей на ухо: «Не горюй, мамочка, скоро мы найдем друг друга...» Ребячество? Да, это похоже на ребячество, но разве я ребенок?.. Нет, все это кончилось. Не знаю, когда и как, но кончилось, и теперь мне кажется, что я никогда и не была ребенком. А та, босоногая, непричесанная, что бегала по улицам нашего села и так любила откалывать разные штуки,— это не я...

«...Красное солнышко, красное солнышко»,— словно кто-то другой шепчет около меня, и я пробуждаюсь от своих грез.

Умршат загрубевшими пальцами достает из своего кисета крупно нарезанный табак, насыпает сперва в протянутую дя-

дюшкой Аветом бумажку, потом в свою трубку и, выпустив из-под усов клубы дыма, бормочет:

— У этого табака — ты заметил? — вкус нашей воды и земли. На этом Алагязе и земля и вода как у нас, за Ахуряном. Сердце успокаивается.

— Это так, братец Умршат,— задумчиво говорит дядюшка Авет.— Нам посчастливилось. Нас выгнали из дома, но все-таки пришли мы в наш дом, на землю наших дедов, нашего народа. А сколько народу скитается сейчас по чужим странам, за семью горами, семью морями. Все там чужое, и вода, и народ... И мы, нашедшие приют на склонах Алагяза, разожгли свои очаги не только для себя. Дым этих очагов дойдет в каждый уголок земли, где есть армянин, лишенный своего крова. Пусть он скажет: да, дымит наш очаг, жива наша земля, наша Армения,— значит, я человек, есть у меня народ, есть земля...

— Да, Авет джан, если у тебя отнята родная земля, нация и вера, то, как бы ни был мир обширен, душа твоя, твое сердце не будет спокойно. Существует страна твоих предков — существуешь и ты, нет страны — нет и тебя.

— Авет джан, может сейчас выйти такой приказ, чтоб всех пропавших, где бы ни находились, вернуть на родную землю? — тихо спрашивает бабушка.

— Может, почему бы нет, матушка Нуно? Выйдет и такой приказ, и все скитальцы вернутся в наш маленький край. Ведь как бы ни были хороши дома и дворцы, сады и рощи в чужих странах, для настоящего армянина родная крапива лучше чужой розы...

— Ах, поскорей бы он вышел, этот приказ, собрались бы все пропавшие вокруг моего очага. С легким сердцем отдала бы я тогда душу создателю...

— Не торопись отдавать душу, матушка Нуно,— пытается шутить дядюшка Авет.— Ты еще много хорошего увидишь. Мы еще вырастим Арцвик, выдадим замуж ее, Осан, женим Гарика, а там Аник и Асмик появятся, куда тебе спешить?

— А мать мою почему забыл, не говоришь? — вдруг обижаюсь я.— Мамочка наверняка жива. Ее ведь не унесло водой, и не убили ее, как...

— Не болтай глупостей! — перебивает меня дядюшка Авет.— Твоя мать, слава богу, уже выросла, а я говорю о вас, малышах. Ссоришься со мной, хочешь, чтоб на твоей свадьбе не танцевал? Все равно займу ногу у жениха и так буду топать, что свет весь удивлю.

Гарик громко хохочет, Осан прячет разрумянившееся лицо за спину Умршата, а я хоть и смеюсь, но смущена. Спасибо, остановил меня дядюшка Авет, а то выпалила бы сгоряча: «Не убили же, как дядю...» Бабушка долго смотрит на нас и осторожно спрашивает:

— Бала джан, кого это унесла вода, кого убили?..

— Когда мы с Мушегом переходили реку, его лошадь убило... а других унесла вода...

Дядюшка Авет вздыхает облегченно, Умршат снова достает кисет. Молчание нарушает бабушка. Странно качаясь, она идет в свой угол и, улегшись в постель, говорит:

— Арцвик джан, укрой мне ноги, холодно мне.

В эту ночь бабушка не спала и мне не дала уснуть. Все жаловалась, что стынут ноги, просила укрыть ее. Я растирала бабушке ноги, но они так и оставались холодными как лед. На рассвете, когда все как будто спали, бабушка тихо спросила меня:

— Не спишь, Арцвик джан?

— Нет, бабушка. Тебе надо что-нибудь?

— Подвинься ближе, бала джан, хочу что-то сказать.— Она сама придвинулась ко мне и, как ребенок положив голову мне на плечо, зашептала: — Бала джан, каждый человек когда-нибудь должен уйти. Никто не остается на земле вечно. Один успеет взять от мира свою долю, выполнить заветное желание, у другого одна лишь скорбь и тоска на сердце, но и этот все равно уйдет в свое время. Сейчас наступил и мой черед, должна уйти и я. От моего полного дома, от всей большой семьи осталась ты одна. Видно, судьба твоя такая, чтобы ты одна оставалась. Авет — хороший человек; пока он с тобой, тебя никто не обидит. Вырастешь, будут и у тебя свои дети, свой очаг. Но только есть у меня к тебе две просьбы, не забудь. Первое — приходи иногда на мою могилу, сожги ладан, поговори со мной. Горе на сердце будет — приходи, я твоя бабушка. Радость будет — тоже приходи, порадуюсь и я. И еще: если появится вдруг Агабек, возьми за руку, приведи и его.

И все это я выслушала, не уронив ни единой слезы,— может быть, сердце мое окаменело — не пойму.

— Дай мне мой табак,— велела бабушка. Села в постели и, понюхав табаку, опять зашептала: — Господи, владыка небесный, пошли здоровье моему Авету. Жаль его, отзывчивый он человек, попавшим в беду — покровитель, сироте — отец.

— Бабушка джан, ляг, простудишься...

— Скоро рассвет? — спросила она, натягивая одеяло.

— Петухи кричат, бабушка, скоро.

— Доброго тебе утра, бала джан, пусть на этом кончится ночь твоей жизни. Урок выучила?

— Да, бабушка джан, хочешь, наизусть скажу?

— Говори.

Красное солнышко, красное солнышко,
Машет зелеными ветками май.
Черная ночь и следа не оставила,
Солнышко красное, ярче сияй!

— Да, бала джан, пусть сияет твое солнце, а ночь — чтоб она никогда больше не вернулась. Ну, засни, бала джан, за-

сни.— Бабушка крепко обнимает меня и, отодвинувшись, умолкает.

...Не знаю, сколько прошло времени. Где-то далеко слышно — щебечет ласточка. Открываю глаза. В ертык заползает чуть заметный треугольничек солнечного света. На краю приклеенного к потолку гнезда щебечет ласточка. Подруга ее, должно быть, еще не проснулась. Это новые жильцы нашего нового дома, они прилетели два дня назад. Ласточка щебечет весело, словно радуется. Значит, денек будет погожий, можно пойти с Осан и Нушик нарвать подорожника. Хорошо — снова весна! Но какой тягостный был сон, бабушка говорила что-то очень грустное. Постой, разве это было во сне?

Быстро выскользнув из-под одеяла, я касаюсь рукой бабушкиной ноги. Холодная. Колени тоже холодные, и руки, все тело...

— Дядюшка Авет...— голос у меня срывается.

Дядюшка Авет обнимает меня и, залив мне щеку слезами, шепчет:

— Держись, Арцвик джан, я — твой дядя Авет...

Могила моей бабушки на склоне Алагяза, чуть повыше огородов. Дядюшка Авет приволок огромную каменную плиту и положил на могильный холмик. Вокруг камня выросли цветы, в их чашечках по утрам искрятся прозрачные капельки росы. Зеленая травка окружила бурый камень и кланяется, чуть подует с Алагяза ветерок. Бабушка Санам иногда зажигает на могиле ладан. А я хожу туда одна, так, чтобы никто не видел. Не плачу, но на сердце бывает грустно. Ведь нет у меня больше ничего родного, кроме этой могилы.

ПРОГУЛКА В ГОРАХ

Уже целую неделю надоедает мне Нушик — все рассказывает, какую интересную прогулку в горы устраивает молодежь наших деревень. Если верить Нушик, это что-то вроде свадьбы, в которой принимают участие все деревни, окружающие Алагяз.

— Столько сходится народу, столько народу! Весь мир собирается на нашей горе,— блестя глазами, рассказывает Нушик.— Джигитуют, девушек умыкают. Бывает, что сразу играет сорок партий дола-зурны, тут и волынка, и саз, и кяманча. Царская свадьба!..

— А ты настоящую царскую свадьбу видала? — злю я ее.

— Ну и пусть не видала, все равно это вроде царской свадьбы. Посмотрела бы, как наши парни играют дубинкой. Года четыре назад они так поддали арачским парням!..

— Значит, сходятся и на кулаках?

— Еще как! У нас в деревне была одна девушка, Антарам. Аринчцы хотели ее увезти. Очень была красивая девушка, со-

всем как луна. Ну, наши так избили их — тысячу голов разбили.

— Да ты же ничего этого не видела, зачем врешь? — сердится Арег.— Сколько тебе тогда было лет? Кто бы тебя взял на гору?

— Не все ли равно? — Нушик трудно смутить.— Пойду на этот раз, увижу. Вот если б и в этом году увезли девушку!

— На этот раз обязательно вас украдут, обеих,— смеется Арег.— Лучше не ходите.

— Куда там, нам и не мечтать о таком счастье,— в тон ей говорит матушка Ангин.— А хорошо — отделались бы мы от этих сорок!

— Пусть попробуют! А я на что? — петушится Гарик.— Всех побью!

— Да, напугаешь весь мир! — хохочет Маран.— Сиди уж на месте, вас только и не хватало там. Что-нибудь случится, собьют, потопчут вас, Авет нам житья не даст.

В другой раз я, может, и посмеялась бы над Маран, можно ли так трястись над нами? Но сейчас чувствую: действительно, может случиться какая-нибудь беда,— скажем, я могу пойти в горы и... не вернуться.

Да, давно я подумываю уйти куда-нибудь далеко, в неизвестное место,— так, чтобы больше не возвращаться. Для кого возвращаться? Была у меня старая, добрая бабушка, и та ушла, одна я теперь, как ветер в поле. Спасибо Маран, дядюшке Авету, Гарику тоже. Сейчас они стали со мной еще ласковей. Всякий раз, уходя из дому, дядюшка Авет наказывает Маран: «Смотри лучше за девочкой, чтоб не обидел кто, чтоб не плакала...» Даже Гарик и тот ласковее со мной. Он и Топлан стали моими телохранителями. Куда ни пойду — бегут за мной. Если кто скажет мне обидное слово, Гарик бросается в драку, да так, что выходит из нее обязательно с окровавленным носом. А Топлан, моя бедная и уже совсем старая Топлан, печально плетется за мной по пятам и, наверно, думает все о том же: плохо нынче греет весеннее солнце...

— Тебе не откажут, попроси, пусть позволят нам пойти на гору,— подталкивает меня Нушик.

Мне, конечно, не откажут, вот потому я и не прошу, а выдвигаю вперед Гарика. Но тот не просит мать, а с места объявляет: если не разрешат — убежим, Арцвик сказала — убежим... Маран тревожно смотрит на меня.

— Ладно, сестрица Маран, дети просят, я пойду с ними,— вступает вдруг Арег, и мы с визгом кидаемся к ней. Гарик, заикаясь от восторга, хвастается:

— Пйогоню майчишек дйугих дейевень!..

— Скоро усы вырастут,— смеется Маран,— а ты все заикаешься. Кто же выдаст девушку за зайку?

— Не надо мне девушки,— краснеет Гарик.

— Захочешь, детка, захочешь. Погоди, вот коснется тебя сладкое дыхание девушки, совсем другое запоешь,— смеется матушка Ангин. А Нушик так и ест ее глазами.

— Эти женщины как только сойдутся, так и пошло, чего только не услышишь,— шепчет она мне на ухо.— Ведь совсем за другим мать пришла.

— Уй, заела ты мне душу, дочка, да не провалится твой дом,— спохватывается матушка Ангин.— Маран джан, пристала — не отвяжется девчонка, провалиться ей сквозь землю. Давай уж напечем им гаты, пусть возьмут с собой в горы.

Они начинают готовить тесто для гаты, а мы решаем принарядиться. Но с одеждой у нас не так уж богато. Гарик, тот нашелся — примеряет папаху Ерванда и не сводит глаз с нагана дядюшки Авета. Наган бы привязать!.. От возбуждения он подпрыгивает на месте. Я и Нушик решаем вымыть себе головы. Арег тоже хочет пойти на гору — старательно начищает солдатские ботинки Ерванда, собирается их надеть. Но вдруг выбегает, вспомнив что-то.

— Вормузд и Гаре тоже идут! — радуясь, как девочка, влетает она через минуту.— Вормузд дала мне свой шелковый платок!..

В эту ночь мы долго не можем уснуть. Как только сомкну глаза, сейчас же Гарик кричит петухом или Нушик толкнет в бок. Она осталась ночевать со мной — боится, как бы нам не проспать, уйдут без нас...

На рассвете, еще не проснувшись окончательно, я слышу знакомую, родную музыку. Играют на свирели.

— Сарбаши [1] вышли! — Нушик вскакивает с постели.— Скорей вставайте, опоздаем!

У нас все уже на ногах, даже деревянная нога дядюшки Авета поскрипывает веселее. Мы побыстрей оделись, хотим уже бежать на улицу, но тут приходят матушка Ангин и Арег.

— Матушка, сарбаши уже ушли? — волнуется Нушик.

— Ладно вам, и так всех переполошили,— сердится матушка Ангин,— сарбаши еще сыграют и по деревне пройдут еще раза два. Не турки же пришли, куда бежите?

— Интересно, кто у нас в этом году сарбаши? — гадает Арег.

— Разве оставили в деревне молодых парней, чтоб было кому стать сарбаши? Каких соколов увели... Как только подумаю, весь мир чернеет,— вздыхает матушка Ангин.— И все-таки удивительное творение человек, Авет джан, даже камни и скалы не вынесли бы того, что мы пережили, а ведь смотри — опять к солнцу тянемся, как подснежник. Сколько уже лет никто не думал о прогулке в горы, не веселился так...

Дядя Авет считает: если бы мы иногда не превращались в подснежник, наша земля стала бы Вавилоном. Но сердце, к

[1] Сарбаши — руководитель праздника, вожак танца.

счастью, умеет встретить и горе и скорбь. И встретить и проводить.

Правильно говорит дядюшка Авет. Я сама замечаю: вчера весь мир казался мне мрачным, а сегодня ожила, так спешу, словно в горах меня ждет счастье.

Звуки волынки то ближе, то дальше. Скрипят двери, торопливо шаркают ноги. Вскрики, шутки, смех. Вдали, возле риг, кто-то поет:

Яр поехал в Ереван,
Яблок полон карман.
Алагяз — ты высокая гора,
Любовь моя выше тебя.

В прозрачном утреннем небе серебром сверкают вершины Алагяза. Он выступает из тающего тумана горных долин, и кажется: побежишь во всю прыть — и вот он, рядом. Легкий ветерок словно приносит к нам в деревню свежесть его снегов.

Взявшись за руки, с музыкантами впереди проходят мимо наших дверей парни. Один из них крепко обнял товарища, так и идут. На нем выгоревший, но не старый ластиковый архалук с серебристыми пуговицами, и виднеется зеленая рубашка. Архалук крепко перехвачен серебряным поясом. От этого пояса сбегает вниз тонкая цепочка и пропадает в складках широких сборчатых штанов. Они заправлены ниже колен в белые шерстяные носки, а дубленые трехи сидят так плотно, словно отлиты заодно с ногой. Парень тоненький, высокий, из-под сбитой на затылок касторовой фуражки выбились черные кудри, в глазах улыбка, она мне очень знакома.

— Джан, у нас сарбаши — Смбат! — Нушик хлопает в ладоши.— Я же говорила... Сейчас они свернут к дому дяди Овасапа, ведь Баласан.

Смбат со своими дружками проходит дальше, вот они уже у ворот дяди Овасапа, и зурна начинает снова звенеть. А один парень, поигрывая плечами, поет:

Я сорвал гранат в саду,
Под окно к тебе приду.
Покажись, постой минутку,
Я хоть душу отведу,
Ах, я хоть душу отведу.

Они поют, а дверь тихонько открывается. И вот, накинув на плечи пестрый шелковый платок, вышла Баласан. На парней даже не взглянет — мелким шажком бежит к соседнему дому.

— Музыканты, туш! — кричит Смбат и, широко, как сокол крылья, раскинув руки, начинает порхать — танцует. Кружится и порхает без устали, но вот из соседнего дома выходит целый букет девушек и, окружив Баласан, проходит мимо парней. Они отошли подальше, и кто-то из девушек заливисто запевает:

Ай, Алагяз, прохладный, чистый,
Манит душу высота.
Джан, иду к тебе сегодня,
И любовь моя чиста.

— Джан! — кричат товарищи Смбата.

Зурна дудит еще громче, с переливами, и Смбат, взмахнув красным платком, идет вперед. За деревней к нашим сарбаши присоединяется еще одна такая же компания, за нею еще несколько групп, каждая со своими музыкантами. Чуть отстав, за ними идут девушки, одетые в красное и зеленое. Словно букеты цветов на покрытом утренней росой склоне. И начинается шествие в горы.

Место сбора, по словам Нушик, очень далеко, надо пройти семь холмов и семь ущелий, чтоб добраться туда. Мы все время идем круто вверх и вверх, но никто не чувствует, что путь труден. Кое-где на вершинах скал и в тенистых впадинах еще видны караваи слежавшегося снега, из-под которых неслышно сочится талая вода. Вот здесь, где еще не растаял снег, и начинается цветочный ковер. Цветы не так ярки, как на лугах. Они мельче, больше всего белых, иногда попадаются желтые и голубые. Но как сильно они пахнут — весь воздух насыщен их ароматом. А родники! Из-под каждого камня, из каждой трещины бьет родник,— бурно клокочет или журчит, шепчет чуть слышно. И все бегут вниз среди цветов и зелени.

Нушик как угорелая носится от родника к роднику и тащит меня за собой. Хорошо ей, она дочь пастуха, ходила тут с отцом, знает названия и истории всех родников.

— Этот — Молочный ключ,— окуная руку в чуть мутноватую воду, говорит она.— Когда овцы напьются этой воды, молоко у них так и пенится. А этот — Колокольчик. Слышишь? Это он звенит. Ты послушай — настоящий бубенчик.

Я наклоняюсь к воде. Верно — в источнике что-то странно позванивает, будто вода задевает серебряные бубенчики: ти-ти, цлинг-цлинг, ти-ти, цлинг-цлинг...

Я еще слушаю, а Нушик уже убежала, опять зовет меня:

— Сюда иди! Это Чабан-родник. Каждый год, когда чабаны гонят овец в горы, они братаются возле этого родника хлебом и водой, клянутся, что весь год будут помогать друг другу и, если один позовет, все явятся на выручку. Есть еще родник, вон тот, что бьет из-под камня. Это — родник Заветной Надежды. Пойдем, расскажу.

Родник Заветной Надежды бьет фонтанчиком из-под огромной замшелой плиты и, окруженный камнями, затихает на миг, превратившись в озерцо. Затем, перепрыгнув через нижний край запруды, ручей убегает вниз по склону, чтоб слиться со своими братьями. Вокруг набросано много разных вещей: разбитый кувшин, обыкновенная овечья бабка, глиняный горшок. А на дне

озерца поблескивает медное колечко. Гарик сует руку в воду, хочет достать колечко.

— Не трогай, грех! — Нушик оттаскивает его.— Это кинули, чтоб исполнилось заветное желание. У кого есть заветное желание, тот должен оставить здесь кувшин или бросить в воду кольцо или браслет, и родник исполнит то, о чем ты все время думаешь. Вот посмотришь, Смбат и Баласан сегодня обязательно оставят здесь что-нибудь. У них заветное желание, потому и поднялись в гору.

Мы идем все дальше, от родника к роднику. Нушик объясняет:

— Этот — Студеный, этот Прохладный. Еще один есть — Губящий Надежду, мимо него не проходит никто. А вон там — Сердце Жнеца, очень жалостная у него история.

— Почему же не рассказываешь? Расскажи!

— Нет, это долгий рассказ,— отказывается Нушик,— Арег расскажет, спроси у нее, когда дойдем.

А мы, оказывается, уже дошли, сами того не заметили.

Перед нами широкий, яркий луг, окруженный холмами. В разных концах этого луга уже играют дол с зурной; девушки, сбившись в стайки, пока что только смотрят, а самые горячие молодцы уже ринулись плясать каждый около своих. Все они из разных деревень, и у каждой группы свой сарбаши, его сразу видно по одежде, да и повадки у него свободные и властные. Он — вожак и распорядитель в танцах.

Хорошенько разгорячившись и вспотев от пляски, парни соединяются в группы и затевают новый — круговой танец.

Наш сарбаши, помахивая красным платком, командует танцующими. Все урутские парни крепко обхватывают друг друга за плечи, земля дрожит от их дружных ударов, и девушки не выдерживают, выходят танцевать. Такие хороводы — во всех концах луга. Каждый сарбаши старается, чтоб его танец был самым примечательным. Вскоре зурна умолкает — начинаются плясовые песни. Девушки поют, парни отвечают. Две тоненькие девушки с длинными косами, став по левую руку нашего сарбаши, звонко заводят:

Сарбаши, сарбаши,
Хоть пляши, хоть не пляши,
Своей милой не получишь,
Даром душу не суши.

Двое парней, не дожидаясь, пока они закончат, спешат ответить:

Щеки алые цветут,
Шаль горит, как изумруд,
Отдадут, не отдадут ли —
Не уйдешь от наших пут.

Девушки улыбаются:

Ах, клянусь крутой горой,
Этой пляской удалой,
Сердце цепью не привяжешь,—
Осторожнее, герой!

Видя, что с противником не сладить, парни меняют напев и продолжают уже вчетвером:

Бродит дичь вокруг силка,
Чую запах шашлыка,
Ночью милую умчу я,
Поцелую, поцелую
Уж теперь наверняка!

А у девушек уже готов ответ:

Зелена дорога в горы,
Парень, сбился ты с пути.
Спой нам песню поскромнее,
А любовью не шути.

Перевес на стороне девушек, и, видя это, сарбаши разрывает ряд и тянет всех к танцующей рядом группе. И уже все вместе подпрыгивают в гигантском круге и поют:

В поле тянется росток.
В комсомоле мой дружок.
Свет луны, зеленый тополь,
Год хороший, хлеба вдоволь.
Слышу, слышу — дол с зурной —
Это яр пришел за мной.
Мой отец не будет строгим,
Не оставит за порогом.

Пляска все горячее. Баласан пляшет с Вормиздухт. В тяжелых ботинках Ерванда топает, припечатывает траву Арег. Не отводя глаз от Баласан, Смбат задорно окликает Гаре:

— Топаешь, Гаре! Топай, пусть и у других будет такое счастье, как у тебя!

Признаюсь: мы с Нушик думали, что сегодня и нас пригласят в круг, но мы опять ошиблись. А стоять в стороне и глазеть не сладко.

— Пойдем и мы играть,— предлагает Нушик.

Отойдя подальше от танцующих, мы пускаемся бежать по шелковистому склону, падаем на траву, кувыркаемся. Гарик, который всегда затевает что-нибудь особенное, поднялся на самую вершину холма и во весь дух бежит оттуда вниз. Остановиться ему трудно, он убегает далеко — к журчащему у подошвы холма роднику, возле которого сидят несколько женщин. Они давно сидят там, собирали, видно, банджар и сейчас отдыхают. Гарик подбегает к ним, одна из женщин встала и машет ему рукой. Она что-то говорит, Гарик, мотнув головой, хочет увернуться, но женщина хватает его.

— В плен попал! — смеется Нушик.— Эти сборщицы банджара вмешиваются не в свое дело, не дадут человеку разбежаться. Шли бы собирать свой банджар в другое место...

— Арцвик, иди сюда!.. — заикаясь от волнения, кричит Гарик.

Сердце тревожно ударяет мне в грудь, я бегу, не чувствуя ног. Женщина, всхлипывая, бросается навстречу, прижимает меня к груди.

— Мамочка, мама!..

НОГОТЬ ОТ МЯСА НЕ ОТДЕРЕШЬ

Кто бы мог подумать, что я буду жить под одной крышей с Каро. Но вот пришлось...

В ту самую минуту, как мы встретились с матерью, я уже догадывалась об этом. Да и она понимала все и старалась отложить тяжелое, но неизбежное объяснение. Вот почему всю дорогу до дома мы ни о чем важном не говорили. Как только мать спрашивала что-нибудь о нашей семье, о том, как я жила все это время, перед глазами моими отчетливо вставала вся картина нашего бегства через реку, мелькал круп белой лошади Каро. Комок подступал к горлу, я что-то говорила как сквозь сон или окликала Гарика и Топлан, они, пожалуй, больше всех радовались за меня.

Мысль о Каро так мучила меня, что я даже не сразу вспомнила Артика.

— Артик? Здоров...— как-то неуверенно отвечает мать.

— Вырос?

— Что? Да, да. Восьмой год пошел...

— Меня помнит?

— Да, конечно,— все так же неуверенно ответила мать и умолкла.

Так мы и домой пришли, не открывшись друг другу. Наши, разумеется, очень обрадовались. Моя мать и Маран долго плакали, обняв друг друга. Даже матушка Ангин и Арег вытирали глаза. Братец Умршат — тот все налегал на трубку. Он всегда так делает,— если появится непрошеная слеза, дым выручает его. Дядюшка Авет терпеливо ждал, когда придет конец этому плачу и стенаниям. Потом принялся шутить, и впервые его шутки получились неудачными. Ему мешало то же, что и мне,— Каро...

Все эти дни я не отходила от матери. Когда же они успели поговорить о Каро? Что они поговорили, это ясно — и у матери и у Маран глаза теперь были постоянно красными от слез, а у дядюшки Авета появилось сердитое и обиженное выражение.

Так прошла неделя. И однажды, когда мы все сели за стол, дядя Авет вдруг положил руку мне на плечо и спросил с неожиданной улыбкой:

— Ну, Арцвик, а ты что думаешь?..

— Ты о Каро спрашиваешь? — спросила я.

— Да, бала джан, ты догадалась...

— Мы не пойдем к нему.— И я прижалась к матери.

Осторожно отстранив меня, она сказала дяде Авету:

— Авет джан, ты мне все: и брат, и отец, и мать. Твое слово свято для меня. Так рассуди меня... Только чтоб я тебя не ослушалась...— Мать заплакала.— Я честная женщина, Авет джан; никого не могу винить: так судьба моя сложилась. Ну а если сложилась, что же делать? Буду нести свой крест до могилы.

Дядюшка Авет молча курил.

— Ладно, допустим. Крест твой — неси,— заговорил он наконец глухо.— Неси, если твоя совесть говорит, что так надо. Но ребенка, ребенка зачем берешь? К кому ты его уводишь? Неужели и здесь совесть твоя говорит, что так надо — невинного, как рассвет, ребенка утащить в нору к этой гадине? Один уже там — не хватит ли? Нужно ли губить детей, Сато джан?

— Один...— Мать, всхлипнув, обняла меня.— Этого одного нет больше, Авет джан...

Я заплакала. Дядюшка Авет опустил голову.

— Чувствовал я, что-то тут неладно. Так и знал. Значит, Артика нет уже?

— Нет Артика...— шепчет мать.— На руках был... Прямо из рук улетел мой маленький мальчик... Столько мучений принесла ему эта дорога, не выдержал, отдал тебе свое солнце, Авет джан.

И оба надолго затихли. Потом дядюшка Авет поднял голову, вытер влажные глаза.

— Да... так, значит, получилось... Как же я теперь отдам в руки Каро эту единственную искру от очагов Арама и Агабека?

— Хочешь не хочешь, а придется, Авет джан,— твердо стояла на своем мать.— Правда, девочка хоть и моя, но твоя она трижды. Ты в тысячу раз больше заботился о ней. Но сердце мое, Авет джан, не вынесет. Одна она у меня осталась,— и если не будет ее около меня, чем же утешусь, жизнь ведь у меня не сладкая. Я тоже человек, не сухая колода!..

Мне стало жаль мать, и я прижалась к ней, а дядюшка Авет поднялся и, сильно скрипя ногой, прошелся по комнате.

— Ты связала меня, Сато,— вздохнул он, останавливаясь перед матерью.— По рукам и ногам связала. Лиса сама сунулась в капкан, а ты стала на дороге и не даешь мне покончить с ней.

— Знаешь, отстань от нее...— вмешалась вдруг Маран.— Не трогай ребенка, это ее родная плоть, пусть и будут вместе, ноготь не оторвешь от мяса. Выведут когда-нибудь на чистую воду и Каро. Не один ты его знаешь. А с девочкой ничего не случится, за ее спиной — ты, и дверь твоя всегда будет открыта и перед Сато, и перед ее ребенком.

— Ладно, на этот раз послушаемся женщин. Но что касается Каро, так и знай, Сато: против своей совести я не пойду.

— Авет джан, меня лучше убей. Возьми свой наган и убей

на месте,— взмолилась мать.— Если Каро даже в огонь превратится, он не сможет сжечь одной охапки сена в этом государстве. Не отнимай у меня главного, плох он или хорош — его дала мне судьба.

На следующий день мы с матерью отправились в путь. Дядюшка Авет хотел, чтоб с нами пошел Умршат, чтоб довел нас до места, но мать моя наотрез отказалась. Никто не мог понять этого упрямства. Она вообще не хотела, чтоб нас провожал кто-нибудь из родни. Лишь после долгих уговоров согласилась, чтоб с нами отправился дядя Шмо.

Тяжело было на сердце, когда я расставалась со своими близкими друзьями и домом, который стал для меня уже родным. Я нашла наконец свою мать и к ней ведь уходила, а казалось, что мы опять бежим от кого-то и за спиной у меня дымятся развалины нашего старого села. Меня провожали друзья, с которыми делила я и радость и горе, товарищи по играм и Топлан, а на сердце лежала печаль. И печаль эта хлынула слезами, когда мы дошли до бабушкиной могилы. Топлан, бежавшая перед арбой, тихо заскулила и, покружив около мшистого камня, уселась. Присели и мы. Поговорили о бабушке, каждый вспомнил какой-нибудь случай или словечко, сказанное ею. И она встала перед нами как живая, со всеми своими радостями и печалями.

Мы помянули мою добрую бабушку, которую никогда мне не забыть, и поднялись, чтоб идти дальше. Мы встали, а Топлан даже не шевельнулась. Только печаль блеснула в умных глазах.

— Топлан, Топлан! — позвала я.

— Пойдем, Топлан! — позвал Гарик.

Но собака в первый раз не послушалась. Положив голову на лапы, посмотрела на нас и осталась лежать.

Мать видела, что творится со мной, видел и дядя Шмо. Хоть сидел он к нам спиной и погонял волов, гудя в усы какую-то песню, но видел он все и поэтому затеял беседу. Что же сказал нам дядя Шмо?..

— Сейчас поворот, и кончатся наши поля. Дорога пойдет ущельем, а там еще немного, и будет Согтлу. Дальше потяжелей — дорога все в гору, в гору, тяжеленько придется волам. А кто идет оттуда — тому, наоборот, легко. Есть и покороче путь, во-он там...— он указал концом палки на низко нависшее облако.— Я плоховато вижу, посмотри ты, во-он, из-под облака не тянется там тоненькая тропинка?

— Тянется...

— Вот это и есть самый короткий путь... К примеру, если вдруг решишь пойти куда-нибудь, отправляйся смело по этой дороге, за один день дойдешь. На каждом шагу — деревня, и если кто решится пойти, у него всегда найдется попутчик... Ни волков, ни зверей можно не бояться. Ни воров, ни разбойни-

ков. По этой дороге, к примеру, легко пройдет даже ребенок...

Что хотел этим сказать дядя Шмо? Мать сразу поняла его и вдруг заговорила о Каро:

— И он человек, не зверь. Раньше был такой, сейчас стал другим. Очень изменился, не заносится, теперь это не прежний Каро, ума набрался, тише стал.

— Еще бы — притихнешь...— проворчала я.

— Нехорошо говоришь. Сколько таких, как он, бросили земли этого государства, к чужим убежали. А он остался. Долго он все решал и взвешивал, но понял все-таки: не годится так — уходить от земли и воды прадедов, искать счастья на чужбине. А убежать он мог в два счета: повернул лошадь, перешел Ахурян — и все...

— И тебя бы взял с собой?

— Пошла бы, так взял...

— Ну и пошла бы, чего ж осталась?

Мать с упреком посмотрела на меня, глаза ее заволокло слезами.

— А ты? Как бы я тебя оставила? — прошептала она.

— Так же, как оставила тогда, на берегу,— со злостью отчеканила я.— Оставила ведь? Как же ты могла знать, что я осталась жива? И заболеть я могла, и умереть, как Артик. И жаль, что не умерла...

— Знала, бала джан, знала,— вздохнула мать.— Сердце матери не обманет, все время говорило оно мне, что ты жива, что ты где-нибудь в этих краях. Знала бы, сколько деревень обошла — тебя искала...

Лицо у нее было худое и даже как-то потемнело. Сердце мое сжалось. Я вдруг увидела ее, одиноко и печально бредущую из деревни в деревню. Может, и голодной оставалась, без крова. Все расспрашивала, и люди равнодушно отворачивались, а кто-нибудь и обижал ее, оскорблял. И все из-за меня, а мне вот... даже ехать к ней не хочется...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МОЕ ПОТЕРЯННОЕ СИРОТСТВО

Я положила голову на плечо матери и чувствую приятный холодок ее тяжелых кос. Слышу биение сердца. Я не вижу лица матери, но чувствую — она ласково смотрит, затаила дыхание. Даже покачивает меня тихонько — решила, наверно, что я дремлю. Мамочка, не сплю я, просто боюсь вспугнуть эту тишину и ласку, они напоминают мне раннее детство. Вот так же я при-

страивалась на коленях у матери, и она укачивала меня. И засыпала я глубоким сном, без сновидений, не думая ни о вчерашнем, ни о наступающем дне. Вот бы сейчас так уснуть. Ведь все как будто по-прежнему: верещит ночной сверчок, в открытый ертык, затянутый темной синевой весеннего неба, словно капают сверкающие звездочки. А рядом — мать, моя мать... Что еще надо для сладкого сна?

Надо, чтоб уснула и мать, по-настоящему глубоким, снимающим все заботы сном. Чтоб не вздыхала беспокойно: прислушается, затаив дыхание, и снова вздохнет.

— Ма, о чем ты думаешь?..

— Ни о чем...

— Нет, думаешь, и я знаю, о чем.

— Спи, спи, утром поговоришь,— натягивая мне на плечи одеяло, шепчет мать и, удобнее устроив мою голову на своем плече, укачивает, укачивает меня, будто просит: спи...

— Ма, ведь я уже не маленькая... Давно уже выросла...

— Выросла, детка моя, расти на здоровье... может, я доживу до твоей свадьбы...

— Бабушка говорила — горе человека растет вместе с ним.

— Эх, бабушка... у бабушки было настоящее горе, а у тебя что? Ты еще ребенок, бала джан.

— А что хорошего — ребенок?

— Отчего же, детей все любят, не обижают. Если когда и побранят за шалость, то тут же и снова приласкают. Быть бы и мне сейчас ребенком!

— Чтоб сиротой называли, да?..— взрываюсь я от обиды. И сразу чувствую на себе ее тревожный взгляд. Губы ее, кажется, дрожат — хочет сказать что-то и не может. Молчу и я. Голова моя все еще у нее на плече. Я слышу биение ее сердца — но теперь оно чаще, беспокойнее. Слеза сползает по моей щеке, скатывается ей на рубашку.

— Нет, тебя больше никто не назовет сиротой... Я не позволю,— отгоняет свои мысли мать и, словно защищая меня от какой-то большой опасности, крепко обнимает.— Не позволю.

Эх, мамочка, если ты правда сделаешь так, что не будут называть меня в этой чужой деревне сиротой, мне не надо другого счастья. Но вот почему дядя Шмо уходит, а ты не позволяешь проводить его?

Ну да, никак не позволяет. При нем молчит, уводит разговор в сторону, стесняется старика. А как только он выйдет за дверь — все тот же сдержанный и решительный отказ.

— Сказала нет,— значит, нет, больше и не спрашивай.

Хорошо, не скажу больше ни слова. Но сердце переворачивается. Как же так, дядя Шмо уедет — и конец всему? И не увижу я больше Урута, дядюшки Авета, моих друзей, подруг?

Ведь там, в Уруте, наш домик, тот клочок бахчи, где Маран так заботливо выращивала тархун и кинзу. Там мы поливали и огород Сурена, и по вечерам Вардан, отыскав мою руку, совал мне прохладный и шершавый огурчик. А Гаре, что пел: «Ты куропатка, лапки алые»? А братец Умршат с его вечными вздохами: «Ах, наш край, наши звонкие ручьи...»?

Неужели моя мать не понимает, как трудно потерять все это, да еще теперь, когда все находят друг друга?

Дядя Шмо медленно запрягает волов, задумчиво пыхает трубкой и наконец поворачивается:

— Ничего, Сато джан, позволь девочке, пусть пройдется со мной немного, послушай ты меня.

— Пусть делает как хочет,— со сдержанной обидой роняет мама.— Не хочет оставаться здесь,— насильно мил не будешь, забирай, вези ее с собой, дядя Шмо.

У нас обеих в глазах слезы. Я крепко, очень крепко обнимаю мать и бегу за арбой.

Выходим из деревни. Вот и последний поворот дороги, старик останавливает арбу, берет мою руку в свою жесткую ладонь.

— Ну, что скажешь теперь: идешь со мной или прощаться будем?

— А мать, дядя Шмо, как я уйду без матери?

— Ну да, и я о том же, о матери... Ладно, не будем больше говорить, бала джан. Ты ранила сердце матери. Но ведь материнское сердце не стекло. Только стекло нельзя склеить. Сердце матери выдерживает все удары, всю боль, для того оно и существует — сильное сердце матери. Авет послал меня с тобой, чтоб увез, если невмоготу тебе станет. Вот так... Ну, а если останешься — помни: Сато видела много горя, утешением должна быть ты для матери. А то зачем же приехала? Сумей все вытерпеть, даже адские муки. Нет у тебя права топтать сердце матери... Понимаешь, о чем говорю?..

— Понимаю.

— Ну, значит, молодчина. Считай, что я твой дедушка и наставляю тебя. Сейчас ты дочь, дочь своей матери, и если от нее отвернешься ты, кто же ее утешит? Чужие люди, они и есть чужие... Ну, оставайся с миром, бала джан.

...Я стою на большом камне и печально гляжу вслед удаляющейся арбе. Волы идут медленно, лениво помахивая хвостами. Арбу потряхивает, и с нею вместе подскакивает огромная папаха дяди Шмо. А дым от его трубки будто тянется ко мне из-за покатого стариковского плеча. На арбе, возле охапки сена, лежит хурджин. Это в нем Маран носила когда-то хлеб партизанам, а всего лишь несколько дней назад положила туда мои дорожные харчи... Пестрые полоски старого, родного хурджина играют на солнце радугой. Они совсем близко: протяни руку — и коснешься. Смотрю не мигая, боюсь потерять хоть одну его пестринку. Глаза устают и... делаются мокрыми. Поспешно вытираю

и опять смотрю вдаль, но уже не видно ни арбы, ни волов, ни папахи дяди Шмо. Остались только краски хурджина. Они разбросаны по всем лужайкам, вдоль склонов и сверкают ярко, радужно.

Это тот же горный край Алагяза, те же скалы, те же ущелья, камни и пещеры. И цветы, цветы — тысячи оттенков и ароматов. Пестрыми заплатами мелькают поля, луга, зеленеет озимь, чернеют пашни. Я слышу рокот летящего со скал водопада, шепот ручьев, шелест цветов и трав, щебетанье жаворонка. А там, вдали, поднялся белобородый, с серебряной гривой Алагяз. Он будто смотрит на меня со своей снежной высоты и тихо говорит, как дядя Шмо: «Понимаешь, о чем говорю?..»

Понимаю, теперь все понимаю, дядя Шмо джан, Алагяз джан, понимаю!

Сердце переполняет радость. В душе — мир. Я бегу веселая, такая веселая, словно мне подарили всю вселенную. Это моя радость вьется речкой и шумит водопадом, это она играет на цветах и зелени, замшелых скалах, острых утесах. Моя радость волнами вместе с ветром пересекает поля, и жаворонки в небе радуются вместе со мной.

Как хорошо, что и у меня есть мама. Мама! Наконец-то!

Вдали на зеленой бархатистой лужайке пасутся ягнята. Пастушата затеяли какую-то игру. Я вижу там и девочек. Их красно-зеленые платья трепещут на ветру, как большие горные маки. Что, если пойти туда, поиграть с ними? Скажу — вот, я теперь ваша, деревенская и останусь в деревне, пока здесь моя мама...

Пастушата увидели меня, бегут навстречу, как старые знакомые.

— Давай играть с нами. Как тебя зовут? Во что будем играть?

— В то же, во что играете вы.

— Нет, пусть будет, как ты хочешь! — с каким-то особенным уважением настаивают они. Это так непривычно, так странно.— Ну, говори! Во что захочешь, в то и будем играть. Прятки, ловитки, скакалки — выбирай!

— Мне все равно.

— Ну ладно, не хочешь — играть не будем,— ласково говорит маленькая девочка. Ее руки совсем почернели от сока синдза.— Гуляла, да? Хорошие у нас поля, правда? Когда учитель только что пришел в нашу деревню, он тоже гулял, как ты. Наши поля красивые, учитель всегда говорил...

— Растрещалась! — набрасывается на девочку синеглазый мальчик с облупленным носом.— Не знаешь, а трещишь на весь мир. Учитель пришел! Разве тогда он учителем был?

— Это ты трещишь, а ничего не знаешь,— девочка насмешливо вздергивает нос,— учитель всегда был учителем, с детства был. Не знаешь, учительство человеку дается от рождения, как ходьба по канату.

Синеглазый мальчик даже кулаки сжимает в гневе, он почему-то сильно оскорблен.

— Эх ты! Честь учителя для тебя все равно что перепелкин хвостик,— шипит он.— Ставишь почтенного учителя в один ряд с канатоходцем Вачаганом!.. Девчачьи мозги...

— Я не то хотела сказать, я о другом...— смущается девочка и опять смотрит на меня с каким-то непонятным уважением.— Пропади он пропадом, этот канатоходец, стану я сравнивать с ним нашего дорогого учителя! Разве я не знаю, что учитель очень ученый и совершил много подвигов...

— Сказала!..— не успокаивается мальчик.— Конечно, ученый. Но разве был он учителем, пока не пришел в нашу школу? Землемером был, а не учителем. Поняла? Забыла, как он нашел управу на вернашенцев?

Маленькая девочка и правда, видно, забыла, какую управу нашел их ученый учитель, умолкла и озирается с виноватой улыбкой. Зато те, что помнят, а есть и такие, что видели,— наперебой спешат рассказать подробности знаменитой истории.

Они кричат, поправляют друг друга, спорят, трясут кулаками в сторону неизвестного еще мне Вернашена. Им не хватает ни слов, ни жестов: лучше всего, конечно, было бы мне самой там побывать, тогда бы я поняла сразу, почему плох Вернашен, чем хорош учитель и что с его помощью выиграли беженцы, эта деревня, и Караберд, и эти дети.

Но я и так уже ненавижу вернашенцев и восхищаюсь учителем — неизвестным героем. А за беженцев радуюсь куда сильнее, чем эти мои новые друзья,— ведь я сама не так давно была беженкой.

Да разве мог бы кто-нибудь думать и чувствовать иначе, услышав эту необыкновенную историю?

Судите сами.

Вернашен, еще со времен Адама, богатое село. Все лучшие земли на склонах Алагяза принадлежат ему: пшеница на полях Вернашена — в рост человека, морковь на огородах — в две с половиной пяди. Известно, богатей гребет только к себе. И вернашенцы, еще со времен Адама, были хапугами, задирали нос и не признавали ни одного закона на свете.

И вот пришел закон трудового землепашца. Вернашенцам сказали: надо смешать земли и раздать снова, чтоб у всех была земля, чтоб кое-что досталось и беженцам. «Справедливый закон»,— обрадовались карабердцы. «Никаких законов не признаем и к черту беженцев! — отвечали вернашенские богатеи и взялись за дубины.— Беженцы, вон из нашего села, и вы, карабердцы, тоже».

Дрались два соседа. А беженцы в драку не полезли.

«Слушайте, люди, эта драка и вам на пользу, почему не идете помогать?» — сказали карабердцы и вернашенцы тоже. «Наша драка будет после»,— ответил и тем и другим один из

беженцев, ученый и образованный человек. Сказал, а сам тайком пошел к закону, все растолковал. И ему дали бумагу: «Ты ученый человек, пойди уйми этих вернашенцев, прокляни их отца, раздели земли, ура, молодец, товарищ землемер!..»

И что вы думаете — с неба упало три яблока? Нет, это только в бабушкиных сказках с неба падали яблоки. Рассказ моих новых товарищей закончился иначе.

— Вернашенцы поняли: дело плохо. И решили нам насолить. «Караберд ты или другие какие камни и лишаи — не присылай своих детей в нашу школу, мы теперь в ссоре»,— заканчивал рассказ синеглазый, отвоевавший наконец право говорить без помех.— А у нас здесь ни школы не было, ни учителя. Ходили в Вернашен, хромая их учительница занималась и с нами. И издевалась, конечно. Говорила нам по-русски «марш» и еще вот так: «сволич». Но это была все-таки школа. Что же делать теперь? Где взять учителя? А учитель был под носом, только мы не догадывались! Хорошо, что сам надоумил нас. Пришел в деревню и говорит: «Был землемером сорока деревень, справедливо поделил все земли. Так неужели не смогу учить ваших детей?»

Наши — председатель и ячейка,— понятно, обрадовались: «Золотое слово, учитель джан! Днем с огнем тебя искали, без огня нашли».

Вот как учитель пришел к нам в деревню, а ты говоришь, он всегда был учителем,— снова поддел синеглазый чумазую девочку.

Закончился рассказ, похожий на сказку. И хоть с неба не упало ни одного яблока, но все вокруг — и каменистое поле, и горы Караберда,— все расцвело, будто осыпанное этими сказочными румяными плодами. Яблоками пахли цветы и травы, яблочками рдели щеки маленькой чумазой девочки. С руками, полными яблок, шел где-то их учитель, мой учитель.

Когда же увижу его, когда же войду в класс и услышу приятный голос: «Новая ученица! Ну, Арцвнак Арамян, читай урок!»

...Тени стали совсем короткими. Полдень. Дети гонят ягнят в деревню — пора дойки. Ягнята нетерпеливо, вприпрыжку несутся в деревню к своим матерям. Я тоже тороплюсь. Скорее к маме. Расскажу ей сказку о чудо-учителе! Но новые друзья не понимают моих чувств. Они ведут меня по всем кривым и косым улочкам деревни. А крестьяне смотрят, смотрят на нас. Одна молодая женщина, улыбаясь, громко окликает:

— Эй, дети, кто же это с вами?

— Пропавшая дочка учителя!..— задирает нос вся команда моих провожатых.

Так вот какой ценой получаю я счастье...

Кончилось все. Кончилось мое сиротство, а с ним и найденный мной мир, журчание речки, шелест нив и песня жаворонка, радость, горе,— все осталось там, за деревней, на новых, незна-

комых мне дорогах. Перестав быть сиротой, я должна стать дочерью учителя. Учителя!..

Эх, мама, мама! Зачем ты скрыла от меня самое важное? Знала ведь все, а на вопросы дядюшки Авета о Каро все-таки отвечала неопределенно: «Откуда мне знать? Занимается, наверное, чем-нибудь, живет себе». И я тысячу раз спрашивала тебя: куда ушел Каро, когда вернется? И все тот же невнятный ответ: «Пошел по деревням, он всегда уходит. Мужчина, не наше дело, зачем он идет».

Конечно, это не мое дело, хочет — пусть уходит к самому черту в объятья, но кто посмел сказать этим крестьянам, что я дочь Каро?

Нет, не получится из меня смирной овечки. Все наставления дяди Шмо вылетели из головы. Я все еще торопилась домой, но подгонял меня гнев.

Мать сидела на тахте, разостлав на коленях мое старое платье,— пришивала заплату и улыбалась чему-то. Светлой радостью лучилось милое лицо. Мягкое, тихое счастье смотрело на меня из глаз. Как же не обнять ее, умиротворенную, притихшую. Я, конечно, обняла ее и расхохоталась:

— Пришла дочка учителя...

Мать подняла голову, улыбнулась смущенно. Я села рядом, прижала к себе ее дрожащие плечи.

— Ма, мама джан...

— Да, джан, ты есть хочешь, бала джан?

— Нет, я сыта. Да и кто захочет есть, когда забьют голову подвигами учителя Каро!

По лицу матери пробежала тревожная тень, она забыла о шитье и наколола палец.

— Не болтай глупостей,— высасывая кровь, пробормотала она,— сейчас хлеба принесу, поешь.

— Ну и посмеется дядюшка Авет, если узнает, что Каро стал учителем.

— Все еще издеваешься?.. Так получилось: и ему хотелось, и крестьяне просили, не нашли другого...

— Зачем же от меня скрыла?.. Учитель, мудрый, ученый, добрый, всем помог, все решил как надо. А я-то, дура, не пойму, что все это о хозяйском Каро, а я его дочь... Я его дочь! Кто смог сказать такое? — Голос мой задрожал. Я все-таки зарыдала, зарывшись головой в колени матери.

Мать молчала, осторожно поглаживая меня по голове.

— Ты еще ребенок, бала джан, ребенок,— вздохнула она, когда я успокоилась.— В деревне — свой закон и порядок. Не говорят — дочь жены такого-то. Родные или не родные мы — кому какое дело? Пусть называют тебя дочкой учителя. Разве изменишься от этого? Ведь ты моя дочь, моя единственная, утешение мое. Чего еще хочешь?

Я взглянула на нее. От недавнего умиротворения и тишины

на лице ничего не осталось. Вокруг молодых глаз набежали горькие преждевременные морщины, в выбившейся из-под платка прядке волос сверкнули белые нити. А сами глаза смотрели на меня скорбно, терпеливо и мудро — это был взгляд бабушки Нуно...

Действительно, чего я хочу и что мне до болтовни других? Ведь я дочка своей матери, и она, моя единственная, со мной. Пусть дышит на меня не только Каро, но даже сам сатана, все равно мне хорошо, раз я с мамой.

После нашего объяснения я больше не заговариваю о Каро, не интересуюсь им и вижу: мама довольна. А мне ведь это и нужно — пусть мать будет веселой, не тревожится, и пусть исчезнет тонкая паутина морщинок, она совсем не подходит к ее молодым глазам. И почему я так сильно люблю мою мать? Сплю я или нет, на дворе или дома,— все мои мысли с ней. Боюсь отвести глаза. Вдруг свалится какая-нибудь беда, и снова у меня отнимут мою дорогую.

Я никуда не хожу и не хочу, чтоб к нам кто-нибудь ходил. Болтаю, прилипнув к маминому подолу, и обе мы радуемся. Но в глубине ее глаз прячется какая-то тревога. Голос, движения вдруг делаются несмелыми, будто кается в чем-то, будто виновата. В чем?

А этот учитель совсем меня замучил. Выхожу ли на улицу, иду к роднику,— всякий, кто ни встретится, обязательно напоминает мне о нем.

— Так, значит, ты дочка учителя... Жаль, нет его здесь, как он обрадуется, когда приедет и увидит тебя.

— Еще бы! Бедный человек так горевал: «Моя дочка... Нашлась бы...»

Значит, бесстыжий Каро объявил меня своей дочерью, даже не зная, где я... Какой расчет, что даст ему это?

— Что мне делать, ма? Куда ни повернусь — учитель, дочка учителя, жена учителя. Чего нам не хватало раньше, когда мы не были ни дочкой учителя, ни женой? Эти болваны караберд-цы нашли себе идола и молятся на него. Нашелся бы кто, объяснил им, что за учитель этот хозяйский Каро. Дашнак — и все...

— Молчи, не хочу слышать этого слова,— сердится мать.— Что бы там ни было, сейчас он мой... главный...

Глаза матери переполнены слезами, голос дрожит. Сердце мое разрывается, я прижимаюсь к ней.

— Ма, ведь я... боюсь Каро...

— Не бойся, доченька,— не сразу, но решительно говорит мать.— Каро не гиена и не съест тебя, чего боишься? Вот придет, увидишь, совсем он не страшный.

Каро пришел... Меня оповестил об этом толчок в сердце. Вскочила как ужаленная, хотела спрятаться и не успела. Мое смятение передалось маме, она встретила своего «главного» смущенно. Каро, сняв с плеча, передал ей хурджин, повернулся ко мне, протянул руку:

— Пришла? Ну слава богу. Здравствуй!

Не поднимая глаз, я притронулась к его суховатым пальцам и сейчас же отдернула руку. Будто холодные ящерки шевельнулись в моей руке.

— Изрядно вытянулась,— разглядывал меня Каро.— В кого такая выросла? Впрочем, везде своя причина: ясно — растения, которым не хватает света, тянутся вверх. То же и с детьми...

— А ты хорошо сделал, что скоро вернулся. Арцвик ждала тебя, все спрашивала,— нанесла мне мать неожиданный удар и, отводя глаза в сторону, чтоб не видеть моей колючей улыбки, засуетилась у стола.

— Кончил дело и вернулся,— вздохнул Каро, стягивая с ног новенькие скрипучие сапоги, потом отстегнул от пояса револьвер и быстро сунул под подушку.— Там в хурджине есть кое-что: орешки, финики, фрукты сухие, достань, дай ребенку.— И при этом он улыбнулся мне. Мама не решалась, и Каро сам полез в хурджин. Достал бутылку водки, встряхнул, просматривая ее на свет, и проглотил слюну. Еще порылся и протянул мне в пригоршне орешки и финики.— Это тебе.

Повторялось то, старое: ведь он уже приносил мне конфеты. Вздрогнув, я отступила, спрятала руки за спину.

— Бери, зачем стесняешься? — Он шагнул вперед.— Знал, что ты пришла, вот и принес. Для тебя принес.

— Возьми,— тихо попросила мать.

— Знал, что пришла? Откуда знал? — Я посмотрела наконец прямо ему в лицо.

— Птички прочирикали в дороге...

Сели за стол. Я и мама не смотрели друг на друга, а Каро будто не замечал этого, а может, не хотел замечать. Поставив перед собой бутылку, он не спеша наполнил стакан. Прежде чем выпить, внимательно разглядел на свет мутную водку, погладил усы и вдруг с маху опрокинул стакан в глотку. И довольный пробормотал:

— Славься, жизнь!

После второго стакана он покраснел, взъерошился и стал требовать, чтоб выпила с ним и мама.

— Пей, жена джан! Пей! Хорошо говорил Авет: пока есть — будем жить так, а когда не будет — обойдемся, как обходится Манташев.

«Жена джан»! Эти слова обожгли меня, хоть я и должна была ожидать их.

— Как Авет? Дела идут удачно? — повернулся он ко мне.

— Откуда ты знаешь о дяде Авете? — проворчала я.

— Я все знаю! — усмехнулся он.— Хочешь, расскажу, как ты пришла от него ко мне? Сато, не думай, я тоже искал ребенка. Сказали: мать пришла и увела. Ишь ты — опередила меня! Значит, так, Арцвик, мать нашла тебя, верно? Нашла, а Авет уперся — не отдам ребенка в руки такому человеку, как Каро. Верно? Таков наш дядя Авет. Это он! У других вражда — как снег на горе: появится солнце — тут же растает. А упрямство Авета как лишай на камне. Чем старее, тем крепче въедается. Но ты, Арцвик, молодчина — упрямая, не хуже Авета! Заплакала: хочу с матерью жить. И очень правильно сделала. Сейчас у тебя и отец и мать. Все прошло, кончилось, верно? Твой дядя Авет хороший, ничего не скажешь. И... большевик... Э, а мы что — черти? Сейчас каждый человек в своем сердце большевик. Ну, за твое здоровье, Арцвик джан.

Я криво усмехнулась. Мать сейчас же дернула меня за рукав. А Каро? Он чувствовал себя счастливым! Расхвастался, клялся мне, что он человек открытый, вся душа на ладони. Я, правда, когда-то не любила его, но он-то любил меня всегда. А мою мать — если б я могла понять, как он любит ее!..

— Эх, Арцвик, пора понимать тебе такие вещи,— вздохнул он.— В школу ходишь?

— Ходила.

— Молодчина! Теперь вместе ходить будем. Смеешься? Да, да, вместе! Хочешь, скажу как? Нет, не скажу...

— И говорить нечего, знаю — ты учитель в этой деревне.

— Верно, теперь я настоящий учитель. Учитель! — Он хлопнул себя по груди, прищелкнул пальцами и снова выпил.— Будем кутить назло врагам!

И мы кутили до поздней ночи. Каро пил, и речи его были все громче и горячее. А мы молчали, и мама тревожно поглядывала на меня, о чем-то моля глазами.

...И вот мать потушила лампу, ощупью прошла к своему месту. Меня будто в воду холодную окунули. Поскорее укрылась одеялом с головой, крепко зажала уши, чтоб не слышать собственных всхлипываний. Должно быть, и во сне я плакала. Всхлипывания и разбудили меня. Затекли руки, болели зажатые уши, но глаза... глаза были сухими. Кто же плакал?..

— Относительно Авета не беспокойся,— услышала я дрожащий голос матери.— Он так и сказал мне — ради меня...

— А что я сделал такого, Сато джан? — глухо просопел Каро.— Если и было что, ведь кровью собственной смыл. Ты должна была сказать ему...

— Зачем? Авета этим не удивишь... В общем, не будем провеивать старую солому. Авет обещал мне, что тебя... Словом, он не такой человек, не отступится от своего обещания.

— Эх, если б только Авет! — вздохнул Каро.— На свете есть и другие, повыше. Понадобится — и не станут считаться со словом твоего Авета. Сейчас никому нельзя верить. Голова человека и копейки не стоит.

— Веди себя умнее, держись подальше, зачем будут трогать тебя? Выкинь этот проклятый наган. Что скажут, если увидят? Сейчас нет грабежей и разбоя, на что тебе оружие? Ты имеешь дело с детьми.

— Сейчас не надо, потом пригодится.

— Сердцем ты неискренен, зачем же валить на Авета? Ходишь к старым дружкам, они мутят тебе сердце...

— Что ты, Сато! Не так поняла. Я хотел сказать... на днях давали мне за наган корову. Конечно, зачем нам оружие, продам.

— Свихнулся ты, человек! — повысила голос мать.— Покупать корову за наган! Корова, что придет ко мне в дом за такую цену, принесет с собой и кровь. Не хочу я.

Они замолчали. Прошлепали босые ноги — Каро напился воды. Потом подошел ко мне, постоял — прислушивался. Я, конечно, не шелохнулась. И опять они зашептались. Теперь говорили обо мне.

— Как она?..

— Не знаю,— вздохнула мать.— Не совсем прежняя...

— Да, это заметно. Что ни говори — без отца, без матери, чужой дом... Авет, конечно, кормил, но не мог же он дать родительской ласки? Хочешь верь, хочешь нет, Сато джан, я рад, что ребенок с нами.— Он тихонько чиркнул спичкой и, глотнув папиросного дыма, закашлялся. Успокоившись, зашептал: — Сейчас я хочу только одного, Сато. Найти такое место, чтоб никто не знал, кто я, что я, и пожить спокойно. И хочу еще...— он запнулся.— Нехорошо, если наш ребенок будет расти одиноким. Надо ей товарища — брата или сестру. Пойми, мы все станем ближе друг другу, всякое недоверие, отчужденность — все пропадет. Понимаешь, о чем говорю?

— Понимаю,— вздохнула мать,— человек сам должен убедить себя. Лишь бы в твоем сердце не было чувства отчужденности. А ребенок всегда будет ребенком: ударишь шипом — станет колючим, как шип, коснешься розой — распустится, как роза.

— В моем сердце нет никакой отчужденности,— энергично объявил мой отчим.— И не будет, только ты сумей убедить ее. Все-таки по чужим домам росла. Она как дерево, выросшее криво. Первое для нас с тобой дело — выправить это дерево, пока оно зеленое. Воспитать нужно как следует, обтесать. А для этого нужно, чтоб ты повернула ко мне ее сердце. Авет в свое время много напортил, ребенок должен понять, кто я для нее.

В ответ я услышала лишь вздох матери. Оба замолчали. Молчание и мрак на миг сгустились, надвинулись на меня, мне показалось, что я вот-вот задохнусь. Но тут послышался храп Каро. И мне сразу стало легко.

Конечно, счастливая, а как же еще! Такой отчим! Сушеные фрукты, орешки, ночь без сна, великолепные планы Каро наладить наши отношения. Чудесное будущее!..

И так как счастливые девочки обязаны вставать рано, Каро окликает меня еще затемно:

— Арцвик, вставай, родная. Пусть не скажут соседи, что наша дочь лентяйка.

И я, дрожа он предутренней свежести, одеваюсь и прислушиваюсь,— кажется, где-то уже блеют ягнята. Сейчас выбегут на улицу пастушата, скорее бы уйти к моим новым друзьям.

А мама уже на ногах. Легко, неслышно движется она по комнате, приводит в порядок пыльную одежду Каро. А потом начинает развязывать принесенные им свертки. И каждый раз вопросительно смотрит на Каро. В свертках незнакомые, чудесные вещи. Я подхожу поближе. Каро, нежась в постели, распоряжается:

— Это сардинки, отложи, сегодня будут нужны. А это... не стесняйся, жена, разверни, не укусит.

Мать, смущаясь, осторожно разворачивает бумагу. Там что-то красное, похожее на скалку. Комната заполняется незнакомым, манящим запахом. Это к а л б а с т — с видом знатока объявляет Каро и велит тоже отложить в сторону. Одна из водочных бутылок отправляется в сундук, другая — на стол. Потом мать достает еще сверток — там, видно, что-то очень тяжелое, завернутое в маслянистые тряпки. Она и Каро молча переглядываются, мама бледнеет, Каро улыбается невинно:

— Это... это наша вторая корова, Сато джан.

В дверь стучатся. Мать едва успевает спрятать сверток — и тут же входит приземистый, широкоплечий человек. Не кланяясь, как свой, направляется прямо к полке, берет стакан, второй, из кармана достает бутылку и, широко улыбаясь, подходит к Каро. Тот все еще в постели. Они приветственно сдвигают стаканы, на лицах расплылось удовольствие, обоим не терпится выпить. Опять стук в дверь. Хозяин и гость разочарованно опускают стаканы.

На этот раз входят четверо — пожилые, заросшие густой щетиной крестьяне. Они толкутся у двери, не решаясь шагнуть дальше. Каро не спешит. Медленно, словно напоказ одевается, натягивает блестящие сапоги. Зевая и разминаясь, садится наконец в верхнем конце стола.

— Ну, землячки, подходите. Отправим на тот свет по рюмочке, пожелаем друг другу здоровья.

— Да продлятся твои лета, учитель. Живи для нас, а мы — для бога,— набирается смелости один гость и, кряхтя, берет стакан. Берут стаканы и другие, и кто-то выставляет на стол бутылку мутной водки. Мать мрачнеет, лицо Каро проясняется.

— Зря беспокоились, землячки, я, слава богу, не нуждаюсь, зачем эти расходы?

— Оно конечно, учитель,— смущенно бормочут они.— Ерунду какую-то принесли, тебе ли иметь нужду в этом. Это мы так... Ведь ты наш учитель, духовный отец наших малышей.

Каро опять наполняет стаканы, просит закусывать. Сам же осторожен, почти не пьет. Зато с удовольствием дает пояснения по поводу каждого взятого куска:

— Кушай, кушай, клади в рот, дорогой, не бойся, это калбаст.

После долгих колебаний, обругав и приободрив себя мысленно, один смельчак протягивает все же руку к закускам.

— Калбаст? Да, учитель джан, ведь верно, калбаст! Э, я это ел только в молодые годы. Думал, что такие вещи совсем исчезли со света.

— Ничего не исчезло,— ухмыляется Каро.— Пойди в город, посмотри, там всего полно. Нэп делает чудеса. Нет, теперь заживем, землячки, хорошо заживем. Ну, будем здоровы, пусть исполнится сердечное желание каждого. А у нас у всех одно, без сомнения,— одно и то же...— Голос отчима стал вдруг торжественным.— Дай бог, чтоб сбылась эта одна-единственная мечта, землячки!

Не знаю, чего желает всем сердцем Каро, а вот мне сейчас хочется только одного — уйти. Уйти из этой пропахшей табаком и водкой комнаты, убежать от самодовольной трескотни отчима. Маленькое, очень маленькое и легко выполнимое желание, если б, конечно, все было по-прежнему. Но как уйдешь от беспокойного, молящего взгляда матери, от властных глаз Каро? Да и пастушата, наверно, уже погнали ягнят на склоны.

Я грустила о своей утраченной свободе, а Каро, выпроводив последнего гостя, основательно подогретый прощальными тостами, затянул «Девушку-счастливицу» [1]. В первую минуту мне захотелось громко рассмеяться, но удивительное дело — не рискнула даже в мыслях. Пел Каро хорошо, с чувством, от души. Мое внимание явно польстило ему. Он подозвал меня, предложил спеть вместе. Я очень люблю песни и, когда мне хорошо, пою сама, но не вслух, а только в мыслях, про себя, иначе у меня ничего не выходит. Я так и сказала: не умею петь.

— Не может быть! — Он отпрянул.— Неужели ты такая?..

— Какая?

— Не верю! Ты можешь, можешь петь, дочка. Ведь только злые люди не поют, а ты... Ты не должна быть злой. Просто росла ты дикой, как чабан-горец, никто тебя не воспитывал, не учил по-человечески жить!

---

[1] «Девушка-счастливица» — песня из лирической поэмы Ованеса Туманяна «Ануш». Ныне одноименная опера.

— Чабаны в горах очень хорошо поют да еще играют на свирели...

Каро не слышал моих слов, он увлекся.

— Нет, я тебя выправлю,— продолжал он задумчиво, видно вспоминая ночной разговор с моей матерью. Ночью он поручал маме повернуть мое сердце. Но сейчас решил немедленно заняться этим сам.

Он принялся шутить со мной, совсем не замечая того, что сердце мое так и прыгает как черт. Моя мать тревожно следила за нами. Лицо ее то мрачнело, то прояснялось, смотря по тому, как я отвечала на шутки отчима. А шутки эти были очень веселыми. Вот хоть бы о моем носе. За всю мою не такую уж маленькую жизнь никто и слова доброго об этом довольно-таки вздернутом носе не сказал. А тут вдруг Каро заявляет: обладатель такого носа обязательно должен быть сердечным и добрым!

— А вот у тебя нос крючком, как клюв у ястреба,— смеюсь я, доказывая свою доброту.

— Ничего, и среди крючконосых иногда попадаются неплохие люди.

— Попадаются,— немедленно соглашаюсь я.— Вот дядюшка Авет. Нос крючком, а сердце прямое и... ни в чью сторону не повернется.

Мама смотрит на нас с подозрением. Но Каро сразу с толку не собьешь. Смешно задрав усы и приподняв верхнюю губу, он показывает мне желтый клык.

— Смотри-ка, у тебя клыки такие же кривые, как мои. Выходит, мы похожи, очень похожи.

Как ответить на это? Ничего не скажешь. Клыки у нас обоих торчат, и если прикрыть лица и оставить только зубы, мы действительно будем похожи.

— Зубами мы схожи,— продолжает он.— Подрастешь, вытянется и нос, станет таким же армянским, как мой.

— А потом отпущу усы и тогда совсем буду как ты.

Ответ ему понравился, он даже пытается обнять меня.

— Не трогай, укушу!

— Ого! Чем же ты будешь кусаться?

— Клыками. У меня ведь как твои...

Наконец я, кажется, задела Каро. Он обернулся к маме:

— Сато, твоя дочка издевается надо мной.

Мама не говорит ни слова. Только смотрит на меня укоризненно.

— А мама похожа на тебя? — спрашиваю я как ни в чем не бывало.

— Мама? — Каро внимательно смотрит на нее.— Знаешь, Сато, ты очень похожа на своего отца — папашу Мацо, сейчас только заметил. Вот Агабек не был похож, а ты как будто слетела с его лица.

— Так и должно быть,— подтверждает мама.— Девочка больше берет от отца, мальчик от матери, это известно.

Каро опять повеселел, ему кажется: еще две-три шуточки — и мое сердце будет с ним. Он берет меня за плечи и подводит к зеркальцу-осколку.

— Сато, посмотри, ну чем мы не отец и дочь!..

— Ма, а я, я похожа на своего отца Арама?..

Больше я ничего не могу сказать, выскакиваю из комнаты.

БЕНИК — УНАРОБРАЗ, А АРЦВНАК — АРЦВИК

Конечно, обидишься и выбежишь вон, когда вот так бесцеремонно лезут тебе в отцы, да еще призывают в свидетели зеркало. Но это может спасти тебя один, два, три раза, а дальше? Отчим не трех, чтобы, износив, выбросить и надеть новый. И не учебник, который через год заменяешь другим, более интересным и мудрым.

Отчим — дело постоянное. Вечное несчастье. И есть только одно средство спастись — кто-то из нас должен уйти.

И каждый раз, когда Каро снова пытался пригреть мое сердце, я твердо решала уйти, вернуться в Урут. Но всякий раз горестный, тревожный взгляд матери подрезал мои крылья. Оставалось одно маленькое утешение — школа. Вот наступит осень, пойду в школу. С новыми друзьями будет лучше, быстрее побегут дни...

Каро тоже ждал начала занятий. Но его речи о школе сбивали меня с толку. Он строил какие-то непонятные, странные планы, почему-то все чаще заговаривал об Уруте.

— Так ты говорила — один учитель на две деревни? — в который раз задавал он мне этот вопрос.

— Один. Половину дня у нас, а после обеда бежит в Саратак.

— Удивительно, как так Авет не выхлопотал одного полного учителя на свою деревню?

— И то хорошо. Каких хитростей не применяли саратакцы, хотели сменить товарища Хачика. Дядюшка Авет не дал.

Затем шли расспросы о Саратаке.

— Говоришь — очень близко к Уруту?

— Совсем рядом, можно сорок раз на день сходить туда и обратно. А теперь, когда построили квартал Умршата, совсем слились, как одна деревня стали.

— В самом деле — квартал Умршата! Подумать, как удачно назвали. В этом квартале одни беженцы?

— Беженцы.

— И что мы залезли в эту дыру? Все наши соотечественники там, Авет там, зачем нам в одиночестве здесь сидеть?

— Но ты ведь учитель здешней школы?

— Там я учитель или здесь, какая разница? Дети везде одинаковы.

— Здешние дети любят тебя...

— Еще бы не любить. Сколько я сделал для них. Чем они были год назад? Дикари! А я превратил их в людей.

— Тем более. В их сердце столько тепла к тебе... Думаешь, с другими удастся так же?

— Удастся, дочка, уда-астся,— с особым нажимом протянул Каро, словно догадавшись о моих тайных мыслях.

И так день за днем, только об одном и говорим — об урутском учителе да тамошней школе.

И вдруг появился у нас в доме Беник Данелян. Много раз я слышала от Каро о каком-то Унаробразе. И умен этот Унаробраз, и дальновиден, и сердце благородное. А самому Каро — первый друг и приятель. Они всегда горой стоят друг за друга. Меня очень смешило это имя — Унаробраз! Что это за мужчина с таким именем. Сунулся бы такой в нашу деревню, сразу бы подняли на смех.

И вот явился Беник, и выяснилось: Унаробраз — это он! И значит, это — начальник всех школ, учителей и учеников уезда. Когда успел так вырасти наш прикрепленный товарищ Беник?

Каро засуетился, забегал.

— Вай, товарищ Унаробраз, вы оказали мне большую честь!

Видно, болтунишка он, приврал о своей дружбе с начальником.

А Беник, важный, надутый, слез с лошади, не глядя бросил Каро повод и, отряхнувшись, вошел в наш дом. А уж вид у него был при этом — будто вступил в собственное королевство.

Вошел, сел, закурил папиросу, осмотрелся вокруг, потребовал воды. Каро еще возился с лошадью, мать не хотела прислуживать этому надутому Унаробразу, и воду подала я. Беник выпил, с шумом выдохнул воздух, опять выпил и усмехнулся:

— Закрыла счеты со своим дядей Аветом?

— Значит, помнишь меня, товарищ Данелян?

— Ничего не забыл. А ты должна говорить взрослым «вы», а не «ты». Дочка учителя, а не знаешь этого.

И тут беседа началась с того же самого. Я — дочь учителя для всех, и для Беника, который ничего не забыл.

Потом они обедали. Каро совсем сбился с ног, не знал, чем угодить важному Унаробразу.

— Товарищ Данелян, масла, масла попробуйте. Товарищ Данелян, отцеженный мацун.

— Неплохо живешь, Дпрапетян,— молвил наконец Беник.— Запасы проедаешь?

— Эх, товарищ Унаробраз,— вздохнул Каро,— какие могут быть запасы у человека, бежавшего с одной только лошадью? Все осталось там — и дом и имущество,— все забрал кровожадный враг. Я и жена бежали голые, как Адам. И дочка вот, вы знаете, потерялась на дорогах. Какие мы пережили дни, пока

отыскали ее! Спасибо вам... Думал: не отдаст Авет девочку, обращусь к вашей помощи...

— Я тут же связал бы Арцвик по рукам и ногам и доставил бы к тебе,— пошутил Беник.— Правда, мне совсем не стало весело от этой шутки.— Арцвик... Тебя ведь зовут Арцвик? — обратился он ко мне.

— Арцвнак.

— Ах, даже так! — усмехнулся он.— Твое имя сделали благозвучней, зато жизнь стала горше. Маленькая девочка-батрачка, босая, полуголая, живущая у чужих людей из милости,— и вот, пожалуйста: я — Арцвнак, Орленок!

— Никогда я не была батрачкой, товарищ Данелян. И не говорите так. Дядюшка Авет любит меня, и я люблю его, он хороший... Лучше всех.

Беник побарабанил пальцами по столу, сбоку, по-птичьи посмотрел на меня и перевел взгляд на Каро.

— Пойди на улицу, поиграй, Арцвик,— сейчас же приказал Каро.

Когда через два часа я вернулась домой, Беник уже сидел на лошади. Со своей высоты он не заметил протянутой руки Каро, лишь благосклонно кивнул, пришпоривая лошадь. Каро опустил руку. Он казался очень довольным, и в то же время что-то не давало ему покоя.

Проводив начальство, он сейчас же вспомнил обо мне:

— Сато, ребенок ел сегодня?

— Пусть поест, хлеб на своем месте.

— Эх, жена, жена! Зачем же так? Много ли у нас дочек? Будем глядеть на твою маму, Арцвик, превратимся в отшельников. Давай-ка, доченька, сядем, как полагается, за стол. Власть ушла, теперь мы одни, будем говорить и слушать только одно слово — джан. Этот Унаробраз очень уж прижал мне душу своим коленом. Хорошо хоть ты ушла поиграть, Арцвик.

— А ты говорил, вы с ним такие друзья...

Каро быстро проглотил кусок и слегка нажал пальцем мой нос.

— Друзья — когда садимся с ним поесть-попить. А когда по официальному делу приходит...

— Что это за официальное дело, из-за которого ты выпроводил нас? — недовольно спросила мать.

Каро не сразу ответил. Он что-то пробормотал, запнулся и наконец ответил:

— Вот какое дело... Он уже не первый раз предлагает мне уехать из этой деревни...

— Куда?

— Так, должно быть, лучше... Думаю, будет лучше и для тебя и для Арцвик. И все же я затрудняюсь...

— Да куда же, куда мы должны уйти? Что случилось?

— А то случилось, Сато джан, что я всего лишь жалкий учи-

тель и нет у меня никакой власти. Что начальник велит, то и должен делать.

— А что велит твой проклятый начальник?

— Велит, чтоб я шел... в Урут. И стал там учителем.

Мать расстроенно хлопнула себя по коленям, а я громко вскрикнула от радости:

— Вай, родной мой!

И в мыслях уже увидела Урут, дядюшку Авета, моих друзей. Значит, Беник в самом деле добрый человек.

— Вот видишь,— показал Каро на меня.— Я знал, так будет лучше. Ведь козлу приятнее коза, чем целая отара овец. Урут стал ей родной деревней, вся наша родня и близкие — там, с Аветом... что нам с ним делать? В конце концов, должен же он понять — если не можешь отрубить руку, лучше ее поцеловать и приложить ко лбу. Что ему до меня? Теперь я учитель, имею дело только с детьми, буду себе скромно работать, и заживем мирно и тихо.

Он говорил так, будто не нас, а себя хотел убедить в том, что все будет хорошо.

— Откуда быть хорошему? — упорствовала мать.— Как можем мы ехать в Урут? Ты и во сне постоянно ссоришься с Аветом. Твой прилизанный начальник, может, не знает, но тебе-то известно, что твоя и Авета воды не потекут по одному арыку.

— Не волнуйся — он все понимает лучше нас с тобой. И раз посылает меня к Авету, должен сам постараться, чтоб мы жили в мире. Не ребенок же я, в конце концов, не сирота, чтоб за каждый кусок получать по голове? Все-таки я — учитель.

— Ты учитель, работал здесь, и люди тебя уважали, без водки не заходили в дом. Как же посмотришь теперь им в глаза?

— Нашла о чем заботиться! — насмешливо сказал Каро.— Сравнила водку с добром, которое сделал им я! Если б не я, отдали бы им вернашенцы землю?

— Ну, хватит, лопнуть можно от твоего бахвальства,— рассердилась мать.— Подумаешь, землемер! Не ты же писал закон? Будь на твоем месте другой, беженцы все равно получили бы землю. Вот так расхвастаешься при Авете, не знаю, чем кончится.

— А ты, жена, знаешь, не становись раньше времени матушкой Нуно мне на голову,— вспылил Каро в свою очередь.— Если моя голова не представляет для тебя никакой ценности, так ценят ее другие. И запомни, здесь я или в Уруте, не быть тебе молотком над этой самой головой. Прошли те времена.

Они поссорились, помирились, снова поссорились... Так в ссоре и отправились мы в Урут.

Всю дорогу Каро болтал с аробщиком, которого мы наняли в Вернашене, и хлопал его по плечу. По привычке расхваливал себя на все лады, рассказывал о своей батрацкой молодости, ко-

торая, по его словам, прошла между воловьим хвостом и корзиной с саманом.

— Да, братец... Когда хозяин поведет, бывало, на меня глазами, душа моя делалась с конопляное зерно. Но в обиду себя не давал. Все тряслись перед ним, как тростник. В кулаке всех держал, собака. Кому долг надбавит, кому землю урежет, бедные землепашцы бежали все ко мне: «Каро, помоги, если можешь, пропадаем». И я принимал на себя гнев хозяина, вступался за народ, устраивал их дела.

Аробщик молча кивал головой и смотрел на хвост своего вола. Потом ухмыльнулся:

— Учитель, я понимаю, твоя милость был работником, а такой ужасный хозяин... Но ведь, слава богу, тогда их не называли кулаками, не лишали прав... Я хочу сказать — и пряник был в руках хозяев, и плетка. Какой, однако, ты отважный: был работником и так перечил ему...

— У веревки бывает два конца, дядя,— с обидой ответил Каро.— Имей терпение, доберись до другого конца и посмотри, что там есть. Если на одном конце веревки мой, пропади он пропадом, хозяин, то на другом были мои приятели, парни, способные разодрать пасть льву. Вот приедем сейчас — сам увидишь, что за мужчина мой дружок.

Значит, дядюшка Авет — дружок Каро!

...Я издали заметила огонек в окошке дядюшки Авета. Хотела соскочить с арбы и побежать, но Каро цепко ухватил меня за плечо:

— Не спеши, покажешь дорогу к дому Авета.

Наша арба, проскрипев в последний раз, остановилась перед родным для меня домом.

...Они-то думали, что мы приехали в гости. Удивились, обрадовались. Даже дядюшка Авет не смог сдержать улыбки.

— Авет, такой ты разэтакий...— Каро кинулся с объятиями.

Нога дядюшки Авета недобро скрипнула, и он, как бы споткнувшись, оттолкнул Каро. Обошлись пожатием рук.

— Авет джан, ты почти не изменился.— Каро внимательно разглядывал его.— Ты все тот же прежний парень!

— Прежний,— усмехнулся дядюшка Авет одними только губами.— А ты как?

— Да так, братец джан, живу себе... Другие обзавелись домами, обосновались, а я все увязываю да развязываю свой скарб. То здесь, то там. Но надеюсь, теперь конец. Пора. Нашли друг друга, а кусок хлеба найдется везде. Важны мир и согласие, а каждый пусть занимается своим делом.

Лицо дядюшки Авета постепенно мрачнело. Он свернул самокрутку и спрятался за облаком густого дыма.

— Пришел — добро пожаловать,— уклончиво сказал он.— Я и сам думал осенью побывать в ваших краях, посмотреть, как поживает сестра...

— Из-за сестры пришел бы, да? А я — ничто, ни сват, ни брат? — дружески ткнул его в бок Каро.— На меня смотреть не желаешь, как будто я твой кровный враг. Пусть вечно стоит твой дом, мирятся и дружить начинают даже государства, ходившие друг на друга войной. А ты? Зачем таишь в душе месть?

— Ну ладно, пришел ты в гости, а гость дан богом, не будем говорить о старом.

— Опять ты не понял! — удивился Каро.— Какие гости? Какой же зять идет в гости к тестю, захватив с собой корыто да сито? Нет, Авет джан, я пришел совсем. Назначен учителем в вашу деревню.

— Ты?..

— Я.

— Учитель?

— Удивляешься? Напрасно. Уже второй год учительствую, вернулся к своей настоящей профессии.

— А что до этого делал?

— То же, что и ты,— воевал.

— Против кого?

— Ну, Авет джан, еще не кончились приветствия, а ты уже начинаешь допрос. Повремени. Слава богу, пришел я сам, у тебя хватит времени выяснить, кто против кого воевал...

Обычай гостеприимства священен, пусть гостем будет хоть Каро. Дядюшка Авет зарезал курицу и даже водку на стол поставил. Но разве только в этом гостеприимство? Почему лицо одного хмурится, а другой егозит, притворно улыбаясь?

Стол, который был мне родным и привычным, давил меня. Впервые я, как чужая, надламывала хлеб дядюшки Авета. Мать только делала вид, что ест, а сама все посматривала на мужчин. После первого стакана Каро отказался пить. Дядюшка Авет налил себе второй стакан.

— За ваше здоровье, дети,— обратился он к Гарику и ко мне.— Были братом и сестрой, так и оставайтесь. И за ваше здоровье, Сато джан, Маран. Да... Жаль, бога нет, чтоб я мог хоть его тряхнуть за бороду. Не те времена. Сами мы по себе остались с тобой... учитель Каро.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАРО, УРУТ, ВСЕ МЫ

Кого же призвать к ответу, если бога нет? Дядюшка Авет смог пробыть под одним кровом с Каро только одну-единственную ночь. На следующий день он вызвал Ерванда.

— Знакомься, товарищ председатель, муж моей сестры...

— Добро пожаловать, родня Авета и нам родня.

— Муж сестры когда-то водил дружбу с хмбапетом Сого.

Рука Ерванда, разумеется, потянулась к нагану. Каро улыбнулся:

— Люблю Авета за откровенность. Но не приходилось вам слышать старую пословицу: «Армянин, принявший мусульманство, правовернее самого Магомета»?

— Сейчас не время для шуточек,— оскорбился Ерванд.— Какое мне дело, что он твой зять, если это приятель хмбапета?

— Ничего не поделаешь, Ерванд джан, хочешь не хочешь, а мой зять — учитель нашей деревни. Придется найти ему квартиру — твоя прямая обязанность. А как разобраться во всей этой каше — посмотрим потом.

— Да, да, в первую очередь — квартиру,— заторопил Каро.— У товарища Авета тесно, а я с семьей — жена и ребенок. Много ли мне надо, одну маленькую комнату. А что касается остального, товарищ Ерванд, ну... Авет ведь сказал, были у меня когда-то грехи..

— Я вижу, ты ждешь, что мы тебя за эти грехи в лоб поцелуем,— насмешливо сказал Ерванд.— Ты бывший, так и иди к бывшим. Ищи себе квартиру у них, а мне до тебя нет дела.

— Э, нет так нет, доброй памяти твоему отцу,— не обиделся Каро.— На твоем месте я, думаю, поступил бы так же. Однако ты упускаешь из виду одно. Не по доброй воле явился я к вам, учителем меня сюда назначили. И уж наверно, там лучше знают, кем и чем был я и что я теперь, товарищ Ерванд...

Ерванд ушел, а дядюшка Авет так и остался в прежнем положении. Не выгнать же ему из дома мою мать. Но Каро?.. Что придумаешь, если деревня битком набита народом. Каро не Хачик, который готов приткнуться на ночь в любом углу, а днем бегать из Урута в Саратак, из Саратака в Урут. У Каро семья — жена, ребенок. Ох уж этот ребенок! Разве может он заикнуться, что ему лучше всего остаться в доме дядюшки Авета, если по всему видно — мать не хочет этого.

Помощь пришла неожиданно и от человека, на которого меньше всего мог рассчитывать Авет.

— Ай, Авет, ай, человек! — закричал с порога Башка Мукуч.— Не хочешь слова сказать ближайшему соседу, бежишь, как будто между нами кровь! Добро пожаловать, товарищ учитель,— он подал руку Каро,— гордый у нас Авет очень. Лучше будет жариться в собственном соку, чем соседа позовет. Хоть мы тоже члены сельсовета. Приехал учитель — не твоя только забота, почему не говоришь, что жилье нужно?

— Что мне говорить, Мукуч-ага? — усмехнулся дядюшка Авет.— За одну вашу комнату два года грызешь душу, так хочешь, чтоб я еще раз положил голову под язык твоей жены?

— Э, дружок, какое тебе дело до женщины? Одна у меня была гостиная — дал одну, было б десять — отдал бы все десять.

— Сам говоришь — нет, что же предлагаешь?

— У меня нет, так есть у моего брата, сына моего дяди. По-

ловина деревни — Барикянцы, так неужели не устроим одного учителя? Наш шальной бычок — Айро — двенадцать месяцев в году торчит в городе, а в его домах гуляет ветер. Пусть учитель берет один и живет себе в нем.

— А кто отвечать будет? — спросил дядюшка Авет.

— Я. Чего испугался? Ты член сельсовета, и я член сельсовета, не можем, что ли, вдвоем прижать одного нэпмана? — захохотал Мукач.— Вставай, учитель, собирай вещи, пойдем. Нет, что я болтаю, баранья голова. Ты оставайся — я пойду пришлю ребят.

Мукуч ушел, и Каро сразу спросил: кто же этот радушный и такой смелый человек?

— Такой, как и ты,— насмешливо ответил дядюшка Авет.

— Хм... Я еще не член сельсовета.

— Нет, так будешь. Он тоже увивался вокруг хмбапета Сого, хлопал кнутом над деревней, а теперь видишь — член сельсовета. Сменил шкуру.

— Вай, пусть вечно стоит твой дом! — засмеялся Каро.— Тебя послушать, так советская власть — слепая курица. Ошибаешься, Авет джан, власть видит дальше и меня и тебя. Она прощает даже бывших членов парламента и поручает им работу. А ты никак не придешь в себя оттого, что я — учитель. Мир движется не по моей и не по твоей воле, Авет. Мы люди маленькие, но, должно быть, чего-нибудь да стоим. Видишь, считаются и с нами. Я, например, с открытой душой пришел сюда и, смотри, ни от кого не скрываю, чем был раньше. Да, ошибался, заблуждался. И наконец, я же не был в партии дашнаков! По наивности предполагал, что эти негодяи спасут нашу родину. Эх, слава богу, что ошибся я, а не ты. Страшно подумать, что было бы с тобой на моем месте, если б ты, а не я оказался «бывшим». Пропал бы, ни за что пропал!

— Это почему же? Сам говоришь, теперь прощают и членов парламента. Простили бы и меня.

— Неудобно это, но я тебе скажу откровенно. Дело здесь не просто в человеке. Тут другое. Советской власти сейчас нужны образованные люди. Старый мир побежден, надо создавать новую жизнь, воспитывать, просвещать народ. Кто может сделать это? Вчерашний неграмотный партизан? Ясно тебе? Без «бывших» сейчас никак не обойдешься. Чтоб поднять целину, впрягают в ярмо не телка, а старого вола. Во-от в чем дело. Не думай, Каро пощадили не из-за его красивой рожи.

Каро разглагольствовал, а дядюшка Авет хмурился, крутил цигарки и курил, курил. Маленький домик до потолка заполнился густым дымом. Мы уже почти не видели лиц друг друга. А сердца собеседников? Их тоже разделила невидимая стена. Так и разошлись, не улыбнувшись ни разу. С тяжелым чувством уходила я из этого близкого мне дома, и передо мной шагали Макар и Бабик, согнувшись под узлами Каро.

И вот живем мы в соседстве с Мукучем, в доме Айро, того самого Айро, на полях которого я подбирала колосья. Я вспоминаю слова бабушки Нуно: «Змея ненавидит мяту, а мята, как назло, растет перед ее норой...» Впрочем, такая мята, как я, вряд ли пойдет по своей доброй воле в змеиную нору, но что поделаешь,— видно, Каро правду говорил — мы люди маленькие.

...Маленькие, а большой?.. Вот он приехал снова на лошади, надутый, самодовольный, и, конечно,— прямо к Каро. Удивительное дело — не спросил даже, где живет учитель. Так и подъехал к дому Айро, будто сам послал нас на эту квартиру.

На этот раз Беник был холоден, официален и сдержан. Не стал уединяться с Каро. Вызвал дядюшку Авета, Ерванда, Смбата. А Сурен и Мукуч не заставили себя ждать, явились сами — тоже ведь члены сельсовета.

— Я вижу, новый учитель не совсем чужой для вас человек,— начал Беник.— Слышал я, у него есть тут земляки, даже родственники. Так это?

— Спроси Авета,— фыркнул Ерванд.— Его родня.

— В конце концов, это неважно. Учитель — всей деревне родня. Вот саратакцы обижаются, почему все хорошее даете Уруту.

— Откуда стало известно, что он хорош? — пробурчал дядюшка Авет.

— Должно быть, слышали. Товарища Дпрапетяна и я ведь знаю немножко. Как учитель он неплох. Ваше дело помочь ему, чтобы он был доволен, а то Саратак ведь начеку, утащит из-под носа.

Он говорил, а уж Каро раздувался, уж он дулся — как пузырь. И Сурен, почесывая затылок, проткнул этот пузырь:

— Прости, конечно, товарищ Данелян, но послушать тебя, так даже вареная курица рассмеется. Я ни на кого не указываю пальцем, но учитель — это же не пропавшая телушка, чтоб саратакцы накинули ему на шею веревку и утащили в свой хлев!

Беник, как и следовало ожидать, осадил Сурена. Пора, пора, мол, товарищи, к культуре приобщаться, к вам учитель приехал, это понимать надо. Потом извинился перед всеми, сказав, что должен отдельно поговорить с секретарем ячейки. И они остались вдвоем с дядюшкой Аветом. Меня Унаробраз, должно быть, не заметил или не посчитал за человека. И я решила не уходить.

— Ты знаешь Карапета Дпрапетяна? — спросил Беник, когда дверь затворилась.— Хорошо знаешь его?

— Каро? Если я — это я, а он — это он, трудно нам не знать друг друга. Остается только вам, сидящим наверху, узнать нас,— сказал дядюшка Авет.

— Дело не в верхе и низе, товарищ Авет. Каждый человек на своем посту должен быть бдительным.

— Не вижу нужды. И так ясно: он контра, а вы сделали

его учителем. Детей ему поручаете! Не знаю, кто тут должен быть бдительным.

— Да, он бывший контра,— медленно произнес Беник.— Здесь ты, товарищ Авет, конечно, прав. Но вот ты все знаешь — скажи, что нам делать? Людей нет, своих специалистов нет, где брать кадры?.. Приходится использовать старую интеллигенцию. Но, конечно, проверять, во всех случаях — проверять.

— А ты что, проверял Каро?

— Почему я должен проверять, я же не Чека? Но его проверяли там, где надо.

— И что же выяснили?

— Ну, откуда мне знать подробности? Но слышал, у него какие-то заслуги есть. Во время дашнакской авантюры помог ликвидировать одну хмбапетскую банду. Если правда, то это немало.

— Наверно, правда.

— В таком случае твой зять не отъявленный контра.

— Он, конечно, не был настоящим дашнакским деятелем. Это подручный канатоходца, а не главный циркач. Но волк есть волк. Когда дело плохо, он и своего собрата сожрет. Такова волчья натура. Каро умнее своих приятелей, вот он и повернул вовремя.

— Если даже так, все равно у нас есть формальное право дать ему работу. Пусть работает, а ты наблюдай. В какой-то степени отвечаешь за него и ты.

— Нет, товарищ Данелян,— скрипя ногой, дядюшка Авет встал с места.— Под это дело шею не подставлю. В его вопросе я останусь нейтральным.

— Почему, разве ты не коммунист?

— Коммунист, но, как ты сам сказал сегодня, коммунист, но не Чека. Привели, пусть работает, что вам еще надо?

ТО, ЧЕГО Я НЕ СКАЗАЛА

Не верю, дядюшка Авет, не верю, и ты тоже не веришь. Ни Каро не веришь, ни Бенику. И неправду сказал ты, не можешь ты быть нейтральным. Было б это прежде, когда я на правах ребенка могла вмешиваться во все ваши дела, сказала бы я вам все, во весь голос сказала бы. И ты бы засмеялся: «Чтобы правду знать, спроси младенца».

Ты, дядюшка Авет, мечтал о великом и прекрасном. Когда ты говорил, я закрывала глаза и видела твой мир. Сколько раз в беседах с дядей Шмо, Умршатом, Ервандом и Смбатом ты объяснял — наша вода еще много раз будет мутнеть, но станет наконец прозрачной. И мне чудилось, будто стою я у родника и вижу, как он светлеет, светлеет. Уже чистой, ясной и звонкой была вода, и вдруг шлепнулся в родник огромный ком грязи — Каро, хозяйский Каро...

Ты сказал Бенику — нет тебе дела, приехал учитель, пусть работает. Ну а я?.. Как радовалась я, возвращаясь в Урут. Думала: разлука — тяжелый, грустный сон. Пройдет он, и я вздохну свободно.

И вот мы бродим с Нушик, а я все еще не могу свободно вздохнуть. И я та же, и Нушик та. Она подруга моих счастливых и горьких дней, близкая, родная. Все ей известно — и про отчима, и про мою мать. Почему же она молчит, почему молчу я? А что мне говорить? Разве я здесь чужой человек? Когда строили наш домик, я считала себя совсем урутской. А сейчас?

Пришел учитель, его поселили в доме одного из самых богатых людей деревни — он учитель, у него семья. Но разве изменилось бы что-нибудь, будь он одиноким, без семьи? Наоборот, было бы даже лучше. Тогда по Уруту носилась бы беззаботная, веселая девочка, вспугивала бы то курицу, то теленка и ей кричали бы вслед: «Эй, аветовская!..» И эта девочка сказала бы однажды своему единственному родному: «Знаешь, дядюшка Авет, у нового учителя нет ни жены, ни ребенка, жалко его, правда?..»

О жене я лучше помолчу, мне трудно сказать, что думает моя мать об этом. Но что у учителя Каро нет ребенка — это-то я знаю очень хорошо. Знает и Нушик, знают все. Так почему же вся деревня, как один человек, смотрит на меня, словно я и впрямь незнакомая, новая девочка, дочь этого учителя? Хотелось бы на весь мир крикнуть: «Не смотрите на меня так, я — все та же. Вы же знаете меня!» Но кто поверит мне, если я не верю себе сама? И я молчу. Молчат и они. Молчит и Нушик, которая, наверно, целую вечность шагает рядом со мной по знакомым, родным дорогам. Пусть грянет гром и пойдет град, лишь бы взорвалось это молчание.

— После того как ты ушла, было очень плохо,— начинает вдруг Нушик и сразу замолкает.

— Плохо было, Нуш джан?.. Как хорошо, что было плохо.

Она смотрит на меня искоса и пожимает плечами:

— Почему хорошо?.. Их двое мальчиков, а я одна — девочка, что же мне, сделаться их хвостом? Зазналась!

Я знаю, речь идет о Паруйре и Вардане.

— Ну, теперь я пришла, и опять будет хорошо, правда?

— Не знаю...

— Будет все как прежде, Нуш джан.

— Не знаю...

Глаза Нушик еще никогда не были такими печальными, и никогда она так не старалась спрятать их от меня.

— Давай пойдем к Паруйру на огород,— предлагает она.

Не пойдем, а побежим, полетим, понесемся! Ведь какой огород — Паруйра!

Огород все тот же: грядки чистенько ухожены, огурцы уже

успели раскрыть желтые звезды цветов. Благоухают тархун и рехан. Яма до краев полна воды. Здесь все то же.

— Эй, кто там?..— Это голос Паруйра. Его не видно, но он, очевидно, заметил нас.

— Это ты, Паруйр? — кричит и Нушик.

Из-за новой изгороди выскакивают Паруйр и Вардан.

— Добро пожаловать, учительская дочка...

Как удар хлыста эти слова, сказанные другом.

Я молчу. Вардан что-то слишком усердно трет свой смуглый подбородок, будто у него заболел зуб. А Нушик — молодец Нушик, она только на миг растерялась и сейчас же наскочила на Паруйра:

— Где ты увидел дочку учителя? Здесь нет такой.

— Есть.

— Отвяжись, если не понимаешь. Хватит с нас нашего горя. Еще товарищ называется...

— Какое такое горе у вас?

— А ты не знаешь! Дружили себе спокойно, а тут затесался этот человек.

— Какой человек?

— Да брось ты, не хочется говорить с тобой, бестолковый. Ну, этот, муж ее матери...— Нушик морщит нос, словно муж моей матери дурно пахнет.— Если еще раз скажешь «учительская дочь», я тебе всыплю. Запомни: здесь нет такой!

— Правильно,— чуть слышно шепчет Вардан.

— Не полить ли огород? — спрашивает Паруйр. Меня спрашивает!

Поливаем. Все идет у нас, как раньше шло. Между грядками булькает мутно-желтая вода, солнце палит, несущийся с гор ветерок нагревается еще до того, как коснется моего горячего лица. Я с силой вырываю из рук Вардана ведро и, отвернувшись от него, выплескиваю в арык. Чувствую — Вардан смотрит на меня. Потом его взгляд скользит вслед убегающей воде и вместе с нею погружается в растрескавшуюся землю.

— Не облей платья,— осторожно предупреждает Вардан.

— Пусть намокнет, ничего.

— Но ведь дома мать... другие могут рассердиться.

Буль-буль — журчит мутная вода, и поникшие от жары растения постепенно выпрямляются, веселеют. Все как прежде. Паруйр разошелся, болтает, Нушик посмеивается над ним. Нет-нет да и сверкнут в улыбке белые зубы Вардана. По-прежнему? Нет, все-таки нет. Вот Паруйр назвал меня учительской дочкой, а Вардан, жалея, предупредил — другие могут рассердиться. Прежнего нет.

Я бросаю поливать и иду... в наш дом, туда, в квартал Умршата. Там есть дом, в штукатурке которого засох и пролитый мною пот.

— Пришла, бала джан? — дядюшка Авет обнимает меня за

плечи. Таким ласковым он был только после смерти бабушки.— Ну как, что нового?

— Ничего, дядюшка Авет.

Он задумчиво смотрит на меня:

— Ты же знаешь — не люблю...

— Знаю, а кто его любит?

Он смеется:

— Я не о том. Не люблю, когда люди вешают нос, детка. Чего скисла? Или с тебя требуют все налоги и подати мира?

— А почему ты редко приходишь?

— Куда?

— В их дом, ну... дом Каро...

Он снова внимательно смотрит на меня, качает головой:

— Будь проклят этот свет.

— Ладно, ладно, опять за свое,— укоряет Маран,— что твой ум, что ее! Да стоит вечно ваш дом, такие вы угрюмые и горестные, будто весь мир в огне! Что стряслось?

— Ничего, жена джан, совсем ничего, все как прежде. Тронулись мы в путь со времен Адама, идем, ищем справедливость, а она все маячит вдали, а в руки не дается. Говоришь, чтоб я часто ходил к вам? Еще бы, меня там ждут: первый друг — Барикянц Айро, второй друг — господин учитель.

— Так, значит, ты спровадил нас в дом Айро, чтоб с глаз долой?.. Какое тебе дело до учителя, приходи к маме... В чем она виновата?..

— Правильно, детка, я знаю, твоя мать не виновата. Но так все перемешалось, и справедливое и несправедливое. Не пойму, где зарыта собачья голова. Зачем устроили это шутовство? Взяли да и проглотили меня, Арцвик джан...

Маран опять косится на него:

— Ты не думаешь о Сато, человек. Раз обещал сестре не делать вреда ее главному, зачем теперь поедаешь себя? Мир ведь не посеянная нива. Хочешь вырвать злое раз и навсегда, как будто это чертополох на поле. Нет, доброе и злое вечно будут бороться друг с другом.

— Так что же все-таки, бороться или ждать, пока чертополох задушит нас? Ты как думаешь? — Дядюшка Авет задумывается на миг и очень серьезно, как будто я взрослая, говорит мне: — Никогда, ни в коем случае, Арцвнак, не обещай того, о чем можешь потом пожалеть. Очень плохо, если перестанешь себя уважать. Уже не сможешь судить ни себя, ни других. Ну, иди домой, иди к вам домой... Ничего, вытерпим как-нибудь. Выдержим, дочка...

К дому Айро ведет много дорог. Я выбираю самую длинную, мимо двора Вардана. Я не спешу. Очаг Каро меня не манит.

Вот и домик Вардана,— словно старуха, у которой схватило

бок, скособочился, того и гляди упадет. Дверь закрыта. Вардана, конечно, нет,— он остался у Паруйра на огороде. К стене прислонены горшки и карасы, зарылись в землю утомленные жарой куры. Пустота, молчание.

В эти дни много в деревне таких закрытых дверей. Кончается весна, самая пора собирать сибех, жах, мандак и дикий щавель. Деревенские девушки уходят с поля с рассветом, а возвращаются уже в темноте с огромными снопами банджара. Жах и зох маринуют, щавель заплетают в косы и развешивают на ветерке в тени навесов. А зимой как приятно, если на плов из пшеничной крупы положат пучок малосольного зоха, а уж с поджаренным на постном мале диким щавелем ничто на свете сравниться не может.

Как хотелось и мне пойти вместе с девушками в поле за банджаром. Но «дочери учителей» не ходят собирать банджар — так внушает мне Каро.

Кто сказал? Почему? Нет, рвать банджар куда приятней, чем быть дочерью учителя.

Я не смотрю на домик Вардана, быстро прохожу мимо и то, что вижу, все-таки вижу больше памятью, а не глазами. В моей памяти оживают те дни, когда мы отстраивали квартал Умршата. Все разваливающиеся сараюшки были уже распределены между беженцами, остался один, последний, совсем разрушенный. И лишь тогда Торгом сказал, что тоже хочет иметь дымящийся очаг. Он получил эту последнюю развалину. Никто не помнил, какой деревне принадлежала она, когда была целой. Шутили: дом Торгома станет камнем сватов[1] между Урутом и Саратаком. Выстроил Торгом свой домишко, привел из Саратака ту женщину. Мы смотрели на Вардана с сочувствием, жалели его, ведь мачеха — не родная мать. Но Вардан чувствовал себя неплохо, ходил чистенький, аккуратный, в обновках с ног до головы. И улыбался он чаще прежнего,— исчезла его постоянная робость. Скоро и мы забыли о том, что мать у него неродная.

Я занята своими мыслями и совсем забыла смотреть по сторонам. Но что это? На моем пути стоит Вардан. Откуда он появился? Стоит себе просто так, будто ему нечего делать, и грызет ногти. Но меня не проведешь. Я-то немножко знаю Вардана. Грызет он ногти неспроста. Верный признак — хочет скрыть что-то от других.

— Вай, ты еще не пошла домой? — пыхтит он, вытирая пот.— Ух, как жарко, сварился я!

— Зачем же бежал, вон вспотел как.

— Кто, я?.. Просто шел домой, проголодался. Вот возьму немного хлеба, поем.

— Ваша дверь заперта, Вардан.

---

[1] Камень перед домом, на который садятся сваты, ожидая приглашения родителей невесты.

Глаза Вардана сияют. Чему он обрадовался? Непонятно...

— Значит, ты прошла мимо наших дверей?.. Меня там не было?..

— Был, как же!

— Вай, как нехорошо получилось! Повел бы тебя к нам, позвал бы в гости...

— Придумал тоже. Кто я такая, чтоб ты меня в гости звал?

— Когда ты уехала, здесь все по тебе скучали.

— Кто?

— Ваши, дядюшка Авет... И другие тоже...

— Заметно, как соскучились по мне другие.

— На Паруйра обиделась?

— Чего мне обижаться? Сказал то, что есть. А раз у меня отчим, значит...

— Твой отчим чужой тебе, да? Он настоящий отчим? Настоящий?.. Хочу сказать: никогда не говорит тебе «родная моя»?

— Эти чужие наговорят тысячи всяких слов, только бы ты поверил. Каких только фокусов не придумают, чтоб привязать наше сердце к себе.

— Нет, моя мать не такая... То есть, конечно, говорит мне: «Варджан джан, родной мой», и я тоже... я говорю ей — мама. Раньше, когда она только что пришла, я не хотел называть ее так. Потом заметил — горюет она очень. Видел, даже плачет тайком. А один раз сказала: «Бала джан, жаль, что я не твоя мать». Мне стало так жалко ее, и с того дня...

— С того дня решил, что она твоя родная мать? — гневно спрашиваю я. И кто дал мне право, зачем напала на Вардана? Что плохого, если Вардан нашел себе мать? Не все же «неродные» похожи на Каро.

— Ведь не все же одинаковы? — словно угадывает мои мысли Вардан.— Чем они виноваты, что неродные?

— Ну ладно уж. Специально пришел пилить меня? — надуваюсь я.

У Вардана виноватая улыбка, он принимается грызть ногти.

— Зачем обижаешься? Если он не любит тебя, не беда. Другие... Мы... то есть Нушик, она тебя еще как любит... Ты не знаешь, очень, очень!..

ИГРА В ЛОВИТКИ

Какой бы дорогой ни шла я, всякий раз встречаю Вардана. Ничего не говорит Вардан, только постоянно грызет свои ногти. Но в его смущенном молчании мне слышится все то же: «Ты не знаешь, очень, очень любит!» Не спросить ли мне Нушик, так ли уж она любит меня? Пожалуй, не стоит. Вардан лучше знает, кто кого очень любит...

В самом деле — я, Нушик, Вардан, Урут, эти дороги, гумна, огороды, все мы любим друг друга, очень любим, и это хорошо.

Пусть каждый делает собственные выводы — чья доля больше в этой большой любви. И Вардану нечего краснеть и пора оставить в покое свои ногти, они-то при чем?

Нам — мне, Нушик, Вардану — хорошо. Можно было бы даже забыть о том, что я учительская дочь. Но если я забуду, напомнит Каро. Каро не Вардан. Ему не надо сваливать все на Нушик, здесь дело обходится без терзанья ногтей. Каро постоянно твердит: в сердце его нет отчужденности, он очень любит меня. В доказательство начал водить меня на прогулки. Экскурсии — называет их Каро. Мы с ним не одиноки в наших скитаниях по горам. Все его будущие ученики — тоже участники этих экскурсий.

Прогулки с Каро! Это покажется удивительным и невероятным. Но тут нужно вспомнить один ночной разговор и слова моей матери: «Ударишь ребенка шипом — станет колючим, как шип, коснешься розой — расцветет, как роза». Я, конечно, не такой уж ребенок, и вряд ли Каро решится ударить меня шипом. Но другая опасность грозит мне. Боюсь превратиться от всех этих «прикосновений розой» если не в розу, то, во всяком случае, в какой-нибудь изнеженный цветок.

Каро не ограничивается мною и моими друзьями. Свои милости он распространил и на саратакских детей, присоединив их к нашей толпе. Но это уже другой вопрос, и я знаю, где здесь зарыта собачья голова. Саратакские ребята будут бегать, прыгать с нами, а когда усталые, голодные и, главное, воспитавшиеся разойдутся по домам, отцы их скажут: «Везет Уруту. Их учитель даже в такие жаркие дни находит путь к детским сердцам, а наш — молодо-зелено — слоняется себе с девушками по городу...» А Каро ведь только это и нужно.

А вот Вардана не устраивают эти восторги саратакцев, хотя он, может быть, больше других увлечен нашими экскурсиями и готов уже заключить, что отчимы так же хороши, как мачехи.

И конечно, здесь зарыта еще одна собачья голова. Дело в том, что в навязывании нам саратакских детей замешан их парикмахер Манас Ножницы. Он часто наведывается в Урут, и не только потому, что бороды и усы урутцев растут для его бритвы. Ему надо проведать сестру — мачеху Вардана.

Пусть себе приходит. Разве это беда? Беда не в Манасе, а в его дочери. Эта Аракси — бельмо на глазу Вардана. Она лопается от досады при одном только виде этой ломаки.

Аракси постоянно, словно богородица Мариам, возводит к потолку глаза. Ходит тихо, осторожно, будто под ногами у нее разложены яички. Даже ссорится не как мы: вытянет, словно ежиха, из иголок голову, раза два куснет и опять спрячется.

По мнению Вардана, его неродной дядя Манас Ножницы захотел хоть на время избавиться от надоевшей дочки-кривляки. Потому и привел ее к Каро, а с нею вместе и ее саратакских друзей. Сама же Аракси сказала мне:

— Отец меня послал: иди в Урут, в теткин дом, вместе с теткиным сыном поучишься у их учителя. А как же! Настоящий учитель должен таким быть, как твой отец, а не как наш Хачик. Хачик молодой, зеленый парень.

Я люблю нашего товарища Хачика и потому обижаюсь за него. Бедный товарищ Хачик! Ему и невдомек, что отдали его всего целиком Саратаку, да притом еще саратакцы завидуют Уруту...

Таким образом, Каро намерен одним ударом убить не двух, а целый десяток зайцев. И кажется, это ему удается: наши прогулки-экскурсии проходят весело, шумно и очень торжественно.

Шум и веселье обеспечиваем мы, торжественность — Каро.

Он зовет Вардана, запускает всю пятерню в его черные, блестящие волосы и спрашивает:

— Пойдем, Варданик?

Этого достаточно,— зубы Вардана сверкают, глаза блестят, и он несется по деревне, распугивая дикими воплями кур и цыплят:

— Эй, ребята, экскурсия!..

Через несколько минут перед нашими дверями уже шумит нетерпеливая толпа. Дети сгорают от любопытства — что сегодня придумает учитель? А Каро не спешит. Доводит до зеркального блеска свои сапоги и мельком поглядывает в окно. Вот среди лохматых чубов и торчащих косичек заколыхались две-три солидные папахи, и Каро откладывает суконку и выходит во двор. И тотчас получает награду — подобострастные взгляды и улыбки владельцев папах.

— Учитель, воспитываешь, значит, детей?..

— Да, дядя, положение обязывает. Унаробраз приказал. Экскурсия воспитывает детей, приучает их вести себя прилично.

— Пусть живет твое солнце, учитель джан, совсем дикарями станут, если нянчиться с ними, не применять к ним время от времени хороший экскурс,— мотает головой какой-нибудь дядя в папахе, уверенный, что экскурсия — это бич, скрученный из воловьих жил, и учитель должен ожечь им наши мягкие места, чтоб вели себя приличнее.

Каро кладет одну руку мне на плечо, другую на плечо Нушик, и начинается торжественная часть нашей экскурсии. Вардан с мальчишками — впереди. Сзади — несколько жалких девчонок. Каро шествует по деревне медленно, важно. Высокомерно принимает приветствия встречных, отвечая только легким кивком головы,— ни дать ни взять король, возвращающийся с победоносной войны.

Как только выходим из деревни, все меняется. Торжественность, важность моментально исчезают. Теперь Каро не хуже нас прыгает со скалы на скалу. Начинает рассказывать, увлекается, и тут уж ни скалы, ни ручьи не остановят нас, если надо до-

браться до какого-нибудь замшелого хачкара[1]. Мы послушно следуем за Каро, а он все говорит, говорит: когда был построен этот разрушенный монастырь, кто похоронен там в часовне, куда течет эта бурливая речка, берущая начало с далеких родничков Алагяза.

Все эти рассказы новы для меня и очень интересны. Я слушаю внимательно и диву даюсь,— откуда ему известно все это, ведь он позже меня пришел в эти места? Должно быть, все это вычитал в книгах. Что же он раньше молчал, когда жили мы в нашем родном селе? Ведь там куда больше развалин монастырей и крепостей? В нашем селе он только и делал, что щелкал кнутом, получая взамен проклятия и ненависть. Разве я ненавидела бы его, будь он тогда таким, как сейчас? Взял бы меня за руку и, вместо того чтобы отнимать нашу выращенную с таким трудом пшеницу, сказал: «Посмотри, Арцвнак, на твое поле, это наша родная земля. Сколько раз ее грабили, поливали кровью отцов. И снова расцветает она полями и лугами, наша земля-мать. Люби ее, никогда ей не изменяй...» Но так или иначе, эти экскурсии интересны. И Каро тоже.

Вот мы собрались все на высокой скале, повернулись и смотрим вдаль, на восток. Там, над синими грядами гор, возвышается Алагяз. Каро молчит, задумался, кажется, забыл о нас.

— Кто скажет, сколько у нас в Армении таких вершин? — вдруг спрашивает он.

Мы, смущенные, прячемся друг за друга, не знаем, что сказать. Только Вардан что-то шепчет на ухо Паруйру.

— Варданик, иди сюда. Ты должен знать, ты ведь беженец, правда?

— Беженец.

— Как же ты забыл нашу гору Аладжу?

— Не забыл, помню, только... Ведь Аладжа теперь не наша, учитель.

— Не наша? Кто тебе сказал?

— Товарищ Хачик объяснял старшим на уроке географии...

— Товарищ Хачик... Не знаю, откуда родом этот ваш товарищ Хачик, но и я и ты, мой мальчик, должны помнить: Аладжа — наша гора. И Масис, и Немрут, и Сипан[2]... Приходилось вам слышать эти названия?

А Аладжа, Сипан, Немрут, Армянский хребет, Ван и Муш — они находятся еще дальше, так что же думаете, не наши они? Наши, часть нашей родины — Армении. Там жили наши предки, армяне: короли, князья, нахарары. Владели теми землями, и под их защитой мирно трудился наш народ-землепашец. Поняли теперь?

---

[1] Хачкар — камень, вытесанный в виде креста.

[2] Масис (Арарат), Немрут и Сипан ныне находятся на территории Турции.

— Ясно, поняли.

— Ну, в таком случае, кто же скажет, какие в нашей стране есть горные вершины, реки?

Вперед выступает Аракси, возводит, как богородица Мариам, взор к небу и, глотая начала и окончания слов, повторяет почти слово в слово все, что сказал Каро.

— Да, вся эта земля наша, за нее бились и пали в сражениях наши воины, начиная с прародителя Гайка до храброго Вардана и всех тех благородных рыцарей, что стали жертвой на алтаре отечества,— подтверждает Каро и продолжает свой рассказ. Слова звучат то скорбно, то энергично, он вдохновляется все больше. А мы, раскрыв рты, слушаем его. Не все понятно в его речах, не знаем мы, кто такие рыцари и как они стали жертвой на алтаре, но никто не решается прервать учителя. Повесть о храбром Вардане меня глубоко волнует, я горжусь этим героем и в мыслях клянусь: пусть сегодня попробуют заставить меня отречься от своего языка, я отвечу, как храбрый Вардан: «Умру, но языку своему не изменю...»

И в самом деле, как я могу забыть родной язык, тот, на котором говорила бабушка и до сих пор во сне говорит со мною мой отец Арам. Разве могла бы бабушка на другом языке так хорошо сказать о голубях: «Джан, джан, воркуют, как мой Агабек в детстве». А Гаре? Мог бы он петь на чужом языке свои сердечные, ласковые песни о Вормиздухт?

Да, я, конечно, согласна с Каро: человек должен до конца жизни помнить слова родной речи, которые произнес, в первый раз зовя свою мать, прося хлеба и воды. А если и теперь найдутся такие, что захотят отнять у нас наш язык, мы будем защищать его, как герой Вардан.

— Всегда и везде помните, вы — армяне,— наставлял Каро.— Армяне, дети Гайка, внуки Торгома[1]. И все это ваше — Масис, Армянский Хоровод, озеро Ван, Ани и равнина Аварайра.

— И Алагяз наш, не так ли, учитель? — шепчет кто-то.

Каро не отвечает. Он со вздохом садится на выступ скалы, закуривает папиросу. Обхватив голову руками, он думает. Мы, притихшие, собираемся за его спиной, и некоторое время слышно только наше сопение. Я смотрю на эту спину с выступающими, острыми лопатками, на искры седины в выбивающихся из-под шапки волосах. Сейчас я увидела Каро совсем другим, и мне почему-то жаль его.

За соседним холмом кто-то поет. Густой, низкий голос то отдаляется, то слышится ближе,— видно, поющий прогуливается. Вот голос снова приблизился, слышны уже и слова:

> В море была птица,
> Называлась чайкой,

[1] Гайк, Торгом — прародители армян.

Не тревожь мне сердце
Песнею печальной.

Каро мурлычет под нос вместе с неизвестным певцом:

Приди, мой яр, приди,
Не хмурь бровей, родная,
Ведь все и так течет,
Следа не оставляя.

— Чудесная песня, правда? — обращается он к Вардану.— И поет приятно! Как ты думаешь, кто это?

— Посмотреть? — вскакивает с места Вардан и, не дожидаясь ответа, убегает вместе с одним из саратакских мальчишек. Они скоро возвращаются, и странно, Вардан будто забыл, зачем послал его Каро. Мрачный и от этого еще больше почерневший, отходит в сторону.

— Варданик, узнал, кто такие? — спрашивает Каро.

— Пусть он говорит,— Вардан толкает вперед саратакца, и тот, не понимая волнения Вардана, беспечно тараторит:

— Ничего особенного, товарищ Каро, джрабердский Дылда... То есть учитель из Джраберда Лудвиг. И еще одна женщина подстриженная, да еще этот человек... Тот, Данелян...

Лицо Каро на миг темнеет, но тут же он берет себя в руки.

— Что ж, пойдем попоем и мы,— решает он, собрав нас вокруг себя. И мы так же торжественно, как шествовали по деревне, направляемся навстречу певцу. Я снова лопаюсь от досады. Нет, не может он иначе. Обязательно надуется как индюк, если есть перед кем покрасоваться. На этот раз его руки не покоятся на наших с Нушик плечах — Аракси отозвала нас в сторону. Она таинственно шепчет:

— Как увидите дылду — знайте, это и есть Лудвиг. Он учитель Джраберда, а раньше был офицер и ходил с саблей. Потом стал командиром Красной Армии.

— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я.

— О, а мой отец? Думаешь, даром его называют Манас Ножницы? Он все знает, ходит по деревням и столько слышит! Мой отец не любит его и всегда говорит: доберусь я до этого Дылды, выбрею так, что сразу вылезет из шкуры контры. «Пустельга» он.

— Кто, твой отец? — спрашивает Нушик.

— Да нет, этот Дылда. Пустой человек. Лез к нам в учителя. Отец мой расстроил все дело.

— И напрасно расстроил,— говорит Нушик.— Пусть бы стал вашим учителем, а наш товарищ Хачик остался бы нам.

— Зачем так говоришь? — удивляется Аракси.— А ее отец?

— Ладно, перестань,— отмахиваюсь я от вопросительного взгляда зеленых глаз Аракси.

Но про Лудвига она, кажется, сказала правду. Дылда и пустельга! Увидел нас и, картинно раскрыв объятия, спешит к Каро:

— Чудесно! Какая неожиданность. Ну что же, будем знакомиться заново или удовлетворимся старым?

— Я всегда считал, что старое надежней,— смеется Каро.

— Но нельзя отказываться и от новых знакомств,— вмешивается Данелян. Он недоволен шутовством Лудвига.— Барышня Елена,— склоняется он к женщине с подстриженными волосами.— Беспризорная дачница в Джраберде, порученная нашей общей заботе.

— На которую я имею некоторые виды,— не унимается Лудвиг.— Очень серьезные.

— Ах, товарищ Лудвиг,— протестует барышня,— вы ведь женаты, что значит — имеете виды? Люди могут понять превратно.

— Интересно узнать, что за намерения у товарища Лудвига? — пожимая руку барышне, говорит Каро.— Не могу ли быть полезным?

— Нет, нет, оставь свою полезность при себе.— Лудвиг берет барышню под руку.— Сообщить ему тайну? Нет, обижу Саратак. Моя совесть зятя не позволит этого.

— Что за загадки? — обращается Каро к Бенику.

— Какие там загадки? — задумиво улыбается тот.— Учительских кадров мало, потребность большая. Вот товарищ Лудвиг и считает своим долгом помочь Саратаку. Ведь он, так сказать, в родстве с этой деревней.

— Ах, во-о-от что!..— тянет Каро.— Барышня собирается учительствовать в Саратаке! Это уже решено? — Он оживляется.— А если я опротестую? Моя деревня больше, мне тем более требуется помощник.

— Ну вот, я же говорил,— вздыхает Лудвиг.— Знаю его! Ох, барышня, отнимет он вас.

— И буду прав. У меня большая нужда в учительнице. Смотри, сколько учениц. Видишь, двадцать девочек. Правда, среди них есть и саратакские, одна — моя дочь, но все равно, барышня нужнее мне.

— Что, родная дочь? — Лудвиг так и взвился от радости.— Нашел наконец? Которая?

Аракси подталкивает меня в спину, и Лудвиг, щелкнув каблуками, наклоняется к моей руке, подносит к мокрым губам.

— Разве можно так? — укоряет его барышня Елена. Мальчишки хохочут, я вырываю руку и прячусь за спину Каро.

— Чего ты испугалась, барышня? — не отстает от меня Лудвиг.— Дети, посмотрите скорее на меня. Ну что, зверь я или чудовище какое? Почему барышня Карапетовна так испугалась?

Вардан отвернулся, Паруйр рвет шерсть из папахи, прижатой локтем, Нушик, не знаю за какие мои провинности, делает мне страшные глаза. А я, из-за спины Каро, смотрю на этого загадочного, как бы сверкающего человека и чувствую — по спине пробегают мурашки... Встречаю потемневший взгляд Вардана. Этот гневный взгляд говорит мне: «Это он, он отнял Булата!..»

Сейчас я закричу, пусть весь мир знает, кто этот Лудвиг... Смотрю на Беника, Каро. Нет, эти не поверят, скажут только, что не умею себя вести.

Лудвиг болтает, хохочет, он чересчур развеселился. Барышня недовольно укоряет его:

— Товарищ Лудвиг, соблюдайте меру.

— Вы совершенно правы, моя госпожа,— склоняется Лудвиг и плюхается на камень.— Дети, идите ко мне, нам нет дела до этих серьезных людей. Садитесь здесь. Ближе, ближе, я вас не съем. В конце концов я тоже учитель, и мои ученики, например, не боятся меня.

Вардан присел на корточки нос к носу с Лудвигом и сверлит его глазами. Паруйр тоже приседает. Я сажусь поближе к Каро, на всякий случай — вдруг Лудвиг опять протянет ко мне свои когти.

— Что, все еще боишься меня? — хохочет он.— А я совершенно безвредный. Честное слово, барышня. Лев с вырванными зубами.

— О-о! — смеется кто-то из взрослых.

— Да, лев... то есть пока птичка, всего лишь безобидная птичка. Хотите, докажу? Вот, давайте сыграем в птичью игру. Так, значит, это моя рука, у вас тоже есть руки. Ну-ка, раскройте левую ладонь, положите на нее палец правой руки и приготовьтесь. Я буду говорить: летит, летит,— как только назову крылатое, подымите палец вверх. А назову четвероногое — не шевелитесь. Кто прозевает, получит от каждого из нас щелчок по носу. Начинаем.

Сначала у нас успешно летят: орел, ястреб, куропатка. Вардан спотыкается на верблюде, и нос его краснеет от двадцати безжалостных щелчков. Елена хлопает его белой перчаткой. Потом сама барышня заставляет лететь корову и, отбиваясь от наших щелчков, уверяет, что ей известны и летающие коровы. Теперь изо рта Лудвига так и летят одна за другой пташки наших полей. Неожиданно опять вылетает корова. Каро подымает обе руки. Лудвиг удивленно смотрит на него. Мы тоже удивлены. Джрабердский Дылда опять засуетился, кричит громче, чем надо:

— Попался, учитель! Ну, подставь-ка нос. Начнем, дети. Имейте в виду, такой случай выпадает не часто. А уж я-то знаю — каждый ученик мечтает схватить учителя за нос. Ну, бейте!.. Что же, струсили? Эх вы... Всего-то навсего один нос перед вами. Что же будет, когда вам прикажут разбивать другие, более солидные носы?..

— Такие бесчестные вещи мы не будем делать,— ворчит кто-то из ребят.

— Получил, товарищ Лудвиг? — Елена в восторге.

— Получил, госпожа моя, крепко получил. И еще говорите, что крестьянские дети невоспитанны...

— Это смотря по тому, кто их воспитывает.— Каро трет свой нос, благополучно избежавший щелчков.— И наконец, если я даже коров могу заставить летать, что же ты сомневаешься...

— Накормил! — шепчет мне на ухо Аракси.

— Ну, хватит нам стеснять детей,— возмущается вдруг Елена.— Нашли чем заниматься на лоне природы. Пусть побегают. Ну, дети, раз, два, три, догоняйте!

Она побежала легко и быстро. В беге как-то совсем исчезла ее хромота. Короткое платье развевалось по ветру, зажатые в руке белые перчатки мелькали, как крылья голубя.

Мальчики делают вид, будто бегают за ней, а сами хватают друг дружку, кувыркаются. А вот я решила во что бы то ни стало поймать эту стриженую барышню и бешено мчусь. Она заливается смехом, бежит, извиваясь, как змея. Еще один бросок, я, наклонив голову, как бодливый теленок, бросаюсь вперед и — хлоп ее по плечу.

— Ой, какая ты злая девочка! — взвизгнула она и стегнула меня перчаткой по носу. Я стою, опустив глаза в землю. Что смутило меня? Удар перчаткой, знакомый приятный аромат, коснувшийся моего носа, или восклицание Елены? Я вспоминаю, мне уже говорили когда-то эти слова и вот так же, перчаткой по носу...

Мы идем с нашими подозрениями к дядюшке Авету. К кому же еще нам идти? Условились — говорить буду я. Но Вардан не выдерживает, перебивает:

— Дядюшка Авет, если мой отец узнает, то ухо будет самым большим куском из всего, что останется от этого гадкого человека.

— Какого человека?

— Этого, ну, что увел нашего Булата... Оказывается, стал учителем.

— Говори толком, мальчик.

Стараемся говорить толком. Но разве слушает нас дядюшка Авет? Он совсем не похож на себя. Улыбается,— правда, лишь краем рта,— а когда мы кончаем говорить, даже хохочет:

— Небо обрушилось, и кусочек попал вам на хвост [1].

— Что же теперь делать, дядюшка Авет? — спрашивает Вардан.

— То же, что делали вчера: ходить на экскурсии с учителем Каро. Кто знает, может, в другой раз найдете еще одного такого Лудвига?..— говорит дядюшка Авет и снова хохочет.

— А потом? — хмуро спрашиваю я.

— Потом соберем всех их вместе, пригодятся зимой на рас-

---

[1] Из детской сказки о преувеличенном страхе.

топку. Ну, айда. Смотрите, никому больше ни слова об этом. Откуда вам знать,— может, это вовсе не тот человек. Наболтаете лишнего, а потом не разберешься...

ДЯДЯ КУЧИ И ДРУГИЕ

Вардан и я крутимся вокруг Каро, Каро — вокруг дядюшки Авета, и у каждого из нас есть на то своя основательная причина. Дядюшка Авет высмеял наши тревоги, но в его шутках мы все-таки уловили кое-что: надо снова пойти с Каро в горы. А Каро, как назло, что-то остыл к экскурсиям. Я несколько раз закидывала удочку: чудесные, говорю, были экскурсии, как интересно узнавать новое... Но Каро отмахивался.

— Нет у меня времени, дочка, очень занят. Мы пойдем еще в горы, обязательно пойдем, и в соседние деревни сходим, повремени, сейчас я занят.

Он говорит правду — действительно занят. Ходит в соседние деревни, в уездный центр, а когда остается дома — составляет список деревенских детей. И без конца ноет — как справиться ему одному с такой массой детей? На это жалуется он и дядюшке Авету.

— Так же, как справлялся Хачик,— отвечает дядюшка Авет.

— А с русским языком как? Я ведь по-русски не говорю.

— Ты с Беником близок, скажи, пусть пришлет учителя русского языка.

— Думаешь, валяются на дороге учителя? Нашли вот одну учительницу, да и ту забрали саратакцы. Может, устроим так: разделим барышню, пусть у нас тоже преподает русский?

— Такая она дорогая, что надо ее делить? — смеется дядюшка Авет.— Но в общем дело твое, потолкуй с Беником.

— Договорились! — радуется Каро.— Я устрою это дело. Беник обещал мне и еще кое-что — избу-читальню.

— Вот это хорошо. Теперь крепче держи Беника, он может и отступиться от своего слова.

— Хорошо, конечно, но для этого нужны две вещи: отдельная комната для избы-читальни и работник.

— Не надейся, ни того ни другого дать не могу.

— Что ж, пойду получу хоть книги, газеты, плакаты.

— Сходи.

— Дай кого-нибудь в помощь, груз немалый.

— Дают брюки, так надо их еще натянуть на тебя? — сердится дядюшка Авет.— Возьми детей и иди.

— Взвалить ношу на детей? За кого ты меня принимаешь?

Так они пререкались, а Макар уже стоял наготове и, как только Каро замолчал, выступил вперед:

— А мы что, разве скотина неразумная, учитель? Так и допустим, чтоб ваша милость таскала ношу? Скажи, что нужно, я все сделаю.

Пошел Каро вместе с Макаром в Катарлу и вернулся в тот же день. Книжная ноша, видно, была нелегкая — глаза у Макара чуть на лоб не вылезли. Наконец-то я рассмотрела, какие они.

— Теперь волей-неволей придется пойти еще на одну жертву, товарищ Макар,— сказал Каро.

— Только скажи,— крякнул Макар.

— Нет, дорогой, ты трудящийся человек, не имею права эксплуатировать. Ну-ка беги, позови ко мне Ерванда.

Пришел Ерванд. Каро не скупился на похвалы Бенику, но заметил: если б не он, Каро, товарищ Унаробраз не дал бы столько книг. Но вот книги есть, а Авет...

— Понятно, его вода и моя не текут по одной борозде,— отказывается помочь. Значит, товарищ председатель должен сам подыскать комнату для избы-читальни.

— Тут моя вода тоже не пойдет по твоей борозде,— отрезал Ерванд.— Нет комнаты.

— И человека у тебя нет?

— Нет.

— Не хотите помогать мне. А я, наоборот, решил помочь деревне. Одна у меня комната — половину отдаю избе-читальне. Дают мне только зарплату учителя, должность избача буду исполнять бесплатно.

— Что ты за человек? — удивился Ерванд.

— Человек как есть. Был таким и останусь.

— Дай бог, чтоб добром кончилось.

— И что это вы, коммунисты, как только туго приходится, тянете бога за подол,— засмеялся Каро.— Не мешайте богу, глядишь, все и кончится добром.

Пока что добрый конец начался тем, что часть нашей комнаты превратилась в избу-читальню, а Каро, мой отчим и урутский учитель, стал еще и избачом. Он по-прежнему вздыхал и повторял, что для Урута добровольно взял на себя новую обязанность. Но вот Сурен учуял что-то в этой доброте Каро.

— Я уже говорил: той кошке, что добровольно влезает под твою папаху, верить нельзя,— заметил он, с сомнением качая головой.

— И все-то ты, сосед, говоришь намеками. Чем я не понравился тебе?— слегка обиделся Каро.— Думаешь, другие не знают побасенок?

— Побасенки побасенками, не попасть бы только в скандальную басню,— усмехнулся Сурен и ушел. Однако Макар успел уйти раньше, и вслед за ним по деревне потянулась хвалебная молва: «Повезло нам. Вчера лишь появился человек, а сегодня уже превращает деревню в светлый храм. Для детей пришел — заботится и о взрослых. Пусть, пусть приходят саратакцы, посмотрят: что мы отдали и что взяли...»

Отдали учителя Хачика, взяли Каро; один развлекался в городе, другой жертвовал своим отпуском для урутцев. Они не

знали Каро и восхищались им; я знала его и не узнавала. Мне казалось, что я во сне, что знаю двух Каро. Один — тот, прежний, который не начинал разговора с крестьянами, не хлопнув кнутом по голенищу сапога. Другой — этот, все заботы его — о крестьянах и их детях.

Кто же такой Каро? Дай бог, чтобы добром кончилось...

Но пока изба-читальня — дело интересное. Мои собственные дела, правда, несколько осложнились,— каждый, кто заходит, просит у меня напиться. Но я довольна. Избач товарищ Каро разрешает мне читать все книги, даже поощряет это. А иной раз и сам возьмет какую-нибудь книгу, сядет рядом со мной:

— Будем читать, дочка. Пусть другие берут с нас пример. Ты вот читаешь только для себя, а я должен сначала прочитать для себя, а потом еще — для урутских твердолобых.

— Так собери твердолобых и почитай сразу и себе и им,— советую я.

— Ничего не выйдет,— смеется Каро.— Книгу надо выбрать, не всякая дойдет до них. Мысли их, дочка, не такие ясные, как у тебя. Вот и ищу я рассказы, чтоб сами влезли им в голову.

Это правильно только отчасти. Я не успела еще прочитать всех книг, полученных Каро, но уже заглянула в каждую. И могу сказать — все эти книги хорошие. Вот хотя бы та, что называется «Мигран и Цибо». Мигран мальчик, а Цибо — собака. Боб — тоже собака, и такая же верная и благодарная, как наша Топлан. Акбозат — лошадь. Есть еще книга про королевскую дочь, называется «Безрукая». Нашла я и ту книгу, которая, как верила когда-то моя мать, была одной-единственной на свете и принадлежала моему отцу Араму. «Пес и кот»! Я выучила эту книгу наизусть. Но стоит мне вслух сказать оттуда строчку, мать машет рукой и уходит из комнаты.

Таким образом, все это книги о собаках, кошках, лошадях. Понятно, подвигами собаки, кошки или лошади не удивишь крестьян, они знают об этом больше, чем написано в книгах. И я подозреваю: не из любви к книгам Макар с утра до ночи околачивается в избе-читальне. А Умршат и Гаре? Если они не приходят, Каро приглашает их сам, особенно в такое время, когда не бывает здесь ни Смбата, ни Сако. Начинаем всегда с книг.

— Мы с дочкой прочли один интересный рассказ. Послушайте.

Жду, жду — когда же в его рассказе покажутся Мигран или Цибо, Боб или Акбозат? А что происходит с дядей Кучи [1], прямо удивительно! Кучи совсем исчезает, зато появляется много дядей — все наши прежние соседи: братец Умршат, Гаре, Гаспар, Торгом. Всех этих дядей Каро заставляет говорить, расспрашивает: как они живут, какие у них трудности, заботы. Известно, ни один беженец на свете не может считать себя сча-

---

[1] Дядя Кучи — персонаж поэмы Ованеса Туманяна «Пес и Кот».

стливым, раз потерял он свой дом и родину. И дяди начинают вздыхать, сокрушаются: «Ах, наша сладостная земля, вода!..»

Братец Умршат всегда так вздыхает, и, хотя он ни разу не упоминает о своих погибших родных, мы понимаем, что его «охи» скорбь по сыновьям. Их прах не покоится в родной земле, они остались без могил. Мы знали это и всегда утешали старика. А Каро будто нарочно сует палец в рану:

— Сыновей зарезали у тебя на глазах, это верно, дядя Умршат?

— Зачем тебе это, учитель Каро?..— темнеет Умршат и начинает усиленно раздувать огонь в трубке, выпуская клубами дым.

— Сердце у меня болит.

— Твое сердце не может болеть сильнее отцовского.

— Уж это так. Но как посмотрю, крепкий ты все-таки человек, дядя Умршат. Вот дом выстроил, совсем здешним жителем стал.

— Ох, учитель Каро, или не приходилось тебе скитаться? От двери к другой — пройдешь их тысячи, и пока нет у тебя собственной двери, не уймешь сердечного горя.

— Так, значит, горе сердечное прошло теперь?

— Слушай, братец, что тебе далось мое сердечное горе? Сердце мое в груди, и биение его слышно мне. Слушай, как бьется твое собственное сердце.

— Ай-яй-яй, обижается! — качает головой Каро.— Соседи же мы. Разве наши сердца не одинаково бьются? Общая у нас судьба, потеряли мы отечественные святыни, близких. Как же не вспоминать нам свои потери? Разве чужой понесет наше горе?

— К плачу стремится плач, а к смеху — смех, учитель,— осторожно вступает в разговор Торгом.— Что пользы сидеть нам, как слепая старуха, перебирая прошедшую молодость?

— Ага, считаешь все-таки, что прошлое было молодостью, земляк? — ловит его на слове Каро.— Да, конечно, то была молодость. Молодость нашу с тобой не вернешь, но вот другое — наши отечественные святыни — должно бы возвратиться.

— Как же это они вернутся?

— Да я, собственно, просто так мечтаю,— грустно улыбается Каро.— Потеряли, вот теперь только и делаем, что мечтаем. Может, когда-нибудь возвратится все-таки потерянное нами. А ты что — не мечтаешь? Соседи твои не мечтают?..

— Ах, учитель Каро,— горько вздыхает Гаре,— нет среди нас человека без этой мечты. Засыпаю — журчат в ушах моих наши студеные ручейки, просыпаюсь — ветерки наших гор шелестят по дорогам, зовут меня с собой. Эх, дал бы бог мне крылья, полетел бы, покружил над моим полем, над лугами. Взглянуть хоть раз!

— Зачем же только раз, Гаре?

— И раз не посмотришь, учитель Каро. Турок — не двою-

родный брат, не пустит в свой дом, на свою землю, оторвет голову.

— Эх, Гаре, Гаре, легко и просто объявил ты свой дом, землю твоих предков турецкой. Почему турецкая, братец ты мой, зачем? И откуда ты взял, что турок только и ждет, как бы срубить тебе голову? Разве сейчас война? Государства помирились, а народы и не ссорились... Я, брат, думаю иначе. Скажем, возьму я свое добро в охапку и пойду прямо к долине Аладжа — что же, станут мне поперек дороги?

Братец Умршат вынул изо рта трубку, растерянно теребит седой ус.

— О чем ты говоришь, учитель Каро?..

— Да так, дядя Умршат, мечтаю, как и Гаре...

Так ли мечтает Каро, как Гаре? Не знаю, не ручаюсь... Но у меня есть своя заветная мечта, моя печаль, моя тоска. Я все время помню, как бабушка терзалась из-за наших утрат, вижу ее горькие слезы, чувствую, с какой тоской ушла она в могилу. Беседы в избе-читальне бередят и мою душу. Когда вот так вздыхает Гаре о родных журчащих речках, Каро мечтает о зеленой равнине Аладжа, Торгом вспоминает свои поля на Мшко, а Умршат — дорогой его сердцу «тысячеродниковый» Алашкерт,— для меня все превращается в нашу сельскую дорогу, в наш старый домик на краю ущелья. Я будто слышу шорох Ахуряна, вижу родное звездное небо. Мне кажется, что я опять засыпаю на нашей крыше и тысячи ярких глаз-звездочек смотрят на меня.

Я не видела ни Алашкерт Умршата, ни торгомовских Мшко, но отчего-то тоскую по всему, всему этому. Словно в сердце моем вместились и сердце бабушки и сердца всех моих земляков. И разве только беседы в нашей избе-читальне причина этой тоски? Разве потому стали как-то сильнее тосковать по нашей исконной родине? Даже дядюшка Авет. Редко, очень редко заглядывает он к нам домой, но, если уж пришел, обязательно затеет разговор о том же.

— Помечтаем, Каро? Вот бы случилось так, перешли бы мы реку и попали в наше селение, роздали бы земли твоего покойного хозяина и зажили по-человечески... Как смотришь? Или глаз волка все еще устремлен в лес?

— Не пойму что-то. Кто же этот волк?

— О тебе говорю. За хозяина стоял бы ты или за нас?

— Будь трижды проклят отец хозяина. Пусть только случится такое, Авет, увидишь, что сделает Каро. Тебе кажется, я прежний. Я так мечтаю о наших землях... Пусть только вернут их — сам впрягусь в плуг вместо вола.

— А что за вести у тебя о покойном хозяине? — вдруг спрашивает дядюшка Авет.— Жив кто-нибудь из них — сын, дочери?..

— Откуда мне знать? Никаких вестей нет. Думаю, вряд ли кто-нибудь спасся. Старый хозяин так прилип к своему добру,

что, наверно, турки вместе с мешком золота и голову его оторвали.

— Ну, голове его и так срок вышел, а вот сын, дочери... Неужели нет и их?..

— Не знаю. Впрочем, будь они живы, вряд ли остались бы в Армении. Зачем им лезть в руки большевиков?

— Напрасно так говоришь. Мы не мстим молодым девушкам.

— Эх, стать бы мне молодой девушкой! — смеется Каро и выжидательно смотрит на дядюшку Авета.— Жаль, трудновато.— Он явно хочет вовлечь и гостя в шутливый разговор.

Дядюшка Авет серьезен. С сожалением смотрит на Каро некоторое время, а потом говорит:

— Не воображай, что ты важная персона и большевики только и думают о том, чтоб отомстить тебе. Немногого ты стоишь, Каро, честное слово. Не своим умом живешь... И тогда по чужой указке жил, и теперь...

— То есть по чьей же это указке? Договаривай,— оскорбляется Каро.— Не слишком ли скоро судишь? Не нравится, что ходят ко мне крестьяне, что есть у меня с ними общая боль? Поговорил об этом, и уже получается...

— Получается, Каро, получается! Получается — воду мутишь... О том, кто поручает тебе мутить воду, пока говорить не будем, но знай — из этого ничего хорошего не выйдет. Все мы тоскуем по родным местам, и я тоскую, сердце мое болит. Но это не дает мне права терзать сердца людей. Подливать в огонь масло — не патриотизм. Больную рану надо успокаивать, а не ворошить. Что ты привязался к беженцам, чего добиваешься?..

— Одного только, Авет, хочу, чтобы остались мы армянами. Это моя клятва, цель, считай как хочешь...

— А разве что угрожает этому? Кто-нибудь посягает на наш язык, нашу национальность? Ты копаешься, ворошишь, напоминаешь: вы — армяне, знайте, мол, вас могут заставить забыть свою национальность. Это новая политика врагов. Мое сердце не болит за тебя; если сию минуту дадут тебе по шее и возьмут отсюда, я и не вздохну. Но ты — муж моей сестры... Предупреждаю: не превращайся в орудие. Ты ведь меня знаешь, буду терпеть, но если увижу — возвращаешься к старому, не пощажу...

— Ой, Авет-джан, что это ты говоришь? — внезапно вмешивается мать.— Разве не знаешь Каро: увидит незнакомого человека, из кожи лезет — посмотрите, мол, каков я!..

— Ну и ну! Договорились брат и сестра, превратили меня в совершенного болвана! — смущенно смеется Каро.— Совсем уж будто я ничего не понимаю. Успокойтесь, дорогие. Сам знаю: превратись я даже в огонь, не сжечь мне и одного большевистского снопа. За дружбу ратую, хочу, чтоб забыли старую вражду. Где бы мы ни были, Авет, мы дети одной и той же земли-края и должны держаться друг за друга. Даст бог — вернемся в наш край, пусть не ляжет старая злоба и месть между нами.

Мы ведь прошли через моря крови, вместе проливали кровь. Не друг против друга бороться должны, а против опасности, идущей извне.

— Хочешь сказать: братство со всеми теми, кто армяне?

— Да.

— Ошибаешься. Ты — армянин, я тоже армянин. Но я не побратаюсь с тобой. Ты не друг ни мне, ни нашим крестьянам. Ясно говорю? Думаю, и сам ты плохо понимаешь, что ты такое есть, и это твое непонимание может тебе очень повредить.

— Благодарю, Авет, за участие,— Каро будто растроган.— Ну что ж, я ведь тоже человек, могу иногда и ошибиться. Для того и существует настоящий друг, чтобы предупредить вовремя: не ставь ногу сюда, поставь туда...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Мы живем «со спокойными ушами», как иногда говорит моя мать. То есть Каро и дядюшка Авет не трогают друг друга и я не трогаю Каро. А это все, что может желать теперь мама. Она должна быть довольна. Отчего же так часто мутится ее взгляд, почему она уходит в себя, целыми днями молчит?

Мама говорит только о незначительных вещах. Изредка она чуть приоткрывает завесу — перед Маран. Но на вопрос — как случилось, что она связалась с Каро,— не отвечает никогда. Бывает: Маран вдруг заговорит о том, что мы натерпелись в год бегства. И я вижу — очень тяжело маме слушать все это.

— Каро хорош с тобой, не так ли? — спрашивает Маран иной раз.

— Мужчина как мужчина. Не оставляй голодным, успевай за его «да» и «нет», вот и будет хорош,— бормочет мать.

— Нет, все-таки хорош, вижу, что хорош,— словно сама себя убеждает Маран.— Будет и в работе своей таким смирным и обходительным — этого довольно, все поймут — стал человек на честный путь. И тебе, Арцвик, пора взяться за ум,— наставляет она меня.— Неродной отец — беда невелика. Хуже, когда мать неродная. Будь посмирней, не кидайся в драку, слушайся, вот и он станет смотреть на тебя ласковым глазом. Нет в стене щели — не воткнешь туда клин. Так и в семье. Где мир и согласие, там бессильны чужие наветы.

Маран, ясное дело, от чистого сердца желает мира нашей семье. Но почему именно во мне все видят опасность, угрожающую этому семейному миру, почему читают мне наставления? Даже наша давнишняя Башка-ханум насела на меня со своими проповедями. Правда, говорит она теперь со мной очень ласково: «Арцвнак джан». Но мне от этого еще тошней. Я слиш-

ком хорошо изучила Шушан-ханум и знаю — она-то говорит не от чистого сердца.

К нам Шушан-ханум является всегда с подарком: то кругляк масла для учителя, то два-три десятка яиц, несколько штук гаты. Станет на пороге со свертком под мышкой, а сама вздыхает да охает: «Ах, ничего не смогла достать для учителя. Ах, пропади все пропадом, не прежние теперь времена. Был дом — полная чаша, как дворец шаха, а теперь...» И пошла причитать:

— Клянусь солнцем своего единственного, учительша джан, не отличала я дочь твою от собственного ребенка. Одно несчастное яичко и то разделишь на двоих. Девочка не маленькая, думаю, и сама помнит. Матушка Нуно — упокой господи ее душу — сидела во главе моего тонира, братец Авет тоже... Что и говорить, не наш бы Мукуч — кто еще подхватил бы их под руку... Не люблю я хвалиться. Считаю: сделал доброе дело — и забудь, кинь в воду, люди и сами вспомнят, если делал добро с чистым сердцем. А человек забудет — бог напомнит.

Мать моя слушает и грустно вздыхает:

— Пусть бог воздаст тебе по твоему сердцу, тетушка Шушан.

Каро — тот благодарит тетушку Шушан сразу и за подарок и за меня.

— И без твоих слов видим и понимаем, тетушка Шушан,— растроганно говорит он.— Я, конечно, слава богу, ни в чем не нуждаюсь, ценю не дар, а движение твоей чуткой души. А уж за дочку мы с женой обязаны тебе до конца своей жизни. Что было бы с ней, с нашей единственной, без тебя? Ты взяла ее за руку босую, голодную, посадила рядом со своим ребенком, приласкала, накормила. Разве можно забыть такое благодеяние?

Каро смотрит на меня, и я еле сдерживаюсь, чтоб не сказать. Да, потаскал бы ты, босой и голодный, воду для этой тетушки, понял бы, что это было за благодеяние...

Но я помню наставления Маран и не мешаю литься речам Башки-ханум. Глаза ее так и бегают, она оглядывает меня с ног до головы. Оказывается, у меня теперь приличный вид, я пополнела и даже похорошела. Сделалась «девочкой из подлинно достойного рода». Все это, конечно, заслуга учителя Каро, и на моей совести теперь «не бросать шапки учителя наземь». Иначе говоря, я должна забыть свою дружбу с деревенскими мальчишками, не бегать по улицам и дорогам, в общем — держаться солидно.

Покончив со мной, Шушан обращается к моей матери:

— Счастье любит тебя, учительша джан, главный твой что король, не чета нынешним шалопаям. Доброго вола узнаешь под ярмом, хорошего человека — за столом. Твой главный и разговор поведет как надо, и держится с достоинством. Ай, вспомнить обидно, чуть не навязали на голову нашей деревни беспор-

тошного щенка. Учитель должен быть солидным. Не зря говорится: «Сидит с достоинством, весит целый литр»[1].

Все ясно, камушек снова летит в огород нашего товарища Хачика. Однако интересно, когда же Шушан успела взвесить Каро. Не думаю, чтобы Каро был тяжелее Хачика. Каро есть Каро, и вряд ли яйца и масло, принесенные Шушан, добавят что-нибудь к его весу. Сколько бы ни съел, он все такой же худой и длинный. Острые скулы, острый подбородок и острые усы. Ноги сухие и тонкие — как палки.

Шушан продолжает свою мысль, и у нее получается, что все качества Каро — это и есть признак благородства, величия и серьезности. У такого учителя обязательно должен быть сын-наследник.

— Мне, конечно, в таком деле слова не полагается, учительша джан. Жена своего мужа — ты, но скажу тебе от чистого сердца: пока у мужчины нет сына, не получишь власти над его сердцем. Вот хоть бы мой Мукуч. До Габрела — будь я жертвой родному его солнцу — Мукуч обращался со мной, как чабан: днем его дома нет, а ночью — лицом к стене... Сын — дело большое. Кто же поддержит дым твоего очага, когда сложишь ты голову?

— Одна есть — и хватит,— вежливо, но твердо шепчет мама,— пусть эта будет хорошим ребенком. А то, что девочка,— какое имеет значение?

— Бог да хранит твою единственную, учительша джан. Но что такое девочка? Огонек в чужой лампаде. Сегодня — ваша, а завтра — муж увел. Вот и останетесь ты и твой муж кудахтающими курами на пустом насесте. Слава богу, ты еще молодая, такой ханум-женщине, как ты, грех не качать на руках красивенького, сияющего младенца. Как сейчас помню: возьму я, бывало, на руки своего Габрела, выйду за ворота. Вся деревня тает от восторга, просто ангелочек, а не ребенок был.

Губошлеп Габо — архангел Габриел, светлоликая луна! Посмотрела бы моя мать, что это за ангел. Жаль, нет его здесь, проводили в город. Торчит небось у Айро, хотя Шушан хвалилась, будто наняли ему отдельную комнату.

— Как можем допустить, чтоб наш единственный под милостью жены ходил? Мукуч говорит: продам даже нательную рубашку, но образование Габрелу дам, умереть мне за его лучезарное лицо. Вот потому и говорю, учительша джан,— надо, надо завести и тебе сынка.

Свихнулась эта Шушан, что ли? И что думает моя мать, зачем разрешает совать бесстыжее рыло в наши дела?

Мама молчит, зато Каро хихикает:

— Хороший совет, тетушка Шушан, да вот беда — бог дал право на это дело одним лишь женщинам.

---

[1] Литр — мера веса, равная 9 пудам.

Мать краснеет и — что ей еще остается — срывает гнев на мне:

— Убирайся вон... ты-то чего здесь торчишь?

В том, что Шушан-ханум ходит в наш дом, нет ничего непонятного. Ведь это дом ее деверя, а деверь отсутствует — кому же еще следить за добром, за порядком. А хвалиться, что не отличала меня от своего единственного Губошлепа, ей волей-неволей приходится. Кто же еще подтвердит ее благодеяния, если сама она не уверена, что делала добро. Надо же как-нибудь успокоить свое сердце.

Приходит сюда и Мукуч, тоже присмотреть за домом Айро. Как член сельсовета, заглядывает и в нашу дверь. Он не бахвалится, как его жена, и о других не говорит — ни хорошего, ни дурного. Толкуют они с учителем о том, что в газетах пишут.

— Все это хорошо,— говорит Мукуч.— Одно плохо: никто не унимает вашу боль — беженцев.

— Вижу, нажали беженцы коленом на вашу душу, дядя Мукуч? — спрашивает Каро.

— Нет, зачем же, я не против, но... тесно нам. Если в твой джувал входит десять пудов, а ты втиснешь двадцать — ведь лопнет? Хочу сказать: страна с пядь, народу много, живем в тесноте, как бы не начались неприятности.

— Эта пядь может очень просто и вырасти. Кто определит заранее дела мира, дядя Мукуч?

— Но ведь о н о не хочет войны. Не понимаю только — сил нет или идея у него такая?

— Кто знает... Пусть о н о даже не хочет войны, а другие?.. Войну всегда начинает сильный, а начали — волей-неволей выводи войска.

— Предположим — вывели. Дальше?..

— Дальше, понятно, сильный проглотит слабого, дядя Мукуч.

— Сорок государств мира нападали на него, а о н о стоит, ничего, хотя было куда слабее. Почему же сейчас будет проглочено, учитель?..

Учитель, однако, молчит. Трет подбородок, думает и молчит.

— Нет, братец, от крови и слез пользы не будет,— решает Мукуч сам, не дождавшись ответа.— И о н о тоже, видно, не хочет этого. Само оно — государство землепашцев и, по совести сказать, скольким голодным и раздетым дало хлеб и землю. Хотя бы в нашей деревне. Одного не пойму — линию его разделять людей: тот кулак, этот трудящийся... Да ведь все мы твой народ! Зачем суешь палку в колеса, не даешь катиться своей дорогой?

На эту линию Советского государства — разделять людей — Мукуч сетует лишь наедине с Каро. Стоит по какому-нибудь

делу зайти Бабику, Мукуч немедленно возвращается к первой половине своей речи:

— Верно ты говоришь, учитель, государство наше — миролюбивое, творит добро. Не таи сам за пазухой камня, так оно не замахнется даже на твою курицу... Бабик джан, Бабик, в твоем сарае залежались наши корыта, отнеси тетушке Шушан, они ей нужны, забыл тебе сказать.

Бабик уходит, и беседа продолжается. Внешне вполне мирная, безвредная.

— Конечно, есть и среди деревенских такие, что не понимают. Норовят сунуть палку в колесо. Ну что из того, скажем, если в кармане у тебя не лежит партийный билет? У меня нет, у другого — нет, что же, так мы ничего и не стоим? Зачем проводишь ты отличительную линию? Зачем роняешь честь человека перед народом? Этот человек пришел сюда от имени закона, образованный, если и было что...

Мукуч не называет ни имени партийца, ни имени человека, честь которого кто-то роняет. Каро не спрашивает, кто же это проводит отличительную линию. А Макар, который вечно сидит на корточках у двери, занят только своей цигаркой. Никто его не видит и не слышит. И так же неслышно он исчезает. А по деревне начинают ползти слухи о войне, об отправке беженцев на родину. Между прочим ящеркой проскальзывает и такое: «Новый учитель очень солидный, ученый человек, и если его вода с Аветовой не идут по одной борозде, на то своя причина: ячейка держит в кармане партийный билет, а уважение и почесть достаются товарищу Каро. Образование, оно что золотой браслет на руке...»

Доходят слухи и до Каро. От удовольствия лицо его вытягивается еще больше, кончики усов торчат еще задорнее, и так ходит он, пока Сако, Смбат, а чаще всего Сурен не приведут его в чувство одним брошенным вскользь словом. Веселее всех и больнее осаживает важничающего Каро Сурен:

— Этот учитель повис над нашей деревней словно бубенчик: трезвонит, а толку что-то не видно...

И что за охота Макару вечно торчать у двери? Вот и сейчас вошел, поскреб затылок и скромненько присел на корточки.

Да как же пройти ему вперед и сесть, если в верхнем углу комнаты расположились Мукуч и Айро? Хозяин дома приехал на несколько дней — познакомиться со своим новым жильцом и по другим делам.

Айро горячится, Мукуч упрекает его. Каро глазами соглашается с хозяином, словами — с Мукучем. А Макар — тише воды ниже травы — знай поскребывает затылок. Мукуч в конце концов замечает его:

— Макар? Ну что, мальчик или девочка?

Макар проворно достает из кармана бутылку и ставит на стол.

Каро нетерпеливо покусывает усы. Легко ли, около двух недель он здесь — и водка впервые.

— Кто это постарался? — млеет он.

— Не знаю, его спроси,— кивает Мукуч на Макара.— Учитель — для нас, и все мы обязаны оказывать ему почет и уважение. Ну, Макар джан... нет, что я, Арцвик, беги к нам домой, дочка, посмотрим, что тетушка Шушан пришлет на закуску. А пока посидим, поговорим по душам, учитель. Смерти так и так не миновать,— кивает он на бутылку.

Я выхожу во двор, но идти к Шушан, да еще по такому делу? Нет, Башка-ага, я не Макар. Откуда-то взялся Бабик:

— Макар водку принес?

— А ты почем знаешь?

— А тебя за закуской отправили?

— Не пойду.

— Ладно, я сбегаю, а ты подашь.

Бабик бежит и возвращается с большим свертком.

— Занеси, я здесь побуду, под окном.

Каро и не выпил, а пьян. От радости опьянел, от удовольствия созерцать «приятный облик дяди Мукуча и товарища Айро». А когда опрокинул первый стаканчик, вокруг него стало все крылатым, закружилось, полетело. И сам он почувствовал крылья.

— Ты, дядя Мукуч, еще узнаешь этого парня. Свой парень!.. Беник, собачий сын, говорю я ему, кой черт тебя дернул погнать меня в Урут, к этим... к красным?.. Не горюй, говорит, Каро. Найдешь там людей и твоего цвета... За твое дорогое здоровье, дядя Мукуч... Красное яичко только в пасхальный день. Минует пасха, яичко станет таким же, каким... хи-хи-хи, было, когда выпало из-под хвоста у курицы... Сказку про белого царя помнишь?.. А ты, Айрапет-ага, не смотри так на меня. Я сиживал с хозяевами и покрупней. Был у меня один такой хозяин...

— Будь здоров, учитель, хороший ты парень,— пытается Мукуч отвлечь Каро.

Но теперь Каро не удержишь, он уже взмыл к небесам.

— Если я шелк, ты самый лучший шелк, дядя Мукуч! Еще до прихода сюда я знал о тебе. Твое здоровье!

Тай-лай-лай, любимая,
В твой стан влюблен я.
Журчит, шумит наш Ахурян.
Ива качается, как твой стан.
Тай-лай-лай, любимая,
Лампадой горит
Любовь моя.

Подтягивай и ты, дядя Мукуч, или нет у тебя голоса?..

— Смотря что петь. Голос голосу рознь, учитель.

— Как национальные дела?

— Национальные дела?.. Ты это что?..

— Ха-ха-ха! — хохочет Каро.— Напугал я тебя? Сато, там лежат папиросы, дай сюда.

Мать подает большую роскошную коробку. Каро раскрывает ее, нюхает с наслаждением и протягивает Мукучу:

— Кури, я имел в виду всего лишь это. Дядя Мукуч, вот это и есть национальные дела... Знаешь, чья эта шутка?.. Беник... собачий сын, ошарашил меня в тот раз, как ходил я к нему насчет избы-читальни. Ну, говорит, как твои национальные дела, Каро? Я тоже, вроде тебя, опешил. «Какие национальные дела, парень?» — говорю я ему. «Выходит, курить бросил?» — смеется, мерзавец! «До этого еще не дошло»,— отвечаю. «Ну, раз не бросил, возьми эти папиросы в подарок, кури на здоровье, а спросит кто — как национальные дела, достань и угости...» Золотые слова, верно, дядя Мукуч?..

Мукуч мнет в грубых пальцах роскошную папиросу, а сам озирается вокруг встревоженно.

— Слово может стать и хорошим — смотря к чему оно сказано.— Он пробует прочитать название папиросы: — «Ханкефи»... Что значит «Ханкефи», учитель?

— Значит — хан кутит. Выпьем за здоровье хана ишхана и... за то. Я вам младший брат, Мукуч-ага, вы оба мои старшие братья, выпьем!..

— Господи помилуй! — вспомнил вдруг обо мне Башка.— Какой у тебя удалой отчим, девочка, у него даже сын Алмо князь и хан [1].— Тут он дружески мигнул мне.— Чудеса творит водка!..

— Он тебя называл ага, Мукуч-ага...

— И очень правильно, расти большая, дочка... Мукуч-ага — лошадь под тобой резва... Ах, была бы у нас с тобой лошадь, прокатились бы мы... Эх!.. Ну ладно, хватит, учитель джан, поели, попили, покутили, давай теперь засни немного.

Он сует подушку под спину Каро и, натянув шапку пониже на лоб, поскорей удирает. Уходит и Айро. Каро, почувствовав податливую мягкость подушки, затихает, но через минуту снова садится. Мутные пожелтевшие глаза блуждают, ищут кого-то.

— Подложили мне мягкую подушку, да, госпожа учительша?.. Мягкую... Я даже сонный куплю и продам весь Урут с Мукучем в придачу. Лопоухий сукин сын! И Авета в придачу, и Ерванда... Сукины дети!.. Не таращи на меня глаза, дочка... Новое поколение!.. Красное поколение!.. Посмей только изменить свой цвет, горе тебе. В моем доме — моя власть, тот, кто ест мой хлеб, не должен даже оттенок иметь другой, чем у меня...

— Ну, хватит тебе, ладно. Попала в брюхо проклятая водка, опять превратился во льва? Болтаешь, а что — сам не слышишь,— пытается утихомирить его мать.

---

[1] Имя сына Алмо — Ишхан, то есть князь.

— Да, да, усыпляйте меня!.. Так сейчас и засну!.. Даже сонный, я увижу то, чего твой красный брат с открытыми глазами не видит.

Он вдруг умолкает, голова падает на грудь. Мать слегка подталкивает его, и он плюхается на подушку. Готов, заснул!

...Мама ходит на цыпочках не потому, что боится разбудить Каро,— она всегда ходит так, если бывает огорчена. Убирает со стола и украдкой, чтоб я не видела, вытирает глаза. Сгребла остатки закусок в таз — их хватило бы еще на целое угощение.

— Выбрось.

— Давай отнесу, отдам сыну Алмо...

— Что?.. Выдумала. Сын Алмо не хуже других, нужны ему твои объедки!.. Кто я такая, чья дочь, чтоб так оскорблять человека?..— Потом голос ее понижается: — Ой, бала джан, ты понимаешь... Пьяный человек теряет разум, может наболтать всяких глупостей... Не обращай внимания, не выноси на улицу, пусть тайна нашего дома останется при нас. Не сам он говорил — водка... Горе мне, никак не отвяжется от нее. Когда проснется, не вспоминай ничего.

...Каро просыпается поздно вечером. Зевает, потягивается, одним духом выпивает полведра воды и сидит потом повесив нос.

— Хоть бы пучок малосольного зоха...

Мы молчим.

— Что ты думаешь о карасах и горшках тетушки Шушан, Арцвик, а?.. Пучок, только один...

И маму вдруг прорывает:

— Имей стыд, пропил всю совесть! Доходит хоть до тебя, что ты делаешь? Карасы-горшки Шушан!.. А твоя честь, а твое имя? Учитель!..

— Моя честь при мне,— лениво зевает Каро.

— Ни чести у тебя, ни имени. Голос твой слышен был на том конце деревни. Учитель кутил!..

— Ну и кутил. Разве стыдно?

— Стыдно! За чей счет кутишь? Мукуч тебе брат? Дядя?

— Мукуч?.. При чем Мукуч? Водку принес Макар, разве не так? — притворно удивляется Каро.— Кто знает, откуда этот несчастный бедняк достал литр водки, а мы — ай-яй-яй! — даже рюмки ему не поднесли.

— Макар принес! Брось притворяться. Зачем позволяешь Мукучу? Скоро сделает тебя вьючным ослом. Седло на спину, уздечку в рот...

Каро хватает пустое ведро.

— Молчать, на месте уложу! Повисла молотком над моей головой?.. Приехали в Урут — крылья появились?

— Это ты окрылился, ты! Улетел, сам не знаешь куда. Помнишь хоть, о чем болтал с посторонними людьми? Они тоже мужчины — выпили, а языки почему-то не распускают. Ни одно пустое

слово не выскочило у них изо рта. А ты после двух стаканчиков водки забыл и начало слова и его конец.

— Говоришь, разболтался, Сато джан? — Каро остыл так же быстро, как и вспыхнул.— Что же я говорил?

— Да, буду теперь сидеть повторять твои слова. Запомни, Каро: напьешься еще раз и будешь нести такую чепуху, возьму ребенка и уйду. Хватит с меня!..

— Ну ладно, давай помиримся...— Каро тянет к себе мою мать.— Конец, жена-молоток! Ни пить не буду, ни болтать. Согласна?

— Горбатого могила исправит,— печально усмехается мать. И снова предостерегающе глядит на меня: «Не смей разглашать!..»

Вот так мама... Оказывается, и она может одержать верх над Каро! А Каро — до чего жалок, сразу каяться начал. Так что можно было и не говорить дядюшке Авету обо всем этом. Вряд ли он строже мамы отчитал бы Каро. И я промолчала. Но оказалось, что дядюшка Авет знает все. И о красном и о белом, об ишхане и хане, о национальных делах. Как он проведал, кто рассказал? Неужели Бабик?..

На мой удивленный вопрос дядюшка Авет ответил с усмешкой:

— В стенах Айро есть щели.

И все. Больше ни слова.

А Каро, видно, чувствовал себя после того вечера неважно. Приумолк, прекратил беседы в избе-читальне, забыл про дядей-беженцев. Его постоянными собеседниками теперь были Макар и сын Алмо. Они усаживались на камень возле двери, дымили папиросами учителя и, позевывая, говорили о своей молодости, вспоминали совершенные и несовершенные подвиги.

И вот снова нагрянул к нам Беник. На этот раз остановил свою лошадь у дома дядюшки Авета.

— Как жизнь? Изба-читальня действует?

— Действует, товарищ Данелян. Наконец-то начальство повернуло глаза и на нашу деревню. Спасибо тебе.

— Как Дпрапетян?

— Что ему сделается? Работает.

— Ну, а национальные дела как?..— Беник игриво улыбнулся. Я ждала, что дядюшка Авет улыбнется тоже и достанет кисет с табаком. Он не сделал ни того, ни другого. Принял непроницаемый вид.

— Не понимаю, о чем говоришь, товарищ Данелян.

— И, наверное, считаешь, что задаю тебе каверзный вопрос? Вот слушай. Когда мы учились в школе, ясно, все курили. А это было великим преступлением. Застанут — прощай школа. У нашего инспектора на этот счет нюх был, как у охотничьей собаки.

Но водилась за ним одна слабость. Делил весь мир на две части: по одну сторону — армянский народ, по другую — все остальное человечество. «Мы — армяне, дети мои, армяне! У нас есть Тигран Великий, Месроп Маштоц, полководец Вардан. Какая еще нация рождала таких?» — «Ни у кого нет, господин инспектор».— «Да, дети мои, ни у кого. Гений — не количество, а качество. Мы малочисленны, но гениальны».

И так все время: мы армяне, мы гениальны. Вот мы и решили использовать эту слабость господина инспектора. Соберемся и курим. А чуть он появится — папиросы в рукава. «Чем заняты, дети мои?..» — «Ничем особенным, господин инспектор, о национальных делах спорим...»

Беник достал папиросы — те же «Ханкефи».

— Кури, товарищ Авет. Я не тебе рассказывал недавно эту историю?

— Нет. Не слыхал...

— Постой, кому же я еще говорил? Ага, Дпрапетяну. Насчет избы-читальни ко мне приходил. Я и решил подшутить. «Как национальные дела?» — говорю. Он так и сел. Совсем голову потерял. Понятно, он от всего шарахается. Впрочем, и ты растерялся, признайся. Тебе он не говорил?

— В чем признаваться? Мою голову такими вещами из равновесия не выведешь, товарищ Данелян... А потом? Ну, а что же случилось с головой Дпрапетяна потом?

— Больше ничего. Подарил ему папиросы, объяснил, в чем дело. Конечно, тут моя ошибка: человека простили, дали ему возможность работать, нельзя без конца тыкать его носом в прошлое, даже шутя. Вели позвать, посмотрим, что он успел сделать. Я должен поприжать его, ты молчи, кое-что дошло до меня.

Я побежала за Каро. Он очень смутился.

— Беник у Авета? О чем говорят?

— О каких-то папиросах и национальных делах. Так смешно, учитель.

Каро как-то странно пошатнулся, словно пьяный. А может быть, тут другое? Он все ждал, что я назову его отцом. Тысячи раз в ответ на «дочка джан» я отмалчивалась, избегала вообще называть его хоть как-нибудь. И вдруг преподнесла ему — «учитель».

Беник пригласил Каро сесть. Не хотела бы я быть на месте моего отчима. Был бы он хоть не таким длинным. Когда такой высокий, усатый учитель дрожит, как школьник, не знаешь — жалеть его или смеяться. Я все-таки решила пожалеть. Беник приосанился.

— Дпрапетян, нехорошие слухи доходят до меня.— Он выжидательно побарабанил пальцами по столу.— Пьянствуешь?

Каро умоляюще смотрит в лицо дядюшки Авета. Дядюшка Авет отвечает удивленным, невинным взглядом.

— Да, да! Не ищи защиты у товарища Авета. Он, наверно,

не в курсе, иначе я не могу объяснить его снисходительность. А у меня, ты же знаешь, сорок глаз, сорок ушей. Смотри, чтобы это больше не повторялось, Дпрапетян. Не к лицу учителю заниматься такими делами. Тебе предстоит серьезная работа. В ближайшие дни назначена кустовая встреча, думаю созвать учителей в Джраберде. Придешь и ты, посмотрим, что успел сделать, как организовал летний отдых детей.

— Кое-что успел, товарищ Унаробраз,— Каро приободрился.— Ходили на экскурсию, как рекомендовали вы.

— Ну, парень, экскурсии — это не новость. Разве не мне ты доложил, когда я встретил вас в горах?

— Вай, в самом деле, вы в курсе...— Каро попытался улыбнуться.— Так вы меня с толку сбили, товарищ Унаробраз, что я и правда голову потерял. Моя покойная теща — мать Авета — говорила, бывало: «Ошибся раз, поцеловал кузнеца — сорок дней ходить в саже будешь». Вот и я так-то, сделал одну промашку...

— Никаких промашек. Никаких ошибок. Учитель не имеет права ошибаться. Очень хорошо говорила твоя теща. Почаще вспоминай эти слова. Тебя прислали сюда работать. Значит, надеются на тебя. Правильно говорю, товарищ Авет?

— Должно быть, правильно. Ты его начальник. Кому, как не тебе, знать, что он должен делать.

— Легкой жизни захотел, товарищ Авет, всю заботу на меня свалить собираешься? Ты партийный руководитель в деревне, и учитель должен постоянно чувствовать на себе твой взгляд.

— Ой, товарищ Данелян, сколько работы даешь моему глазу, у меня без того дела невпроворот,— смеется дядюшка Авет.— Да стоит твой дом, сделали из блохи верблюда! Что учитель — не человек? Может, когда и выпьет, подумаешь, беда какая!

В глазах Каро засияли благодарность и надежда. Он бы сейчас же обнял и расцеловал дядюшку Авета, но кто знает, не оттолкнет ли его еще раз брат жены.

— Спасибо, Авет,— говорит он растроганно.— Спасибо, заступился. А я уже боялся, как бы этот товарищ не выкроил из меня бурдюка. Сознаюсь, была ошибка. Пришли гости, ну сам понимаешь, угостить надо. Конечно, и сам вместе с ними немножко... разгорячился. Человек я гостеприимный, товарищ Данелян, пусть мимо моих дверей пройдет даже чабан с гор, все равно позову его, угощу. Скажи, как же иначе с крестьянами сблизиться? За стаканчиком и душа раскрывается...

— Гостеприимство хороший старинный обычай, товарищ Карапет. И разве я говорю — откажись от этого обычая? Вы крестьяне, соседи,— конечно, должны бывать друг у друга. А пришли, можно иногда и за стол сесть. Но хозяину полагается слушать своих гостей, а не трещать без умолку. Вот посмотри на товарища Авета. Мы беседуем, а он — гостеприимный хозяин — слушает. А в мыслях небось костит меня, что так строго распекаю его учителя.

— Нет, напрасно ты, товарищ Данелян, я не такой человек, чтоб ругать мысленно,— смеется дядюшка Авет.— Надо будет — и вслух скажу. А здесь — не мое дело. Ты имеешь над ним власть, ты и наставляй. А Каро, эх, не про него будь сказано, не корова же, поймет теперь, что и как должен делать, чтоб ты был доволен.

Беник снова достает свои «Ханкефи» и на этот раз предлагает Каро первому:

— Бери, закуривай, национальные дела!.. Видел бы наш покойный инспектор, во что превратились его национальные дела — в дым!

Каро с наслаждением затягивается турецкой папиросой.

— Без огня дыма не бывает,— говорит он и смотрит на Беника. Тот мрачнеет.— То есть не так... Читал, да забыл. «Из искры возгорится пламя»,— кажется, товарищ Ленин сказал, да, Авет?

— Точно. Смотри, товарищ Данелян, ты на него из-за пустяка собак понавешал, а он, как видишь, даже Ленина читает. Из искры — пламя... Только искра, которую разумел товарищ Ленин, совсем не похожа на ту, что поджигает эти папиросы, Каро. Это дело рискованное — сравнивать «Ханкефи» Беника и национальные дела с тем пламенем. Папиросу выкурят и выбросят, никакого пламени здесь не получится.

В НОВОЙ ОБУВКЕ ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ

В нашем доме появилась новая обувь — не ходить же дочке учителя в трехах. Я-то думала, Каро сквозь землю провалится от стыда. Столько собак навешал на него Беник. А он ничего. Походил денек сумрачным, а назавтра побежал куда-то. Вернулся прежним Каро, довольный, под мышкой туфли — мои туфли. Откуда, как добыл — ничего не поймешь.

Хорошие туфли, красивые, мать мигнула — благодари. А я будто не поняла.

Всю ночь меня донимали нелепые сны. Чуть закрою глаза — сразу где-то высоко сияют мои старые трехи. Лезу за ними, уже протягиваю руку и... нет моих старых дружков, а вместо них хихикают красные туфли. Появляется Каро, потом дядюшка Авет, и снова трехи и туфли, туфли и трехи. Проснулась печальная, не хотелось даже смотреть на новые туфли. Каро поторопился рассеять мое мрачное настроение. Что значит какие-то траты, если он может этим доставить удовольствие дочке. К тому же честь! Честь учителя — о ней нельзя забывать. Так что прощайте, мои старые трехи! Отчим присел на корточки, надел мне на ноги туфли и дружески спутал мне волосы.

— Как на заказ! Иди гуляй.

— Куда идти?

— Куда захочешь. По деревне поброди, беги в горы с друзьями, чего боишься, для того и существует обувь, чтоб человек носил ее и люди видели, что ты не бос.

«Нет, не знаешь ты меня»,— подумала я.

А он свою мысль высказал громко и озабоченно:

— Тебе что, можешь идти куда захочешь, а у меня — обязанности. Хочу не хочу, все равно — иди на кустовое собрание в Джраберд.

— Собрание — понятно, но почему куст? Учителя же не растения?

— Ишь ты, бритва, а не язык. Мы — цветы! Один цветок — я, другой — Лудвиг, помнишь такого?

Я сейчас же вспомнила историю с Булатом и слова дядюшки Авета: «Сходите еще в горы с учителем Каро...»

— И я хочу в Джраберд, возьмешь меня?

— В Джраберд? Какой тебе интерес?

— Посмотрю, погуляю.

Каро почесал темя, взглянул на маму:

— Как думаешь, Сато?

— А что я — дело ваше. Берешь — хорошо, бери. Пусть пойдет с тобой, людей хороших посмотрит, научится держать себя при народе. Лучше, чем слоняться по деревне. Ведь идешь-то к учителям?

Вот славно, мама меня поддержала! Не отделаться теперь Каро от меня. А брать меня с собой ему, видно, очень не хотелось. Но что поделаешь? Сейчас он старается во всем угождать моей матери, слишком памятен еще тот вечер.

И вот мы шагаем к Джраберду. Разговор наш вертится вокруг моих новых туфель: «Хороши? Не жмут?»

Мне наконец это надоело.

— Жмут, а то как же... В трехах лучше.

— Конечно, «не для бархатных туфелек ножка»,— усмехаясь, сказал он.— Столько лет ходила в трехах, понятно, ногам твоим тесно в приличной обуви.

— Ну и что же? Дядюшка Авет не буржуй, что было, то и носили, и очень хорошо. Кто сейчас носит туфли? Я не учительница.

— Сердишься? — спросил он с какой-то нежностью.— Смотри, какие кругом цветы, как все зелено. Разве можно тут ссориться? Нет, давай лучше жить в мире.

— А зачем ты — нет-нет да и кинешь камушек в сторону дядюшки Авета?.. А он ведь... Слыхал, что наговорил про тебя этот противный Беник?

Я не хотела вспоминать об этом, совсем не хотела. Просто сорвалось с языка. Каро помрачнел, сел на придорожный камень и достал папиросы.

— На месте Беника и я сделал бы то же самое. Он обязан, понимаешь? Он мой начальник...

— Дядюшка Авет заступался за тебя. Он добрый, с совестью, он видел, что ты...

— Заступался, верно,— вздохнул он.— Твой дядюшка Авет честный парень, не даст зря молотить человека по голове. В свое время он и тебя не раз защищал, правда?

— Зачем защищать, разве кто бил меня по голове?

— Ты, видать, забыла веселые деньки в доме Мукуча... Как подумаешь, что за жизнь была у тебя... Малышкой батрачила на Мукуча, работала у мастера Давида, да и потом, что ни говори, служила ведь своему Авету?

— Не служила, вранье.

— Не служила?.. А разве ты не таскала камни, когда Умршат строил ему дом? Не собирала колосьев, чтобы Маран могла варить дзавар-булгур? Как все это иначе назвать?

— Что я — чужая им? Работали, чтоб жить.

— Работала, признаешь это?

— Работала и сейчас буду работать. Пойду собирать колосья, все буду делать!.. Не стану зря чужой хлеб есть.

— И ты думаешь, я разрешу?

— Вот еще, какой тебе вред от этого?

— Не понимаешь? Я знаю, ты любишь Авета, считаешь его за отца и, понятно, работала в его доме, как в своем. Но люди, им-то не заткнешь рта? Ведь когда я пришел сюда, первое, что услышал о тебе, было: «батрачка у секретаря ячейки Урута». Ты хочешь, чтоб и обо мне так говорили?

— Ничего не хочу. Хочу домой,— я встала, но его сухие руки, как придорожная колючка, схватили меня.

— Не глупи, одна ты домой не пойдешь, а проводить тебя я сейчас не могу, видишь, уже дошли до Джраберда. Там, наверно, все собрались. Пойдем скорее, кончим с этим проклятым кустовым. Вернемся к себе домой — доругаемся.

Голова старухи обернута несколькими теплыми платками. Она долго и пристально смотрит на меня из своего угла. Смотрит не глазами, а всем лицом, каждой морщинкой, складкой, черточкой. Смотрит молча, вся — внимание.

— Кто пришел? — раздался наконец глухой голос.

— Свои, свои, матушка,— громко откликнулся Каро. Он прошел вперед, а я, затрепетав, отступила.

Старуха почувствовала, что к ней подходят, попыталась встать и тут же бессильно упала на место. Шаря руками по воздуху, она заныла:

— Каро джан, твой голос...

— Я, конечно, я.— Каро наклонился, старуха вцепилась костлявыми пальцами в его плечи и подняла лицо, словно принюхиваясь.

— Тут еще кто-то есть, Каро джан.

Каро, взяв меня за руку, подвел к ней.

— Есть, правильно, матушка Зардар, есть еще кто-то, попробуй узнать...

Зорба-Зардар прошлась пальцами по моему лицу, шее, рукам, обнюхала меня и только тогда решила — да, я знакома ей.

— И даже очень хорошо знакома, матушка Зардар, это ведь моя дочь,— объявил Каро. Слепые глаза Зардар словно прояснились на миг.

— Чтоб померк мой свет — внучка моей Нуно? — Она прижала меня к высохшей груди, уставилась невидящими зрачками мне в глаза, и столько нежности было в ее голосе, в лице, в движениях...

— Бабушка Зардар, это я, Арцвик.

— Да, бала джан, это ты! Чувствую сладкий запах сестрицы моей Нуно. Ах, если б сама она оказалась тут.— Незрячие глаза Зардар налились слезами, она снова прижала меня к себе.— Блаженна твоя бабушка, ушла от зла и страданий этого мира.

В сенях кто-то топтался, шаркая. Зардар повернула лицо к двери:

— Вано джан, это ты? Найди скорей Симона. Видишь, кто к нам пришел?

В открытой двери на минутку показался Вано. Он посмотрел на нас и, не проявив никаких чувств, исчез. Немного погодя пришел Симон. Как он постарел, ноги еще больше укоротились, шея вытянулась, лишь нос остался прежним. С Каро они поздоровались небрежно, как будто вчера встречались. А меня Симон ухватил за подбородок пожелтевшими пальцами, ощерил беззубые десны:

— Думаешь, не узнал?

— И я тебя узнала, Симон-ага.

— А как же иначе, бала джан, мы старые, близкие соседи, друзья и родня на семь колен, разве можно забывать? — вздохнула Зардар.— Симон джан, куда провалился этот парень? Хоть бы хлеба подал на стол.

Никто не ответил. Она нашарила мою руку:

— Пойдем, девочка, встану, принесу хлеба.

— Ладно уж, сиди на месте,— запретил Симон,— сам принесу. Где ключи от кладовки?

— Не стоит, дядюшка Симон,— возразил Каро.— Я пришел по делу. Пусть моя дочка посидит здесь, а я схожу к вашему учителю, дело есть, закончим, тогда и поедим. Проводил бы ты меня. Не знаю, где живет ваш учитель.

И вот мы с Зардар одни. Сижу тихонько, поглядываю на эту груду костей и платков. Только легкое движение тряпья выдает, что тут живое существо, что оно дышит. Зардар чувствует мой взгляд и охает:

— Да, бала джан, плоха я стала. Отказались, не служат и руки и ноги. Невестка-то на яйлаге, а Шаген мой одной ногой

здесь, другой — там. Оставили меня на этого шалопая Вано. Хоть бы девочка какая была рядом, быстрая, вроде тебя, трудно мне. Давно ты с матерью? Каро хорош с тобой? Конечно, хорош, откуда быть плохому? Каро дельный парень, своих детей нет, никто между вами не затесался. Только от тебя зависит, будешь умной, покорной...

Она наставляет меня, вспоминает прошедшие дни, а я только смотрю на нее и все больше и больше жалею. Жалею и сама удивляюсь, откуда эта жалость, ведь не так давно старуха эта внушала мне ужас.

— Надоела я тебе, доченька,— вздыхает она.— Так редко вижу людей, с ума можно сойти от одиночества. Ну пойди, пойди, проветрись немного. Вано на дворе, вот и поговори с ним, скоро и Симон с Каро придут.

Я вышла не потому, что хотела увидеть Вано, просто невмоготу стало сидеть с Зардар, жалко ее, но тяжело.

А во дворе пусто, только откуда-то доносится тихий, мелодичный свист. Кто же это свистит? Озираюсь вокруг с любопытством. Двор Симона полон добра. Простор, чистота, всякой вещи — свое место. Богато живут. Под навесом железный плуг. Лемех сияет,— видно, недавно побывал в борозде. К стене дома прислонены три пары новеньких колес. Заботливо сложены ярма, чапыги, кожаные ремни, сверху красуется нарядное седло. В дальнем углу двора стог свежескошенного сена. Какой приятный, родной запах — запах наших полей.

Вот и Вано. Он ходит с граблями вокруг стога, поправляет, приглаживает и свистит. Я жду — вот он сейчас подымет голову, заметит меня. Но он что-то очень увлечен своим занятием. Может, мне подойти? Ведь мы товарищи с детства. Помню, дразнила его Рябым Тмином, а он меня — Драной Сорокой. То было детство — ссоры, примирения, слезы и смех. Это детство осталось там, на правом берегу Ахуряна. А сейчас выросли и Вано и я...

Наконец он кончил свое дело, прислонил грабли к стене и, видно, задумался о чем-то. Сейчас подойду и скажу: «Здравствуй, Вано». Насвистывая, Вано взглянул на меня через плечо. Насмешливая улыбка раздвинула рябые щеки.

— Драная Сорока, откуда ты взялась тут?

Чувствую, покраснела до корней волос. Еле сдерживаю слезы обиды — скорее в дом. Зачем Каро притащил меня сюда? Обрушиваю на его голову все проклятия мира.

— Видела Вано? — интересуется Зардар. Я молчу. Знаю, стоит заговорить — разрыдаюсь. Старуха, вытянув перед собой руки, ощупывает меня, как-то странно обнюхивает.— Этот болтун, собачий сын обидел тебя, да?..— Она тянется к палке, что лежит рядом.

— Никого я не видела, бабушка Зардар...

— Будь спокойна, позову сейчас, вылью ему на башку со-

бачье пойло. Вано, где ты там, да умрет твое солнце? Поди сюда, сшить бы мне твой саван!..

— Бабушка Зардар, ну ничего же не было, клянусь вон тем крестом...— пытаюсь я утихомирить старуху, но она уже у двери.

— Куда собралась, матушка? — хватает ее на пороге Симон. За ним, вижу, Лудвиг, Каро, Беник. Хоть бы бабушка Зардар промолчала про саван для Вано! И Зардар молчит. Видно, у нее ослепли лишь глаза, а ум зорче моего.

— Что-то вы задержались, сын мой. Вот я и решила: пойду, принесу хлеба, пора девочке покушать, голодная с дороги...— по-обычному ноет она и хочет пройти к кладовой.

— Садись, садись, матушка Зардар, здесь найдется еще не один голодный.

Каро усаживает ее и принимается вместе с Симоном хлопотать у стола. Каро здесь свой человек. Выходит, заходит и каждый раз приносит что-нибудь вкусное: отцеженный мацун, сливки, масло. Вдруг он поймал любопытный взгляд Беника и тотчас пустился в объяснения:

— Этот дом для меня — отчий дом, товарищ Унаробраз. Разве могу я забыть доброту матушки Зардар и дяди Симона? Принимали меня, сироту, как родного сына. Когда я здесь, мне кажется, я снова в нашем селении и снова среди родных и друзей.

— А как же иначе? Каро джан, ты — наш сын,— подтверждает Зардар.— Ах, если б ты еще привел с собой и Сато. С ней я утолила бы тоску по моей сестрице Нуно.

— Когда умерла Нуно, Каро? — спрашивает Симон.— При тебе она умерла или...

— Где там? — вздыхает Каро.— Матушка Нуно так и не узнала, что стал я ей зятем. Умерла, скитаясь по чужим дворам, укрытая чужой тенью.

— Так вы кругом земляки — даже и по жениной родне! — восторгается Лудвиг.— Ну, Каро, начинай, записывай беженцев в землячеcкий союз. Половина Урута — твои соотечественники, здесь — дядя Симон, сдается, и вы, товарищ Унаробраз, из тех же мест?

— Нет, нет, не мешай меня в общую кашу. Не из тех я мест,— энергично протестует Беник.— Отец мой из Карской губернии, а жили мы все время в России, так что не навязывай мне на шею ваш земляческий союз. Хотите организовать, пожалуйста, я не против...

— Эх, сын мой, дело не в названии. Земляческий или какой другой — не имеет значения,— рассуждает Симон,— на чужой стороне и дворовый пес твоего соседа покажется родным. Вот хоть бы эта девочка. На родине наши семьи не очень-то дружили. Моя мать и ее бабушка никак не могли поладить между собой. А теперь, клянусь вот этим хлебом, как бы хотел я, чтоб Нуно живая сидела сейчас тут. И Агабек...

— Ага, понятно, в кого пошла.— Лудвиг обнял меня за плечи.— Выходит, твоя бабушка была такой же кипяток, как и ты, да? Ну, а если мы примем тебя в наш земляческий союз, и здесь будешь ссориться?

Я молчу, Каро ухмыляется в ус и ест, а Симон — что ему надо? — совсем свихнулся,— пошел объяснять, почему ссорились соседи, живущие дверь в дверь.

— Неимущие, нуждающиеся были люди,— говорит он.— Ее мать осталась вдовой, с двумя малышами, жила милостью брата, а бабушка Нуно ходила по домам, пекла хлеб, тянула кое-как свою семью. Вот и не мог ее глаз вынести, когда сосед, к примеру, ел пшеничный хлеб. Ведь сама не могла достать и ячменного. Всегда так бывает, сынок. Глаз бедняка, точно шип, колет ногу имущего. У Нуно был и другой сын, приемный, вот как она,— кивнул Симон в мою сторону,— одноногий Авет. Богом проклятый человек! Держал в страхе всю деревню. Не Нуно, конечно, а этот одноногий сатана сеял между ними смуту. Не обижаешься? — улыбается мне Симон беззубым ртом.

Зардар своим незрячим взглядом проникает в мое сердце. Она сердито толкает сына в бок:

— Ладно, хватит, никто тебя не просил тянуть за хвост старое. Что было, чего не было? Каждый человек сам ответит за свои поступки перед всевышним. Дайте девочке спокойно поесть. Кушай, бала джан, ешь горный мацун, а вот это буйволиное мясо...

Как мне вытереть слезы, чтоб они не заметили?

— Ай-яй-яй, три педагога собрались, и пожалуйста — что получилось! — качает головой Беник.— И в маленьком теле есть душа, и у этой души есть гордость, самолюбие. Не слушай их, Арцвик. Бабушки пекли чужой хлеб, а мы выпечем свой, будет у нас и мацун, и масло, и свои сливки, и никому не разрешим оскорблять нас.

— И кавурма будет и шашлык,— поддразнивает Беника Лудвиг.— А шашлык и сейчас не помешал бы, дядя Симон. В горах у тебя сколько ягнят? Принес бы одного, а?

— Э, сынок, разве вы разрешите, чтоб из одного выросло двое? — вздыхает Симон.— Были у меня отары овец, стада коров и телят. Но то было давно, еще в нашем селе. Кому тогда пришло бы в голову укорить: «Есть у тебя глаз, зачем же еще бровь». А теперь увидите у чьих-нибудь дверей два хвоста, ославите на весь мир — кулак! И придумали же такое — кулак! Землероб тем и держится, что у него корова дойная, ярмо да подъяремный скот. Ну и пахари-работники...

— Вай, вай, вай, не слишком ли много захотели, дядя Симон? — Каро, как бы предупреждая, пристально смотрит на него.— Насчет работников-пахарей поосторожней. Не забывай, с нами тут большой начальник — товарищ партийный большевик.

— Пусть хранит бог партийного большевика, что это особенного я сказал? — продолжает Симон.— Сам ты не сын землепашца, что ли? Или этот наш учитель Лудвиг? Сельская жизнь не хвост жеребенка, ее не подравняешь ножницами. В деревне всегда бывают богатые и бедные, имущие и неимущие. В том и соседство, что я, ты, те, другие тянем этот неимущий люд. Они-то не знают, а ты, Каро, не должен бы забыть, сколько неимущих и несостоятельных в нашей деревне сводили концы с концами моей пахтой да сывороткой. И теперь у нас не много, но несколько овечьих копытец есть. Парню одному не управиться, а работника брать — куда там! — права не имеем. Вот и тяни осла из грязи.

— Не попался ты мне в руки во времена военного коммунизма, дядя Симон,— смеется Лудвиг.— Но ничего, дело можно поправить, хороший выход я для тебя нашел. Режь каждый раз для таких гостей, как мы, барашка,— глядишь, число копытец и уменьшится, необходимость в батраке отпадет и кулаком не будешь.

— Разумный расчет у тебя, учитель Лудвиг,— усмехается Симон.— Зарежу. Один барашек, два —не велико дело для хороших гостей. Каро помнит, какие угощения я, бывало, устраивал. Почему бы нет? Знал — завтра в моей отаре на каждого взятого прибавятся два, а сейчас ложусь вечером и не знаю — оставят ли мне завтра мацун и пахту,— может, и это вырвут из рук...

— Что с тобой, дядя Симон, не узнаю тебя,— укоряет Каро,— боишься потерять имущество? Зачем боишься? Присмотрись, какой урожай растет, лишь бы град не побил, созреет к осени, только косой помахивай.

— Видишь, сынок, и ты опасаешься града,— вздыхает Симон.— Почему не должен бояться я? Одно дело — град побьет зеленое поле, кое-что останется, с трудом, но выгонит колос, а вот когда ударит град по зрелой, налитой ниве — беда, оставь надежду.

— Зачем так мрачно, дядя Симон? Побьет яровую, засеем озимь, побьет озимую, снова посеем. Ты только косу держи острой.

— Эх, откуда мне знать? — не соглашается Симон.— Помнишь, как старик один раз сказал: «Озябшие ноги только одно и твердят — не будет в этом году весны...»

— Придет в этом году, придет, как раз к концу осени подоспеет твоя весна, дядя Симон,— потирает руки Лудвиг.— Такая весна, какой мир не видывал, и тогда...

Беник молча ковырял спичкой в зубах и вдруг вспомнил о моем существовании:

— Болтают попусту, ты поняла что-нибудь? На твоем месте не выдержал бы, давно бы убежал гулять по деревне. Куда интересней.

Не очень-то весело гулять по незнакомой деревне, когда глаза туманят слезы, а деревенские псы того и гляди схватят за ногу.

Но злее псов преследуют меня морды рябого Вано и противного Симона. Один хихикает нагло и злобно: «Драная Сорока...», другой задирает нос: «Неимущими были, нуждающиеся люди...» Правильно, Симон-ага, были мы неимущими людьми, нуждались, зато твой стол не оскудел и теперь. Жрал ты тогда сливки и масло. Кислая пахта да твое презрение оставались на долю мою. Вот почему терпеть не могла тебя бабушка, ненавидели я и дядюшка Авет.

Как бы хотела забыть навсегда это прошлое! Но что значит мое желание? Ты все тот же Симон-ага, Каро — родной сын в твоем доме,— как и прежде, виляет хвостом перед тобой. А я? Я — Драная Сорока, приемный ребенок.

Ребенок? Конечно, какая же еще дьявольщина! Глупый, легкомысленный ребенок! Поплелась, как овца, за Каро и вот — радуйся — притащилась сюда. А мать моя еще больший ребенок. Вздумала применить власть, показать, что может диктовать свою волю! Какая там воля! Попробуй расскажи я ей сейчас, в какую попала беду,— сразу сникнет, затоскует, застонет: «Не разглашай перед другими, не беда, что ж делать, лишь бы жить «со спокойными ушами».

Не могу я так — жить со спокойными ушами. Не рыба я, чтобы набрать в рот воды и молчать.

А тут еще эти противные туфли! Конечно, приемыша обязательно надо нарядить в красивые туфли. Пусть весь мир увидит, как великодушны благодетели, подобравшие ее. А где ты подобрал меня, хозяйский Каро? Разве я валялась на улице, как бездомный щенок? Какой веревкой хочешь ты привязать меня у своих дверей? Дом дядюшки Авета — мой родной дом. Авет был моим отцом. Не хочу! Зачем отняли меня у моих родных?..

Я снимаю туфли, швыряю в придорожную канаву и так, босиком, прихожу домой. Вид у меня, должно быть, очень страшный. Мама бьет себя по коленям:

— Ой, дитя мое!

— Дитя, дитя! Думаете все, что я ребенок? Никто, никакой черт не тронул этого ребенка, просто твой муж — мерзавец...

— Замолчи! — мама зажимает ладонью мне рот.— Придумала! Если вор в дому, то и бык пролезет сквозь ертык.

— Бык? Ослы мы все, а не быки, а он, твой,— обыкновенный хозяйский Каро! Каро-приказчик!

...Каро вернулся поздно вечером пьяный. Я не успела убраться с глаз — он схватил меня за руку уже в дверях, втащил в комнату, плотно прихлопнул дверь. И, держа руки в карманах, зашагал, заколесил по комнате. Долго шагал, потом остановился, повис у меня над головой.

— Стоит взять палку в руки,— вороватая собака сразу смекает, в чем дело. Верно говорю, а?..

Я молчала, он повернулся к маме.

— За кого считаете меня вы: ты и твоя дочь? — закричал он так исступленно, что чуть не свалился.— Шутки шутить вздумали? Послушался твоей глупой головы, взял эту дикую собаку, оскандалила перед людьми!

— Что случилось? — удивилась мама.

— Случилось?.. Спроси этого чабана с гор... Ягненочком прикинулась!.. Спроси ее, какую она мне штучку подстроила?

Мама не стала спрашивать ни меня, ни его. Каро окончательно вышел из себя. Да, ему бы следовало сразу все понять. Голова свиньи все равно свалится с ковра в мусорную кучу. Привычка! А он-то оставил дела, забросил занятия, занялся этой не знающей признательности девчонкой. Все в деревне удивляются, что за человек учитель, как заботлив, ничего не жалеет для дочери. Одевает, берет с собой в такие места, что ей и не снилось. А так называемая дочка вместо благодарности...

— Я тебе не дочь, нет, нет, нет... а ты... ты — хозяйский Каро, ничего больше!

И тут же меня оглушила звонкая пощечина. Я ждала ее с того дня, когда пришла в дом Каро. В голове зазвенело, зато все сразу стало на место. Наконец-то исчезла та приторно-сладкая «отцовская любовь», в которую не верили мы оба...

«МОЙ КРЕСТ, ДОЛЖНА НЕСТИ»

Я знаю, что такое пощечина. Бывало, и мама влепит сгоряча — тогда я спасалась у бабушки. Перепадало и от бабушки — и я пряталась за спину дядюшки Авета. Те слезы высыхали быстро — ведь рука, которая причиняла боль, сама спешила и приласкать, вытирала мне мокрые глаза. Есть ли еще на свете девочка, которая с такой тоской вспоминала бы свое детство? Не знаю. Я бы с радостью терпела и тычки и затрещины, лишь бы давала их родная рука.

Нет, я теперь не ребенок. Ребенку легко утешиться. Побежала бы к матери, пожаловалась дядюшке Авету, преувеличила бы слегка свое горе, чтоб пожалели. Горе-то было маленьким. Теперь не то. Обида моя велика, очень велика, и некому пожаловаться. Нельзя пойти даже к дядюшке Авету. Ведь он велел мне быть покорной...

С Каро я почти не разговариваю, не смотрю ему в лицо, прячу глаза. И вообще стараюсь не попадаться ему на дороге. Знаю, нехорошо это. Нельзя жить в доме человека, есть его хлеб и так копить в себе злобу и ненависть.

Мама сломлена. Меня не упрекает, с Каро — предупредительна, заботлива по-особенному. Все движения ее словно говорят: забуть, прости. А он не хочет забывать. Каждый вечер его

нет дома — угощается у соседей. Приходит пьяный, пинает ногой все, что подвернется, ругается самыми грязными словами, грозит кому-то: ничего, он еще покажет себя! И тут же начинает плакаться — чужие его уважают, а дома не понимают его, не находит он здесь ни капли сочувствия.

— Ах, несчастная, несчастная башка,— мычит он, хлопая себя по голове,— проклятая, проклятая, нет у тебя никого близкого, никто о тебе не подумает... Заварили кашу сами и суют ложку — расхлебывай, учитель Каро... Учитель, какой, к черту, учитель?.. Прислужник, денщик жалкий...

— Ну ладно, что случилось, зачем мучаешься? — мягко спрашивает мать.— Скажи, узнаем и мы. Все-таки мы тебе родные. Для чего говоришь — «проклятый», пусть лучше твой враг будет таким. Говорила тебе, живи своим умом...

Каро смолк, выпучил на нее глаза, сморщив лоб, думает. Постепенно до него доходит — проболтался. И он страшно орет:

— Молчать, знаем и тебя!

И мама молчит. Почему она молчит? Совсем ведь недавно я так восхищалась ею. Верила ее словам: «Если еще раз выпьешь, уйду». Куда там,— молчит...

Я пробую заговорить с ней об этом — она недовольна и, конечно, наставляет:

— По шилу кулаком не бьют...

— А что напивается и обижает, оскорбляет тебя, это ничего? Терпеть?.. Еще хвалился, что любит тебя, а сам...

— Что ты понимаешь в этом? Какая любовь между мужем и женой, разве это бывает?

Не бывает! Странные эти взрослые. Будто сами никогда не были маленькими. Забыли, что ребенок не такая уж «скотинка», как думают некоторые «дяди» и «тети». Малыш все на ус наматывает, ничего от него не скроешь. Я очень хорошо помню моего дядю и его жену, видела, какие они были друг с другом.

— Э, их дело другое,— вздыхает мать.— Они еще до свадьбы полюбили друг друга и повенчались по доброй воле.

— А ты?..

— Зачем спрашиваешь, какое тебе дело? Мала еще задавать такие вопросы.

— Вот такое, простое дело. Сам без конца говорит, что он тебя... Ма, я знаю, неправда это, ты не хочешь его. Давай уйдем, уйдем из его дома... Ты же сказала — уйдешь, ведь сказала? Уйдем, все равно куда, будем работать и жить... Он же пьяница, таким и будет. И что вы все, не поймешь вас. И дядюшка Авет, и ты... Чего вы боитесь Каро? Скажите ему — кислая твоя пахта... Какой он мужчина для тебя?.. Уйди от него, оставь!..

Мать глядит на меня пораженная,— может быть, думает, что я свихнулась? Нет, мозги мои на месте, просто прорвалось то, о чем давно думала.

— Пусть разорвется земля, пусть я провалюсь! Называться

разведенной женой! Что ты говоришь? Я обвенчана с Каро, разрывать венчание противно богу, он покарает за это.

— Ну и пусть обвенчана, он тебя силком похитил и, я знаю, заставил насильно венчаться. Чем ты виновата? Не рассердится бог.

— Нет, он не виноват... Я сама...

— Ты сама? По доброй воле?.. А говорила: «Пусть над моим сердцем вырастет целая пядь травы, все равно не забуду Арама...»

Мама молчит и плачет.

— Конечно, ты должна обвинять меня,— говорит она дрожащим голосом.— Виновата и перед тобой, и перед ним, Арамом. Но подумай, есть на свете много такого, чего ты еще не можешь понять. Ах, только душа Арама, ставшая лучом света, все поймет... Как могла я, сидя с чужим мужчиной на седле его коня, слоняться по деревням, есть хлеб, принесенный им, оставаться под одним потолком и не быть его женой? Что сказали бы люди? Разве вынесла бы я такое бесчестье? Волей-неволей пришлось обвенчаться, чтобы закрыть людям рты.

— Ну и пусть бы он сам просил тебя, зачем ты?.. Обвенчаться с Каро... Как можно...

— Он и просил, думаешь, не просил? Вот подрастешь — узнаешь: для мужчины так жить — пятно на совести, для женщины — на чести. Его имя этим не загрязнишь, а имя женщины как свежевыпавший снег: наступишь ногой — запачкается. А повенчались как полагается — со священником, крестом и хоругвью,— никто уже не кинет грязи, и перед собственной совестью будешь чиста.

Она говорит, объясняет, а в моей голове уже рождаются новые планы.

— Ма, сейчас венчание священника не имеет силы, я слышала, теперь венчаются по-другому.

— Вот вырастешь, венчайся по-другому, а мы родились с дедовским законом, с ним и умрем,— обижается она.

— Венчаться, как бы не так! Насмотрелась, какая это противная вещь.

— Зачем так говоришь? С каждым человеком идет его судьба. Моя споткнулась о камень, а у твоей путь может быть прямым, ровным. И вообще, хватит об этом,— переменила она вдруг тон,— что бы там ни было, он сегодня — мужчина в нашем доме. И незачем без толку копить злость. Выставились друг на друга, словно меч и нож, а я жмусь между вами. Ты — девочка, уступи, не лезь в драку. Кто еще у нас с тобой есть на свете? Будет надо, и он за тебя заступится, позаботится о твоей чести. Слыхала, говорят: «Хозяйского увел хозяин, бесхозяйного — волк». Моя судьба — мой крест, богом данный, до могилы должна нести его...

— Ты хочешь, чтоб я примирилась с Каро?

— Примирилась? Зачем так, бала джан. Если принимать к сердцу все обидные слова — жизни не станет. В каком доме не бывает брани и ссор? И потом, разве могут маленькие быть в ссоре со взрослыми?

Опять маленькая? Ребенок, маленькая,— значит, не рассуждай, слушайся старших, старшие лучше знают, обижена ты или нет. А что у тебя еще горит ухо от затрещины отчима, до этого никому дела нет. Интересно, что бы сказала моя мать, будь она на моем месте?.. Но что бы она ни сказала, я-то ведь люблю ее, свою маму, люблю и жалею, очень жалею...

Хорошая вещь мир. Сколько раз я ссорилась с друзьями и мирилась, и всегда после этого мы становились ближе, дружили крепче. А вот помирилась я с Каро, но близости нет. Каро сдержан, все глядит на меня испытующе...

И мама замыкается, молчит. Это молчание, похожее на затишье перед грозой, давит нас весь день. Наконец наша семья укладывается спать...

Спать? Хорошо спится после веселого, радостного дня, если ты не огорчалась сама и не обижала близких. А мои дни проходят теперь неспокойно, в тревоге. И ночной сон уже не может принести мне приятного отдыха. А тут еще только закроешь глаза и вдруг сквозь дремоту слышишь — обиженно гудит один, ответно вздыхает другой. Зажимай уши, натягивай на голову одеяло, рычи в безмолвной ярости и отчаянии: не хочу вас слышать, хочу спать! Все равно голос Каро добирается до моих ушей. Он убеждает, молит, а под конец грозится:

— Сбрось камень с подола, нет разума в твоем упорстве. Или ты думаешь, что я не человек, нет у меня сердца?.. Дождешься, унесу свою голову в горы, останетесь без теплого гнезда.

— Вот, вот, ненадежный человек. Приключится с твоей головой какая беда, кто станет растить твою сироту? — недовольно шепчет мать.

— Не моей беды боишься. Не ищи отговорок. Боишься, как бы мой ребенок не заставил твоего подвинуться... И раз так — нет мне дела до твоей дочери. Поступай как хочешь. Пусть снова идет батрачить к твоему партийному братцу.

ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ?

Каро грозится унести свою голову в горы, словно в горах кто-то тоскует по ней. Моя мать всерьез опасается этого и ночи напролет убеждает, увещевает его. А днем — достается мне. Потом зовет нас поесть вместе хлеба, того самого хлеба, который Каро грозится отнять у меня...

— Ты нездорова? Почему плохо ешь? — тихо спрашивает мать.

Аппетит у меня хороший, но никогда не приходилось мне есть хлеб даром. Бывало, Маран пошлет нас с Гариком подбирать колосья. С каким удовольствием, придя с поля усталая, голодная, съедала я сухой хлеб. И она радовалась. Только сетовала, что приходится посылать детей на такое дело. «Рука не будет работать,— отвечала бабушка,— рот останется голодным». И хлеб мне казался таким вкусным — ведь я заработала его.

Для всех я — дочь Каро и ем его хлеб. Это не сухой хлеб Маран. К нему бывает и масло, а иногда и яичница. Даровой хлеб, ешь сколько хочешь. Не знаю, может, Каро и забыл, что говорил ночью, но его хлеб застревает в горле. Я не могу объяснить матери, в чем дело. Не хочу лишний раз тревожить ее. Пусть не знает, что слышу их ночные разговоры. Стараюсь держаться так, будто ничего не случилось. Это мне плохо удается. И мама укоряет опять:

— Сердце твое не болит обо мне...

Ох, видела б ты это несчастное сердце. Как трепещет оно, когда Каро кричит на тебя. Нет, я ничего, ничего не могу переменить в нашей жизни, не могу и вернуться к дядюшке Авету. Прежнего уже не будет, никогда и ни в чем. Что же — терпеть эту проклятую жизнь? Город так близко, в один день можно добраться туда, почему не пойти? В городе всегда найдется работа и кусок хлеба...

Вардан не сразу понял, для чего пристаю с расспросами о большой дороге в город. А когда наконец до него дошло, коричневое лицо моего товарища сделалось похожим на мак, глаза тревожно расширились. Теребя пуговицы архалука, не глядя на меня, он заговорил:

— Все равно не понимаю, зачем ты хочешь делать это?..

Я не оскорбилась, не обиделась, не упрекнула его. Ведь ему не были известны подробности моих домашних дел. Зачем мне было тащить этот сор в нашу дружбу? У нас с ним были свои планы. Мы собирались отомстить Лудвигу. Мы уходили в поля Джраберда, надеясь вместе встретить там этого Дылду. Но скоро забывали про эту цель. И как не забыть, кругом было так хорошо. Попадался красивый цветок — с восторгом показывали друг другу. Встречали шальной горный ручеек — и тоже шалели. «Я и не знал раньше, что в наших лугах есть такие красивые места! — удивлялся Вардан.— А воды студеные, вкусные,— вот какое чудо...»

Но сегодня я не могла молчать. Хоть ему, Вардану, рассказать обо всем, иначе разорвется мое сердце. И я рассказала. И о рябом Вано, и о разговоре, что был там в доме, о пережитой обиде, о пощечине Каро. Рассказала и вздохнула свободней. Ждала — теперь мой товарищ проводит меня до большой дороги и скажет: «Счастливого пути».

Но он забыл про наши планы отомстить Лудвигу, не обратил внимания на пощечину Каро, только одно застряло в его голове.

— Соберу ребят, пойду, так изобью этого рябого, самым большим куском останется ухо! — зарычал он.

Что случилось с моим другом? Разве это тот Вардан, который кивал на Нушик,— она, мол, очень любит тебя...

Я уже не замечала ни сто раз продранных штанов, ни архалука, толстого от тысячи заплат, как стеганый ватник. Откуда ни возьмись передо мной стал молодой, статный храбрец, настоящий герой. Мне даже послышался звон оружия. А как смотрел он в сторону Джраберда! Одного этого взгляда было достаточно, чтоб от бедной деревни не осталось камня на камне.

Если б я рассказала матери, что хотела бежать в город, то-то посмеялась бы она надо мной: отчего же не убежала? А я и сама не пойму, как это получилось, в чем причина. Ведь все уже было решено, распланировано, совсем была готова — и вот... Могу только сказать, как дядюшка Авет,— ничего не пойму в делах этого мира.

Я пробираюсь по узкой тропе. Она виляет в чаще чертополоха и шиповника, пропадая где-то вверху, в камнях среди развалин старого монастыря. В темной зелени шиповника уже алеют яркие плоды. Птички, склонив голову набок, скачут с ветки на ветку. А кажется — куст кивает мне и спрашивает: «Почему не убежала?..»

И птицы, чуть я подойду ближе, вспархивают и беспокойно, с любопытством щебечут: «Чив, чив, чив, почему?..» С высоты, будто прямо из облаков, обрушивается на камни водопад. Его грохот заполняет все ущелье: «По-че-му?»

«По-че-му?» — откликаются эхом развалины монастыря. «Почему, почему?» — уносится эхо далеко в поле, к дороге, ведущей в город. Там, на большой дороге, скрипят арбы, тупо постукивают копыта лошадей и, конечно, шагают пешие путники. Они положили свои хурджины на случайную арбу и неторопливо беседуют. «Э, наш город... тысячи людей на ноги ставит. Тысячами и глотает без следа... Но все-таки город, нельзя без него...»

Вот и я могла бы так шагать за незнакомой арбой, и случайный спутник спросил бы меня: «Куда это отправилась, девочка джан?»

«В город, иду в наш город»,— ответила бы я. «Зачем идешь? — спросил бы он снова.— Есть там кто у тебя?» — «Нет у меня никого»,— сказала бы я. И незнакомый спутник поспешил бы утешить: «Понимаю, ничего, наш город тысячи людей делает счастливыми...»

Может быть, город осчастливил бы и меня? А как же эта тропинка, зеленый куст шиповника, веселые птицы, водопад с его яркими радугами и развалившийся монастырь? Там сейчас между замшелыми камнями разбрелись вардановские ягнята.

Кто-то стоит на вот-вот готовой рухнуть стене монастыря и

машет мне рукой. Не может дождаться, пока подойду, соскакивает вниз, кувыркается через голову и — Вардан передо мной.

— Почему...

— Ладно уж... «Почему, почему!..» Откуда я знаю почему?

— Ну вот, уже и обиделась. Просто ты не показывалась, вот и хотел узнать, что случилось.

— Ничего не случилось. Захотела и пришла поглядеть ягнят.— И я взяла на руки маленького шелковистого барашка.

— Я же ничего не говорю, ты не показывалась... Вот под той скалой растет овечья травка, принести? — Вардан снова кувыркается через голову и исчезает. Через минуту он уже тут, в руках целый сноп травы.— Пусть овечки поедят.

— А что они ели до сих пор?

— Ну что ты такая? Видишь — обрадовались. Знаешь, ягненок, что ты на руки брала,— мой. Мать говорит, он для жертвы... Понимаешь, режут барашка, чтоб в жертву...

— Жалко, Вардан, посмотри, как вкусно жует он травку, разве можно его резать? Останутся эти горы, луга, воды и цветы, а бедного ягненка не будет. Не жалко тебе?

— Не сейчас же станут резать, не в этом году! Мать говорит... Я-то при чем? Мать... она говорит, когда я вырасту... Ведь есть такой обычай —если, допустим, женят сына, приносят в жертву ягненка...

Эх, Вардан, Вардан. Его загорелое лицо опять сильно покраснело, он сорвался с места и несется куда-то.

И вот снова передо мной, протягивает мне букет горных маков.

— И маки для ягнят принес? — спрашиваю я.

— Что ж, если другим не надо... А на той скале есть «буйволиное ухо», очень вкусно, хочешь, попробуем?

Вардан вдруг выхватывает у меня букет.

— Зачем, зачем? Пусть будет не для ягнят...

— Так... А для кого?.. Давай сплетем из них венок.— И он садится на землю. Быстро и ловко сплетает цветы, приговаривает: — Один тебе, другой — мне.— И вот уже готов для меня большой, пышный венок.— Бери, надевай свою корону.

— Придумал, я же не королевская дочь.

— Э, чем королевская дочь лучше других?

Откуда взялся ветер? Налетел со свистом и хохотом, сорвал сплетенный Варданом венок и покатил к каменным россыпям.

Вардан пускается вдогонку, хочет поймать. Крупные капли задолбили по его спине, по голове. Он хватает меня за руку, и мы бежим к нише в развалинах.

Сидим вместе с ягнятами, прижавшись друг к другу, посматриваем на дождь. А он все сильней и сильней. Ветер захлестывает струями даже сюда. Не спасает нас и ниша.

Вардан протягивает руку за моими плечами, хочет заслонить от дождя. Но дождю такой заслон нипочем. Я давно промокла

насквозь.Рука Вардана, наверно, устала, затекла, но он все закрывает ею мое плечо, а я не прошу его убрать руку.

Дождь лил сколько хотел, но все-таки иссяк, кончился. И мы, промокшие с ног до головы, наконец выходим из своего убежища. Вардан оглядывает меня, себя. Его ясные глаза сияют.

— Вот видишь, как хорошо было?

А ведь могла уйти в город...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ РАДУГА

На рассвете, когда первый раз пропоют петухи, под навесом прощебечет первая ласточка, спится особенно сладко. Но я просыпаюсь. Надо успеть. Куда успеть?

Рано просыпается жнец. Он спешит к своей недокошенной меже. За ночь пала роса на ниву, размягчила созревшее на солнце поле. Вот и надо косить, пока не высохли капли росы, пока солнечный луч, преломясь на остром лезвии, не ударил в глаза косарю.

Встает на рассвете и пастух. Ведь только ранним утром свежи и ароматны цветущие травы. Выпасет он стадо на росистых, благоухающих лугах, вечером вспомнит его добрым словом хозяйка, принимая из-под коровы ведро, полное молока: «Пусть пойдет тебе на здоровье хлеб, что ты ел, братец пастух...»

И стерегущий ягнят пастушонок открывает глаза с первым петухом. Что же будет за день, если его свирель вместе с петухами и ласточками не успеет пропеть о восходе солнца?

А хозяйка? Ну, хозяйка для того и существует в доме, чтоб ложиться позже всех, уснуть вполглаза и раньше ласточек быть на ногах. Забот у нее хватит. Гонит в стадо корову, кладет в хурджин косаря утренний завтрак, задает корм курам и цыплятам, ставит на огонь горшок с кашей. Не успеет еще солнечный луч преломиться на блестящей косе и пощекотать глаз жнецу, а хозяйка уже отправит в поле горшок с кашей. А каша ароматная и такая горячая — спину так и жжет, если ты несешь ее за плечом.

На рассвете просыпаются и молодые девушки. Каждая хочет первой поспеть к роднику. Ведь ночью в роднике искупались белые пташки. Пташки эти не простые — когда-то они были девушками и превратились в птиц, чтоб лететь за своим сердечным желанием. Кто знает, может быть, девушки-пташки оставили у родника перышко, одно белое перышко. Найдет его счастливица —и сбудутся ее сердечные мечты.

Но отчего я просыпаюсь на рассвете, когда пробуют голос петухи и под навесом начинает щебетать первая ласточка, а рассветный ветерок приносит в деревню нежный шорох созрев-

ших нив? Для чего вставать мне раньше солнышка — ведь нет у нас нивы, которую надо косить, нет коровы, чтобы погнать в стадо. А перышко девушки-птицы — зачем мне оно? И все-таки я бегу к роднику, не за перышком, нет. Всю ночь до самого утра не давал мне покоя светлый родник, звал, беседовал со мной, шептал на своем языке слова — никто мне не говорил еще таких слов...

Вот и бегу я на рассвете к роднику,— может быть, он повторит те слова, что говорил мне ночью. К тому же все дороги в деревню и из нее идут мимо родника. Воздух еще совсем свеж, когда жнецы, пастушата, девушки склоняются над светлой водой. «Какое доброе утро»,— говорят они друг другу и расходятся каждый по своему делу. Я знаю, недавно прошли здесь Торгом и Умршат, Смбат и Сако, умылись прохладной водой и отправились на поле Торгома. А завтра все они пойдут косить полосу Умршата, потом — Сако, Смбата. И всякий раз, прежде чем начать дело, приходят умыться к этому роднику, вытрут лица папахами, посмотрят на небо с надеждой и тревогой — не ударило бы градом на нивы — и только тогда пустятся в путь.

Но сейчас, в эту минуту, когда я подошла к роднику, здесь только один Вардан. Он, видно, собрался умыться, нагнулся к роднику, а голова приподнята, словно ждет кого-то. Нет, я не думаю, что ждет он меня. Совсем нет, наоборот, даже удивляется, встретив меня здесь так рано.

— Вай, это ты? —спрашивает он так, словно я не пришла, а привиделась ему. Нос у него краснеет. Не знаю, отчего краснеет этот чувствительный нос? Может, от утреннего свежего ветерка? А глаза сияют...

Тут уж, конечно, виновато солнце. Оно чуть показало лицо из-за гор и сразу направило лучи в глаза Вардану. Он опять спрашивает:

— Пришла, да?..

Может, рассказать ему про родник, какие слова шептал он мне ночью? Но сумею ли сказать, чтоб понял? Ведь он Вардан, а не я. И я не родник, я умею только слушать, а говорить так не могу...

— Просто так, пришла за водой,— говорю я безразлично, спокойно, а сердце... Что сердце? Бьется от быстрого бега... Вардан не спрашивает, почему не взяла я ведер. Он понимает: когда торопишься, постоянно забываешь про ведра, про все...— Смотри, давно прошли ваши, а ты?..— говорю ему.

— Я?.. Я сейчас пойду,— беспечно отвечает он.

— Ну иди.

— Пойду...

Уйти не так просто. Надо укрепить завязки трехов, которые почему-то развязались, поднять лежащий рядом хурджин — в нем лежит завтрак косаря. Вардан долго возится с трехами — все оттого, что смотрит не на ноги, а на меня. А хурджин он вовсе не

поднимает, забыл про него, наклонился над родником и плещет водой.

Я ничего не говорю, только смотрю на его голову. Волосы у Вардана черные, блестящие и очень густые. Мне почему-то кажется, они горячие, накаленные, притронусь — обожгу пальцы. Я разглядываю его голову и вспоминаю Шеко. Вардану не нравилось, когда я вспоминала Шеко. Он молчал, но я видела — сердился. А я любила его подразнить, назло ему часто вспоминала Шеко.

Интересно, Вардан и теперь рассердится?.. А чего ему сердиться на меня, кто он такой, чтоб сердиться? Кто такой Вардан?.. Вот уже болтаю бог знает что. Все знают, кто он такой. Я сейчас уйду, только скажу, что благодарна ему,— убедил меня не бежать из этой деревни. Это очень огорчило бы мою мать. Нет, хорошо, что я здесь. Этот родник не журчал бы так радостно без меня. И Вардан не улыбался бы так мягко, ласково, не смотрел бы на меня как-то совсем по-иному. Что увидел нового во мне Вардан? Хочу спросить, но вместо того смотрю на него точно так же радостно, улыбаюсь ему. Не хочу, чтоб другие увидели нас сейчас. Ни Нушик, ни Паруйр — никто.

— А если учитель рассердится? — плеща водой, бормочет Вардан. Я смотрю на его блестящие волосы и беззвучно смеюсь. Вижу, как запылало его лицо. По-моему, и волосы накалились, еще больше накалились, чем раньше. Вот бы притронуться. Но зачем же я буду это делать? Я просто смеюсь — какие глупые вопросы он задает. Не хочу даже вспоминать, что на свете существует какой-то учитель, какой-то отчим.

Не знаю, как это случилось, но рука моя сама, по собственной воле потянулась к его жестким волосам, схватила и повернула голову Вардана. Вижу его глаза...

— Вардан, хочешь, скажу, как ты...

— Ой, волосы выдерешь,— старается он высвободиться.

— Не хочешь — уйду...

— Ну вот, обиделась. Обижаешься — уйду я.

— Давай уйдем вместе, Вардан.— Я брызгаю в него водой и убегаю: — Поймай, если можешь.

С шумом осыпаются камни, разлетаются брызгами лужи, я бегу легко и свободно, будто у меня выросли крылья, те самые, с белыми перьями, что у девушек-пташек. Сердце мое трепещет радостно и восторженно. Может быть, нашла я белоснежное перышко, оброненное девушкой-пташкой? Я бегу и прислушиваюсь. К ударам ли собственного сердца или к топоту ног Вардана?

Размахивая хурджином, он догоняет меня, хватает за руку, и мы бежим вместе. Бежим по траве, по цветам, через камни и щебень, по обрывам и ливнестокам. Что мне крапива, что шиповник — пусть обжигают и колют. Из-под ноги срывается камень, и я вот-вот сорвусь в ущелье,— пусть! Рука Вардана крепка, очень крепка. И нет ничего в мире приятнее, чем бежать вот

так: вместе с Варданом, рука в руке. Хочу, чтобы дорога эта была без конца, дорога, начинающаяся от родника, дорога, по которой конечно же еще никто так не бежал. Хочу, чтобы всегда был около нас родник, тот родник, который ночью, когда спишь, говорит удивительные слова. Пусть и Вардану расскажет то, что шептал мне на своем родниковом языке. Тогда Вардан поймет, почему просыпаюсь я рано на рассвете, почему иду к роднику и почему несусь сейчас рука об руку с ним. Поймет, почему так хочется мне, чтоб дорога эта была бесконечной.

Почему Вардан несется так —со скалы на скалу, от обрыва к обрыву, скачет через ливнестоки и кувыркается в траве, смеется и болтает глупости? Как случилось, что он забыл про завтрак для жнецов? Надо напомнить. Но почему-то не напоминаю, а он зачем-то тащит меня к маленькому роднику, что, звеня, струится из-под мшистой скалы и разливается тихим, ясным, как глаз аиста, озерцом.

— Иди, иди,— говорит он.— Посмотри, какой родник!

— Наш родник лучше,— запыхавшись, говорю я.— Ведь он... журчит он иначе, Вардан!

— Родник в деревне? На что он мне? Все там бывают. Вот это —родник!.. Никто не ходит сюда, послушай, как журчит.

Вардан приближает ко мне свою голову, и мы оба смотрим в озерцо.

В чистом зеркале озерца я вижу две маленькие искривленные головы. У одной волосы — ежом, у другой — взлохмачены, как куст шиповника, торчат во все стороны и качаются.

Я смотрю в глубину озерца и вдруг вижу там руку... Откуда она взялась? Почему тянется к той — к взлохмаченной голове? Рука все ближе, ближе — и сердце мое замирает. Хотя что мне бояться этой руки, она ведь там, на дне озерца. Хотелось бы узнать, чего ищет эта несмелая рука?

Зеркало воды раскалывается, исчезают кривые рожицы, нет уже и робкой руки. А с моего лба кто-то отводит спутанные волосы.

— Жалко, вода разбилась,— шепчет Вардан,— давай подождем немножко, опять увидим.

— Что увидим? — спрашиваю я.

— Мое лицо с твоим. Или лучше поищем другой родник?..

И мы снова летим, рука в руке, опять под ногами цветы, камни и кряжи, обрывы, овраги, а вдали, над облаками, высится Алагяз. Где же тот, другой родник, которого мы не нашли пока, и зачем его искать, если и здесь было озерцо-зеркало?.. Чего же все-таки хотела та осторожная, робкая рука? И чья она была? Вардана? Так почему стала вдруг такой несмелой? Ведь как крепко настоящая рука Вардана сжимает сейчас мою — я знаю, она сильная, смелая.

— Вардан, добежишь до вершины Алагяза?

— Что за вопрос!

— А дальше, через Алагяз?

— Пустяки!

— А если еще встанет один Алагяз и семь морей, семь суш?

— Добегу. А ты побежишь со мной?

— Я?.. Не знаю. Зачем мне бежать?

— А разве плохо мы сейчас бежим? Вот так вместе и до Алагяза, и дальше, через семь морей, семь суш, а потом... дадим клятву...

— Клятву? Какую?

— Что мы... что я... я и ты...

К моим волосам опять потянулась рука. Но она уже не трепещет, она сильнее, смелее. И я не знаю: бояться мне или удивляться?..

Вардан не хочет больше бежать за мной. Может, устал? Не думаю. Как может устать такой сильный мальчик, с такими крепкими и теплыми руками? Шагает задумчиво и смотрит на меня. Я не вижу его лица, но чувствую — смотрит. А меня заинтересовал Алагяз, что там сейчас?

Тяжелые, полные воды тучи наползли на верхние склоны Алагяза и словно подогнули колени. Видно, там, над альпийскими лугами, идет сейчас дождь. Выше туч, опустив крыло за горную цепь, рассиялась всеми красками радуга.

Много видела я радуг. Они всегда похожи одна на другую. И эта радуга — как сестра радуге Урута, а урутская будто пришла туда из родного моего, покинутого села. Все радуги одинаковы. Или, может быть, над миром всегда стоит одна и та же радуга — спрячется и покажется опять? А вот я совсем уже не похожа на ту маленькую девочку, что хотела пройти под радугой и стать мальчиком, только никак не могла добежать до нее.

И хорошо, что не добежала, не стала мальчиком.

Мне очень нравится быть сейчас Арцвик. Хочу просыпаться рано на рассвете, бежать к роднику и с Варданом, рука в руке, мчаться по травам и цветам, смотреться в далекий горный родник. Если б я была мальчиком, кому сказал бы Вардан: «Побежим вместе до Алагяза и дальше, через семь морей, семь суш, и дадим клятву»?..

Мы не успели еще пройти эти семь морей и семь суш, не дали пока клятвы, но как хорошо быть девочкой Арцвик и бежать с Варданом по этой, сегодняшней дороге. И я хотела бы сказать тем глупышкам, которые еще бегут за радугой: «Девочки, маленькие, глупые девочки, вернитесь, все равно вы никогда не дойдете до радуги и не станете такими мальчиками, как Вардан».

Я думаю об этом и смотрю на Вардана, но так, что он не замечает этого. Он тоже задумался о чем-то и тоже смотрит на меня, но я-то вижу и посмеиваюсь про себя. И что он молчит? Решил, наверно, что обиделась на него. Чудак, разве убежала бы я, если б не знала, что руки его опять меня найдут. Но я

ничего не скажу ему. Пусть об этом расскажет Вардану родник, новый родник, который еще будет на нашем пути. Пусть он скажет Вардану, зачем девочки увертываются и убегают.

Не знаю, ветер ли треплет мои волосы или это руки Вардана? Не оглядываюсь и бегу, бегу опять, чем выше, тем быстрее, радостнее и легче. Наверно, и правда выросли у меня крылья, белые крылья, как у девушек-пташек, а может быть, как у тех голубей, что кружат сейчас над моей головой, опускаются и с шелестом взмывают вверх.

— Гей-гей-гей!..— гремят скалы и ущелья.— Остановись, мы уже дошли!

Дошли? До Алагяза? А как же семь морей и семь суш? Зачем останавливаешь меня? Ах, мы на ниве Вардана... Конечно, дошли. А вот и Торгом. Почему это он смотрит на нас как-то странно?

— Пожаловали наконец? — не пойму, смеется он или сердится.

— Да, дядя Торгом, пришли.

— Очень хорошо сделали,— говорит он.— Ну, как полагается девушке, разверни скатерть, пора и позавтракать. Чуть с голоду не умерли.

Какой догадливый отец у Вардана: я только и ждала его слова — сейчас разверну скатерть, разложу все как надо, хочу, чтобы он сказал: «Дай бог тебе силы, девушка, хорошей хозяйкой будешь...» Да, но где же хурджин Вардана, в котором лежит завтрак жнецов? Как же я теперь разверну скатерть... Я смотрю на Вардана, а он на мои трехи, я на его трехи, а он — на снежную вершину Алагяза, синее небо, на белоснежных голубей, которые все еще кружат в небесной синеве. Они со своей высоты, наверно, видят, где, возле какого родника валяется наш хурджин...

Я подставляю Торгому ухо, но он замечает только ухо Вардана, и я обижаюсь.

— Но мы же тихо бежали, дядя Торгом...

Почему-то все смеются. Что такого? Мы, правда, иногда бежали тихо, иногда быстро, но хурджин... какой черт украл его? Смеются они сколько хотят. Один братец Умршат пожалел нас, стал утешать — ничего, потеряли не больше того, что нашли. Я смотрю на Вардана, он — на меня, и тут уж начинаем смеяться мы. Вот выдумал — мы ничего не находили! А Умршат опять свое — нашли то, что человек единственный раз в жизни находит, да и то когда бывает таким, как Вардан и как я.

— Берегите, дети, то, что нашли,— говорит он,— не потеряйте, как хурджин.

Вардан сделался вроде теленка, стоит, ухмыляется. Сако подмигивает ему. Смбат рассматривает меня так, словно видит впервые. А Торгом только молчит.

— Дядя Торгом, давай поджарим пшеницы,— прошу я.

— Именно. Сливки съел тот, кто к ним привык, а пахту — разиня,— отвечает он.

— Дай бог тебе силы, дочка,— произносит вдруг Умршат. То, что я хотела услышать от Торгома!..

...Как хорошо! Шипят молодые стебли, и черными гусеницами валятся в огонь опаленные колосья. Красные змейки то там, то тут вспыхивают в сухой стерне.

— Гей-гей-гей! — кричит Смбат.— Спасайся, бог, пятки сожжешь!..

Не бог, а заяц выскакивает из-под камня и сломя голову скачет вниз по склону. Кидается вдогонку Смбат, за ним Вардан. Он оглядывается. Нет, я не побегу, ведь здесь Торгом, а он, наверно, не любит девочек, которые слишком много бегают. Братец Умршат растирает в руках обгоревшие колосья и кидает в рот хрустящую пшеницу. Но у него нет зубов, и он с трудом, медленно прожевывает твердые зерна. А разве будут поджаренные колосья дожидаться, если у всех кругом крепкие зубы. Я перетираю целую горсть черных колосьев между ладонями. Но поджаренные зерна почему-то сыплю Торгому.

Торгом ест и все-таки молчит, а братец Умршат встал, вытирая рот.

— Слава тебе, твоему честному хлебу, владыка небесный.

Никто не звал меня убирать поле. Я и сама не заметила, как оказалась там. Нива Вардана маленькая, каменистая, и пшеница на ней хилая, редкая. Как же оставить то, чего не взяла коса? Вот я и рву те колосья, что растут вокруг каменистых кочек.

Жесткие, острые усики пшеницы режут как бритвой мне руки, колени немеют — приходится все время стоять на корточках. Это ничего, Торгом теперь обязательно скажет: «Дай бог тебе силы». Но он все молчит. Тогда говорю я. Никто не слышит, ведь слова звучат только в моей голове, я говорю: «Нет у нас нивы, чтоб скосить ее, зато есть у Вардана. Меня сегодня рано на рассвете разбудил горный ветерок, он принес аромат их нивы, а вдали блеяли их ягнята».

И какой веселый человек братец Умршат! Он кладет рядом с моей копной свою войлочную шапку и смеется:

— Вот тебе еще одна скирда. Войлочная!

Смеются и Смбат, и Сако, и у Торгома, слава богу, наконец дрогнул кончик уса.

— Шутник ты, старший братец.

— А как же, парень Торгом,— говорит Умршат.— Если не будет сердце жнеца веселым, коса налетит на камень. Хлеб убираем — святое дело, косу можно брать в руки только с добрым сердцем, с чистой совестью, тогда и бог воздаст тебе. Торгом, эй, Торгом, скажи, не бывал ты в долине нашего Алашкерта? Пшеница родилась, что камыш. А убирали как! С песней, с весельем.

— Ваша равнина Алашкерта, наши Мшко! — вздыхает Сако.— Все прошло, не увидим больше.

— Увидим, придет наше время,— уверяет братец Умршат.— У меня с богом тайное соглашение: пока не уберу хлеб с нашей равнины, не отдам душу архангелу Гавриилу.

— Условие хоть куда! — смеется Торгом.

— А как же помереть, не видя Алашкерта? Не может быть такого, поглядишь еще и на равнину Алашкерта, и на ваши Мшко.

— Жнешь поле, что засеял Каро, братец Умршат? — поддевает Сако.— Не верь, не будет того. Слова нашего учителя — что ветер в поле.

— На что мне сдался Каро, будь проклят его отец! Я вам думы своего сердца выкладываю. Как не вернуться нам в наш разоренный край! Там обвенчаем тебя, там и свадьбу смугленького сына Торгома справим. Я буду сватом. А потом пожалуйста, приходи, божий ангел, по мою душу.

Торгом ничего не говорит. И что он сегодня такой молчаливый? А я мысленно благодарю старого Умршата: «Ты добрый, братец Умршат, ты знаешь, чего я хочу. Сразу понимаешь все и смеешься, когда я жду улыбки Торгома. Говоришь мне: «Дай бог тебе силы, дочка», когда я жду этих слов от Торгома. Ты желаешь нам вернуться к нашим Мшко, далеко, на правый берег Ахуряна. Счастливого тебе пути, братец Умршат джан, пусть будет у тебя добрый урожай и ты долго не отдашь богу душу. Но скажи, надо ли так долго ждать со свадьбой смугленького Вардана? Здесь тоже есть поля, и он сам здесь, и здесь... все мы. И потом, нужна ли обязательно свадьба? Пусть все дни будут такими, как этот, хочу еще склоняться над родником, бежать к Алагязу, лететь через семь морей и семь суш... Неужели свадьба лучше всего этого?»

Ноги мои как камни, поясница — не разогнешь, руки в крови, зудят от порезов, и все-таки хочу, чтоб без конца длилась эта уборка хлеба, не надо сумерек! И Вардан, я знаю, так думает, и братец Умршат, наверно. Он ведь добрый человек. И опять мысленно убеждаю его:

«Братец Умршат джан, пусть все будет так, как есть, останемся мы с Варданом здесь, на этих высоких склонах Алагяза, будем убирать эту ниву, складывать скирды, поджаривать пшеницу. А потом пусть снова будет ночь и рассвет. Горный ветерок опять разнесет по всему миру аромат нив, а я скажу Вардану: «Добежишь до вершины Алагяза?»

«Добегу»,— ответит он.

«А чтоб я пошла с тобой, хочешь?..»

«Что за вопрос?..» — скажет он.

Что за вопрос, братец Умршат? Раз Вардан хочет того, чего хочу я, а я — того, чего хочется ему, зачем же тебе посылать нас на Мшко? В другой раз, братец Умршат джан, в другой раз.

Если я расскажу, что говорил мне родник, что видела, заглядывая в озерцо-зеркало, и что поняла у третьего родника, ты и сам скажешь: «Останемся и уберем все поля...»

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЧЕР

Заход солнца — это еще не вечер. Вечер приходит в деревню с золотой пылью на косе усталого жнеца, с запахами трав и цветов — их несет стадо. Прочертит сумеречное небо запоздалая птица, блеснет в тихом зеркале родника первая звезда — это вечер. Он начинается от родника. Вот подошел к прохладной воде пастух, усталый, в пыли, обожженный солнцем. Он тихо, призывно свистит: «Шу-шушу-шу...» И стадо красных коров, как рдяное закатное облако, стелется к водопою. Приникло к воде спустившееся с гор стадо, и довольное, покойное пофыркивание проносится над деревней вместе с вечерней прохладой.

А позднее, когда от всех дворов потянет теплым духом парного молока, хозяйки вспомнят пастуха добрым словом: «Пусть на здоровье пойдет тебе хлеб, что ты съел, братец пастух». Вот и выйдет, что не напрасно погонщик стада топтал свои трехи по горным тропкам и лугам, не зря подставлял лицо ветрам и жгучему солнцу. Доброе слово — хорошая награда.

У родника собрались девушки. Плещет вода, звякают ведра, и журчит тихая беседа. О чем? Вода течет, переливается через край... Разойдутся девушки, разнесут по домам прохладу родника. И труженик, зачерпнув кружкой из ведра, скажет: «Ухай, пусть судьба твоя будет ясной, как эта вода, девушка джан...»

Теперь над канавкой родника смывают дневную усталость жнецы. Тут и братец Умршат, и Торгом, и Смбат, и Сако. Разветвляются дороги от родника. Каждый должен уйти своей тропой. Но не сегодня. Весь день они вместе косили, вместе отдыхали в тени стога, прикидывали, сколько удастся намолотить зерна, сколько муки засыплют на зиму в амбары. Сейчас они вместе отправятся к Торгому, разделят с ним и ужин — таков обычай.

Все разошлись, смолкают последние голоса. Тишина. В водном зеркале отражается бездонная глубь неба, искрятся звезды. И я весь день убирала хлеб и колосья на поле Торгома, складывала скирду и усталая шагала вместе со жнецами к роднику. Есть среди ветвящихся тропинок стежка и к нашему дому. Но не хотят почему-то ноги повернуть на эту стежку.

А Вардан? Не стоять же ему со мной до утра!

— Давай пойдем,— тянет он меня за рукав.

— Куда?

— К нам домой. Тетя-учительша не станет сердиться, я провожу тебя и объясню все.

— А Каро?..

— Ты... Не бойся его, знаешь... А для чего я, если ты... если он... Давай пойдем, иди!

Я вижу, как поблескивают в темноте его глаза, и не знаю, родник ли это опять или губы мои шепчут: «Вардан, какой ты отважный!..»

Все уже под навесом дома Вардана. В очаге полыхает огонь. Приятно смешались запахи зрелых колосьев и свежей похлебки. Запах колосьев пришел к нам с гор, а похлебку сварила для жнецов мать Вардана, чудесную похлебку из пахты. Что может быть лучше этой похлебки после трудового дня? Накрой хоть стол царя царей, все равно жнецы сядут за похлебку из пахты. И долго будут стучать в тишине ложки, пока усталость, смешавшись с потом, не выступит каплями на лбу и висках.

Вардан тянет меня за рукав и усаживает рядом с собой. Из-под навеса я вижу нашу отворенную дверь. Оттуда кивает мне огонек. Это моя мать зажгла лампу, ждет меня. Последнее время ей часто приходится ждать. Почти каждый вечер вижу я ее тень на нашей стене и знаю — ждет она, ждет. Как бы хотела я подбежать к матери, обнять ее. «Не сердись, ма,— сказала бы я,— ведь у нас нет поля, чтоб убирать его, вот я и...»

Но у порога нашего дома стоит Каро. И я боюсь его. Он не поймет, почему я проснулась рано на рассвете и как попала на поле Вардана.

Мать Вардана поставила перед нами миску с похлебкой.

— Кушайте, дети мои,— осторожно прикоснулась к волосам сына.

Говорит так, словно боится что-то вспугнуть. Вся она — дружелюбие, сердечность. Нет, эта невысокая, милая женщина — не мачеха. Глаза совсем как у Вардана, волосы такие же темные, лицо коричневое от загара. И когда она приветливо шепчет «кушайте», я еле сдерживаюсь, чтоб не сказать: «Тетя Сандухт, и вовсе ты не мачеха!..»

У нас с Варданом одна миска. Братец Умршат замечает:

— Труд — удовольствие, если вместе с ним разделишь и хлеб.

Хорошо говорит братец Умршат. Очень вкусный у нас хлеб сегодня, и очень веселой была наша общая работа. И горный ветерок, залетевший под навес, особенно приятен, его прохладные пальцы ласкают наши вспотевшие плечи. Уютно посапывают вардановские ягнята в углу двора, приветливо мигает издали огонек нашего окна. Пусть там Каро. Скоро наступит ночь, сон, придут сновидения — в них Каро не будет. Там будут журчать родники, знакомые родники, они напомнят о разных приятных вещах...

Хорошо под навесом у Вардана — здесь все свои, все родные. И вдруг среди этих близких мне людей вырастает чужой — Каро — и нависает у нас над головой.

— Садитесь, учитель, покушайте похлебки,— приглашает Торгом.

— Да тут уже сидит один едок из нашего дома,— грозит мне пальцем Каро.— Растим девочку, а она все норовит к чужим убежать. Уже и лицо ее забыли...

— К чужим? А где ты пропадал, когда была она нашей девочкой? — спрашивает Торгом.

«Дядя Торгом джан, дядя Торгом джан»,— бормочу я про себя и отхожу в угол двора. Вот и пойду домой, раз Каро здесь. Он с аппетитом уплетает похлебку и похваливает:

— Национальное блюдо. Его едал и Хримян-айрик[1]. Еще не было лучшей еды для землероба. Я похлебку всегда ел охотнее, чем самый вкусный шашлык.

— Как Хримян-айрик? — прихлебывая, спрашивает Сако.

— Брось свои шуточки, Сако джан, я серьезно говорю.

— Я тоже серьезно говорю, Каро, только... Стараюсь вот припомнить, да не могу. Вроде не видели тебя в прежние времена за похлебкой из пахты...

— Ты все о том же: мол, я хозяином был? Прошли, Сако джан, прошли те времена. Разными дорогами двинулись в путь, а, гляди, догнали друг друга. Исчезло прошлое, осталась похлебка из пахты, наша дедовская похлебка из пахты. Чудесно!

Самое время мне уйти домой, пока Каро расхваливает тут национальную похлебку. Но в моем углу появляется Вардан. Он молча смотрит на меня, а я слышу: «Останься, не уходи».

Зачем-то сюда идет Смбат. Взлохматил волосы Вардану и ко мне:

— Не обижайся, бала джан, неохота сидеть здесь, с этим учителем.

— А мне что, не сиди...

— Конечно, что нам? — поддерживает Вардан.

— Ребенок,— смеется Смбат.— Где вам понять. Ничего-то вы не знаете...

— Чего не знаем, Смбат, чего? — так и прилипает Вардан.— Ну скажи!

— Сказать? Давай скажу — только сначала выкурим папироску.

— Я не умею курить.

— Значит — ребенок.

— Кто, я?.. Неправда, совсем не ребенок.

— Ну, раз такое дело, пойдем со мной,— предлагает Смбат.

«Ма, мама джан, я сейчас вернусь, сейчас!» — мысленно кричу я матери и ухожу вместе с Варданом и Смбатом.

---

[1] Хримян-айрик — католикос всех армян, популярный в последней четверти прошлого века.

...Под всеми навесами стоит теплый дух созревшего хлеба и похлебки из пахты. Везде полыхает огонь в очагах и течет мирная, неторопливая беседа, дремотно посапывают телята и ягнята. Приятен вечер после трудового дня.

Лунное сияние легло на деревню, серебрятся стога пшеницы и ячменя на гумнах, приготовленные для молотьбы колосья и не провеянное еще зерно, перемешанное с соломой.

Напрасно Смбат думает, что я ничего не знаю. Я знаю многое. И в нашем селе поблескивало под луной жнивье, и мы молотили при вечерней прохладе. Но над кучей зерна вырастал Каро. Не знает Смбат, сколько проклятий посылали мы в те времена Каро. Сейчас — другое дело. Невелика беда, если станет отчим над моей головой. Голова моя как-нибудь вытерпит, зато пшеница, которую собрали мы — я, Вардан, Смбат, весь Урут, теперь цела, не унесет ее хозяйский Каро.

Не хочу больше думать о Каро. Кругом столько хорошего — и это сияние, и веющий с гор ветерок, и родник, журчащий на окраине деревни, в его плеске так и слышится: «Хорошо, хорошо, хорошо...» Хорошо, что все дороги, куда бы ни шел, ведут к роднику. И зачем Смбат раньше времени свернул в сторону, зашагал к дому дяди Овасапа? Впрочем, понятно: там, в открытой двери, стоит в белой одежде Баласан. И кажется, будто на порог дяди Овасапа опустилась девушка-птица.

Мы проходим мимо нее и оглядываемся — я и Вардан. А Смбат? Он не смотрит. Наверно, не слыхал сказки о девушке-птице. Идет себе, тихо насвистывая. Смбат свистит, а вечерний ветерок, ясная луна, сияющие серебром мякины гумна и дороги, кучи соломы и зерна повторяют не высказанные им слова:

Приходи, ах, приходи,
С кувшином по воду приди...

Да, идем мы все-таки к роднику, просто Смбат свернул на ту тропку, что прошла мимо дома дяди Овасапа. У родника теперь только ночь и луна. Смбат садится на камень, достает папиросу, «Приходи, ах, приходи...» — насвистывает он.

— Вот что,— обращается вдруг он ко мне,— можешь сделать одно дело?

— Пойти позвать?..

— Колдунья! — смеется Смбат.

Я бегу и слышу за собой топот Вардана. А за нами несется: «С кувшином по воду приди...»

Баласан, наверно, тоже колдунья. Вот она в белой одежде, покачиваясь, с кувшином на плече идет нам навстречу. Я пробегаю мимо.

— Почему не сказала? — шепчет Вардан.

— Эх ты, не понимаешь,— говорю я.

— Нечего понимать. Все знаю...

— Что знаешь?

— То же, что и ты.
— Значит, колдун!..
...И снова дороги, дороги. Разные — длинные и короткие. Одна кончается у дверей дома, другая уходит в горы, спускается в ущелье, перескакивает через речку, весной приходит в поля, а с летом возвращается в деревню. Искрится в лунном сиянии дорога, устланная серебристой мякиной. Идите по ней, девушка в белой одежде и парень с черными усами,— дорога не выдаст вас. За деревней столько холмов и кряжей, и родники, много родников. Смбат храбрый парень, и, как бы темна ни была ночь, Баласан не испугается. Мое платье не белое, и Вардан очень смуглый, очень. Мы скользим по серебристой от мякины дороге, словно тени от облаков. Там, в горах, есть один родник, Вардан знает его, а Смбат нет. Знаю и я, а Баласан туда не ходила. Вардан насвистывает так же, как Смбат. Все мальчики свистят, когда лунная дорожка пробежит по воде. Но из всех девочек одна я понимаю — вот что насвистывает Вардан:

Пусть вечер придет и повеет прохлада,
Пусть море затихнет и выйдет луна.
Пусть будут две тени, идущие рядом.
По сердцу друг другу — и он и она.

Вардан берет мою руку, потому что я чуть было не споткнулась. Я все же не споткнулась, но он крепко держит мою руку, ведь дорога каменистая и сейчас не день...
— Куда ты пойдешь на рассвете? — спрашивает он.
— Еще не рассвело.
— Конечно... До рассвета еще так долго...
— А ты что будешь делать утром?
— Завтра все идут на поле Смбата.
— Ты тоже пойдешь?
— С тобой.
— А мне зачем?
— Ты говорила, что пойдешь...
— Когда это я говорила?
— Ну так скажи — и я сейчас побегу к вершине Алагяза.
— Теперь ночь, как вернешься домой?
— Какое дело — пойдем вместе!
...Вместе, конечно, вместе.
Я знаю, Вардан не лжет и не забыл своих вчерашних слов. Захочу — он и в самом деле бросится бежать до вершины Алагяза. Домчит единым духом и даже не заметит ни камней на дороге, ни колючек, и все равно ему — ночь сейчас или утро. Добежит обязательно и вернется целым, невредимым. Ведь я буду стоять здесь и ждать его.
И не только до вершины Алагяза. Захочу — спустится в царство ночи и принесет оттуда изумрудную птицу, ту изумрудную птицу, которую до сих пор никто не словил. А Вардан поймает

и прибежит ко мне: «Вот, ты сказала — и я принес». И опять пойдет Вардан, если захочу. Сорвет все цветы мира и рассыплет передо мной, достанет радугу с неба и принесет: «Ты сказала, и я достал...»

Я знаю, Вардан все может: и солнце достанет, и звезды. Разыщет все родники мира и все моря.

Но не надо мне ни радуги, ни солнца. Пусть Вардан никуда не уходит. Когда он со мной,— и солнце мое, и родники, и радуга, и цветы.

Весь мир —мой, и пусть для всех журчат отысканные Варданом родники, над всеми сияет солнце, которое он достал для меня, и пусть все увидят изумрудную птицу, ведь только Вардан может поймать ее.

Я хочу, чтоб все увидели, какой сильный и смелый мой друг. Как хорошо, когда он рядом.

Вот он идет рядом со мной, и его темные, чистые глаза смотрят на меня и спрашивают: «Ну, скажи, что ты хочешь...» И я удивляюсь, смущаюсь, радуюсь. Не верю, что это правда.

— Хочу тебя попросить об одном, сделаешь? — спрашиваю я.

— Говори скорей,— торопит он.

— Сколько уж времени не были мы на огороде Паруйра.

— Ну-у, я думал, что-нибудь другое.

— Что другое?

— Не знаю... Такое, чтоб было трудно. Пойдем в горы, на луга, поля, обойдем весь мир...

— Зачем столько ходить?

— Чтоб быть всегда вместе.

— А потом?

— Потом... не знаю.

— Ну хорошо, а в Джраберд пойдешь со мной?

Он даже не спросил зачем. Так и бросился вперед. Я иду за Варданом и мечтаю: вот мы уже в Джраберде. Рябой Вано наскочил и спрашивает: «Кто это с тобой?» — «Это Вардан, Вано...» — «Где подобрала такого?» — издевается Вано. А Вардан размахнулся и как даст... И я вижу только рябое ухо. Лишь это несчастное ухо осталось от Вано.

И почему мне так хочется, чтоб Вардан защитил меня? Ведь есть у меня мать, дядюшка Авет и еще много других людей, которые всегда заступаются за меня. А я вот хочу, чтоб обязательно Вардан меня защищал, только Вардан... Почему?

Я догоняю Вардана, смотрю в его гневные глаза, и вдруг мне делается смешно.

— Джрабердских парней не бойся.— Он сжимает кулаки.

— Не боюсь.

— И я.

— А ты что, разве трус?..

— Кто, я? Я теперь никого не боюсь... Помнишь, что говорил братец Умршат?

— Забыла.

— Эх ты!.. А он говорил... Да, сказал: то, что нашли,— не теряйте... Разве не верно?

— Все равно, Вардан, я здесь долго не останусь, не могу, уйду отсюда...

— Опять?..— Мое небо потемнело от туч, потемнела вода в моем роднике — это темнеют глаза Вардана. Теперь я жду, когда же развеется туча, опять засияют эти глаза. Жду, а Вардан молчит.

— Уйду, Вардан, уйду отсюда,— сама не знаю почему говорю так.

— Что же делать, тебе лучше знать, куда идти,— отвечает он.— И я уйду.

— Ты? Почему?

— Да так... Найду место, чтоб никто не знал, пусть... Может, соскучатся... Нет, я сам соскучусь раньше всех. Буду тосковать по нашим горам, ущельям, нашему Алагязу и... нашим мальчикам...

— Еще по ком?

— Напишу письма: отцу, матери... и тете Сато напишу.

— Еще кому?

— Разве еще кто будет тосковать по мне? Больше некому...

— Почему, есть и другие...

— Так пусть другие сами напишут.

— Я никому не писала писем, Вардан, не знаю, как это... И зачем люди пишут друг другу?

— Что за слова? Не всякий же человек пишет письма. Вот соскучится кто по ком, тому и пишет. Баласан, конечно, не сможет, как бы ни тосковала по Смбату,— она не умеет писать. А другие умеют.

— И почему это люди тоскуют друг по другу? А ты по ком будешь тосковать, если уйдешь далеко-далеко?

— По нашим горам, ущельям... по другим... Когда ты уйдешь в город, оттуда будет видно наш Алагяз?

— Алагяз везде видно.

— Значит, если кто-нибудь станет на вершине, его тоже увидят?

— Конечно. Я сразу увижу.

— Кому нужно подыматься на вершину Алагяза, если тебя уже не будет здесь...

— Почему?..

— Слышишь — птичка... Хочешь, поймаю для тебя? — предлагает Вардан.

Не знаю, какую птицу он имеет в виду, и не верю — полевые птицы быстры. Да и на что мне они, мне хорошо и так. Но Вардан обязательно хочет хоть что-нибудь сделать для меня. На са-

мом отшибе склона раскачивается куст шиповника. Вардан швыряет камень и мчится туда. Но не птичка была там — над кустом расцветает голова Каро. Вардан застывает на месте. Каменею и я. На лице Каро дергается улыбка.

— Кого принесло? — спрашивает еще чей-то голос.

— Свои,— отвечает Каро.

Куст закачался сильнее, и вылез Лудвиг.

— А, мои старые друзья! — кривляется он.— Прогуливаетесь? Весьма полезно. Мы вот тоже, вроде детишек, гуляем. Мы гуляем, правда, Каро?

— А?.. Да, да, конечно,— бормочет Каро и беспечно улыбается. Странная улыбка — как будто мы с Варданом вора поймали...

— Ну, что же вы застыли? Скачите дальше! — оживляется Лудвиг.— А мы за вами, айда!..

Никогда еще я не решалась при других взять за руку Вардана. Но сейчас я хватаю его руку: боюсь, вот-вот разразится надо мной непонятная беда. Мы бежим.

— Ха-ха-ха! — хохочет сзади Лудвиг.

ПОЛОВИНА БАРЫШНИ ЕЛЕНЫ

Нет, от Каро не убежишь. И рука Вардана не спасла меня от беды. Беда разразилась, и не одна, и не надо мной одною. Пострадали и друзья... Все дело в том, что кроме нашего учителя Каро тут замешалась еще и учительница — барышня Елена. Эта хромая Елена не столько сама мучается от своей хромоты, сколько мучает нас.

Но об этом потом. Сначала беда пришла ко мне. Своя рубашка, как говорят, ближе к телу. Вот я и вспоминаю прежде всего мою беду. Рубашка действительно близка к телу, особенно если у тебя не отец, а отчим, и притом учитель. Когда он пускает в ход линейку, рубашка прямо-таки прилипает к телу...

Каро на этот раз озлился сильнее обычного. Наговорил много плохих и обидных слов. И бесстыжая я девчонка, и честь его роняю, и с мальчишками... одним словом... Я не смогла снести всего этого и сама ответила. Каро пустил в ход линейку. Мама испугалась, хотела меня заслонить. И тут твердый носок сапога угодил ей в поясницу. Удар был направлен в меня, а попал в мать, что поделаешь?

Ободранная спина уже зажила, но болит сердце — моей маме нехорошо. Она обвязалась платком, стонет и говорит соседкам: просквозило за стиркой, вот и схватило.

Соседки понимают, у них тоже есть мужья. Случается, и их главный рассвирепеет. Ну и ходят тогда с завязанной поясницей и говорят: просквозило за стиркой. Таков порядок. И, сказав о стирке, они все добавляют одно и то же: «Судьба женщины тяжелым камнем виснет на ее шее».

Камень, что повис на шее моей матери, тяжелее вдвое. Кроме мужа есть еще я. И зачем я так опрометчиво понеслась за счастьем! Горы, радуги, говорящие родники! Нет, не для такой, как я, эта радость.

А тут еще барышня Елена. Каро вбил себе в голову, что не может обойтись без нее. Он, конечно, хотел бы, чтоб она целиком досталась Уруту и колыхалась бы по нашим улицам с утра до ночи. Но одно дело желать, другое — мочь. Учитель желает, а может Унаробраз — заботливый отец всех школ, учителей, учеников и даже родителей всего уезда, он не дает непонятливому учителю вроде Каро подгрести весь огонь под свою лепешку.

— Умерь аппетиты, Дпрапетян,— сказал он Каро.— Ты не понимаешь политики нашей партии, слишком узко мыслишь. Не одна твоя школа у нас. Сам знаешь, как трудно с кадрами. Как же тебе целую учительницу дать, когда рядом Саратак. Придется обойтись половиной Елены Богдановны, а вторую половину оставь Саратаку. Не забудь поблагодарить товарища Лудвига. Молодец, разыскал где-то учительницу. Не знаю, право, что бы мы делали? Нет у нас людей, нет, и точка!

И незачем было Бенику спрашивать мнения дядюшки Авета. Но он, по его собственным словам, человек осторожный,— значит, дядюшка Авет, как партиец, обязан проявить бдительность. Потому что:

— Кто знает, товарищ Авет? С этой девушкой, судя по документам, все в порядке, но все-таки, знаешь, из интеллигентов, притом неопытна. Вот и надо проследить, чтобы разные контры не повлияли на нее. Я не назначил барышню сюда. Сам понимаешь, здесь Дпрапетян. Но и в Саратак ты должен поглядывать. Там ведь нет надежных коммунистов. Держи и ее под наблюдением, товарищ Авет.

— Есть держать, товарищ Данелян,— покорно согласился дядюшка Авет.— Пусть глаза смотрят, платы им не требуется. Крот в своей норе роет несколько извилистых путей, вот и мы будем служить каждый своей цели.

Каро не слышал этого разговора. Беник послал его в Джраберд за учительницей. Пора познакомиться ей с нашей деревней. А потом в Саратак, приступать к работе. Знакомство начали с дядюшки Авета. Беника уже не было.

— Значит, ты барышня Елена, так? — медленно подавая ей руку, щуря один глаз, сказал дядюшка Авет.— Ну, а я Авет,— может, слыхала?

— И даже очень много, и только хорошее,— защебетала барышня.— Всю дорогу Карапет рассказывал о вас. Я просто в восторге!

— Ну конечно, один ангел — я, другой — Карапет,— насмешливо ответил дядюшка Авет.— Вот и вертись теперь между нами, а мы посмотрим, на что способна.

Барышне стало не по себе, и Каро поспешил успокоить ее:

— Не волнуйся, Елена Богдановна, это язык у нашего Авета колкий, а сам он не такой уж страшный. Если поладишь с ним, все будет хорошо, спокойно будем трудиться.

Каро уговаривал барышню очень нежно, ласково, как успокаивают перепуганного ребенка, но барышня Елена все же заторопилась:

— Пойдем, Карапет, пора мне посмотреть и на мое постоянное место. А с товарищем Аветом и другими успеем еще познакомиться.

Каро тут же вскочил, но дядюшка Авет остановил его:

— Спокойно, Карапет. Ты уже много служил барышне Елене. Ты наш учитель, мы чтим тебя. Я предупредил ребят, они проводят барышню к месту.

Пришли Смбат и Сако. Надежные телохранители. Дядюшка Авет вышел со мной из комнаты.

— Пойдешь с ними; девушка все-таки, места чужие, может испугаться. Пойдете, устроите барышню... Елену, и вернешься. И еще помни, Арцвик, одних моих глаз мало, пусть и твои знают свое дело.

Барышня Елена устроилась в Саратаке неплохо. У Лудвига там тесть — Вардеван, хозяин знаменитого дома с к р и ш е й. У Вардевана и поселилась новая учительница. Вардеван человек с достатком, комната великолепная. Лудвиг через день приходит в гости к своему тестю, заглядывает и Каро — провести время. Что еще надо барышне? Дорогу она изучила, может с закрытыми глазами колыхаться из Саратака к нам и обратно. Но дядюшка Авет заботится — поручил мне и моим друзьям встречать и провожать ее в те дни, когда у нас уроки русского языка.

Каро недоволен, барышня тоже не проявляет восторга, да и некоторые из моих друзей, Вардан хотя бы, без всякой охоты идут в Саратак. В доме барышни мы постоянно застаем дочку Манаса. Эта Аракси просто влюбилась в свою учительницу, даже колыхаться стала, как та. Вардан лопается от досады.

— Эй, чего ты меняешь свою походку? — дразнит он Аракси, и глаза ее совсем закатываются под лоб.

— Кто меняет походку? — извивается Аракси.— Не своим умом живешь. Не стыдно высмеивать нашу барышню? Что поделаешь, если она... хромая?

— А ты-то зачем колыхаешься? Думаешь — притворишься хромой, так больше знать будешь?

Говорим мы все это во дворе, пока барышня приводит себя в порядок: завивается, подкрашивает что-то. А в пути разговор у нас другой.

— Арцвик, Карапет хороший человек,— говорит барышня,— мне он очень нравится. Прекрасный учитель, а как удивительно понимает крестьян. Откуда родом твой отец, Арцвик?

— Мой отец или Каро? — невинно переспрашиваю я.— Сама знаешь, барышня, Каро из нашего села.

— Негодная девочка, разве он тебе мальчик, чтоб называть по имени? Почему не говоришь отец? Что из того, если он отчим? Был бы у меня такой отец!

— Разве у тебя нет отца, барышня?

— Нет, милая, никого у меня нет,— печально вздыхает барышня и тяжелее припадает на ногу.— Отца, мать, всех зарезали, я чудом спаслась.

— Бедная барышня...

— Ты помнишь ваше село? — спрашивает Елена.— Кого ты помнишь там?

— Нет, барышня, никого не помню.

— Да, конечно, ты была маленькая, что могла запомнить... Ну хорошо, поспешим, сейчас будет звонок.

— Раз опоздали — побежим! — советую я и тащу за собой Елену.

— Что ты делаешь, негодная девочка? — сердится она.— Придумала — бежать по деревне. Я тебе не подруга.

— Если б нога не болела, побежала бы, правда?

— Моя нога не болит,— мрачнеет барышня.

— Не болит? А почему ходишь так?.. Ты всегда была такая, барышня?

— Твой отец не говорил тебе, какая я была раньше? Я рассказывала.

— Каро? От него сам черт не услышит правильного слова.

— Зачем так? Он же твой учитель, твой отец, подумать только, что она говорит!

— Хватит уж — отец да отец! — рассердилась я и побежала вперед, а за мной и все ребята. Пришлось барышне остаток пути колыхаться в одиночестве. А я так и не узнала, отчего хромает учительница.

...Отчего хромает барышня? Что это — простое любопытство с моей стороны? А может быть, жестокость? Человек сломал ногу — мне-то зачем совать сюда нос? Нехорошо напоминать человеку о таком деле. Правда, дядюшка Авет не стесняется своей деревянной ноги — постучит ею и скажет: «Деревянный братец моей ноги». Но обычно люди не любят говорить о таких вещах. Что же случилось с барышней? С некоторых пор она так и тащит в разговор свою ногу, которая, во всяком случае, не деревянная, а только чуть коротковата. Все намекает на что-то.

Намекала, напоминала, и наконец тайна раскрылась. Выходит, если все правда, барышня — героиня, а я и еще некоторые — глупцы.

Почти героями оказались Лудвиг и Беник Данелян, а также и Каро, благодаря «оказанным услугам». Один товарищ Хачик не совершил никакого подвига. Хотя мы куда с большей охотой поверили бы, что наш веселый товарищ Хачик — герой. Он со-

всем не обиделся за то, что его отняли у нас, частенько наведывается в Урут — приходит проводить домой барышню.

Заглядывают и другие — Лудвиг и Беник.

— Товарищи, вы работаете в разных деревнях, но выполняете общее дело, вы — члены одного и того же коллектива, поэтому должны помогать друг другу.— Это речи товарища Унаробраза. Чтобы учителя помогали друг другу, он распорядился: все по очереди должны сидеть друг у друга на уроках, а потом собираться и обсуждать.— Таким образом можно будет проследить, кто что делает, как оправдывает наше доверие. Доходит, товарищ Авет, ясно, о чем речь веду?

— Очень даже ясно, товарищ Данелян, все твои слова я понимаю, как надо понимать...

Может быть, дяде Авету и ясно, а вот мы никак не поймем, зачем нужен весь этот шум. Не понимаем и нарываемся на неприятности.

На одном таком уроке Каро заставил Вардана прочесть наизусть стихотворение:

Лиса спускается с горы,
И катится собачья свора
Клубком мохнатым за дворы:
Скорей! Скорей! Хватайте вора!

Вардан прокричал эти строки с таким воодушевлением, что вызвал улыбки учителей, слушающих урок.

— Умерь свое рвение и объясни, что хотел сказать автор? — осадил его Каро.

Вардан смутился:

— Автор, учитель... автор.. лиса, значит... эта лиса...

— Да не лиса, автор! — зашептали со всех сторон.

Вардан окончательно запутался. Каро рвал и метал. Этот мальчишка осрамил его перед товарищами.

— Кто хочет сказать? — обратился он к классу, посадив Вардана.

Лес рук потянулся к столу учителя,— наверно, только моей руки там не было. Но Каро неизвестно почему обратился именно ко мне:

— Дпрапетян, отвечай...

Но кто ответит, если в классе такой нет?

— Дпрапетян, ты глухая?

— Кто, я?..

— Она Арамян, товарищ учитель,— прошептала Нушик, и класс, который, как стог, готов вспыхнуть от ничтожного уголька, дружно фыркнул.

— Садись на место, негодная девочка! — прошипел Каро, не замечая, что я и так сижу — я же не была Дпрапетян.

А дома настроение Каро окончательно испортилось. Учителя, которые собрались у нас обсудить урок, сделали ему заме-

чание: ученики не умеют себя вести. Каро попробовал свалить вину на Хачика:

— Что мог я сделать за короткий срок? Приходится искупать грехи предшественника.

— Не бросай камешков в чужой огород,— ринулась в защиту Хачика Елена.— Товарищ Хачик мой рыцарь.

— «Старым курам — кыш, кыш, новым курам — цып, цып»? — засмеялся Каро.— Мы земляки, сверстники, вместе кровь проливали, и, пожалуйста, все забыто.

Они с Каро сверстники! При других обстоятельствах барышня, наверно, возмутилась бы. Но совместно пролитая кровь меняет дело. Кровь, известно, не водица, барышня, застонав, схватилась за свою ногу:

— Ах, как наступают дожди, нет спасения, ужасно болит...

Каро сейчас же сунул ей под ногу подушку и сочувственно вздохнул:

— Разве могут эти... понять и оценить пролитую кровь?

Он, конечно, метил в мой огород. «Эти» — значит мы — я, Нушик и вся наша школа. Но совестливый товарищ Хачик принял, видно, все на свой счет. Чтобы хоть как-нибудь загладить свою вину, начал участливо расспрашивать Елену, где, когда случилось это несчастье.

Елена только вздохнула горестно. За нее ответил Каро:

— Это длинная и печальная история, молодой человек. С разрешения барышни расскажу. Остальные простят мне повторение. Ты — рыцарь этой девушки и комсомол,— узнай, на что способны наши женщины.

История действительно сказалась длинной. Но в общем все сводилось к каким-то заслугам Елены перед революцией и ее бедам. Потеряла отца, мать. Они, правда, были богатыми людьми. Скиталась вместе с беженцами по дорогам, наконец присоединилась к Красной Армии и...

— Собственной кровью отмыла страницы своей биографии, вот как, товарищ Хачик, товарищ комсомол...

— Прямо поразительно, как вы, так сказать «бывшие», много печетесь о своей биографии,— словно бы упрекнул Беник.— И зачем вам это? Наша партия великодушно предоставила вам поле деятельности — вот и покажите себя на работе.

— А вот я лично преклоняюсь перед нашей барышней,— товарищ Хачик опустился на колено и поцеловал руку Елены. При этом он как бы посмеивался сам над собой.

— Одобряю, молодой человек, продолжай в том же духе.— Каро подсунул ему и свою руку.— Ну?

— Сомневаюсь в чистоте! — Товарищ Хачик схватил руку Каро и закрутил за спину.— Там я — рыцарь, а здесь — комсомол.

— Ой, с ума сошел, парень, отпусти! — Каро даже присел.

Смеялись, шутили и совсем забыли ту несчастную лису, что

так подвела учителя Каро. Поели, попили и разошлись, так и не обсудив урока.

Каро вышел провожать гостей. Остались мы с мамой вдвоем. Молчим, ждем — кто начнет первой. Конечно, лучше бы и вовсе не начинать. Закрыть наш вопрос, как они закрыли вопрос о лисе. Но меня злило: свалились на нашу голову какие-то контры, а мы, оказывается, еще должны их чуть ли не на руках носить! Кровь, видите ли, за революцию проливали! Я обязана была выяснить, к чему клонят эти лисы.

— Ма, ничего не могу понять,— начала все-таки я.

— Что надо понимать?

— Да вот эта, которая называет себя барышней Еленой... ведь зовут ее вовсе не так... Она дочь Артуш-аги, мы...

Я сама еще не была уверена в том, что говорила. И вдруг передо мной встала давнишняя картина: барышня дает мне конфету, а потом — хлоп перчаткой по носу: «Какая ты сердитая девочка!..»

— Да,— уже настойчивее сказала я,— она дочь...

— Молчи...— только и могла мама прошептать с мольбой.

— Не буду молчать. Зачем она переменила имя? Значит...

— Молчи, ради бога, молчи! Ну что тебе до того, чья она дочь. Люди взрослые не узнали, а ты обязательно должна докопаться до всего?

— Правильно говоришь, пусть не сует нос не в свои дела.— Каро с треском распахнул дверь.— Лучше бы разобралась в собственном поведении. Если и дальше будет так, запрещу ходить в школу, хватит с меня!

— О, опять тебе не угодили, что случилось? — вздохнула мать.— Почему не должна ходить она в школу?

— Да, да, хватит! Я взял на себя заботу: содержу, кормлю ее. Так должна она хоть понимать немного, блюсти мою честь? Осрамила перед учителями.— Каро сел, стал нервно, с жадностью курить. И вдруг спросил: — Кто переменил имя?

Мать не дала мне ответить. Засмеялась беспечно:

— Да ерунда, вбила себе в голову: нехорошее у нее имя, да и только. Хочет переменить...

Вряд ли Каро поверил этой неловкой лжи. Да и мать не особенно верила, что ложь пройдет. Но оба решили — лучше не продолжать этот разговор.

ПОЧЕМУ ТАК УСТРОЕН МИР?

Запретить мне ходить в школу! Так грозился Каро. Но запрещать не понадобилось. Я сама теперь часто остаюсь дома. Моей маме плохо. Не понимаю, отчего получилось так. Неужели это тот удар Каро? Вряд ли. Наверно, есть еще что-нибудь. Но мама почему-то скрывает. Скрывает от Каро и от меня, даже Маран ничего не может добиться. Каро озабочен, неспокоен.

Присаживается к ней на кровать, расспрашивает, кается, говорит — никогда, никогда больше не поднимет на нее руку. И моя мать — удивительное существо — терпеливая, прощающая, словно она мать и для Каро,— сама утешает, успокаивает его:

— Нет, не думай ничего такого, не горюй, простыла я, пройдет...

То же и с Маран. И ей не говорит мама, что Каро ударил ее. Разве можно, ее главный не такой человек. Бывает, конечно, выпьет, наболтает попусту, но чтоб рукам волю — нет, сердце у него мягкое.

— Эх, Сато, Сато,— вздыхает Маран,— испеклась ты в собственном горе, думаешь — не видим?

— Что от того, Маран-джан? Кто виноват, зачем мне идти кому-то жаловаться на свою судьбу?

И меня утешает мама, когда остаемся одни:

— Не беда, для того и хворь на свете, чтоб иногда поваляться. Сегодня так, завтра будет лучше! А если и случится что — на то воля господня... Слава создателю, ты уже не маленькая. Да и Авет... Такой человек у тебя за плечами.

О чем говорит мама? Не хочу верить, что ей так плохо. Она бодрится, не подает виду, старается держаться на ногах. Борется один на один с болезнью и день ото дня слабеет. Истаяла вся, лицо с кулачок.

...Под нашим окном торчит лохматая папаха, а время от времени поблескивает в окне и пара глаз. Это Вардан. Ждет, ждет, бедняга, давно ждет и наконец отходит от окна, грустно насвистывая знакомый мотив:

...С кувшином по воду приди...

И кажется мне, уже много лет прошло с той поры, как мы ходили на родник и Смбат насвистывал этот мотив.

Почему так устроен мир? Радуется человек, любит что-нибудь, и вот что-то обязательно лишает его всех радостей...

На дворе моросит дождь. Я люблю осень, люблю этот мелкий, тихий дождик, задумчивый его шорох — как беседа с собственными думами. Падает дождик неслышно, мочит солому на ригах, и глядишь — чудо! — зазеленел забытый кусочек весны. Это проросли случайные зерна. Опрыснул осенний дождик выгоны, горные склоны, и опушились они нежной зелененькой травой. По берегам ручейков, как весной, вылезает водяной салат, а на лугах выскочили шампиньоны — чистенькие, розовые, мокрые.

Вардан зовет меня по грибы. Пойти бы, промокнуть под осенним дождем, скитаться по оврагам и ущельям, послушать зов вод. Ведь осенью все иное. И воды шепчутся не так, другой цвет и аромат у полей. Туман, сползающий по склонам, не торопится теперь унестись ввысь. Обвивается вокруг твоих ног, и тогда кажется — не шагаешь ты, а летишь, улетаешь вдаль, вместе

с журавлями. Вон они поднялись к серым тучам и кричат прощальное «ках-крха!..». Они прощаются — и я повторяю слова, услышанные от старших:

Покинув дом, маши крылом, счастливого пути,—
Но не забудь обратный путь и снова прилети,
Крылатый друг, наш серый крунк [1], узнай свои поля,—
Чтоб был добром наполнен дом, родила чтоб земля.

Крунк джан... Пойти бы далеко, забраться на какое-нибудь высокое-превысокое место и посмотреть, куда летят журавли. Что там за страна? Скажите мне, журавли, в той стране тоже не дают человеку радоваться?

— Бала джан, иди на уроки, иди,— стонет моя мать.— Что бы ни случилось, иди, нельзя отставать. Учение — кусок хлеба для человека.

И скрепя сердце я бреду в школу. На дороге — никого. Все давно уже сидят на уроках.

— Арцвик, опять опоздала? — это кричит кривой Бабик. Он тащится с гумна, и, как всегда, за плечами у него корзина. Бабик поравнялся со мной и, отдуваясь, прислонил корзину к стене: — Ох, душа сейчас вылетит. Что же ты опаздываешь на уроки?

— Да так... Охоты нет...

— Вай, разве можно так говорить? Дали бы мне, я бы и ночью не уходил из школы. Ах, что мне делать?.. А, Арцвик, что делать?

Бедный Бабик. День-деньской таскается он со своей корзиной от саманника домой, от дома в саманник и все поглядывает на школу. Заметит ученика, обязательно остановится, какой бы тяжелой ни была ноша, спросит: кто первый ученик в школе?

Конечно, если б ему разрешили ходить в школу, он был бы обязательно первым — в этом Бабик уверен. Хотела бы я помочь Бабику. Но что я могу сделать? Хозяин школы Каро. Он отказал Бабику — не может же мужчина двадцати лет сидеть за одной партой с ребятами. «Скоро откроется ликбез,— обещал Каро еще перед началом занятий,— вот тогда и приходи, учись».

С этого дня ждет Бабик — когда же наконец откроется ликбез? Спрашивает учеников, спрашивает меня. А я ничего определенного не могу сказать. Каро дома говорит о чем угодно, только не о ликбезе.

— Тридцатого февраля откроется твой ликбез, Бабик,— подшутил однажды Сурен. Как обрадовался Бабик, не сразу смекнул бедняга, что тридцатого дня в феврале не бывает. Сейчас он, конечно, опять спросит меня о ликбезе. Так и есть:

— Ну, Арцвик, что учитель говорит про ликбез?

— Ты лучше зайди, спроси у него сам.

— Неудобно. Столько спрашивал — надоел уже.

— А ты у других спроси. У Макара, он приятель Каро...

---

[1] Крунк — журавль.

— Что такое Макар?

— Ну у Елены...

— Елена... Тоже стесняюсь, учительница эта больно чудная... Послушай, Арцвик, если скажу тебе одну вещь, не будешь смеяться?..— смущенно улыбается Бабик.

— Зачем же мне смеяться, не буду.

— Вот скажи, если кто сам учится и другого начнет учить, выйдет что-нибудь?

— Почему нет? Если я не знаю урока, мне объясняет Нушик, а иногда и я ей. Все мы вот так и учимся друг у друга.

— Вот бы и меня.. А?

— Тебя?.. Чему будем тебя учить? Наши уроки — детские: «Лиса спускается с горы», «Эй, аист, иди домой».

— Вас учат читать-писать, считать, решать задачи... Я ведь немножко знаю, если еще и ты чуть-чуть поучишь...

— Я?.. Много ли я знаю, чтоб еще и тебя учить. И потом, моя мать больна...

— Да, болеет. Знаю. Эх, Арцвик джан, судьба у тебя, как и моя...— вздыхает он.— Отец умер, мать выдали замуж, я тоже жил с отчимом. Не выдержал, убежал. И вот — сирота...

— Кто выдал замуж твою мать?

— Дядя Айро.

— Зачем? Что плохого она ему сделала?

— Откуда мне знать... Не хотел, видно, кормить вдову брата, вот и отдал замуж. Нашел какого-то человека из-под Еревана. Моя мать и сейчас там. Очень я тоскую, но не могу пойти туда.

— Почему не пойдешь, Бабик? Пойди, жалко ведь ее.

— Жалко, сам знаю. Но не хочет простить мое сердце. Зачем оставила меня сиротой?

— Что ты! Разве двадцатилетний бывает сиротой, Бабик?

— Сирота всю жизнь сиротой остается, сестрица джан, хоть двадцать ему лет, хоть сто. Слыхала? Старики соберутся, сколько раз вспомнят детство. То один скажет: «Отец мой, бывало...» То другой повторит слова матери... А я — что мне вспоминать? Не было у меня ни матери, ни отца. Сирота я...

Бабик со вздохом взваливает на себя корзину и плетется дальше...

...И почему так все устроено? Ну, допустим, осиротел человек, что ж, на всю жизнь оставаться ему сиротой? Ведь в мире столько хорошего — наша школа, Вардан, моя мама...

Нет, не прав Бабик. Нельзя обижаться на свою одну-единственную мать.

Пусть скорей выздоравливает моя мама, я буду носить ее на руках, не дам ей больше мучиться, все сделаю, что скажет Каро. Захочет — ударюсь о камень головой, в воду брошусь. Лишь бы выздоровела...

— Поправлюсь, не горюй так сильно,— все утешает мать, особенно в те минуты, когда ей совсем плохо и она ложится в постель.

В такие минуты мы с Каро ходим на цыпочках и — удивительное дело — стараемся сказать друг другу что-нибудь утешительное. Я уже и в мыслях не злюсь, когда он, нерешительно, жалко улыбаясь, скажет: «Дочка». Думаю, и он не сердится, что я по-прежнему не говорю ему «отец». Я чувствую, что, пожалуй, даже могла бы сказать ему это слово. Не имеет права человек хранить чувство мести и злобы, когда опасность грозит самому дорогому, самому близкому. Хочу быть доброй, незлобивой ко всем, хочу всем говорить сердечные слова, желаю добра всякому, ищу дружбы всех. И Каро ищет дружбы. Все больше крутится вокруг дядюшки Авета, не отводит глаз от его лица, словно ждет: вот скажет дядюшка Авет слово — и станет легче. И школа не влечет Каро, на уроки он ходит, но уже без прежнего интереса — лишь бы время провести. Иногда и меня просит пойти с ним, хоть и знает, что оставлять маму одну нельзя.

— Сбегай к Маран, пусть придет посидит, а мы в школу сходим,— жалостливо просит он.— Отстала ведь, нехорошо это.

Конечно, нехорошо. Но не та забота у Каро. Просто трудно ему, хочет, чтоб и я была в классе — вдвоем легче. И шагаем мы рядышком в школу, как двое сирот. На уроках Каро не делает никому замечаний. Наступит перемена — выйдет во двор и станет рядом со мной. Дети шумят, играют, носятся вокруг, а мы — двое сирот — жмемся к стенке, жалостно смотрим друг на друга, он курит, я думаю.

И почему это в мире обязательно должно быть горе? Каро тоже человек. Пусть для одних плох, для других хорош, но и у него есть сердце. Вот он стоит жалкий, сломленный,— и все оттого, что грозит опасность самому родному для него человеку. Ну кому было бы хуже, если б мать не заболела? Пусть бы Каро радовался, не беда, если б и похвастался по привычке: «Джейран жена, пятнадцать лет любил, наконец нашел...» Какой вред, пусть бы радовался на мою мать. Она, конечно, не лань, а очень обыкновенная крестьянка, но кому стало бы хуже от его слов? И зачем я обижалась и злилась, когда он восхищался моей матерью? Разве это справедливо с моей стороны? Еще бабушка говорила: «У волка тоже есть и сердце и душа...»

Не могу сказать Каро прямо, но в мыслях говорю: я понимаю твое горе и прощаю тебя, пусть только матери не грозит опасность.

...Шагает, мечется Каро от стены к стене. Курит и курит, заполнил огромную комнату дымом. Открыл окно, прислонился к раме и снова курит. А за окном идет снег, первый снег.

Рано, что-то слишком рано пошел этот снег. Вчера еще зеленела травка на ригах, лугах и обочинах дороги, а сейчас снег так и сыплет. Ложится неслышно, мягкими хлопьями, укрывает

чистым, нетронутым саваном мир. Сгладились неровности, скрылись мусорные кучи, исчезли развалины, выбоины на улицах, нет больше грязи и нечистот.

Тихая какая-то, тихая и сладостная грусть спускается вместе со снегом. Она смягчает душу, хочется сказать что-нибудь сердечное, пусть даже незнакомому человеку.

Каро вышел во двор и замер там. Снежинки ложатся на непокрытую голову, плечи. Одевают и его в белый наряд, приносят и ему чистоту. Пусть так и было бы, остался бы он таким — чистым, тихим, добрым, как первый снег. Снежинки начинают плясать. Несмело, будто невеста, которую втягивают в первый танец. Ветер усиливается, снежинки кружатся быстрее, начинается метель.

Вьюга метет по крышам, крутит по дорогам.

Первая вьюга. Снег еще мягок и нежен, и метель тоже крутится бесшумно и мирно, дружественно. От такой вьюги не скрываются воробьи, собаки не ищут теплого уголка, людей не тянет к горячему тониру. Хочется выбежать, изваляться в снегу, побороться с вьюгой, кричать, хохотать. Хочется стать одной из белых и чистых снежинок, что пляшут и мечутся вокруг.

Вьется вьюга, срывает с плеч Каро белую кудель и исчезает видение — снежно-белая, чистая статуя Каро.

— Все в мире пошло навыворот,— вздыхает он, входя в комнату,— зима сразу началась вьюгой.

ЗАНАВЕС ДОЛЖЕН БЫЛ ПОДНЯТЬСЯ

Первый снег, еще недавно такой мягкий и чистый, уже растоптан, испачкан. Теперь он грязной коркой лежит на крышах, скрывает серой броней дороги, мусорные кучи. И еще падал снег, и снова его топтали, пачкали. И опять твердая серая броня. Счистить бы эту грязную корку. Нет, не время. Только посмеются соседи, если полезешь на крышу с лопатой:

— Эй, человек! Снег — достояние зимы, что это ты затеял?..

Говоря так, никто теперь не смотрит на небо. И что смотреть? До весны — далеко. Даже неба, синего, ясного, уже не видать. Потянулась вереница неумытых, мутных дней, не поймешь, когда наступает рассвет, когда — сумерки. Нет далей, исчезли восходы и закаты, вместо летнего сверкающего неба над деревней опрокидывается тяжелый свинцовый купол. Все ниже и ниже с каждым днем опускается он, кажется — вот-вот осядет совсем, раздавит своей тяжестью все живое. Оттого, может быть, и собаки зарываются в стога, воробьи ныряют в щели сеновалов... Ну, а людям теперь нет теплей и надежней места, чем ода при хлеве. Там день и ночь дымит камин. А в яслях медленно и задумчиво пережевывает жвачку скотина. И так же медленно и лениво течет беседа.

Забыты споры, недоразумения. Даже Айро, который последнее

время часто наведывается в деревню, стал необычайно радушным. Вот до чего дошло: велел принести из своей лавки коробку леденцов и наделяет «конфет-стеклом» ребятишек, толпящихся у прохода: «Подсластите себе рты, щенята».

Приятно, тепло и интересно сейчас в оде — даже «конфет-стекло» раздают. Зачем же плестись в школу, где от холода стены покрылись инеем?

А в школе холодно, очень холодно — нет топлива. Не помогли ни просьбы дядюшки Авета, ни страшные жесты Ерванда. Раза два принесли те, кто побогаче, пяток — десяток плиток кизяка — и все.

— Я — носи кизяк, а греться будут щенята сына Алмо?

Вот и осталась школа без топлива. Дядюшка Авет обратился к Бенику.

— Что могу сделать? — развел руками Унаробраз.— У государства нет средств, должны помочь сами крестьяне. А если не хотят, заставить не можем.

— Что же, школу закроем?

— Зачем, можно применить иные меры. Исключить из школы детей тех, кто не дал топлива. Увидишь, все найдут, принесут из последнего. А если еще будут упорствовать...

— Та-ак, значит, исключить детей бедняков? Скоро решил. Не боишься политической ошибки? Я предлагаю другое: распорядись, чтоб у богачей в административном порядке отобрали излишки топлива.

— А это, думаешь, не будет политической ошибкой? — засмеялся Беник.— Пожалуй, мы оба так-то лишимся партийных билетов. Военный коммунизм воскрешаешь?

— Знаешь что, иди-ка ты со своими разговорчиками,— вспыхнул вдруг дядюшка Авет.— Военный коммунизм воскрешаю! Полюбуйся лучше на своих учителей — работали под военный коммунизм, а сами грабили народ. Этот твой Лудвиг — ты знаешь, что за человек? Или не знаешь?

— Почему же, знаю — бывший офицер, воевал потом в Красной Армии, сейчас вот сюда пришел — народу служит.

— Служит, говоришь? Греет зад в теплой оде, развлекает тестя беседами... Нагуливает себе бока, как баба. За это, думаешь, дает ему государство зарплату? Честный человек не сидел бы сложа руки. А этому и дела нет до школы.

— Будь прокляты их отцы,— засмеялся Беник,— который из них честный — сам черт не разберет, все — темные личности.

— Зачем же посадил их нам на шею?

— Я посадил? Ты все время принимаешь меня бог весть за какое начальство. Ошибаешься. Есть люди повыше меня. Они-то и распоряжаются. А я — что я могу сделать?

— Совсем иначе запел... Что случилось? То превозносил до небес свои кадры, а теперь готов с грязью смешать. Разве они не те же?

— Представь себе, переменились. Вернее, на работе показали свое истинное лицо. Раньше были только анкетные данные. Я и тогда не был в большом восторге от них, а сейчас работа показывает — держи палку наготове, если завел дружбу с собакой.

— Слава богу, хорошо, хоть напоследок понял. Но на кой черт ты собрал в один мешок всех этих сменивших шкуру?

— Это уже, брат, моя политика,— многозначительно улыбнулся Беник.— Легче будет принять меры, если понадобится. Но так или иначе, есть государственный хлеб и сидеть без дела я им не разрешу. Запрягу. Да так запрягу, чтоб и вздохнуть некогда было.

Первое ярмо Беник возложил на шею Каро. Учитель должен был заняться школьными спектаклями.

— Выходит, был учителем, стану актером? — засмеялся Каро.— Пожалуй, будет трудновато, товарищ Унаробраз, не приходилось еще на сцене выступать.

— Ничего. Хлеб Советского государства есть умеешь, научишься и этому.

Каро впервые обиделся на своего Унаробраза. Беник поспешил поправить дело:

— Обиделся? Что — неправду говорю? Сидите без дела, ничем не занимаетесь, а зарплата идет. Разве годится это? Потрудитесь, потрудитесь для народа. Организуете небольшой спектакль вместе с барышней Еленой и Лудвигом. Народ порадуется, и ваша совесть спокойна будет. Да и мне люди не скажут больше, что потакаю учителям.

И Каро, опять-таки впервые, подкусил его:

— Выходит, должны мы сделаться актерами ради вашего спокойствия, так, товарищ Унаробраз?.. Что ж, никуда не денешься, приказ начальства. Надо выполнять. Но если буду плохо играть, не моя вина.

Наша деревня и Саратак взбудоражены: «Учителя играют в театр». Никто толком не знает, что это такое, но все пристают к Каро:

— Вложи несколько слов в рот и моему ребенку, учитель, почему делаешь различие?

А различие волей-неволей приходится делать. Попробовал Каро вложить хоть маленькое слово в рот каждому из сорока учеников,— ничего не получилось. Даже Нушик, которая когда-то за весь наш класс так бойко протараторила «Старинное благословение», сейчас словно проглотила язык, и стихотворение «Гей, джан, родина» так и застряло у нее во рту. А Паруйр и Вардан превратились в каких-то истуканов. Каро подходил к ним и так и этак, кричал, упрашивал, садился рядом и повторял с ними стихотворение слово в слово. Но стоило оставить их одних — каждый сразу же становился птичкой с отрезанным языч-

ком, о которой я читала в сказке. Меня он, конечно, избавил бы от этого театра, если б не Беник.

— Наконец вижу я, Дпрапетян, какова твоя работа с учениками,— сказал он с усмешкой.— Полгода прошло, а твои ученики так и не научились делить овес между двумя ослами. Вот так: надейся, доверяй...

— Арцвик, не подкачай, поддержи честь своего отца,— попросил меня Каро,— докажи товарищу Унаробразу, что овес мы, во всяком случае... разделить сумеем.

Это «Гей, джан, родина» достаточно навязло у нас в зубах, и я выпалила его единым духом.

— Один цветок весны не делает,— сказал Беник.— Сходи в Саратак, послушай, что знают ученики Елены.

— Воля ваша, товарищ Унаробраз,— согласился Каро,— пойду в Саратак, только возьму с собой дочку. Ничего, пусть Урут хоть одним цветком участвует в этой игре...

Через день мы отправились в Саратак. Привлекательного для меня там было мало. Экая невидаль: Каро, барышня Елена, кривляющийся Лудвиг, его богатый тесть и необыкновенно развитые, по мнению Беника, саратакские ученики! Но и Каро почему-то шел нехотя, все ворчал в адрес своего Унаробраза и других.

А когда пришли в тепленькую комнату Елены, Каро окончательно взорвался.

Началась репетиция. Что есть силы кричу я первую строчку стихотворения. На четвертой Елена останавливает меня: «Не так». И сама застонала, взвыла: «Лишь дети твои в море крови!..» Я горестно повторяю эту строчку за ней, и Елена, одобрив, испускает душераздирающий вздох:

— Какая горькая истина в этих словах, Карапет!

А Каро косо взглянул на нее и ко мне:

— Что ты вопишь, будто плакальщица на похоронах? Когда поэт писал это, наша родина действительно была в море крови, а сейчас... Выше голову, дочка, слова должны звучать гордо, мы вышли уже из моря крови...

— Интересно...— как-то зловеще тянет Елена.— Ты что-то не похож на себя, Карапет.

— Ну вот, теперь уже я никуда не гожусь,— запальчиво говорит Каро.— «Не похож на себя»!.. Почему не похож? Каким же я должен быть, по-твоему?

— Прежним, каким мы знали тебя, Карапет.

— Думаете, всегда буду таким, как вам захочется? Должен же хоть раз стать тем, что я есть, барышня! Хочу наконец найти себя...

— Бедный Каро, понимаю, жена больна,— смягчается барышня.— Но все-таки нельзя распускаться, ты человек боевой.

— А что, я не человек? Конечно, человек. И есть у меня сердце... Жена мучится дома, а я должен здесь в игрушки иг-

рать, да еще боевым быть обязан. Продолжай, Арцвик, продолжай, закончим поскорей — и домой. Хватит...

Это уже что-то новое: Каро осмелился поднять голос против Елены, да еще в присутствии саратакских учеников и Вардевана — тестя Лудвига. И зачем этот Вардеван постоянно торчит на наших репетициях? Рассядется и мурлычет что-то себе под нос — ни к селу ни к городу, только мешает. Он мурлычет, а Каро нервничает, начинает грубить и ему:

— Не мешай, судья Вардеван, издаешь тут разные звуки, сбиваешь детей.

— А что им сбиваться, я же не гиена? — потирая густые усы, зевает Вардеван.— Будут в голове ребенка знания, его ничем не собьешь, приставь хоть меч к горлу.

— Короче говоря, прошу не мешать, когда репетируем,— решительно повторяет Каро.— Что ты нашел интересного в наших репетициях?

— О, учитель Каро, вижу, собираешься выгнать меня из собственного дома? — усмехается Вардеван.— Что-то странным ты кажешься мне нынче, сынок.

Странным кажется Каро и Бенику. Он тоже неизвестно зачем наведывается к нам на репетиции. С его приходом Елена воодушевляется еще больше, а Каро совсем вешает нос, но грубить ему не рискует. Беник похлопывает Каро по плечу, говорит одобрительно: «Хорошо начал, Дпрапетян, мы все видим и, придет пора, оценим твой труд. Только не вешай носа...»

А Каро действительно повесил нос. Будто черная кошка пробежала между ним и его друзьями. Тот ли это Каро, который, заслышав голос Беника, вытягивался в струнку, все исполнял, лишь бы понравиться Унаробразу, хвастался, что дядюшка Авет ничего ему не может сделать? Сейчас Каро избегает своих друзей, а с дядей Аветом старается сблизиться. Только Авет не хочет замечать усилий Каро. Лишь спросит иной раз невзначай: «Как идут национальные дела?» Каро на это очень обижается: «Ладно, Авет, отвяжись...»

Что же это случилось с Каро?

...Мне не долго пришлось ломать голову над этим вопросом. Однажды мы, как всегда, собрались в комнате Елены, не хватало только Лудвига. Каро не стал ждать и начал репетицию. Я, помня уроки Елены, простонала свое «Гей, джан, родина». Вдруг хлопнула дверь. Вошел Лудвиг, стряхнул с себя снег.

— Так и знал, собрались вместе и рыдаете над солнцем родины,— криво усмехнулся он.— А я деревенею от холода.

— Это тоже неплохо. Когда совсем одеревенеешь, сожжем тебя, погреемся,— засмеялся Каро.— Хоть этим послужишь родине.

— А ты не думаешь, что и сам можешь сгореть со мной? — злобно огрызнулся Лудвиг.— Все репетируешь?.. Только у нас

и забот что репетиция, спектакль, занавес!.. Хватит! Долой занавесы, игра переносится со сцены на жизнь. Смирно!..

— Ты пьян, товарищ Лудвиг? — изумилась Елена.

— Не беспокойся, я достаточно трезв.— Пощелкивая костяшками пальцев, он оглядел всех.— Дети, вы свободны, марш по домам, репетиции кончились.

Саратакские школьники молча встали. Лудвиг, что-то вспомнив, подошел ко мне, снова щелкнул пальцами:

— Ну, Арцвик, что прикажешь с тобой делать? Волков боишься?

— Не трогай ее,— возмутился Каро,— ты что это разошелся? Здесь руководитель я, зачем прогнал детей?

— Терпенье, милый, терпенье, руководящие кресла еще не распределены, не бойся, что-нибудь и ты получишь. А сейчас самое первое — надо согреться, пойду загляну в кладовку к теще.

Лудвиг скоро вернулся, прижимая к груди трехлитровую бутыль. За ним вошла теща с большим подносом, уставленным едой.

И как разочаровал меня наш молодой товарищ Хачик.

— Прекрасное начинание! — потер он руки.— Собрались, оплакиваем солнце родины — и вдруг смотри какое солнце взошло!

— Что, недурно быть зятем в зажиточном доме? — засмеялся Лудвиг.— Как считаешь, тесть-ага, выпьем, что ли, за твое кулацкое прошлое?

— Зачем же за прошлое — а сейчас? Один черт! — усмехнулся Вардеван.— Нарекли меня кулаком, и верно, я и есть кулак. Однако, парень, сдается мне, ты уже пьян.

— Не-ет, вот выпью сейчас с комсомолом, тогда посмотрим. Как, товарищ Хачик, выпьем? — Лудвиг подвинул полный стакан к Хачику.— Пей, ты наше политическое ядро, пей, и пусть эта влага прочистит твои мысли.

— Пожалуйста, отчего не выпить? — Товарищ Хачик одним духом проглотил водку и выпучил глаза, как ребенок.— Эх и крепка — сразу в голову ударяет...

— Все оттого, что голодный комсомол.— Лудвиг хлопнул его по спине.— Считаете — голод, лишения укрепляют вашу идейность. Вот, мол, мы какие, новое поколение,— и голодными выстроим социализм, да здравствуют голод и нужда!..

— Почему, у нового поколения тоже есть аппетит, особенно когда перед глазами такие вещи,— Хачик кивнул на поднос.

— Давай, давай, невестка соседа — всегда красавица, и чужой хлеб, известно, вкусен... Только давай не будем обижаться друг на друга. Я шучу, мой Хачик. Ешь, пей, братец, пусть мысль твоя станет ясной,— может, определишь свою дорогу.

— Зачем дорога, я не собираюсь никуда идти,— задорно расхохотался товарищ Хачик,— буду пить, есть, с утра не ел.

Он отхватил огромный кусок масла, сунул в лаваш, съел и еще раз выпил. Предложил и Каро действовать, как он, и не от-

ставать. Каро мрачно отказался. Но и товарища Хачика хватило ненадолго.

— Чудесная, оказывается, вещь водка! — воскликнул он.— А я-то до сих пор все отказывался... Совершенно с вами согласен, ваше благородие... Отшельники мы или люди? Долой голод! Молчать, господин по... пору... чик-чик-чик. Меня звать Хачик!.. Мы же решили не обижаться друг на друга... Поручик, смирно!..

Что-то еще бормотал бедняга Хачик. Потом вдруг ткнулся в плечо барышни Елены, отвалился на подушку, устроился поудобней и — пошел храпеть, да так заливисто, словно заранее готовился к этому.

Настала тишина. Каро и Елена вопросительно смотрят на Лудвига. Он наклонился над Хачиком, прислушался и потирает руки:

— Готов... Невинный младенец.

— Зачем тебе это понадобилось? — спросила барышня.

— Для интереса. Посмотреть, как справится комсомол с кулацкой водкой. Арцвик, может, и тебе стаканчик?.. Или ты пока не комсомолка?

— Отвяжись! — запрещает Каро.

— Не бойся, шучу... Так сколько, значит, коров на твоей территории? — вдруг спрашивает Лудвиг.

— Не считал. Разве я пастух? — хмуро отмахивается Каро.— Не время...

— Спрашиваю,— значит, время. Так что — не знаешь, сколько у тебя коров?

— Не знаю и знать не хочу, и вообще...

Лудвиг медленно, с подозрением поднимает на него глаза. Елена расхаживает по комнате, тяжелее обычного припадая на ногу. Вардеван крутит папиросу толстыми пальцами, следит из-под надвинутой на брови шапки за всеми тремя.

— В тот день — помнишь, Лудвиг? —небезызвестный тебе человек сторговал такую корову, просто загляденье,— мурлычет Вардеван.

— А сколько она съедает... если зарядить?

— Да десять зарядов... сена зараз съест.

— Значит, их стало теперь...— Лудвиг трет себе лоб, будто силится вспомнить.— Сколько, говорю, стало, Каро?

— Отвяжись, человек, чего прицепился? Не знаю — и все. Тесть твой ведет счет, спроси у него...

— Я тебя спрашиваю. На попятную идешь?.. Не выйдет, мосты сожжены...

— Довольно, тише, товарищ Лудвиг, не горячитесь,— Елена хватает Лудвига за руку.— Все это водка, пьете, меры не знаете. Давайте пройдемся, освежитесь немножко.— Она насильно выталкивает Лудвига, уже в дверях оглядывается, зовет Каро. Мой отчим, помедлив, неохотно выходит за ними. Вскоре, мурлыча и

кряхтя, поднимается и Вардеван. Остались я и Хачик. Товарищ Хачик уже не храпит. Потягиваясь, открывает глаза, озирается сонно — никого в комнате нет, только я. Хачик проворно вскакивает с места.

— Куда все делись?

— Не знаю, вышли.

— Ага, репетиции, значит, не будет. Пожалуй, уйду и я.

И вот я одна. Хотела бы тоже уйти. Но на улице темень, холод... А главное — эта странность в отношениях недавних друзей. Я вижу ясно: вода Каро не течет больше по одному арыку с водой Лудвига и других. Но в чем причина? Я знаю, о каких коровах шла речь. У нас дома тоже припрятана одна такая «корова», а если сказать проще — пистолет. Выходит, и у остальных есть «коровы»?... Надо обязательно остаться.

Вот они возвращаются — возбужденные. Вардевана с ними нет. Видно, поговорили крепко — и сейчас еще гнев не улегся. Елена, колыхаясь, подходит к лампе, чиркает спичкой и, не сняв стекла, хочет зажечь фитиль. Спичка обжигает пальцы. Елена слюнявит их, опять зажигает спичку, и снова повторяется то же. Лудвиг молча наблюдает. Каро жадно затягивается несколько раз, бросает окурок, подходит ко мне:

— Вставай, Арцвик.

— Куда?..— Лудвиг становится в двери.— Улепетываешь?

— Не могу пойти домой?

— Откуда мне знать, домой идешь или еще куда...

— Пока домой... Идем, дочка.— Он никак не найдет моей руки. Я сама хватаю его. Холодная, беспомощная рука Каро трепещет в моей ладони, будто ищет защиты. Мы выходим.

— Смотри, Каро!..— слышим за спиной угрожающий голос Лудвига.

Идем. Ранние зимние сумерки теснят нас со всех сторон. Холодный ветер бьет точно саблей. Хочется оглянуться. Что там, за этой темной стеной? Молчим. Деревня наша в двух шагах. Но это днем. Сейчас тысячи верст темноты отделяют нас от дома. И мы идем, идем, наверно, уже целую ночь. Но вот мигнул наконец первый огонек в квартале Умршата, и рука Каро, все еще тревожно сжимавшая мою, свободно разжалась. Мы зашагали медленнее.

— К Авету зайдем,— задумчиво говорит он.

— Поздно уже. И холодно. Лучше домой...

— Нельзя. Надо скорей сообщить...

— Что сообщить?

Он не отвечает. Идет все медленнее,— что-то решает. Остановился. И вдруг крепко схватил мою руку, и мы побежали вперед.

Так, с разбегу, и ворвались в дом дядюшки Авета. Распахнули дверь и застыли на пороге. У Авета полно людей. Тут и товарищ Хачик, и даже Беник! Сидят, как на похоронах, курят,

искоса поглядывают друг на друга. Никто будто и не обратил внимания на нас. Каро шагнул было к Бенику, но тут же повернулся к дядюшке Авету:

— Ленин умер.... Авет...

Молчание. Беник вдруг вскакивает:

— А больше ничего не скажешь, Дпрапетян?..— и вплотную приближается к Каро. Тот пятится назад. Беник теснит Каро к стене и шипит прямо в лицо: — Занавес поднялся. Поднялся без вашего ведома.

— Я... я... товарищ Данелян... Вы, значит, вы...— лепечет Каро. И вдруг рухнул на колени: — Хачик, если есть у тебя совесть, скажи им... ведь ты видел, я же... Эх, пропащий я человек! Авет, а он, вот этот...— Каро тычет пальцем в Беника. Все молчат. И, схватившись за голову, Каро идет к двери...

СОН И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Мы ничего не рассказали матери. А она и не замечает, что Каро теперь целыми днями сидит дома. Не удивляется. Входят соседи, выходят, а мама и не спросит — кто был. Часами лежит неподвижно, уйдя в себя. Может быть, спит? Но вот тихий стон... Мы с Каро переглядываемся — не спит. Третий день она такая — ушедшая от мира, от его забот.

— Подушку повыше... посижу чуть-чуть,— шепчет она вдруг.

Мы бросаемся, наперебой подтыкаем подушку, опускаемся на корточки, смотрим с тревогой и надеждой. Худые, восковые пальцы ползут по извилистым узорам одеяла, задерживаются на ярких цветочках. Маму радуют пестринки ситца, она слабо улыбается.

— Удивительный сон приснился...— говорит тихо, с надеждой.— Переходили будто мост. Вся деревня шла, и мы тоже. Идем, идем, а мосту нет конца. И вдруг он стал все уже, уже, совсем тонким сделался, как волос. Ты прошла, Арцвик джан, а я, не знаю, прошла или нет. Петух пропел, проснулась...

— Значит, ты видела такое во сне? — спрашивает Каро и тяжело поднимается.

— Да, в эту ночь я уснула.

Взгляд Каро становится беспокойным, он озадаченно чешет затылок. Подходит к столу, роется в бумагах, что-то пишет, что-то сует в карман. Открывает сундук, смотрит озабоченно на мать и, словно решившись на что-то, достает новые брюки.

— Говоришь, значит, Арцвик перешла? — тянет он, меняя брюки.— Перешла?

— Что ты сказал?.. Да, перешла моя дочка,— удовлетворенно вздыхает мать,— как сейчас помню, перешла. Тебя не было, Каро... Да, странная вещь сон...

— Ну, я пошел.— Каро застегивает шинель, хлопает себя по карманам и, поколебавшись, подходит к матери. Опустился на колени, берет ее руку: — Сато, я должен уйти...

— Куда? — пугается моя мать.— Зачем идти?
— В уездный центр, не бойся.
Мать молчит. И вдруг кидает презрительно:
— Один идешь?
— Один.
— А что же твои товарищи?
— Я не повенчан с ними,— натянуто улыбается Каро.— Иду по личному делу, скоро вернусь, не беспокойся. Чтоб до моего возвращения поправилась, смотри. Девочку жалко,— вздыхает он.— Да и меня, пожалуй, можно пожалеть...— Наклоняется, целует мать, внимательным, грустным взглядом обводит комнату. Просит меня: — Арцвик, не проводишь? — и повесив голову идет к двери.
Я выхожу за ним. Во дворе он закуривает, жадно затягивается, смотрит на меня:
— Поняла, куда иду?
— В уездный центр.
— В Чека...
— Зачем?
— Надо! Давно уже надо идти. Не жаловаться иду, не думай. Свою голову несу... Опоздал, но, думаю, поймут. Слушай, что скажу. Ухаживай за матерью, береги и ничего не говори ей. Вернусь, тогда расскажем.
— А если...
— Нет, моя вина не такая уж большая, не бойся, вернусь.— Он зажигает еще папиросу и так же жадно затягивается.— Не боюсь, не думай,— словно убеждает себя.— И незачем мне бояться. Вот еще что, Арцвик. Там, в сундуке, на самом дне, лежит одна вещь... Достань ее и отнеси вечером Авету. Смотри, чтоб никто не видел. Там и патроны. И матери не надо видеть.
— Отнести и что сказать?
— Ничего. Вот, дай ему это письмо. Ну, с богом. Мать, мать береги. Приду, все будет хорошо, знаю, как теперь жить. А не приду... не переходи моста без матери.
Он сжимает мою руку, гладит ее другой рукой, трется щекой о мои волосы. О чем-то вздыхает, что-то смахивает с глаз. И уходит тяжелым, но твердым шагом.
Ветер несет ему навстречу колючий снег, развевает полы шинели, силится отбросить назад. Каро зарывается в снег, выбирается, подавшись вперед всем телом, шагает. Мутнеет, расплывается его фигура и наконец совсем исчезает, растворяется в туманной дали.
Я очень осторожно отворяю дверь, на цыпочках подхожу к матери, она, кажется, спит. И мне вдруг становится тяжело, что-то теснит сердце, чего-то не хватает. Откуда-то приходит чувство неловкости — будто совершила я преступление.
— Ушел? — встрепенулась мать.
— Ушел.

— Сказал, когда вернется?

— Ну, сказал... Через несколько дней.

Мать горько усмехается:

— Вряд ли...

— Почему, не такое уж далекое место уездный центр.

— Сама еще дитя, а меня за ребенка принимаешь. Не вернется он больше. Подай-ка мне одеться, Арцвик джан.

— Зачем?

— Дай, сердце теснит, нет сил больше лежать.

Мучаясь, с трудом натянула платье. Шагнула к двери, еще шаг — ноги ее подкашиваются, она падает...

По-моему, я не кричала, не звала никого, но дверь наша распахивается, вбегают Бабик и Шушан.

— Воды скорее! — обнимая мать, кричит Шушан.— Бабик, помоги, не могу.— Они укладывают мою мать в постель, садятся рядом.

— Как случилось? — шепчет Шушан.— Куда это торопился учитель?

Мама открывает глаза, осматривается вокруг и тянет руку к Бабику:

— Бабик джан...

— Ничего, тетя Сато, ничего.

— Ты не знаешь... Этот волосяной мост, и вот... Сам-то ушел... Бабик джан, где мой главный... куда увели его?..

Мама снова теряет сознание.

Вот уже четыре дня нет Каро. Исчезли и его друзья. Я не отхожу от мамы. Только один раз она пришла в себя, сказала, что давно ждала этого, потом велела мне не отходить и снова впала в забытье. Приходят, уходят люди: дядя Авет, Маран, другие. Мама не видит никого и не слышит. Я не решаюсь даже на миг отвлечься, нет времени передать дяде Авету то, о чем говорил Каро. Даже письмо так и лежит у меня. Дядя Авет не вспоминает о Каро, словно его и не было. Но взгляд у него мрачный, озабоченный, и похоже, что он не хочет сейчас показываться маме на глаза. Отзовет меня или Маран, спросит: как мать? Наказывает получше смотреть за ней и уходит, тяжело стуча деревяшкой.

Забегут Нушик и Вардан — от них я узнаю обо всех новостях. Жизнь течет, как всегда. Только одно удивило меня: арестовали всю компанию — Лудвига, Елену и Вардевана, а требовал ареста Беник...

Нушик рассказывает обо всем подробно, и я слушаю то, чему сама была свидетельницей.

— Собрались у тестя Лудвига, выпили. Лудвиг сказал: «Ленин умер, хватай оружие, самое время — проклянем их отцов». Бенику стало известно, и он приказал всех схватить.

— А мы записались в комсомол,— улыбается Вардан.— И тебя записали. Самой первой записали. Дядюшка Авет и товарищ Хачик устроили собрание. Ленин умер, а мы должны продолжать его дело — так сказали. И всех, кто пришел, записали. И тебя тоже, Арцвик.

— Но меня ведь там не было...

— Какое дело? Я... то есть Нушик, Паруйр, мы с ребятами записали твое имя первым. Дядя Авет ничего не говорил тебе?

...Дядя Авет долго читает письмо Каро. Читает, угрюмо усмехается и снова читает.

— Дурак! — вздыхает он.— Где был раньше? Собственной рукой разрушил свой дом. Признался! Теперь уже поздно.

— Почему поздно?.. А в чем признался, дядя Авет?

— В том, что давно уже для нас не секрет.

— Но ведь признался все-таки. По собственной воле пошел. Неужели нельзя помочь? Так жалко...

— И мне жалко, дочка... Не подумай, что я отказался от своего слова. Обещал твоей матери оторвать Каро от всей его братии. Не вышло, сильнее оказались. Вот и получилось — ушел, пропал этот болван... Скажи, ты догадывалась, кто эта Елена?

— Дочь нашего Артуш-аги.

— Вот видишь!..

— А Беник?

— Беник?.. Эх, Арцвик, в трудное время мы живем. Все было ясно, когда дрались с оружием в руках. Не спутаешь, где враг, где друг. А теперь — черт его разберет. Бывает и так: надо бы отрубить руку, а ты ее целуешь, ко лбу прикладываешь... Вот тебе и Беник.

...К нам домой Беник заходит с дядей Аветом. Дядя Авет недоволен — за версту видно. А Беник весь — забота и сочувствие.

— Как здоровье, сестрица Сато? Не горюй.

Мать молчит. Мутный взгляд уперся в гостя. Она с болью отворачивает лицо. Беник растерян, недоуменно смотрит на дядю Авета, дает знак — пора уходить. Но моя мать приподымает голову.

— Не торопись, брат Беник,— она опять повернулась, вглядываясь в Беника. С трудом оторвала плечи от подушки, села.— Подойди сюда, садись. И ты, Авет джан, садись вот тут, около меня. Ты привел в мой дом этого человека — твое дело. Спасибо, что сам пришел. Не обижайся, если скажу то, что давно уже на сердце...

Они сидят, ждут. Мать собирается с силами и начинает — прерывисто, глухо:

— Авет джан, ну-ка спроси этого товарища Беника, как случилось: все его приятели в тюрьму попали, а он вот ходит себе на свободе?.. Это по-божески? Ты честный человек, господин Беник?

Беник вскакивает с места, как ужаленный змеей.

— Что ты, сестра, опомнись, разве можно так зря человека?..

— Я не из тех, кто болтает зря.— Голос моей матери окреп, говорит теперь совсем как здоровая.— Ты часто захаживал в наш дом. Скажи, было хоть раз, чтобы я не оказала тебе уважения? Ни слова не сказала. А знала ведь, что ты за птица. Знала и молчала. Ела поедом Каро, просила, убеждала, ссорилась. Не смогла вот его образумить. Зажал ты душу Каро в своем кулаке, сделал его своим рабом... Не знает мой брат причины, зато знаю я... Считала: брат мой дал слово,— значит, не тронет моего главного, сдержит обещание... Потому и молчала — каюсь теперь. На хвост змеи наступили, а сама-то змея... Братец джан, Авет джан, обида в сердце на тебя, но родной ты мне, не хочу, чтоб змея и тебя ужалила в пятку... Этот Беник...

Не договорив, мама упала на подушку, закрыла глаза.

— Бредит, Авет,— шепчет бледный, растерянный Беник.— Надо придумать что-то...

— Иди лучше, товарищ Данелян, сам без тебя придумаю,— стонет дядя Авет и взглядом указывает на дверь.

Побледнел кусочек неба в ертыке, и в нем уже почти растаял серебряный блеск звезд. Светает. Вот и петухи запели иначе, не как ночью. В полночь петух кричит звонко, громко хлопает крыльями. Он гордо возвещает — скоро рассвет. И рассвет приходит. Шевелятся куры на насестах, начинают щебетать ласточки под крышей. Петух собирает вокруг себя свою куриную семью, подходит к двери и часто, требовательно кричит— пора, пора выпустить кур на волю.

Не люблю я этот требовательный крик. Он слишком долго был для меня сигналом — пора вставать. Каро считал — настоящая девушка с рассветом должна быть на ногах.

Не часто удавалось моей матери отстоять меня. И каким сладким был этот короткий утренний сон. Даже в те дни, когда болезнь совсем скрутила маму, она старалась подняться пораньше, чтобы сохранить мне это маленькое удовольствие. Согнувшись вдвое, бледная, ходила, пошатываясь, по комнате. А я, натянув одеяло на голову, глотала соленые слезы. И сейчас, чуть заголосят рассветные петухи, сердце мое начинает щемить...

Маран уже которую ночь проводит у меня. Сама не знаю, почему не смогла я перейти в дом к дяде Авету. И одной тоже трудно. Ночью не сплю. Маран тревожно следит за мной. Мы знаем обе: здесь не заснуть — ведь все вещи в нашем доме хранят дыхание, аромат моей матери. С первыми петухами Маран встает, бесшумно одевается, выскальзывает как тень, тихонько прикрывает за собой дверь. Вернется, заглянет в щелку и уходит — медленно, осторожно.

Долго слышен звук ее шагов в звенящей тишине рассвета. Когда он совсем затухает, встаю и я. Целый день потерянная, одинокая буду слоняться по пустому дому. Сколько еще впереди таких дней? А что будет потом?

Набираю полный подол корма, отворяю курятник. Хохлатки и пеструшки, хлопая крыльями, бегут в самый конец двора. Росистая свежесть раннего утра сбила их с толку. Но петух начеку. Танцует вокруг меня, косясь глазком на подол, и призывно клохчет, зовет назад бестолковых подружек.

Неужели это я сыплю сейчас зерна, стою хозяйкой в окружении кур? Я чувствую себя бабушкой Нуно. Неважно, что лицо у меня другое и возраст не тот. Ведь соседки беседуют со мной теперь, будто со взрослой женщиной. Никто не считает меня ребенком. Вот хоть бы сейчас, Арус машет мне со своего порога:

— Арцво, наседку сажать будешь? Твоя пестрая давно квохчет. Сажай, все равно до косовицы не занесется...

С книгами под мышкой забегает во двор Паруйр. Просто так, проведать. Прошло то время, когда мы ходили в школу вместе. Не смогли убедить меня мои друзья. Не могу идти в школу. Утром уйдешь, а днем надо возвращаться. Вернусь, а мамы нет...

— Эй, малый, смотри, на уроки опоздаешь! — кричит Арус и жалуется мне: — Ребенок как моль или овод. И душу и тело изъест, пока вырастет.

А бывало, моя мать вот так же кричала мне: «Не опоздай!» А потом сетовала — как трудно растить детей.

Стайка голубей, мелькая крыльями, описывает круги над моей головой и опускается на нашу крышу. Не знаю, чьи это голуби. Они взяли себе в привычку делить завтрак с моими курами. Прохаживаются по краю крыши, заглядывают вниз, склонив головки набок. Тихо посвистывая, бросаю корм и им. Голуби вытянули шеи. Наконец сизый турман расправляет крылья и опускается среди кур. Но он еще не клюет. Топоча мохнатыми ножками, крутится между курами, призывно воркует. И голубки по одной следуют во двор.

— Смотри, и голубки тут,— Арус подходит.— Голубка — счастливая птица, к кому прилетит, тому будет счастье.

Поощренные присутствием хозяйки, на корм набрасываются и куры Арус. Она замахивается веником: «Кышш!»

— Не надо, тетя Арус, пусть клюют,— протестую я и высыпаю остатки из подола.

— Зачем тратить корм? Весна наступает, найдут себе сами. Вон, смотри, как сор разгребают...

— Э, на что мне корм, тетя?..

— Зачем такие мысли, бала джан. У тебя дом, очаг, нельзя так разбазаривать добро. Слава создателю, не на пустыре живешь.

— На что мне дом?..

— Вай, девушка, что такое говоришь? Разве мы не люди или сердце у нас камень? Не надо, бала джан, не думай, ты не одна. Буду тянуть, как родную, нужен хлеб — я испеку, захочешь сварить обед — неси, ставь в мой тонир. Мы соседи, все обойдется, не горюй.

Ах эти слезы... Опять они туманят глаза. Я скрываюсь за дверью.

Вот мой дом, мой очаг. Не всегда под этой крышей жили с миром в сердцах. И все-таки было неплохо. Неплохо — пока жива была моя мать. Терпеливая, скрывая от всех свою боль, она стояла между мной и Каро, как скала в речном водовороте. Принимала на себя удары, умиротворяла нас. Успокаивала, примиряла и не выдержала, сама истаяла. Нет мамы,— значит, и дома нет...

Открываю сундук. В нем платья мамы, ее обувь, полуизношенный шелковый платок, пуговицы, ожерелье из желтых монет. А в самом низу тщательно упрятан под вещами маленький узелок. Развязываю его дрожащими пальцами. Перебираю почерневшие от времени мелкие монеты — их с горсть. Вот кольцо без камня. А это зачем? Достаю сложенную вчетверо ветхую бумагу. Бумага истлела — вот-вот распадется на куски. Я еле-еле разбираю на ней лишь одно слово. Оно написано по-русски, это слово, — Арам...

Сколько раз я в мыслях осуждала мать, упрекала, что так скоро забыла моего отца. А она, оказывается, хранила горькую память — «черную бумагу» о гибели своего Арама.

Если б мертвые могли прощать...

Прячу узелок на груди, завертываю в тряпку несколько лепешек и тихонько прикрываю дверь. Хочу быстро, единым духом выбежать со двора. Ноги не слушаются. Кажется, невидимая рука ухватила за подол и тянет назад. Кругом — никого, даже куры куда-то исчезли. Но двор, сам двор словно навострил глаза и уши и следит за мной. Вон под стеной большое деревянное ведро, рядом каменная кадка, вот еще разбитый карас. Все такое родное, знакомое. Как мне уйти, как расстаться с этим? Откуда-то снова прилетела голубиная стайка, сделала два круга надо мной и унеслась бело-сизым облаком.

Голуби, голуби! Может, и правда вы счастливые птицы! Попробую полететь за вами...

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Перевод А. Садовского

КНИГА ВТОРАЯ

Перевод В. Дудинцева

Ахавни
(Ахавни Аршаковна Григорян)

ШИРАК

М., «Советский писатель», 1983, 592 стр.
План выпуска 1983 г. № 258

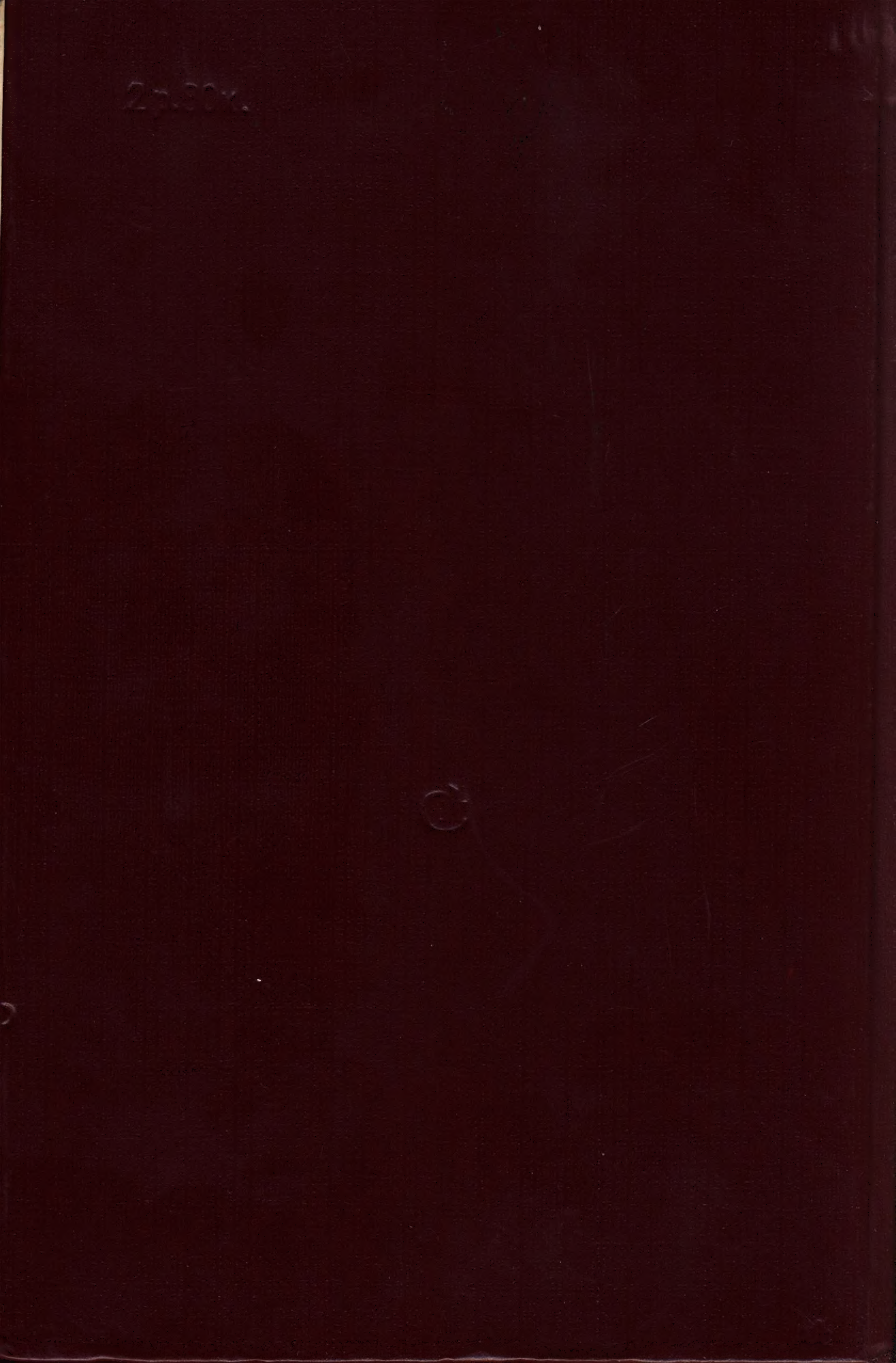
Редактор М. Э. Кузанян
Худож. редактор Е. М. Дробязин
Техн. редактор Г. В. Климушкина
Корректор С. Б. Блауштейн

ИБ № 3424

Сдано в набор 10.09.82. Подписано к печати 31.01.83. Формат 60×90 1/16. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 37. Уч.-изд. л. 40,54. Тираж 200 000 экз. Заказ № 724. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28


2 р. 30 к.


АХАВНИ
Ширак